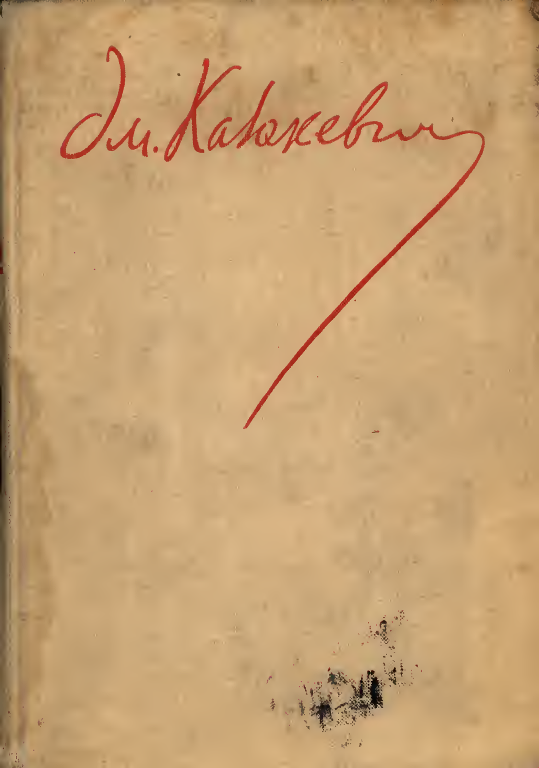

Эм. Казакевич

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ



СОЧИНЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ 2

Казакевич

ДОМ НА ПЛОЩАДИ
СИНЯЯ ТЕТРАДЬ
РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва — 1963

Оформление художника
Г. ДМИТРИЕВА

ДОМ НА ПЛОЩАДИ

Роман

Не часто
Дается людям повод для таких
Высоких дел! Спеши творить добро!

Гете

Часть первая

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ГАРЦ

РАССКАЗ О ШЕСТИ СОЛДАТАХ

Команда солдат в составе шести человек не спеша двигалась на запад. За исключением старшего, который был, вопреки своей роли, самым младшим, это были все пожилые люди, служившие в тылах одной из действующих дивизий. Их оставили на месте последнего формирования, в районе города Гомеля, для охраны принадлежавшего дивизии прессованного сена. Дивизионное интендантство рассчитывало в ближайшее время, как только уляжется весенняя распутица, прислать за сеном машины.

Сено лежало штабелями в небольшой квадратной березовой роще, уже лиловой от почек. Солдаты несли охрану бдительно и по всем правилам караульной службы. Жили они тут же, в землянке, которую сами для себя выкопали. Когда кончились продукты, старший команды — сержант Веретенников — отправился в Гомель, где получил по шести продаттестатам хлеб, сахар и консервы еще на десять дней.

Вокруг рощицы, где лежало сено, простирались поля. Начиналась весенняя пахота. Из соседней деревни приходили колхозницы с лошадьми и плугами. Поравнявшись с рощицей, женщины здоровались с солдатами. Они с завистью поглядывали на сено. Иногда они просили дать им сенца, но солдаты, виновато отводя глаза, отвечали всякий раз одно и то же:

— Не имеем права. Не наше. Армейское.

Зато они часто помогали колхозницам пахать, и между ними и женщинами установились отношения, полные взаимного понимания и спокойного дружелюбия.

Время шло. Машины из дивизии не приходили. Все кругом было тихо и спокойно. На березах пробивались маленькие, ослепительно зеленые листики. Тревожная бессонница овладела Веретенниковым. По ночам он выходил на опушку рощи и глядел на дорогу. Кругом стояла кромешная темнота. Светомаскировка здесь еще соблюдалась, и ни один огонек не мигал в окрестности. Большая дорога проходила далеко отсюда, машин не было слышно. Что касается того проселка, который вел от большой дороги сюда, то он был вовсе пустынен.

Это странное — хотя вполне обычное в неразберихе военных ситуаций — прозябание тяготило Веретенникова. Особенно же ему стало невмоготу, когда женщины однажды сообщили, что, по слухам, советские войска уже в Германии, чуть ли не под самым Берлином. Тогда Веретенников, вопреки своему обыкновению ничего не просить, а делать только то, что прикажут, обратился к гомельскому коменданту, и тот согласился принять дивизионное сено и отпустить команду на все четыре стороны, снабдив ее соответствующим документом.

Вернувшись в рощу, которую он уже рассматривал как родной дом и каждую тропинку которой знал, как знают половицы в собственном доме, Веретенников велел солдатам готовиться в путь.

Во время пребывания здесь солдаты уже успели привыкнуть к своему существованию, обрасти какими-то предметами, полюбить местность, обзавестись знакомствами. Расставаться со всем этим было, конечно, не так трудно, как, скажем, с собственным домом и собственной семьей, но все-таки это была тоже торжественная минута. Вечером к ним пришли женщины, до которых дошла весть об уходе молчаливых и дружелюбных хранителей сена. Пришла также и молодая сельская учительница Соня, проведшая несколько вечеров с сержантом Вере-

тенниковым и привязавшаяся к нему ровной, нешумной и неназойливой привязанностью, как и он к ней.

В этот прощальный вечер в березовой роще вокруг костра немало было рассказано историй, поведано биографий. Председательница колхоза Марфа Герасимовна нашла себе прекрасного собеседника в лице солдата Петухова, бывшего колхозного бригадира. Они степенно разговаривали о колхозных делах, а рядом велись другие разговоры — то веселые, то грустные, то тяжеловесно-легкомысленные. Кто-то из женщин принес бутылку самогона, и Веретенников в виде исключения притворился, что не замечает, как солдаты по очереди выпивают из единственного граненого стакана и, крякнув, ставят стакан на траву.

В этом маленьком обществе, собравшемся столь случайно, шла та же сложная жизнь, что и в больших обществах: мимолетные симпатии и антипатии, добрые чувства и маленькие заговоры, тайные страсти и подспудные интересы.

Солдаты решили проводить женщин в деревню. Веретенников оставил охранять сено одного Петухова, а сам пошел с Соней. Он долго гулял с ней по деревне, если можно было назвать деревней ряды землянок, вырытых на месте сожженных хат. Возвращаясь к себе в рощу, он заметил на дороге при свете луны блестящие нити сена между свежими следами колес. И Веретенников вспомнил, что председательница колхоза не ушла вместе со всеми в деревню, а осталась с Петуховым. И он вспомнил торопливый скрип колес, доносившийся до него издалека во время прогулки.

Одинокий Петухов стоял на опушке, куря махорочную скрутку.

Веретенников прошел мимо и направился к сену. Да, недоставало нескольких тюков. Он вернулся и пристально посмотрел в непроницаемое лицо Петухова, но ничего не сказал. «Колхоз-то ведь тоже наш»,— мысленно оправдался Веретенников перед высоким начальством — своею совестью.

На рассвете из города прибыли грузовые машины. Веретенников сдал сено. Шестеро солдат вышли из рощи по проселку к большой дороге и отправились в путь.

Они вначале шли пешком, потом некоторое время двигались на попутной машине, снова пешком, на попутной подводе и снова на машине. Они заночевали в холодной избе у дороги, а на рассвете опять тронулись в путь и в полдень оказались на

железнодорожной станции, если можно назвать станцией маленькую дощатую будку рядом с развалинами бывшего каменного вокзала. Здесь они сели в один из товарных составов, следовавших в Брест.

Вагон, в котором они устроились, был нагружен тяжелыми асбестовыми плитами. Понемногу вагон переполнился. Женщины в ватных телогрейках, безрукий инвалид, несколько подростков-мастеровых с хмурыми взрослыми лицами, мальчик и девочка в насквозь промокших рваных башмаках — все они расселись на своих фанерных сундучках и матерчатых торбах.

Поезд долго стоял, словно навсегда прилепился к рельсам неподвижными темными колесами. Казалось даже, что он стоит не на колесах, а на четырехугольных железных чурках, которые вообще не способны двигаться.

Внезапно заплакал мальчик. Он дрожал от холода. Солдат Атабеков снял с него башмаки, взял мальчика к себе и завернул его ноги в полу своей шинели. Небаба строго спросил у девочки, куда и зачем она тащит с собой такого малыша. Девочка сказала, что едет с братом за хлебом, так как их мать работает на спичечной фабрике и не может отлучаться. И вот девочка с мальчиком ездят менять вещи на хлеб. Помолчав, девочка объяснила, что она может нести пуд хлеба, а мальчик — полпуда.

Поезд тронулся. Все задремали. Только Атабеков и мальчик тихо разговаривали. Мальчик жевал кусок хлеба и говорил шепотом:

— Ой, дяденька, сколько махорки на вашем хлебе.

— А ты обтруси, обтруси,— шептал в ответ Атабеков.

Поезд то шел, то останавливался. Было холодно и тяжко, и каждому было жалко себя и других.

— Никогда больше не поеду на поезде,— сказал Веретенников, когда они утром прибыли на станцию Брест.

Название «Брест» поневоле напомнило о первом дне войны. Сержант Веретенников вспомнил, что он в то памятное воскресенье (Брест уже пылал) выехал вместе с другими рабочими Ивановского меланжевого комбината за город. Он тогда ухаживал за одной девчонкой и именно в то утро окончательно понял из разных мелочей, что он ей не нравится. И до часу дня, когда они узнали от проезжего велосипедиста о войне, Веретенников считал, что на свете нет более несчастного человека, чем он.

И только когда велосипедист крикнул им о том, что случилось, Веретенников, несмотря на свой малый жизненный опыт, понял, что уже нет на свете ничего важного, кроме войны.

Возле моста через Буг шестеро солдат сели в машину, груженную тюками с летним обмундированием для действующей армии. Шофер стал рассказывать Веретенникову о своих домашних делах. Он жаловался на мачеху, которая плохо относилась к его жене и всячески ее тиранила. В разгар войны он про это старался не думать, теперь же рассуждал о том, что ему придется ставить собственную избу. И он прикидывал, во что это обойдется, и беспокоился насчет леса, так как сторона у них безлесная, степная — Заволжье.

Машина мчалась по волнистой польской равнине. Но хотя солдаты внимательно смотрели на проносившиеся мимо незнакомые картины иной страны, разговаривали они больше о своих домашних делах. Почуяв конец войны, они устремились душой не вперед, как это было раньше, а назад, к оставленным домам и семьям. В то же время они хотели скорее догнать свою часть, потому что понимали, что их путь домой лежит еще через фронт. И так они ехали на восток, двигаясь на запад. И если бы им сказали, что, для того чтобы вернуться домой, надо обогнуть земной шар,— они безропотно проделали бы весь путь — пешком и на машинах, с боями так с боями, а ежели в тылах, то и в тылах.

Как ни хорошо было на мягких тюках с обмундированием, но следовало узнать, хотя бы приблизительно, где находится дивизия. С этой целью солдаты простились с шофером в одном польском городе и пошли разыскивать советскую комендатуру. Веретенников спросил у проходившего мимо поляка в высокой шляпе, где находится советская комендатура, на что поляк ничего не ответил, только с какой-то смесью издевки и вражды, скосил глаза и прошел, словно перед ним стояли не люди, а, скажем, стая ворон.

Из этого случая Небаба сделал скоропалительный вывод, что «поляки нас не любят» и что «как волка ни корми...».

Поэтому он предложил Веретенникову обратиться с тем же вопросом к проходившему неподалеку человеку в рабочей одежде и не в шляпе, а в горохового цвета фуражке с наушными клапанами. Однако Веретенников, в котором проснулась любознательность и жажда исследования, обратился не к этому человеку в рабочей одежде, а к другому — тоже в шляпе. Этот

другой прогуливался по тротуару деревянной походкой. Он был прям, худ, полон важности и очень вежлив: несмотря на довольно сильный дождь, он при встрече с знакомыми — а знакомых у него было, очевидно, много — широким жестом приподнимал шляпу.

Приподнял он шляпу и тогда, когда к нему подошел Веретенников, и во время разговора стоял с непокрытой головой. Он внимательно выслушал Веретенникова, объяснил очень подробно, как пройти к советской комендатуре, и даже проводил солдат до угла, чтобы показать им направление. И солдаты сделали вывод, что жизнь гораздо сложнее, чем это кажется Небабе, и что если можно было бы различать друзей и врагов по их головным уборам, то на свете было бы гораздо легче жить.

В комендатуре солдатам сказали, что фронт находится так далеко на западе, что коменданту даже неизвестно точно — где именно. Им посоветовали двигаться на запад, все время на запад.

Переночевав в комендатуре, солдаты рано утром опять двинулись в путь. Город еще спал. Только кое-где в маленьких лавчонках и во дворах начиналось движение, слышались зевки, виднелись растрепанные головы женщин. Небо было по-утреннему серое, подернутое легким туманом. Но с каждой минутой туман таял, небо вскоре очистилось и заголубело. Большая дорога терялась среди холмов. На придорожных деревьях вовсю заливались птицы. Огромное солнце вставало за спиной. Впереди солдат двигались их длинные пресмешные тени, уходя головами чуть ли не к самому горизонту. Тени становились все короче, воздух — все теплее, настроение — все лучше.

Вскоре солдаты догнали целый табор мужчин, женщин, детей и стариков. Толкая перед собой тачки или ведя рядом с собой нагруженные кладью велосипеды, эти люди шли по обочине дороги. Минут двадцать они и солдаты шли рядом — два чуждых друг другу мира. Потом солдаты сели в тень, чтобы позавтракать, а те — ушли вперед. Потом те люди расположились табором в придорожной роще, чтобы позавтракать, и солдаты их обогнали и ушли несколько вперед. Затем солдаты, которые мало спали этой ночью, решили соснуть. Они свернули с дороги вправо, но поблизости не нашлось подходящего места — здесь росли осинки и было мокро. Зато дальше, примерно в полукилометре, виднелось хорошее высокое место, с оползшими песчаными краями, из которых там и сям торчали корни сосен.

В этой сосновой роще на травке, выросшей на песке и пригретой солнцем, солдаты уснули. А когда они проснулись, то обнаружили, что неподалеку от них расположился все тот же табор. Что это был именно тот, а не другой, можно было узнать хотя бы по тому, что тут крутилась девчонка с такими рыжими волосами, каких, вероятно, немного сыщешь на свете. Ее ослепительная голова мелькала то тут, то там среди сосен.

Зуев, у которого в Архангельской области жил сын почти с такими же рыжими волосами, подошел поближе и долго следил глазами за этой девчонкой; она слонялась по лагерю, голодными глазами заглядывала в горшки с пищей, которую кое-кто варил на небольших кострах, или приставала к другим детям — то толкнет мальчишку, то вцепится в волосы девчонке, потом отбегает, прячется за дерево и через минуту появляется на другом конце поляны.

Зуев следил за ней, усмехаясь. Потом до него донесся разговор сидевших неподалеку мужчины и женщины. Прислушавшись, он сделал большие глаза и быстро вернулся к своим.

— Это немцы,— сказал он.

Солдаты удивились. Немцы в их представлении были жестокими, вооруженными до зубов людьми. Солдаты подошли ближе к немецкому табору. И чем дольше они глядели, тем яснее становилось для них то как будто простое обстоятельство, что это были старики, женщины, мужчины и дети, хотя они были немцами. Солдаты видели, как немцы едят скудную пищу, варят суп-затируху из одной воды с какой-то темной мукой — суп, достаточно знакомый и русским людям на всем протяжении огромного тыла. Негромкие разговоры, плач маленьких детей и визг больших, отчаяние матерей и тупая покорность мужчин — все это было пронзительно знакомо.

Ненависть? Нет, солдаты не чувствовали никакой ненависти. В глазах солдат читались настороженность, недоверие, удивление, но не ненависть. Может быть, если бы они ворвались в Германию с боями, как те передовые части, что двигались впереди,— ненависть была бы. При данных обстоятельствах она даже не появлялась. Солдаты видели просто обездоленных людей, притом находящихся в пути, так же как и сами солдаты.

Веретенников выступил вперед и спросил у мужчины и у женщины, которые сидели ближе всех, куда они идут. Мужчина, мешая польские и немецкие слова, объяснил, что они беженцы из Силезии и что идут они неизвестно куда и остано-

вятся там, где им велят остановиться. Женщина заплакала. Солдаты покачали головами, и так как не могли этим беженцам ничем помочь, они просто отошли обратно к своей стоянке и стали готовиться в путь.

Одновременно стали готовиться в путь и немцы, и опять обе группы двигались некоторое время рядом. Потом немцы немного отстали. Внезапно послышался отчаянный плач и визг. Зуев обернулся и увидел, что высокий, костлявый, давно не бритый рыжий немец бьет ту самую рыжую девчонку: он держит ее левой рукой, а в правой у него ветка, и он хлещет этой веткой по ее спине и обнаженным ногам. Рядом стояла маленькая бледная женщина и, заламывая руки, кричала что-то — видимо, просила его не бить девочку. Но мужчина не слушался ее и продолжал бить, пока Зуев не толкнул его в спину. Тогда немец выпустил девочку, уронил ветку и застыл в позе вконец разбитого человека.

— Не смей,— сказал Зуев.— Скотина ты.

После этого Зуев вернулся обратно к своим и сказал сердито:

— Ну их! Немцы проклятые! — Он говорил это со всей искренностью и непритворным возмущением, хотя сам не раз бил своего сына и не считал это таким зазорным. Со стороны все казалось гораздо страшнее. К тому же это была девочка. Все-таки Зуев пообещал себе, что и сына своего больше бить не будет, и тайком смахнул с ресницы слезу.

— Чего это машин все нет да нет? — спросил Зуев помолчав.

Машины вскоре появились, и солдаты поехали дальше. Но случилось так, что машины эти должны были свернуть с главной дороги на боковую, и солдатам пришлось на повороте спрыгнуть. Чтобы не терять зря времени, они не стали дожидаться новых машин, а пошли потихоньку пешком к закату. Закат был очень красив, его красные зори легли по небу размашисто и стремительно. Эти алые полосы на горизонте напомнили солдатам фронт. Им даже почудились выстрелы неподалеку. Но нет, не почудились, а действительно неподалеку раздались частые выстрелы. Впереди на дороге стояло несколько грузовых машин. Стрельба слышалась оттуда. «Вот мы и дошли»,— подумал Веретенников и вздохнул; он быстро взял в руки свою винтовку, сошел с дороги на обочину и, пригнувшись, пошел по направлению к машинам. Подойдя ближе, он увидел, что в ку-

зовах машин стоят советские солдаты, у каждого из них в руках винтовка, устремленная в небо, и солдаты стреляют вверх. Веретенников поднял глаза к темневшему небу, рассчитывая обнаружить в нем вражеский самолет, а солдаты на машинах что-то кричали и все стреляли. И вдруг Петухов дрогнувшим голосом сказал:

— Война окончилась.

И сел на траву.

Почему-то это движение показалось всем очень естественным, и все, кроме Веретенникова, тоже сели, а некоторые даже легли на траву. Один только Веретенников стоял. Ему хотелось обнять всех людей подряд и болтать без умолку и в то же время хотелось уползти в лесную глушь и долго, несколько дней подряд, сидеть там в одиночестве.

I

Все остановилось. Вначале это ощущалось всеми так, словно остановилось само время,— настолько люди привыкли к движению, к перемене мест, к стремлению вперед, на новые пространства. Время представлялось столь слитым с пространством, что казалось — минута, час, день, неделя суть не более как особая мера для километров. Между тем текли часы, шли дни и недели, а место не менялось. К этому новому состоянию привыкали медленно, и только постепенно из глаз выветривался угар непрерывного движения и в сердце остывала страсть перенапряженной жизни.

Капитан Чохов проснулся однажды летом в очень мягкой постели. Ему снилась атака на некий безымянный, покрытый снегом холм. Во сне он кричал до хрипоты «вперед, в атаку», а рядом рвались снаряды, снег, шипя, таял по краям воронок и кто-то стонал. Все во сне было настолько натуральным, лица людей так бледны и сосредоточенны, сердце настолько сжато,— одним словом, все душевное состояние и приметы времени и места так походили на истинные, что Чохов, проснувшись в теплой и мягкой постели, не понял, где находится. Вдобавок раздался чистый и медленный бой больших часов, и Чохов решил, что он убит.

Но даже вспомнив, что он в немецком городе Виттенберге, на Эльбе, и война уже почти два месяца как окончилась, Чохов

заметил, что его не оставляет смутное чувство тревоги. Постепенно до него дошла и причина этой тревоги: сегодня ему предстояло сдать роту. Более того, расформировывалась вся дивизия и, кажется, весь корпус, в состав которого дивизия входила. Пожилые солдаты уезжали домой, молодых надо было передать другим частям, а офицеры направлялись на специальные комиссии, решавшие, что делать с тем или иным: отпустить из армии или оставить в кадрах.

Чохов положительно не знал, что он будет делать, если его демобилизуют. Будущее вне армии казалось ему невозможным и тяжким, как наказание. Излишне независимый и даже несколько своевольный в привычных условиях армейской жизни, он, по правде говоря, страшился житейской самостоятельности. Принимать решения за себя,— то есть самому выбирать место, куда ехать, дело, которым заняться, создавать свой угол на земле,— все это пугало его. Он теперь думал об армейских строгостях и суровых уставных правилах, нередко стеснявших его раньше, с нежностью необыкновенной. «Выполнить приказ» — как привычно было это словосочетание, как убедителен был его смысл, избавлявший от необходимости строить собственные жизненные планы.

Оторванный годами войны от гражданской жизни и, собственно говоря, даже не вкусивший ее за молодостью лет, Чохов с легким презрением — но и не без трепета — думал о заботах насчет одежды, жилья, службы, уборки и стирки.

Чему научился он, Чохов, за время войны? Что он умеет? Что знает? Он умеет командовать людьми, добиваться от них выполнения своих приказаний. Он знает назубок все существующее в двух величайших армиях пехотное оружие — станковые и ручные пулеметы, винтовки, автоматы, гранаты и противотанковые ружья. Он научился ориентироваться в кажущейся неразберихе боя, противопоставлять ей свою волю, более сильную, чем страх смерти. Он вообще отучился от страха, по крайней мере — от внешнего проявления страха. Коротко говоря, Чохов научился каждый день и каждую минуту быть готовым умереть за свою родину.

Но беда в том, что прекрасное и трудное умение это представлялось теперь Чохову никому не нужным. Молодой человек, искушенный в военном деле, но слабо знающий историю и политику, искренне полагал, что врагов больше нет. Хотя он и радовался этому, не без самомнения считая, что и он немало

потрудился для уничтожения врагов Советского Союза, но в то же время не мог себе представить, что делать дальше.

Снова пробили часы. Чохов насчитал шесть ударов и встал с постели. Не вскочил, как он это делал четыре года подряд, а именно встал — медленно, не спеша, как встают люди, которых не ждет никакое важное дело.

Окна были открыты, шторы раздувались, как паруса, и сквозь них пробивался утренний свет. Большая тихая спальня немецкого бюргерского дома предстала глазам Чохова. Он увидел бесчисленные статуэтки, низенькие пуфы, стенные коврики с вышитыми надписями, пузырьки и склянки на столике трюмо. Тем необычайнее выглядела здесь фуражка с красной звездой, пистолет, несколько наставлений в красных обложках и раскрытая книга — «Чапаев» Фурманова. Даже в воздухе этой комнаты все время боролись два запаха: один — застарелый, терпкий, составленный из смутного благоухания туалетного мыла, детской присыпки, выутюженного семейного белья и пота трех поколений живших здесь людей; другой — новый, пронзительный — запах табака, ременной кожи, солдатского сукна и елочной хвои и тот долго не выветривающийся запах, который так хорошо знаком солдатам и охотникам,— запах пороха.

Эти запахи, то смешиваясь, то отталкиваясь, попеременно побеждали то в одном, то в другом углу и, наконец, уступили место свежему и далекому от мировых проблем благоуханию хорошего летнего утра, бурно ворвавшемуся в комнату.

Чохов распахнул штору. Город лежал тихий, светлый и пустынный. Утреннюю тишину нарушало только громкое жужжание больших зеленых мух да редкое хлопанье форточек.

— Надо идти,— сказал Чохов.

Он оделся и вышел. Улицы еще спали. Лишь изредка навстречу Чохову попадались одинокие немцы и немки. Чохов не обращал на них никакого внимания. Он усвоил по отношению к ним полную и безусловную нейтральность. Они были для него всего только частью городского пейзажа, а сам город, очень древний, уютный и тихий,— не более как населенным пунктом, в котором временно дислоцируется полк и в его составе — вторая стрелковая рота. Город Мартина Лютера — Виттенберг — с его памятниками, надгробьями, собором, церквами, с воспоминаниями бурной истории и нынешней жизнью его был для Чохова всего лишь небольшой частью военной топографической карты.

Чохов миновал древнюю ратушу, украшенные чугунной резьбой памятники немецким реформаторам шестнадцатого века, старинный Виттенбергский собор. Он смотрел на все это не менее равнодушно, чем эти старые камни смотрели на него. Во всем чуждом ему Виттенберге его интересовало одно только здание — та красная кирпичная казарма, где помещались солдаты.

Во дворе казармы было шумно, несмотря на ранний час. Солдаты — некоторые из них были еще без гимнастерок — перекликались, бегали как угорелые и, по всей видимости, радовались предстоящим большим и желанным переменам в их жизни. Они на ходу приветствовали так рано пожаловавшего капитана, который прошел по двору с подчеркнутой чопорностью, всем своим подтянутым, опрятным и неприступным видом как бы выражая неодобрение царившей кругом веселой сутолоке. Еле отвечая на приветствия, он проследовал неторопливым шагом в здание, поднялся на второй этаж в длинный гулкий коридор со сводчатыми потолками и остановился перед дверьми, за которыми жила его рота.

Нет, это была уже не его рота, и горечь разлуки пронзила сердце капитана. Разумеется, дневальный дал команду «смирно», все вскочили с мест, старшина Годунов молодцевато отрапортовал. Все шло по заведенному порядку, ничем в сущности не отличаясь от того, что было вчера и неделю назад. И все-таки все было иначе. Никто не спал, хотя подъем по расписанию полагался в семь часов; постели были заправлены чересчур старательно: так заправляют постель люди, которые не собираются уже спать на ней более; пожилые солдаты, подлежащие демобилизации, сгрудились в дальнем углу казармы, похожие на птиц, держащихся вместе перед отлетом. Чохов обвел солдат взглядом, которому он хотел придать суровость, но взгляд получился вовсе не суровый, а скорее грустный.

Он сказал: «Вольно». Солдаты ушли на утреннюю зарядку; потом они отправятся в столовую завтракать. В казарме остался только дневальный. Чохов тоже не уходил, бродил среди коек, словно чего-то искал. Потом он стал глядеть в окно — как всегда подтянутый, опрятный и непроницаемый, так что со стороны могло показаться, что он недаром здесь стоит, а о чем-то важном думает или наблюдает за чем-то, полагающимся по службе.

Командиры взводов опоздали на несколько минут — не-

брежность, которую Чохов терпеть не мог. Видно, они сегодня сочли возможным не обращать на это внимания. Так как никаких изменений в распорядок дня не поступало, Чохов приказал им вести солдат на тактические занятия. Они немного удивились, однако построили солдат, и рота повзводно отправилась за город. Чохов же пошел в штаб батальона узнать, что делать дальше.

В штабе сидели одни писаря. Они писали длинные списки демобилизуемых. Чохов постоял здесь минут пять и пошел в штаб полка.

В штабе полка царила невообразимая суета. Громовой голос командира полка подполковника Четверикова доносился из соседней комнаты. Там же, по-видимому, находились и комбаты. В самой большой комнате распоряжался майор Мигаев. Его осаждали интенданты и старшины. Речь шла о подарках демобилизуемым солдатам. Только что получены мотоциклы, велосипеды и радиоприемники. Писаря сидели за столами и беспрерывно писали ведомости. Две пишущие машинки беспрестанно стучали.

— Где ваша рота? — внезапно спросил Мигаев, заметив Чохова.

Чохов ответил, вытянувшись и приложив руку к козырьку фуражки:

— На тактических занятиях согласно расписанию. Тема: наступление стрелкового взвода на долговременную огневую точку противника.

Мигаев усмехнулся и сказал:

— Что ж! Правильно.— Потом добавил: — Не уходите. Мне надо с вами поговорить.

— Есть,— сказал Чохов и подошел к окну.

В комнату ввалились офицеры-артиллеристы из другой части. Мигаев сдал им по акту полковую артиллерию. Они вместе с Мигаевым и начальником артиллерии полка вышли во двор, и Чохов из окна увидел всю церемонию сдачи пушек и минометов. Большие тягачи цепляли пушки и минометы. Орудия были начищены до блеска; казалось, что они совсем новые. Только на стволах виднелись отметины, которыми пушкари засекали количество подбитых вражеских танков, транспортеров, самоходок. Шоферы и артиллеристы курили, о чем-то разговаривали. Пожилой минометчик с двумя орденами Славы на груди ласково трогал большими узловатыми пальцами ствол своего

миномета. Колонна артиллерии тронулась наконец в путь, а полковые артиллеристы, оставшиеся во дворе, долго махали ей руками, прощаясь, очевидно навсегда, со своим оружием.

Мигаев снова вошел в комнату. Шел он не так, как обычно — быстро, вприпрыжку, а медленно, устало. Следом за ним появился какой-то интендант, сообщивший, что он привез машины с сахаром, сыром и маслом — продуктовые посылки демобилизуемым.

— Так, значит,— сказал Мигаев, покосившись на Чохова,— масло вместо пушек.

Потом Мигаев опять куда-то ушел, за ним потянулись писаря, и Чохов на минуту остался совсем один в комнате штаба. В этот момент открылась одна из дверей, и вошел командир полка Четвериков — большой, кривоногий, со своей обычной кубанкой на голове. Он не заметил Чохова. Он подошел к окну и так же, как давеча Чохов, походил туда и обратно по комнате.

Чувствовалось, что ему нечего делать и что праздность эта удивляет и беспокоит его. Заметив наконец одинокого Чохова, он пристально посмотрел на него, на мгновение принял независимый и деловой вид человека, который о чем-то важном размышляет. Потом, видимо решив, что ни к чему притворяться, или, может быть, уловив в глазах командира роты то же выражение, которое было и в его собственных глазах, он направился к нему, пожал его маленькую руку своей огромной жирной рукой (впервые за время совместной службы) и сказал:

— Отвоевались.

Слово было как слово, и не в нем была сила. Сила была в выражении глаз Четверикова. Он глядел на Чохова с нежностью, беспомощной потому, что она не могла ни в чем существенном выразиться.

Его позвали, и он тут же ушел. А Чохов, потеряв надежду дождаться Мигаева, покинул штаб и направился за город, туда, где находилась его рота.

II

Он подошел к своей роте в тот момент, когда солдаты расположились отдыхать. Они курили. Тонкие дымки сигарет подымались отвесно вверх: ветра не было.

Остановившись в придорожных кустах, Чохов посмотрел на

сидевших и лежавших в самых разнообразных позах солдат. Над ними неподвижно висела густая листва старых деревьев, незнакомых Чохову,— по-видимому, буков. Но и эти деревья, и причудливые холмики, поросшие травой, и красная черепица крыш недалекого селения, и бледно-голубая полоса Эльбы невдалеке — все это воспринималось Чоховым, но не фиксировалось в его голове. Внимание его было устремлено именно на людей в выцветших, почти белых гимнастерках. Он смотрел на них так, словно видел их впервые. Как всегда, парторг роты Сливенко был в центре оживленно беседующего кружка. Он что-то неторопливо говорил и время от времени рубил воздух коротким жестом правой руки. Чохов теперь глядел на него не бегло, не по-командирски, не так, как офицер рассматривает внешность одного из своих солдат, одним словом, не так, как смотрел на него раньше, а так, как один человек рассматривает другого. Он смотрел на него, как на незнакомца. Смуглое лицо, иссиня-черные усы, уютно примостившаяся под ними маленькая трубочка, добрые и спокойные глаза — все это, казалось Чохову, он видит впервые. «Красивый человек»,— подумал Чохов. Он никогда раньше не думал о ком-нибудь из своих солдат вот так, сугубо по-граждански. Ему очень захотелось узнать, о чем рассказывает Сливенко солдатам. «Наверно, о мирном строительстве»,— догадался он, усмехнувшись не без некоторого ревнивого чувства.

Перерыв между тем кончился. Солдаты неторопливо встали, рассыпались в цепь и начали лениво перебегать. Командиры взводов, три молодых лейтенанта, недавно прибывшие в полк, так же неторопливо шли — во весь рост — вслед за солдатами; туго набитые полевые сумки тяжело болтались на их боках. Чохов недовольно поморщился.

— Так и убить могут,— пробормотал он, недовольный забвением известного суворовского правила: «В учебе, как в бою».

Его заметили. Лейтенанты подошли к нему. Он коротко велел демобилизованных построить отдельно и вести их в казарму.

Пожилые солдаты покинули боевые порядки и, отряхнув с одежды приклеившиеся травинки и пыль германской земли, пошли к Чохову, не видя его. Они улыбались. Об этом миге они мечтали много недель, хотя ждали терпеливо и в полной готовности продолжать свою службу и дальше, если это понадоби-

лось бы. Нет, их вовсе не огорчала предстоящая разлука с командиром роты капитаном Чоховым и со своими насквозь просоленными, побелевшими от пота и дождя гимнастерками. Их ожидали в России семьи и труды, прерванные в то знаменитое июньское воскресенье 1941 года. Они построились и пошли обратно в город, пошли без песни, потому что уже принадлежали не армии, а своей частной жизни,— то есть они перешли из одной армии в другую, гораздо более обширную, в армию просто трудящихся людей.

В час дня на станцию Виттенберг были поданы эшелоны. Чохов, пришедший провожать солдат, молча стоял на перроне. Солдаты погрузились. Сливенко, назначенный помощником начальника эшелона, был все время занят погрузкой и уже перед самым отходом поезда подбежал к Чохову. Они молча пожали друг другу руки. Чохову хотелось что-то говорить, даже кричать: ему жалко было отпускать Сливенко — не от себя, а из армии. «Каких людей забирают из армии»,— думал Чохов, для которого армия была превыше всего. А когда он увидел, что у Сливенко увлажнились глаза, он ощутил внезапный жар в груди и впервые в жизни почувствовал, что может заплакать.

Поезд трогался. Сливенко обнял капитана крепким и кратким объятием и полез в вагон. Чохов же повернулся на каблуках и пошел, не разбирая дороги, в город.

Вечером того же дня уехали и старшина Годунов, и сержант Гогоберидзе, и остальные. Они направлялись в распоряжение Третьей ударной армии. Расставание с Годуновым было не столь печальным потому, что старшина, как-никак, оставался в армии, а переход из части в часть был в порядке вещей. Это как бы даже и не было расставанием, а обычным воинским перемещением. Все-таки Годунов и Чохов долго стояли возле машины под начавшимся к вечеру дождем. Правда, они ничего друг другу не говорили, но думали одно и то же, и каждый про себя вспоминал прошедшие бои, которые, канув в вечность, казались теперь еще более великими и более героическими, чем, может быть, были на самом деле.

Так или иначе, но после сдачи роты и отъезда солдат Чохов почувствовал себя совсем разбитым. Словно огромная волна, на гребне которой он долго плыл, вдруг отхлынула куда-то вдаль и оставила его на мокром песке.

Он сидел в комнате, не зажигая света. За этот долгий день он так уверовал в свое одиночество, в то, что он никому не ну-

жен, что с трудом скрыл удивление и радость, когда поздно вечером к нему неожиданно явились майоры Мигаев и Весельчаков.

Пришли они не потому, что подозревали о его состоянии. Теперь, когда распались служебные отношения и офицеры превратились из винтиков одной большой машины в индивидуальности,— каждый сам по себе,— одного потянуло к другому, и именно к тому, который и раньше казался интересным и занятным, но не было времени с ним общаться вне службы.

Комната ярко осветилась. Мигаев спел только что переписанную им песню «В прифронтовом лесу». У него был превосходный голос, чему Чохов несколько удивился, так как такой талант представлялся ему мало соответствующим должности начальника штаба полка. Потом все трое пошли к Четверикову. Неприступный, суровый, грубоватый Четвериков неожиданно оказался приветливым, гостеприимным и даже немножко смешным. Может быть, потому, что был теперь почти на одинаковом положении с остальными офицерами — «нули без палочек», как с усмешкой назвал их всех Мигаев. Они выпили, поужинали, и в ходе разговора выяснилось, что Четвериков высоко ценил Чохова, хотя ни разу об этом ему раньше не говорил.

На следующий день офицеры отправились в Потсдам, в отдел кадров. Поезда в это время уже возобновили регулярное движение, и все отправились на вокзал.

Здешние поезда дальнего следования выглядели как дачные и походили на трамвай — лежачих мест не было, поразительно маленькие вагоны имели не по две двери, а по нескольку с обеих сторон: каждое купе вагона — свою дверь со своими ступеньками.

Поездка по железной дороге была вообще для офицеров непривычна: воюя, двигались главным образом пешком, на машинах или верхом. Тем более на немецкой железной дороге, с иностранными надписями, с раскрашенными в яркие цвета станционными зданиями, с узкой колеей, все представлялось особенно странным, почти игрушечным. Железнодорожники тоже были немцы, что казалось вовсе неправдоподобным. Чохов впервые почувствовал себя здесь «за границей». Конечно, играло тут роль и то обстоятельство, что он находился не в составе воинской части, а сам по себе, и был в конечном счете не более как пассажиром.

Как правило, у офицеров было по два чемодана. Только Чохов пришел с одним маленьким чемоданчиком, притом фанерным, грубо сколоченным, по-видимому самодельным. Это было все, что Чохов приобрел за годы войны, и надо сказать, что Четвериков, погрузивши свои три чемодана, посмотрел на чемоданчик Чохова с тем уважением, какое вызывает даже у корыстных людей бескорыстие и равнодушие к собственности.

Заняв места в одном из вагонов, предназначенном для советских военнослужащих, что явствовало из прикрепленного к нему ярлычка на русском и немецком языках, офицеры расформированного полка закурили. Поезд вскоре тронулся.

Чохов глядел в окно. Разговаривать ему не хотелось. Люди рядом с ним смеялись, пели, обменивались впечатлениями о Германии, о немцах, рассказывали о полученных в последние дни письмах с родины. Чохову все это было неинтересно, у него не было родных и близких, а последние родные ему люди — солдаты — вчера разъехались кто куда. Он мог только мечтать о том, чтобы заполучить других солдат. Он чувствовал, что теперь он будет их ценить гораздо больше, чем ценил раньше. Он мечтал увидеть перед собой строй незнакомых людей в серых шинелях, которым он мог бы отдать приобретенное им умение и ту нежность, которая жила в нем глубоко под спудом.

При взгляде на сновавших кругом немцев и немок он простодушно огорчался их мирным видом. Он с недоумением спрашивал себя: «Неужели эти люди воевали против нас и воевали так упорно?» Он считал, что они больше никогда не подымутся и не посмеют сделать что-либо такое, из-за чего стоило бы держать под ружьем армию, а значит, и его, Чохова.

Странно было смотреть, как немцы ходят по перронам маленьких станций, тащат баулы и саквояжи, взбираются по ступенькам в вагоны и покидают их, чтобы разойтись по своим домам. Странно было смотреть на эту особую жизнь, которая все-таки шла своим чередом, вопреки всем потрясениям войны и оккупации.

Удивительнее всего было слышать свободно раздающуюся, повсеместно бытующую немецкую речь — тот язык, который за войну сделался ненавистным в немалой степени еще и потому, что до войны был из всех иностранных языков наиболее уважаемым и изучаемым в России.

Можно было догадываться о том, что немцы и немки живут жизнью настороженной, тревожной, не зная, что их ожидает

завтра и во что выльется пребывание здесь,— на станциях, в городах и селах,— этих, довольно молчаливых, чужих русских людей. Еще шли слухи о выселении всех немцев в Сибирь, о принудительных работах, на которые было якобы обречено все население этих мест, о зоне пустыни, которую русские собираются будто бы создать здесь по тому же способу, по какому действовали немецкие войска на русской территории.

Они глядели на советских офицеров с некоторым страхом, но не без пытливости, словно хотели прочитать в глазах русских людей свою грядущую судьбу. Но русские проходили и проезжали мимо них, как бы существуя в ином измерении: это были два мира, две атмосферы, каждая из которых жила своей отдельной, резко обособленной жизнью.

Между тем поезд двигался по лесистым равнинам, маленький вагончик невыносимо трясло, голоса гудели. Темнело все больше.

В Берлин приехали к вечеру и с вокзала на попутных машинах отправились в Потсдам.

III

Прибывших офицеров разместили в домах, прикрепили к столовой и оставили в покое. Казалось, никто отныне не интересовался ими. Их не вызывали и не торопились назначать на должности. Понаехало их сюда очень много, и вся окраина города кишела молодыми людьми в кителях с погонами и эмблемами всех родов войск. Медали позвякивали на них. Бесчисленное множество разнообразнейших лиц ежедневно мелькало мимо Чохова во время его коротких хождений от дома, где он расположился, до отдела кадров и обратно. Изредка встречались и знакомые, но их было очень мало.

Вскоре многие офицеры взяли краткосрочные отпуска на несколько дней. Весельчаков уехал в медсанбат к своей жене Глаше, Мигаев — к фронтовым друзьям-сталинградцам в 8-ю гвардейскую армию. Четвериков тоже вскоре исчез — по-видимому, отправился к своему брату-генералу во 2-ю танковую армию. Города по привычке не назывались, а назывались номера воинских частей; Германия еще не ощущалась офицерами как таковая, а только лишь как место дислокации полков, дивизий и армий.

Чохову стало совсем одиноко. Поселили его в небольшом домике, в комнате, где стояли две койки. Вторая койка была, несомненно, кем-то занята: под ней лежал чемодан, над ней висела шинель с капитанскими погонами. Однако Чохов жил тут пять дней, а сосед все не появлялся. Он впервые заявился только на шестой день, и то часа в четыре утра. Чохов проснулся оттого, что услышал стук захлопываемой двери. Открыв глаза, он заметил сразу, что соседская шинель исчезла со стены. Позднее он увидел на столике записку, написанную размашистым неровным почерком. Она гласила:

«Капитан, прошу не волноваться. Я забрал свою шинель. Спокойного сна. У меня в тумбочке пол-литра немецкого ликера, можешь пользоваться, не возражаю. Капитан Воробейцев».

Чохов усмехнулся, оделся, пошел завтракать, потом направился опять, как ежедневно, в отдел кадров. Он здесь снова потолкался среди офицеров. Сегодня их было особенно много, главным образом подполковников и полковников. Время от времени появлялся даже генерал, а то и два сразу. Это обилие больших начальников, ждущих, как и он, Чохов, назначения, заставило нашего капитана почувствовать себя совсем маленьким человеком. Если в полку он все-таки был видным офицером, одним из тех отчаянных ребят, каких не так уж много бывает в любом полку, то здесь он вскоре перешел от повышенного самоуважения к столь же преувеличенному самоуничижению.

Добро бы у него хватило смелости подойти к какому-нибудь из офицеров отдела кадров и настойчиво поговорить с ним! Но дело в том, что, убедившись в своей малости, он из чувства робости, смешанного с самолюбием, ни у кого ни о чем не спрашивал, а только смотрел глазами, полными грусти, на столы с бумагами, картотеками, ведомостями, на сердитые затылки кадровиков. Потом он уходил.

На этот раз он пошел бродить по Потсдаму. Город был сильно разрушен американскими бомбежками. Не следует думать, что Чохов интересовался достопримечательностями старой прусской столицы,— нет, он глядел на дворцы, соборы, парки с полным безразличием. Город он осматривал только с точки зрения участника прошедших здесь боев. Он вспоминал отдельные эпизоды этих боев. Вот здесь его рота форсировала озеро. Справа, в этих двух подвалах, засели фаустпатронники. В этом

дворце стоял штаб дивизии. По-видимому, вот здесь, на газоне,— теперь очень густом, с удобными скамейками вокруг,— был убит солдат Кучерявенко.

Чохов довольно долго смотрел на этот газон. На одной из скамеек сидела старая немка и что-то ловко вязала на спицах — может быть, чулок.

Город кончился, и началось то, что Чохов именовал «лесонасаждениями» — то есть, попросту говоря, рощи и леса. Он вспомнил, что здесь где-то рота окапывалась, но, несмотря на короткое время, прошедшее с той поры, никак не мог найти окопы и долго искал их неизвестно зачем. Наконец он их нашел — они густо заросли травой и были почти незаметны. Чохов испытал неопределенное удовольствие, когда влез в один из них — и именно в тот самый, который он и занимал тогда. Слева находилась санрота, и он кричал из своего окопчика, чтобы она убиралась отсюда, так как ей тут не место — она демаскирует расположение роты. Затем появились наши танки Т-34, сбившие здесь немало молодых деревьев. Он тогда подошел к командиру танкового батальона, и они договорились о том, что рота сядет на танки.

Теперь лесок стоял чистенький и гладенький. От сбитых танками деревьев не осталось и следа, даже пеньков не осталось — наверно, немцы спилили их на топливо.

Немного дальше в лесу играли дети. Они перекликались и ловили друг друга. При виде Чохова они остановились на минуту, потом забегали снова. И Чохов только теперь понял, что это немецкие дети, потому что сначала он принял их просто за детей — скажем, за русских детей. Он вспомнил, что однажды в бою — может быть, это было здесь, а может быть, где-то в другом месте — он встретил немецких детей, которые укрылись в яме возле глухой стены небольшого дома. Увидев Чохова — он тогда оброс и на руке его был окровавленный бинт,— они подняли на него испуганные круглые глаза и один, самый маленький мальчик, спрятал лицо и заплакал. Чохов прошел тогда мимо, не обратив на них особого внимания, хотя плач этого маленького ребенка чем-то и задел его; они, дети в яме, были обыкновенной военной картиной; он видел детей в ямах четыре года подряд.

Нынешнее поведение детей поразило Чохова своим контрастом с прошлым. Он остановился и некоторое время смотрел на то, как они резвятся, ловят друг друга и визжат.

Он пошел дальше. Становилось все пустыннее, все глуше. Темная и буйная зелень напирала со всех сторон. Над дорогой смыкались верхушки лип с очень крупными листьями, почти с кленовые величиной.

Кругом не было ни души, но Чохов шел, как всегда, четким солдатским шагом, подтянутый и строгий, словно на виду у множества людей. Потом он вдруг подумал, что хорошо бы прилечь на траву и поваляться на ней. Эта мысль показалась ему немножко дикой и попросту трудно исполнимой, потому что он отвык от отроческих поступков и забав, вынужденный в течение нескольких лет оставаться серьезным в этих более чем серьезных обстоятельствах. Тем не менее он сел на траву. Она была высокая и прохладная. Он огляделся, потом лег. Тут он увидел над собой дрожащую и пронизанную солнцем листву. Казалось, она не имеет ни конца ни края, уходит и ввысь до неба и в стороны до горизонта. Каждый листок дрожал, светился, жил сам по себе, но в то же время было заметно, что он принадлежит к целому сообществу других листьев, и это сообщество, эта ветвь тоже имеет свою отдельную жизнь, отдельную дрожь и особое свечение. Эта ветвь чем-то иногда неуловимым, то темным тенистым прогалом, то, напротив, особо яркой протокой солнечных лучей, отделялась от других ветвей, от других сообществ, каждое из которых, в свою очередь, жило своей жизнью, в то же время полностью разделяя роскошную, трепетную жизнь всего дерева.

Чохов медленно встал, воспоминания детства оглушили его. Он подошел к дереву, неожиданно для себя самого ухватился руками за нижний сук, подтянулся и через секунду очутился среди листвы. Листва окружала его, нежно царапала лицо, а он взбирался все выше, потом уселся на ветку и замер. Рядом с ним опустился зеленый жук. Опустился и сразу же ослепительно засверкал, поймав спиной луч солнца.

Откуда-то появились голуби. Они покружились вокруг дерева, потом сели на траву и засеменили по ней, грациозно помахивая шейками и время от времени поворачивая к Чохову чудесно посаженные головки.

Потом внезапно затрещали крылья, голуби взлетели высоко в небо. И Чохов, следя за их полетом, впервые за последние годы посмотрел на небо просто как на небо — так же, как на днях он смотрел на своих солдат просто как на людей,— а не на пространство, за которым надо следить, ибо оттуда в любую

минуту может появиться враг. Стрекозы удивительной расцветки трепетали крыльями в солнечных лучах.

Может быть, тут сыграли роль эти голуби: Чохов был в детстве страстным голубятником. Так или иначе, ощущение мирного времени обрушилось на Чохова со всей небывалой раньше убедительностью.

— Мир,— сказал Чохов.— Мир,— повторил он громче. От повторения слово вскоре потеряло свой смысл, но ощущение осталось. Однако раздавшийся неподалеку властный гул автомобильной сирены вдруг напомнил Чохову, кто он и где находится. Чохов быстро соскользнул вниз, встал под дерево и только успел принять приличествующий офицеру благообразный и серьезный вид, как показались два автомобиля-тягача. Они остановились, и из переднего высунулся майор. Он спросил у Чохова дорогу на Гельтов.

— Прямо,— ответил Чохов.— Никуда не сворачивайте.

Голос его уже звучал размеренно и спокойно. Он откозырял майору. Когда машины проехали, Чохов сердито посмотрел вверх на дерево, враждебно покосился на вьющихся стрекоз и, мысленно обругав себя за детские забавы, пустился в обратный путь.

Снова придя в отдел кадров, он примостился там в углу и, хотя рядом стояли стулья, не садился, так как сюда то и дело входили люди высоких званий. Чохов же обязательно вставал при входе всех офицеров от майора и выше. В этом вставании было не столько уважение к этим людям как таковым, сколько уважение к мундиру и, может быть, еще демонстративный упрек всему миру в том, что Чохов так долго засиделся в капитанах. «Дескать, я, конечно, встану и первый отдам честь любому майору, хотя (и именно потому что) мне давно полагается самому быть майором».

Но так как вскакивать каждую минуту перед майорами тоже было не очень интересно, то он и не садился вовсе.

Теперь, к концу дня, людей стало меньше, дверь открывалась все реже. Наконец народу стало совсем мало, и Чохов почти решился подойти к одному из работников отдела, некоему майору Хлябину, который, как говорили, ведал «мелкой сошкой». В этот момент дверь распахнулась, и в комнату широкими шагами вошел капитан. Он был высок ростом, худощав, одет с иголочки — в защитном кителе и синих галифе с малиновыми кантами. На боку у него болтался не без шика большой

авиационный планшет. Его бледное, мучнистого цвета лицо, прямые светло-желтые волосы и маленькие глазки в глубоких глазницах показались Чохову знакомыми и неприятными.

Щеголеватый капитан со многими офицерами был знаком, совал всем руку. С офицерами же отдела кадров он вел себя совсем запанибрата, нагибаясь над их столами и шепча что-то на ухо то одному, то другому. Майора Хлябина он даже хлопнул по спине.

Нельзя сказать, чтобы эти нашептывания и развязные манеры нравились окружающим, но в капитане чувствовалось то неуважение к людям, которое действует на них расслабляюще и встречает отпор только в людях волевых или очень нервных или, наконец, в прямых начальниках, имеющих непререкаемое право одернуть, поставить на место. Обыкновенных людей эта развязность обезоруживает. Люди чувствуют в таком человеке или угадывают в опасных огоньках, время от времени загорающихся в его глазах, ту не знающую преград самоуверенность, которая может в любую минуту обернуться невыносимым озорством.

Чохов, который сам был нелюдим и, несмотря на свою независимость или благодаря ей, робел перед людьми и трудно сходился с ними, почувствовал к вошедшему капитану мимолетную антипатию, но в то же время и некоторую зависть. Он позавидовал именно развязности вошедшего, именно его легкости в обращении с людьми, которой Чохов был лишен и из-за отсутствия которой,— так по крайней мере думал Чохов,— он до сих пор не получил назначения.

Сидевшие рядом офицеры разговаривали о том, что комиссия весьма охотно отпускает из армии тех, кто хочет демобилизоваться, тех, в ком, по характеру их довоенной деятельности, нуждается народное хозяйство, а также пожилых, больных и таких, что были на плохом счету и имели неважные характеристики. Прислушиваясь к этим разговорам, Чохов, естественно, воображал себя в последней из граф и хмуро сжимал губы. Он вздрогнул от неожиданности, когда щеголеватый капитан вдруг остановился возле него и громко воскликнул:

— Привет соседу! Я тебя узнал, хотя видел только спящим. Ждешь у моря погоды, капитан? Будем знакомы. Капитан Воробейцев.

Чохов буркнул в ответ что-то невнятное, не очень довольный обращением к нему на «ты» и вообще всей манерой Воро-

бейцева. Но Воробейцев как будто и не заметил хмурого выражения лица Чохова и продолжал:

— Я тебя и раньше где-то видел. Не у старичка ли Середы ты служил? Определенно. У Четверикова в полку? Точно. Меня не помнишь? Девичья память. Я был в штабе дивизии младшим помощником старшего холуя, а именно — из резерва был прикомандирован к оперативному отделению. Ты чем командовал? Ротой? Стрелковой? И жив остался?

Его кто-то позвал, и он исчез. И исчез именно в той таинственной и страшной двери, за которой заседала комиссия. Чохов невольно преисполнился уважения к нему, но когда капитан появился снова, Чохов отвернулся к окну — из самолюбия: он боялся, чтобы этот молодчик не подумал часом, что Чохов хоть сколько-нибудь стремится завязать с ним знакомство и способен просить у него помощи и покровительства. Но как ни странно, Воробейцев снова подошел именно к Чохову. Видимо, молчаливый капитан чем-то понравился говорливому капитану.

— Ликер выпил? — спросил Воробейцев.— Не выпил? Зря. Все в общежитии живешь? Не надоело еще? Как твоя фамилия? Птенец ты, Чохов, определенно! Ты все еще как на войне. Ком а ла гер [1], как говорил Дюма-отец, обнимая Дюма-мать!

Совершив этот неожиданный экскурс во французскую литературу, Воробейцев опять исчез и спустя несколько минут снова появился перед Чоховым. Он постоял с минуту молча, закурил сигарету, поглядел в окно. В профиль его лицо оказалось совсем другим. Неправильный, чуть кривой нос к концу заострялся. Одутловатая щека чуть свисала. Профиль его казался усталым, меланхолическим, сонным, в то время как анфас — энергичным и дерзким. Он повернулся всем лицом к Чохову и, поблескивая глазками, насмешливо спросил:

— Значит, ждешь назначения? Хочешь, устрою?

— Устрой,— сказал Чохов, смутившись. Смутился он потому, что сразу почувствовал, что должен был бы резко оборвать Воробейцева и, во всяком случае, не входить с ним в разговоры на эту тему. Но страх перед будущей судьбой оказался сильнее обычного прямодушия Чохова.

[1] Как на войне *(франц.)*. (Перевод иностранного текста и примечания принадлежат автору.)

IV

И все-таки Чохову стало так не по себе от этого разговора, что он при первой же возможности юркнул в дверь. Очутившись на улице, он остановился в раздумье, потом двинулся по направлению к своему общежитию. Но Воробейцев, выйдя вслед за ним, окликнул его. Чохов снова удивился: по какой такой причине его скромная персона так заинтересовала разбитного капитана? Поравнявшись с Чоховым, Воробейцев сказал даже несколько обиженно:

— Ты чего сбежал? Поедем ко мне.

Рядом на тротуаре стоял маленький, низко посаженный автомобиль австрийской марки «штейр» — неуклюжий, горбатый, прозванный «горбылем». Воробейцев отпер дверцу и уселся за руль, пригласив Чохова сесть рядом. «Ох ты, черт, и машину свою имеет, генерал какой!» — поразился Чохов, но ничего не сказал.

Сидя за рулем, Воробейцев то и дело косился на молчаливого Чохова, видимо ожидая, что тот продолжит начатый в отделе кадров разговор. Но Чохов молчал, глядя перед собой в окно. Наконец Воробейцев не выдержал и заговорил сам:

— Когда тебя вызовут на комиссию, просись на работу в Советскую Военную Администрацию. А я переговорю с кем надо. Поживешь в Германии... Житуха здесь будет правильная. Немцы народ напуганный, услужливый. А немки...

Он ухмыльнулся и снова покосился на Чохова. Чохов молчал.

Миновав мост, они очутились в пригороде, называвшемся Бабельсберг. Здесь в одном из тихих переулков Воробейцев опять заставил свою машину перебраться на тротуар и, чуть не задавив старика немца, остановился возле окаймленного чугунной оградой палисадничка. За цветами и кустами сирени, заслонившими ограду, виднелась островерхая крыша небольшого дома с красным флюгером на коньке.

Воробейцев покосился на Чохова, но лицо капитана по-прежнему оставалось непроницаемо спокойным. В доме было тихо, и обставлен он был красиво, даже роскошно. Видимо, тут раньше жили очень богатые люди. Но если Воробейцев думал поразить Чохова своим жильем, то он не добился цели. Чохов поднялся вместе с ним на второй этаж по широкой, устланной дорожками лестнице, не глядя по сторонам и не обращая ника-

кого внимания ни на мебель красного дерева с позолотой по краям, ни на оленьи и лосиные рога, развешанные по стенам, ни на пол, сложенный из необычайно красивого замысловатого паркета, ни на стеклянный потолок верхнего вестибюля.

Они прошли одну комнату, другую и очутились в огромной светлой комнате с распахнутой дверью на балкон. В комнате стоял большой стол, уже накрытый к обеду. Две немки-служанки при виде Воробейцева присели, что-то прощебетали и исчезли.

— Живем — хлеб жуем,— сказал Воробейцев, сопровождая свои слова широким жестом правой руки, охватившим и стол, и картины на стенах, и белый рояль, и шикарный торшер у изголовья широченной тахты, и все прочее в этой комнате.

Но Чохов уже был на балконе. Он скрутил цигарку махорки, закурил и сказал:

— Выпрут тебя отсюда.

Воробейцев сощурил глаза.

— Кто выпрет? Немцы, что ли?

— Наши выпрут,— сказал Чохов.

Лицо Воробейцева неожиданно побелело. Он засмеялся неестественным смехом, потом перестал смеяться и проговорил сквозь зубы:

— Выпереть — это наши умеют. А в чем дело? Четыре года воевали, пожили под елками. Теперь пора приличнее пожить. Как подобает офицерскому корпусу. Чтоб не стыдно было перед союзниками и перед всем миром. Посмотрел бы ты, как американцы живут. Будь спокоен. У нас про демократию толкуют — а в самом деле? Что генералу можно, то лейтенанту нельзя. А у них все равно кто и как,— что взял, то твое...

Чохов несколько удивился горячности Воробейцева. Воробейцев тоже как бы опомнился и, желая загладить впечатление от своих слов, сказал:

— Птенец ты, Чохов. Определенно! Ладно, пока живем — будем жить на полную катушку!

Вскоре в комнату вошел майор Хлябин из отдела кадров. Войдя, он кинул на белый рояль свой серый, мышиного цвета, плащ и впился глазами в Чохова.

— Свой парень, сослуживец,— поспешил успокоить его Воробейцев. Сели за стол. Чохов впервые в жизни хлебнул сладкого, но чрезвычайно крепкого ликера и захмелел с непривычки. Он чувствовал себя в обществе Воробейцева и Хлябина

нехорошо, ему не нравились их перемигивания, перешептывания, намеки на происшествия, о которых Чохов ничего не знал, а также частые упоминания в игривом тоне немецких женских имен. Хлябин, который у себя в отделе кадров был немногоречив, сух и строг, здесь беспрерывно ругался, сквернословил. Воробейцева он называл «доставала», но не скрывал своего восхищения им, его остротами и некими его поступками, о которых часто вспоминал, хохоча.

Чохов все время молчал. Вначале собутыльники пытались втянуть его в беседу, но потом махнули рукой и оставили в покое. Наконец Воробейцев, нагнувшись к Хлябину, заговорил о Чохове. Воробейцев говорил вкрадчиво и настойчиво. Хлябин сразу стал так же немногоречив и сух, как в отделе кадров, но потом смягчился и спросил у Чохова:

— А ты куда хочешь?

— Никуда,— сказал Чохов.

Хлябин растерялся:

— То есть как так — никуда? Хочешь назначение получить?

— Нет,— сказал Чохов.

Воробейцев широко раскрыл глаза, потом коротко захохотал, наконец сказал обиженно:

— Ты чего дурака валяешь? Спрашивают тебя по-человечески — на какую должность хочешь поступить? В Администрацию, правда?

Чохов враждебно сверкнул глазами, но ответил спокойно:

— Демобилизоваться хочу.

— Это-то мы тебе мигом устроим,— сказал Хлябин.

Стало тихо. И вдруг оба рассердились — и Хлябин и Воробейцев. В их злобе не было никакой логики — в конечном счете Чохов, может быть, действительно желал демобилизоваться, что ни в какой мере не могло никого удивить. И тем не менее они рассвирепели, словно он их обманул, поставил в ложное, неловкое положение. Его отказ от их содействия как бы против его воли выставлял все их поведение в неблаговидном свете. Они оба разом заговорили. Воробейцев упрямо упрашивал Чохова «не дурачиться и сказать, куда он хочет», а Хлябин кипятился, сквернословил и наконец буркнул: «Строит из себя, дерьмо...»

Чохов побледнел, медленно встал, взял из тарелки теплую котлету, не спеша поднес ее к лицу Хлябина и, прежде чем

тот успел что-нибудь сказать, растер ее по его красному лицу. Потом он повернулся к двери и медленными, не совсем твердыми шагами вышел из комнаты, спустился вниз по лестнице, миновал двор и очутился на улице.

Было уже темно, и улица благоухала липовым цветом. Чохов шел и чувствовал себя предельно несчастным, обреченным человеком. Теперь он уже не понимал, почему поступил так, как поступил, и относил свои поступки и слова за счет густого и сладкого напитка, ошеломившего его своей неожиданной крепостью. Он не видел никаких оснований для своей внезапной строптивости и ярости там, у Воробейцева. Теперь он уже не мог себе представить, что его вывели из равновесия белый рояль, голубая тахта, замысловатый рисунок паркета и на этом фоне возможность просто устраивать полузнакомого человека с неизвестным личным делом, характером, биографией на какую-то службу, на которую, быть может, имеет право совсем другой человек. Эти мотивы теперь не приходили ему в голову, и он относил все за счет своего безобразного неуживчивого характера, разыгравшегося с особенной силой после ликера.

Он не знал дороги и никак не мог выпутаться из незнакомых переулков и улиц. Но ему было безразлично. Он шел куда глаза глядят, рисуя в своем воображении страшные последствия сегодняшних необдуманных и глупых поступков. Когда же он вспомнил эту злосчастную котлету и дикие глаза Хлябина в тот момент, он даже застонал от горя.

Наконец он все-таки выбрался к мосту. Все кругом было тихо. Слева чернели развалины потсдамского вокзала — нагромождение камня, изуродованных вагонов, обугленных зданий. Несмотря на то что война давно кончилась и светомаскировка была отменена, городские дома стояли темные, почти без единого светлого окна. Чохов все шел и шел, пока не остановился перед домиком, где жил.

«Повидаться бы с Лубенцовым»,— подумал он вдруг, и это свидание показалось ему очень важным. Он вдруг представил себе ясные глаза гвардии майора, услышал его живую, быструю речь, увидел его небольшие выразительные руки — быстрые, никогда не находящиеся в покое. Он затосковал по гвардии майору почти так, как тоскуют по любимой девушке. От Весельчакова он знал, что Лубенцов находится в госпитале в районе Беелитц, где-то южнее Берлина.

Твердо решив повидаться с ним, он, немного успокоенный, вошел в дом, зажег свет, разделся и растянулся на своей койке, покосившись на соседнюю койку, которая стояла как всегда, холодная, прибранная и пустая. Под ней, как и прежде, стоял запыленный фибровый чемодан.

Вскоре Чохов заснул, но спал беспокойно. Утром он проснулся оттого, что кто-то теребил его за руку. Перед ним стоял Воробейцев.

Чохов смутился, хотел пробормотать извинение, но Воробейцев не дал ему вымолвить слова, вдруг громко захохотал и восхищенно, прерывая свои слова хохотом, заговорил:

— Ну и здорово же ты его... Ха-ха-ха... Котлетой по морде... Не ожидал я, что ты... Ты бы на него посмотрел. Он был хорош... ха-ха-ха... с котлетой на харе...

Видимо, Воробейцев испытывал полное удовольствие. Это обстоятельство удивило Чохова. Вообще он не мог никак уловить мотивов поведения Воробейцева. Может быть, Воробейцеву просто было скучно и он искал новых впечатлений. Чохов не больно привык анализировать чужие души — ему хватало хлопот со своей собственной душой, но тут он почувствовал нечто жалкое в этом пройдохе Воробейцеве. Воробейцев смеялся над своим дружком Хлябиным и восхищался озорным поступком Чохова потому, что Чохов созорничал себе во вред — то есть сделал то, чего не мог бы сделать Воробейцев.

— А он тебе может здорово напортить,— перешел на полушепот Воробейцев, потом снова расхохотался и сказал: — Ты бы на него посмотрел...

Чохов молча оделся. Воробейцев между тем достал из тумбочки бутылку ликера зеленого цвета и стакан, откупорил бутылку, налил полстакана и протянул Чохову. Тот отрицательно помотал головой. Воробейцев выпил один, лег в одежде на свою койку, закурил сигарету, потом повернул голову к Чохову и спросил:

— Ты что, в самом деле хочешь демобилизоваться?

— Как прикажут,— сказал Чохов.

Он надел шинель. Воробейцев встрепенулся:

— Ты куда собрался?

— В Беелитц,— сказал Чохов.

— Зачем?

— Там Лубенцов в госпитале.

— Это какой? Разведчик?

— Он самый.
Лицо Воробейцева приняло задумчивое выражение.
— А что, ты с ним хорошо знаком?
— Да.
— Ничего парень.— Воробейцев помолчал, затем продолжал раздумчиво: — Ну и везло ему здорово. Счастливчик. Бывают такие счастливчики — повезет им, а кругом все ахают: искусник, образцовый офицер, храбрый, умный. Талант! А он ходит как икона. Он как будто и симпатичный и свой парень, а это все притворство. Так просто слова не скажет, а все думает: удивляйтесь, смотрите, какой я образцовый. Приказы выполняю, забочусь о подчиненных — конечно, насколько это рекомендуется уставом, ни больше, ни меньше. А если что-нибудь не по его — так он тебя отбреет не хуже жандарма.
— Дурак,— сказал Чохов.
— Э, нет, он не дурак, он далеко не дурак...
— Ты дурак,— сказал Чохов.
Он застегнул ремень на шинели и направился к выходу.
— Подожди, и я с тобой поеду,— внезапно сказал Воробейцев.— Поедем на моей машине.
Чохов удивился, но промолчал. Возле дома — как всегда на тротуаре — стоял «горбыль» Воробейцева.
Они миновали Потсдам, переехали мост и вскоре очутились на большой дороге.
— У меня в планшете карта-двухсотка,— сказал Воробейцев.— Возьми и следи за дорогой.
Чохов взял карту. Дорога шла все время по лесу — на карте, как и в действительности. Лес обступил дорогу с обеих сторон. Правильные длинные просеки разрезали на квадратики этот чистый, высаженный человеческими руками лес.
За деревней Михендорф они увидели над собой огромный мост.
— Это над нами проходит автострада,— сказал Воробейцев.— Хочешь посмотреть?
Они въехали на автостраду. По ней шли танки, орудия и пехота.
Чохов вышел из машины и глазами, полными восхищения, глазами, зачарованными и восторженными, смотрел на проходящие мимо воинские части. Чохов испытывал самую настоящую зависть к лейтенантам и капитанам, ехавшим впереди своих подразделений. У солдат веселый вид. Все хорошо одеты.

Нигде не видно ботинок с обмотками — солдаты обуты в сапоги, и даже не в кирзовые, а в кожаные. Армия приобрела мирный, упорядоченный вид.

Сердце Чохова трепетало. Затем он вспомнил о вчерашнем случае с Хлябиным, случае, который грозил ему, Чохову, демобилизацией из армии, и его охватила тоска. Неужели он никогда больше не будет вот так, верхом на лошади или в кабине автомашины двигаться впереди своей роты, с уверенным видом, зная, что позади — его солдаты, вооруженные и обученные люди, подчиненные и друзья, на которых сосредоточены все его заботы, вся его жизнь. Неужели он никому уже не нужен, и почему он хуже вот этого проехавшего мимо капитана, за которым идет полнокровная, укомплектованная рота с таким коренастым, могучим и хитрым старшиной, что просто загляденье!

Воробейцев что-то говорил, зубоскалил, но Чохов не слышал его, он был весь с этими проходящими мимо людьми и готов был пойти вместе с ними на край света.

V

Поехали дальше. Приближался Беелитц. Вдоль неширокпх асфальтовых дорог, проложенных в глубь леса, стояли дачи и большие корпуса. Это был город госпиталей, больниц, клиник, санаториев. Воробейцев поставил свою машину — разумеется, на газон,— и оба пошли к одному из зданий. После долгих расспросов выяснили, где находится нужный им корпус, и отправились туда.

Всюду было тихо, пахло хвоей и смолой. Неподалеку стучал дятел.

Воробейцев шел позади Чохова и все продолжал развивать свою мысль о том, что после нескольких лет войны офицеру не вредно «пожить». Он прекращал свои излияния только тогда, когда навстречу попадалась медицинская сестра в белом халате. Тут Воробейцев обязательно останавливался, быстро находил тему для шуточного разговора, отпуская сногсшибательные комплименты, и пытался назначить свидание. Чохов втихомолку удивлялся находчивости и развязности Воробейцева, его умению врать убедительно и разнообразно: то он живет здесь рядом, то приехал «проверять госпиталь», то — проведать своего отца-ге-

нерала, который здесь лечится. Девушки не очень-то доверяли россказням длинноногого капитана, но его бесцеремонность забавляла их, они смеялись и уходили довольные.

Чохов вошел в корпус, где находился по всем данным Лубенцов, не без волнения. У пожилой сестры он осведомился о гвардии майоре.

— Он выписался,— сказала сестра.

Чохов постоял-постоял и пошел к выходу. Но потом вернулся. Сестра исчезла. Он открыл первую попавшуюся дверь. В большой комнате с покрытой белыми чехлами мебелью сидели двое в белых халатах — по-видимому, врачи. Чохов вошел и спросил, давно ли выписан гвардии майор Лубенцов и куда выписан. Один из врачей сказал, что выписан он третьего дня, а куда — неизвестно. Чохов собрался снова уходить, но в это время из-за его спины раздался громкий и недовольный голос Воробейцева:

— Как так неизвестно? Не может быть, чтобы было неизвестно. Потрудитесь посмотреть свой талмуд и ответить как положено.

Второй врач, маленький, очень смуглый, с иссиня-черными волосами и бровями, сказал успокоительно:

— Зачем сердиться? Ай-ай-ай, как нехорошо так разговаривать.

— Ай-ай-ай,— передразнил Воробейцев врача.— Знаем мы вас.— Его лицо потемнело от внезапной злобы.

Смуглый врач растерялся от неожиданности, его губы обиженно задрожали. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в комнате не появился врач в чине полковника, оказавшийся главврачом госпиталя. Все встали. При виде полковника Воробейцев скользнул к двери и исчез. Чохов, страшно смущенный и раздосадованный, робко спросил у полковника, куда выписан гвардии майор Лубенцов, на что полковник добродушно ответил:

— Во-первых, он уже не майор, а подполковник. На днях ему присвоено очередное звание. А выписан он, по выздоровлении, для прохождения дальнейшей службы. Вот как, голубчик.— Он заметил, что в серых глазах капитана появилось выражение тоски и, пожалев его, продолжал: — Тут, кажется, его жена осталась. Здесь Татьяна Владимировна? — спросил он у врачей.— Тоже уехала? Вот, голубчик,— обернулся он снова к Чохову,— тоже уехала.— Он подумал, потом сказал: — Если

память мне не изменяет, товарищ Лубенцов назначен служить в Советской Военной Администрации.

— Разрешите идти? — спросил Чохов.

Получив разрешение, он сказал врачам: «До свиданья»,— но они ему не ответили. Он повернулся и вышел.

На широких каменных ступенях стоял Воробейцев и курил. Чохов сверкнул на него глазами и прошел мимо, направляясь к воротам. Воробейцев нагнал его и примирительно сказал:

— Ладно, не кипи. Не люблю врачей. Да и не знал же я, что появится этот полковник.

Они подошли к машине, Воробейцев открыл дверцу, но Чохов сказал:

— Я поездом поеду.

— Что ты, что ты! — заволновался Воробейцев.— Ну перестань. Ну что ты полез в бутылку? Ну прости. Погорячился я...— Когда Чохов после некоторого раздумья все-таки сел в машину, Воробейцев полуобиженно, полуудивленно заметил: — Ох, и характер у тебя!

Машина тронулась. Оба молчали. Наконец Воробейцев отважился спросить, узнал ли Чохов, где Лубенцов. Когда же Чохов сказал, что разведчик поступил на службу в Советскую Военную Администрацию, Воробейцев от неожиданности даже затормозил машину.

— Вот,— сказал он торжествующе и с каким-то особым удовольствием.— Вот тебе Лубенцов! Знает, где хорошо!

— Послали, он и пошел,— сказал Чохов.

— Послали!.. Действительно!.. Прямо с больничной койки подняли — пожалуйте в Администрацию. Нет, брат, так не бывает. Так в романах бывает. Будь спокоен. Он и с Середой в хороших отношениях, и с Сизокрыловым куда-то ездил. Парень ловкий. Ты зря головой мотаешь. Конечно, не спорю, офицер он неплохой, но и знает что к чему. Да это и правильно, я его не обвиняю. Хвалю! Так и надо!

Он нажал на газ. Машина пошла быстро, весело, сло́вно настроение хозяина передалось ей. Вскоре они снова остановились — опять по дороге шли советские войска. Шли они походным порядком. За подразделениями двигались машины с полевыми кухнями.

— Учения начались, что ли? — недоуменно спросил Воробейцев.

Мимо промчались машины с радиостанциями, потом долго двигалась артиллерия.

— Странно,— сказал Воробейцев.

В Потсдам вернулись поздно вечером, а на следующее утро Чохов снова был в отделе кадров.

Здесь он среди множества офицеров, слонявшихся возле домиков, неожиданно встретился с капитаном Мещерским, бывшим командиром разведывательной роты той дивизии, где служил раньше Чохов. Оба обрадовались друг другу, так как уже с первого дня знакомства испытывали взаимную симпатию.

Мещерский был рассеян и чем-то озабочен. Впрочем, это не помешало ему заметить то, что и Чохов выглядит грустным и озабоченным.

— Что-то вы скучный,— сказал Мещерский, внимательно взглянув на Чохова.

— Да,— сознался Чохов и, заметив в глазах Мещерского сочувствие, объяснил напрямик: — Боюсь, что меня демобилизуют.

Мещерский усмехнулся:

— А я скучный потому, что боюсь, что меня не демобилизуют.

Оба невесело рассмеялись и вместе вошли в дом. Тут им неожиданно велели не отлучаться. Полчаса спустя Чохова вызвали в комиссию.

Ему стоило немалого труда скрыть свой страх — самый настоящий страх, может быть, впервые в жизни испытанный Чоховым. В большой комнате сидели за столом четыре полковника, из которых один был начальник отдела кадров. На столе стояли стаканы с чаем и лежала гора папок с личными делами. В этих личных делах в течение лет накапливались данные обо всех офицерах, и эти папки незримо следовали за ними, как постоянная тень, во все города, деревни, воинские части, в резерв и в запас.

Чохов представился и замер посреди комнаты. Полковник, сидевший посредине стола, предложил ему сесть, но он не сел, так как был слишком взволнован и подавлен и короткое приглашение полковника не дошло до него. Полковник же рассматривал что-то в одной из папок. Наконец он поднял на Чохова глаза, потом снова опустил их к бумагам, усмехнулся, показал что-то сидевшему рядом полковнику и коротко засмеялся.

«Все»,— подумал Чохов.

В этот момент в комнату вошел Хлябин. Он бросил быстрый взгляд на Чохова, наклонился к начальнику отдела кадров, что-то зашептал ему, потом положил на стол еще несколько папок и, снова бросив взгляд на Чохова, вышел.

«Все»,— подумал Чохов, с трудом сдерживая судорогу на лице.

Члены комиссии о чем-то вполголоса поговорили, затем председательствующий опять поднял глаза на Чохова и сказал:

— Садитесь.

Чохов сел на краешек стула. Полковник потянулся, отпил из стакана чаю и сказал:

— У нас есть мнение назначить вас командиром стрелковой роты здесь, в Потсдаме. У вас нет возражений?

— Нет,— сказал Чохов.

— Как вы сами понимаете,— продолжал полковник, позевывая,— работа командира стрелковой роты в мирное время во многом отличается от той же работы в военное время. Храбрость в нынешние времена — дело неплохое, но второстепенное. Главное сейчас — умение воспитывать бойца, умение обучать его всему тому, что солдат должен знать, в том числе, конечно, следует воспитывать в нем храбрость. Строевая подготовка теперь приобретает особое значение потому, что внешний вид армии в мирное время играет особо важную роль. Вам это ясно?

— Да,— сказал Чохов.

Он слушал все, что ему говорили, и не верил в свое счастье. Ему казалось странным, что полковник говорит таким спокойным голосом, вовсе, по-видимому, не подозревая, что за буря клокочет в душе у Чохова и что Чохов готов подойти к нему, обнять его, готов даже заплакать от радости, от сознания своей неразрывной связанности с ним, этим полковником, и со всей армией.

Уже выходя из комнаты, Чохов вспомнил про Хлябина и Воробейцева, и это воспоминание наполнило его еще большим блаженством. Бессилие Хлябина и Воробейцева решить чью-либо судьбу вернуло ему душевное равновесие, очистило от угнетавших его сомнений, с которыми ему трудно было бы жить на свете.

Он протискался сквозь толпу офицеров и вдруг подумал о Мещерском. В этот момент ему показалось просто ненормальным стремление Мещерского уйти из армии — из такой ар-

ми! Но он теперь хотел, чтобы все были счастливы, и потому мысленно пожелал Мещерскому добиться своего.

Он решил дождаться Мещерского и остановился неподалеку от дома. Вскоре Мещерский окликнул его. Они пошли друг другу навстречу.

— Сразу видно, что у вас все в порядке! — воскликнул Мещерский.— Поздравляю! Поздравьте и вы меня — у меня тоже все в порядке!

Они молча пожали друг другу руки. Торжественное настроение вдруг овладело обоими — оба стояли на пороге новой жизни.

— Запишите мой адрес,— сказал наконец Мещерский и с милой важностью, немножко волнуясь, продиктовал: — Москва, девять, проезд Художественного театра... Давайте пообещаем писать друг другу. Мы мало встречались, но я вас очень полюбил.

— Понятно,— невпопад сказал Чохов, густо покраснев. Он не привык к душевным излияниям.

VI

Отмеченное Чоховым и непонятное ему оживленное движение войск с востока на запад по германским дорогам со стороны казалось чем-то похожим на внезапный завершающий всплеск небольшой волны спустя некоторое время после удара большого вала. На самом деле оно имело свой смысл.

Дело в том, что 1 июля 1945 года английские и американские войска, стоявшие по западному берегу Эльбы и Мульды, начали, во исполнение одного из тайных решений трех держав в Ялте, отход к западным границам провинций Мекленбург, Саксонии-Ангальт и Тюрингии; советские же войска начали занимать освобождаемую союзниками территорию.

Впереди катили передовые отряды на машинах. Солдаты были отлично настроены: приятно двигаться вперед после двух месяцев непривычной стоянки на одном месте. К тому же движение на запад без боев, без риска быть убитым на любом повороте дороги доставляло им вполне понятное удовольствие — это чем-то походило на экскурсию по незнакомой и потому интересной земле. Солдаты ехали да похваливали дипломатию, позволяющую занимать города без боя.

Но как только передовые отряды перешли отмененную ныне демаркационную линию, переправившись через водную преграду, солдаты обратили внимание на то, что городишки и селения выглядят пустынными, как бы покинутыми, хотя население, несомненно, никуда не уходило: грядки огородов были усыпаны уже созревшими овощами; сады — полны созревающих плодов; во дворах лежали лопаты, тяпки и другой инструмент, и его вид говорил о том, что им пользовались вот только что, буквально полчаса тому назад; во дворах гуляли куры, гуси и утки. Но людей не было. Нигде не было видно ни души.

Солдаты удивились этому. Они отвыкли от страха перед ними со стороны местного населения — страха, который существовал и в первое время имел основания. В той части Германии, где солдаты стояли раньше, в отношениях между ними и немцами наметился серьезный и знаменательный поворот. И дело тут было не только в директивах и приказах Советского командования и Советской Администрации. Дело было в живом общении с населением, ибо хотя такое общение запрещалось, во всяком случае не поощрялось, но оно существовало. Элементарное чувство справедливости заставило солдат понять, что нельзя отнести вину за страшные злодеяния на счет всех этих мужчин, женщин и детей, составляющих народ Германии. Что касается немцев, то они почти сразу поняли, что наша армия с гражданами не воюет, напротив, готова отнестись к ним дружественно, причем нередко склонна даже к мягкости, не всегда ими заслуженной.

Поэтому вполне понятно, что солдаты, очутившись на территории, занятой прежде американскими и британскими союзниками, удивились боязливости и запуганности местного населения. Но задумываться об этом не было ни времени, ни пока что и охоты. Солдаты, обвеваемые свежим ветерком, сидели на грузовых машинах, покуривая и беседуя скорее односложно, чем многоречиво, и втайне удивляясь, что они, столь мирно и благодушно настроенные теперь, казались здешним немцам такими грозными и непримиримыми.

Передовые отряды нередко обгоняли во время своего марша уходящие на запад американские и английские части. При этом воины союзных держав обменивались дружелюбными приветствиями и любопытными взглядами. Правда, солдаты уже не высказывали в отношении друг друга такого восторга, какой

проявлялся на первых порах после победы. Они вели себя гораздо сдержаннее, напоминая мужиков, временно сбежавшихся для тушения пожара, а потом, после того как пожар потушен,— вернувшихся каждый в свою избу, на свое поле, к своим домашним делам.

Передовые отряды достигали предназначенных им пунктов, и на дорогах Средней Германии снова все стихло на несколько дней, после чего дороги опять заполнились войсками. Это пошли советские дивизии.

Шли они привычным походным порядком, как на войне. И хотя никаких боевых действий на ближайшие сто лет не предвиделось, части двигались по всем правилам устава — с головными походными заставами и боевыми охранениями. Мотоциклисты и верховые носились вдоль колонн. Что касается разведчиков, то они, несмотря на отсутствие неприятеля, имитировали необычайную бдительность и шли не в боевых порядках, а в стороне, не по широкому и гладкому асфальту, а соседствующими с ним тропками, которые, впрочем, были высушены солнцем не хуже асфальта. Когда же большая дорога проходила лесом, разведчики углублялись в лес, и тогда они смыкались, замедляя шаг, и прислушивались к негромкому шуршанию листьев с таким видом, словно ожидали каждое мгновенье появления врага.

Многие из разведчиков были одеты, по старой памяти, в маскировочные халаты.

Одно из разведывательных подразделений устроило привал в редкой рощице у дороги.

Разведчики развели костер и стали готовить себе ужин. Вскоре возле них остановилась машина — этакая маленькая зеленая быстрая ящерица, полутягач, полулегковая. Из нее вышли трое. Они встали возле своей машины и почему-то довольно долго и пристально, с таким видом, словно хотели о чем-то спросить, но не решались, стали смотреть на костер и на неспешно двигавшихся вокруг него или лежавших вповалку разведчиков.

Разведчики обратили на это внимание одного из своих офицеров, и тот, застегнувшись на все пуговицы, пошел к машине, чтобы осведомиться о причине такого любопытства. Подойдя к этим людям, он прежде всего, по известной армейской привычке, бросил быстрый взгляд на погоны, а уже потом на лица. Один из троих оказался подполковником, вто-

рой — старшиной, а третий — по-видимому, шофер — просто рядовым. Подполковник всмотрелся в лицо подошедшего капитана и сказал:

— Так я и знал, что встречу знакомых! Белоусов, кажется?

— Товарищ Лубенцов! — обрадовался и капитан, узнав известного в армии разведчика. Все офицеры разведки, как правило, знали друг друга.

Белоусов слышал, что дивизия Лубенцова расформирована, и спросил:

— Куда же вас назначают?

— Уже назначили,— сказал Лубенцов, помрачнев на мгновение.— Комендантом назначили.— Он окинул взглядом разведчиков в зеленых маскхалатах и грустно проговорил: — Прощай, разведка! — Он отказался от приглашения подсесть к костру и, шутливо толкая Белоусова туда, где весело горел огонь и кипели котелки с чаем, сказал: — Идите, идите... Я на вас только немного посмотрю и поеду.

Несколько смущенный этим странным желанием, Белоусов нерешительно простился и вернулся к своей роте. Что касается Лубенцова, то он действительно постоял еще минут пять, глядя пристально и печально на костер и людей вокруг костра, и наконец, махнув рукой, уселся в машину.

Машина тронулась и тут же свернула на другую дорогу — тихую, пустынную, на которой совсем не было войск. Мимо пробегали немецкие селения, на фоне чистого неба высились башни лютеранских церквей. Кончался огромный летний день, переполненный множеством впечатлений и событий. Этот поворот с дороги, заполненной советскими войсками, на пустынную дорогу показался Лубенцову чем-то символическим. Он оглянулся на сидевшего сзади старшину Воронина. Он ожидал увидеть и на лице старшины выражение мечтательного прощания с прошлым. Но Воронин и не думал жалеть о прошлом. С фатализмом, свойственным солдату, он воспринял перемену в своей жизни и даже был доволен тем, что ему предстоят новые впечатления и что будущая жизнь будет непохожа на все, что было прежде. Поэтому зрелище зеленых маскхалатов у костра вовсе не задело его воображения, и он, заметив устремленный на него взгляд гвардии майора — то бишь подполковника (он никак не мог привыкнуть к новому званию Лубенцова),— сказал:

— Время-то раннее, а они уже спят...

«Они» значило — немцы. Действительно, проносящиеся мимо деревни были безлюдны, даже собаки не лаяли.

Отвлеченный словами Воронина от своих прежних мыслей, Лубенцов тоже удивился молчанию, царившему в немецких селах. Немцы, видимо, замерли в ожидании неких серьезных и, быть может, горестных перемен, которые, возможно, наступят в связи с уходом из этих мест англосаксов и приходом русских войск и советских порядков.

Лубенцов напряженно вглядывался в темные очертания когтистых крыш, под которыми притаилась чужая, непонятная жизнь; в эту жизнь ему, Лубенцову, предстояло теперь ввязаться.

Как и что он будет делать, он не знал. Все, что было сказано в Карлсхорсте на инструктивном совещании, ограничивалось общими словами. Да и слов этих было, собственно говоря, три — три «де»: демократизация, денацификация, демилитаризация. Впрочем, до своего назначения Лубенцов и сам, вероятно, мог бы довольно складно объяснить всем желающим слушать такого рода объяснения, что нужно делать в Германии. Он тоже произносил бы эти три слова, присовокупив, пожалуй, еще одно «де» — демонтаж. Он тоже сказал бы то, что позавчера им сказал генерал,— может быть, не так красноречиво и самоуверенно.

Однако уже вчера, побывав в городе Галле, а затем — в окружной комендатуре, в городе Альтштадте, и подробно поговорив с двумя офицерами Администрации, он стал догадываться, что дело гораздо сложнее, чем ему казалось раньше.

Эти два офицера, подполковники Леонов и Горбенко, люди умные и, как у нас выражаются, хорошо информированные, охотно ввели Лубенцова в обширный круг вопросов, которые ему придется так или иначе решать.

Перед работниками Советской Военной Администрации простиралась большая страна, побежденная в жестокой войне, разочарованная в прошлом и не верящая в будущее. В этой стране были нарушены торговля и кредит, города превращены в руины, транспорт и связь низведены до уровня начала века. В этой стране была исковеркана мораль; драгоценный опыт революционного движения был предан забвению, поруган и осмеян; этические нормы человеческого поведения были чудовищно извращены. Все это следовало восстановить либо в корне

переделать, все это надо было спасти. А главное — понять во всей сложности.

По правде говоря, Лубенцова пробирала дрожь от подобных мыслей, и он старался не углубляться в них, употребляя для этой цели древний человеческий способ, а именно — часто произносил вполголоса слова: «Ладно, там видно будет».

Лубенцов ночевал в Альтштадте у своих новых друзей. Леонов и Горбенко прибыли сюда несколькими днями раньше и поселились в одном из особняков тихого, утонувшего в зелени квартала. Дом принадлежал архитектору Ауэру — маленькому человеку с гривой седых волос на большой, не по росту, голове. Обрадовавшись тому, что Лубенцов понимает немецкий язык, и заметив во время разговора, что молодой русский подполковник любознателен, архитектор стал показывать ему альбомы по немецкому зодчеству и объяснять смысл и ход развития готического стиля. Затем между прочим выяснилось, что доктор Ауэр не только архитектор, но и довольно крупный капиталист, владелец большой фирмы по производству строительных материалов.

Лубенцов листал альбомы, и ему было странно сознавать, что он сидит рядом со своим заклятым классовым врагом, «буржуем». Этот «буржуй» умен и дружественно расположен к русским, о чем сообщил Лубенцову спокойно и без всякого заискивания. Он не был ни капельки похож на карикатурного толстого господина с крючковатым носом и загребущими пальцами в кольцах. На крепкой короткопалой руке господина Ауэра было одно-единственное, и то обручальное, кольцо. И говорил он не о прибавочной стоимости и не об угнетении пролетариата, а о стрельчатых сводах и цветных витражах, причем говорил с непритворным вдохновением, так что казалось, что одно лишь прекрасное искусство «высокой готики» занимает его на этом свете.

Позже он, правда, заговорил и о политике, но при этом придал своему лицу рассеянно-усталое выражение.

— Умные немцы,— сказал Ауэр,— а такие все-таки есть,— добавил он, бледно улыбнувшись,— несомненно, будут оказывать советским властям самое полное содействие во всех мероприятиях по денацификации и демилитаризации Германии. Полезно для обеих сторон, чтобы советские власти считались при этом с местными традициями и местным укладом жизни.

Он говорил медленно, чтобы русские его лучше поняли. Со-

ветские офицеры ему нравились, они были любознательны и вежливы; когда он говорил, у них — у всех троих — между бровями появлялись напряженные морщинки. Он думал о том, что, когда варвары приходят к цивилизованным народам даже в качестве завоевателей, надо и можно их воспитывать, приобщать их к более высокому уровню мышления — они очень восприимчивы, как это не раз подтверждалось в ходе мировой истории.

Лубенцов находил слова архитектора разумными, не подозревая, о чем в это время думает доктор Ауэр. Разумеется, Лубенцов заметил, что, упомянув о денацификации и демилитаризации Германии, Ауэр опустил «демократизацию». Лубенцов понял и то, что тонкое выражение «местный уклад жизни» является, вероятно, псевдонимом грубого выражения «капитализм». Но не это насторожило Лубенцова. Насторожило его то, что Ауэр говорил о политике с нарочитой небрежностью, как о чем-то третьестепенном, маловажном, не то что об искусстве, о котором он выражался с восторженным косноязычием влюбленного. Неискренность небрежного тона при разговоре о явлениях жизни поставила под сомнение искренность восторгов по поводу искусства. Может быть, поэтому Лубенцов испытал неясное ощущение, что его симпатичный собеседник в чем-то обманывает его, заметает следы.

Между тем Ауэр, по-видимому заметив тень, пробежавшую по лицу Лубенцова, переменил тему и снова заговорил об архитектуре.

— Вот это Страсбургский собор,— сказал он, перевернув страницу в альбоме.— Обратите внимание на величие и в то же время изящество огромного сооружения. Оно строилось около двух веков. Его задумали люди, которые прекрасно знали, что не доживут до конца постройки. Ведь строили тогда без портальных кранов, без экскаваторов, все руками, руками... Но это для них было неважно, они были бескорыстны и влюблены в свое дело... Завидовали ли они будущим поколениям, которым суждено было узреть прекрасное создание в завершенном виде? Неизвестно.— Он помолчал, словно взвешивая этот вопрос, затем поднял глаза на Лубенцова и проговорил с той же бледной улыбкой: — Поскольку вы, вероятно, пробудете у нас долго, хотим мы этого или нет,— вам будет полезно глубже понять дух немецкой архитектуры.

С этими словами, несмотря на сквозивший в них оттенок

снисходительности, Лубенцов согласился безоговорочно. «Буржуй» был прав. Немецкую архитектуру ему, Лубенцову, следует изучить. И не только архитектуру, но и историю, и местные традиции, о которых говорил Ауэр, и психологию местных буржуев и, разумеется, рабочих. Доктор Ауэр даже не подозревал, как глубоко западали в душу начинающего коменданта его слова.

Теперь, сидя в машине и вспоминая разговор с Ауэром, Лубенцов упрямо сжимал зубы и твердил про себя: «Все изучим, все поймем».

Понемногу очертания местности менялись. Если вначале дорога шла по равнине, то уже спустя полтора-два часа равнина начала собираться складками. Чем дальше, тем эти складки становились выше и гуще. Они шли террасами в три-четыре яруса. Нижний ярус был весь в светло-зеленых свекольных и сизых капустных полях, часто окаймленных рядами деревьев; за ними начинался следующий, более высокий ярус — обширный холм, поросший спелой рожью; третий ярус иногда был покрыт вишневыми садами, низкорослыми и густыми, или желтыми цветками рапса, а совсем сзади, на самом высоком ярусе, темнели хвойные леса.

Наконец слева на горизонте показались уже настоящие горы. По мере того как дорога подымалась — хотя и незаметно, но неуклонно — все выше и выше, все кругом становилось разнообразнее, ландшафт — все роскошнее, зелень — все буйнее. Вдоль дороги иногда мелькали большие поля белого и красного мака, розового клевера и желтой горчицы. Деревья, посаженные по обе стороны дороги — груши, черешни, развесистые липы или серебристые тополя,— придавали дороге особую прелесть.

Отвлекшись на некоторое время от своих забот и тревог, Лубенцов ощутил давно забытое чувство слияния с окружающей природой; эта тишина и покой, царящие вокруг, напомнили ему детство в дальневосточной тайге, где он бродил со своим отцом-охотником, ночевал на дальних заимках, целыми днями не произносил ни слова, потому что отец был молчалив, да и не хотелось говорить, а хотелось только слушать заплетающийся говор таежных речек, треск сучьев и птичий крик.

У него так хорошо стало на душе, что он даже удивился своему настроению сладкой расслабленности. Это, может быть, было следствием того, что он влюблен. Может быть, в связи с этим он стал обращать внимание на красоты природы. Несо-

мненно, что Таня имела к этому отношение. В последнее время он вообще заметил, что думает и чувствует за двоих. И добродушно смеялся над собой, что смотрит на все и видит все вокруг двумя парами глаз — своими и ее.

Честно говоря, хорошему настроению Лубенцова содействовало и то обстоятельство, что он иногда вспоминал о своем новом звании. Это можно ему простить, учитывая, что он был кадровым военным, а между кадровыми военными известно, что майор — это почти капитан, а подполковник — почти полковник.

Погруженный в сумбур своих мыслей и впечатлений, Лубенцов забыл о спутниках. Но тут послышался прозаический голос Воронина:

— Нам бы заночевать где-нибудь да поужинать.

Да, уже стемнело. И так как справа от дороги в этот момент появились темные строения, Лубенцов велел повернуть туда.

VII

Воронин распахнул ворота, и машина въехала в огромный двор, края которого уходили куда-то далеко и терялись в темноте. К машине сразу приблизилось несколько человек. Воронин объяснил им свою просьбу кратко и вразумительно.

— Шляфен [1],— сказал он.

— Bitte, bitte [2],— гостеприимно и даже как будто с удовольствием произнес мужской голос.

Человек, сказавший эти слова, пошел вперед, Лубенцов и его спутники — за ним. Они подошли к темному дому. Человек распахнул перед Лубенцовым дверь. Одновременно в большом вестибюле стало светло от электрического света, зажегшегося в плафонах по всем четырем углам. Вестибюль был отделан дубом. Посредине, на небольшом возвышении, стояло чучело бегемота, а стены были увешаны рисунками, изображавшими африканских негров и негритянок, и фотографиями африканских пейзажей и свайных деревень. Справа вверх подымалась лестница с дубовыми перилами, покрытыми искусной резьбой, а наверху от лестницы отходила галерея с такими же

---

[1] Спать *(нем.)*.
[2] Пожалуйста, пожалуйста *(нем.)*.

перилами, как и на лестнице. Галерея эта шла вдоль всех четырех стен вестибюля. Тяжелые дубовые двери вели из галереи к комнатам второго этажа.

— К помещику попали,— сказал Воронин, весьма довольный этим обстоятельством.

Провожавший оказался молодым человеком спортивного вида, с незначительным смуглым лицом, в брюках гольф и в короткой серой тужурочке, которая вся блестела застежками-«молниями», расположенными на ней вкривь и вкось. Он молча, переминаясь с ноги на ногу, подождал, пока русские осмотрят бегемота, затем пригласил Лубенцова следовать дальше, через стеклянную дверь в большую комнату, оказавшуюся столовой. Здесь он усадил русских в кресла, а сам исчез. Лубенцов велел Воронину принести из машины что-нибудь поужинать. Воронин встал, но не слишком охотно, покрутился по комнате, посмотрел на картины, висевшие и здесь по стенам. К машине он явно не спешил. Наконец он все-таки вышел, но уже через минуту вернулся обратно — с пустыми руками и в сопровождении невысокой толстой девушки. Она пробормотала приветствие, открыла огромный буфет и стала доставать оттуда посуду. Потом она исчезла вместе с Ворониным.

Лубенцов стал смотреть в открытое окно. Свет из окон освещал кусок, по-видимому обширного, сада — густую листву деревьев и верхушки цветочных клумб. Из сада доносился шум воды — должно быть, неподалеку находился фонтан или ручей. Лубенцовым овладело странное и не неприятное самочувствие человека, внезапно оторванного от своей почвы и перенесенного на другую, совсем чужую, почти нереальную в своей поразительной непохожести на то, к чему он привык. *С тем,* настоящим, всамделишным миром, в котором Лубенцов существовал раньше, его теперь связывала, казалось, только тонкая нить воспоминаний, которая раскручивалась, подобно катушке провода, вслед за его машиной по дороге *оттуда сюда* (образ естественный для разведчика, не раз тянувшего телефонный провод в расположение противника). Ей-богу, здесь было нелегко себе представить, что где-то и не так уж далеко жили, ходили, разговаривали Тарас Петрович Середа, капитан Мещерский, генерал Сизокрылов, Плотников, Чохов.

Лубенцов отвернулся от окна. Стол уже был уставлен яствами, но отнюдь не воинскими. Опять появившийся из боковой двери молодой человек спортивного вида пригласил Лу-

бенцова к столу, назвав его «герр командант», из чего Лубенцов сделал вполне правильный вывод, что Воронин успел с ним переговорить и показать «товар лицом». Лубенцов посмотрел на Воронина сердито. Тот спрятал глаза и при этом незаметно подмигнул шоферу, который одобрительно хмыкнул.

Когда они уже уселись за стол, из боковой, почти незаметной, маленькой двери к ним вышла красивая женщина лет сорока в длинном бальном платье. Она направилась к Лубенцову, вставшему ей навстречу, и подала ему руку. Он пожал ее руку. Не зная, как полагается вести себя в подобных случаях, он стоял неподвижно. Однако его выручила улыбка, как всегда очень приятная и дружественная. Хозяйка в ответ тоже улыбнулась ему. Его улыбка, по-видимому, ободрила ее — глубокая, тревожная морщина, прорезавшая ее лоб между большими серыми глазами, распрямилась. Жестом руки она пригласила его сесть за стол, но сама не села, повернулась к нему спиной, чтобы дать какое-то распоряжение служанке, а может быть, для того, чтобы показать ему свою красивую обнаженную спину. На Воронина и шофера она не обратила никакого внимания, словно их не было в комнате. И эта черточка была, пожалуй, единственной неприятной деталью во всем ее привлекательном облике. Лубенцов, прежде чем она успела усесться рядом с ним, представил ей обоих.

— Дмитрий Воронин, Иван Тищенко,— сказал он.

Она, спохватившись, подала обоим руку и представилась:

— Лизелоттэ фон Мельхиор.

— Лубенцов,— представился и он.

Она подняла глаза к потолку с полукомическим, полуглубокомысленным видом, словно делала в уме сложные арифметические подсчеты. Наконец она сказала:

— Also, Herr Lubentsoff, Herr Woronin und Herr... [1] — «Тищенко» она никак не могла произнести и засмеялась приятным смехом, после чего села и, повернувшись к Лубенцову, начала с улыбкой накладывать ему на тарелку салат. Потом она начала накладывать салат и остальным двум, но уже без улыбки.

Лубенцов с затаенным любопытством, чувствуя себя так, словно он в театре, наблюдал за ней, за ее размеренными, точ-

---

[1] Итак, господин Лубенцов, господин Воронин и господин... *(нем.)*

ными и плавными движениями, за тонкой игрой ее лица. Он счел нужным не показывать своего знания немецкого языка — так ему было удобнее наблюдать за ней; кроме того, молчание предохраняло его, может быть, от каких-либо бестактностей, которые могли бы произойти из-за незнания этикета. Например, он толком не знал, нужно ли ему ухаживать за ней за столом, то есть не должен ли и он положить ей еды на тарелку. Он сделал то единственно разумное, что мог: ничего не стал делать, а начал есть, косясь на загадочные ножи и серебряные лопаточки, неизвестно для чего положенные рядом с его тарелкой.

Молчание, воцарившееся за столом, нельзя было назвать тягостным, поскольку немка и немец думали, что русские не понимают их, а русские знали, что немцы их не понимают. Все с легкостью ограничивались вежливыми улыбками и словами «битте» и «данке» [1]. Мысли же у всех были такие:

Лубенцов думал о том, как бы он и его товарищи не совершили чего-либо неполагающегося за столом; поэтому он время от времени поглядывал на Воронина и Тищенко предостерегающим взглядом. Кроме того, он прикидывал, как выглядела бы Таня, если бы ее одеть в это платье.

Помещица тоже боялась совершить что-нибудь бестактное в отношении русских, например, задеть их демократизм, выразившийся только что так ясно в поступке этого подполковника. Она думала и о том, что у этого русского милое лицо и что ведет он себя совершенно по-светски: свободно, но скромно или, наоборот, скромно, но свободно. Но это не были ее единственные мысли. Несмотря на милое лицо подполковника, она не очень доверяла ему и боялась, как бы русские чего-нибудь у нее не взяли. Поэтому она решила, что велит дать им на дорогу жареную индейку, вина — она знала из литературы, что русские очень любят вино,— и какие-нибудь подарки небольшой ценности, чтобы этим продемонстрировать, во-первых, свою лояльность в отношении пришедших сюда русских войск и, во-вторых, немного удовлетворить их корыстолюбие, не рискуя большим.

Что касается Воронина, то он пришел к выводу, что не зря согласился ехать служить с гвардии майором, то бишь с подполковником, и что его ожидает интересная жизнь с разными

[1] «Пожалуйста» и «спасибо» *(нем.)*.

приключениями, и что будет о чем писать своим в Шую. Кроме того, он одобрительно следил за Лубенцовым и нашел, что начальник ведет себя здесь так, словно он с детства только и делал, что ужинал с помещиками. Будучи совершенно бескорыстным человеком, Воронин тем не менее, глядя на помещицу и ее сына и не без презрения отмечая их подчеркнутую любезность, догадывался, что они боятся, как бы у них чего-нибудь не забрали, и был доволен тем, что они боятся.

Шофер Иван Тищенко, человек меланхолический, тяжелодум, ни о чем особенном не думал, а только отдавал честь закуске, справедливо считая, что он как шофер не обязан думать, когда здесь присутствует начальник, а должен есть то, что дают. Он только изредка поглядывал на многочисленные «молнии» на молодом помещике, не понимая их назначения и втайне удивляясь тому, как люди непросто живут.

Ничего особенного не думал и молодой помещик, с его низким лобиком и почти белыми глазами. Он только все время следил за матерью, чтобы выполнить все, что она велит и что кажется ей необходимым в этой довольно сложной ситуации, наступившей в связи с приходом русских.

Уверившись в том, что ни подполковник, ни тем более его подчиненные не понимают по-немецки, госпожа фон Мельхиор стала понемногу разговаривать с сыном, и из их разговора Лубенцов, внутренне смеясь, узнал, что: а) он, Лубенцов, пресимпатичнейший молодой человек; б) Воронин — плут; в) шофер — противное животное; г) нужно спрятать что-то ценное (что именно, Лубенцов не уловил) в какое-то потайное место, ибо она опасается «гостей»; д) как ей кажется, русские не такие джентльмены, как англичане, но и не такие свиньи, как американцы.

Все это она изрекала время от времени с лучезарнейшей улыбкой, необычайно красившей ее лицо, и с таким видом, словно речь шла о том, чтобы ей передали горчицу или придвинули хлебницу. Но в ее громких и смелых высказываниях чувствовалось озорство и щеголяние этим озорством. Сын ее сдержанно и несколько испуганно улыбался.

Лубенцов не моргнув глазом выслушал все и, наскоро поев, озабоченно взглянул на ручные часы и с деланным смущением улыбнулся. Она поняла и притворилась разочарованной желанием подполковника уйти так рано на отдых.

Молодой человек повел всех троих обратно в вестибюль с

бегемотом, оттуда они подпялись по лестнице на второй этаж. Лубенцов с Ворониным улеглись в большой душной спальне. Один Тищенко отказался спать в доме — с детства не слишком доверяя помещикам и капиталистам, он боялся, как бы тут не сперли машину. Он улегся в машине на заднем сиденье.

Лубенцов проснулся рано утром. Тихо, чтобы не разбудить Воронина, он оделся и сошел вниз. Очутившись на крыльце, он увидел помещичий двор во всей его красе. При свете дня двор оказался еще огромнее, чем это представлялось ночью. Он мог бы послужить центральной усадьбой для большого совхоза. Длиннейшие кирпичные коровники и свинарники, амбары и лабазы окружали его. Все эти службы были двухэтажные — в первом этаже помещались животные и хранились запасы, а во втором, по-видимому, жили батраки: на маленьких оконцах вторых этажей висели занавесочки и стояли горшочки с геранью. Двор был весь вымощен булыжником, но булыжник виднелся лишь кое-где под слоем многолетней грязи, смешанной с навозом и перепревшей соломой. Чистой была только асфальтовая дорога, которая вела от ворот к помещичьему дому. Посреди двора возвышался четырехугольный помост, заваленный кучами навоза — сюда их свозили со всего двора. В прохладном утреннем тумане неясно вырисовывались очертания пузатых силосных башен и белой водокачки. Из дальних темных помещений доносилось слабое мычание коров, а время от времени — негромкое ржание лошадей. Во дворе там и сям поодиночке и большими группами расхаживали индейки и цесарки.

Это было здесь. Но как только Лубенцов, обойдя господский дом, оказался на другой стороне его, перед ним появилась совершенно иная картина. Здесь находился тенистый и, по-видимому, обширный парк, который, подступая к самому дому, оставлял лишь небольшое четырехугольное пространство, сплошь засаженное красными розами. Посредине розария находился фонтан с бронзовой фигурой.

Постояв с минуту в тени и тишине парка, Лубенцов снова обошел дом и опять очутился на хозяйственной стороне. Двор оживал. Распахнулись ярко-зеленые ворота одного из сараев, и оттуда медленно вышли один за другим три трактора. В другом конце двора батраки запрягали могучих битюгов в высокобортные повозки, большие, как автобусы. Старик с седыми усами, в нахлобученном на глаза картузике выгонял за ворота коров. Их было не менее сотни. За ними плотной кучкой бе-

жали овцы, а сзади суетился полный усердия черный лохматый пес.

Лубенцов вышел вслед за стадом через широкие дубовые ворота и увидел перед собой большое село, почти сплошь состоявшее из двухэтажных красных кирпичных домов с ярко-зелеными оконными рамами и ставнями. Дома стояли впритык один к другому. Только изредка от дома к дому тянулась высокая побеленная каменная ограда. И то, что все тут было каменное, включая мостовую и плитчатые тротуары, и не было видно никакой зелени — ни деревца, ни травки,— все это неожиданно напомнило Восток, улицу крымского или закавказского аула. Отсутствие всякой зелени на деревенской улице было тем более странно, что Германию можно было бы по праву назвать зеленой страной — в этом Лубенцов уже убедился. И он вспомнил о помещичьем парке, об огромном количестве росших там старых деревьев, и его воображению представилось, что деревьям всего села однажды приказано было перебраться в помещичий парк, и они ушли туда, оставив деревню голой, каменистой и залитой солнцем.

Но вот появились и деревья. Посреди села, напротив опрятной красной церковки, находился пруд, вокруг которого росли ивы. Лубенцов дошел вместе со стадом до пруда. Старый пастух покосился на него, глаза старика на мгновенье выразили панический страх. Лубенцов улыбнулся ему и отдал приветствие, приложив руку к фуражке. Старик замер, потом сдержанно поклонился и сразу же засуетился, забил длинным бичом по земле, закричал на коров и овец и быстро-быстро погнал их дальше, по улице направо.

Село просыпалось. Отовсюду слышалось пение петухов, кудахтанье кур, мычание и блеяние, ликующее ржание и визгливый лай. Вдоль домов засновали женщины. Раскрывались ставни, в окнах появлялись заспанные лица детей. Это все было по-милому хорошо знакомо, и Лубенцов подумал, что у всякого русского человека, даже городского, в крови неистребимая любовь к деревне.

Затем Лубенцов обратил внимание на то, что у самого берега пруда расположились люди. Многие из них еще спали на подстилках из соломы и на старых вещах, некоторые — под самодельными палатками, из-под которых торчали ноги. Кое-кто уже встал, умывался. Женщины бегали от пруда к домам и просили у хозяев кружку, тарелку.

Неподалеку слышались рыдания, но никто даже не оборачивался на них. Все были заняты своим делом — вступлением в новый длинный нелегкий летний день.

Среди ив стоял, широко расставив ноги, большой костлявый человек, обросший редкой красноватой бородой. Он сек ослепительно рыжую девочку пучком ивовых прутьев. Он делал это так размеренно и злобно, словно в маленьком вздрагивавшем теле рыжей девочки сосредоточились все причины войны, поражения, бездомности и бедности. Эта размеренная лютость потрясла Лубенцова. Он пошел на этого человека, и когда тень его упала рядом, человек поднял глаза. Он враз опустил по швам большие руки, и прутья ивы упали на траву. Лубенцов стал искать подходящие немецкие слова, но, как назло, не мог вспомнить ничего подходящего. Ему пришлось ограничиться маловыразительными словами, которые он вспомнил.

— Нихт гут,— сказал он.— Кинд, кляйнес кинд [1].

Маленькая бледная женщина прижала рыжую девочку к себе, однако же встала между человеком, раньше бившим девочку, и Лубенцовым. Что-то говоря без умолку, так быстро, что Лубенцов ничего не понимал, она то жалко улыбалась Лубенцову, то оборачивалась к тому человеку; она была и благодарна русскому офицеру за то, что тот защитил девочку, и одновременно боялась, как бы муж не имел от русского крупных неприятностей за то, что избивал свою дочь. Поэтому она, жалуясь на мужа, в то же время оттирала его все дальше к ивам.

Что касается рыжей девочки, то она немедленно забыла о своих воплях и, вся сгорая от любопытства, глядела на Лубенцова во все глаза. Даже бесчисленные веснушки — и те, кажется, у нее расширились от изумления и интереса.

— Wer sind diese Leute? [2] — спросил Лубенцов, обращаясь к женщине и обведя рукой весь табор.

— Wir sind Flüchtlinge aus Schlesien!.. [3] — предупредив ответ матери, пронзительно выкрикнула рыжая девочка и вся расцвела от удовольствия и от гордости перед другими детьми, которых бог лишил возможности запросто поговорить с русским офицером.

Лубенцов покачал головой и задумался. Он не мог не вспом-

---

[1] Нехорошо. Ребенок, маленький ребенок *(нем.)*.

[2] Кто эти люди? (нем.)

[3] Мы беженцы из Силезии!.. *(нем.)*

нить огромный помещичий дом, пустынный, с высокими гулкими комнатами, дом, в котором жили только двое.

Он медленно пошел обратно к поместью и вскоре заметил, что беженцы, по преимуществу мужчины, идут вслед за ним. Он подумал, что они хотят обратиться к нему с какой-то просьбой, и остановился. Но нет, они шли не за тем. Они обошли его стороной, держась в некотором угрюмом отдалении, и направились к воротам усадьбы, где навстречу им вышел молодой помещик, на сей раз одетый в теплое пальто, в зеленой шляпе с пришитым к ней заячьим хвостиком. Беженцы остановились у ворот, а он начал громко распоряжаться, впуская их поодиночке и по двое. Тут он заметил Лубенцова, поклонился и сказал, вроде как бы извиняясь, но в то же время жалостливо:

— Flüchtlinge [1].

Лубенцов буркнул:

— Понятно.

— Arbeit [2],— сказал помещик, показывая на себя, и на свой двор, и на окрестности, где простирались поля и огороды. Он произнес это слово тоже с миной, полной сочувствия к беженцам и некоторого самодовольства по поводу того, что он предоставляет им работу.

Лубенцов вошел во двор. Он увидел издали Воронина и Тищенко, стоявших возле машины.

— Поехали,— крикнул им Лубенцов.— Давай, давай.

Воронин хотел было спросить насчет завтрака, но промолчал, заметив, что у Лубенцова мрачный и рассеянный вид. Тищенко завел машину, и через минуту они покинули поместье.

VIII

Вырвавшись из села, дорога вскоре стала извиваться среди гор. Это начинался Гарц. То и дело в долинах мелькала красная черепица крыш. Ландшафт становился все более прекрасным, все более разнообразным, напоминая Крым, но без южной окраски, без субтропических деревьев и кустарников. Обочины дороги и спускавшиеся вниз то справа, то слева пологие обрывы поросли боярышником и бузиной, кустами шиповника и барбариса. А горы сверху донизу заросли густым еловым ле-

[1] Беженцы *(нем.)*.
[2] Работа *(нем.)*.

сом, и эти мириады елок, темно-зеленых и чуть позолоченных сверху солнцем, казались зрительным выражением вековечной тишины и тысячелетнего покоя.

Все время слышался шум воды — это рядом с дорогой текла быстрая горная река, прозрачная, скачущая по камням. Иногда мимо проносились тихие придорожные гостиницы с большими вывесками, написанными готическим шрифтом, на которых были изображены олени, вепри или еще что-нибудь в этом роде.

Часа в два пополудни Лубенцов не без волнения увидел наконец город Лаутербург — свою резиденцию. Город был очень красиво расположен в котловине среди гор. Он пестрел своими красными островерхими крышами, утопавшими в море зелени. На противоположном его краю высоко на скале виднелись серые приземистые башни средневекового замка, имевшего и теперь — в солнечную ясную погоду — сумрачный и грозный вид.

Поглядев на Лаутербург сверху, Лубенцов снова сел в машину, и они начали спускаться в город. Но не доезжая города, Лубенцов увидел справа от дороги большие молчаливые заводские корпуса и велел Ивану завернуть туда.

Есть что-то неестественное, ненормальное в облике неработающего завода. Уходящие вдаль просторные цеха, бесконечные ряды станков, разбегающиеся во все стороны узкие ленты рельсов, эстакады подъемных кранов — все эти огромные площади, являющиеся по самой своей сути рабочими местами, в неподвижном состоянии теряют всякий смысл.

На всей территории завода не было ни одной живой души. Все это спящее царство металла тихо ржавело, пылилось, глохло. Запах давно остывшей золы неподвижно стоял в воздухе. Чувствовалось, пройдет еще небольшой срок — и все тут зарастет бурьяном и плющом, словно сооружение седой древности.

Гулкое эхо шагов Лубенцова и Воронина отдавалось под закопченными стеклянными потолками пустынных зданий.

Лубенцов шел и смотрел по сторонам, испытывая тяжелое чувство; может быть, впервые в жизни он здесь понял, как легко и быстро природа завладевает тем, что человек выпустил из рук. Все, что человек сделал, он отнял у природы силой, она же тихо, но неотвратимо старается все вернуть в первоначальный вид. И как только человек перестает действовать, она это делает, причем делает с необычайной легкостью, мягкостью и быстротой. Вещи стремятся к инертности, то есть к покою и

ничтожеству, иначе говоря — к обратному слиянию с природой; они устают, если их не подстегивать, они превращаются в ничто, если их запустить.

— Да что мы тут будем ходить, — заговорил Воронин, которому пришлась не по душе эта мерзость запустения. Кроме того, он вспомнил наставления Татьяны Владимировны: она просила Воронина не позволять Лубенцову слишком много ходить пешком. — Сами видите, никого тут нет.

Лубенцов остановился, прислушался, наконец приложил ладони ко рту и крикнул громко и протяжно «а-у-ууу», словно находился в лесу. Ему показалось, что кто-то отозвался. И действительно, минуту спустя из-за невысокого барака, увешанного красными огнетушителями и пожарными топориками, появился человек. Лубенцов ожидал увидеть человека оборванного, обросшего, чуть ли не одетого в звериные шкуры. И то, что появившийся на одичавшем заводском дворе человек оказался гладко выбритым, довольно элегантным, в шляпе, приличном костюме и при галстуке, делало всю картину еще менее правдоподобной, еще более нереальной.

Ко всему прочему человек этот, подойдя ближе, приподнял шляпу и коротко представился:

— Маркс.

Лубенцов даже опешил; на одно мгновенье он решил, что одинокий человек на пустынном заводе сошел с ума и поэтому при виде советских людей назвал себя именем великого коммуниста. Но человек повторил:

— Инженер Вернер Маркс, к вашим услугам.

Он имел довольно унылый вид: заброшенность окружающего все-таки действовала на него. Он проводил Лубенцова в контору и там показал ему канцелярские книги, ради которых находился здесь — единственный из многотысячного персонала: он инвентаризировал заводское имущество на предмет демонтажа — завод находился в списке предприятий, подлежащих демонтажу.

Инженер Маркс говорил оживленно, и видно было, что он рад нежданному собеседнику и что он немножко гордится образцовым порядком, царившим в больших канцелярских книгах, которые он так точно и аккуратно вел с целью окончательно умертвить свой завод.

Вернувшись к машине в сопровождении инженера Маркса, Лубенцов спросил, куда делись рабочие. Маркс пожал плечами.

— Живут как могут,— сказал он,— в Лаутербурге и в ближних селах.

Лубенцов сел в машину и минут через двадцать очутился в городе.

Здесь все выглядело не так мило и уютно, как это представлялось сверху. Город был сильно разрушен, многие улицы завалены щебнем разбитых домов. На улицах было тихо и безлюдно. То и дело попадались английские патрули, в своих светлых мешковатых костюмах похожие на пожарных.

Лубенцов остановил машину.

— Видишь вот эти две башни? — спросил он у Ивана.— Вот и поезжай туда, к той церкви, и жди меня там. А я пройдусь пешком, надо осмотреть город получше.

Воронин запротестовал:

— Вы все ходите и ходите. Куда это годится?

— Пешком все виднее. Слезай, слезай, Дмитрий Егорыч.

Воронин пожал плечами.

Они медленно пошли вдвоем по широкой, вымощенной плитками улице. Между плитками пробивалась трава, и свежесть травы еще больше подчеркивала древность самого города. Да, это был очень старинный город. От главной улицы ответвлялись в стороны средневековые улочки, темные и такие узкие, что по ним с трудом могла бы пройти машина. Дома на этих улочках становились чем выше, тем шире: второй этаж нависал над первым, третий — над вторым. Стены домов были разделены поперечными и продольными брусами на квадраты и треугольники. Иногда под карнизами виднелись резные деревянные фигурки, раскрашенные в зеленый, красный и желтый цвета. Островерхие крыши были темно-бурого от старости цвета.

Большая улица привела к большой площади, именовавшейся, как во многих других немецких городках, Марктплац, то есть Базарной площадью; на этой площади стоял собор, две башни которого возвышались над городом,— эти башни Лубенцов видел при въезде и возле них велел Ивану стоять и дожидаться. Машина была уже здесь, но Иван куда-то скрылся. Левый придел собора был разрушен. Изуродована осколками была и статуя Роланда одиннадцатого века, стоявшая в нише возле собора, От этой статуи веяло уже просто необычайной стариной. На Лубенцова и Воронина произвели большое впечатление тысячелетние камни, сквозь которые то и дело пробивалась

ярко-зеленая трава 1945 года, огромный меч рыцаря и черты его большого каменного лица, стершегося и неясного.

Дома на площади уцелели, и вся площадь, обсаженная вязами, с маленьким сквером в центре, выглядела тихим и уютным островком среди развалин. Точнее, за собором справа все было в развалинах, а влево все осталось в целости. Раны, нанесенные городу, такому старому, что, казалось, его могли разрушить полчища Атиллы, были тем не менее свежими ранами. Лубенцов удивился им, так как в летописи войны что-то не слышно было о крупных боях союзников под Лаутербургом и вообще в этих местах Средней Германии, по которым они проходили триумфальным маршем, не встречая сопротивления.

Вскоре Лубенцов с Ворониным вышли на северную окраину города и увидели перед собой гору с тем самым замком, который был ими замечен издали, при въезде. К замку вела светлая песчаная дорожка, то появлявшаяся, то исчезавшая среди зелени.

У подножия горы, в почетном одиночестве, среди обнесенных чугунной оградой деревьев, стоял большой красивый дом, над которым развевался британский флаг. Тут, по-видимому, была английская комендатура. А правее, внизу, виднелась станция железной дороги — семафоры, стрелки и пакгаузы, показавшиеся Лубенцову чем-то чужеродным и неожиданным в этом средневековом городке. На станции царило оживленное движение. Тут стояли длинные шеренги зеленых грузовых автомашин, на рельсах пыхтели паровозики, длинные составы небольших платформ занимали все пути. Среди огромных ящиков, которыми было заставлено все кругом, сновали английские солдаты.

Не успел Лубенцов подойти ближе, как к нему направились два англичанина. Лубенцов смотрел на них с интересом, так как до этой поездки почти не видел англичан. В книгах он читал, что англичане высоки, сухопары и молчаливы. Эти двое не были ни высокими, ни сухопарыми, ни молчаливыми. Они заговорили с ним повышенными голосами, быстро и строго. Лубенцов, улыбнувшись, развел руками. Однако улыбка его, обаяние которой он уже сознавал, не вызвала никакого отклика. Англичане заговорили еще громче и еще более недружелюбно. Наконец один из них довольно красноречиво замахал руками: иди, мол, отсюда, здесь стоять нельзя. Тогда Лубенцов слегка рассердился и сказал:

— Я советский комендант.

Англичане враз замолчали, переглянулись, отдали честь и начали неторопливое, но, несомненно, смущенное отступление восвояси, на станцию.

Вся эта полунемая сцена озадачила Лубенцова. Он постоял, подумал и пошел обратно в город. Пошел он быстро, хотя при этом сильно прихрамывал. Воронин шел за ним, покачивая головой.

— Все ходит и ходит,— бурчал он себе под нос.

Вскоре они опять очутились на площади. Машина стояла, как прежде, у собора, а Ивана не было. Они нашли его внутри собора. Он оглядывал грандиозное здание спокойными полусонными глазами, не испытывая, по-видимому, никакого почтения к тому, что видел.

Минут через десять машина остановилась возле английской комендатуры. Лубенцов прошел мимо часового в дом. Дом был богатый, но выглядел ободранным. От зоркого глаза бывшего разведчика не укрылось то обстоятельство, что тут недавно — буквально вчера — сняли ковры: паркет был поновее посредине комнат, а вдоль стен поблек. Под потолками вместо люстр висела путаница обрезанных проводов. В вестибюле между колоннами стояли штабеля дощатых ящиков.

Здесь уже было известно, что прибыл советский комендант. Навстречу Лубенцову вышел английский майор — высокий, круглолицый, полный, но тонконогий, с маленькими усиками на румяном лице. С ним вместе был бледный старый маленький немец — он оказался переводчиком. Говорил он по-русски хорошо, но старомодно, языком начала века,— видимо, бывал в России до революции.

— Милости прошу,— сказал он.— Милости прошу, сударь, милостивый государь, очень рад вас видеть, весьма приятно.

Эти выражения могли бы при других обстоятельствах рассмешить Лубенцова. Однако теперь он не был расположен к веселью, ему многое не понравилось, в том числе и то, что в английской комендатуре переводчиком служит немец. Сразу после войны это казалось в высшей степени неуместным, даже обидным.

Майор Фрезер — так звали англичанина — повел Лубенцова в свой кабинет, где на стене висел план города Лаутербурга. Он сообщил советскому коменданту, какие здесь имеются важные объекты, где выставлены посты, и пожелал сдать

эти объекты с рук на руки. Называл он Лубенцова «май дир сабко'онэл» (мой милый подполковник) — с некоторой фамильярностью, но дружественно.

— Ладно, мой дорогой майор, согласен,— ответил ему в тон Лубенцов.

Тут с улицы донесся гул и грохот. Оба коменданта подошли к окну. По улице двигалась длинная, растянувшаяся, быть может, на несколько километров колонна советской артиллерии. Лубенцов как-то по-детски обрадовался, увидев своих после перерыва, который казался ему очень долгим. Он некоторое время с внезапным интересом следил за пушками, виденными им миллион раз.

— Ну, поехали,— сказал он наконец, повернувшись снова к майору Фрезеру.

Майор кивнул и надел берет. Они вышли втроем из кабинета. В соседней комнате Лубенцов увидел двух англичан, которые стояли у открытого окна и, глядя на проходившую советскую артиллерию, что-то быстро записывали в блокноты. При этом каждый из них зажал в уголке рта мокрый огрызок сигары, дымивщей, как паровоз. Один был маленький, в голубом суконном жакете, с голубой пилоткой на голове; другой — длинный, в костюме цвета хаки и в коричневом берете. Английский комендант, увидев их и бросив быстрый взгляд на Лубенцова, выкрикнул что-то сдавленным голосом; голубой и коричневый оглянулись и, не отдав чести, стремительно юркнули в боковую дверь.

Лубенцов остановился как вкопанный. Он посмотрел на англичанина взглядом, полным упрека и обиды. Он готов был высказать все, что думал, но промолчал. Почему он промолчал? Прежде всего он вспомнил про переводчика-немца; он не хотел доставлять немцу удовольствия присутствовать при ссоре русского с англичанином. Кроме того, он не был уверен в том, что, заметив такое недружественное поведение союзников, он имеет право показать, что заметил это: может быть, было выгоднее в этом случае промолчать. И, наконец, невысказанная, затаенная обида дает человеку некую дополнительную внутреннюю силу, которая может при случае пригодиться. Впрочем, последняя мысль, если она и приходила в голову Лубенцову, то подсознательно, скорее в виде чувства, чем мысли.

Что касается англичанина, то он заметно расстроился. Его круглое добродушное лицо стало замкнутым и грустным. Мо-

жет быть, если бы он считал себя вправе быть откровенным, он сказал бы, что ему, как порядочному человеку, претят тайные козни против союзников, что он не разделяет мнения своего начальства о необходимости этих мер. Но он не мог быть искренним, так как не верил в искренность Лубенцова. А Лубенцов, который был до этого момента настроен очень дружественно и доверчиво, начиная с этого момента, стал подозрительным и недоверчивым.

У подъезда стояли две машины — «виллис» Лубенцова и большая легковая, принадлежавшая английскому коменданту. Лубенцов сел с англичанином в его машину, а Воронин последовал за ними на своей. Когда машины тронулись, Лубенцов сказал:

— На станцию.

Немец перевел, и, как Лубенцов и ожидал, англичанин стал возражать против поездки на станцию. Он ссылался на то, что там нет ничего интересного, и предложил ехать в замок, затем в лагерь перемещенных лиц, на пивоваренный и ликерный заводы, а если время позволит — в расположенную недалеко горную гостиницу, где их угостят форелью. В первую очередь он считал нужным поехать на ликерный завод и там поставить охрану.

— Нет, мы начнем со станции,— сказал Лубенцов, и они поехали на станцию.

— Что здесь грузят? — спросил Лубенцов, когда они вышли из машины возле вокзала.

— Английское военное имущество,— быстро перевел Кранц объяснения майора Фрезера.

Они пошли вдоль рядов стоявших на платформе ящиков. К Лубенцову тотчас же присоединился Воронин. Он с решительным видом придерживал правой рукой свой автомат. На ящиках были черной краской нанесены английские надписи. Лубенцов, солидно и медленно шагая среди грузов, чувствовал себя в весьма глупом положении и не знал, на что решиться. Потребовать вскрыть ящики было неразумно. Англичанин вполне мог отказаться от этого, сославшись на военную тайну. Мимо проходили немцы-грузчики с тюками на спинах.

— Поедем на ликерный завод, мой дорогой подполковник? — спросил майор Фрезер.

Этот «май дир сабко'онэл» порядком действовал Лубенцову на нервы. Он притворился, что не слышит.

IX

Они шли по высокой платформе вдоль пакгауза. Вскоре им преградила путь целая гора ящиков. Лубенцов остановился. Он покосился на Воронина. У старшины было напряженное лицо. Он крепко сжимал шейку приклада автомата своей маленькой тонкой ручкой. Лубенцов посмотрел на него, прямо ему в глаза, так пристально и так выразительно, что Воронин сразу понял, что Лубенцову нужно ему сказать нечто очень важное и такое, что вслух сказать нельзя. В глазах Лубенцова Воронин прочитал почти мольбу о чем-то, до чего только сам Воронин мог додуматься и что сразу понял бы покойный ординарец Лубенцова, Чибирев, понимавший своего начальника с полуслова.

Понял ли Воронин Лубенцова? Лубенцов показал английскому коменданту рукой на поросший буками и грабами горный склон за железной дорогой и стал говорить о красоте этих мест и что ему очень нравится горный пейзаж — может быть, потому, что он в детстве жил на Дальнем Востоке, где тоже много гор и холмов. Переводчик, старый немец Кранц, переводил его слова очень подробно, а англичанин рассеянно кивал головой, соглашаясь и время от времени нетерпеливо поглядывая куда-то назад, на станцию.

Тут один из ящиков, находившихся на самом верху, задвигался, накренился и грохнулся рядом с ними, затем медленно перевалился через край платформы и опрокинулся на полотно железной дороги. Доски лопнули и встали торчком. Английский комендант отскочил в сторону.

— Медведь! Олух царя небесного! — ликуя и еле сохраняя спокойный вид, выругал Лубенцов Воронина, чье красное от натуги и притворно испуганное лицо выглянуло из-за ящиков.

Англичане засуетились, забегали, заговорили, потом остановились и замолкли.

— Господин майор, смотрите,— с притворным удивлением сказал Лубенцов, показывая вниз, на рельсы. Там лежал красивый маленький шлифовальный станок, такой новенький, что казалось — он только что вылупился из этого деревянного, раздавшегося в разные стороны яйца. Это была вполне современная немецкая машина с длинной медной пластинкой, на которой было написано:

— Это немецкое оборудование,— продолжал Лубенцов.— Как вам, наверно, известно, оно не подлежит эвакуации. По положению, вы не должны демонтировать и вывозить оборудование из этой зоны. Я вынужден буду потребовать приостановления отгрузки.

Он говорил медленно, по-русски, вовсе не интересуясь, понимает ли англичанин его слова. Он знал, что англичанин прекрасно понимает смысл сказанного. Кранц тоже это знал и не пытался переводить. А Лубенцов все продолжал говорить, причем не только спокойным, но, пожалуй, даже ласковым тоном,— может быть, потому, что, разговаривая, он думал не об англичанах, а о Воронине, об уме и отваге этого маленького человека, о его почти гениальном, с точки зрения разведчика, проникновении в суть настоящей ситуации и своей роли в ней.

Воронин тем временем — теперь уже на правах хозяина положения — вскрывал один ящик за другим: у него в руках оказался неизвестно откуда взявшийся ломик. Во всех ящиках были немецкие станки и оборудование. Немцы-носильщики скрылись. Лубенцов стоял, окруженный молчаливыми англичанами, и, словно перестав их замечать, неторопливо отдавал приказания Воронину:

— Этот вскрой. Вот этот. Давай из той кучи. Сверлильный. Так. Револьверный.— Он покосился на майора Фрезера и сказал: — Фрезерный. Ладно. Хватит.

Майор Фрезер покраснел, кашлянул, потом сухо бросил переводчику:

— Мисандерстендинг[2].

— Непоразумение,— перевел Кранц после довольно долгого размышления. Лубенцову показалось, что тонкие губы немца дрожат от сдерживаемой усмешки.

Станки были из подземного завода, который, как оказалось, производил самолеты-снаряды ФАУ-2. Этот завод находился в горах, неподалеку от Лаутербурга, но не был нанесен на план города, переданный англичанином Лубенцову. Когда они верну-

---

[1] Машиностроительный завод, Хемниц.
[2] Недоразумение *(англ.)*.

лись в комендатуру, Лубенцов предложил майору Фрезеру нанести завод на план. Тот сделал кружочек на нужном месте.

— Непоразумение,— сказал немец-переводчик. Видимо, ему понравилось это длинное слово и то, что он вспомнил его так кстати. Он произносил его с удовольствием.

— Больше никаких объектов нет? — хмуро спросил Лубенцов.

Фрезер как бы задумался на мгновенье, потом нанес на карту еще один завод — химический — и небольшой заводик точной аппаратуры.

— Там все тоже упаковано? — спросил Лубенцов.

— Йес [1],— выдавил из себя англичанин.

— Ох-ох-ох,— сказал Лубенцов, и этот комично горестный возглас оказался вполне международным. Фрезер снова покраспел и сказал, что Лубенцов может располагаться в комендатуре как дома. Помещение удобное, при Гитлере тут находился «Коричневый дом» — местная организация нацистской партии.

Пока следовало установить советские караулы на объектах. Лубенцов велел Воронину связаться с какой-нибудь из ближайших воинских частей и попросить солдат. Фрезер уже не имел желания сдать объекты «с рук на руки» и поручил эту заботу одному из своих офицеров, который и ушел вместе с Ворониным.

Когда они ушли, в комнате воцарилось молчание. Лубенцов смотрел в открытое окно. Фрезер почти с ненавистью глядел на его русый затылок. Потом Фрезер все-таки превозмог себя. Он пригласил Лубенцова в соседнюю комнату, где был накрыт стол.

Переводчик пошел вместе с ними, но за стол не сел, а присел на кончик дивана, переводя замечания английского и советского комендантов издали.

Фрезер сказал, что он не профессиональный военный. Он окончил Итонскую школу и Оксфордский университет. Он баронет. Знает ли «мистер сабко'онзл» («май дир» он уже Лубенцова не называл), что такое баронет? Лубенцов без размышлений ответил утвердительно, хотя представлял себе существо этого титула весьма туманно. Фрезер добавил, что, как ему кажется, господин подполковник тоже из хорошей семьи.

[1] Да *(англ.)*.

Верно, подтвердил Лубенцов, из хорошей: отец — лесоруб, а мать — крестьянка. «Да»,— протянул майор Фрезер неопределенно. Помолчав, он сказал, что и он бывал на Дальнем Востоке, но не на советских землях, а в Гонконге и Сингапуре. «Это вполне естественно, что не на советских землях»,— велел перевести Лубенцов.

Неизвестно, что ответил бы на это английский комендант, но тут его позвали, и Лубенцов остался в одиночестве за столом. С Кранцем он не стал разговаривать. Только изредка он бросал на него взгляд исподлобья, и немец под этим взглядом ежился.

Англичанин вернулся минут через десять, очень оживленный и довольный. Одновременно за дверью послышались всхлипывание, шарканье ног, тихий взволнованный говор. Фрезер распахнул дверь и впустил троих: толстую растрепанную женщину с крупной добродушной бородавкой на щекастом красном лице, одетую в красный полосатый свитер с закатанными рукавами, широкую юбку и клеенчатый фартук; другую женщину, тоже пожилую, с гладко причесанными седыми волосами, в накинутом на плечи мужском пальто, и благообразного старичка в очках, со шляпой в руке. Толстая с бородавкой быстро затараторила, жестикулируя и хлопая себя время от времени по широким бедрам, изредка всхлипывая и тут же улыбаясь извиняющейся улыбкой. Из ее слов Лубенцов понял, что кто-то их грабит, и они просят защиты коменданта.

Англичанин очаровательно улыбнулся и, протянув руку к Лубенцову, торжественно представил его:

— Совьет командант.

Он весь расцвел, будто представлял им старого своего друга, причем такого человека, который один только и способен разрешить все вопросы и разъяснить все сомнения. Потом он кинул на Лубенцова насмешливый взгляд, отошел в сторонку и сел в кресло, приняв свободную, независимую позу, означающую: мое дело сторона, тут появился другой, настоящий, хозяин.

По его странному поведению и по некоторому смущению немцев Лубенцов сразу же заподозрил неладное. И верно, оказалось, что немцев грабят русские из местного лагеря.

Лубенцов встал с места и с минуту постоял, не зная, что делать. Ему в голову пришла спасительная мысль: надо велеть написать заявление — разберемся, дескать, завтра. Это было бы

удобно, но скорее всего неправильно. Он взял с буфета свою фуражку и сказал:

— Поеду посмотрю, в чем дело.

На улице было уже темно. Погода изменилась, шел мелкий теплый дождь. Машина стояла у тротуара, и стекла на ней поблескивали слепым блеском. Казалось, она стоит тут очень давно и не сможет тронуться с места. Вокруг не было ни одного светлого окна. Улицы были совершенно пустынны — ни звука шагов, ни человеческого голоса.

— Иван,— позвал Лубенцов.

Зажглись фары машины, вырвав из темноты длинный кусок дождя. Две немки и немец пугливо жались к крыльцу.

— Давай, давай,— сердито сказал Лубенцов, показывая руками на заднее сиденье машины.

Они медленно подошли и уселись. Лубенцов поместился рядом с Иваном. Машина тронулась. Свет фар замелькал по стенам старых домов, по мокрым веткам деревьев, свисающим над каменными оградами. Они проехали немало узеньких проулков, замощенных кривыми плитами, прежде чем толстая немка, сидевшая сзади, отчаянно вскрикнула:

— Hier, hier!..[1]

Иван затормозил. Лубенцов вышел из машины и пошел вслед за немцами в большой двор. Справа находилась мастерская для ремонта автомобилей, слева — темный дом с открытыми настежь дверями и окнами, за которыми блуждали огоньки свечей. Двор сразу же заполнился шаркающими шагами и негромкими голосами. Зажегся электрический фонарик. Он побегал по машине и, на мгновенье остановившись на Лубенцове, испуганно погас. Один немец похрабрее подошел к Лубенцову и стал ему объяснять, в чем дело. Из дома забрали шесть пальто, две швейные машины, три радиоприемника, бочку фруктового вина, а из мастерской — паяльную лампу и различные инструменты. Люди, взявшие все это, ушли с полчаса назад. Один из них был русский с деревянной ногой из соседнего лагеря. Об этом русском немец говорил с плохо скрываемым ужасом.

— Где этот лагерь? — спросил Лубенцов. Ему стали объяснять, но он нетерпеливо выхватил из толпы рукой за плечо мальчика лет пятнадцати и подтолкнул его к машине. Они

[1] Здесь, здесь!.. *(нем.)*

поехали. Вскоре город остался позади. Дорога шла среди огородов. Потом мальчик велел повернуть налево, на немощеную песчаную дорогу, которая привела к деревянным баракам. Вокруг стояли столбы с обрывками колючей проволоки.

Лубенцов направился к ближайшему бараку. Там у порога кто-то стоял. Лубенцов, приблизившись, разглядел женщину в белой косынке. Она тоже вгляделась в него и вдруг вскрикнула пронзительно-громко ликующим голосом:

— Наши! Наши пришли!

С обеих сторон длинного коридора распахнулось не меньше двух десятков дверей. Коридор моментально переполнился людьми. Лубенцова почти втащили в одну из комнат. Она была освещена тусклым светом керосиновой лампы, стоявшей на самодельном дощатом столе. Лубенцов, взволнованный до глубины души, видел вокруг себя белые косынки девушек, ватные пиджаки мужчин. Комната была большая, неоштукатуренная, обставленная двумя десятками деревянных топчанов, покрытых то полосатым соломенным матрацем, то тонким байковым одеялом. Два угла были отгорожены простынями. В третьем углу на веревках висели детские колыбели. Пахло пеленками и керосином.

Лубенцову пододвинули стул, усадили его. Пожилые женщины смотрели на него так любовно, причитали при этом так надрывно, словно он был давно ожидаемым, долго не подававшим о себе вестей сыном. Молодые девушки вытирали глаза кончиками платков. Худые подростки щупали его погоны и, не очень интересуясь физиономией Лубенцова, завороженно вглядывались в его ордена. Комната все больше заполнялась людьми.

Напротив Лубенцова уселся широкоплечий молодой человек с иссиня-черной бородой, в белой рубахе. Положив на стол большие скрещенные руки, он безотрывно глядел на Лубенцова сосредоточенным неподвижным взглядом.

Лубенцова закидали вопросами. На столе появилась бутылка и селедка с огурцами. Но Лубенцов не стал пить, а пообещал прийти через несколько дней, когда немного освободится. Он встал, чтобы уйти, и только тут вспомнил, зачем сюда приехал. С минуту он колебался, прежде чем заговорить об этом, а потом все-таки сказал.

Все переглянулись. Человек с черной бородой встал с места. И только теперь Лубенцов заметил, что вместо ноги у него

деревяшка — грубая, небрежно обтесанная. Одноногий не стал объясняться, только коротко спросил:

— Надо вернуть?

— Да, надо вернуть,— сказал Лубенцов.

— Ладно, вернем.

Он вышел вместе с Лубенцовым из барака и, сказав: «Подождите»,— исчез. Лубенцов остался в одиночестве. Он стоял в темноте, неподвижный и напряженный. Теплота всех этих глаз перевернула ему душу. Жалость к этим людям и гордость за свою армию переполняли его. «Почему я должен,— думал он,— заставлять этих родных мне людей, так много страдавших, возвращать чье-то имущество, может быть нечестно нажитое? Почему я обязан обижать этих дорогих мне людей, которых и так столько обижали и унижали? Я ведь их люблю. А тех, у кого они взяли эти ничтожные вещи, я не люблю и никогда не буду любить».

Послышался частый стук деревяшки, и из темноты вынырнул одноногий.

— Все сделано,— сказал он. Помолчав некоторое время, он проговорил: — Я лейтенант. Угодил в плен под Вязьмой в сорок первом. С оторванной ногой.— Снова минуту помолчав, он тихо заключил: — Нехорошо.

— Ничего,— сказал Лубенцов.— Все будет в порядке.

— Сам виноват,— сказал человек, как будто размышляя вслух.— Мог бы застрелиться. Хотя это очень трудно. И нога лежала рядом. Ее оторвало болванкой, почти целая лежала, отдельно только. Как-то засмотрелся я на эту ногу, тут меня и схватили.

— Ничего,— сказал Лубенцов.— Все будет хорошо.

— Бочку вина наполовину выпили,— сказал человек.— А все остальное отдадим. Уже понесли отдавать. Напрямки, через огороды. Если хотите — поедем, проверите.

В некотором отдалении от них стояла толпа людей, высыпавших из бараков.

— Мы бы не стали у них брать, бог с ними,— продолжал человек.— Да мы тут совсем обносились. Американцы и особенно англичане держали нас в черном теле. Даже хлеба не давали. Не всегда давали. Всегда были против нас, за немцев. Мы им указывали тех немцев, которые особо издевались над нашими при Гитлере. Англичане их не трогали. А позавчера приехали к нам и говорят: делайте что хотите, все

ваше, русские сюда идут, все теперь ваше. Вот мы, значит, и разыгрались...

— Больше ничего такого не делайте,— сказал Лубенцов.

— Ладно. Я и сам думал, что не может Советское командование дать такой приказ.

— Конечно,— сказал Лубенцов.

— Поехали?

— Поехали.

Они пошли к машине. Опять зажглись фары. Немецкий мальчик забился в угол заднего сиденья. Машина двинулась в обратный путь.

Человек сказал:

— Англичане расклеили объявления, что советские власти запрещают немцам ходить по улицам после семи часов вечера. Иначе — расстрел. Что, и это неправда?

— Неправда.

Человек нехорошо усмехнулся и сказал:

— Так я и думал. А там бог их знает. Странно все-таки.

— Странно,— согласился Лубенцов.

— Это для вас странно,— вдруг сказал одноногий резко и как бы непоследовательно.— Если бы вы тут были...— Он махнул рукой.

Когда машина въехала в тот самый двор, откуда выехала полчаса назад, ее сразу же окружили темные фигуры мужчин и женщин. Они уже не тихо, а громко и оживленно говорили наперебой, сообщая, что им все вернули в полной сохранности. А та толстая с бородавкой без конца благодарила, варьируя слово «данке» на все лады.

Тут немцы заметили одноногого и, сразу оробев, замолчали.

— Спасибо вам,— сказал Лубенцов, пожимая руку одноногому. И в третий раз повторил: — Все будет в порядке.

X

После всего происшедшего Лубенцов решил не ездить ночевать в английскую комендатуру. Если бы одноногий позвал его с собой, он, вероятнее всего, поехал бы к русским в лагерь. Его туда тянуло, ему хотелось поговорить с ними, подбодрить их, рассеять смутную тревогу, которую они, несомненно, ис-

пытывали и которая странным образом уживалась в них с чувством великой радости. Но одноногому даже в голову не могло прийти, что советскому коменданту негде ночевать, и, почтительно простившись, он исчез в темноте. Частый стук деревяшки вскоре пропал в отдалении.

— Поедем на станцию,— решил Лубенцов.

— Вам бы поспать не мешало,— возразил Иван, но тем не менее развернул машину. Они снова поехали по темным улицам. Иван заговорил задумчиво: — Да, интересно кругом получается. Ничего не поймешь. Помещики, капиталисты. А коменданты — коммунисты. И что из этого выйдет? И что немцы думают? И за кем пойдут?

Лубенцов засмеялся.

— Вопросы ты задаешь правильные,— сказал он.— Над этими вопросами бьются теперь все правительства, министры все. Тебя бы в министры, Иван.

— Не дай бог,— ответил Иван.

По станционной платформе ходил советский парный патруль. Поговорив минуту с солдатами, Лубенцов снова сел в машину.

— Поедем к подземному заводу,— сказал он.

Они вскоре выехали из города. Машина поднялась в гору, потом спустилась вниз. Здесь был где-то поворот налево. Лубенцов зажег свет в машине, посмотрел карту. Они поехали дальше; наконец фары нащупали в темноте малозаметный поворот. Они повернули налево, некоторое время ехали по ровному месту. По обе стороны полевой дороги стояла высокая рожь. Потом направо показались холмы. Собственно, это были не холмы, а довольно крутые, поросшие соснами скалы. Свет фар освещал гранитные глыбы, на которых каким-то чудом смогли вырасти высокие деревья.

Они поехали медленнее. Вскоре их громко окликнули по-русски:

— Стой! Кто идет?

«Посты и тут выставлены»,— подумал Лубенцов, довольный, и, сойдя с машины, сказал:

— Я подполковник Лубенцов, советский комендант.

— Пропуск,— возразил часовой из темноты.

— Еще не знаю,— сознался Лубенцов.

— Ну и проезжай,— сказал часовой недовольным голосом.

— Придется,— улыбнулся Лубенцов.

Он опять сел в машину. Иван развернулся, и они поехали обратно, на главную дорогу. На перекрестке Лубенцов велел ехать не направо, в город, а налево.

— Здесь, в лесу, где-нибудь заночуем,— решил он.

Проехав несколько километров, Иван повернул с дороги и остановил машину среди деревьев и кустарника.

Иван посидел с минуту неподвижно — видимо, отдыхал,— потом спросил:

— Кушать будете?

— Давай чего-нибудь. Кормил меня англичанин, да там не хотелось. Кусок не лез в горло. Ты рано встаешь?

— Когда надо, тогда и встаю.

— Нам нужно проснуться затемно и поехать в город. А то неудобно: увидят немцы, что их комендант ночует в лесу, как бродяга, потеряют уважение.

— Беда — уже светает.

— Часика два поспим. Еще нет четырех.

Так собирался Лубенцов заночевать первый раз в городе, где был комендантом. Однако ему не спалось. Спать на заднем сиденье машины было неудобно, а главное, образы прошедших суток, голоса, слышанные за день, громкие и тихие, поток слов, русских и немецких, и мысли, мысли обо всем виденном и слышанном не давали покоя. У него не выходил из головы одноногий человек, бывший лейтенант, взятый в плен под Вязьмой. Лубенцов хорошо помнил Вязьму. Он там находился в окружении в 1941 году. Он там тоже был лейтенантом и тоже мог бы попасть в плен, вот так, как этот одноногий. Он тоже мог бы не успеть застрелиться. Что бы он делал? Неужели тоже остался бы в живых, прозябал бы в лагере, ходил бы, стуча деревяшкой, по немецкой земле, как непримирившийся, но внешне покорный раб? Ему были понятны озлобление и горечь в глазах у одноногого. Одноногий был волевым и сильным человеком, вожаком в здешнем лагере. Если бы не беда, приключившаяся с ним под Вязьмой, он вполне мог бы теперь приехать сюда, в Лаутербург, советским комендантом. А он, Лубенцов? Случись с ним такая беда, как с тем лейтенантом четыре года назад, он, может быть, находился бы здесь, в лагере, как этот лейтенант.

Нет, насколько Лубенцов себя знал, он не мог бы примириться с такой жизнью. Его давно сгноили бы в тюрьме, убили бы, замучили, он пытался бы бежать. Но ведь на одной ноге

далеко не убежишь. Так или иначе, Лубенцов испытывал теперь чувство глубокой жалости и нежности к одноногому лейтенанту.

— Жизнь — штука сложная,— тихо произнес он вслух, думая, что Иван спит.

Но Иван не спал. Он вздохнул и сказал:

— Это верно.

Оба замолчали и уже больше не разговаривали. Лубенцов лежал без сна. Услышав наконец ровное дыхание Ивана, он бесшумно вышел из машины и стал прогуливаться в лесу. Земля тут повсюду была усыпана валунами, иногда очень большими. Лубенцов услышал шум воды неподалеку и вскоре подошел к склону, у подножия которого протекала быстрая горная река. Она пенилась и посверкивала в брезжущем свете утра.

Лубенцов посмотрел вправо и заметил за деревьями ту самую дорогу, по которой он сюда приехал. Дорога в этом месте делала петлю, и оказалось, что почти под самыми ногами Лубенцова, только ниже метров на двадцать, находится черепичная кровля какого-то дома. Лубенцов пошел по тропинке вниз к дому и через несколько минут очутился в саду, окружавшем этот одинокий двухэтажный дом. Отсюда он разобрал надпись на вывеске, висевшей над окнами первого этажа: «Gasthof zum Weissen Hirsch» [1].

Ставни гостиницы были закрыты, но сквозь щели пробивался свет. До слуха Лубенцова донесся звон посуды. Послышались голоса. Лубенцов притаился. Он внезапно почувствовал себя разведчиком. Он тихо пошел вправо, держась в приличном отдалении от гостиницы, и вскоре увидел ее фасад и небольшой дворик, уставленный столиками. Возле крыльца стояли три легковые машины. Дверь гостиницы отворилась, на крыльце появилось несколько человек. И первый, кого заметил Лубенцов, был английский комендант, майор Фрезер. Лубенцов нагнулся и лег за куст. Это движение было непроизвольным. Он тут же с ужасом подумал, что будет, если эти люди увидят советского коменданта в столь неподобающей, прямо сказать, неприличной позе. Но и встать уже нельзя было.

Ругая себя последними словами, Лубенцов прикрылся пахучей веткой можжевельника и волей-неволей продолжал на-

---

[1] «Гостиница Белого оленя» *(нем.)*.

блюдать. Кроме майора Фрезера, здесь были еще два англичанина — голубой и коричневый,— а также несколько немцев и немок. Воспитанник Оксфорда был сильно подвыпивши и даже слегка покачивался. «Тоже не совсем красиво для коменданта»,— подумал Лубенцов, но при этом должен был признать, что лучше пьяный комендант, чем комендант, лежащий в кустах.

Он имел возможность хорошо рассмотреть все общество. Здесь был переводчик Кранц — маленький, с пергаментным лицом, старый, но с живыми глазами и легкой походкой, похожий на старого мальчика. Другой немец, в черной шляпе и больших очках, закрывавших добрую половину его сурового, надменного лица, все время разговаривал с голубым англичанином. Говорил он, по-видимому, по-английски,— они обходились без переводчика. Сам Фрезер, улыбаясь и время от времени хихикая, держал в своих руках руку рослой красивой блондинки с высоко взбитой прической. Были здесь еще три другие немки — все три молодые и довольно смазливые, одна из них — совсем молодая, может быть, лет семнадцати. Она была очень пьяна.

Они оживленно беседовали и медленно шли к кустарнику, где лежал Лубенцов. Несмотря на утреннюю прохладу, он весь вспотел. К счастью, они свернули по тропинке к обрыву. Там они постояли, поглядели на восходящее солнце и вниз, на горную реку. Потом высокая блондинка со взбитой прической что-то крикнула, коричневый англичанин вместе с Кранцем побежали к гостинице и через минуту вернулись к обществу в сопровождении толстого мужчины без пиджака, в одном жилете, который нес в руках поднос с наполненными бокалами. Высокая блондинка взяла в руку бокал, выпила и, высоко подняв его над головой, бросила в пропасть. Ее примеру последовали все остальные. Они посмотрели вниз, следя, по-видимому, за падением бокалов. Потом блондинка всплакнула, но тут же попудрила себе лицо, и все, оживленно разговаривая, пошли обратно к гостинице.

Лубенцов встал, пробрался среди кустов к ведущей вверх тропинке и через пять минут очутился возле своей машины. Он растолкал Ивана, сел рядом с ним и скомандовал ехать. Вскоре машина советского коменданта возвратилась в город и медленно подкатила к крыльцу английской комендатуры. Здесь на ступеньках сидел Воронин. Он курил, по-хозяйски

оглядывался. Его тонкое лисье личико выражало довольство и самоуверенность.

— Все в порядке,— сказал он.— Посты выставлены. Я их сам развел. Пропуск и отзыв: Ленинград — Лейпциг. Где разместимся? Здесь?

Подумав, Лубенцов возразил:

— Нет, не желаю я ихнего наследства. Да и вообще неприлично советской комендатуре помещаться в «Коричневом доме», хотя бы и бывшем.

Это мнение одобрили и Воронин с Иваном.

— На площади, там, где собор, есть подходящий дом,— сказал Воронин.— Пустой, никем не занят. И место хорошее. Мебель там есть на первый случай. Только стекла выбиты. Но вставить их нехитрое дело.

— Разведал? — усмехнулся Лубенцов.

Они поехали проверять посты, побывали на всех заводах и складах. Повсюду из разных уголков навстречу им выходили русские солдаты, довольно меланхолические, чуть заспанные, но бодрствующие, и задавали свой вечный вопрос: «Кто идет?»

«Как хорошо»,— думал Лубенцов, глядя на них с умилением. Его умилял их такой обыденный, непарадный вид, полное отсутствие в них какой бы то ни было позы. Лубенцов готов был каждого из них расцеловать.

Наконец отправились на площадь к собору. Дом, выбранный Ворониным, действительно оказался вполне подходящим. Это был основательно построенный из серого гранита трехэтажный, по углам украшенный башенками дом. По обе стороны широкого подъезда стояли поддерживавшие свод две каменные голые женщины-кариатиды. Кивнув на них, Лубенцов сказал:

— Неудобно для комендатуры, а?

— Ничего,— усмехнулся Воронин.— Художественное произведение.

— Сойдет,— согласился с ним Иван.

К ноге одной из каменных женщин была приклеена бумажка, оказавшаяся распоряжением английской комендатуры на немецком языке. Лубенцов прочитал листок. Британская комендатура приказывала немцам в связи с вступлением советских войск прекращать всякое движение в девятнадцать часов под страхом расстрела.

Лубенцов сорвал бумажку, скомкал ее, хотел бросить, но потом раздумал и положил к себе в карман.

Они поднялись по широкой лестнице. Она, хотя и обсыпанная стеклом и щебнем, выглядела весьма представительно. Обойдя множество комнат, Лубенцов сказал:

— Дом хороший. Подойдет.

— Для круговой обороны подходящий,— сказал Воронин.

— Имеем гараж на четыре машины,— сообщил Иван, успевший осмотреть двор.

— Надо узнать, чей дом.

— Учреждение.

— Смотря какое.

— Не детский сад, во всяком случае.

— Банк, пожалуй. Несгораемых шкафов уйма.

— Правда, пустых.

— Да, похоже, что банк.

Решили здесь обосноваться.

Воронин сказал:

— Надо объявить в городе, где комендатура наша будет.

— Сами узнают,— сказал Лубенцов.— Завтра и флаг повесим.

— Неужели и флаг?

— Точно не знаю, кажется, да.

Попытались умыться. Но вода не текла ни из одного из десятка кранов в умывальниках и ваннах, расположенных в пустом доме. Света тоже не было. Воронин взял в машине свой солдатский котелок и, убежав, вскоре принес воды. Умылись. Поели все трое на одном из зеленых канцелярских столов. И Лубенцов, побрившись, начистив сапоги и даже надраив пуговицы, снова отправился в английскую комендатуру.

Здесь вовсе не чувствовалось, что англичане собираются в дорогу. Всюду было тихо и сонно. Майор Фрезер, разумеется, спал. Лубенцов заставил англичан его разбудить. Он появился в накинутом на плечи халате и, завидя Лубенцова, крикнул:

— Мистер Крэнс!

Это он звал переводчика. Кранц сразу же появился, и Лубенцов сказал ему:

— Я прибыл с прощальным визитом.

Фрезер поклонился и спросил, не желает ли подполковник познакомиться с деятелями местного немецкого самоуправления. Лубенцов ответил, что желает, но не смеет ради этого за-

держивать английских офицеров и сам познакомится с бургомистром.

— Бургомистр здесь,— сказал Фрезер.

Кранц вышел и вернулся с высоким немцем в больших роговых очках. Лубенцов сразу узнал его. Он видел его на рассвете вместе с англичанами возле горной гостиницы.

— Бургомистр Зеленбах,— представился он с каменным лицом.

Лубенцов не обратил на него никакого внимания и, вынув из кармана сорванный им с ноги каменной женщины приказ английской комендатуры, раздраженно спросил, чем можно объяснить этот странный приказ, вовсе не соответствующий истине; неужели англичанин не знает, что в советской зоне оккупации комендантский час — не семь, а одиннадцать часов?

Майор Фрезер развел руками.

— Мисандерстендинг? — внезапно произнес Лубенцов запомнившееся ему английское слово.

Фрезер, удивившись, что-то пробормотал. Он решил, что советский комендант знает по-английски и только притворялся, что не знает.

В его голове пронеслось все, что говорилось в течение вчерашнего дня по-английски в присутствии советского коменданта; он густо покраснел и вдруг озлился против этого молодого русоволосого интригана и притворщика, казавшегося таким простодушным. «Опасные, скрытные и недоброжелательные люди, отравленные своей идеологией и ненавидящие человечество»,— думал он о русских. И чем яснее он сознавал, что сам дал русскому основания для недоверия и подозрительности, чем больше был недоволен собой и приказами своего командования, тем сильнее злился на Лубенцова и на всех русских, тем упорнее подозревал их в самых худших намерениях.

Ему стоило немалого труда пригласить Лубенцова в свой кабинет, где на столе стояла бутылка водки и лежали тонкие бутерброды.

— Прошу извинения за скромное угощение,— буркнул Фрезер.

Лубенцов посмотрел на Кранца, который задержался с переводом, тоже думая, что Лубенцов все понимает по-английски. Когда Кранц перевел слова англичанина, Лубенцов не удержался, чтобы не съязвить.

— В «Белом олене»,— сказал он,— кормят хорошо.

Фрезер заморгал глазами и, судорожно улыбнувшись, сказал:

— Англия бедна.

— Бедна? — угрюмо переспросил Лубенцов, сразу поняв, что Фрезер оправдывается не так по поводу скромного угощения, как за голые стены комендатуры и за вчерашний случай на станции.— А мы что? Богаты? У вас один Ковентри, а у нас их тысяча. Ладно,— продолжал он, махнув рукой.— Счастливого пути.

Фрезер стремительно пошел к выходу, сопровождаемый бургомистром, переводчиком и Лубенцовым. У комендатуры стояли три машины — английская, советская и маленький «опель», принадлежавший, очевидно, бургомистру. Фрезер, ни на кого не глядя, торопливо откланялся, сел в свою машину и уехал.

Стоявший на крыльце Воронин буркнул:

— Скатертью дорога.

XI

— Почему нет света и воды? — спросил Лубенцов, резко обернувшись к Зеленбаху, стоявшему чопорно и прямо с шляпой в руке.

Зеленбах стал объяснять, в чем дело. Лубенцов выслушал его объяснения, которые хорошо понял, но затем терпеливо выслушал и перевод старого Кранца. Объяснения сводились к тому, что свет поступал из города, находящегося теперь в английской зоне, и в связи с уходом англичан подача электроэнергии была прекращена ими. На вопрос Лубенцова — имеется ли электростанция здесь, в городе, Зеленбах ответил, что электростанция имеется, но она сильно повреждена и, кроме того, нет топлива: неоткуда взять уголь.

— А раньше как было? — спросил Лубенцов.— Город освещался местной электростанцией или как?

— Только частично. Станция маломощная, восемь тысяч киловатт.

— А топлива давно нет?

Зеленбах с минуту молчал. Дело в том, что топлива не было всего несколько дней — с тех пор как стало ясно, что англичане отсюда уходят. Бургомистр посмотрел на Лубенцова.

Советский комендант — статный, широкоплечий, синеглазый, очень простодушный, с добрыми губами — показался ему простаком, славным недалеким парнем, имевшим, вероятно, большой успех у женщин.

— Давно,— ответил Зеленбах, бросив быстрый взгляд на Кранца.

— Давно,— перевел Кранц.

— Значит, будем жить без света? — засмеялся Лубенцов. Потом спросил: — А производится уголь в нашем районе? Да? Где? Сколько километров до этих шахт? Всего тридцать? — Лубенцов рассмеялся совсем добродушно.— А я всю жизнь слышал насчет германского организаторского гения разные легенды. Что же это вы, господин Зеленбах, не можете организовать такую ерунду? Некрасиво, господин Зеленбах. Просто из рук вон.— Он подождал, пока Кранц переведет эту тираду, и отметил про себя, что Кранц переводит очень точно.— Поехали, посмотрим электростанцию, господин Зеленбах. Давай, давай.

— Fahren wir das Kraftwerk besichtigen, Herr Seelenbach,— перевел Кранц, потом задумался над тем, каким образом перевести эти непереводимые слова «давай, давай», слова, полные множества оттенков.— Schneller, schneller,— сказал он неуверенно. Потом поправился: — Aber gar schnell.— Потом добавил: — An die Arbeit! [1]

Они сели в машину бургомистра и поехали через железнодорожный переезд в горы.

Небольшая электростанция из желтого кирпича действительно оказалась слегка поврежденной, но внутри, на кафельном полу, стояли два двигателя, смазанные и имевшие весьма благополучный вид. Все кругом было пустынно, шумели деревья, журчали ручьи. У входа стоял только одинокий, сонный на вид советский часовой. Он стоял молча, наблюдая с невозмутимым лицом за происходящим.

— Механика сюда,— сказал Лубенцов.

Зеленбах недоуменно пожал плечами и стал оглядываться во все стороны, словно ища этого механика. Потом он заговорил с Кранцем. Потом пошел по дороге вниз, где виднелись крайние домики города, но тут же вернулся и опять начал шептаться с Кранцем.

Солдат сказал:

---

[1] Быстрей, быстрей; побыстрее; за работу! *(нем.)*

— Механик вон в том дому живет, во втором налево.

Кранц побежал вниз по тропинке к домам и минут через десять вернулся с неторопливым пожилым человеком, которого представил как «господина Майера, механика». Механик поздоровался с Лубенцовым, и все, что Кранц ему переводил, сопровождал спокойными междометиями и односложными замечаниями вроде: «на я», «о я», «гевис», «зихер», «я, я» [1].

Он стал объяснять положение вещей на станции и сказал, что рабочие разбрелись и он точно не знает, где они теперь, а с топливом тоже дело плохо.

— Тут и топливо есть, товарищ подполковник,— опять вмешался часовой.— Вон там, в овраге лежит.

Лубенцов подошел к оврагу, и все остальные за ним. На вопрос о том, на сколько хватит топлива, механик, окинув взглядом угольную кучу, сказал, что должно хватить дня на три, если давать свет с темноты до часу ночи.

— Давай,— сказал Лубенцов.— Когда же будет свет, господин Майер?

— Завтра,— ответил механик.

— А сегодня нельзя?

Подумав, Майер сказал:

— Можно.

— Прекрасно! — воскликнул Лубенцов.— А угля мы тебе подвезем. Вот бургомистр — он все сделает. За эти два-три дня он тебя углем завалит так, что некуда будет девать. Верно ведь, господин Зеленбах?

— Jawohl [2],— произнес бургомистр хмуро.

Они сели в машину. Зеленбах велел своему шоферу ехать обратно. Лубенцов удивился и сказал:

— Ты куда поехал? А уголь? Что будет с углем? Нет, голубчик, так дело не пойдет. Вези нас к шахтам.

Машина развернулась и, обогнув город, спустилась в равнину. Немецкие деревни, мелькающие мимо, уже серьезно занимали Лубенцова, ему хотелось в каждой из них остановиться, узнать, что там люди делают.

Он расспрашивал Кранца то об одном, то о другом. Здесь было много интересного и непонятного. На вершинах отдельно стоявших гор — Лубенцов мысленно называл их по-дальнево-

---

[1] Ну да, о да, конечно, несомненно, да, да *(нем.)*.
[2] Так точно *(нем.)*.

сточному «сопками» — виднелись развалины. Это были остатки рыцарских замков, некогда охранявших герцогство от разбойничьих набегов и крестьянских восстаний.

Высоко-высоко над зреющими нивами проходила воздушная дорога из стальных канатов, подвешенных на железные эстакады; по этим канатам недавно еще двигались вагонетки с медной и железной рудой из горных рудников на железнодорожную станцию. Теперь вагонетки висели неподвижно: рудники не работали. Лубенцов отметил это в своем блокноте.

Машина мчалась быстро, и тридцать пять километров проехали за полчаса.

— Где шахты? — спросил Лубенцов.

Выяснилось, что ни Зеленбах, ни Кранц тут прежде никогда не бывали. Но вскоре слева от дороги показались темные продолговатые бараки. Лубенцов остановил машину и пошел к ним. Нигде не было ни души — ни в конторе, ни в мастерской. Лубенцов пошел дальше. Кругом лежали кучи крепежного леса — досок, горбылей и тонких бревен. Тропинка шла среди высокого ковыля и нагретого солнцем папоротника. Все это ничуть не напоминало индустриальный пейзаж. Но вот Лубенцов очутился на краю огромной глубокой котловины овальной формы. Ее опоясывали ниточки железнодорожных путей, на которых там и сям стояли неподвижные паровозы и платформы, казавшиеся с такой высоты черненькими букашками. Неровные бока этого необыкновенного по величине бесконечного карьера показывали всю здешнюю землю в разрезе: сверху — тонкий слой сероватой земли, поросшей ковылем и папоротником, ниже — красноватая глина, затем — толстый слой белого песка и, наконец,— черный угольный слой. Неподвижные экскаваторы высились то тут, то там. Большое озеро с помпой для выкачивания воды находилось посредине котлована.

Лубенцов оглянулся. Старик Кранц стоял возле него. Зеленбах отстал; он шагал сюда, высоко, но медленно подпимая длинные ноги над травой.

— Это и есть шахты? — спросил Лубенцов.

— Да, сударь,— сказал Кранц и продолжал, старательно выговаривая каждое слово: — Она есть не глубокая, а открытая — бурый уголь добывает себя так в здешней местности.

Они вернулись к машине и поехали дальше, к поселку. Поселок этот ничем не отличался от любого другого немецкого

села, с той разницей, что здесь, как и на шахте, в воздухе висел несильный приятный запах мазута. Они остановились на перекрестке. Лубенцов сказал:

— Найдите тут кого-нибудь... Управляющего, что ли.

Зеленбах поклонился и пошел вдоль улицы.

— Чего это он у вас такой... неживой? — спросил Лубенцов у Кранца. Кранц вежливо улыбнулся и развел руками. Лубенцов продолжал: — За какие достоинства вы его выбрали?

— Назначенный через американское военное правительство,— объяснил Кранц.

— А профессия у него какая?

— Хозяин большой, очень большой торговли.

— Лавочник? — переспросил Лубенцов.

Кранц не расслышал презрения в его тоне и только обрадовался, вспомнив, видимо, забытое русское слово.

— Да, да! Вот, вот! Лавочник! Да.

Зеленбах вскоре вернулся один и сообщил, что управляющий перебрался вместе с англичанами на запад, в город Брауншвейг.

— Ну, а кто есть?

— Никого нет.

— Как так? А рабочие есть?

— Рабочие есть.

— Где они?

Зеленбах развел руками.

— Они,— сказал он неопределенно,— здесь... живут...

Лубенцов нетерпеливо махнул рукой и пошел по улице. На углу он увидел пивную с большой желтой вывеской, на которой было написано шахтерское слово «Глюкауф». Он вошел в пивную. Здесь было полно народу, как в праздник. Стеклянные кружки со светлым пивом стояли на круглых картонных подставках.

Все оглянулись на входившего Лубенцова. Воцарилось молчание.

— Что же это получается? — сказал он.— Уголь нужен, а вы пиво пьете!

Его голос прозвучал обиженно и недоуменно, и именно этот тон крайне удивил шахтеров. Некоторые сконфуженно улыбнулись.

— Управляющий сбежал! — продолжал он, устало садясь на стул.— Тоже причина! Между прочим, у нас в Советском

Союзе управляющие сбежали почти тридцать лет назад, а уголь все-таки добывается...

Кранц, улыбнувшись тонкими губами, перевел эти слова. Рабочие засмеялись.

— Кто у вас тут есть? Профсоюз есть у вас? — продолжал Лубенцов.— Коммунисты, социал-демократы есть? Или ни черта у вас нет? Ну, вот вы! Кто вы такой? — Он ткнул пальцем в одного молодого худощавого паренька. Тот смутился и ничего не ответил. — Ну, скажите, скажите...

— Я рабочий,— тихо сказал паренек.

— Ну, а вы? Вы? Вы?

— Рабочий.

— Рабочий.

— Машинист экскаватора.

— Горнорабочий.

— Шофер.

— Монтер.

— Tagebaumeister [1].

— Ну, а коммунисты среди вас есть?

Коммунистов среди них не было.

Один старичок, пожевав губами, сказал:

— У нас были коммунисты, но их давно нет, давно нет.

Другой старичок, сидевший рядом с ним, проговорил:

— Подожди, Карл. У нас есть один коммунист.

— Да, да,— поддержал его третий старичок.— Один коммунист у нас есть.

— Это кто же? — спросил четвертый старичок.

— Ну как же! Ганс Эперле — коммунист.

— Да, да,— подтвердили другие старики.— Эперле — коммунист.

— Где он? — спросил Лубенцов, любуясь этим неторопливым разговором старых шахтеров; он подумал, что они, несмотря на немецкую речь и внешность, все-таки здорово напоминают русских рабочих.

— Я его сейчас приведу,— крикнул паренек и выбежал из пивной. Не прошло и двух минут, как он вернулся вместе с высоким костлявым человеком в синем комбинезоне.

— Вы коммунист? — спросил Лубенцов.

---

[1] Наземный мастер *(нем.)*.

— Да. Месяц, как вернулся из лагеря.

Лубенцов пристально посмотрел ему в глаза и встретил взгляд глубокий и серьезный. В другое время Лубенцов сразу утих бы и стал бы разговаривать с этим человеком с тем волнением, которое всегда вызывал в нем человеческий подвиг. Однако сейчас ему было не до того. Предложенный ему темп жизни не допускал умиления, раздумий и длинных пауз, и этот новый жизненный ритм был чутко уловлен Лубенцовым. Он сразу накинулся на Эперле с градом упреков, вопросов и предложений.

— Уже месяц, как вернулись? Что же это вы, товарищ Эперле? Что же вы делали этот месяц? Ну почему теперь не работают? Куда это годится? Электростанции стоят, железные дороги почти не работают, а вы что? Сколько у вас коммунистов? Шесть? Это не мало! Это совсем не мало. А социал-демократов сколько? Тридцать! Ого! И профсоюз есть? Всё есть, а угля нет! Ой, беда! Ну и ну!

Пивная все больше наполнялась народом.

Кое-кто из шахтеров стал объяснять, что англичане увезли с собой часть машин и что шахта «Генриетта» принадлежит угольному концерну, находящемуся в английской зоне оккупации; оттуда нет никаких вестей, управляющий сбежал и т. д. и т. п.

— Ну и что же, ну и что же? — начинал сердиться Лубенцов.— Рабочие-то остались! Главные-то люди — на месте! Беда с вами, немцы! Когда вы поймете, что можете жить без управляющих?

Наконец было решено, что завтра шахта приступит к работе, и тут один из старичков шахтеров вдруг спросил:

— Как будет с заработной платой?

— А со снабжением как будет? — спросил другой старичок, жуя губами.

Лубенцов несколько растерялся. Он посмотрел на старичков сердито. Они ему теперь очень не понравились. Он был так доволен тем, что все вопросы легко и просто уладились, что теперь ему показалось даже оскорбительным то обстоятельство, что немецкие рабочие, которых он, Лубенцов, только что как бы простил от имени советского народа, еще осмеливаются говорить о деньгах, снабжении, спецодежде и прочих «шкурных» делах.

Все значение этих «шкурных» дел Лубенцов понял лишь

тогда, когда зашел в квартиру к Эперле. Там сидели за столом девочка, мальчик и женщина лет сорока. Их домашний обиход, одежда, а главное — еда (они обедали) свидетельствовали о такой бедности, что Лубенцов не мог не упрекнуть себя за свой мальчишеский административный восторг.

Они ели так называемый «пелотин» — варево из желудей и буковых шишек.

Лубенцов совершил над собой некоторое насилие, чтобы заставить себя смотреть равнодушней и без излишнего сострадания на этих людей. Он заставил себя подумать о своей родной стране, где советские граждане, победители, жили не лучше, чем эти немцы,— по крайней мере в тех местах, где побывали гитлеровские войска. Он заставил себя вспомнить обо всей нищей и голодающей Европе, пришедшей в такой страшный упадок по вине немецкой агрессии. И все-таки эти мысли, несмотря на их горькую справедливость, не смогли заслонить от него тот факт, что в вверенном ему районе люди голодают. Как человек он мог сколько угодно думать: «Поделом вам за все»,— но как комендант он так думать не имел права.

При этом Лубенцов сам ощутил голод — он давно не ел, ему захотелось чего-нибудь поесть. И он не мог скрыть от себя того обстоятельства, что ему довольно легко осуществить это желание в отличие от немецких рабочих.

После разговора с Эперле Лубенцов с Кранцем пошли к машине. Здесь, возле машины, их ожидал Зеленбах, о существовании которого Лубенцов совершенно забыл. Бургомистр стоял неподвижно, похожий на большого черного журавля. Все молча уселись в машину. Спустя некоторое время Лубенцов спросил, на чем Зеленбах собирается вывозить уголь. Зеленбах ответил, что в городе имеется несколько транспортных фирм, но вряд ли у них есть бензин. Тогда Лубенцов спросил, где производится бензин. Зеленбах ответил, что синтетический бензин производится в районе города Фихтенроде.

— Будет бензин,— буркнул Лубенцов, вспомнив, что в этот город назначен комендантом его знакомый, майор Пигарев, служивший раньше в штабе корпуса.

Кранц перевел его слова Зеленбаху с такой же уверенностью, с какой они были произнесены. Он про себя удивлялся, как все получается быстро и просто у этого русского; а получается все потому, что этот русский даже не может себе пред-

ставить, чтобы что-нибудь на свете нельзя было сделать. В бога он, вероятно, не верит, как все коммунисты. Он, вероятно, верит в прогресс. И в связи с этим весьма оптимистически настроен. «Разумеется, он не представляет себе всей сложности задач, которые встанут перед ним»,— продолжал думать Кранц, искоса поглядывая на профиль Лубенцова.

Что касается Зеленбаха, то он тоже все время наблюдал исподлобья за советским комендантом. Комендант оказывался не так прост, как ему, Зеленбаху, казалось вначале. Впрочем, может быть, он и был прост,— Зеленбах никак не мог определить это,— но он имел какую-то школу, привычки, навыки, свой подход к делам, который был совершенно чужд стилю работы западных комендатур, вовсе не склонных заниматься мелочами и вообще старавшихся заниматься чем-либо как можно меньше.

Показался Лаутербург.

XII

У подъезда комендатуры стоял Воронин, который, как обычно, курил сигарету с независимым и скучающим видом. Рядом стояли несколько немцев, при появлении коменданта снявших шляпы.

Воронин сказал:

— Первые посетители явились. Нужен переводчик. Кранца позвать?

— Нет, этого не будет,— возразил Лубенцов,— мы не англичане.— Он покосился на переводчика, который стоял возле машины бургомистра — бледный, сухонький, седой,— и добавил: — Только вот что: нужно ему уплатить. Лучше всего продовольствием.

Воронин сказал:

— Нет так нет. Сейчас позову другую, русскую. Сама пришла проситься.

Лубенцов вошел в дом. Здесь на диванчике возле широкой лестницы сидела девушка, хорошо одетая, на первый взгляд — красивая (есть такие девушки — красивые на первый взгляд). Она встала и представилась.

— Альбина Терещенко.— Крепко пожав Лубенцову руку, она выпалила единым духом: — Угнана сюда из Харькова в сорок втором году. Служила конторщицей в банке. Может быть,

вам нужен переводчик? Я хорошо владею немецким языком и немного печатаю на немецкой машинке.

Поднимаясь с ней по лестнице, Лубенцов задал ей устную анкету, из которой выяснилось, что Альбина училась в Харькове в институте пищевой промышленности, в 1941 году окончила второй курс, незамужняя, в комсомоле не состояла.

Она производила впечатление красавицы, и надо было иметь хорошие глаза, чтобы заметить, что она похожа на грызуна, нечто вроде ласки или горностая. У нее были мелкие жемчужные зубки, тонкое личико, большие красивые глаза, бледная кожа на лице, стройная длинная шея, на которой плавно покачивалась маленькая, почти змеиная головка. Вдобавок ее клетчатая юбка, туго облегавшая широкие бедра, внизу расходилась клешем, причем сзади была несколько длиннее, что, право же, напоминало хвост.

Лубенцов, однако, не имел ни времени, ни жизненного опыта для того, чтобы заметить все это. Он был наблюдателен и считал себя даже физиономистом, но только в отношении мужчин. Женщин он знал мало и разбирался в них плохо. Они ему нравились все. Он питал к ним слабость, понятную в молодом и добром человеке.

Переводила Альбина быстро, толково. Она вообще все делала быстро и толково. Стоило ей часок повертеться по дому, как дом превратился в учреждение, а будущий кабинет коменданта — в уютную и в то же время вполне служебного типа комнату. Появились занавески темно-бордового цвета и длинные дорожки, тоже темные, но посветлее, чем занавески. Ворониным и Иваном, а также вызванными ею немецкими поденщиками она командовала бойко, заставляя их перетаскивать мебель, носить стулья, кресла, книжные шкафы, вешать гардины, подметать лестницу.

— Цветов не полагается или как? — спросила она у Лубенцова, ставя на окно вазу для цветов.

— По-моему, не надо,— рассеянно ответил Лубенцов.— Некоторая официальность нужна, правда ведь? — Он делал записи в блокноте, стараясь составить себе хотя бы приблизительный план работы на ближайшие дни.

— Вы правы,— ответила Альбина и исчезла с вазой. Вернувшись, она продолжала: — Немцы любят власть.— Она пододвинула к столу тяжелое кресло с золотыми львами на подлокотниках.— И жесткую власть притом.

— Вы думаете? — спросил Лубенцов, подымая на нее глаза.

— Да. Я их знаю. Чем жестче с ними обращаться, тем они больше уважают. Они англичан уважают потому, что англичане высокомерны и не считают их за людей. Американцев они не так уважают — те с ними больше запанибрата. А русских — еще меньше, потому что русские показывают свой демократизм где надо и где не надо. Эффектно получается, когда русские, после всех своих бед, хлопают немца по плечу, как товарища. Даже русские евреи, я видела, и те...

Она говорила по-русски с южным акцентом — «г» произносила с придыханием, «е» в иностранных словах произносила как «э» — «зффэкт», «энэргия», «тэма». Слово «эффэктно» она особенно любила. Голос ее — грудной, низкий, бархатный, обволакивающий — к концу фразы становился все ниже, и фраза кончалась глухим рокотом — очень приятным. Под глазами у нее, несмотря на молодые годы — ей было всего двадцать четыре,— пряталось множество мелких морщинок и таилась синева, как после длинного ряда бессонных ночей.

— Немцы бывают разные,— сказал Лубенцов.— Да и приятно быть великодушным.

— Вы правы,— согласилась она неожиданно. И так же неожиданно спросила: — Где вы будете жить?

Он сказал:

— Здесь где-нибудь. Тут комнат много.

— Это не годится,— заявила она уверенно.— Учреждение есть учреждение. Тем более комендатура. Да и вам будет лучше на частной квартире. Свободнее.

— Верно,— согласился Лубенцов, подумав.

Он снова принялся за свой план, изредка наблюдая за тем, как она порхает по комнате и командует Ворониным и Иваном. Иван делал все охотно и бездумно, Воронин же был мрачен. Всякий раз, когда Альбина что-то приказывала, он вопросительно взглядывал на Лубенцова: что скажет начальник. Лубенцов рассеянно кивал головой или говорил:

— Давай, давай.

Он никак не мог сосредоточиться. Ему все казалось, что чего-то важного не хватает, но прошло добрых полчаса, прежде чем он понял, что не хватает телефона. Когда он сказал об этом Альбине, она вспыхнула от досады на то, что сама не догадалась о таком важном деле. Она сказала:

— Все будет сделано.

Она надела свою шляпку и ушла. Вскоре прибыли монтеры. Тихие, почтительные, они поставили в разных комнатах телефонные аппараты, благо проводка здесь была с прежних времен. В кабинете Лубенцова установили два телефона — один белый с красными кнопками, другой черный с белыми кнопками. Комната сразу приобрела от этого еще более нарядный вид.

Лубенцов попросил соединить его с городом Альтштадтом. Альбина кивнула головой, подняла трубку, важно сказала «хир командантур» [1], улыбнулась Лубенцову и затараторила по-немецки. Уже через минуту ответила телефонная станция Альтштадта, и еще через минуту на другом конце провода оказался окружной комендант генерал Куприянов. Выслушав доклад Лубенцова, он сказал:

— Все ясно. Насчет работы шахт и железных дорог приму меры. Конечно, не все пойдет гладко. Мы с тобой еще не комендантствовали за границей. У меня тут у самого голова идет кругом. Главное — присмотрись к немцам. Свяжись с антифашистскими партиями. Коммунисты там есть? Поищи, поищи их!.. Штаты утверждены. Полагается тебе несколько офицеров и взвод солдат, комендантский. Как дадут людей — пришлю. Пока пользуйся солдатами из воинских частей. Попроси у них, они дадут... Инструкции воспоследуют. У меня их уже целая гора.

Положив трубку, Лубенцов пошел посмотреть дом. Уборка заканчивалась. В большой полутемной комнате возле кабинета — будущей приемной — одиноко танцевал худощавый немец-полотер с надетой на ногу щеткой и с глазами, мечтательно устремленными ввысь. Стекольщики вставляли оконные стекла. Женщины мыли полы в комнатах и коридорах. Снизу доносился густой голос Альбины. Она спорила с немцами, стоявшими у входа в комендатуру.

— Нельзя, нельзя. Уже пятый раз вам говорю. Завтра придете,— произносила она по-немецки недовольным голосом, выпроваживая их за дверь.

Лубенцов постоял у дубовых перил ведущей вниз широкой лестницы, потом позвал Альбину и попросил ее связаться по телефону с комендантом города Фихтенроде.

— Его фамилия Пигарев, Павел Петрович. Мой сослужи-

[1] Комендатура у телефона *(нем.)*.

вец. Звоните, а я пойду чего-нибудь поем. Не помню, когда ел в последний раз.

Он наскоро поел вместе с Ворониным, потом снова пошел наверх. В кабинете мыли полы. Связаться с Пигаревым Альбина пока не смогла, так как в фихтенродской комендатуре телефона еще не было. Лубенцов с некоторым самодовольством воспринял это известие. Потом он вышел на улицу, прошелся по площади, постоял под деревьями сквера. Он вспомнил слова генерала Куприянова насчет того, что надо «поискать» немецких коммунистов, и засмеялся: ему это показалось смешно. Он пожалел о том, что не расспросил Энерле поподробнее.

«А есть ли вообще в Германии коммунисты?» — подумал Лубенцов. Он прошел мимо собора и завернул налево, на улицу. Дома стояли молчаливые и темные. Улица вскоре привела его к небольшой площади, посреди которой стояла ратуша — старинное здание с двумя башенками, украшенное вдоль карниза деревянными резными фигурками. Лубенцов вошел в ратушу, но и здесь все было тихо и пусто. Он вышел обратно на площадь. Там стоял Воронин.

— Ты как сюда попал? — спросил Лубенцов.

— Пошел за вами следом.

— Зачем?

— На всякий случай. Город-то чужой...

Они молча пошли обратно, но только успели завернуть за угол, как с обеих сторон улицы от домов отделились фигуры нескольких человек. Лубенцов остановился. Люди шли навстречу медленно и, казалось, угрожающе. Улица была узкая, темная, сумерки сгущались.

— Сейчас полосну их очередью,— сказал Воронин. На его окаменевшем лице изобразились ненависть и презрение.

— Подожди,— коротко приказал Лубенцов.

Он внимательно всматривался в лица этих людей, и они так же внимательно — в его лицо. Наконец один из них спросил, не имеют ли они честь разговаривать с советским комендантом, на что Лубенцов односложно ответил: «Да». И тогда бывшая среди них женщина заговорила с ним на вполне хорошем русском языке и сказала, что она жила четыре года в Москве. Она была страшно взволнована и, вместо того чтобы объяснить суть дела, твердила только, что жила в Москве четыре года, с 1925 по 1930 год. Она придвинула красное изможденное лицо, обрамленное седыми нечесаными волосами, почти к са-

мому лицу Лубенцова и вдруг произнесла голосом, в котором явственно прозвучала тревога:

— Вы молодой... Вы не помните.

Лубенцов спросил:

— Короче говоря, кто вы? И что вам нужно?

Она произнесла в ответ слово, которого он вначале не понял, и только после того, как она произнесла его несколько раз подряд, он понял: она сказала «пятерка». Перед Лубенцовым, как выяснилось спустя минуту, стояла руководящая пятерка местной организации КПГ.

Лубенцов ахнул. То, что он в совершенно незнакомом городе среди тысяч людей наткнулся именно на тех, кого искал и кого не надеялся найти, показалось ему чудом и предначертанием. Он не понял, что смог найти коммунистов только потому, что они искали его, а не только он их. Они могли бы ему рассказать о том, что целый день обивали пороги комендатуры, что ездили за ним на электростанцию, но прибыли туда слишком поздно и что позднее их не пускала Альбина.

Женщина, которую звали Ганной Небель и которую все остальные полуласково, полушутливо величали «Мутти» («мамаша»), пригласила Лубенцова к себе — она жила неподалеку. Маленькая каморка на чердаке с трудом вместила семерых. Пятерка состояла из самой хозяйки, двух пожилых людей — Карла Вандергаста и Курта Лерхе — и двоих людей помоложе — Руди Форлендера и Отто Ланггейнриха.

Уже после нескольких минут разговора Воронин, выражавший всем своим хмурым видом высшую степень недоверия, милостиво снял руку с шейки приклада автомата, а затем закинул автомат за спину. Каждому в отдельности он, может быть, и не поверил бы; один человек может про себя сказать неправду с самым убедительным видом. Но пять человек вместе не могут врать, во всяком случае, так убедительно, чтобы вызвать у двух взрослых людей боль и радость, замирание сердца и бурную симпатию.

Вандергаст и Лерхе недавно вернулись из концлагерей — один из Маутхаузена, другой из Заксенхаузена. Форлендер сидел три года в тюрьме, потом был призван на войну, работал на строительстве Атлантического вала, оттуда был за антивоенную пропаганду послан в штрафную роту, или, как ее называли, «Himmelsfahrtkommando» («команда путешественников на тот свет»); после ранения он опять попал в рабочий

батальон, но вскоре бежал и скрывался здесь, неподалеку от Лаутербурга, в маленькой будке, в большом помещичьем фруктовом саду — там работал садовником брат его жены. Наконец, Ланггейнрих — огромный неразговорчивый крестьянин с грубоватым и честным лицом — тоже отсидел четыре года, затем работал на известковом заводе в горах Гарца, а теперь жил в деревне Финкендорф; в июле 1944 года его снова замели, как заметали всех подозрительных после покушения на Гитлера. Что касается «Мутти», то она имела самый большой тюремный стаж и все эти годы выходила из одного лагеря, чтобы через полгода попасть в другой.

Они создали здесь, в Лаутербурге, комитет антифашистского сопротивления. Как только пришли американцы, «пятерка» написала и напечатала в местной типографии воззвание этого комитета. Воззвания были вывешены на улицах, но американские патрули прокололи их штыками.

— Они нас загнали в подполье,— сказал Лерхе.— Да, да, товарищ. Наш народ, обманутый Гитлером, после поражения был готов пойти нам, антифашистам, навстречу с открытой душой. Но американцы повели дело так, что народ опять стал относиться к нам недоверчиво. Вера в нацизм пропала, никакая другая не пришла ей на смену. Это опасно. Народ без веры — это опасно. А те стремились — да, да, товарищ,— стремились оставить наш народ без всякой веры.

— Американцы велели очищать город от обломков, а надсмотрщиками назначили нацистских чиновников,— хмуро заметил Вандергаст.

— Вот, вот! — воскликнул Лерхе.— Мы с Вандергастом пошли к американскому коменданту просить, чтобы не давали нацистам опять командовать. Нас выгнали! Да, да, товарищ! Нас, антифашистов, выгнали из американской комендатуры! И пригрозили избить! Как будто мы боимся побоев! Как будто нас никогда не били!

— Ладно, что было, то прошло,— успокоительно пробормотал Ланггейнрих.

— Ты, Ланггейнрих, слишком добрый,— закричал Лерхе.— Этого нельзя забыть! Гитлеровцев ласкали, а нас третировали! Назначили бургомистром Зеленбаха, который продавал в своем магазине вонючие сочинения Гитлера и его своры! Возвратившимся из лагерей антифашистам не давали жилья, а дома бывших нацистов пустуют и охраняются! Нас загнали в подполье,

а фашист Дистельберг остался хозяйничать на своей колбасной фабрике!

— Это было трудное время,— тихо сказала «Мутти».— Может быть, более трудное, чем при Гитлере. Время больших разочарований и сомнений. Я часто думала: может быть, мы уже никому не нужны? Безнадежно устарели? Кто мы? Обломки прошлого?

— Ладно, ладно, Ганна,— пробормотал Ланггейнрих.— Ты все усложняешь. Ты любишь усложнять.

— Я люблю правду.

Вандергаст сказал:

— Но не думайте, что мы только размышляли. Мы что-то и делали. Делали, что могли.

— Меньше, чем могли,— сказал Форлендер.

— Согласен, меньше. Но что-то делали. Мы связались с коммунистами и коммунистически настроенными рабочими. С батраками. Нам удалось устроить Форлендера в полиции. Он добился ареста некоторых спекулянтов, нацистов. Когда мы узнали, что вы придете, мы установили гражданскую охрану у некоторых предприятий, не дали разграбить склады, сахарный и колбасный заводы. Мы припрятали кое-какие драгоценные вещи из замка... К сожалению, не все. Англичане успели увезти древнейшее издание Библии, отпечатанной Гутенбергом, древнюю Лохгеймскую книгу песен, картины... Но кое-что мы уберегли, а главное...— Вандергаст вдруг задрожал, заранее возбужденный тем, что собирался сказать. При этом он поднял правую руку и сжал ее в кулак. Только теперь Лубенцов заметил, что рука Вандергаста вся искривлена, изуродована.— Главное — мы уберегли веру в будущее. Да, это мы сохранили, несмотря, конечно, на разные настроения и все такое... Переведи, Ганна, товарищу как можно точнее.

— Я все понял,— быстро сказал Лубенцов.

Он не знал, что еще сказать в эту торжественную минуту. Тут в комнате вдруг стало ослепительно светло; все вздрогнули от неожиданности и подняли головы вверх: под потолком загорелась электрическая лампочка.

— Молодец, Майер, держишь слово,— вскричал Лубенцов, обращаясь к лампочке, и встал с места.— Ну, я пошел. Дел много. Договорим в следующий раз. Будем работать вместе, вот и все.

XIII

На улице он сказал:

— Черт! Надо было что-нибудь им хорошее сказать, а я ничего не придумал. Надо было им хоть руки пожать.

Он был недоволен собой. Но Воронин, смотревший на жизнь более практично, возразил:

— Ничего, товарищ подполковник. Достаточно того, что мы к ним зашли. Это уже имеет политическое значение.

Показалась комендатура. Из ее раскрытых окон доносился голос Альбины. Она говорила по телефону — сначала по-немецки, потом стала говорить по-русски. Лубенцов с Ворониным вошли в дом. Здесь было тихо, чисто. Рабочие уже ушли.

Альбина разговаривала с Пигаревым, кокетничая напропалую. Завидев входившего Лубенцова, она осеклась и сказала в трубку:

— Подполковник Лубенцов у телефона.

— Здравствуй, Пигарев,— сказал Лубенцов.— Ну, как? Устроился? Ну, а я уже устроился. У меня тут уже все на мази. Все есть, кроме бензина. Бензин есть у тебя. Не знаешь? Так вот я тебе говорю. В пяти километрах от Фихтенроде — завод синтетического бензина.

— Ладно, присылай за бензином,— сказал Пигарев.

Лубенцов тут же позвонил Зеленбаху. В ратуше бургомистра не было. Из квартиры ответили, что Зеленбах отдыхает.

— Поднять его. Через полчаса чтобы он был здесь,— сказал Лубенцов.

Альбина охотно перевела эти слова по телефону жене Зеленбаха.

Бургомистр явился минут через пятнадцать. Альбина доложила о его приходе.

— Зовите,— сказал Лубенцов.

— Может, лучше, если он подождет минут десять, я сказала ему, что вы очень заняты.

Лубенцов засмеялся, но повторил:

— Зовите.

Зеленбах вошел и поклонился. Лубенцов сказал:

— Завтра утром пошлете машины за бензином в Фихтенроде. Обратитесь к коменданту майору Пигареву. А вы уже говорили с автотранспортными фирмами? Еще не говорили? Ах, как нехорошо! Просто из рук вон! Сейчас вы вызовете

к себе в ратушу хозяев этих фирм и дадите им нужные распоряжения. Не завтра, а немедленно. И вообще вы слишком рано кончаете работу. Вы и все чиновники магистрата. Когда город в развалинах, жрать нечего, люди страдают — магистрат не имеет права уходить со службы в пять часов вечера. Завтра с утра все население, включая буржуазию, должно выйти на очистку улиц от обломков. Движение разрешается до одиннадцати вечера. Все пивные, кафе и прочее открыть. Все. Вы свободны.

Но Зеленбах не уходил. Он начал говорить сдержанно-взволнованно:

— Я понимаю, что ко мне имеется много претензий... Это вполне естественно при моей должности в столь тяжелое время... Я выполнял указания оккупационных властей... и старался, очень старался... заслужить доверие. Я и впредь буду...

Лубенцов прервал его:

— Теперь слишком поздно говорить на эти темы.— Заметив, что эти слова имеют двойной смысл, он поправил Альбину: — Поздно в том смысле, что поздно, время позднее. Я прошлую ночь совсем не спал.

Когда дверь за бургомистром закрылась, Лубенцов сказал Воронину:

— Постели мне здесь где-нибудь.

Альбина воспротивилась этому.

— Что вы, товарищ подполковник,— сказала она.— Знаете что? Поедем пока ко мне. У меня хорошая квартира. Вы отдохнете, а завтра я подыщу вам... Есть очень хороший особняк генерала в отставке фон Липпе. Сам генерал сбежал.

Лубенцов улыбнулся и махнул рукой.

— Неудобно подполковнику спать в генеральской постели.

Она воскликнула:

— Наоборот, это поднимет ваш авторитет среди немцев.

Ее кто-то позвал, и она вышла.

— Резвая бабка,— сказал Воронин.

— Да, молодец девица,— согласился Лубенцов.— Ты ее, кажется, не очень любишь?

Воронин на этот вопрос ничего не ответил, а только спросил:

— Ну что, вызвать Ивана? Поедете к ней отдыхать?

— Нет, не поеду,— засмеялся Лубенцов,— не бойся.

Воронин, довольный, ухмыльнулся и пошел стелить Лубенцову постель. За этим занятием его застала Альбина.

— Вы кому стелете? — спросила она.

Воронин ответил с некоторым злорадством:

— Как так кому? Подполковнику Лубенцову, коменданту города.

— Он поедет ко мне. Коменданту нельзя так спать. Это снижает его авторитет.

— Опять ты со своим авторитетом! Да не вмешивайся ты не в свое дело! Тут все свои, переводить не надо.

Глаза Альбины сверкнули, но она сдержалась, подошла вплотную к Воронину, разметала его чуб и сказала шутливо:

— Ох вы какой строгий! Как монах.

Ее голос зарокотал.

Воронин, неожиданно для себя самого, схватил ее за плечи. Но она вырвалась и сказала:

— Ну, ну, осторожнее на поворотах. Коменданту пожалуюсь.

Воронин вполголоса выругался и проговорил не без восхищения:

— Ух, проклятая!

— Девушку я тебе раздобуду, не беспокойся,— сказала Альбина, приводя в порядок прическу.— Такую эффектную, что не видел ты ничего похожего. Любой национальности, какую хочешь. А меня не трогай. Для вас я аусгешлёссен! [1]

— Ладно, иди к бесу,— пробурчал Воронин.— Не искушай. Надоела.

Она постояла с минуту, посмотрела, как он стелет на диван шинель и байковое одеяло, и, с презрением покачав головой, сказала:

— Ладно, я сейчас сама постелю.

Но вместо того чтобы стелить, она стала звонить кому-то по телефону. Она говорила по-немецки. Потом, поманив за собой Воронина, вышла на балкон. Вскоре к дому подкатила автомашина. Из нее вылезли две немки, неся два огромных баула, в которых, как вскоре выяснилось, были одеяла, подушки, простыни и полотенца. Одна из немок — пожилая, пухлая — говорила с Альбиной подобострастно, низко кланяясь и прижимая ручки к высокой груди. Альбина отвечала ей кратко и не слишком приветливо.

— Гут [2],— повторяла она много раз, но довольно сухо.

---

[1] Исключается *(нем.)*.

[2] Хорошо *(нем.)*.

Вторая немка — востроглазая служаночка — стояла у стены и смотрела на Альбину и Воронина боязливо, но с интересом.

Альбина выпроводила их. Глаза ее были полны торжества.

— Подлизывается, старая карга,— сказала она.

— А это кто? — спросил Воронин.

— Фрау Бетхер, хозяйка галантерейной фирмы. Я у нее работала одно время. Сволочь порядочная.

Когда Лубенцов наконец улегся спать, было два часа ночи. Заснул он не скоро — перед его закрытыми глазами все мелькали лица и пейзажи. И ему все казалось, что он едет без конца куда-то. Такой напряженной жизнью он, пожалуй, и на фронте не жил.

«Завтракал с капиталистом, полдничал с помещицей, обедал с английским баронетом, провел вечер с подпольной коммунистической группой,— думал он, усмехаясь.— Как в авантюрном романе. Расскажешь — не поверят».

Спал он плохо.

Ему снилось, что он ползет с двумя разведчиками по снежному полю. Они в белых маскхалатах. Впереди виднеется черная полоска леса, а левее — деревенька, вся разрушенная.

«Немцы там, в деревне»,— говорит кто-то из разведчиков, и Лубенцов узнает голос своего бывшего ординарца Чибирева, погибшего в городе Шнайдемюле. Он удивляется, почему Чибирев здесь, и радуется тому, что Чибирев, оказывается, был в длительной отлучке и наконец вернулся, а вовсе не был убит, как это считалось раньше. И он тут же решает оставить Чибирева при комендатуре, причем нисколько не удивляется тому, что он, комендант, ползет по снегу, как разведчик.

Они ползут и вскоре замирают позади одного из крайних домов — покинутого, полуобгоревшего. И они видят, что по деревне ездят машины, ходят немецкие солдаты. Но когда трое из этих немецких солдат приближаются, Лубенцов с изумлением и не без ужаса замечает, что это вовсе не немцы, а англичане: майор Фрезер, бывший комендант Лаутербурга, и два английских офицера — голубой и коричневый. Все пьяны и веселы. С ними — красивая немка с высоко взбитой прической и бокалом в руке. Лубенцов слышит звук взводимой гранаты и говорит Чибиреву:

— Стой! Это не фашисты. Это наши союзники.

— Фашисты,— настаивает Чибирев.— Не знаю я никаких союзников, товарищ гвардии майор.

И Лубенцов во сне соображает, что Чибирев прав в том смысле, что действительно не знает никаких союзников, так как погиб в Шнайдемюле раньше встречи с союзниками. Однако Лубенцова и теперь совсем не удивляет то обстоятельство, что погибший Чибирев ныне жив и находится с ним. Он старается переубедить Чибирева:

— Ты не знаешь, а я знаю. Это союзники, английские офицеры.

— Почему же они здесь? — спрашивает Чибирев.

Лубенцов в душе соглашается с ним — он сам не понимает, по какой причине союзники здесь, в этой, по-видимому белорусской, деревне. Он говорит:

— Не понимаю.

Тогда Чибирев замахивается. Лубенцов в отчаянии перехватывает его руку с гранатой. Но граната уже летит, описывая темную тяжелую дугу в воздухе.

Ему снились и другие сны. Видения, не похожие на действительность, но связанные с ней то одной, то другой чертой, мучили его до самого утра.

А с утра снова началась действительная жизнь, похожая на сон, настолько была она чужда всей прошлой жизни Сергея Лубенцова. Бесконечной чередой перед ним стали проходить торговцы, фабриканты, бывшие нацисты, железнодорожные чиновники, пасторы, люди всех национальностей Европы, пригнанные в Германию Гитлером. Просили квартир, топлива, горючего, оконного стекла, лицензий на автомобили, пропусков на родину, освобождения от войскового постоя; жаловались на не уплативших за что-то англичан, на что-то взявших русских, на что-то присвоивших американцев, на кого-то объегоривших французов; репатрианты искали управы на немцев, немцы — на репатриантов; рабочие просили защиты от фабрикантов, фабриканты — от чрезмерных требований рабочих. Хмурые и оживленные, изможденные и толстые, старые и молодые сменяли друг друга у комендантского стола — каждый со своей заботой, своим горем, своей манерой разговаривать, пугаться, радоваться.

Лубенцов только отфыркивался, как пловец в бурную погоду, и не переставал принимать и принимать людей. Ему все это было интересно. Однако к исходу дня он понял, что так продолжаться не может: он оказывался не хозяином положе-

ния, а исполнителем, вынужденным заниматься только тем, что ему навязывают сотни просителей.

Зеленбах посылал к нему всех без разбору. От ратуши к комендатуре, мимо домов, а потом напрямик через развалины люди тянулись цепочкой, так что временами это напоминало хлебную очередь. А возле самой комендатуры, на площади, стало оживленно, как на торжище.

Воронин вначале нохваливал бургомистра: без нас, дескать, ничего не решает, старается. Но чем дольше все это продолжалось, тем Лубенцов, в ответ на замечания Воронина в этом духе, все больше мрачнел. Во время краткого промежутка, выкроенного на обед, он наконец не выдержал.

— Боюсь,— сказал он,— что Зеленбах нас дурачит. Все на меня спихнул. Просто не знаю, что делать. Скорее бы офицеры приехали, один я тут совсем зашьюсь.

Альбина, усмехнувшись, надоумила его:

— Установите приемные часы.

Выход из положения был довольно прост, но Лубенцов, никогда прежде не бывший бюрократом, нашел его гениальным. У него освободилось время для ознакомления со своим районом и для разговора с теми, с кем действительно необходимо было говорить.

На следующее утро он вызвал к себе руководителей четырех разрешенных Союзным командованием политических партий. Компартию на этом совещании представлял Курт Лерхе, уже знакомый Лубенцову по позавчерашней встрече. За эти два дня Лерхе неуловимо изменился. Лицо его было по-прежнему бледно и сосредоточено в себе; он был по-прежнему одет в обноски — короткий пиджачок и брюки непонятного цвета с невероятной бахромой на обшлагах и штанинах, свитерок, кое-как залатанный неумелой рукой. Но в его голосе появились металлические нотки, жесты стали увереннее, округлее. Пришедшие вместе с ним представители других партий заметно побаивались его — в особенности Франц Иост, руководитель социал-демократической организации. Лерхе относился к социал-демократу с откровенной враждебностью и несколько раз угрожающе говорил о «предателях, приведших к власти Гитлера», относя эти страшные слова именно к Иосту, который чувствовал себя плохо, все время ерзал на своем стуле и, ежась, настороженно поглядывал на Лубенцова красивыми карими глазами.

Ненависть Лерхе находила живой отклик в душе Лубенцова, который и сам как коммунист испытывал глубокую неприязнь к немецким социал-демократам. Но он старался соблюдать спокойствие и объективность, помня, что он — комендант, то есть лицо официальное, а не представитель самой великой из компартий мира. По этой причине Лубенцов отнесся ко всем пришедшим равно, пожал руку всем четверым одинаково.

Христианско-демократический союз представлял ветеринарный врач Эрих Грельман — высокий тяжелый старик с длинными седыми волосами, либерально-демократическую партию — совладелец крупной портняжной фирмы «Мюллер и Маурициус» Гуго Маурициус, изящный моложавый человек лет пятидесяти, портной с лицом аристократа.

XIV

Усадив всех четырех в кресла, познакомившись с ними и перебросившись несколькими словами, Лубенцов подумал: «А дальше что?» Он почувствовал свою полную неподготовленность к предстоящей беседе. Он был незнаком с программами партий, с их взаимоотношениями и, привыкший у себя в стране к однопартийной системе, не мог взять в толк, зачем понадобилось столько партий, раз у всех должна быть одна задача: перестроить Германию на новой основе, вытравив из ее сознания нацизм и агрессивность.

Его выручили сами посетители. Они попросили разрешения изложить ему свои нужды и просьбы. Догадываясь о том, что комендант — коммунист, они предоставили первому высказаться Лерхе.

Лерхе сразу же напал на Зеленбаха, на порядки, царившие в магистрате, стал жаловаться на тяжелое положение, в которое поставили компартию «все эти господа», находившиеся под покровительством американской, а затем английской комендатур. Он говорил справедливые вещи, но Лубенцова кое-что в его словах покоробило. Прежде всего было бестактно и неумно повторять, что, дескать, «теперь мы вам покажем, теперь мы вас проучим», то есть беспрерывно подчеркивать то обстоятельство, что советские власти будут оказывать преимущественное покровительство коммунистической партии. Лерхе вдобавок изъяснялся слишком торжественно, употребляя такие выражения, как «вопиющие к небу факты», «жребий брошен» и т. д.

Чтобы показать остальным свою близость к коменданту, Лерхе, между прочим, мимоходом сказал ему, что Карл (так он назвал Вандергаста) и «Мутти» вызваны в Галле и, вероятно, будут работать в провинциальном правительстве.

Несмотря на всю суровость и первозность Лерхе, Лубенцов внезапно уловил в его поведении нечто детское и жалкое. Кто мог осудить его за невинное желание после многих лет унижений показать «этим господам» свое торжество? Да, он торжествовал. В своих лохмотьях он держался так, словно на нем была мантия. Как ни странно, черты детскости, неожиданные в этом озлобленном и желчном человеке, примирили с ним Лубенцова.

Затем говорил Грельман, который взял под защиту Зеленбаха, утверждая, что бургомистр участвовал в заговоре «20 июля»; его свояченица прятала американского летчика в Дессау; Зеленбах действительно не дал компартии помещения и т. д., но таковы были указания комендатур — «тех комендатур, которые были здесь до вашего прихода»,— осторожно сказал он.

Маурициус пошучивал. Иост молчал. Все ждали, что скажет комендант. Лубенцов сказал, что материальное положение в городе и в районе очень тяжелое, население не имеет топлива, многие живут в развалинах. Работы по очистке улиц ведутся медленно. Среди населения царят растерянность, непонимание, глубокое уныние. Все четыре партии обязаны дружно работать, с тем чтобы улучшить положение, активизировать антифашистские силы.

Что касается бургомистра, продолжал Лубенцов, то дело тут не в том, хорош ли он был раньше, а в том, сможет ли он справиться с делом в дальнейшем. Лубенцов предложил созвать собрание антифашистов и решить этот вопрос. Может быть, целесообразно выдвинуть в бургомистры человека помоложе и поделельнее, чем господин Зеленбах, лично против которого Лубенцов ничего не имеет.

«Я становлюсь дипломатом»,— думал он в это время, довольный собой, но с тем грустным чувством, с каким думают: «Я старею».

Дождавшись, пока Альбина переведет его слова, Лубенцов в заключение сказал, что нацистов и тех, кто помогал им, постигнет суровая кара.

Лубенцов поднялся с места, давая понять, что беседа окончена. Все встали вслед за ним, только один Иост остался сидеть

в кресле. Не без оснований приняв последние слова коменданта на свой счет, он внезапно покраснел и сказал волнуясь:

— Вы совершенно правильно сказали. Сейчас все антифашисты должны объединиться. Особенно мы. Рабочие партии. Жертвы террора.

Так как Лубенцов его не слушал,— не слушал из антипатии,— Иост встал и начал возбужденно шептать что-то на ухо Альбине. Лубенцов между тем прощался с остальными. Уже у двери он спросил у Альбины:

— Что он вас там... улещивает?

Она ему ответила тоже по-русски:

— Жалуется на этого...— Она неприметно кивнула головой на Лерхе.— Говорит, он тоже был в концлагере.

Лубенцов недоверчиво покосился на Иоста, который, может быть поняв, что речь идет о нем, запальчиво сказал:

— Пять лет! Пять лет я был в Заксенхаузене! Вместе, кстати говоря, с Куртом. В одном бараке даже! — Он ткнул пальцем в плечо Лерхе, и его лицо приобрело обиженное выражение.

Лубенцов недоверчиво посмотрел на Лерхе. Лерхе сказал угрюмо:

— Да, да, да, но если бы не они, не было бы вообще концлагерей в Германии.

«Твердый орешек»,— подумал Лубенцов. Он вместе со всеми вышел в приемную и, окончательно прощаясь, вдруг обратился к Маурициусу:

— Вы, господин Маурициус, по-моему, недаром глядите на господина Лерхе с некоторым интересом. Я полагаю, что это — профессиональный интерес. Вам; наверное, хочется сшить ему костюм. И действительно, прошу вас приодеть нуждающихся антифашистов как можно лучше и как можно скорее.

Маурициус улыбнулся и поклонился.

— Будет сделано,— сказал он.

После приема Лубенцов выехал в район. Это был густо населенный, не пострадавший от войны — за исключением самого города — благословенный кусок земли. Западная часть его располагалась в поросших хвойными лесами горах, восточная, равнинная, часть была вся под нивами, огородами и садами.

Три дня подряд Лубенцов в сопровождении Альбины уезжал из города то по одной, то по другой дороге и возвращался поздно вечером. Он останавливался в поселках, на рудниках,

осматривал предприятия, попивал пиво в деревенских «гастхофах», где по вечерам собирались крестьяне. Он беседовал с бургомистрами селений и с руководителями партий и все, что узнавал, записывал в записную книжку, которая вскоре превратилась в своеобразный справочник по всем делам и горестям Лаутербургского района.

Позднее его хвалили за эти непрестанные разъезды, встречи и знакомства, за его стремление все видеть собственными глазами, во всем «разобраться на месте», и называли все это «правильным стилем работы». Но «стиль» этот возник бессознательно — он был следствием постоянного жадного интереса к жизни, которым Лубенцов был переполнен, сам того не сознавая. В планах, которые он составлял на каждый день, главное место занимал глагол «ознакомиться».

Возвращаясь вечером в комендатуру, он первым делом спрашивал Воронина, приехали ли офицеры, которых ему уже неделя, как обещал генерал Куприяпов. Офицеры все не приезжали, и Лубенцов без конца звонил в Альтштадт.

Наконец, вернувшись на третий день в комендатуру, он встретил Воронина на крыльце. Воронин ждал его.

— Завтра приедут,— сказал он.

— Точно приедут?

— Точно приедут. Сам генерал Куприянов звонил.

Поднимаясь по лестнице, он расспросил Воронина, что случилось за день. Воронин прочитал ему список всех приходивших и звонивших.

Приходил Лерхе («в новом костюме»,— отметил Воронин). Просился на прием суперинтендэнт Клаусталь — глава местных лютеран; раза три прибегал хозяин кинематографа со списком кинокартин, которые он просил просмотреть и разрешить к демонстрации. Делегация рабочих приходила с завода электромоторов. Приезжал полковник Соколов — командир полка, расположенного в окрестностях города (у него Воронин брал солдат для суточного наряда),— хотел познакомиться с комендантом.

— Зачем Лерхе приходил, не знаешь?

— Бургомистра они сместили. Просили вас утвердить бургомистром Форлендера — помните, того, длинного?

Лубенцов обернулся к Альбине, шедшей следом за ним.

— Надо передать им,— сказал он,— что Форлендер утвержден.

— Есть,— коротко и деловито сказала Альбина.

Они втроем вошли в кабинет. Альбина сразу же сняла шляпку, села на стул в дальний угол, где царил полумрак, вынула из сумочки блокнот, положила его на подоконник и стала быстро писать — вероятно, распоряжение об утверждении нового бургомистра.

Лубенцов просмотрел список посетителей и спросил:

— Что же ты им всем сказал?

— Как кому,— усмехнулся Воронин.— Рабочим — чтобы пришли вечером, капиталистам — что вас в ближайшие дни не будет, полковнику Соколову — что вы к нему приедете, этому попу — чтобы позвонил по телефону.

— А кто же переводил?

Воронин несколько смутился и виновато сказал:

— Пришлось позвать того старичка, Кранца.

Лубенцов нахмурился.

— Чтобы этого больше не было,— сказал он. Помолчав, он спросил: — Как с уборкой улиц?

— Убирать убирают, но энтузиазма особого не видно. Еле двигаются.

Альбина сидела в углу и глядела на Лубенцова влюбленными глазми. Этот взгляд, усвоенный ею за время их разъездов по району, начал беспокоить Лубенцова. Ему становилось не по себе от этого красноречивого и нескромного взгляда. Хотя взгляд ее был слишком красноречивым, чтобы быть по-настоящему влюбленным, Лубенцов, недостаточно опытный в таких делах, принимал все за чистую монету и испытывал неясную тревогу. Он чувствовал себя почти виноватым в том, что имел права и просто не мог отвечать Альбине взаимностью.

Что касается Альбины, то она была очень удивлена сдержанностью и всем поведением коменданта. Она решила, что ему не нравится ее живость, разговорчивость, и в последнее время стала молчаливой, задумчивой, старалась придать своим глазам мечтательное выражение. Но незаметно было, чтобы эта игра имела успех.

Кроме того, она отметила в нем разительное и полное отсутствие интереса ко всем благам жизни, которые сама она ценила так высоко. Она действительно была увезена из Харькова в 1942 году, но поехала почти охотно, считая, что при некотором умении можно в Германии прожить лучше и интереснее, чем в оккупированном Харькове. Правда, она разочаро-

валась, ей тут пришлось хлебнуть немало горя. Зато теперь, после освобождения, все ее помыслы были устремлены к тому, чтобы наверстать упущенное. Сейчас в связи с беспрерывными разъездами у нее не было времени пустить в ход свое влияние в качестве переводчицы и доверенного лица коменданта. Но кое-что она успела. Хозяева разных фирм присылали ей на дом вещи. Квартира, которую она заняла в доме книготорговца при первых же слухах о приближении советских войск, превратилась чуть ли не в комиссионный магазин — столько тут было безделушек, мебели, приемников и т. д.

Бескорыстие коменданта изумляло Альбину; она уже не пыталась заговаривать о квартире для него; она была рада и тому, что он не догадался спросить, откуда взялись постельные принадлежности, на которых он спал в одной из комнат комендатуры. И в то же время она восхищалась этой чертой его характера. Он казался ей не от мира сего. Никто так не восхищается подвижничеством, как люди, не способные на подвижничество; никто так не умиляется бескорыстием, как скряги и стяжатели. Лубенцов, который сам себе казался человеком рассудочным, трезвым, вполне прозаическим, казался Альбине человеком странным, ни на кого не похожим и поэтическим. То, что для него было вполне естественно, ей представлялось непонятным и бесконечно далеким от обычности. Тут сказывались два противоположных мировоззрения, и в этом смысле Лубенцов был дальше от Альбины, чем она от человекообразной обезьяны, хотя оба не сознавали этого.

XV

Рано утром Лубенцова разбудил Воронин:

— Офицеры приехали.

Лубенцов вскочил, быстро оделся и пошел к своему кабинету, где его ждали новые сослуживцы. Он открыл дверь, и ему навстречу поднялись с дивана три человека в шинелях. Они приложили правые руки к козырькам фуражек — все одновременно — и представились.

— Всего трое? — быстро спросил Лубенцов.— А остальных все подбирают и никак подобрать не могут? Снимайте шинели, товарищи.— Он крикнул Воронину, чтобы дали чего-нибудь позавтракать. Когда офицеры разделись и уселись опять на

диван, он пододвинул к ним стул и сел напротив них. Он больше всего боялся быть официальным и сразу хотел им дать понять, что они все вместе — маленькая советская колония в немецком городе — больше чем сослуживцы: они — друзья, единомышленники. Поэтому он и не сел за стол и не стал их расспрашивать сразу о прошлой работе и прочем, о чем полагается спрашивать в таких случаях. Он начал им сам рассказывать — о Лаутербурге и прилегающем районе, о разных немцах, виденных им за эти дни, о проблемах, стоявших перед комендатурой; он не скрыл от них и того обстоятельства, что немцы, и так боящиеся русских,— и не без оснований! — здесь, на этих территориях, особенно запуганы. Тут, к сожалению, не последнюю роль играла странная пропаганда, которую проводили оккупационные власти союзников.

Разговаривая, он, разумеется, наблюдал своих товарищей, оценивал их. Он заметил за свою недолгую, но полную впечатлений жизнь, что людей по внешности можно подразделить на несколько крупных категорий и что свойства характера каждой категории во многом сходны.

Майор Касаткин, присланный на должность заместителя коменданта, был приземист, большеголов и молчалив. Ему было лет под пятьдесят. Его красивое лицо с правильными чертами и спокойными глазами под тяжеловатыми веками производило впечатление честности, при некоторой сухости и прямолинейности. Улыбался он редко, но хорошо. Во всяком случае, во всей его основательной фигуре было нечто внушающее доверие.

Капитан Чегодаев был огромным детиной, слишком толстым для своих тридцати лет, с большим лицом, на котором все было маленьким — и глазки, и носик, и ротик. Он был смешлив и хотя теперь — при новом начальнике — смеялся сдержанно, но не трудно было заметить, что в обычное время от его хохота дрожат стекла. Он был прислан на должность офицера по сельскому хозяйству и со смехом объявил об этом Лубенцову — со смехом потому, что до войны работал плановиком на предприятии. Правда, то был завод, производивший сельскохозяйственные машины, и это, по-видимому, и послужило причиной такого назначения.

Третий офицер — старший лейтенант Меньшов — до войны был работником сельского райкома комсомола, до того работал токарем по металлу, а сюда был прислан офицером по про-

мышленности. Опять-таки явная несуразица, так как токарное дело он давно забыл, а в сельском хозяйстве разбирался прекрасно.

— Ладно,— решил Лубенцов.— Придется все сделать наоборот. Договорюсь с генералом сегодня же.

Между тем с завтраком не ладилось. Воронин и шофер Иван хлопотали, бегали, наконец вызвали Лубенцова в соседнюю комнату и сообщили, что есть нечего. Запасы кончились. Надо ехать в воинскую часть кое-что получить по аттестатам. В это время пришла Альбина, которая, узнав в чем дело, покровительственно улыбнулась и сказала:

— Здесь, в переулке,— немецкая харчевня. Хозяин ее, герр Пингель, будет счастлив кормить работников советской комендатуры.

Альбина поманила за собой Ивана и исчезла вместе с ним. Вскоре Иван вернулся с молоденькой девушкой в белом фартучке. Она несла поднос, покрытый салфеткой. То была форель на пару, местное блюдо — гордость этих изобиловавших горными речками мест.

Вслед за официанткой появился сам хозяин ресторана герр Пингель — маленький хромой немец. Он рассыпался в любезностях и попросил составить меню на всю неделю, с тем чтобы ведать снабжением офицеров советской комендатуры. Говорил он весело, неназойливо, хотя, конечно, не преминул попросить лицензию на дополнительные закупки мяса, молока и хлеба для питания советских офицеров. Впрочем, это было вполне естественно.

Лубенцов посмотрел на его ногу и спросил:

— Были на фронте?

— Ранен на Восточном фронте,— сказал герр Пингель, вытянувшись во фронт и не без гордости, словно хвалил русских за это достижение.

— В какой армии вы были?

— Во Второй танковой.

— А, у Гейнца Гудериана!

— Так точно.

Вторая немецкая танковая армия генерал-полковника Гудериана была хорошо знакома Лубенцову.

На территории Советского Союза она прошла до линии Смоленск — Рославль, потом была двинута на юг и участвовала в боях на Украине. Затем ее перебросили на Орел и даль-

ше — на Тулу. Здесь она вместе с большим количеством техники и людей потеряла свой боевой пыл, которым гордился «быстроходный Гейнц» — так танкисты называли своего командующего. За отход без разрешения Гудериан был снят Гитлером и направлен в резерв главного командования сухопутных войск. А этот маленький герр Пингель был ранен под Тулой, обморозил себе ноги и попал в госпиталь.

Было странно, что этот человечек, имевший на своей совести немало человеческих жизней и разрушенных домов, стоит теперь у стола с салфеткой в руке — мирный, хромоногий, улыбающийся, довольно симпатичный, жизнелюбивый маленький немец. На его лице улыбка, но не заискивающая, а мудрая профессиональная улыбка ресторатора, угощающего своих клиентов.

Еще более странным было то, что Лубенцов не чувствовал к нему никакой враждебности. А ведь большие черные, чуть выпуклые глаза этого немца видели те самые города и села, которые видел Лубенцов в том же 1941 году. Он был башенным стрелком и хладнокровно наводил свою пушку на то, что было дорого Лубенцову, на соотечественников Лубенцова, которые Пингелю ничего дурного не сделали. Он, вероятно, чванился тем, что он родом из Лаутербурга, не ставя ни во что те чужие города, которые он захватывал, и людей, которые там жили.

А теперь Лубенцов был призван заботиться о благосостоянии этого немца и всех горожан Лаутербурга. И, может быть, необычайнее всего было то, что Лубенцов делал это так же старательно и обстоятельно, как за несколько месяцев до того убивал Пингеля и ему подобных.

Если Лубенцов после беседы с бывшим немецким танкистом как-то даже расчувствовался, то этого нельзя было сказать о майоре Касаткине, который слушал весь разговор, сурово поджав губы. Когда немец ушел, Касаткин посмотрел на Лубенцова исподлобья и сказал:

— Теперь они все хорошие.

Лубенцов несколько смутился — он расслышал в этих словах оттенок упрека и подумал, что упрек этот до некоторой степени справедлив,— нет пока никаких оснований умиляться по поводу того, что бывший танкист угощает своих бывших противников форелью.

Альбина тем временем вышла из комнаты и, вернувшись,

сказала, что в приемной много народу и что с комендантом хочет говорить некая фрау Лютвиц. Альбина особенно напирала на эту самую фрау Лютвиц, так что у Лубенцова создалось впечатление, что ее нужно принять в первую очередь. Когда фрау Лютвиц вошла,— завтрак уже окончился и Воронин убрал со стола,— Лубенцов сразу узнал ее. Это была та самая немка, которая на днях снилась ему; он видел ее с майором Фрезером у горной гостиницы. Она тогда бросила бокал в пропасть и всплакнула — очевидно, по поводу ухода англичан.

Теперь она была чуть смущена или старалась казаться смущенной. Она была высока ростом, красива, хорошо сложена и изящно одета. Запах духов наполнил комнату. Она села и заговорила быстро, неожиданно громко и свободно, небрежно положив на зеленое сукно стола большую полную руку. Она говорила, и Лубенцов и остальные офицеры глядели на эту руку — очень белую и, если так можно выразиться о руке, томную, то есть несколько вяловатую, но не от рыхлости или слабости, а от расслабленности нарочитой и многообещающей. Она сидела, плотно и уютно положив одну ногу на другую. И хотя она что-то говорила, вкладывая в свои слова убежденность и даже горячность, однако чувствовалось, что она знает, что главное это не то, что она говорит, а то, как она сидит.

Касаткин закурил и стал глядеть в окно, чего нельзя было сказать о Меньшове и Чегодаеве, которые смотрели на женщину во все глаза.

Лубенцову стоило некоторого труда заговорить с ней официальным тоном, что он, впрочем, и сделал. Он не понял, чего, собственно, хочет от него эта женщина. В общем ее слова сводились к тому, что она привезла коменданту продукцию своего завода — старой фирмы, насчитывавшей уже около сотни лет и имевшей заслуги в германском экспорте. Привезла она ее «для проверки», как она выразилась.

— Какого завода? — спросил Лубенцов у Альбины.

— Она хозяйка ликерного завода. Это самый крупный здесь ликерный завод,— ответила Альбина очень быстро и деловито, и ее лицо стало при этом преувеличенно строгим. Говоря, она пошла навстречу пожилому немцу, который внес небольшой красивый ящик с красно-золотыми наклейками. Этот немец оказался не кто иной, как Кранц. Он был, надо сказать, порядочно смущен и, поставив ящик на стул у двери, принуж-

денно поклонился, потом сразу отвернулся, давая понять, что в данном случае он только рабочая сила, а к затее заводчицы относится отрицательно. Он в самом деле отговаривал как мог фрау Лютвиц от этого дела, ссылаясь на то, что немного знает советского коменданта и уверен, что подполковник рассердится.

Лубенцов, поняв, в чем дело, действительно посерел от злости, но сдержался, вместо ответа вынул свою записную книжку и стал задавать вопросы. Ответы заводчицы он записывал. Он спросил, сколько литров выпускает завод ежесуточно; как снабжается сырьем; по каким ценам продает свою продукцию; сколько имеет рабочих и служащих; на сколько времени обеспечен спиртом. Записав все это, он сказал, чтобы завод продолжал, не снижая выработку, выпускать продукцию. Оккупационные власти окажут ему содействие. Злые желваки ходили по его щекам. Не исключена возможность, сказал он, что часть продукции оккупационные власти законтрактуют для своей внутриармейской торговли, в связи с чем заводу будет оказана помощь сырьем. Что касается его, Лубенцова, и его товарищей, то они не разбираются в этом производстве.

При последних словах Кранц торопливо поклонился и вместе с ящиком исчез в дверях. Фрау Лютвиц была очень напугана. Ее длинные ресницы растерянно заморгали, и она сразу помолодела, потому что потеряла самоуверенность и светский тон. Конечно, она считала, что все так получилось потому, что Лубенцов был не один. Она для того и взяла с собой Кранца, чтобы побеседовать с комендантом наедине, даже без переводчицы. Теперь она не знала, что сказать и как выпутаться из неприятного положения. Она сказала:

— Британская комендатура установила такой порядок. Я не имела представления... Прошу извинения.

Конечно, она сказала неправду. Британская комендатура таких порядков не устанавливала. Это сама фрау Лютвиц установила такой порядок во время пребывания здесь американцев, а затем англичан. Так или иначе — она своим женским умом поняла, что самое правильное свалить все на них. Она безошибочно определила, что русские подозрительны по отношению к своим союзникам. Она знала, что они имеют на то основания. Лубенцов, действительно готовый после всего, что он видел и слышал здесь, подозревать англичан в чем угодно, искренне поверил фрау Лютвиц.

— Ладно, ничего,— сказал он и даже проводил фрау Лютвиц до двери. После того как за ней закрылась дверь, он повернулся лицом к офицерам, и сказал: — А жалко, ящик с хорошим ликером уплыл.— Он бросил лукавый взгляд на Чегодаева, который в ответ рассмеялся с явным сочувствием к его словам.— Вот *вам*, пожалуйста, капиталистическое окружение.— По ассоциации, хорошо понятой всеми, он спросил: — Где ваши семьи?

— Я холостяк,— сказал Меньшов.

— Жена в Москве,— ответил Чегодаев,— а детей пока нет.

— У меня семья в Костроме,— сказал Касаткин.— Четверо детей.— Он встал с места и стал шагать взад и вперед по комнате.— Вы, конечно, правильно поступили,— проговорил он.— Нельзя терять самообладания. Но, честно говоря, я бы не выдержал. Сволочь такая, взятку принесла. Бессовестная баба. Нет, все-таки надо было ей сказать.

— Вызывайте свои семьи,— сказал Лубенцов.— Я вот тоже хлопочу, чтобы мою жену демобилизовали. Обещают.

Альбина, до сих пор стоявшая молча, опершись руками на спинку стула, со своей обычной, несколько загадочной улыбкой, перестала улыбаться и сказала с поразившей Лубенцова бесцеремонностью:

— Не надоели вам еще ваши женушки? Там люди дожидаются приема.

Эти слова неожиданно поставили Лубенцова в сложное положение. Если бы Альбина сказала их ему наедине, он бы посмеялся и пошутил насчет того, что все девушки до замужества не любят, когда им говорят нежно о женах,— потом, мол, взгляды меняются. Но сказанные здесь, в присутствии незнакомых людей, слова Альбины и резкий тон этих слов могли показаться признаком особых отношений между ней и Лубенцовым. Просто подчиненная не должна была и не могла говорить так. Он рассердился, но сдержался, покосился на Касаткина и неловко сострил:

— Придется вас выдать замуж, тогда вы не будете сердиться на всю замужнюю часть человечества.

Лубенцову предстояла поездка в Фихтенроде к майору Пигареву насчет регулярного снабжения бензином Лаутербурга и района. Приемом людей должен был заняться Касаткин. Альбина оделась, приготовившись сопутствовать Лубенцову, но он сказал ей сухо:

— Я поеду один. Там мне переводчик не нужен. Вы останетесь тут с майором Касаткиным.

Она сверкнула глазами, но промолчала. Впервые за эти дни он сел в машину без нее.

XVI

Как всегда наедине с Лубенцовым, Иван был разговорчив. Он хвалил немецкие дороги, потом спросил, как чувствует себя подполковник и нравится ли ему его работа. Лубенцов подумал и ответил, что нравится.

— А я вот хочу домой,— сказал Иван, помолчав.

— А тебе, может, отпуск дать? Сейчас отпуска солдатам разрешили.

Иван повернул к Лубенцову недоверчивое лицо. Ему трудно было поверить, что солдат может получить отпуск.

— Ты бы мне давно сказал,— продолжал Лубенцов.— Почему ты мне не говорил?

Иван неопределенно хмыкнул:

— Тут эта переводчица с вами была все время. Неудобно. Она вот домой не хочет. Ей здесь хорошо. Прижилась.

Вдали показался Фихтепроде — небольшой старинный городок. Он пострадал меньше, чем Лаутербург, от бомбежек и выглядел наряднее и оживленнее. Не без ревнивого чувства Лубенцов заметил, что с работами по очистке улиц от обломков тут дело обстоит благополучнее, чем у него в Лаутербурге. Непроезжих улиц, пожалуй, не было.

— Молодец Пигарев,— сказал Лубенцов.

Комендатура находилась тут в большом доме, значительно большем, чем дом на площади Лаутербурга, и все здесь, в комендатуре, было гораздо торжественнее, упорядоченнее. Внизу стоял рослый часовой, держа у ноги самозарядную винтовку с примкнутым штыком. Государственный флаг на шесте, сшитый из очень яркого плотного шелка, был раза в четыре больше лаутербургского. У входа помещалось бюро пропусков. Оказалось, что немцы здесь без пропуска не могут зайти в комендатуру.

Лубенцов поднялся по лестнице и вошел в большой зал, весь в коврах. В углу стояли огромные напольные часы, издававшие тонкий звон каждые четверть часа, а все остальное время мирно и успокоительно стучавшие, что придавало ком-

нате необычайно солидный вид. В дальнем углу у окна, возле двери, обитой черной кожей, за столиком сидел сержант с красной повязкой на рукаве. Сержант был в роговых очках, и это обстоятельство тоже добавляло солидности и основательности комнате и всей комендатуре.

При входе Лубенцова сержант встал и спросил, что Лубенцову нужно. Сержант был молодой, худой, с большим кадыком, очень обходительный,— видно, интеллигентный. Он сказал:

— Прошу вас присесть. Товарищ майор вас, несомненно, примет. Однако его сейчас нет в комендатуре, вероятнее всего, он у себя на дому.

Сержант позвонил майору Пигареву «на дом», и Лубенцов услышал в трубке громкий и радостный голос Пигарева, кричавшего:

— Тащи его сюда!

Пигарев жил в большом особняке. Здесь тоже стоял часовой с самозарядной винтовкой, но без примкнутого штыка. Часовой поприветствовал Лубенцова «по-ефрейторски» и распахнул перед ним красивую чугунную решетку, загораживавшую невысокую арку. Это был вход во двор — глубокий, полутемный вход, вымощенный брусчаткой. Он проходил сквозь весь дом, стены его и своды были обвиты густыми зарослями хмеля и плюща. Все это походило на зеленый грот. А впереди виднелся кокетливый маленький дворик с клумбами и старыми вязами.

Во дворике Лубенцова радостно встретил Пигарев в расстегнутом кителе и в тапках на босу ногу. Они вошли в дом через маленькую одностворчатую дверку, выкрашенную в темно-красный цвет. Дверка красиво выделялась среди зеленых зарослей того же хмеля и плюща, которыми вся задняя стена дома была сплошь покрыта.

— Богато живешь,— пошутил Лубенцов, поглядывая с сердечной симпатией на простое, милое лицо товарища, с вздернутым носом, хитрыми маленькими глазками и рыжеватыми волосами, зачесанными на прямой пробор.

— Занял дом, в котором раньше жил американский комендант,— ответил Пигарев.— Соблюдаю, так сказать, преемственность. Лучший дом в городе. Немцы любят, чтобы власть выглядела представительно.

— В который раз слышу! И откуда вы все так хорошо знаете, что немцы любят? Между прочим, я заметил, что немцы любят сытно есть.

Они поднялись в столовую, поговорили о том о сем. Комендатура Фихтенроде была уже полностью укомплектована офицерами. Лубенцов удивился.

— Очень просто,— весело объяснил Пигарев.— Я все эти дни почти безвыездно сидел в Альтштадте... Знакомился с инструкциями и требовал людей. Давайте людей — и никаких! Дали. Хороших ребят. Знающих. Агронома — на сельское хозяйство. Инженера — на промышленность. Пропагандист — хороший политработник, бывший доцент. На начальство надейся, а сам не плошай.

— Это верно,— огорченно протянул Лубенцов и только завел разговор о бензине, как раздался оглушительный телефонный звонок. Коменданта вызывал Лаутербург. Это был Меньшов, который позвал Лубенцова к телефону и сказал:

— Товарищ подполковник, к вам приехала жена.

Лубенцов положил трубку. Пигарев заметил на его лице необыкновенную перемену.

— Таня приехала,— сказал Лубенцов.

Пигарев быстро оделся, и они пошли к комендатуре.

— Сделаю, сделаю, все сделаю с бензином,— говорил Пигарев.— Езжай, езжай, не беспокойся. На свадьбу позови смотри. Мы это дело вспрыснем. Я слышал, у тебя в твоем Лаутербурге ликерный завод. Я тебе бензину, ты мне — ликеру.

Возле комендатуры Пигарев крикнул:

— Орлов! Матюшин! Беневоленский!

Из комендатуры вышли два офицера и сержант в очках. Пигарев познакомил их с Лубенцовым и спросил:

— Машина твоя заправлена? А то заправлю. Беневоленский! Букет цветов! Мигом! Розы!

Лубенцов слушал все эти милые глупости так, словно они относились не к нему. На него напало нечто вроде столбняка — настолько был он радостно ошарашен предстоящим свиданием. Он был рад, что Пигареву пришла в голову мысль насчет цветов,— сам Лубенцов до этого бы не додумался. И насчет свадьбы тоже верно. Надо устроить свадьбу.

По дороге он думал о том, как они будут с Таней жить, и ничего путного не мог придумать, потому что ему было трудно себе представить, как все это будет. Ему было странно, что теперь они будут все время вместе. Они будут вместе есть, вечером они будут гулять. Это все, что он мог придумать.

В машине сильно пахло розами. Иван высказал свойствен-

ный ему такт и на этот раз все время молчал, хотя не без удивления замечал, что подполковник изредка улыбается про себя. Иван думал о том, как странно, что такой бравый, удивительно толковый и умный человек, как подполковник Лубенцов, так расчувствовался и, как про себя говорил Иван, «раскис» при известии о приезде Татьяны Владимировны. Он, Иван, тоже любил свою жену, но всегда старался, чтобы это было незаметно.

Лубенцов поднялся по лестнице наверх в том же почти бессознательном состоянии, в каком находился все это время. Он ожидал, что каждую минуту может увидеть Таню, но когда он увидел ее, ему это показалось неожиданным. Он испытал то чувство, какое испытывает человек, увидев в первый раз нечто хорошо знакомое, но понаслышке. Скажем, человек, впервые приехавший в Ленинград, может именно так увидеть Медного всадника. Самое поразительное здесь то, что все точно так, как ожидалось. Это-то и производит неотразимое впечатление. Но вот Таня произнесла свои первые слова:

— Нашу дивизию направляют в Советский Союз.

Он сначала не понял, потом спросил беспомощно:

— Что же нам делать?

— Мне дали три дня отпуска. Постараемся эти три дня провести как можно лучше. Это все, что мы можем сделать.

Три дня прошли быстро. Офицеры комендатуры всячески старались заменить Лубенцова во всех делах, но ему все равно приходилось по нескольку часов в день работать. Однако все время, что бы он ни делал, он думал о Тане, находившейся так близко от него, за какими-нибудь тремя-четырьмя перегородками. Он думал о ней и во время важных совещаний с представителями антифашистских партий, или с работниками магистрата, или с бургомистрами окружающих деревень. Иногда она заходила к нему в кабинет. Никого не удивляло то обстоятельство, что входила русская офицерша. Удивлялся он один: какая она взрослая, молчаливая, какая красивая. Говорила она, по его мнению, умно и кстати. Она всем нравилась, и он удивлялся и гордился тем, что это его жена и что наступит час, когда она — сдержанная, скромная, без труда вызывающая в людях немедленное уважение — будет вся его, и он, Сережа Лубенцов,— для себя-то он был по-старому Сережей Лубенцовым, мальчиком из таежного селения,— будет для нее всем на свете.

Было наслаждение и в том, что вот он сидит здесь и занимается делами, а она — рядом, недалеко. Он может в любую минуту сказать: «Господа (или товарищи), я занят»,— и уйти к ней. Правда, он этого не делал, потому что не считал возможным оставить важное совещание или заседание. И ему доставляло острое наслаждение — отсрочить свое счастье, свою близость с Таней, но знать, что эта близость может в любую минуту стать действительностью.

Иногда ему становилось невмоготу. Он всей душой рвался к ней и вдруг пунцово краснел, вставал с места, ходил по комнате, чтобы люди не заметили этого нескромного румянца воспоминаний.

Ко всему примешивалась и с каждым днем становилась все более нестерпимой горечь близкой разлуки.

Вечером третьего дня они поехали на прогулку в горы. Машина поднималась все выше. Лубенцов и Таня молчали, держась за руки, как дети. На повороте Лубенцов попросил Ивана остановиться, помог Тане выйти из машины. Они постояли у края и поглядели вниз, на пестрые крыши города. Потом они пошли немного пешком. Перед ними справа от дороги оказалась гостиница «Белого оленя» с белыми столиками на открытом воздухе, под большими зонтами, как на пляже. Рядом располагался кегельбан, дети и пожилые люди играли в кегли.

— Пива не хочешь? — спросил Лубенцов.

— Нет,— сказала Таня.

Они минут пять посмотрели на играющих, потом опять сели в машину.

— Подземный завод показать? — спросил Лубенцов.

— Как хочешь,— сказала Таня.

Они свернули с дороги и поехали по песчаному проселку. Справа поднимались горы. Голые, серые, причудливого вида скалы торчали на вершинах из массы сосняка. Желтые стволы сосен, накаленные солнцем за день, казалось, теперь отдавали обратно миру свой жар, и поэтому было так тепло, тихо и мирно кругом. Пели птицы. Вскоре показались огромные, выбитые в породе ворота, за ними — вторые.

Это и был подземный военный завод. Лубенцов и Таня прошли мимо отдавшего честь часового, постояли у входа, посмотрели на колоссальное, вырубленное в горе помещение, уставленное поблескивавшими в полутьме станками.

Трудно было поверить, что наверху, над этим мрачным

цехом мирно покачиваются кроны старых сосен и поют птицы.

Можно было только удивляться огромным усилиям, сделанным Германией для ведения войны. Но бессмысленность этих усилий и то, что завод в чреве горы строили не немцы, уверенные, пусть ошибочно, в том, что их труд нужен родине, а подневольные иностранцы, жившие в лагере неподалеку,— все это сводило на нет впечатление от подземного гиганта, созданного людьми для уничтожения людей.

— На днях начнем демонтировать,— пробормотал Лубенцов.

Они сели в машину, поехали дальше и скоро снова достигли асфальта. Машина пошла в гору, дорога забирала все круче. Разнообразные деревья росли кругом — рябина, бук, граб и ольха. Потом пошли сплошняком густые, могучие, многослойные еловые леса. Несмотря на красоты природы, на чистоту воздуха, на пение птиц и бормотание горных потоков, Таня и Лубенцов сидели унылые. Он вначале пытался говорить, рассеять ее и свое тяжелое настроение, но потом умолк. Иван тоже молчал, полный сочувствия.

Они проехали красивое горное селение. Подъем становился все круче.

— Мы скоро будем на Брокене,— сказал Лубенцов.— Это тот самый Брокен, где ведьмы в «Фаусте» собираются. Вальпургиева ночь именно здесь и происходила. У Гейне есть книга «Путешествие на Гарц». Это тоже про здешние места.

— Да,— сказала Таня.— Я так и думала.

Они очутились на лысой макушке Брокена. Солнце стало заходить. С вершины они увидели весь Гарц, поросшие деревьями горы, веселые деревеньки с похожими на иголочки башенками церквушек. Воздух был прозрачен до того, что видно было на сотню верст кругом. Нежное пурпурное зарево охватило небо и позолотило бархатные складки гор до самых глубоких впадин.

Лубенцов посмотрел сбоку на Таню. Ее лицо было серьезно и полно глубокой грусти. И оттого, что она не могла даже здесь, перед лицом огромного, прекрасного мира, забыть о предстоящей разлуке, Лубенцов почувствовал, что сердце у него разрывается от счастья, гордости и горя. Но он продолжал говорить тоном, который ему самому казался глупо-игривым и пошлым:

— Здесь они собираются, ведьмы со всей Германии, молодые

и старые, верхом на помеле либо просто так, и танцуют вокруг козла. Воп там — видишь те камни — так называемый алтарь ведьм... Хижина из камня — в память посещения Гете. Американцы ее разрушили неизвестно зачем. Тебе не холодно?

— Нет... Хижину надо бы восстановить.

— Ха!.. В тебе говорит жена коменданта! Я уже думал об этом. Дай я тебя поцелую. Я люблю тебя очень сильно. Как я буду жить без тебя?

Она поплакала немножко, и они отправились в Лаутербург.

На следующее утро за Таней пришла машина из медсанбата. Лубенцов даже не смог проводить Таню, так как был вызван на совещание в Карлсхорст, а к совещанию следовало подготовиться.

Когда машина отъехала, Лубенцов долго стоял на тротуаре. Было очень рано. Солнце только вставало. Он ничего не видел перед собой, и только постепенно в круг его зрения входили покрытые брусчаткой улицы, каменное лицо Роланда, черный провал в левом приделе собора, длинные утренние тени прохожих на другой стороне площади. И только теперь Лубенцов понял по-настоящему, что ему предстоит длительная и тяжелая разлука с женщиной, которая стала ему по-настоящему близкой и необходимой, как хлеб. Ему внезапно опротивел этот тихий немецкий город; все его проблемы показались ему незначительными, неважными, ненужными. Весь пейзаж с замком и горами, и плитчатые тротуары, и черепичные островерхие крыши, и лица немцев и немок, и даже лица сослуживцев показались ему постылыми, чужими и не имеющими к нему, к его душе, к его внутренней жизни, к его настоящему и будущему ровно никакого отношения.

В Карлсхорсте ему пришлось выступать в присутствии маршала Жукова на большом совещании, посвященном денацификации. Но даже в этих напряженных обстоятельствах он думал все о том же и, отвечая на вопросы маршала и двух генералов, думал все о том же.

Впрочем, ответы его понравились маршалу и генералам,— может быть, потому, что, думая о посторонних вещах и занятый своими личными делами, он не проявил никакого волнения или смущения в связи с делами служебными; ему теперь было все безразлично — даже то, понравится он или не понравится своим начальникам, хотя обычно это его всегда волновало.

XVII

Лицо Воронина, когда он встретил Лубенцова на пороге комендантского кабинета поздно вечером, показалось Лубенцову особенным: Воронина распирало лукавое веселье. Лубенцов спросил, что случилось.

— Альбина сбежала,— сказал Воронин с удовольствием.

Лубенцов вошел в кабинет Касаткина. Офицеры были в сборе. Касаткин сказал:

— Понимаете? Еще не кончился прием, как она мне говорит: «Все. Больше я переводить не буду. Я уезжаю из Лаутербурга». Какая странная безответственность. Где книга приказов? Когда она была зачислена? На какой оклад? — Он нервно закурил.— Вела себя грубо, обрывала меня. И я не уверен, что она достаточно точно переводила.

— Да нет, переводила она точно,— возразил Меньшов.— Я немного в немецком разбираюсь. Переводчица она была хорошая, все оттенки передавала очень верно. Но взбалмошная какая-то, чудачка.

— Где же она? — спросил Лубенцов.

Воронин, стоявший у двери, сказал:

— Как сказала, так и сделала. Уехала. Наняла у немцев два грузовика и отбыла в неизвестном направлении.

— Безобразие,— проворчал Касаткин.

Лубенцов сказал:

— Вообще она имела право так сделать. Зачислять ее никто не зачислял, книги приказов у меня пока еще нет. Придется ее, эту книгу, завести. Что с ней случилось? Непонятно! Раньше она вела себя вполне удовлетворительно. Была дисциплинированна. Да... Обиделась за что-то?

— Что значит обиделась! — вскипел снова Касаткин.— Какие могут быть обиды в учреждении, тем более в военном!

— Она-то человек невоенный,— примирительно сказал Чегодаев.

Лубенцов повернулся к Воронину:

— Надо достать переводчика. Отправляйся в лагерь к этому одноногому, поговори с ним, он кого-нибудь порекомендует.

Рано утром, когда все еще спали, Воронин разбудил Ивана и поехал в бывший русский лагерь за городом. Там почти никого не оставалось — все переселились в Лаутербург и другие города. Девушки работали официантками в воинских частях,

продавщицами в военторге; молодые ребята были мобилизованы в армию.

Одноногий еще находился здесь. В этот ранний час он уже не спал, сидел на ступеньке у входа в барак и курил. Воронин молодцевато соскочил с машины. Он был весь в орденах. В то время все ходили еще при всех орденах — не так из гордости, как из-за того, что еще не знали, как с ними обращаться, где их прятать, куда класть. Орденов у Воронина было много, среди них — орден Красного Знамени и два ордена Славы. Сидевший на ступеньке одноногий человек в белой рубахе поднялся навстречу Воронину, пристально глядя на его ордена. Воронин поздоровался с ним дружелюбно, но с некоторым чувством превосходства и объяснил, что ему нужно.

— Войдем,— сказал одноногий. Они вошли в коридор, а оттуда в дощатую клетушку, обклеенную немецкими журналами и газетами. Пропуская Воронина вперед, одноногий властно крикнул: — Ксана, зайди ко мне!

Одноногий усадил Воронина за стол.

— Позавтракаем вместе? — спросил он.

— Собственно, я уже завтракал.

— Для солдата два раза позавтракать — нетрудное дело,— возразил одноногий.

Появилась кое-какая еда и бутылка красного вина. Минут через десять в комнатушку вошла худенькая невысокого роста девушка со злыми серыми глазами под черными, густыми, сросшимися на переносице бровями. Волосы ее были растрепаны. Длинные, черные, они падали почти до пояса; она, видимо, только что проснулась.

— В переводчицы пойдешь к коменданту? — спросил одноногий.— Прислал он за переводчицей. Поручил мне подыскать подходящего человека. Вместо этой б... Сбежала эта б...

Неприличное слово он произносил обыденно, без всякого подчеркивания, как любое другое.

— Могу пойти,— сказала она, неласково взглянув на Воронина.

— Поехали,— сказал Воронин. Он встал, пожал одноногому руку и спросил: — А вы нигде не работаете? Зайдите к нам в комендатуру. Пока репатриация, пока то да се... Комендант вас уважает.

Лицо одноногого на мгновенье покрылось румянцем. Он ничего не ответил.

Воронин с девушкой вышли из барака.
— Вы откуда? — спросил Воронин.
— Из Луги, Ленинградской области.
— Как сюда попали?
— Как все.
— Где работали там, в Луге?
— Училась.
— А тут?
— На подземном заводе.
— Возраст?
— Двадцать один год.
— Замужем?
— Нет.
— А хочешь замуж?
Девушка не улыбнулась, промолчала.
— Злюка ты.
— Станешь злюкой.
— Ясно. Образование?
— Десять классов.
— Грамотная. Родители?
— Отец — в Красной Армии. Еще не знаю, что с ним. Мать — домашняя хозяйка. Там же, в Луге.
— За границей не была? — спросил Воронин и сам громко рассмеялся своей остроте.— Ладно. Немецкий хорошо знаешь? Говорить, писать, читать?
— Да, умею.
— Анкета на этом кончается.
Девушка невесело усмехнулась и сказала:
— Так скоро? А фамилию не спросили.
— Это верно,— смутился Воронин.
— Ксения Андреевна Спиридонова.
— Дмитрий Егорович Воронин, одна тысяча девятьсот шестнадцатого года рождения, холост.— Он покосился на нее и добавил: — Однако имею невесту в городе Шуе, Ивановской области.

Ксения Спиридонова была после краткого разговора зачислена Касаткиным в штат и записана в книгу на девственно чистой странице этого канцелярского первенца лаутербургской комендатуры.

Об Альбине Лубенцов вспомнил еще раз спустя несколько дней. Возле комендатуры остановилась машина, из которой вы-

скочили два хорошо одетых господина с объемистым свертком, над которым они дрожали так, словно он был из стекла.

Эти двое оказались портными фирмы «Мюллер и Маурициус». Они привезли коменданту штатский костюм. Воронин ввел их к Лубенцову.

— Какой костюм? Кто вам заказывал костюм? — спросил Лубенцов растерянно.

— Ваша переводчица, господин комендант,— объяснил старший из портных.— Она просила сшить костюм без примерки, так как вы, господин комендант, очень заняты. Лично господин Маурициус на глаз определил размеры. Разрешите положить на диван?

«Ну и бабка»,— подумал Воронин, усмехаясь.

— Сколько стоит? — спросил Лубенцов, очень озадаченный.

Портные переглянулись.

— Нам ничего не сказано,— смущенно сказал старший из них.— Полагаю, что денег не нужно.

— Как так не нужно? Немедленно звоните и узнайте.

Портной позвонил Маурициусу, объяснил, в чем дело, долго слушал, жался, наконец, положил трубку и сказал цену. Лубенцов уплатил, и портные уехали.

— Ну и бабка! — воскликнул Воронин.

Подумав, он сказал, что в одном вопросе Альбина была права — коменданту следует жить не в комендатуре, а где-нибудь отдельно. Более того, выяснилось, что Воронин даже имеет на примете несколько особняков.

— Я думал, что Татьяна Владимировна уже останется тут, вот я и решил подыскать для вас что-нибудь подходящее в смысле жилплощади.

— Теперь это ни к чему,— сказал Лубенцов.

Воронин возразил:

— Она же вернется, товарищ подполковник, помяните мое слово. Теперь женщин не очень-то в армии будут держать. Ни к чему. Мужиков хватит. Скоро вернется Татьяна Владимировна. В этом, я думаю, и Альбинка была уверена. А то не сбежала бы, будьте спокойны.

Лубенцов поднял на Воронина удивленное лицо, хотел рассердиться, потом подумал и промолчал. Они поехали.

Воронин действительно выбрал особняки один краше другого. Два из них — оба принадлежали раньше крупнейшим богачам — ничем не уступали особняку Пигарева в Фихтенроде.

Это были прекрасные просторные дома с высокими потолками, с большими каминами, с красивыми чугунными решетками, ограживающими палисадники. Однако Лубенцов наотрез отказался занимать их. Он не стал объяснять Воронину причин и только сказал, что ему нужен маленький домик, как можно скромнее. Воронин согласился с этим и тут же принялся за поиски подходящего жилья.

Уже на следующее утро он вышел из комендатуры, решив не откладывать дела в долгий ящик. У фонаря возле комендатуры стоял старик Кранц. У старика был несчастный, голодный вид. Подняв лицо к верхним окнам дома, чтобы посмотреть, нет ли там коменданта, и убедившись, что Лубенцова нигде не видно, Воронин зазвал старика к себе. Не говоря ни слова, он нарезал сала и хлеба, приготовил чай.

Они стали есть.

— Ты откуда по-русски так хорошо знаешь?

— Жил в Петербурге... виноват, Ленинграде... до войны.

— Какой войны?

— Нет, нет! До первой всемирной войны.

— А...

— Часовых дел мастер Кранц. Был известный на Васильевском острове.

— Понятно.

Когда они поели, Воронин сказал:

— Пошли со мной. Нужно найти домик какой-нибудь поскромнее для коменданта. Поможешь мне.

Кранц подумал и повел Воронина на одну из самых узких средневековых улочек города, где все дома были похожи на маленькие церкви — с башенками и глухими каменными оградами.

Домик, предназначенный Кранцем для коменданта, стоял во дворе, недалеко от двухэтажного особняка, где жил какой-то профессор. Домик тоже принадлежал ему, но пустовал. Двор, обсаженный старыми липами, содержался в отличном порядке. Здесь находилась длинная оранжерея под стеклянной крышей. Из большого дома доносились звуки рояля.

— Это музицирует дочь профессора, девица Эрика,— сказал Кранц.

Во дворе их встретила старушка в очках — чистенькая, беленькая, в белом передничке, с белой наколкой на седых волосах. Узнав от Кранца, в чем дело, она пришла в ужас, но не

потому, что здесь будет жить комендант, а потому, что домик казался ей для этого слишком плохим, и она боялась, что дело кончится тем, что комендант займет большой дом, а владельцев переселит в маленький. Она вначале и предполагала, что речь идет о большом доме. Кранц ее успокоил, и она засеменила к дому, чтобы сообщить обо всем профессору.

Воронин, считавший, что профессор — это обязательно врач, был доволен тем, что подполковник будет жить у врача: Татьяна Владимировна, когда приедет, станет общаться с коллегой, что может оказаться полезным для нее. К тому же дворик был солнечный, веселый, а что касается самого домика, то, по мнению Воронина, лучшего нельзя было желать. Там были три комнатки, кухонька, самая необходимая мебель, клетки с птичками на застекленной террасе и горшки с цветочками на подоконниках.

Старушка в очках, которую Воронин называл мамашей, вернулась, переговорила с Кранцем и пообещала обставить домик получше, для чего она принесет сюда кое-какую мебель и ковры. Но Воронин, который прекрасно понимал своего начальника и разделял его воззрения, категорически запротестовал.

— Мамаша,— сказал он,— ничего не приноси. Нам, пролетариям, все эти хреновины не нужны. Нам нужен минимум весь мир.

«Мамаша» не ужаснулась этим аппетитам; весь мир она охотно отдавала Воронину, были бы только целы вещи профессора. Так обо всем договорились, и Лубенцов переехал в новую квартиру.

РАССКАЗ О ШЕСТИ СОЛДАТАХ

— Что же нам теперь делать? — спросил Коротеев, приподнявшись на локте.

Не только ему, но и всем солдатам казалось, что вот буквально через минуту вся армия по всему фронту от Балтийского до Черного моря хлынет в обратный путь, домой. И представлялось вовсе нелогичным двигаться дальше на запад без всякой нужды. Однако Веретенников, думавший то же самое, что и остальные, но облеченный ответственностью, которая заставляла его быть мудрым, сказал:

— Наше дело маленькое. Мы идем в свою часть, а там — что начальство скажет.

Солдаты медленно встали. Веретенников посмотрел на машины. В машинах были снаряды, красиво упакованные в длинные ящики. Впереди стояли машины с «катюшами» — зелеными, новенькими, необыкновенной, на взгляд солдата, красоты. Глаза Веретенникова округлились. Зачем это все? Куда это везут? Кому это нужно? Грузы, казавшиеся всего пятнадцать минут назад самыми главными и драгоценными в мире, теперь никому не были нужны.

Огромный дамоклов меч, висевший над страной и над каждым советским человеком от мала до велика с таким же постоянством, как небо, в мгновение ока растаял в воздухе.

Однако солдаты по приказу Веретенникова взобрались на одну из машин, чтобы ехать дальше, на запад, но это были уже другие люди, жившие в другое время, в иную эпоху. И они это чувствовали.

Машины тронулись в путь. Вскоре на землю пала первая мирная ночь, полная звезд. Колонна въехала в огромный разрушенный город. То была Варшава, но солдаты не знали этого. Великий город-мученик смотрел зияющими провалами пустых глазниц-окон, но над этими окнами уже развевались праздничные флаги.

Варшава осталась позади. Машины шли одна за другой, и их фары были зажжены, как в мирное время. И Веретенников подумал, что он давно не видел ночью машин с зажженными фарами и что очень красиво они так идут друг за дружкой с веерами яркого света.

Машины шли до Познани, здесь им надо было свернуть налево. Шестеро солдат спрыгнули на западной окраине города. И вскоре они опять увидели розовый рассвет. Как писали в старину, розовоперстая Эос простерла свои длани с востока к западу. И это действительно было похоже на большие светлые руки, щедро и ласково простирающиеся по небу вверх.

Попутные машины не появлялись — водители спали где-нибудь в польском доме, либо на сиденье машины в придорожной роще, либо на шинели под кузовом, меж колес, в стороне от дороги. Солдаты постояли, постояли и пошли. Вскоре они увидели деревню с красивым двухбашенным костелом. Издали при свете утреннего солнца костел весь сиял, деревня радовала глаз.

Но когда солдаты подошли ближе, оказалось, что деревня разрушена, дома почти сплошь взорваны, костел наполовину

сожжен. Все кругом было пустынно, ни души. И только возле одного домика, стоявшего несколько на отлете, возились дряхлый старик, похожая на него старуха и два мальчика лет по двенадцати. Они восстанавливали свой дом. Дом! Он был весь выворочен наизнанку. Целой осталась только печь из красного кирпича. Она была вся на виду — плита, лежанка, дымоход, суживавшийся кверху. Сохранилась и часть стропил, и кусок крыши из зеленого шифера, и крылечко с одними ступеньками, но без двери.

Солдаты остановились, чтобы посмотреть на это показавшееся им жалостным и удивительным зрелище. Старик и старуха работали медленно, размеренно, экономя каждое движение. Негибкими тонкими морщинистыми руками они поднимали тесину, несли ее к дому и при помощи мальчиков очень медленно ставили на ту, которая уже была прибита от окна до крыльца. Потом старик становился на колени, брал из продолговатого ящика гвоздь и слабыми, негулкими ударами молотка забивал его. Приладив тесину, он минуту кашлял, потом медленно вставал и отправлялся метров за десять к доскам и тесинам. Доски были разные — и новые, и посеревшие от времени, с ржавыми кружочками на том месте, где когда-то были вбиты гвозди. Здесь, возле досок, старики о чем-то с минуту совещались — тихо, словно боялись устать от громкого разговора.

— Этак они лет десять будут свой домишко строить,— сказал Коротеев. Он свернул махорочную папиросу, но закуривать не стал, а положил ее в карман. Потом он подошел к небольшому грубому верстаку, взял в руки рубанок и с изяществом, неожиданным в этом нескладном человеке, провел рубанком по доске. Потом он положил рубанок на место и взялся за пилу, прислоненную к верстаку. Он поднял ее одной рукой, подержал на весу зубцами вверх, рука его дрогнула, и пила заходила, извиваясь и вибрируя. Потом он поднял зубцы на уровень глаз и, прищурясь, посмотрел на развод. Затем он опять поставил пилу на место и с задумчивой усмешкой вернулся к остальным.

— И я плотник,— сказал Зуев.

Между тем старик и старуха подняли тесину вдвоем за оба конца, поднесли ее к верстаку и положили на него. Старик вынул из кармана металлический метр, смерил тесину. Один из мальчиков приложил линеечку к доске и провел карандашом

черту. Тогда старичок взял пилу и поставил ее на эту отметину, а старуха взялась за вторую ручку, и они начали невероятно медленно отпиливать край доски.

Солдаты вопросительно смотрели на Веретенникова, но Веретенников глядел на дорогу, где только что появилась колонна машин. Машины вскоре поравнялись с солдатами, но Веретенников не поднял руки. Когда машины проехали, он сказал:

— Ладно.

И начал снимать шинель. Через четверть минуты на этом месте лежала гора шинелей, вещмешков и плащ-палаток, и еще через четверть минуты пила оказалась в руках Коротеева, а ошеломленные старики были затурканы, отодвинуты в сторону, прижаты к скамеечке, стоявшей возле потухшего костра с перекладиной для котелка, усажены на эту скамеечку и оставлены здесь глядеть на то, как рождается новая легенда о радости мирного труда и о дружбе народов.

Солдаты работали с упоением, время от времени запевали песни, но прерывали их на полуслове, чтобы обменяться замечаниями. Старичок иногда пытался вмешаться — то он хотел поднести что-нибудь, то подать, то стружки убрать,— но его яростно, почти до недружелюбия, отталкивали, гнали обратно к старухе и кричали при этом чуть ли не злобно:

— Сиди!

Старуха шептала имя святой Марии, ходила куда-то за молоком для солдат и пыталась заговаривать с Коротеевым о том, что не знает, как сможет с ними расплатиться. Он, впрочем, не понимал, что такое она бормочет по-польски, и отмахивался:

— Не мешай работать, бабка!

Мальчики, оказавшиеся внуками стариков, объяснили солдатам, что их родители в лагере и неизвестно, живы ли.

— Живы, живы! — кричал сверху Зуев. Он стоял на крыше с молотком в руках, рот его был полон гвоздей.

К мальчикам приходили их сверстники из деревни, они взбирались на росшие рядом ивы и долго смотрели на солдат сквозь листву.

Спустя четыре дня Веретенников сильно забеспокоился: машин на дороге становилось все меньше; как бы вообще не застрять надолго в Польше. Расписка за сено, лежавшая у него в кармане, тревожила его,— расписку надо было сдать.

Поэтому, когда поздно вечером издали показался свет многих фар, Веретенников велел солдатам быстро одеться и рас-

хватать винтовки. Дом был почти готов. Они наскоро простились со старшим из мальчиков,— старики и младший мальчик уже спали,— сунули ему в руку кулек с сахаром и выбежали на дорогу.

Машины остановились. Передняя оказалась санитарным автобусом с кожаными мягкими сиденьями. Солдаты сели и поехали в Берлин.

XVIII

Рота капитана Чохова состояла главным образом из молодых солдат, среди которых не все успели принять участие в войне.

Полк размещался за городом, в казармах старого прусского лейб-гвардии полка. Казармы эти стояли в лесу, похожем на парк. Невдалеке от них находились дворцы Фридриха Великого.

Чохов был все время в состоянии, которое можно определить словами: «Сдержанно счастлив». Он проводил с солдатами весь день. Часто он оставался ночевать в казарме — не только потому, что ему не хотелось или лень было идти в свое общежитие, а потому, что он двадцать четыре часа в сутки беспокоился о роте. Не то чтобы он не доверял своим командирам взводов. Напротив, все трое были бывалыми людьми, дисциплинированными и аккуратными лейтенантами. А старшина роты, мариупольский рабочий Сакуненко, был умным и исправным служакой, как большинство украинцев-старшин. И всетаки Чохов жил все время в страхе, что без него может случиться какое-нибудь неприятное происшествие, которое положит тень на его роту. Он все время горел служебным рвением, несколько мальчишеским стремлением вести свою роту без сучка и задоринки сквозь строй многочисленных искушений, которые, как думалось Чохову, подстерегают его солдат со всех сторон.

Главными врагами Чохова были вино и женщины. Этих двух искушений он опасался больше всего на свете. Разумеется, не для себя, а для солдат. За себя он был спокоен.

Во время тактических и строевых занятий на солдат из расположенных вокруг домиков во все глаза глядели немки. Глядели уже без всякого страха, а с откровенным женским интересом к молодым здоровым мужчинам, одетым в военную форму. Военная форма действует на некоторых, главным обра-

зом одиноких женщин независимо от их национальности: она придает бравый вид и по традиции свидетельствует об отваге и мужественности, да и попросту — военные люди не имеют жен или — что иногда все равно — живут вдалеке от них.

Этот интерес свидетельствовал о том, что понемногу — и как быстро! — забыта великая и, казалось, вечная вражда между двумя народами, а на смену ей приходят естественные, вполне человеческие взаимоотношения. Но это обстоятельство вовсе не успокаивало Чохова, а, напротив, наполняло его дополнительной тревогой. Он возненавидел немок преувеличенной ненавистью. Он считал, что от них можно всего ожидать. Он был прав в том отношении, что немки действительно не считали дружбу с русскими солдатами национальным предательством. Кроме того,— и это в самом деле было опасно,— в Германии в то время сильно развилась проституция — обычное следствие военной разрухи. Невдалеке от казарм каждый вечер прохаживались молодые женщины вполне определенной наружности. Буржуазная Европа, разоренная войной, казала свой испитой, непривлекательный лик. В Потсдаме, как и по всей Германии, были и легальные публичные дома. Чохов, узнав об этом, изумился. Он раньше думал, что у цивилизованных народов уже с незапамятных времен нет ничего подобного.

Итак, постоянный страх перед «чрезвычайными происшествиями» заставлял Чохова проводить в казармах весь день. Но не только это. Помимо того, ему там было хорошо. Его смутные опасения, что в мирное время служба в армии может оказаться пресной и однообразной, оказались беспочвенными. Конечно, все было совсем не так, как во время войны. Все было не так, но не менее захватывающе. Его пленял четкий воинский распорядок, развод караула под звуки самого настоящего военного духового оркестра, звуки горна, неподвижные часовые у полкового знамени, командирские занятия на карте и на полигоне и особенно боевые стрельбы, к которым все офицеры готовились с волнением. Ему теперь приходилось чуть ли не лекции читать. Он проводил с солдатами уроки по материальной части пехотного оружия и по уставам — боевому, строевому, дисциплинарному и внутренней службы. Поэтому он сам приналег на уставы и нашел в их краткости и определенности многое, что соответствовало его характеру. Неумолимая регламентация на все случаи жизни не могла ему представляться целиком выполнимой,— он ведь воевал и знал, как часто на войне приходится

отступать от устава. Но она была тем идеалом, к которому следовало стремиться, и, как всякий идеал, имела в себе нечто поэтическое — по крайней мере для Чохова.

Что касается солдат, то его отношение к делу передавалось и им. Правда, командир интересовал их больше всего тогда, когда он по вечерам рассказывал размеренным и спокойным голосом, с серьезным, почти печальным видом о боевых действиях на Карельском и Первом Белорусском фронтах, о могучих прорывах укреплений противника, о рейдах в тыл врага, о случаях, приключавшихся с ним или с его однополчанами. Он рассказывал о разведчиках, в том числе о некоем гвардии майоре Лубенцове, служившем в одной дивизии с Чоховым. Он излагал им ход боев за тот город, в котором они несли теперь службу, или, как он выражался, «где они стояли на страже государственных интересов Советского Союза». Эти слова он повторял часто, так как они превращали это, на первый взгляд бессмысленное, пребывание гарнизона в чужой стране в очень важную боевую задачу.

В свое общежитие Чохов ходил все реже и реже.

Однажды вечером он пошел туда и, войдя в свою комнату, почувствовал, что кто-то тут есть. Он повернул выключатель и увидел Воробейцева, который спал, одетый и в сапогах, на своей койке. Рядом, загромоздив всю комнату, лежало штук пять чемоданов, один на другом. Чохов пробрался к своей койке. Воробейцев, услышав шорох, проснулся, посмотрел непонимающими глазами на Чохова, потом сел на кровати, хмуро поздоровался и сказал:

— Загорел ты как. Совсем черный, узнать нельзя. Все ходишь?.. Тактические занятия?.. Строевая?.. Бьешь в котелок?..

— Да,— сказал Чохов, потом посмотрел на чемоданы, на Воробейцева и спросил: — Выперли?

Воробейцев ответил не без раздражения:

— Да, выперли, если тебе нравится это словечко. Словечко выразительное. Пришли два полковника с автоматчиками и попросили. Почему выперли? Вежливо попросили... Не одного меня, кстати. Весь квартал попросили. За час велели выехать. Приказ. Наверно, начальству наши домики понравились.

Несмотря на свой обычный залихватский тон, заметно было, что он расстроен и напуган. Видимо, сцена выселения была не такая гладкая, как это им изображалось теперь, и ему там было сказано нечто весьма серьезное.

— А ты бы свою мебель попросил,— сказал Чохов.— Рояль.

— Черта с два! — махнул рукой Воробейцев.— У наших попросишь!

Его что-то угнетало. Всю ночь он ерзал на своей постели, вертелся, выходил пить воду, что было вовсе на него не похоже. Утром он поплелся вместе с Чоховым в казармы. Чохов удивлялся его молчаливости. В офицерской столовой Чохов достал для него талон. Завтрак Воробейцеву не понравился — видимо, был слишком прост для его нынешних привычек. После завтрака он подождал Чохова у ворот и вместе с ним пошел вслед за ротой на занятия.

Стояла прекрасная июльская погода, мягкая и нежаркая. Все кругом было как на картине. Столетние липы и дубы разрослись широко и буйно; буки, напротив, несмотря на свою старость, росли больше вверх, оставаясь худощавыми и стройными. Солнечные лучи, прорываясь сквозь листву, падали густой сеткой на белую дорогу и на зеленые каски солдат; солдаты шли тремя квадратами, повзводно, и пели. Они пели неновую советскую песню, сочиненную еще до войны, с маловразумительными словами, но мелодичной музыкой, пригодной для строевого шага. Запевала, находившийся во втором взводе — на вид совсем замухрышка, худой и малорослый парень с неожиданно высоким и сильным голосом,— пел основную строфу, после чего вся рота вступала в два голоса. Это двухголосье неожиданно придавало песне минорное звучание.

Белоруссия родная,
Украина золотая,
Ваше счастье молодое
Мы штыками, штыками оградим...

Может быть, тут играли роль и слова. Конечно, солдаты не очень обращали внимание на их смысл, но было что-то печальное в том, что еще надо «штыками, штыками» ограждать свое «молодое счастье». И как бы в подтверждение этого солдаты несли за собой фанерные мишени, изображавшие темные фигуры условного врага, и наклеенные на дощечки бумажные листы с концентрическими кругами.

Сегодня предстояли стрельбы, а стрельбы являлись для офицеров серьезным испытанием, для солдат — любимым занятием. Это было настоящее дело, для которого требовалось умение; кроме того, оно считалось чем-то вроде отдыха, так как

пока стреляли одни, другие сидели на траве и под видом повторения правил стрельбы отдыхали, мечтали, глядели на перистые облака, недвижно стоявшие в чистом небе.

Но Чохов был не из тех командиров, которые дают солдатам отдыхать во время занятий. Пока устанавливали мишени в специально отрытых для этой цели рвах, пока старшина получал боевые патроны, пока солдаты, выделенные для оцепления стрельбища, занимали свои места на ближних и дальних опушках, Чохов приказал заняться обучением строевому шагу, выправке, ружейным приемам.

Разбившись по отделениям, под руководством сержантов, солдаты маршировали на зеленой лужайке. Они шагали, останавливались по команде, с шага переходили на бег, с бега — на шаг, подходили с вымышленным докладом к сержанту, отходили от него по всем правилам военного строя. Слова команд слышались то здесь, то там, одновременный топот ног сотрясал поляну. Издали это мельтешение маленьких групп людей, то идущих навстречу друг другу, то расходящихся в разные стороны, казалось бессмысленным, но красивым.

Чохов не отдыхал ни минуты и все ходил от группы к группе неспешным, но четким шагом. Воробейцев шел за ним, куря сигарету за сигаретой. Хотя его все эти экзерциции интересовали мало, он тем не менее преисполнился уважения к Чохову, замечая, что тот чувствует себя здесь как рыба в воде. Время от времени Чохов подходил к какому-нибудь из отделений, с минуту следил за движениями солдат, а когда был недоволен чем-нибудь,— не шумел, не кричал на сержанта, а сам начинал показывать, как нужно делать. Показывал он образцово. Он двигался почти как балерина — плавно, но отчетливо. Движения его рук, ног, головы, плеч были согласованны до филигранности, так что можно было заглядеться. При этом лицо его оставалось непроницаемым и суровым, и радость владения собственным телом выражалась только через движения. Это были уверенные, молодецкие, но скромные движения, в них был весь его характер. Воробейцев ощутил это.

Вскоре Воробейцев устал от бесконечного хождения и прилег под деревом, по-прежнему куря сигарету за сигаретой. Когда был объявлен перерыв, к нему присоединились Чохов и три лейтенанта — командиры взводов. Наступила тишина. Все было готово к стрельбам. Издалека виднелись поднятые над бруствером темные и белые мишени; те, что поближе — для

стрельбы из винтовок, а подальше, еле видные на расстоянии восьмисот метров,— для стрельб из пулемета.

Солдаты построились. Старшина роздал по три патрона, отсчитывая их каждому в ладонь. Патроны были теперь на строгом учете, и Чохов задумчиво улыбался скупости старшины, вспоминая, как всего два с лишним месяца назад патроны раздавали без всякого счета — бери сколько хочешь, и стреляй хоть целый день подряд, хоть неделю. Он не мог не вспомнить и о том, что за все четыре года войны, тогда, когда людям угрожала настоящая опасность, он и его солдаты не имели касок или, во всяком случае, не носили их, а теперь, когда опасности нет,— все в стальных касках.

Взводы поотделенно занимали огневой рубеж. Сигналисты взмахнули флажками. Звук горна протяжно разнесся по лесам и перелескам. Раздались первые залпы. Сердце Чохова взыграло. И вдруг от группы офицеров, стоявших в полукилометре слева, отделился человек и, замахав руками, бегом пустился к Чохову.

— Отставить! — стал слышен его крик, когда он подбежал ближе.

— Отставить! — скомандовал Чохов, еще не зная, в чем дело, но боясь, не приключился ли какой-нибудь несчастный случай.

Солдаты недоуменно переглянулись и нерешительно поднялись с травы, оставив на траве винтовки.

Прибежавший командир батальона сказал запыхавшись:

— Отставить. Стрельб не будет. Отправляться в казармы и ждать указаний.

Чохов, ни о чем не спрашивая, дал команду собирать мишени и строиться. Он был удивлен и взволнован, но не подавал вида. Его воображению, еще не остывшему после долгих лет войны, стали представляться разнообразные осложнения. Может быть, снова где-то всплыл Гитлер, судьба которого была еще неясна, и поднял немцев. Может быть, американские и английские буржуи решились напасть на Красную Армию в Германии и т. д. Он был так взволнован, что даже не заметил исчезновения Воробейцева.

К вечеру стало известно, что в Берлин или чуть ли даже не сюда, в Потсдам, приехал Сталин. Никто не знал, зачем он приехал. Все ходили томительно взволнованные, ожидая важных событий.

В Потсдаме вдруг необычайно увеличилось движение легковых автомобилей и бронетранспортеров. Стало много генералов

и полковников. Оживилось также и небо над городом. Почти целый день не смолкало гудение самолетов.

На следующий день офицеры, приехавшие из Берлина, рассказали, что прилетели Уинстон Черчилль и президент Трумэн. Передавали, что Черчилля встречал гвардейский духовой оркестр в леопардовых шкурах.

По-видимому, речь шла о Конференции трех держав.

Поздно ночью дежурный вызвал Чохова к воротам. Его в караулке ожидал Воробейцев. Он был сильно подвыпивши, ухмылялся, похохатывал и, наконец, громко зашептал Чохову на ухо:

— Так знаешь, почему меня выперли? Знаешь, кто будет жить в моем доме? Трумэн! Президент Соединенных Штатов Америки. А ты говоришь — выперли!

XIX

Дома, где жили американские делегаты, охранялись парнями высокого роста, с большими пистолетами, подвязанными под самым подбородком. Покончив с дневной службой, они уезжали на «джипах» в Берлин, где каждый из них делал свой маленький бизнес, торгуя сигаретами «Честерфилд» и «Кемел», плитками шоколада и консервами. Проезжая мимо советских солдат, они останавливали «джипы» и закатывали рукава выше локтя. На их обнаженных руках были нанизаны ручные часы, иногда штук до пятнадцати на каждой руке. Оккупационные марки они ценили очень высоко, так как имели возможность обменять их впоследствии на доллары.

При всем уважении и даже особой солдатской нежности к воинам союзной армии, облегчившим достижение победы, советские люди с удивлением и неприязнью воспринимали поведение американских солдат. Берлинские толкучки были полны американцев, похожих на мелочных торговцев, лихо зазывающих покупателя.

Однако среди советских людей были и такие, которым нравился залихватский тон «ами», их бесцеремонность, подчеркнутое неуважение к воинской дисциплине, обаятельная фамильярность в обращении друг с другом, в том числе и со старшими начальниками, наконец откровенная жажда наживы.

Все эти черты производили особенно чарующее впечатление на тех наших людей, для которых капиталистическая частная

собственность втайне была хотя и запрещенной, но заманчивой мечтой. Таких людей у нас не так мало, как это принято думать; они привыкли скрывать свои аппетиты в стране, где частная собственность отменена и находится в общем презрении, но аппетиты от этого не становились меньше. И, будучи на словах весьма правоверными, они в глубине души тосковали о старом. Для них, как для всех мещан в мире, настоящее было плохо уже тем, что оно настоящее, а прошлое — хорошо уже тем, что оно прошлое.

Замечание «Коммунистического Манифеста» о том, что вопрос о собственности является центральным вопросом в деятельности партий, остается в силе и по сей день. В конце концов водораздел идеологий идет по линии отношения к собственности, а не по линии государственных границ. Я думаю, что скупой, жадный, корыстный человек не может быть социалистом, какие бы красивые слова он ни говорил на любых собраниях. Корыстолюбие в личной жизни — это едва ли не то же самое, что капитализм в общественной. Дайте волю бескорыстному человеку — и он пойдет путешествовать. Дайте волю человеку корыстолюбивому — и он станет капиталистом.

Капитану Воробейцеву американские солдаты понравились. Они были стяжателями, но не скрывали этого. Они хотели заработать как можно больше, но не делали из этого секрета. Воробейцев был у себя дома, в своей семье окружен людьми, которые стремились к тому же самому, но открыто этого никогда не выражали. Он сам тоже. Он любил джаз, но говорил всем, что любит Чайковского. Он любил играть в карты, но говорил, что любит играть в шахматы. Он не верил никому, так как знал, что сам недостоин доверия.

Все это естественно. Передовая идея, ставшая знаменем великого государства, не может за короткий срок побороть все остатки старого; вынужденные разделять ее открыто, но втайне отрицая ее или оставаясь равнодушными к ней, отсталые люди приучаются лицемерить и хитрить. Но на этой констатации мы не можем успокоиться. Кое-что зависит и от нас, ибо размножению такого рода лицемерия содействуют переоценка принуждения и недооценка воспитания. А что такое воспитание? Воспитывать — значит говорить людям правду об их жизни и о жизни всего мира. Этому учил Ленин, этому учит наша партия. Надо, чтобы все, занимающиеся воспитанием, помнили и делали это.

Но вернемся к нашему рассказу.

Воробейцев слонялся по Бабельсбергу поблизости от своей бывшей квартиры, где, впрочем, как вскоре выяснилось, поселился вовсе не президент Трумэн, а один из членов американской делегации вице-адмирал Эмори Лэнд. Если американские солдаты занимались своим маленьким и грубым бизнесом, то адмирал Эмори Лэнд делал это в гораздо более крупных масштабах. То и дело к нему приводили немецких маклеров и агентов. Перед его особняком останавливались грузовики с опознавательными знаками американской армии, в которые грузились тюки с товарами.

Воробейцев вертелся вокруг этого квартала, покупал у американцев часы, электрические бритвы, сигареты, жевательную резинку и сульфидин. Двух американцев из охраны звали Петренко и Каплан. Они были сыновьями выходцев из Украины и могли объясняться по-русски. Впрочем, это были такие же разбитные парни, как и коренные американцы, но они сохранили глубокое уважение к своей старой родине и сентиментальную любовь к ней. Первый говорил о Полтаве, а второй об Одессе почти со слезами на глазах, хотя они никогда там не бывали. Воробейцев подружился с ними. Они хлопали его по спине и говорили, что скоро Конференция кончится и он сможет вернуться в особняк и что они постараются, чтобы все там, в особняке, осталось на месте. Они восхищались храбростью Красной Армии и горевали по поводу разрушений, причиненных немцами Полтаве и Одессе.

Они познакомили Воробейцева с американским лейтенантом по имени Уайт. Уайт тоже знал по-русски. Это был худощавый, но огромного роста детина, постоянная веселость которого перемежалась с задумчивостью, граничившей с идиотизмом. В такие минуты он сидел неподвижно, широко раскрытыми голубыми глазами уставившись в одну точку, и что-то шептал тонкими губами — может быть, молитву. Немцев он презирал. Англичан иначе не называл, как «дурачье», французов — «барахло». Он уважал только русских, и вовсе не потому, что говорил это в присутствии Воробейцева. Он действительно восхищался русскими и говорил, что только они да американцы чего-нибудь стоят и что он, Уайт, плюет на все, но с русскими он бы не захотел драться, то есть воевать.

Воробейцев однажды вздумал познакомить с ним Чохова. Воробейцев не отдавал себе отчета в своих чувствах к Чохову.

Как это ни покажется странным, но Воробейцев, желающий жить так, как американцы, и вести себя так, как они, одновременно хотел жить так, как Чохов, и вести себя так, как он. И хотя это было несовместимо,— и он прекрасно понимал это,— но так ему хотелось. Быть может, желая познакомить Чохова с американцами, он — не слишком сознательно — пытался решить для себя этот вопрос. Но, повторяю, если он так думал, то весьма неопределенно.

Договорившись с Чоховым о встрече и встретясь с ним, он с похвалой отозвался о своих новых знакомых, не скрыв восхищения стилем их поведения, легкостью и свободой, которые, по его мнению, были им свойственны в общении с людьми и друг с другом, а также высоким уровнем жизни американцев. Ему нравилась масса вещей, которыми они были окружены, и даже самое оформление этих вещей, сделанных красиво и добротно. Все это он так или иначе выразил перед Чоховым, весьма далекий от того, чтобы вкладывать в свои рассуждения политический смысл. Чохов, со своей стороны, относился к американцам с той естественной симпатией, какую обычно питают к союзникам. Поэтому он, хотя и без особой охоты, так как не хотел уходить из казармы, согласился познакомиться с американскими военнослужащими.

Они отправились в один дом, где находился «кэмп» для американских офицеров. Там их встретил Уайт. Они выпили виски с содой и направились в другой дом, где их ожидали Петренко и Каплан. Чохов вначале удивился тому, что три американца прилично говорят по-русски, хотя и перемежают русскую речь специфическими американскими словечками, так что иногда эта речь становилась совсем непонятной.

Чохов был спокоен, пил мало, мало говорил. Они начали его раздражать понемногу только тогда, когда стали хвастать своими приобретениями и заработками за время войны. Тогда он почувствовал в них нечто необычайно чуждое. Потом они отплясывали залихватский танец, сопровождая его ритмичной, лишенной мелодии песней. Воробейцев, оказывается, тоже уже знал эту песню и фальшиво подпевал ее. Потом они стали ставить пластинки на большую радиолу. Пластинки тоже были большие, так что на одной было записано штук десять разных ритмичных и лишенных мелодии, изломанных, издерганных песен. Женский голос, певший некоторые из этих песен, был по-особенному похабен, и чувствовалось, что поющая изламы-

вается, как при пляске святого Витта. Чохову казалось, что он видит эту женщину — худую, угловатую и усталую.

Каплан куда-то исчез, потом появился с тремя девушками. Он подошел к Чохову, растрепал ему волосы и, как бы утешая и успокаивая его, сказал, что девиц всего три, но ничего — «будем меняться». И он спросил Чохова, какая ему нравится, пусть он ее возьмет, как гость и русский офицер, «Дорогой друг»,— сказал он, гладя Чохова по голове, как ребенка.

Чохов растерялся. Он посмотрел на женщин. Одна из них была молоденькая, лет шестнадцати, с большим завитым стоячим чубом впереди и с цветной шерстяной косынкой на самом затылке. Видно было, что ей холодно и страшно, а она старалась выглядеть веселой и развязной. Особенно жалок был ее красный острый носик.

Не то чтобы Чохов, как это пишется в книгах, вспомнил о своей сестренке — у него не было сестер. И вообще он вряд ли о чем-то вспоминал в эти минуты. Но ему стало жалко, смешно и страшно смотреть на девочку и на то, как она представлялась женщиной.

— Иди. Иди домой,— сказал Чохов, подходя к ней вплотную.— Иди. Иди.— Он говорил настойчиво, не зло, но строго и с болью, которую она почувствовала. Он толкал ее к выходу, причем старался это делать незаметно,— не потому, что ему стыдно было своего порыва перед всеми, нет, ему было неловко оттого, что им, остальным, может стать стыдно за себя.

Уайт следил за ним неподвижным взглядом, потом подошел и тоже стал ее толкать к выходу, говоря сразу на трех языках:

— Гоу. Гоу. Шнелль нах хаус. Иди к черту.

Когда она очутилась за порогом, он закрыл за ней дверь, повернулся и прошел мимо Чохова на свое место. Тут он застыл в странной горестной позе. Потом он сказал:

— Не имеет денег. Теперь умрет с голоду.

Чохов вначале не понял, что это относится к девушке, потом понял, постоял, взял фуражку и незаметно ушел.

Воробейцев потом искал его по всему дому и вокруг. Американцы были безутешны. Чохов им понравился, и они никак не могли понять, почему он ушел, когда все было так весело.

Что касается Воробейцева, то он не мог не понять причины ухода Чохова и даже позднее упрекал Чохова за то, что тот ушел один, не позвал его с собой.

XX

Однажды вечером Уайт пригласил Воробейцева прокатиться на «джипе» по окрестностям Берлина. Они покатались по всему городу, затем выехали за город и скоро очутились в пригороде Хапенфельде. Незнакомые Воробейцеву американцы ждали их в одном из маленьких домиков, расположенных здесь на берегу озера. Начался пир горой. Воробейцев здорово напился. На рассвете американцы исчезли, но вскоре вернулись с рюкзаком, полным золотых вещей. Воробейцев к этому времени уже протрезвел. Американцы были на него сердиты, так как он, как оказалось, наотрез отказался пойти с ними «на охоту» за этими кольцами к некоему спрятавшему свои товары немецкому ювелиру. Тем не менее они дали Воробейцеву десяток перстней и золотую браслетку.

Воробейцев с некоторым страхом следил за дележкой. Он нервничал. Ведь это было похоже на грабеж, и он, капитан Красной Армии, так или иначе был соучастником. Он даже начал их упрекать, но они его как будто совсем не поняли. Уайт засмеялся и добавил ему пять штук колец. Между тем наступил день. Они уселись в «джип» и понеслись с бешеной скоростью в Потсдам.

Конференция закончилась второго августа. Утром третьего Воробейцев пришел в Бабельсберг и обнаружил, что улицы там пустынны — ни караула, ни патрулей. Двери и окна всех домов были настежь открыты. Особняк, который Воробейцев считал своим жильем, был пуст, хоть шаром покати. Увезли даже белый рояль. На полу валялись огрызки яблок, окурки сигарет, пустые сигаретные и консервные коробки, апельсиновые корки. Тут же слонялся большой «боксер» — огромная слюнявая собака, брошенная впопыхах или надоевшая хозяевам.

Даже несчастная машина Воробейцева, поганенький «штейр», была угнана, и Воробейцев досадовал главным образом по этому поводу.

Воробейцев побаивался собак, а «боксер» к тому же выглядел настоящим страшилищем.

— Убирайся отсюда,— сердито сказал Воробейцев.

Собака выскочила из дома, но через минуту опять прибежала и села в углу, глядя на Воробейцева огромными глазищами. Воробейцеву стало не по себе. Он поплелся в общежитие. Собака увязалась за ним. На нее с уважением и не без страха

оглядывались прохожие. Два знакомых Воробейцеву майора остановились. Один спросил:

— Ваш? Ну и пес! Схватит — не обрадуешься.

— Мой,— сказал Воробейцев с важностью, хотя за полминуты до того мечтал отделаться от собаки. Он почувствовал, что уважение людей к собаке до некоторой степени переносится на ее хозяина.

— Пошли, дружок,— сказал он собаке ласково.

Она завиляла обрубком хвоста. Так они вдвоем пришли в общежитие. Здесь Воробейцев достал из чемодана сахар и бросил собаке кусок. Она съела. Второй кусок сахару Воробейцев решился лично поднести к ее пасти. Она взяла сахар очень нежно, даже не притронувшись зубами к его руке.

— Ф-фу! — Воробейцев выдохнул из себя воздух.— Значит, будем друзьями? Только слушаться! Ясно?

Собака прислушалась к его голосу и, почувствовав оттенок угрозы, уныло опустила голову и хвост.

— Молодец, молодец! Хороший! Ты мужик или баба? Мужик. А интересно, как тебя зовут?

Собака весело завиляла хвостом.

— Понимаешь по-русски? — засмеялся Воробейцев.— Молодчина.

Он оставил собаку у себя, а сам пошел к Чохову.

На одной из улиц Потсдама его задержал офицерский комендантский патруль. Старший, молодой майор богатырского телосложения, заметив издали Воробейцева, зычно крикнул:

— Товарищ капитан! На минуточку.

Мысли Воробейцева были далеко. Он за последние дни почти забыл, что служит в армии. Он вздрогнул и остановился. Майор подошел к нему, укоризненно покачал головой и сказал:

— Вы давно на себя в зеркало не смотрели, капитан. Пойдемте со мной. У нас в комендатуре имеется подходящее зеркало.

Воробейцев смотрел на него воспаленными, ничего не понимающими глазами, потом так же растерянно посмотрел вниз на свою гимнастерку, брюки и сапоги. Ворот у гимнастерки был расстегнут, пряжка пояса находилась почти на боку.

В комендатуре действительно оказалось зеркало, и в нем Воробейцев увидел, впервые за много дней, свое лицо: мятое, испитое лицо с всклокоченными волосами, неприятное до того, что это признал сам Воробейцев.

Возмездие последовало тут же. Во дворе комендатуры проштрафившиеся офицеры были выстроены в одну шеренгу. В глубине двора были так же выстроены проштрафившиеся солдаты. К офицерам вышел молоденький младший лейтенант, румяный, беленький, одетый, как на иллюстрации в красноармейском журнале — воплощенный строевой устав, и дело пошло. Шеренгу гоняли четыре часа, с двумя пятнадцатиминутными перерывами, по двору. Шагом. Строевым шагом. Бегом. Команды «ложись» и «встать» следовали одна за другой.

В течение первого часа кое-кто — а в особенности, разумеется, Воробейцев — огрызался по адресу младшего лейтенанта. Бегали вяло, ложились и вставали медленно. Воробейцева нервировал не так младший лейтенант, как шедший впереди, тоже проштрафившийся, толстый майор, который выполнял все команды очень старательно, на младшего лейтенанта глядел заискивающе и, так как был туговат на ухо, то и дело спрашивал у Воробейцева:

— Что он сказал?

После первого часа во двор вышел полковник. Он сел за столик посреди двора и спокойными внимательными глазами начал следить за эволюциями офицеров. Тут уж было не до шуток и не до споров. Взгляд полковника довольно часто останавливался на Воробейцеве, и под этим взглядом Воробейцев ложился и вскакивал, как под пулями. Пот градом катился с его лица. Ноги ослабели. Сказалось множество бессонных ночей и злоупотребление водкой. Зато третий час прошел гораздо легче: ко всему на свете привыкаешь. Толстый майор — тот даже похудел и дышал не так трудно.

Когда все закончилось, офицеры выстроились в очередь у столика, где стопкой лежали их документы, отобранные ранее. Полковник выдавал документы лично и при этом говорил несколько слов.

— Надеюсь,— сказал он Воробейцеву,— что этот урок пойдет вам на пользу. Хорошо, если вы поймете, что своим внешним видом и поведением на улице иностранного государства вы позорите честь советского мундира. Кроме того, я вынужден буду сообщить в отдел кадров Группы Советских Оккупационных войск в Германии, при котором вы состоите в настоящее время в резерве, о том, что офицеры резерва — вы не первый случай — нуждаются в более серьезной воспитательной работе. Ясно?

— Ясно,— сказал Воробейцев и, взяв удостоверение личности, отошел от стола.

Он был немедленно возвращен окриком полковника, который сказал:

— Как вы отходите от старшего начальника? Дайте удостоверение. Получите удостоверение.

— Разрешите идти? — гаркнул приведенный в отчаяние Воробейцев.

— Идите,— сказал полковник.

Воробейцев приложил руку к козырьку, повернулся на каблуках по всем правилам и строевым шагом, слишком высоко поднимая длинные ноги, чтобы хоть этим выразить свой протест, отошел от полковника. Он боялся, что его снова возвратят, но все сошло благополучно.

Темнело. Несмотря на усталость, Воробейцев уже не брел, как прежде, а, опасаясь встретить комендантский патруль, шел четким шагом. К Чохову он пришел поздно, в одиннадцатом часу. Он сразу отметил возле казарм особое оживление. Солдаты бегали как угорелые, перекликались громче обычного. В караульном помещении у Воробейцева не спросили документов. Он прошел по мощеному двору в одноэтажный кирпичный барак, где размещалась рота Чохова, и, пройдя через барак, очутился в огороженной тесом комнатушке, где обычно находились офицеры. Здесь за столиком сидели Чохов и старшина Сакуненко. Перед старшиной лежал огромный разграфленный лист бумаги.

Чохов кивнул Воробейцеву. Тот сел на лавку и, как всегда, закурил.

Чохов сказал:

— Расформировали нашу часть.

Голос его не дрогнул, но Воробейцев понял состояние Чохова и покачал головой. Чохов сослался на дела и вышел. Он хотел побыть в одиночестве. Он воспринял приказ о расформировании как несчастье, свалившееся ему на голову. Ему казалось, что его преследует злой рок, и в какую бы часть он ни пришел — ее обязательно расформируют, и Чохов опять останется между небом и землей, никому не нужный и одинокий.

Опять в душу Чохова закрался тот неприятный и унизительный страх, который впервые появился у него в дни расформирования дивизии генерала Середы,— страх перед будущим вне

армии, перед самостоятельной жизнью. И опять Чохов не знал, что он будет делать, если его демобилизуют из армии. И он почувствовал, как и тогда, но, может быть, в еще большей степени, что не может жить без армии и что он любит своих солдат не только как людей, но именно как солдат; так же, как в прошлый раз перед разлукой с ними, почувствовал, что любит их не только как солдат, но и как людей.

Вспомнив, что у него сидит Воробейцев, он вернулся в казарму.

Воробейцев лежал, покуривая и пуская кольца дыма к темному потолку. Рядом на лавке сидел старшина Сакуненко, и они негромко беседовали о том о сем, главным образом — о Конференции трех держав, постановления которой еще не были опубликованы.

— Полагаю,— сказал старшина,— что раз эту Германию взяли к ногтю, то это на много лет. С другой стороны, я полагаю, что наши многоуважаемые союзники захотят, як бы сказать, завоювать авторитет у немцев — и будут нас этим делом штовхать.

Он говорил длинно и медленно, в глубоком раздумье. Воробейцев молчал и пускал кольца дыма к потолку. Когда Чохов вошел, он сказал:

— Твоего старшину нужно в Наркоминдел определить. Целый час, как он мне тут бубнит о международном положении.

— А вас куда? — усмехнувшись с некоторой досадой, произнес старшина.

— Меня? — Воробейцев задумался.— Я бы согласился пойти на должность коменданта города Потсдам. Вы бы у меня тогда все ходили строевым шагом. Или даже не ходили бы совсем, а только бегали, как японские солдаты.

— Бодливой корове бог рог не дает,— сказал старшина.

— Между прочим, Конференция большой тройки уже закончилась,— сообщил Воробейцев.— Особнячок мой освободили. Всю мебель сперли. Не в этом дело. Переедешь ко мне, Чохов? Опять будешь околачиваться в отделе кадров? Пожалуй, пора и мне определиться на место. У нас теперь гайку так закрутят, что на воле не проживешь.— Он всмотрелся в темное лицо Чохова и, вздохнув, сказал: — Не горюй, Чохов. Получишь назначение, не беспокойся.

XXI

Воробейцев все устроил. Он переговорил с майором Хлябиным в отделе кадров и с другими знакомыми ему людьми. Он остерегся сообщать о своих переговорах Чохову, так как уже знал капитана достаточно хорошо. Договорившись обо всем, он пришел в общежитие, где Чохов мрачно коротал свои дни, и сказал:

— Дело в шляпе. Ты передан в распоряжение Советской Военной Администрации, в связи с чем тебе надлежит явиться в отдел и получить бумаги.

Чохов сидел в это время спиной к Воробейцеву у стола и что-то быстро писал. Слышал он Воробейцева или нет, но повернулся к нему лишь минуты две спустя. Воробейцев удивился, увидев на лице Чохова радостное выражение. Чохов сказал:

— Ты слышал радио?

— А что такое?

— Мы объявили войну Японии.

Он протянул Воробейцеву лист бумаги, на котором был написан рапорт с просьбой послать его, Чохова, в войска Дальневосточного фронта. Воробейцев прочитал рапорт, скривил лицо и сказал:

— Да брось. Чудак ты! По бомбежкам соскучился? Пусть другие повоюют. Я знаю, там войска четыре года стояли на границе и ждали. Птенец ты, ей-богу, Чохов.

Чохов не стал его слушать и пошел в отдел кадров, чтобы сдать там рапорт. Рапорт у него приняли и сказали, что вызовут в свое время.

Весь день Чохов сидел у радиоприемника и слушал Москву. Рано утром дождался он первой сводки с Дальневосточного фронта, и слова этой сводки подействовали на него, как труба на боевого коня.

Голос диктора объявил:

— «На Дальнем Востоке советские войска с утра 9 августа по дальневосточному времени пересекли на широком фронте границу Маньчжурии в Приморье, в районе Хабаровска и Забайкалья. В Приморье наши войска, сломив сильное сопротивление противника, прорвали железобетонную оборонительную полосу японцев и в течение дня 9 августа продвинулись вперед на пятнадцать километров. В районе Хабаровска наши войска

на ряде участков с боем форсировали реки Амур и Уссури, заняв при этом город Фуань и несколько других населенных пунктов. В Забайкалье наши войска, преодолев ожесточенное сопротивление противника, штурмом овладели Маньчжуро-Джалайнурским укрепленным районом японцев и заняли города и железнодорожные станции Маньчжурия и Джалайнур. В районе озера Буир-Нур наши войска овладели населенными пунктами Джинджин Сумэ и Хошу Сумэ, не встретив особого сопротивления противника. В общем за день 9 августа наши войска продвинулись от пятнадцати до двадцати двух километров. Наша авиация наносила удары по основным железнодорожным узлам Маньчжурии — Харбин, Чаньчунь, Гирин — и портам Сейсин, Расин».

Несмотря на то что названия населенных пунктов звучали для уха Чохова, привыкшего к европейскому театру военных действий, чуждо, все остальное в сводке казалось знакомым и желанным. Можно смело сказать, что если где-нибудь на свете было место, куда влеклась душа Чохова, то это была теперь Маньчжурия.

Он стал просиживать целые дни в отделе кадров и, всегда робкий с начальством и не любивший напоминать о себе, теперь набрался смелости и в свойственной ему угрюмой и гордой манере по нескольку раз в день спрашивал о судьбе своего рапорта.

Это продолжалось недолго, так как уже спустя четыре дня Япония обнародовала декларацию о безоговорочной капитуляции. На следующий день радио принесло известие о том, что военный министр Японии Корецика Анами покончил жизнь самоубийством. Японцы стали сдаваться в плен десятками тысяч.

Чохова отделяли от Маньчжурии безграничные пространства, но ему казалось, что он слышит собственными ушами утихающую, замирающую стрельбу и видит, как армия движется все медленнее и медленнее.

Таким образом, ответа на рапорт не последовало. Чохов получил документы и, взяв свой фанерный чемоданчик, отправился на юго-восточную окраину Берлина, в Карлсхорст, в распоряжение СВАГ — Советской Военной Администрации в Германии.

Среди нескольких десятков офицеров, прибывших, как и он, в Карлсхорст за назначением, оказался и Воробейцев. Воро-

бейцев был весел, хорошо одет, много смеялся. Его самоуверенность подействовала и здесь на начальников, и он был назначен старшим группы офицеров, которые должны были следовать в город Галле. Распорядился он своими временными подчиненными на свой манер. Когда они, получив несложные инструкции, высыпали гурьбой на улицу, он поднял руку и, подмигнув всем сразу, объявил:

— Вы дети взрослые и при офицерских чинах. Добирайтесь сами, кто как хочет. Самостоятельность — мать удовольствий. Конечно, прошу вас без опоздания прибыть на место, чтобы уж меня не подводить и не подтверждать старого правила, что за добрые дела приходится расплачиваться собственной шкурой. Будьте готовы!

Офицеры рассмеялись и разошлись попарно, по трое, оставив Воробейцева с Чоховым одних.

— Надоел резерв, что ли? — спросил Чохов, глядя сбоку на усталый и чуть обрюзгший профиль Воробейцева.

— Надо чувствовать дух времени,— высокопарно сказал Воробейцев.— Сейчас время не то. Все приходит в уставной вид. Капитану в особняке долго не прожить. Это все я понял на днях, когда меня гоняли в комендатуре. Строевая подготовка — полезная вещь для гибкого ума.

Он повернул в переулок и поманил за собой Чохова. Там под сенью лип стояла машина — не тот горбатый «штейр», которым Воробейцев владел раньше, а новая.

В машине оказалась собака «боксер» в ошейнике с серебряной насечкой. Воробейцев покосился на Чохова, желая увидеть, какое впечатление произведет страшный пес на Чохова, но Чохов не обратил на собаку внимания, только рассеянно погладил ее по голове, как будто знал ее с детства.

— Прошу,— сказал Воробейцев, отпирая дверку.— Машину приобрел. Называется «опель-капитан». Поедем с комфортом. Разгадка загадки: капитан на капитане сидит, капитаном погоняет.

Не особенно прислушиваясь к странному и усталому паясничанью Воробейцева, Чохов глядел на улицы Берлина, через которые они проезжали. Хотя улицы были уже подметены и расчищены, но еще трудно было себе представить, где и как живут эти толпы берлинцев, идущие во всех направлениях среди развалин города.

Воробейцев несколько раз останавливался, чтобы справиться

о дороге. Наконец они выехали на Александерплац — огромную площадь, окруженную скелетами многоэтажных домов. Оттуда прямиком поехали на запад, мимо мест исторических боев. Они проехали рейхстаг, возле которого располагалась толкучка. Тут было полно американцев, французских офицеров, негров и немцев.

В Потсдаме Воробейцев заехал в военторг, где, как оказалось, у него работали знакомые. Он вынес оттуда сверток и осторожно положил его на заднее сиденье. Наконец в своем общежитии они погрузили вещи Воробейцева. После этого Воробейцев предложил Чохову посидеть перед выездом. Они с минуту молча посидели. Воробейцев почему-то впал в торжественно-меланхолическое настроение и долго ехал молча.

Они миновали Беелитц, затем проехали знакомый Чохову Виттенберг и по мосту перебрались через Эльбу. Дорога была обсажена с обеих сторон тополями. Они отъехали километра два, и здесь путь им преградила большая толпа людей, которые сгрудились на самой середине дороги, громко кричали и размахивали руками.

Воробейцев остановил машину и пошел вперед с начальническим видом. Чохов тоже пошел за ним, и они стали свидетелями страшного и непонятного зрелища. Множество людей — несомненно, русских,— среди которых были женщины и дети, били одного человека. Они били его руками, палками, чем попало. Каждый старался нанести ему смертельный удар. Так как их было много и они мешали друг другу, то ему удавалось увернуться от смертельных ударов. Он был на ногах; голова его, лицо и черная борода были в крови, и кровь текла по его обнаженной груди и разорванной рубашке. Человек этот был высокого роста, сухощавый. Глаза его, широко раскрытые, безумно глядели то в ту, то в другую сторону. Он был одет в белую рубашку и синие диагоналевые брюки. Он был бос. Руки его — худые и загорелые — были протянуты вперед, словно он искал, как слепой, выхода. Но он не оборонялся. Он просто валился, когда очередной удар заставлял его упасть, снова поднимался и куда-то шел, оставаясь на одном месте, в то время как очередной удар толкал его в другую сторону, и он оборачивался туда, где встречал следующий удар. Его убивали, знали, что убивают, и делали это яростно и неумело.

Воробейцев, побледнев как смерть, подошел к первому попавшемуся человеку из толпы.

— В чем дело? Что происходит? — спросил он, но тон не получился начальническим, как он этого хотел, а скорее испуганным и робким.

Спрошенный обернулся к нему и, увидев советскую военную форму, сказал:

— Изменник родины. Полицаем был в лагере у немцев. Бороду отрастил, чтобы его не опознали. А тут его узнали.

Сказав это, человек вдруг бросился вперед и ударил того, окровавленного, в бок чем-то острым. Рубашка на этом месте сразу стала темно-красной дочерна.

Отскочив обратно от изменника так же быстро, человек снова повернул большое лицо к Воробейцеву и сказал:

— Гад. Сколько наших замучил...

— Может... лучше его под суд. Властям сдайте его. Так не годится. Зачем так?

Человек ничего не ответил. Он вдруг сжался и снова бросился вперед. Но нанести удар ему на этот раз не дали. Его опередила старая женщина, которая, крикнув: «Это тебе за Митьку!» — тоже ударила изменника. Ударила слабо, неумело, но с такой ненавистью, которая заставила содрогнуться Воробейцева. Он отошел на несколько шагов назад и вполголоса сказал Чохову:

— Изменник родины... Опознали его...

Чохов пошел вперед и минуту холодными глазами смотрел, как убивают изменника. Заметив его взгляд, кое-кто расступился, может быть ожидая, что и он захочет участвовать в побоище или, напротив, прекратить побоище, передав преступника закону. Но Чохов стоял неподвижно, не шевеля ни одним мускулом лица; потом резко повернулся и пошел к машине.

— Если бы не было на мне военной формы,— сказал он, усаживаясь рядом с Воробейцевым,— я бы ему...

Часть дороги освободилась, и они поехали дальше в молчании.

XXII

В городе Галле, в большом некрасивом доме на площади Штейнтор, где размещалась в то время Советская Военная Администрация провинции Саксония-Ангальт, Чохов и Воробейцев встретили нескольких офицеров, выехавших с ними

одновременно из Карлсхорста. Они все пошли прежде всего в столовую, которую тут называли по-немецки «кантина», затем отправились посмотреть город.

Это был промышленный и университетский город. На Базарной площади стояли памятник композитору Генделю, родившемуся в Галле, мрачный собор и древняя ратуша, сильно пострадавшая от бомбежки.

Вернувшись в СВА, они немного подождали; вскоре их вызвали к полковнику и после краткой беседы распределили по провинции. Чохову, Воробейцеву и еще нескольким офицерам достался город Альтштадт.

Не теряя времени, они выехали и вскоре были на месте.

У генерала Куприянова в это время происходило важное совещание, и поэтому пришлось подождать.

Новички уселись на диванах в вестибюле второго этажа. Наконец одна из дверей распахнулась, и оттуда в вестибюль стали поодиночке и группами выходить офицеры. Вскоре их тут набралось человек сорок. Через минуту вслед за ними вышел генерал. Чохов и все его спутники встали.

— Это что, новички прибыли? — спросил генерал.

— Так точно, товарищ генерал! — ответил за всех Воробейцев, приложив руку к фуражке.

— Хорошо, хорошо,— неизвестно кого и за что похвалил генерал.— Сейчас займусь вами.

Он ушел, оставив офицеров довольными им и собой тоже,— неизвестно почему. Может быть, просто потому, что в голосе генерала и в атмосфере, царившей здесь, не было излишней официальности, которая (часто без всякой надобности) царит в наших военных учреждениях.

Вдруг Чохов заметил в группе офицеров, куривших неподалеку, знакомый русый затылок. Он готов был уже броситься вперед, однако же остановился, опасаясь ошибки. Но нет, это был гвардии майор Лубенцов. Ни у кого другого не могло быть такого затылка, таких плеч, а главное — такого жеста правой рукой во время разговора — свободного и одновременно сдержанного, быстрого, но основательного. Русоголовый рассмеялся, чуть откинув голову назад, и тут у Чохова отпали все сомнения. Все-таки он не пошел к Лубенцову, верный своей обычной манере никому не навязываться. Лубенцов случайно повернулся к нему во время разговора. Их глаза встретились, и его лицо просветлело.

— Чохов,— сказал он неуверенно и пошел навстречу капитану. Они постояли секунду друг против друга, потом Лубенцов решительно подошел ближе и обнял его быстрым и крепким объятием.

— Тоже в комендатуру? — спросил он.

— Да, товарищ гвардии майор,— ответил Чохов, смущенный и этим объятием и тем, что Лубенцов произнес последние слова с оттенком насмешки,— так показалось Чохову,— и, наконец, тем, что Лубенцов был подполковником, а Чохов назвал его по-старому.

— Ну и прекрасно,— сказал Лубенцов, на мгновение задумался, потом быстро и сильно ударил Чохова по плечу.— Поедете ко мне. У меня вакансия есть. Сейчас договорюсь. Показывайте, где ваши чемоданы, саквояжи, баулы или что там у вас есть.

Лубенцов крепко взял Чохова за локоть и собрался уже вместе с ним куда-то идти. В этот момент к нему протянулась длинная рука и чей-то голос проговорил так же быстро и энергично, как только что говорил Лубенцов:

— Не узнаете, товарищ подполковник? Капитан Воробейцев из оперативного отделения. Привет вам от генерала Середы. Видел его на днях в Берлине. Он возвращается на родину. Говорят, будет корпусом командовать. Интересовался вами, спрашивал, где вы находитесь. Я сказал, что вы назначены комендантом.

Воробейцев знал, что сказать. Хотя он с Середой не встречался, а только мимоходом слышал в отделе кадров, что генерал не то собирается, не то уже уехал на родину, но тем не менее счел полезным передать привет.

— Сизокрылов вызван в Москву,— продолжал Воробейцев.— Говорят, будет заместителем Председателя Совнаркома СССР. Какой человек, а? Тарас Петрович мне о нем рассказывал.

Может быть, единственная ошибка, какую допустил Воробейцев, заключалась в том, что он все это говорил слишком громко. Так или иначе, Лубенцов,— хотя он выслушал сообщение Воробейцева с большим вниманием, при этом радостно улыбаясь своим воспоминаниям, связанным с Середой и Сизокрыловым,— не отпускал локтя Чохова и, когда Воробейцев кончил, обратился к Чохову:

— Пошли.

Чохов нерешительно покосился на Воробейцева. Ему стало неловко оттого, что Лубенцов зовет только его, не проявляя никакого желания взять с собой Воробейцева. Тем не менее он пошел вместе с Лубенцовым по длинному коридору и только спустя минуту робко сказал:

— А нельзя взять к вам в комендатуру капитана Воробейцева?

— Воробейцева? Ах, вот этого капитана!.. Я что-то плохо его помню. Ладно, сейчас выясним.

Они вошли в одну из комнат. Здесь Лубенцов быстро договорился о назначении Чохова одним из дежурных помощников коменданта в Лаутербурге и собрался уже уйти, когда Чохов еще более робко напомнил:

— А как с Воробейцевым?

— Да, да,— рассеянно сказал Лубенцов и попросил личное дело Воробейцева.

Они сели рядышком на диване. Лубенцов стал листать личное дело, потом сказал:

— Что ж, человек как будто ничего. Отзывы хорошие: «деловитый», «энергичный»... «предан нашему делу»... Родом из Москвы. «Самолюбив»? Это не беда. Отец, мать... В порядке. Великая вещь — анкета! Все как на ладони!

Чохов быстро пошел обратно в вестибюль. Воробейцев стоял хмурый у окна и курил. Завидев Чохова, он отвернулся и стал разглядывать что-то за окном.

— Мы оба зачислены в лаутербургскую комендатуру,— сказал Чохов.— Сейчас поедем.

Не скрывая своей радости, Воробейцев так же хлопнул Чохова по плечу, как давеча Лубенцов, и зашептал:

— Ну что ж, я очень рад. Дело не в должности — мне все равно где работать. А все-таки приятно с офицерами из одной дивизии. Лубенцов — парень первого класса. Спасибо тебе, Вася, удружил, удружил. И, кроме того, место хорошее. Я узнавал. Гарц! Слышал? В общем, горы и всякая красота. Об этом Гарце стихи писали.

Чохов чувствовал себя ужасно неловко. Он сердился на Воробейцева за то, что тот поневоле поставил его, Чохова, в неприятное и унизительное положение просителя. Он был сердит и на себя, на свой проклятый характер, заставивший его просить за человека, который ему, по сути дела, не нравился и которого он не считал близким себе человеком. Эта дружба по-

неволе, опутавшая его, расстроила все удовольствие от встречи с тем настоящим другом, которого он — может быть, единственного на свете — любил и походить на которого стремился.

Впрочем, когда через несколько минут появился Лубенцов, Чохов уже успокоился. В конце концов ведь не было никакой беды в том, что Воробейцев будет служить вместе с ними.

Лубенцов подошел к ним не один, а в сопровождении молодого, румяного, полного капитана в очках. Из-за очков глядели огромные голубоватые глаза довольного миром и людьми младенца.

— Знакомьтесь,— сказал Лубенцов и посмотрел на капитана в очках ласково, действительно так, как смотрят на удачного, умного ребенка.— Новый офицер нашей комендатуры, капитан Яворский. Будет ведать пропагандой. Кандидат филологических наук. А это — наши новые дежурные помощники. Не кандидаты наук, но ребята хорошие, боевые. Скажу вам всем словами Евангелия: любите друг друга.

Они вчетвером вышли на улицу. Узнав, что у Воробейцева машина, Лубенцов усмехнулся.

— Я вижу, вы там не зевали,— сказал он.

Решили, что Яворский поедет с Воробейцевым, а Чохов — с Лубенцовым.

По дороге Лубенцов стал рассказывать Чохову о своем районе. Чохова подмывало говорить о прошедшей войне, о боевых делах, об осаде Шнайдемюля и боях за Потсдам. Но Лубенцов, по-видимому, был уже очень далек от этого всего.

— Коммунисты и социал-демократы,— сказал он,— на днях предложили провести демократическую земельную реформу. Это сейчас будет важнейшим вопросом немецкой жизни. Мы непосредственно не будем вмешиваться, так как это есть немецкое внутреннее дело. Очень опасно и необдуманно, если мы будем проводить реформу, так сказать, силой штыка. Реформа эта давно назрела. Она стояла в порядке дня демократической революции еще сто лет назад. Надо ликвидировать помещичье землевладение в Германии — оно рождает империализм.— Он пристально посмотрел на Чохова.— Вам придется почитать о Германии. Я сумел собрать довольно богатую библиотеку по германскому вопросу. Приходится изучать немецкий язык. Советую вам сделать то же. Я стараюсь делать все как можно основательнее, раз уж злая судьба и военное командование заставили меня стать комендантом немецкого района.

— Я, наверно, не смогу хорошо работать,— помолчав, сказал Чохов.— Командовать ротой — это то, что я умею.

— Ничего, научитесь. В конце концов главное — быть добросовестным. Быть добросовестным! Как это просто и как нелегко. Особенно в условиях, когда ты обладаешь властью, когда каждое твое слово — почти закон. Если человек не кретин какой-нибудь, если он, как бы вам объяснить, любит людей, что ли, то для него достаточно только быть добросовестным. Вы любите людей, Чохов? — спросил вдруг Лубенцов, засмеявшись.

— Не знаю,— сказал, смутившись, Чохов.— Не думал об этом.

Помолчали. Потом Чохов сказал:

— Я подавал рапорт, чтобы меня послали на Дальний Восток воевать. Но война там быстро кончилась.

— Ну и слава богу,— сказал Лубенцов.— Далась вам война! — Он задумался, потом продолжал:— А Татьяна Владимировна не просилась. Ее без просьб послали. Она теперь в Мукдене. Совершенно неожиданно дивизию Воробьева посадили в эшелоны и повезли через всю Россию. Жду, авось теперь Таня сможет демобилизоваться. Без жены обойтись не так трудно, когда ты холост. А вот когда женат, то, честное слово, сил нету больше.

Показался Лаутербург. Они подъехали к комендатуре. Их встретил Воронин, который сразу узнал Чохова и обрадовался ему. Чохов посмотрел на здание комендатуры. Здание имело вид вполне официальный и еле напоминало тот обычный гражданского вида дом, который стараниями Лубенцова, Воронина и Альбины был превращен в комендатуру.

Нынче все было не так. Даже женщины-кариатиды потеряли свой легкомысленный вид, когда под ними встал на часах русский солдат с автоматом, чуть ли не соперничая в суровости лица с расположенной напротив, старой, как Европа, статуей рыцаря Роланда.

На флагштоке развевался советский государственный флаг.

РАССКАЗ О ШЕСТИ СОЛДАТАХ

Они переезжали Одер по понтонному мосту военного времени. На обоих берегах реки валялись разбитые пушки. Берега были изрыты окопами и рвами, уже зеленевшими молодой

травой. Изломанные снарядами деревья кое-где уже поросли свежими побегами. Машина остановилась на западном берегу. Солдаты разделись и полезли в воду. Небаба заплыл далеко, потом вернулся, вылез на берег и сказал:

— Там, на дне, машины.— Он понизил голос:— И люди.

К ним подошел шофер санитарного автобуса.

— Куда поедете, дядьки́? — спросил он.— Мы вот решили сразу повернуть на север. Наша часть — на севере.

— А через Берлин не поедете?

— Не-ет. Там наши патрули свирепствуют. Нам маленькими городишками интереснее.

— А мы в Берлин. Узнаем, где наша часть,— сказал Веретенников.

— А зачем вам ваша часть? — спросил шофер.— Поедем с нами. Наша бригада стоит по-над самым морем. Чайки летают. Рыбы много. Красота вокруг. Там заявитесь, а скоро домой отпустят. Вы же вроде как путешественники. Если бы на мне не висела машина и командировка, я бы уж поездил по Европе!

— Нет,— сказал Веретенников.— Когда-нибудь в другой раз.

Шофер рассмеялся и ушел к автобусу, а солдаты двинулись дальше пешком. Их часто обгоняли машины, но солдаты пристрастились к пешему хождению.

Они шли мимо незасеянных, мрачных полей, над которыми, надрывно крича, вились вороны, может быть недоумевающие по поводу бесплодия некогда тучных нив. Деревни и городки на пути были разрушены.

Разговаривали солдаты мало, больше смотрели. Только Петухов, обычно самый неразговорчивый, теперь не мог успокоиться:

— Ах ты, господи, как же это я Варшаву проспал! Проморгал Варшаву, будь ты неладен! В двадцатом году на красноармейских митингах голос надорвал от крику «даешь Варшаву!», а нонче — она, Варшава-та, тут как тут, а я ее, Варшаву-ту, и не приметил. Как бы нам и Берлин не проспать.

Но вот однажды солдаты стали замечать, что приближаются к большому городу. Потянулись со всех сторон столбы высоковольтных передач. Стали попадаться многоэтажные дома с огромными рекламами уже не существующих фирм и запрещенных газет. Одна за другой появлялись пригородные станции на высоких дачных платформах. Вскоре пригороды потянулись

сплошняком. Дома здесь были почти все невредимы. Благоустроенные и красивые поселки радовали глаз. Солдаты шли по пригородам и предместьям, с любопытством озираясь на жителей, которых становилось все больше, и наивно удивляясь тому, что все-таки в Германии осталось еще немало немцев.

На западном небосклоне заалелся закат — который уже закат на их пути. Но этот, берлинский, закат был другой, особенный, казалось солдатам,— он озарял большой город, до того иноземный, до того несусветный! Однако долго любоваться этим закатом им не дал советский воинский патруль, строго окликнувший и немедленно отконвоировавший их в комендатуру. Привыкшие к спокойному движению и медленной смене впечатлений, они вначале были ошарашены внезапной переменой темпа жизни, той быстротой, с какой их включили в общеармейскую жизнь. Прежде всего их послали вместе с двумя сотнями других солдат на аэродром, где они стали очищать от обломков самолетов взлетные дорожки и восстанавливать поврежденные бомбами ангары. Спустя недели две их перевезли на машинах чинить мост через Шпрее в центре Берлина. Теперь, если они и вспоминали совместное путешествие, то уже как далекое прошлое. Только во время перекуров или перед сном кто-нибудь — чаще всего Небаба — спрашивал то у одного, то у другого:

— А помнишь того поляка?

Или:

— А помнишь того шофера?

И так далее.

И солдаты улыбались.

Один Веретенников не мог успокоиться. Его волновало то обстоятельство, что начальство дивизии, может быть, разыскивает солдат и сено, негодует на Веретенникова и считает его человеком, не заслуживающим доверия. В связи с этими мыслями он однажды решился подойти к подполковнику, приехавшему проверять работу. Подполковник, задерганный, крикливый, не успев выслушать, в чем дело, сразу кинулся на прораба-лейтенанта:

— Чего же вы их задерживаете? Пусть идут в свою часть.

И совершенно неожиданно шестеро солдат опять оказались вместе и снова превратились в отдельную команду.

Покинув Берлин, они по-прежнему пошли на запад, к тому городку, где по сведениями, полученным Веретенниковым в берлинской комендатуре, находилась их дивизия. Чем ближе солдаты подходили к этому городку, тем Веретенников становился молчаливее и строже. Иногда он тревожно поглядывал на Петухова. Тот, впрочем, вначале не понимал этих взглядов, но затем вспомнил, в чем дело. Веретенникова беспокоила расписка за сено. В этой расписке значилось меньшее количество сена, чем солдаты приняли на хранение. Петухова этот вопрос тревожил мало: ошибка — и все! Но понемногу тревога Веретенникова передалась и ему. Он вздыхал и сконфуженно гладил усы.

Наконец они дошли. Городок стоял на Эльбе — чистенький, будто промытый ливнем. И люди тут были чистенькие, вежливые, особенно дети. Пока Веретенников ходил в комендатуру спрашивать, солдаты посидели с немецкими детьми в скверике и поговорили с ними с помощью рук и нескольких немецких слов. Дети уже знали, правда, много русских слов. Зуев выдал им по сухарю и по куску сахару, но дети не стали есть, а спрятали сухари и сахар в карманы и поблагодарили очень вежливо, объяснив, что отдадут подарки матерям. И это понравилось солдатам.

Веретенников разузнал, что дивизия ушла за неделю до того за Эльбу, где сменила американские части. Вернувшись к солдатам, он сообщил им эту новость, и солдаты пошли дальше.

Они перешли по мосту Эльбу. Перед их глазами открылась плодородная равнина, вся в фруктовых садах и огородах. Было тепло и солнечно. По дороге шло оживленное движение — машины, воинские и немецкие, мчались с большой скоростью с востока на запад и с запада на восток.

— Поедем или пойдем? — спросил Веретенников.

— Можно и поехать, — сказал Коротеев, расслышав в вопросе старшего особое служебное рвение: дивизия была близко.

— На нашей или на немецкой?

— Давайте на немецкой попробуем.

Веретенников поднял руку. Немецкий грузовик остановился. Он следовал именно туда, куда им было нужно, и спустя два часа они оказались на месте. Сойдя с машины, солдаты отправились разыскивать штаб дивизии. Встречный сержант показал им военный городок, расположенный за городом. Но городок был пуст. Покинутые кирпичные казармы грелись на солнце,

так, зря. Во всем городке оставались только два лейтенанта и старшина. Они досадливо отмахнулись от солдат, не захотели смотреть никаких документов и расписок и вообще были сильно «под мухой». Они сказали, что дивизия расформирована, короче говоря — нет уже этой дивизии. Они угостили солдат вином, дали им хлеба и консервов столько, сколько солдаты могли унести, и даже пытались всучить им гору старых ватников, которые забыли списать и некуда было деть. Наконец они посоветовали Веретенникову вернуться в город, где стоит запасной полк.

Солдаты посидели, посидели и пошли в полк.

Здесь прежде всего оказалось, что Петухов, Коротеев и Атабеков уже две недели не солдаты: они подлежат демобилизации по возрасту. Им тут же выправили документы и на следующий день отправили домой, в Россию.

Веретенников, Зуев и Небаба остались в полку, а спустя некоторое время их вместе с еще пятнадцатью солдатами и молодым лейтенантом посадили на машины и отправили в большой город. Там им объявили, что они назначены служить в немецкий городок с трудно произносимым названием в качестве комендантского взвода.

Они вскоре выехали туда. Веретенников, Зуев и Небаба, немного грустные после разлуки с тремя товарищами, сидели на грузовике и смотрели по сторонам. Дорога шла вначале по равнине, затем равнина начала собираться складками. Чем дальше, тем эти складки становились выше и гуще. Они шли террасами в три-четыре яруса. Нижний ярус был весь в свекольных, капустных и картофельных полях, окаймленных рядами деревьев. За ними начинался следующий, более высокий, ярус — обширные покатые холмы, засеянные рожью или овсом. Третий ярус иногда был покрыт низкорослыми и густыми вишневыми садами, либо полями белого мака, либо неизвестными солдатам желтыми цветами. А совсем сзади, на самом высоком ярусе, темнели хвойные леса.

Начинался Гарц. Тишина и покой царили кругом. На деревьях пели птицы, внизу журчали ручьи. Огромные валуны валялись между деревьями. Дорога начала идти вниз, и вскоре перед солдатами открылась панорама города.

— Он самый?— спрашивали солдаты друг у друга.

— Видно, он самый.

Все оживились.

Вскоре машина, проехав несколько кварталов развалин,

остановилась на площади возле дома с советским флагом. Напротив дома стоял огромный поврежденный бомбой собор. Посреди площади располагался сквер с большими старыми деревьями.

Солдаты соскочили с машин и, разминая затекшие руки и ноги, сгрудились у входа, где стоял часовой. В доме распахнулись окна, послышались радостные возгласы, а через минуту из комендатуры вышел молодой подполковник, синеглазый, веселый, быстрый, а следом за ним появились еще несколько офицеров и гражданская девушка.

— Вольно,— сказал подполковник. Он потирал руки и казался довольным.— Вот молодцы, что приехали.— Он пытливо переводил взгляд с одного солдата на другого. Веретенников встретился с ним глазами, и они улыбнулись друг другу.— Это ваш дом,— продолжал подполковник, уже глядя на одного Веретенникова,— нижний весь этаж будет вашей казармой, столовой, клубом. Места много.— Он обратился к высокому полковнику, вышедшему в этот момент из комендатуры.— Вот, товарищ Соколов, прибыл мой взвод. Таким образом, ваши солдаты будут наконец свободны от комендантской службы. Я вам, наверно, сильно надоел.— Полковник улыбнулся, а подполковник (видимо, он и был комендантом) продолжал, снова обращаясь к солдатам, но на этот раз серьезно и проникновенно: — На вас возложена важная задача — представлять Советский Союз. Что это значит, вам ясно. Мы будем работать вместе, помогая друг другу. Каждый из вас много видел, много пережил. Вы молодые люди, но старые солдаты, и мне не приходится вам много объяснять. Нам всем будет нелегко вдали от родины, да и вообще служба, да еще в таких условиях, не всегда бывает легким делом. Но если мы будем жить дружно, делиться своими горестями и радостями, всегда помнить о своем долге, нам будет легче. С командиром взвода вы знакомы, он приехал вместе с вами. Вот этот старшина, товарищ Воронин, назначен помощником командира взвода. Сержанты среди вас есть — они будут командовать отделениями.

От этой речи Веретенникову сделалось хорошо на душе. Комендант понравился и остальным солдатам. Взвод собрался уже войти в дом, как вдруг откуда-то появилась толстая немка с носом картошкой и большой бородавкой на щеке, в красном свитере и клеенчатом фартуке. Она, смущенно улыбаясь во всю ширину своего дородного лица, подошла к комен-

данту и заговорила по-немецки, при этом протягивая ему какую-то бумагу.

Смуглая серьезная девушка, стоявшая возле коменданта, начала переводить:

— Она спрашивает, помните ли вы ее, не забыли ли.

— Помню, как же не помнить,— засмеялся комендант.— Мы с ней познакомились в первый день моего приезда.

Девушка перевела его слова немке, и та восторженно закивала головой и снова заговорила быстро и громко.

— Она говорит,— сказала девушка,— что все жители ее дома очень уважают вас и что она пришла с жалобой на магистрат. Магистрат должен отремонтировать их дом, но до сих пор обещает и ничего не делает. А так как они знают, что господин комендант охотно помогает простым людям, они и послали ее, как знакомую коменданта, жаловаться на магистрат.

Комендант снова засмеялся и сказал, что сделает все, что сможет. Потом он добавил:

— Скажите ей, что она правильно сделала, что пришла. Критика недостатков — вещь нужная. Пусть напишет о недостатках в газету, в «Фольксцейтунг» [1], например.

Когда девушка перевела немке слова коменданта, та широко раскрыла глаза, захохотала, комично всплеснула руками, произнесла громкий губной звук вроде «пу» или «па» и заговорила еще быстрее, чем раньше.

— Разве я писатель? — воскликнула она.— Какой из меня писатель? Я домашняя хозяйка, у меня четверо детей, но я не люблю безобразий, ненавижу, когда обещают и не делают, когда болтают «народ, народ», а о народе и не заботятся.— Немка замолчала, потом добавила тихо: — И муж у меня погиб на войне... Если бы хоть за что-нибудь путное погиб! — Она вынула платок и размазала по широкому лицу внезапно хлынувшие из глаз слезы.

Стало тихо. Переводчица ясно и раздельно произнесла эти слова по-русски. Все стояли серьезные. Потом лейтенант негромко скомандовал идти, и солдаты один за другим бесшумно вошли в распахнутые настежь двери дома.

---

[1] «Фольксцейтунг» («Народная газета») — орган коммунистической организации провинции Саксония-Ангальт в то время.

Часть вторая

ЗЕМЛЯ

I

Город Лаутербург внимательно и настороженно следил за комендатурой.

Комендатура, открытая для всякого, кто приходил с просьбой, запросом или жалобой, тем не менее жила своей особой, замкнутой, немножко таинственной жизнью. Через телефонные провода и радио она была связана с Альтштадтом, Галле, Берлином и, по-видимому, Москвой. Нарочные на советских военских автомашинах приезжали сюда, вручали пакеты и шифровки.

Синеглазый подполковник, видимо очень молодой, но умный и дельный, хорошо знающий немецкий язык, но притворяющийся, что не знает (это было не раз замечено), владеющий также и английским языком, но притворяющийся, что и английского не понимает (этот слух был распущен стариком Кранцем),— комендант часто уезжал на машине, ездил по району, появлялся то здесь, то там. Казалось, он никогда не спит. Его работоспособность изумляла всех. Он покупал в книжной лавке «Ганс Минден» много немецких книг, и было замечено, что в первое время он покупал буквари, книги для школьного чтения, затем путеводители, различного рода справочники, сочинения по Германии, затем стал покупать детективные ро-

маны, наконец перешел на классику — приобрел однажды всего Гете, Шиллера, Лессинга и Уланда. Иногда он объезжал или обходил город ночами, появляясь то в ресторане, то в гостинице, то в кинотеатре; он осмотрел собор и замок, предложил магистрату привести тот и другой в порядок, как памятники древности, и выдал для этой цели лицензию на строительные материалы; он велел срочно восстановить полуразрушенные дома и т. д.

Его здесь прозвали «Oberstleutnant Dawaj» [1], так как, отдав распоряжение очистить от обломков улицу, или отремонтировать автомашину, или пустить в ход предприятие, или открыть магазин,— одним словом, что-нибудь сделать,— он кончал свое распоряжение этим странным русским словом, неизвестно что обозначавшим, но звучавшим как приказ и одновременно как благословение. В том, что коменданта так прозвали, был оттенок насмешливости над человеком, облюбовавшим какое-то одно словцо, и вместе с тем признание кипучей энергии коменданта, энергии, хорошо выражаемой этим словом.

У него была страсть, у этого молодого человека, всех заставлять работать. Он обижался полудетской обидой, когда сталкивался с бездельником или замечал, что кто-то плохо исполняет свои обязанности. Тогда его голос, обычно довольно высокий, вдруг понижался, становился даже басовитым, и он ронял этим низким голосом обиженно, сердито и растерянно:

— Ну, как же так? Ну, разве так можно? Ах, как нехорошо. Просто из рук вон.— Потом его голос опять становился обычным, речь — быстрой, уверенной, и он бросал русские слова, ставшие почти поговоркой среди немцев:— Работать надо. Давай, давай!

Комендатуру в целом тоже не оставили без прозвища. Ее назвали попросту «Дом на площади» («Das Haus am Platz»). Это прозвище — Дом на площади — произносили по-разному: одни — со страхом, другие — с уважением, третьи — враждебно, четвертые — доверчиво. Некоторые называли комендатуру этим прозвищем для того, чтобы не произносить ее настоящего имени, с той же подоплекой, с какой христиане не называют по имени дьявола, заменяя его «нечистым», «чохом» и т. д. В устах других прозвище звучало дружественно, даже ласково. Так или иначе, Дом на площади властно вошел в жизнь города и

[1] «Оберстлейтнант Давай» («Подполковник Давай»).

Лаутербургского района. О его деятельности говорили разно, но никто не мог отрицать того обстоятельства, что Дом на площади старался упорядочить жизнь граждан, наладить производство и торговлю. Это не всегда удавалось ему, правда. Вместе с тем Дом на площади неумолимо выполнял то, что было постановлено Потсдамской конференцией: демонтировал военные заводы, вел розыски военных преступников, смещал с должностей, в том числе и в частных предприятиях, людей, бывших активными функционерами нацистской партии.

О том, что творилось внутри комендатуры, предпочитали говорить шепотом: «Кто-то приехал в Дом на площади»; «В Доме на площади было важное совещание в присутствии генерала»; «Дом на площади что-то затевает, там идут совещания»; «Дом на площади нам этого не позволит»; «Как бы Дом на площади не вмешался»; «Придется попросить вмешательства Дома на площади».

Лаутербуржцы оказались неплохими психологами и довольно быстро изучили характер всех обитателей Дома на площади. Касаткин не пользовался их симпатиями: он был хотя и справедлив, но очень строг. Пожалуй, немцы были для него все еще не людьми, а только лишь объектами деятельности комендатуры. Капитан Чегодаев — тот был горяч и незлобив. Накричит, нашумит, но тут же успокоится, разберется и все решит правильно: чтобы и советским властям на пользу, и немцам не в ущерб. С рабочими он был неизменно ласков, хотя любил попрекать их тем, что они при Гитлере вели себя слишком смирно, не устраивали забастовок и восстаний.

Капитана Яворского уважали за блестящее знание немецкого языка, интеллигентность и доброту, которую кое-кто использовал в своих интересах. Но он имел один недостаток — он был несамостоятелен и почти всегда заканчивал свои умные и дельные речи, замечания и советы словами: «В общем, я узнаю мнение коменданта».

Капитана Воробейцева лаутербуржцы не любили. Никогда нельзя было определить, что ему понравится, а что вызовет его гнев. Он тоже хорошо относился к простым людям, с предпринимателями же — большими и малыми — был резок, насмешлив. Впрочем, вскоре различные хозяева заводов и заводиков, магазинов и лавок, портняжных и сапожных мастерских установили, что этот капитан не чужд материальных интересов, любит пожить. Этой тайной они не делились друг с другом, но,

как могли, использовали ее. И тем не менее боялись его, может быть, больше, чем всех других офицеров комендатуры, потому что он был необуздан и ехиден, знал их коммерческие дела вдоль и поперек и догадывался о нарушениях ими законов Контрольного Совета и распоряжений Администрации.

С капитаном Чоховым и старшим лейтенантом Меньшовым немцы сталкивались мало, так как первый из них занимался главным образом советскими военнослужащими, прибывающими в город или уезжающими из него, их размещением, поведением, снабжением; второй — Меньшов — большей частью пропадал в деревнях и селах.

Что касается самого коменданта, то между ним и населением города вскоре установились странные и сложные отношения. Хотя он — как ему полагалось по должности — строго проводил те мероприятия, какие клонились к ликвидации военного потенциала, хотя он сурово преследовал за нарушение установленных законов, но тем не менее понемногу почти не осталось в городе жителя, который не питал бы к подполковнику сдержанных, но дружеских чувств. Дело в том, что все, что он делал,— он делал не только потому, что таковы были его обязанности, а потому, что считал это необходимым, то есть он вкладывал во все, что делал, человеческое чувство, личную убежденность. Он проявлял заботу о школах, предприятиях, детских садах, качестве продукции, посевном материале, бензине, угле и т. д. не потому, что был обязан это делать, а по-человечески, с полным и горячим убеждением, что это нужно людям и что без этого им будет хуже. Люди сразу угадывают такое отношение к себе, угадывают безошибочно. Если Касаткин не скрывал, что забота его о благосостоянии населения — служебная забота, признак добросовестности, но не чувства; если Яворский относился к своей работе до некоторой степени абстрактно, как к решению интересной математической либо шахматной задачи; если в поведении Чегодаева, Меньшова и отчасти Воробейцева присутствовал оттенок юношеского тщеславия, гордости своим влиянием на жизнь множества людей, то в Лубенцове всего этого не было начисто. Служебный долг и человеческое чувство были слиты и жили в нем безраздельно.

Он никогда не пытался скрыть от немцев горькую правду. В этом отношении он даже был подчеркнуто педантичен и при всякой возможности напоминал им об их исторической вине

перед советским народом и о том, что они должны искупить и искупят свою вину. Постоянное общение с бывшими врагами на службе и особенно в быту располагало к забвению их старых грехов. Люди — всюду люди: в Лаутербурге смеялись над теми же остротами, что и в Тамбове, плакали от тех же обид, что и в Хабаровске, краснели от тех же сальностей и бледнели от тех же оскорблений. И эти мелкие, но многочисленные бытовые человеческие сходства приводили — и не могли не приводить — к сближению русских людей с немецкими. Лубенцов понимал это и не этому сопротивлялся внутренне,— нет, он сопротивлялся забвению того, что было и что следовало помнить во что бы то ни стало, потому что только это оправдывало его и его товарищей пребывание здесь, оправдывало ущемление прав немцев, без которого они не могли бы войти в семью свободных народов.

Поэтому он, рискуя показаться людям чуть-чуть смешным и не боясь этого, повторял, где только мог, слова о вине немцев в том, что они поддались психозу громких и пошлых фраз Гитлера, избрали легкую и страшную судьбу — совершать чудовищные несправедливости ради собственной шкуры.

Лубенцов принимал в своем кабинете — большой светлой комнате, где некогда заседал наблюдательный совет акционерного общества «Лаутербург АГ». Тут стоял стол, накрытый зеленым ворсистым сукном, несгораемый шкаф, другой стол — длинный, для заседаний, приставленный к письменному так, что вместе они образовывали столь приятное для бюрократов начертание буквы Т. Этот второй стол был покрыт зеленой скатертью, под тон письменному столу,— найдя эту скатерть, Воронин возгордился по поводу изящества своего вкуса. Портреты Ленина и Сталина висели на стене слева. Справа были окна. Позднее Воронин привез из политотдела СВА портреты Маркса и Энгельса: он счел уместным вывесить в кабинете советского коменданта портреты двух великих немцев, являющихся как бы связующим звеном в идейной жизни обеих стран.

Под портретами висела карта всего района, на которой местным художником по просьбе Лубенцова были нарисованы условные картинки, обозначавшие здешние богатства: горки угольных брикетов, рыба, лошадь, свинья, ржаной колос, морковка, маленькие заводики с высокими трубами и т. д.

В застекленном книжном шкафу стояли собранные Лубенцовым немецкие книги, касавшиеся экономики и истории района. Это были краеведческие брошюры, солидные издания, путеводители, а также грамматики и словари.

В этом же шкафу Лубенцов завел подробную картотеку, в которую заносил все, что ему становилось известным о населенных пунктах района, включая самые маленькие хутора. Картотеку эту он вел сам. Поступление налогов, ход заготовок, лесоразработок, рост поголовья крупного рогатого скота и овец, улов рыбы, характеристика бургомистров, учителей, адвокатов, деятелей партий и профсоюзов, выполнение планов всеми предприятиями — все это заносилось в карточки.

Сведения о картотеке просочились в город. Вокруг нее даже возникли разные таинственные слухи, что-де там собраны биографии всех жителей до третьего колена.

В последнее время жители города не могли не заметить, что Дом на площади лихорадит. Там шли беспрерывные совещания, которые нередко затягивались до поздней ночи и даже до утра. Туда приезжали деревенские бургомистры и крестьяне. Дважды были приняты депутации переселенцев из Силезии, Судетской области и Восточной Пруссии. Запыленные машины то и дело останавливались у подъезда.

Шла подготовка к земельной реформе. Первой, еще неясной вестью о ней были митинги, проведенные в деревнях. Батраки и бедные крестьяне обратились в Советскую Администрацию с просьбой о разделе помещичьей земли. Особенно бурно проходили митинги переселенцев. Эти люди, не имевшие ни кола ни двора и жившие большими лагерями, просили об устройстве, о том, чтобы им нарезали земли, которую они могли бы обрабатывать.

Резолюции этих митингов печатались в коммунистической газете «Фольксцейтунг» и социал-демократической — «Фольксблат». Через некоторое время состоялись совещания демократического блока партий, где представители компартии впервые обнародовали проект реформы. Проект гласил, что разделу подлежат все имения с земельной площадью более ста гектаров. Что касается имений военных преступников, то эти имения должны были быть конфискованы полностью — даже те, в которых насчитывалось менее ста гектаров. Землю — пахотную, лесные угодья и луга — предполагалось нарезать крестьянам, преимущественно батракам, переселенцам и бедноте.

II

В связи с тем что Лаутербург распоряжением СВА стал административным центром «крайса» (района), следовало создать в нем районное самоуправление. Генерал Куприянов посоветовал Лубенцову назначить ландратом — главой самоуправления — человека беспартийного, пользующегося авторитетом среди всех групп населения. Лерхе, новый бургомистр Форлендер и начальник полиции Иост предложили на эту должность некоего профессора Себастьяна. Кандидатуру профессора поддержали и Грельман с Маурициусом. Лубенцов поручил им переговорить с профессором, но переговоры ни к чему не привели — профессор отказался от чести быть ландратом.

— Как так отказался? — рассердился Лубенцов.— Значит, плохо вы с ним говорили. Что он за птица, этот профессор? Честный человек? Как же может честный человек отказаться от работы в такой сложный момент? Где он живет? Я к нему съезжу сам.

— Вы ведь живете у него в доме,— сказал Иост, сделав большие глаза.

Лубенцов удивился еще больше Иоста.

— Так это мой хозяин! — воскликнул он.— Замкнутый господин. Я его ни разу не видел. Винить некого — себя только.

В тот же день вечером он вызвал к себе домой Ксению. В ожидании переводчицы он вышел в сад и впервые за все это время внимательно осмотрел его. Здесь царил образцовый порядок. Под стеклами небольшой оранжереи стояли горшочки с рассадой и росли диковинные цветы. Позади дома находился фонтан, в центре которого стоял пухлый ребенок из белого камня с луком в руках.

Из дома послышались звуки рояля. «Нелюдим профессор любит музыку»,— усмехнулся Лубенцов и поднял глаза к окнам второго этажа. Внезапно музыка прекратилась, и на балконе появилось белое платье.

Было уже темно, и Лубенцов не разобрал черт лица этой женщины. Услышав внизу шорох, она спросила мелодичным голосом: «Вер да?» [1] Не получив ответа, она перегнулась через ограду балкона вниз, вгляделась и, произнеся удивленное междометие, скрылась в доме.

---

[1] Кто там? *(нем.)*

Тут раздался скрип калитки. Это пришла Ксения. Они поднялись по темной лестнице наверх. Лубенцов вдруг подумал, что следовало бы предварительно позвонить по телефону, а не так — взял да и нагрянул без приглашения. Но было уже поздно. Наверху раскрылась дверь. Зажегся свет. Старушка в белом передничке и белой наколке на голове — Лубенцов вспомнил, что видел ее как-то раньше, она, по-видимому, убирала у него в домике по утрам — вгляделась в Лубенцова и полуудивленно, полуиспуганно произнесла:

— Герр комендант...

Ксения попросила ее доложить профессору, что комендант хочет его видеть по важному делу. Они вошли вслед за ней в комнату. Лубенцов попросил Ксению сказать, что он извиняется за непрошеное вторжение, но так как у него важное дело и, кроме того, ему давно пора познакомиться со своим хозяином и поблагодарить его за гостеприимство, то он разрешил себе прийти вот так запросто, без предупреждения. Старушка ушла, а минуту спустя в комнату медленно вошел высокий моложавый человек в темном костюме, с совсем белой головой. В руке он держал очки, которые при входе приложил на мгновение к глазам, как лорнет, но тут же опустил их вниз.

После обычных вежливостей они уселись за круглый стол. Лубенцов предложил профессору сигарету, которую тот охотно взял. Оба закурили, и Лубенцов сразу приступил к делу.

Себастьян слушал его молча, не прерывая, потом сказал, что вынужден отказаться от почетного предложения, так как чувствует себя неважно и, кроме того, не думает, что окажется способным исполнять столь ответственные обязанности с честью. Он не администратор, а человек науки, химик по профессии, и если может быть у человека цель в жизни, то его, профессора Себастьяна, цель — закончить свой большой труд по коллоидной химии, труд, начатый им уже давно.

В ответ на это Лубенцов сказал, что он понимает стремление людей к спокойной научной деятельности, к тому, что «нами, людьми дела, презрительно зовется сидячей жизнью», но он не может согласиться с тем, что ради науки, создаваемой на пользу человечества, предается забвению человечество. Особенно теперь, когда немцы переживают такую серьезную и тяжелую пору, долг каждого, в том числе и человека науки, заключается в том, чтобы помочь своему народу встать на ноги.

— Вам, может быть, странно и смешно,— продолжал Лу-

бенцов,— что я, офицер оккупационных войск, уговариваю вас, немецкого профессора, позаботиться о немецком народе. Три месяца назад мне это казалось бы еще более странным.

Себастьян рассмеялся.

— Да,— сказал он,— вы это остроумно заметили.

Лубенцов продолжал:

— Я, как представитель оккупационных властей, заинтересован в том, чтобы здесь, в Германии, установился твердый демократический порядок. И мы этого не сможем добиться без самодеятельности самих немецких граждан, в особенности передовой части их — людей ученых, представителей интеллигенции, которые должны наиболее остро чувствовать создавшуюся обстановку.

— Но почему вы обращаетесь именно ко мне? — спросил Себастьян.

— Потому что мне указали на вас как на одного из самых авторитетных представителей немецкой интеллигенции в этом городе.

— Следовательно, вам кажется, что, если я или подобный мне человек будет стоять во главе управления, вам легче будет достичь своих целей? — Произнеся эти слова несколько вызывающим тоном, Себастьян осекся и забарабанил пальцами по столу. Видно было, что он жалеет о своей неосторожности, о том, что так откровенно высказался. Он вовсе не собирался делать этого раньше — напротив, хотел быть максимально сдержанным и не давать коменданту поймать себя на чем-нибудь подобном.

— Да, да, да! — воскликнул Лубенцов.— Совершенно верно! Мы для того и хотим вашего назначения, чтобы, используя ваш авторитет, добиваться своих целей. Вы выразились совершенно верно. Но вопрос заключается в том, каковы наши цели. Сходятся ли они с вашими целями. В чем они расходятся. Вот в чем весь вопрос!

Он встал и, победоносно взглянув на профессора, продолжал свой монолог:

— Вы ненавидите нацистов — и мы их ненавидим. Вы противник войны — и мы противники войны. Вы сторонник сильной, свободной, но миролюбивой и демократической Германии — мы тоже. Вы лучше нас знаете местные условия, традиции, взаимоотношения,— потому вы должны нам помогать, поправлять нас, если мы будем делать что-то необдуманно

или глупо. Примите наше предложение, и у вас будет масса возможностей помогать нам лучше и вернее делать наше дело. Мы будем с вами ссориться, доказывать свою правоту — вы будете доказывать свою. Цель у нас одна — помогайте нам избирать наилучшие средства.— Он сел, как бы ожидая ответа. Так как профессор молчал, Лубенцов снова заговорил, но уже спокойно: — На днях я прочитал книгу, которая произвела на меня большое впечатление. Это немецкая книга, очень знаменитая. К стыду своему, я ее тут прочитал впервые в жизни, хотя слышал о ней и раньше, еще в школе. Это «Фауст» Гете. Вторую часть ее я читать не стал — это показалось мне слишком трудным делом, а я очень занят и не имею возможности сидеть и читать столько, сколько я хотел бы. Вы, конечно, читали эту книгу. В ней рассказывается о том, как великий ученый,— ну, конечно, ученый по тому времени,— изучив все науки, вдруг,— а собственно говоря, не вдруг, но после долгих размышлений,— пришел к выводу, что этого для него мало, что он должен окунуться в живую человеческую жизнь, принять в ней посильное участие. Главная идея заключена во второй части, которую я не осилил.— Профессор улыбнулся.— Этот ученый в конце концов после многих исканий понимает, что смысл жизни в том, чтобы приносить пользу своему народу и, конечно, всему человечеству. Не думаете ли вы, что эта правильная мысль относится и к вам? Я не поручусь, что понял все написанное в этой книге, но что я понял ее основную идею — за это я ручаюсь.

— Вы поняли правильно,— тихо сказал Себастьян.

Тут Лубенцов поднял глаза и увидел, что возле двери стоит девушка в светлом платье — по-видимому, та самая, что выходила на балкон. Лубенцов встал. Себастьян тоже встал и сказал:

— Знакомьтесь. Это моя дочь, Эрика.

Лубенцов назвал свою фамилию.

Она посмотрела на него исподлобья, потом уселась рядом с отцом на подлокотник кресла. Взгляд ее был насторожен, даже несколько враждебен.

— Обдумайте все,— сказал Лубенцов.

— Хорошо,— ответил Себастьян.— Я все обдумаю. Могу вам теперь уже сказать, что вы во многом правы и что я, возможно, приму ваше предложение.

Лубенцов даже покраснел от удовольствия.

— С вашего разрешения я завтра снова зайду к вам,— сказал он.

— Пожалуйста. Буду очень рад. Мне было приятно беседовать с вами.

Внезапно в разговор вмешалась дочь профессора. Она сказала, глядя в упор на Лубенцова большими злыми глазами:

— Вчера сюда заходили два русских солдата. Они были в нетрезвом состоянии. Мы с трудом от них отделались, и то лишь тогда, когда объяснили им, что здесь проживает советский комендант.

— Надеюсь, они вам не нанесли никакого ущерба? — спросил Лубенцов, смешавшись.

Себастьян тихо сказал:

— Ничего особенного.

— Они увели нашу машину,— сказала Эрика.

— Ай, как нехорошо! — воскликнул Лубенцов, покачав головой почти в отчаянии.— Найдем, обязательно найдем вашу машину. Скажите мне, какая машина, какой марки и так далее. Ксения Андреевна, запишите, пожалуйста.

— Кроме того,— продолжала Эрика Себастьян ровным, злым голосом,— они пытались оказать мне слишком много внимания как даме.

Лубенцов покраснел до корней волос. Профессор сказал, примирительно погладив дочь по плечу:

— Скажу вам прямо, господин подполковник. У вас симпатичные солдаты, добрый и спокойный народ. Я на своих прогулках много наблюдал за ними. Но ваш пьяный солдат — это ужас. Извините, может быть, я выражаюсь слишком откровенно...

Лубенцов принужденно рассмеялся. Да, ему была не очень по душе откровенность профессора. Однако он заставил себя сказать:

— Что ж, вы правы.— Подумав мгновенье, он добавил:— Пьяный человек вообще отвратителен. А подвыпивший русский солдат почти также плох, как трезвый немецкий.

— Верно! — воскликнул Себастьян, довольный тем, что может согласиться с комендантом, не кривя душой.— Вы совершенно правы. Нет ничего отвратительнее трезвого немецкого солдата, выполняющего, как у нас говорят, свой долг. Он методически жесток. Расчетливый изувер, он как бы сдает свою совесть на временное хранение в полковую кассу, чтобы потом спокойно получить ее обратно. Да, господин подполковник, недаром наш солдат прославился в этом отношении. Наши власти-

тели, мелкие и крупные, многое сделали, чтобы вдохнуть в него душу наемника. Нет такого неправого дела, за которое не сражался бы немецкий наемный солдат. Он защищал права английской короны в Америке, дрался на стороне шведских протестантов против императора, защищал императора против шведских протестантов, гугенотов против французского короля и французского короля против гугенотов...

— В последней войне,— сказал Лубенцов,— он воевал за интересы немецких капиталистов и помещиков против всех народов и против немецкого народа.

— Вероятно, хотя этот вопрос для меня еще неясен.

Они расстались довольные друг другом.

III

«Мерседес-бенц», шестицилиндровый, синего цвета, однодверный, с откидным верхом, мотор номер такой-то, шасси номер такой-то, на передней облицовке слева трещина, сиденье черное кожаное».

Сдав эти сведения Воробейцеву для немедленного принятия мер по розыску, Лубенцов велел подать себе машину. Но Воробейцев покачал головой:

— Тищенко уехал в отпуск, товарищ подполковник.

Надо было подыскать шофера из немцев. Воронин взял это дело на себя. Он вышел из дому и сразу же нашел Кранца, стоявшего, как обычно, под фонарем неподалеку от комендатуры; сунув старику в карман коробку консервов, Воронин сказал:

— Нужен шофер, срочно.

Кранц подумал и проговорил:

— Пойдемте со мной.

Они пошли вдвоем.

— Ты женат? — спросил Воронин.

— Я... забыл как называется. Жена умерла.

— Вдовец?

— Вот! Да! Вдовец! — Помолчав, он сказал:— Моя жена была русская женщина.

— Ну? — удивился Воронин.

— Да. Элизабет. Елизавета Николаевна. Нет на свете лучше, чем русская женщина.

— Это верно,— сказал Воронин.

— Она умерла,— продолжал Кранц. Его лицо стало печальным.— И после нее я стал несчастный. Не надо было уезжать из России. Здесь она не могла. Хотела обратно, в свое отечество.— После некоторого молчания он спросил:— Не разрешите ли вы мне, господин фельдфебель, ставить вам один вопрос.

— Пожалуйста, спрашивай.

— Это правда, что будет уничтожение помещиков?

— Как так — уничтожение? Никакое не уничтожение. Землю отберут, народу раздадут. А как же? Думаю, что сами крестьяне хотят. Им прямая выгода.

— Они не хотят,— сказал Кранц.

— Как так не хотят?

— Нет. Они хотят, но они боятся. Они имеют страх.

— Чего же тут бояться? Надо им разъяснить. Проводить работу с теми, кто боится. Почему боятся?

— Месть помещиков. Понимаете — месть.

— А что? Угрожают помещики?

— Да,— сказал Кранц.

Воронин свистнул и покачал головой.

Дальше они шли в молчании. Наконец Кранц остановился на обсаженной липами улице у облупившегося четырехэтажного дома. Они прошли в дом. Кранц постучал в одну из дверей третьего этажа. Зажегся свет, дверь открылась. Перед ними стоял плосколицый, плешивый молодой человек в пижаме. Он посмотрел на Воронина, Воронин — на него, лица обоих выразили удивление, потом расплылись в улыбке. Воронин закричал:

— Подожди, подожди. Это где же я тебя!..

Человек в пижаме воскликнул:

— О-о!..— И неожиданно заговорил по-русски: — Через речку!.. Через Одер! Раз, два, три — готово!

Да, это был старый знакомый старшины Воронина — Фриц Армут, бывший штаб-фельдфебель германской армии, на днях вернувшийся из русского плена. Воронин и другие разведчики утащили его в качестве «языка» из немецкого передового охранения в апреле этого года. Черт возьми! Это все казалось событиями незапамятной древности. Армут побежал впереди Воронина, открывая перед ним двери, и был страшно рад, как будто встретил родного брата. Он познакомил его с женой и детьми и все время говорил то по-немецки — для своих, то по-русски — для Воронина.

После того как Воронин вытащил его за шиворот из войны, Армут оказался в советском лагере для военнопленных на Украине. Там пленных использовали на лесозаготовках. Относились к ним хорошо, жили они терпимо. А потом он заболел, и его вместе с другими больными и слабыми здоровьем погрузили в эшелоны и отправили в Германию. Рассказав об этом Воронину, Армут повернулся к жене и стал рассказывать — уже по-немецки — о том, как ловко этот «фельдфебель» с несколькими разведчиками утащили его из-под носа у всей германской армии как раз в тот момент, когда к ним в дивизию приехал рейхсминистр фон Риббентроп. Армут все это рассказал, перемежая слова непонятным для немцев выражением, которому он научился в России:

— Эх, ёльки-пальки!

Эти слова и немецкое произношение их неизменно вызывали на лице Воронина улыбку.

— Эх, ёльки-пальки, карашо!

Армут стал торопливо накрывать на стол.

— Закуска нет,— сказал он.— Водка нет. Немножко спирт есть, ёльки-пальки!

Но Воронин отказался — шофер нужен был срочно, и они отправились в комендатуру.

— Привел старого знакомого, можно сказать — дружка,— сказал Воронин, распахивая дверь комендантского кабинета.

Лубенцов взглянул на Армута и тоже сразу вспомнил этот искусный и отважный поиск через Одер, за который его, Лубенцова, наградили орденом Александра Невского.

Когда Армут ушел, чтобы заняться машиной, Воронин сообщил Лубенцову о многозначительных словах «одного старого немца» насчет того, что помещики запугивают крестьян.

— Бабьи сплетни! — рассердился Лубенцов.— Как они могут запугивать? Чем?.. А если бы это и было, я бы уж давно об этом знал. Что-то слишком ты с немцами связался, Дмитрий Егорыч! И каким образом, скажи пожалуйста, он мог бы тебе это рассказать, раз ты по-немецки еле понимаешь?

— Этот немец,— сказал Воронин, чуть покраснев,— говорит по-русски. Это Кранц.

— Опять Кранц! Сколько раз просил я вас, товарищ старшина, не якшаться с этим прихвостнем баронета Фрезера! Идите.

Уже спустя два дня Лубенцов горько пожалел об этом «раз-

носе». Сведения Кранца подтвердились. В селение Финкендорф однажды ночью прибыл какой-то человек с запада, который привез письмо крестьянам от помещика, графа фон Борна, сбежавшего ранее в связи с приходом советских войск. Фон Борн был одним из богатейших помещиков в провинции. Во времена Гитлера он, хотя и не занимал официальных должностей, тем не менее был связан и по-родственному и знакомством с крупными деятелями нацистской партии. Сын его служил начальником штаба одной из эсэсовских танковых дивизий. Вообще фон Борнов было много в «вермахте».

Помещик в своем письме угрожал, что каждый, кто посмеет воспользоваться его землей и имуществом, будет объявлен вне закона. Он сообщал своим крестьянам, что русские через полтора года, в соответствии с тайными решениями «большой тройки», оставят эти края, и тогда он на законном основании взыщет с крестьян, и они, люди, посягнувшие на чужую собственность, будут рассматриваться как воры и грабители и будут судимы как таковые.

Это письмо произвело на крестьян большое впечатление.

Хотя община Финкендорф была одним из застрельщиков земельной реформы — еще десять дней назад общее собрание крестьян вынесло решение по этому вопросу,— теперь даже самые активные члены общины и общинного управления перестали упоминать о предполагавшейся реформе, словно никаких разговоров о ней и не было. Слова «земля», «реформа» стали запрещенными словами.

Узнав об этом, Лубенцов вечером выехал в Финкендорф. Остановив машину возле пивной, он увидел через неярко освещенные окна, что народа там полно. Он вошел вместе с Ксенией. Люди сидели вокруг столиков, играли в домино и в карты и потягивали пиво из кружек. Лубенцов сразу заметил среди них в углу бургомистра Ланггейнриха. Бургомистр встретил коменданта не без замешательства. Возле него сразу очистили два места, и Лубенцов с переводчицей сели у столика. Ланггейнрих заказал две кружки пива. Разговор в трактире моментально умолк, только слышны были удары костяшек по столу.

— Как дела? — спросил Лубенцов.— Что-то с заготовками у вас дело идет слабо. А я всегда надеюсь на вас, Ланггейнрих, больше, чем на многих других бургомистров. Все-таки вы член компартии, старый антифашист.

— Все будет сделано, господин подполковник,— сказал

Ланггейнрих и добавил, чуть усмехаясь:— Вы всегда спешите, господин подполковник. А крестьяне — народ медлительный.

— Это верно,— усмехнулся и Лубенцов.

— Останетесь ночевать у нас или поедете дальше? — поинтересовался Ланггейнрих.

— Пожалуй, у вас останусь. Устроите на ночлег?

— Устроим.

Ланггейнрих встал с места, бросил хозяину на ходу: «Запишешь на меня»,— и вместе с Лубенцовым и Ксенией вышел на улицу. Здесь возле машины, вокруг Фрица Армута, стояли человек шесть крестьян. Он им что-то громко и оживленно рассказывал. При виде Лубенцова он замолчал. Все расступились.

— Мы пойдем пешком,— сказал Лубенцов Ксении.— Пусть он едет к дому бургомистра. Так вот,— обратился Лубенцов к Ланггейнриху, медленно шедшему рядом с ним.— Что это вы за письмецо получили? И известие об этом письме доходит до меня не через вас, Ланггейнрих, а совсем другими путями. Нехорошо получается. Неприлично. Просто из рук вон. Бургомистр по крайней мере обязан информировать коменданта о разных происшествиях.

Ланггейнрих почесал затылок.

— Трусливый у нас народ, вот что я вам скажу, господин комендант. Никудышный народ. Тени своей боится.

— А бургомистр на что? Да еще коммунист? Почему вы не разъясняете крестьянам положение? И ладно, так хоть информировали бы вовремя.— Лубенцов досадливо махнул рукой.

— Видите ли,— начал было оправдываться Ланггейнрих, но Лубенцов не захотел его слушать.

— У вас телефон есть дома? — спросил он.— Нет? Зайдем тогда к вам в контору.

Они зашли в неосвещенное здание маленькой ратуши. Ксения соединила Лубенцова с Лаутербургом. У телефона оказался Чохов, который дежурил по комендатуре. Лубенцов спросил:

— Нового ничего нет? Машину Себастьяна нашли?

— Ищут, товарищ подполковник,— ответил Чохов.— В вверенной вам комендатуре и районе происшествий особых нет.

Лубенцов улыбнулся и положил трубку.

Они вышли из ратуши и подошли к большому помещичьему дому.

— Может быть, здесь переночуете? — спросил Ланггейнрих.— Комнаты большие, хорошие.

— А что, разве дом пустует? — встрепенулся Лубенцов.— Это как так? Ну, знаете, Ланггейнрих, вы начинаете сердить меня. Ведь договорились же еще на прошлой неделе, что сюда вселят переселенцев... Не хочу я слушать никаких оправданий! Почему они не вселились?

Ланггейнрих молчал.

— А вы еще говорите, что народ у вас трусливый. Каков пастырь — таков и приход. Боитесь Рихарда фон Борна, Ланггейнрих? Всех вы боитесь. Гитлера вы боялись. Теперь боитесь фон Борна. Только меня вы не боитесь. А зря!

— Перевести ему это? — спросила Ксения.

— Да, да, переведите, и как можно точнее. И не давайте мне советов, что говорить и чего не говорить, товарищ Спиридонова.

— Я не боюсь,— твердо сказал Ланггейнрих.— Не боюсь. Но я знаю настроения крестьян и...

— И плететесь в хвосте у этих отсталых настроений!

Они подошли к дому Ланггейнриха. Все были мрачны и недовольны друг другом и сразу же улеглись спать.

Лубенцову долго не спалось на узкой и жесткой постели. «Привык к роскошной жизни,— думал он.— Простая деревенская кровать уже не по мне». Он думал о том, что в дальнейшем будет ночевать при своих разъездах только у рабочих и крестьян и чем беднее ночлег — тем лучше. Оккупанты потому плохо изучают страну, что, имея власть, они располагают возможностью останавливаться и жить, ночевать и есть у богатых. Поэтому они рискуют получить извращенное представление о действительной жизни в стране. Им кажется, что вся страна только и состоит что из богатых домов и мягких постелей и что тут питаются только свининой да запивают ее вином. Для советских оккупантов такое дело не годится. «Спи, спи,— говорил он себе, ворочаясь с боку на бок.— Живи так, как живут бедняки, тогда ты поймешь, что им нужно, о чем они думают и чего хотят».

«Да,— подумал он вдруг,— но вот живут же в этой деревне бедняки, которые сами не знают, чего хотят. Или, пожалуй, они знают, но они боятся хотеть. Прошлое хватает их за ноги и держит, не дает идти вперед».

Ланггейнрих тоже не спал. Лубенцов долго слышал по со-

седству медленные шаги, вздохи; то и дело раздавался треск зажигалки и доносился тяжелый запах табачного дыма. Лубенцов прекрасно понимал сложное положение, в каком находился бургомистр, испытывавший нажим со стороны Лубенцова и в то же время сильное влияние маленького деревенского общественного мнения, которое было совсем не шуточным делом.

Уснув наконец, Лубенцов вскоре проснулся и посмотрел на часы. Пять часов утра — самое время вставать для крестьянина. Он быстро оделся. Дверь в комнату открылась, вошел Ланггейнрих, тоже одетый. В руках он нес таз с водой для умывания. Лубенцов молча умылся, потом пошел вслед за бургомистром в соседнюю комнату. Марта Ланггейнрих, жена бургомистра, бесшумно накрывала на стол. Посуда тихо звенела. Пахло хлебной квашней. Вскоре в комнату вошла Ксения. Утренние сумерки располагали к молчанию. Не хотелось говорить, думать, спорить, хотя говорить было о чем и спорить тоже.

— Что же будет? — пересилив себя, спросил наконец Лубенцов.— Что вы сегодня намерены делать?

Ланггейнрих сказал:

— Сегодня я переселю в помещичий дом беженцев. Пусть меня убьют, если я этого не сделаю.

Он говорил угрюмо, но решительно. Лицо Лубенцова просветлело.

— Это будет единственно достойным ответом господину фон Борну,— сказал он.— И достаточно красноречивым. Сегодня вечером, когда крестьяне придут с полевых работ, созовите собрание. С ними надо говорить в открытую, не играть в прятки. Прислать вам докладчика, или вы справитесь?

— Справимся,— буркнул Ланггейнрих.

Марта пристально глядела в лицо мужа. При его последних словах она покачала головой.

— Пусть лучше приедет кто-нибудь чужой,— сказала она.

— Подумайте,— прищурил глаза Лубенцов.— Может, и в самом деле?..

— Справимся,— снова сказал Ланггейнрих.

Они встали из-за стола и направились к выходу. Марта провожала их за дверь. Ланггейнрих, не оглядываясь на нее, пошел вместе с Ксенией вперед, а Лубенцов отстал и, пожав Марте руку, сказал ей на прощанье по-немецки:

— Хабен зя кайне ангст (не бойтесь).

Она улыбнулась ему виноватой улыбкой.

Село оживало. По улице потянулись крестьяне и крестьянки. Догнав Ланггейнриха и Ксению, Лубенцов пошел с ними рядом. Машина уже стояла возле общинного управления. Армут был на ногах. Понемногу светлело. Небо на востоке горело алым пламенем.

IV

Они поехали дальше. Ксения молчала. Она вообще, в отличие от Альбины, старалась быть как можно незаметнее. Переводила она не так лихо, как Альбина,— не угадывала наперед того, что Лубенцов собирается сказать, и иногда не могла подобрать сразу нужного слова,— но она была точна и старательна. Она никак не проявляла своего отношения ни к словам, ни к действиям Лубенцова. Когда же Лубенцов время от времени спрашивал ее мнения о том или ином деле и даже о том, верно ли, по ее мнению, он сделал то-то и то-то, она без всяких колебаний уклонялась от ответа и говорила:

— Я в этом не разбираюсь.

Или:

— Вам виднее.

Если вначале такие ответы вызывали в Лубенцове легкую досаду, то потом он привык к сдержанности и молчаливости новой переводчицы. Он даже чувствовал перед ней некоторую робость — во всяком случае, его не покидало ощущение, что она судит все его поступки, на только ей ведомых весах взвешивает все за и против; в ее больших, несколько мрачных серых глазах всегда было нечто оценивающее.

Лубенцов спросил:

— Как вы думаете, проведет Ланггейнрих это дело? Не испугается напоследок?

— Вам виднее,— сказала Ксения.— Вы его дольше знаете. Я его вижу в первый раз.

Что ж, она была права. Лубенцов не мог ничего возразить.

— Вы, как всегда, правы,— рассмеялся Лубенцов и больше не затевал разговора.

Из соседнего большого села, где он решил остановиться, он велел Ксении позвонить в Финкендорф и спросить у Ланггейнриха, начал ли он переселять беженцев.

Ланггейнрих ответил, что переселение начнется через час и что беженцы предупреждены. Правда, не все хотят переселяться.

— И их запугали?! — рассердился Лубенцов и сказал: — Передайте ему, что на обратном пути я заеду и проверю.

Ланггейнрих в ответ промолчал, потом сказал, что звонили из комендатуры, разыскивали господина коменданта.

Ксения соединилась с комендатурой. Касаткин, услышав ее голос, закричал:

— Где товарищ подполковник? Передайте ему, чтобы он срочно приехал в Лаутербург. Дело очень важное, не терпит отлагательств.

— Что там у них произошло? — удивился Лубенцов, но так как по телефону не полагалось спрашивать о таких делах, он велел передать, что через час выедет.

Село, из которого они говорили по телефону, было тем самым селом, в котором Лубенцов с Ворониным останавливались на ночлег по дороге в Лаутербург. Здесь жила помещица Лизелотта фон Мельхиор.

Он усмехнулся, вспомнив, о чем она говорила тогда за столом, думая, что он ее не понимает. Она боялась, чтобы незваные гости — комендант и сопровождавшие его солдаты — чего-то не взяли в помещичьем доме. Теперь у нее отберут весь этот дом и всю эту землю, а у нее было гектаров шестьсот земли. И если тогда, когда она говорила свои оскорбительные слова, они ни в какой степени не задели Лубенцова, то теперь он вспомнил о них с внезапным презрением. Она подозревала его в корыстолюбии и думала, что он может взять у нее какие-то никчемные вещи. Но нет, он не корыстолюбив. Он все у нее заберет, но не для себя, ему ничего не нужно.

У круглого тенистого пруда, расположенного посреди села, Лубенцов остановил машину и, выйдя из нее, сразу увидел того большого рыжего беженца, которого встречал на этом самом месте,— он тогда избивал свою маленькую дочь. Беженец тоже узнал Лубенцова и опустил голову. Лубенцов пошел к нему навстречу и, поздоровавшись, спросил, как его зовут. Немец ответил, что его зовут Ганс Кваппенберг.

— Как поживает ваша дочь? — спросил Лубенцов с непроницаемым лицом.

— Хорошо,— ответил Кваппенберг, смутившись.

— Жилье вам тут дали?

Кваппенберг развел большими грубыми руками.

— Живем в сарае,— сказал он.

— Батрачите?

— Да.

— Значит, живете в сарае? А зимой что будет?

Кваппенберг пытливо взглянул на коменданта и нерешительно сказал:

— Говорят... земельная реформа будет.

— Говорят,— весело согласился Лубенцов.

К ним направлялась группа людей. Лубенцов узнал местного бургомистра и нескольких других знакомых крестьян и батраков. Лубенцов поздоровался с ними, улыбнувшись молодому, милому парню Гельмуту Рейнике. Он был батраком, активистом и на днях вступил в коммунистическую партию. Русый, румяный, немного стеснительный, полный юношеского обаяния, он всегда вызывал в Лубенцове чувство дружеской симпатии.

— Обеспечим вас жильем, обязательно обеспечим,— продолжал Лубенцов, обращаясь к Кваппенбергу.— Можете так и передать вашей жене и дочке. Я ведь с ними знаком.

— Да,— сказал Кваппенберг.

Лубенцов повернулся к бургомистру, спросил, как идут дела с уборкой и заготовками.

Бургомистр — его звали Веллер, он совсем не был похож на крестьянина,— худой, с острым лицом, в очках, стал докладывать. Рейнике время от времени вставлял фразу-другую. Они медленно шли вдоль пруда. Лубенцов на ходу записывал в блокнот кое-что из того, что говорил Веллер, твердя при этом:

— Так, так. Да, да.

Подняв голову от блокнота, он заметил, что крестьяне все смотрят куда-то влево. Он тоже посмотрел туда. По улице шла помещица. Ее стройная, изящная фигурка двигалась быстро, ветер развевал длинную шаль, накинутую на ее плечи.

Чем ближе она подходила, тем заметнее становилось выражение горя на ее лице. Так бегут топиться.

— Мне надо с вами говорить,— сказала она.

— Пожалуйста,— ответил Лубенцов.

— Без свидетелей.

Крестьяне отошли в сторону.

Лизелотта фон Мельхиор бросила быстрый враждебный взгляд на Ксению.

— Мы можем поговорить без переводчика,— сказала она резко.

— Мы можем поговорить без переводчика,— перевела слово в слово Ксения, не моргнув глазом и без всякого выражения.

— Я прекрасно знаю,— продолжала помещица,— что вы владеете немецким языком, и все это знают. Я очень просила бы вас уделить мне несколько минут без всяких свидетелей.

— Скажите ей,— сказал Лубенцов,— что у нее ошибочные сведения. Я действительно многое понимаю, но говорить не могу. Если она хочет услышать мой ответ, она должна примириться с присутствием переводчицы.

Когда Ксения перевела ей это, помещица, помолчав, сказала:

— Пусть будет так. Переводите. Мне известно, что Советская Военная Администрация собирается провести так называемую земельную реформу. Не пытайтесь меня переубеждать — я это знаю точно. Но вам известно, что мой покойный муж полковник фон Мельхиор был расстрелян как антифашист?

— Да. Он был участником военного заговора против Гитлера. Это мне известно.

— Я прошу вас поставить в известность ваших начальников об этом.

— Хорошо.

— Я прошу вас отдать себе отчет в том, что покушение на собственность врага гитлеровского режима не может прибавить Советской Администрации популярности в стране.

— Неужели вы не понимаете, госпожа фон Мельхиор, что не Администрация инициатор земельной реформы, а сами крестьяне, безземельные и бедные крестьяне, которые тоскуют о земле.

— Крестьяне всегда не прочь попользоваться чужим добром. Но вы, представители оккупационной власти, вы не можете потворствовать этим наклонностям, которые приведут к беспорядку и анархии в стране.

— Напротив, мы поддерживаем это законное желание крестьян, потому что оно соответствует соглашениям Потсдамской конференции о демократизации Германии. Передача земли кре-

стьянам — это и есть демократизация, во всяком случае, это очень важная часть демократизации.

— Вы напрасно ссылаетесь на Потсдамскую конференцию. Ведь ваши союзники не проводят никаких реформ в своих зонах. Мне известно — я на днях получила письмо от своей сестры из Баварии,— что там ничего подобного не происходит... Не знаю, может быть, и там крестьяне хотели бы овладеть чужим имуществом, но им не разрешают.

— На этот счет ничего не могу вам сказать. Лично я надеюсь, что и там будет проведена реформа.

Они подошли к машине, и помещица, внезапно обессилев, оперлась о крыло автомобиля. Она смотрела куда-то вдаль, в пространство между Лубенцовым и Ксенией. Потом из ее глаз внезапно пролилось несколько слез, и она сказала:

— Не выдержала все-таки. Самое отвратительное в женщине — ее слабость.

Лубенцов мысленно не согласился с ней — в этот момент она была очень хороша.

— Вас лично я не виню,— сказала она.— Вы исполнитель велений слепой силы, частица большой машины. Я глубоко убеждена, что вы не можете хотеть зла людям, даже если они помещики.

Лицо Лубенцова стало серьезным до угрюмости.

— Что я? — сказал он.— Я, как вы справедливо заметили, действительно маленькая частица... Но тем не менее я все-таки мыслящая частица. Если вы хотите знать мое мнение, то я вам могу сказать, что я желаю счастья всем людям, даже если они батраки.

Она сказала: «Прощайте»,— и медленно пошла обратно. Лубенцов и Ксения сели в машину и поехали в город. После некоторого молчания Лубенцов сказал:

— Вы не смогли перевести слово «тоска».

— Я никогда не слышала его по-немецки.

— «Тоска» — по-немецки «зензухт».

— Я не знала этого слова.

— Надо читать книги. Вы читаете немецкие книги?

— Нет.

— Надо читать. В немецких стихах целая куча этих «зензухтов». Не думайте, что я вами недоволен. В общем вы переводите неплохо. Но вам не хватает слов. Надо читать.

— Хорошо.

V

Лубенцов застал всех офицеров у Касаткина.

— Что тут стряслось? — спросил Лубенцов, усаживаясь на стул как был, в плаще и фуражке.

Касаткин, волнуясь, сообщил, что вчера вечером из Берлина прибыли доктор Шнейдер и доктор Шернер — члены центрального правления христианско-демократического союза советской зоны. Они провели митинг, на котором присутствовало свыше семисот человек, и там открыто высказались против предполагавшейся земельной реформы, говоря, что она приведет к развалу сельского хозяйства. Коммунисты и социал-демократы, видимо, были захвачены врасплох, во всяком случае, никто не выступил с отповедью берлинским политикам. Весь город в волнении. Кое-кто вслух агитирует против земельной реформы. Особенно отличается Грельман. Хотя сам он на митинге не выступал и ведет себя с достаточной осторожностью, но ясно, что он один из самых ярых противников реформы.

— Попадет нам от генерала Куприянова,— сказал Лубенцов.— Вы ему докладывали?

— Да.

— Что он сказал?

— Назвал меня шляпой.— Лицо Касаткина потемнело.— Далее он сказал, что, если бы вы были здесь, этого не случилось бы.

Лубенцов посмотрел на своего заместителя взглядом, полным сочувствия.

— Генерал ошибается,— сказал он.— Это просто мне повезло, что я тут не был. Что бы я сделал? Приехали вожди одной из демократических партий и желают выступить на митинге. Какие могут быть возражения? Нет, нет, Иван Афанасьевич, я вас не виню. Вот вы, товарищ Яворский, виноваты гораздо больше.

— Да, я виноват,— сказал Яворский.— Мое упущение. Я даже не знал об их приезде.

— Нехорошо. Вы должны быть в курсе всех событий.

— Сегодня они имели нахальство просить разрешение на проведение второго митинга, на электромоторном заводе на сей раз.

— И вы?

— Запретили, конечно,— ответил за Яворского Касаткин.

Лубенцов сказал:

— Ну, знаете, это легче всего. Яворский, поговорите с товарищами из КПГ и СПД. У них на заводе сильные ячейки. Неужели рабочие, коммунисты и социал-демократы, спасуют перед этими двумя «докторами»?

Он соединился с Куприяновым и изложил генералу свои соображения, с которыми генерал после некоторого раздумья согласился.

Немного позже в комендатуру пожаловали Шнейдер с Шернером. Оба они были старые люди. Шнейдер до фашистского переворота был прусским министром и членом рейхстага. Свою большую лысую голову он держал высоко, вел себя почти величественно. Шернер оказался, наоборот, маленьким, юрким старичком, хитрецом и остроумцем. У него был огромный нос странной формы, без переносицы, так что казалось, что он начинается сразу же от пробора и сходит на нет у самого подбородка. Это было не лицо, а сплошной нос, который морщился, расходился складками, усмехался, улыбался, говорил быстро, сопел громко и глядел презрительно на окружавшие его мелкие носы.

Оба доктора пришли поблагодарить коменданта за разрешение устроить второй митинг. Шнейдер торжественно заявил, что они совершают турне по всей советской зоне и имеют на то разрешение СВАГ. Они очень хотели допытаться, связывался ли комендант с Берлином насчет разрешения на второй митинг, или сам, по своей инициативе, отменил приказ своего заместителя.

Лубенцов был очень любезен и вскоре усыпил подозрительность берлинцев своим хорошо наигранным равнодушием к содержанию их вчерашних выступлений, так же как и к содержанию предстоящих. Он не отказал себе в удовольствии заявить своим собеседникам, что очень хотел бы их послушать, но, к сожалению, не сумеет быть, так как занят другими делами. Он даже притворился, что вежливо скрывает ладонью зевок. Одним словом, вся атмосфера в комендатуре казалась настолько спокойной, что это поразило вождей ХДС, которые думали, что здесь после их вчерашних выступлений царит немалый переполох.

Лубенцов проводил их не только до двери, но даже на крыльцо. Они сели в машину, где их ожидал Грельман. Машина была открытая — большой «мерседес». Лысая голова

Шнейдера блестела на солнце. Он стоял в машине рядом с шофером, держась одной рукой за ветровое стекло, а другой махая Лубенцову. Лубенцов вспомнил, что в такой позе ездил по немецким городам Гитлер.

Отъехав, Шнейдер надел шляпу и сел. То же самое на заднем сиденье сделал Шернер.

Лубенцов рассмеялся и пошел обратно к себе. Его хорошее настроение еще больше улучшилось, когда Яворский сообщил ему, что профессор Себастьян вчера вечером дал согласие занять пост ландрата, то есть главы немецкого районного самоуправления.

В связи с этим известием Лубенцов вспомнил о пропавшей машине профессора и вызвал к себе Воробейцева.

Воробейцев вошел и остановился возле двери. Там он стоял во время всего разговора. Лубенцов не обратил на это внимания. А дело было в том, что Воробейцев боялся подойти ближе, так как утром выпил и запах мог выдать его.

— Как дела с автомобилем Себастьяна? — спросил Лубенцов.— Это очень важное дело. Я поручил вам его, потому что считаю вас человеком расторопным. А вы до сих пор ничего не сделали.

— Принимаю все меры,— отрапортовал Воробейцев.— Я лично побывал во всех воинских частях, расположенных поблизости от города. Командиры частей занимаются этим делом.

— А вы с немецкой полицией связались? Напрасно. Свяжитесь с начальником полиции Иостом. Это дельный парень, хотя и социал-демократ. Вполне возможно, что машина стоит где-нибудь во дворе или у какого-нибудь немца в гараже. Полиции ее легче разыскать, чем вам.

— Есть! Сейчас свяжусь.

Воробейцев вышел из кабинета с чувством внезапно возникшей в нем досады на Лубенцова. Досада возникла потому, что Лубенцов был прав: Воробейцеву действительно следовало прежде всего связаться с полицией, а он этого не сделал. Помимо того, Воробейцев ревновал к Лубенцову Чохова. И, наконец, досада его накапливалась в нем по той причине, что не имела выхода: ему трудно было найти в Лубенцове слабое место, над которым можно было бы посмеяться — хотя бы внутренне — или позубоскалить с кем-нибудь. Этот Лубенцов был весь в своей работе, только ею он жил. И все-таки он оставался чертовски самим собой!

Покинув кабинет Лубенцова, Воробейцев отправился в полицию к Иосту и передал ему приказание коменданта принять все меры к розыску машины нового ландрата.

Назначение Иоста на пост начальника полиции произошло не без трудностей, так как Лерхе категорически возражал против кандидатуры социал-демократа. Свою старую справедливую ненависть к соглашателям — таким, как Шейдеман, Носке, Мюллер, Вельс,— Лерхе переносил на всех социал-демократов вообще. Назначение социал-демократа на любой пост неизменно наталкивалось на его решительное и бурное противодействие.

Взаимное недоверие двух рабочих партий в Лаутербурге часто вызывало путаницу, ненужные трения и разнобой, и требовались большая осторожность, терпение и такт, чтобы сглаживать конфликты, унимать ершистого Лерхе. «Лучше враг, чем предатель»,— говаривал Лерхе в ответ на мягкие упреки Лубенцова и Яворского или на протесты своих же товарищей-коммунистов, в особенности Форлендера.

Он был прямолинеен, этот Лерхе, глубоко честен и неутомим. Его видели повсюду. Всюду он хотел быть сам, никому не доверял. Не было дня, чтобы он не выступил на двух-трех собраниях. Говорил он вдохновенно, но все примеры брал из стародавних времен, до 1933 года, и об этих временах говорил увлеченно, со страстью почти пророческой. Вернее, ее можно было бы назвать пророческой, если бы речь шла о будущем, а не о прошлом. И хотя все эти воспоминания были полезны для молодых немцев, которым та пора казалась древностью, но беда заключалась в том, что сам Лерхе жил только прошлыми интересами.

Лерхе считал ошибкой Советской Военной Администрации то, что социал-демократическая партия была разрешена в советской зоне. Он с горечью воспринимал объективный подход лаутербургского коменданта к обеим партиям и тяжело переживал каждое новое назначение социал-демократа на любую должность.

VI

Разыскать машину даже в небольшом городе — почти то же самое, что иголку в стоге сена. Прежде всего нет уверенности, что машина находится здесь. Но если бы она и была тут,

то при обилии развалин, задних дворов, гаражей, сараев, старинных закоулков найти ее — нелегкое дело.

Однако категорический приказ коменданта надо было выполнить. Иост отдал распоряжение всем полицейским провести тщательное прочесывание дворов, а сам вместе с Воробейцевым тоже отправился на поиски. Они ездили из одного двора в другой, открывали ворота и двери разных построек, а если двери были заперты — вызывали из квартир владельцев. Перед глазами Воробейцева за день прошла сотня дворов. Он видел сотни автомобилей. Многие из них стояли в гаражах без резины, на деревянных брусках или бревнах — «опели» и «мерседесы», «БМВ», «вандереры» и «майбахи».

Воробейцев был убежден в том, что машину профессора Себастьяна ему не найти, но тем не менее продолжал поиски: ему нравилось входить в чужие дворы и чуть ли не вламываться в чужие квартиры, перебрасываться словечками с молодыми немками, покровительственно похлопывать по спине пожилых немцев. Кроме того, он так знакомился с возможностями приобретения автомашин. В надлежащий момент всучить начальству классный автомобиль, рассуждал Воробейцев, это значит заслужить благодарность и доброе отношение, что может оказаться не лишним в какой-нибудь момент.

В одном из дворов на Мольткештрассе из большого обветшалого дома к ним вышла девушка с ключами от гаражей. Это была высокая разбитная немка с пышными рыжими волосами, полная не по летам. Ее толстые белые обнаженные руки произвели на Воробейцева большое впечатление. Пока Иост обследовал гараж, Воробейцев поговорил с этой девицей — ее звали Ингеборг, а сокращенно Инга. Воробейцев уже сносно говорил по-немецки — во всяком случае, располагал словарем из каких-нибудь ста пятидесяти слов, при помощи которых можно было вполне объясняться, учитывая, что разговоры его были весьма далеки от философских или научных тем.

Они вошли в гараж вслед за Иостом, и среди десятка машин нашли «мерседес-бенц» профессора Себастьяна.

Иост зажег карманный фонарь, радостно забегал вокруг машины, еще и еще раз проверяя номера, и, наконец, спросил у Инги, как эта машина попала сюда. Она ответила, что «мерседес» пригнали два русских солдата; они приказали ей хранить машину, никому ее не отдавать, ибо этот автомобиль — собственность ГПУ.

Слово «ГПУ», как ни странно, было знакомо всем немцам, хотя в Советском Союзе это слово можно найти только в учебнике истории. Но в Германии и других западных странах фашистская и иная пропаганда много потрудилась над тем, чтобы застращать людей этим таинственным и непонятным словом.

— Чепуха! — расхохотался Воробейцев.

Однако, когда Иост завел машину и выехал из гаража во двор, Инга запротестовала почти со слезами на глазах, говоря, что она боится тех двоих, их мести за то, что она не уберегла машину.

— Дурочка ты,— сказал Воробейцев, смеясь и поглаживая полную руку Инги.— Нет никакого на свете ГПУ. А этих двух мы задержим. Как отведем машину, я приеду сюда и буду их дожидаться. Мы их тут захватим. Ты как живешь, отдельно или с родственниками? С родственниками? Гм... Ты этих двух тут задержи, если они придут раньше меня.

С этими словами Воробейцев сел за руль и поехал со двора. Иост сел в свою машину. Он хотел отправиться вместе с Воробейцевым к Себастьяну, чтобы вручить ему машину, но Воробейцев подумал, что лучше будет, если он сам это сделает, так как в этом случае Лубенцов будет думать, что ее разыскал он, Воробейцев. Поэтому он велел Иосту ехать по своим делам.

Перед домом профессора Себастьяна он несколько раз погудел — так громогласно, что из всех окон старых домов, расположенных поблизости, высунулись любопытные лица. Старушка с белой наколкой на голове подошла к воротам, пристально посмотрела сквозь решетку, радостно всплеснула руками и распахнула ворота. Воробейцев въехал по асфальтовой дорожке мимо дома к маленькому кирпичному гаражу. Здесь он остановил машину, вышел из нее и крикнул:

— Эй, кто там! Принимайте свой автомобиль!

К нему вышла девушка — такая миловидная и стройная, с такими тонкими, но прекрасной формы обнаженными смуглыми руками, что Воробейцев забыл об Инге и ее толстых белых руках. Он весьма почтительно расшаркался перед дочерью профессора Себастьяна. Она спросила:

— Машина прислана господином Лубенцовым?

Воробейцев криво усмехнулся и ответил:

— Почему господином Лубенцовым? Я лично ее обнаружил.

— Спасибо,— сказала она, глядя на машину и открывая то одну, то другую дверку. Она это делала с хозяйски деловитым

видом, и выражения ее благодарности были настолько сдержанны, что Воробейцев даже обиделся. Он рассчитывал на то, что возвращение украденной машины вызовет целый взрыв чувств. Он перешел на деловой тон и спросил, в порядке ли машина, не нанесен ли ей какой-нибудь ущерб.

— Все в порядке,— сказала девушка. Так как он не уходил и, покуривая сигарету, оглядывал садик, она пригласила его зайти. Они поднялись по лестнице. В маленькой гостиной она предложила ему сесть. Он присел и начал раздумывать о том, с какой стороны повести разговор. Он сказал ей несколько любезностей, которые она приняла весьма спокойно. Ее не то голубые, не то серые глаза глядели на него холодно.

— К сожалению, не могу вас ничем угостить,— сказала она.— Вы, вероятно, знаете, что мы трудно живем.

Он сказал:

— Это странно. У вас живет комендант. Он может, если захочет... Я только его помощник, но мой квартирный хозяин на меня не жалуется.

Он не мог достаточно точно выразить свои мысли по-немецки, и она слегка улыбнулась, когда он стал говорить одними только существительными без склонений и без союзов; глаголы он произносил только в неопределенном наклонении. На ее улыбку он ответил смехом.

— Вы коммунист? — вдруг спросила она.

— Нет,— сказал он, удивленный ее внезапным вопросом.

Она посмотрела на него с легким сомнением в глазах.

— Правда, правда,— заверил он ее.— Советский Союз все равно коммунист — не коммунист. Советский Союз все иметь равные права,— так звучали бы произнесенные им слова, если перевести их точно на русский язык.

Она спросила, верно ли, что учиться в высших школах в Советском Союзе разрешают только коммунистам. Он сначала не понял ее, а когда понял — громко расхохотался и сказал по-русски:

— Чепуха! — И по-немецки:— Дум (глупо).

Его смех и ужимки были достаточно искренни, чтобы убедить Эрику Себастьян в его правдивости.

Тут в гостиной появился сам профессор. Он сердечно поблагодарил Воробейцева. Воробейцев, получив приглашение приходить к Себастьянам, откланялся и пошел в комендатуру.

Над городом сгустились сумерки. Осветились окна домов.

Только в комендатуре почему-то было темно во всех окнах, и Воробейцев удивился этому. Он прошел мимо часового и поднялся наверх. В приемной на диване сидел Лубенцов — одетый, в плаще и фуражке, так, словно он еще не раздевался с момента своего приезда в город. Остальные офицеры тоже были здесь — один сидел, другой расхаживал по комнате, третий стоял, облокотившись на спинку стула.

Воробейцев отрапортовал Лубенцову насчет машины. Лубенцов сказал:

— Хорошо. Садитесь.

Воробейцев сел, не понимая, почему тут царит такая напряженная атмосфера. Света не зажигали. Яворский ходил из угла в угол. Потом из фраз, которыми время от времени перебрасывался Лубенцов с Касаткиным и Яворским, Воробейцев понял, что все очень взволнованы, так как только что начался митинг на заводе. Этот митинг должен был показать зрелость двух социалистических рабочих партий, их способность противопоставить демагогии буржуазных политиков свою, демократическую, линию, от которой зависело будущее Германии.

Воробейцев подсел к Чохову, сидевшему у окна. Чохов, как до некоторой степени и Воробейцев, не понимал, почему так волнуется Лубенцов. В конце концов будет так, как скажет советская комендатура. Комендатура за земельную реформу — значит, будет земельная реформа. Решает реальная сила, а не митинги и не ораторские уловки. Поэтому он с некоторым удивлением следил за Лубенцовым, который обычно курил мало, а теперь — сигарету за сигаретой, и с не меньшим удивлением усмехался, когда звонил генерал Куприянов,— а он звонил уже раза три,— видимо, взволнованный не менее Лубенцова и все спрашивавший, как проходит митинг.

Воробейцев, пожав плечами, сказал:

— Товарищ подполковник! По-моему, надо туда съездить кому-нибудь из нас, побывать там. Это будет полезно. Пусть они увидят, что за ними надзор.

Лубенцов повернул к Воробейцеву лицо и негромко сказал:

— Мы уже обсуждали этот вопрос и решили, что лучше будет, если мы туда не поедем.

— А я по-прежнему думаю,— вмешался Меньшов из дальнего угла комнаты, где он стоял, заложив руки за спину и прислонившись к стене,— что тут деликатничать нечего. Вопрос серьезный...

— Серьезный, серьезный! — сказал Касаткин, остановившись посреди комнаты.— Потому мы так и решили, что серьезный. Сергей Платонович уже излагал нашу точку зрения. Немцы сами заинтересованы в реформе, и сами пусть защищают ее от нападок. В конце концов это чисто немецкое дело. Легче всего отдавать приказы. Они и будут потом ссылаться: нам-де было приказано... наша хата с краю...

Раздался звонок телефона. Яворский схватил трубку.

— Хорошо,— воскликнул он по-немецки.— Понятно. Хорошо.

Положив трубку, он сказал:

— Шнейдер кончил свою речь. Полное молчание. Ни одного аплодисмента.

Лубенцов ничего на это не сказал, только закурил очередную сигарету.

— Они им дадут жару,— сказал Чегодаев и засмеялся.— Рабочие — они все-таки рабочие, даже немецкие. Нет, определенно, я думаю, что все там будет хорошо. Я знаю этот завод! Там есть ребята просто замечательные.

— Возможно, конечно,— возразил Меньшов, усаживаясь на краешек стола.— Но, как говорится, на бога надейся, а сам не плошай.

— А мы разве плошаем? — спросил Яворский, протирая очки.— Разве мы не делаем все, что нужно, для того чтобы они поняли? Что мы, сложа руки сидим все это время? Ты не то говоришь. Эта пословица не к нам, а к ним относится: на комендатуру надейся, а сам не плошай.

— Они на нашей территории не церемонились,— негромко сказал Воробейцев.

— То они! — воскликнул Чегодаев, стукнув большим кулаком по своему колену.

— Э, ладно,— махнул на него рукой Воробейцев и отвернулся к Чохову.

За этим «э, ладно» скрывалась мыслишка, которая могла бы быть выражена словами: «Все мы одним миром мазаны». И надо сказать, что Воробейцев действительно так думал. Идейные вопросы отнюдь не волновали его — и не потому, что он считал, что все люди братья, а потому, что считал, что все люди скоты. Как бы там ни было, он отвернулся, выражая этим свое равнодушие к продолжавшемуся разговору, и стал думать об Эрике Себастьян и ее тонких девических руках. Потом он вспомнил об

Инге и вдруг подумал, что ведь надо поймать этих двух нарушителей. Кстати, ему просто хотелось уйти из комендатуры, потому что он был не больно заинтересован этим митингом и не придавал ему, во всяком случае, того значения, какое придавали все остальные.

Он опять встал и доложил коменданту о том, что считает нужным отправиться в тот гараж, где была обнаружена украденная автомашина, для задержания лиц, совершивших этот поступок.

Лубенцов разрешил ему идти. Тогда Воробейцев не без лукавства, желая, чтобы товарищ разделил с ним предстоящий приятный вечерок, сказал:

— Я один не справлюсь с этим делом. Их двое.

— Возьмите с собой автоматчика,— рассеянно сказал Лубенцов.

— А может быть, капитан Чохов пойдет со мной?

— Ладно,— так же рассеянно сказал Лубенцов.— Давай.

И Воробейцев с Чоховым оставили кабинет.

VII

— Ты совсем про меня забыл,— сказал Воробейцев, когда они вышли из комендатуры.— Ни разу у меня не был. Все не можешь наглядеться на своего Лубенцова. Неужели тебе с ним интересно? По-моему, он только и говорит что о земельной реформе, да о заготовках, да о репарациях, да о демонтаже, да о вине немецкого народа... Не человек, а ходячая газета. Где ты живешь?

— В комендатуре, вместе с командиром взвода.

— Это на тебя похоже. Твой идеал — казарма. Вот здесь, за углом, моя квартира, зайдем на минутку.

Квартира Воробейцева в Лаутербурге оказалась далеко не такой шикарной, как в Бабельсберге. Воробейцев стал осторожнее. Он занимал теперь две комнаты в двухэтажном доме. Правда, комнаты были большие, с обширным балконом и отдельной лестницей вниз во двор. Стены были увешаны картинами, полы — застланы коврами. Раньше в этой квартире жила Альбина Терещенко.

— Мой хозяин — владелец книжного магазина,— сказал Воробейцев.— Тоже, между прочим, не нахвалится твоим Лубен-

цовым. Тот у него повадился покупать книги.— Говорил он это с издевкой, хотя прекрасно сознавал, что никаких оснований для насмешек не имеет и что факт чтения книг не может очернить перед Чоховым Лубенцова, скорее даже наоборот. И, сознавая все это и сам не испытывая никакого желания насмехаться над Лубенцовым, он все-таки говорил все, относящееся к Лубенцову, в тоне насмешки. Он называл его «наш», часто прибавляя к этому слову «то»: «а наш-то опять поехал в деревню», «наш-то здорово пробрал Касаткина», «наш-то немецкую классику читает» и так далее. И этим оборотом речи, неопределенно-язвительным, он пытался себя и Чохова настроить против Лубенцова, хотя не отдавал себе отчета, зачем он это делает и для чего ему это нужно.

Сегодня, после посещения дома профессора Себастьяна, он решился пустить слушок, в который сам ни капли не верил.

— Наш-то знал, где поселиться. Там такая девчонка — дочь профессора! Яблочко.

— Ладно, пошли,— сказал Чохов.

Они пошли по слабо освещенным улицам, миновали несколько кварталов сплошных развалин. Улицы были уже расчищены от щебня, и их гладкий асфальт и ровные тротуары составляли пугающий контраст с обрамлением из зияющих окон, груд кирпича, обломков и торчащих из них железных балок.

Инга очень обрадовалась приходу Воробейцева, так как весь вечер жила в страхе, что вот-вот появятся «хозяева» автомобиля. Она провела их по темной крутой деревянной лестнице в чердачное помещение, где за низкими дверцами находились клетушки, в которых жило множество людей. Здесь Инга познакомила русских офицеров со своим отцом, седоусым железнодорожником. Здесь же, в углу на сундуке, спал двухлетний ребенок.

— Это чей? — спросил Воробейцев.

— Мой,— ответила Инга.

Воробейцев удивленно свистнул: Инге было семнадцать лет.

— А муж где? — спросил он.

Она ничего не ответила.

— Зачем ты ее допрашиваешь? — спросил Чохов.— Всегда лезешь не в свое дело.

Они уселись за стол. Воробейцев, человек предусмотрительный, вынул из полевой сумки бутылку и закуску. Отец Инги прищелкнул языком.

— Давно не пробовал,— сказал он.— Нельзя достать. То есть достать можно, но дорого.

После ужина Воробейцев встал и поманил за собой Ингу:

— Пойдем посмотрим... Может быть, они пришли.

Инге не хотелось идти с Воробейцевым. Она замялась и сказала:

— Если придут, то обязательно зайдут сюда за ключами.

Воробейцев обиделся, рассердился, начал ее уговаривать. Она поежилась и вышла с ним.

Чохов угостил отца Инги сигаретой, и тот, блаженно пуская клубы дыма, говорил:

— Данке, данке, герр официр.

Видно было, что он рад сигарете больше, чем вину и еде. Он показал Чохову набор трубок разных размеров и фасонов. Но во всех этих трубках не было ни крупинки табака. Чохову захотелось объяснить немцу, что надо сажать табак, что в России в войну сами крестьяне, да и городские жители сажали табак, но он не знал, как объяснить все это по-немецки, и поэтому сидел молча, курил и думал. Немец захмелел и стал рассказывать Чохову про свои дела. И хотя он видел, что Чохов мало что понимает, он все-таки объяснял очень старательно, повторяя фразы по нескольку раз. Ему хотелось, чтобы русский офицер его понял. Он говорил о том, что старики, такие, как он, всегда знали цену Гитлеру, чувствовали, к чему Гитлер ведет Германию, ненавидели и презирали его. Он жаловался на молодежь, которую Гитлеру удалось обмануть и развратить. Инга была членом БДМ (Союза немецких девушек — одной из многочисленных гитлеровских массовых организаций). Она тоже кричала «хайль Гитлер» до отупения. Летом она, как и другие девушки, находилась в лагерях. Там она и забеременела. Когда отец стал ее упрекать, она пригрозила ему, что донесет в свою организацию, и он вынужден был все это пережить — весь этот позор, который Инга не считала позором, так как в лагерях БДМ такие дела поощрялись руководителями, и ребенок, рожденный таким образом, назывался «кинд фюр фюрер» (ребенок для фюрера).

Чохов, ничего почти не понимая, тем не менее утвердительно кивал головой.

Вскоре вернулись Воробейцев и Инга. Она была угрюма, а он очень сердит. Прервав старика на полуслове, он сказал Чохову:

— Ладно, хватит ждать у моря погоды. Пойдем, пожалуй.

Они уже совсем собрались, когда раздался громкий стук в дверь и низкий мужской голос произнес по-русски:

— Эй, вы там! Ключ давайте!

Воробейцев прыгнул вперед, быстро распахнул дверь и втащил в комнату опешившего и сразу же перепугавшегося насмерть сержанта. Это был молодой — лет двадцати пяти — рыжеватый парень, в надвинутой на самые глаза засаленной пилотке. При виде двух офицеров он растерянно замигал глазами, но тут его взгляд упал на пустую бутылку, стоявшую на столе, и он сразу же несколько воспрянул духом.

— Вы чего меня хватаете, товарищ капитан? — спросил он обиженно.— Я бы и сам вошел. Дай ключи,— обернулся он к Инге.

— Ключи? — насмешливо переспросил Воробейцев.— Пошли в комендатуру, там тебе дадут ключи. Ключи от рая. Будешь как святой Петр. Слышал про такого?

— Вы почему со мной так?..— продолжал свое сержант, в то же время косясь на дверь.— Раз я сержант, а вы офицер... Я тоже здесь по поручению.

— По поручению? — продолжал язвить Воробейцев.— По поручению начальника мародерской команды?

Чохову надоела эта перепалка, и он сказал:

— Ваша увольнительная. С вами говорят офицеры советской комендатуры. Поправьте пилотку. Встаньте как полагается. Есть у вас увольнительная?

Сержант посмотрел на Чохова и сразу понял, что шутки плохи. Поддавшись строгому и внушительному тону, сам Воробейцев тоже перестал подшучивать в своей манере, поправил пояс, стал сух и сдержан.

Увольнительной у сержанта не оказалось. Бежать было невозможно. Он сделал несколько глотательных движений, потом произнес просительно:

— Товарищи офицеры, я тут ни при чем... Мне поручили. Я ведь ничего плохого не думал. Верно, взяли машину. У них машин много. Покатались бы и бросили. Баловство — и все.

Слушая эти слова, Воробейцев не мог не вспомнить о том, что свой «опель-капитан» он тоже взял примерно таким же образом, как этот солдат — «мерседес» профессора Себастьяна; если бы его, Воробейцева, за это задержали и привели в комен-

датуру, он говорил бы то же самое, ибо он тоже считал это безделицей, этакой оккупантской резвостью, вполне невинным, как говорил этот сержант, баловством. Но, несмотря на свои мысли или, может быть, благодаря им, он глядел на сержанта враждебно и сурово, и в его глазах сержант видел холодный блеск строго исполняемого долга — чуть ли не сияние невинности, торжествующей над грехом.

Что касается Чохова, то он от души пожалел сержанта, хотя сам никогда бы не мог совершить такого проступка, как сержант. А пожалел он его потому, что все-таки сержант был свой человек, воевавший, вероятно, четыре года в невыносимых условиях, делавший, скорее всего, свое дело честно и самоотверженно, а проступок он совершил, может быть, несознательно, поддавшись той атмосфере легкости и беспечности, которая на первых порах царит среди войск в побежденной ими стране. И в конце концов, думал Чохов с некоторой досадой на немцев, в том числе даже на эту толстую добродушную Ингу и ее славного отца, эти немцы немало награбили в других странах: ничего страшного, если они хлебнут хотя бы сотую часть того, что хлебнули русские, поляки, чехи и французы. И даже когда Чохов вспомнил о Лубенцове, он в душе упрекнул своего друга за чрезмерное, как бы сказать, пристрастие к немцам и чрезмерную же требовательность к своим.

Несмотря на все эти мысли, Чохову даже не могло прийти в голову отпустить сержанта на все четыре стороны. Чохов был прислан сюда своим начальником, и он должен был задержать правонарушителя, даже если бы для этого пришлось вступить в перестрелку. Поэтому он надел фуражку и, кивнув Инге и ее отцу, подошел к сержанту.

— Пошли,— сказал он.

Сержант покорно повернулся и пошел.

Молча двигались они втроем по ночному городу, где все уже совсем затихло. Сержант шел, опустив голову. Лишь когда показалась комендатура, скупо освещенная четырьмя фонарями, в свете которых алел, слегка покачиваясь, флаг над крыльцом, сержант замедлил шаги и полуобернулся к Чохову.

— Товарищ капитан,— сказал он. На Воробейцева он не обращал никакого внимания.— Виноват я, товарищ капитан.

— Ладно, иди, не разговаривай,— оборвал его Воробейцев, уязвленный тем, что тот считал Чохова более важной персоной, чем его, Воробейцева.— Там разберемся.

Сквозь узкие щели на тяжелых оконных занавесях верхнего этажа пробивался свет. В комендатуре не спали.

Они все трое поднялись по лестнице и вошли в приемную. Приемная была ярко освещена, но пуста. Зато из кабинета доносился громкий разговор. Воробейцев приоткрыл дверь и замер от неожиданности: кабинет был полон людей. На диване — опять-таки в плаще и фуражке — сидел Лубенцов. Остальные офицеры комендатуры сидели кто где. Были здесь три незнакомых Воробейцеву офицера — по-видимому, из Альтштадта — и два соседних коменданта — Леонов и Пигарев. Смешно, что все были без шинелей и фуражек, кроме самого «хозяина».

— Генерал Куприянов на проводе,— сказал Меньшов, протягивая телефонную трубку Лубенцову.

— Да, товарищ генерал. Да, все закончилось. Вы уже знаете? Я вижу, информация у вас не из одного только источника.— Лубенцов помолчал, потом коротко засмеялся и продолжал: — Митинг прошел под лозунгом — «Реакция поднимает голову». Рабочие показали себя с наилучшей стороны. Подробный отчет я вам вышлю утром. Во всяком случае, Шнейдер полностью провалился. Убежал, пальто оставил, и рабочие потом это пальто на палку подняли и вынесли вслед за ним к машине. Да нет, особых эксцессов не было. Бить его не били — это неправда. Выступили девять рабочих. Один инженер. Сами руководители демократических партий могли уже и не выступать... Инженер и двое рабочих не были подготовлены, они выступили стихийно, но зато здорово. Да, да, вот именно по-большевистски выступили. Один рабочий — Шульц,— я его знаю, спокойный такой, медлительный,— поднялся на трибуну и спрашивает: «Не ваш ли родственник тюрингенский помещик Шнейдер? Не о его ли земле вы радеете, господин Шнейдер?» Вопрос был не в бровь, а в глаз. Может быть, это и вправду его родственник. Не знаю. Во всяком случае, полный разгром. Рабочий коллектив высказался определенно за земельную реформу, за демократизацию. А это крупнейшее предприятие в районе... Хорошо. Есть. Выеду.

VIII

— Товарищ подполковник,— доложил Воробейцев, приложив руку к козырьку фуражки.— Один из мародеров, забравших машину у профессора Себастьяна, задержан.

Лубенцов повернул голову к Воробейцеву. На его лице застыла недоуменная гримаса, словно он о чем-то вспоминал и никак не мог вспомнить. Наконец он сказал:

— Ах да.— Он помолчал.— Ладно, введите его.

Вошли Чохов с сержантом. Сержант застыл посреди комнаты с выражением безмерной усталости на молодом веснушчатом лице. Несколько мгновений он смотрел вниз, на паркетный пол, а потом, не поднимая головы, поднял глаза и стал смотреть на подполковника Леонова, считая, что он здесь самый главный. Тут заговорил Лубенцов, но сержант, бросив на него мимолетный взгляд, все равно продолжал смотреть на Леонова, так как Лубенцов был одет и выглядел скорее как гость.

— Чего же вы не представляетесь? — спросил Лубенцов.— Фамилия, звание, из какой части?

— Сержант Белецкий, из отдельного противотанкового дивизиона.

— У полковника Соколова служите?

— Так точно,— ответил сержант, задрожав и все еще продолжая глядеть на подполковника Леонова.

— Кто вам разрешил отлучиться без увольнительной?

— Я сам... без разрешения,— выдавил из себя сержант.

— Ну хорошо,— нетерпеливо сказал Лубенцов.— Но машину? Для кого вы брали машину? Для себя вы, что ли, брали машину? Зачем вам понадобилась эта машина? Что вам нужно было возить на этой машине? Ну, отвечайте, объясните мне.

Так как сержант молчал, Лубенцов тоже перестал говорить.

— Виноват, товарищ комендант,— сказал наконец сержант.— Баловство. Одно баловство.— Это слово он повторил еще несколько раз, переводя взгляд с Леонова на Лубенцова и обратно, растерянный, казалось, не оттого, что он совершил проступок и теперь будет наказан, а главным образом оттого, что никак не может понять, кто здесь начальник и к кому, собственно говоря, надо обращаться.

— Вы откуда родом? — неожиданно спросил Лубенцов. Эти слова прозвучали почти ласково среди тяжелого молчания многих людей.

— Я из Саратова, из Саратова я,— вдруг быстро заговорил сержант таким тоном, словно то обстоятельство, что он родом оттуда, может явиться для него спасением.— Родители мои са-

ратовские. И я лично жил до двенадцатого ноября сорок первого года в Саратове, а двенадцатого ноября был призван в Действующую армию.

Эти простые слова, произнесенные тоном сокровеннейшей исповеди, казалось, никого не растрогали, и все продолжали смотреть на сержанта сурово. Только лицо Чохова стало необыкновенно грустным, но он стоял позади сержанта, и тот не мог его видеть.

Но если сержант думал, что все эти офицеры равнодушны к его судьбе,— он ошибался. Хотя Лубенцов смотрел на него с приличествующей данному случаю строгостью, на самом деле ему было очень жаль сержанта, и он втайне сердился на Чохова и Воробейцева за то, что они задержали этого человека, когда машина была уже найдена и главное таким образом уже было сделано. Он мысленно представил себе уютный садик профессора Себастьяна, фонтан с амурчиком посередине и досадливо подумал о том, что надо же было этому молодому парню в ноябре 1941 года быть призванным в Действующую армию, для того чтобы спустя четыре года оказаться здесь, в этом далеком и чужом Лаутербурге, и зайти тут в некий дом с садом, где проживает некий профессор с дочерью. И хотя профессор Себастьян, и его дочь, и сад, и фонтан не были непосредственно повинны в том, что сюда пришли из Саратова и других городов русские люди, которым в тех городах было хорошо, но ведь часть вины была и на них. И все-таки, несмотря на все это, Лубенцов был обязан предать сержанта Белецкого суду военного трибунала по обвинению в мародерстве. Это был не только его долг — это было полезно, необходимо как ради того, чтобы установить правильные, здоровые отношения с местным населением, так и для того, чтобы укрепить дисциплину в рядах оккупационных войск.

Он встал, подошел к столу, написал «записку об аресте» и протянул ее Воробейцеву.

— Пока посадите его на гауптвахту,— сказал он, не глядя на сержанта.— Сообщите полковнику Соколову и оформляйте материал для передачи дела в военный трибунал.

Воробейцев щелкнул каблуками и вместе с сержантом вышел из кабинета.

— Жалко парня,— пробормотал подполковник Леонов.

Лубенцов на это ничего не ответил.

— Он был только исполнителем,— сказал Чохов.— Честно

провоевал всю войну. Что он? Солдат! Ему сказали: достать машину, он и достал.

Лубенцов и на это ничего не ответил и начал складывать в папку бумаги на столе. Леонов и Пигарев надели фуражки. Вошел помощник дежурного сержант Веретенников и сказал, что машина готова.

Лубенцов и два других коменданта вместе с тремя альтштадтскими офицерами из СВА вышли из кабинета, спустились вниз по лестнице и расселись по машинам. Машин было три. Лубенцов сел вместе с Леоновым, с которым познакомился еще в Альтштадте у архитектора Ауэра. Лубенцов и Леонов полюбили друг друга. Несмотря на то что Леонов был значительно старше Лубенцова,— ему было сорок лет,— с Лубенцовым он чувствовал себя как с равным. Во время коротких встреч и поспешного обмена впечатлениями и взглядами на те или иные комендантские дела Леонов почуял в Лубенцове ту прекрасную смесь простодушия и ума, которая называется обаянием. Леонов был куда опытнее Лубенцова — до некоторой степени он мог считать себя даже участником гражданской войны, так как, будучи беспризорником, был подобран артиллерийской батареей при знаменитой 25-й Чапаевской дивизии. Шестнадцати лет — в 1921 году — он уже был секретарем укома комсомола на Урале. Не имея ни отца, ни матери, он с детства привык считать отцом и матерью Советскую власть и поэтому не просто, как многие другие, был сторонником советского строя,— он любил этот строй и весь советский уклад жизни горячей и интимной любовью, о которой никогда не говорил, но которую в нем все ощущали.

Так как за рулем сидел немец, разговор шел о безразличных вещах. Однако здесь, в машине, незримо присутствовал рыжеватый сержант Белецкий, и оба коменданта думали о нем. Им казалось, что они видят его, как он беспомощно стоит посреди большой комнаты, сгорбившись и сжимая и разжимая короткие пальцы рук.

Лубенцов сказал:

— Принципиально важное значение митинга заключается в том, что сами немцы сказали свое слово. Я лично в связи с этим убедился в жизненности реформы... Никакая армия не может принести свободу в побежденную страну, если народ этой страны не желает свободы. Мы можем дать только первоначальный толчок.

— Это глубокая мысль,— сказал Леонов.— Ты прав. Но надо иметь в виду, что обыватель часто не знает сам, где для него польза, а где вред. Приходится его наталкивать на верное решение вопроса. Поэтому то, что ты называешь первоначальным толчком, дело длительное и тонкое.

«Сержант Белецкий сидит теперь на гауптвахте в ожидании решения своей участи,— думал Лубенцов,— и это все входит в комплекс «первоначального толчка», той советской политики, которую мы проводим в Германии. И хотя мне этот сержант дороже десяти немецких профессоров-нейтралов, которые еще сегодня не знают, что скажут завтра, я обязан предать его суду».

— Этот ваш новый ландрат,— сказал Леонов,— что он собой представляет?

— Теоретик,— ответил Лубенцов.— Автор многих научных трудов.

— У них теория и практика в химической промышленности были тесно увязаны. Профессор Бош — руководитель «ИГ Фарбениндустри», крупнейшего из немецких химических концернов,— одновременно был выдающимся ученым-химиком. Доктор Дуисбург — тоже. Ты поговори с этим Себастьяном, он может тебе много интересного рассказать о немецкой химической промышленности... Кстати, у тебя в районе расположен химический завод, входящий в «ИГ Фарбениндустри».

— Да. На днях начнем его демонтировать.

— Мне кажется, тебе следует поставить вопрос о приостановке демонтажа. После земельной реформы, хотя бы для того, чтобы доказать ее рентабельность, понадобится много химических удобрений. Где мы их возьмем? Из России, что ли, повезем? Невыгодно! Глупо! Ведь и взрывчатка, и минеральные удобрения делаются из одного и того же сырья — каменного угля. Надо только что-то убавить или добавить. Ты разузнай про это дело. Нет ничего легче, чем разобрать станки и куда-то их отправить, упаковать лабораторное оборудование и погрузить в вагоны... А потом что? Обратно везти?

Машины въезжали в Альтштадт. Вскоре они остановились возле здания комендатуры. Тут стояли десятка два других машин — видимо, съехались все или почти все коменданты округа.

Совещание продолжалось не более часа. Генерал Куприянов не любил продолжительных разговоров. Он заслушал доклады трех комендантов, дал оценку их работе, затем выступил под-

полковник Горбенко. Он сообщил, что проект постановления о земельной реформе принят немецкими партиями и будет на днях подписан правительством провинции. В заключение Куприянов произнес несколько напутственных слов:

— Начнется конфискация помещичьих земель и крупных кулацких хозяйств, дележка земли между крестьянами. Это очень ответственный момент, от которого зависит многое. Держите ухо востро! Под вашим наблюдением будет проходить великое мероприятие — да, да, великое, и не приходится его преуменьшать,— которое наконец приведет к реализации вековой мечты германских крестьян, мечты, за которую отдал свою жизнь вождь крестьянской революции Томас Мюнцер четыре столетия назад... Последствия этой реформы неисчислимы. Провала ее нам история не простит.

Генерал Куприянов не любил высокопарных слов, и если произнес их теперь, то для того, чтобы коменданты в текучке мелких повседневных дел не забывали о том значении, какое их работа имеет для истории Европы, а не только для их послужного списка.

После совещания, когда все коменданты кучками по два, по три человека стали выходить из кабинета, Куприянов окликнул Лубенцова.

— Вы ужинали? — спросил он.— Не ужинали? Возьмите Леонова и пошли ко мне.

Пигарев дожидался Лубенцова внизу, но сразу же заметив, что генерал некоторых комендантов, и Лубенцова в их числе, отличил и пригласил к себе, очень обиделся, ревниво посмотрел им вслед и, мрачный, уехал.

Лубенцов и еще несколько комендантов пошли с генералом пешком через спящий город.

По дороге Лубенцов сказал Куприянову о химическом заводе. Генерал задумался.

— Пожалуй, это верно,— сказал он наконец.— Демонтаж мы пока приостановим. Я свяжусь с начальником СВА. Послушаем, что он скажет.

Они подошли к дому, где жил генерал.

— Тише,— предупредил Куприянов остальных, отпирая дверь. Они на цыпочках прошли в дом. В большой комнате, освещенной только проникавшим в окно светом уличного фонаря, генерал шепотом сказал:

— Рассаживайтесь. Только потише. Жена приехала, спит

с дороги. Устала и раздражена: не успел ее встретить на вокзале, задержался на совещании с немцами.

Он комично развел руками, зажег свет, открыл буфет и поставил на стол синие банки с икрой и две бутылки водки,— не какой-нибудь, а «особой московской», по которой так тосковали души комендантов и которую не могли заменить никакие местные шнапсы и ликеры, как бы ни были они хороши.

— Все отечественное,— сказал генерал, довольно улыбаясь.

Так как у Лубенцова из головы все не выходил тот сержант, он после некоторого раздумья рассказал Куприянову всю историю. Куприянов, видимо, уловил в тоне рассказа сомнения, одолевавшие Лубенцова, но ничего не сказал, только развел руками и заговорил о другом.

— С этим Шнейдером получилось хорошо,— сказал он.— Понимаете, мы получили конкретную мишень. Демократические партии — в том числе и честные люди из партии самого Шнейдера — имеют конкретный объект для борьбы. То, что он и поддерживающие его группы против земельной реформы,— это мы знаем. Но, высказавшись открыто, он обнаружил себя, свою идеологию. Это полезно. Нельзя драться в темноте.— Он негромко рассмеялся.— То, что он пальтишко забыл,— тоже хорошо. Символично. Кстати, пальтишко это прислали сюда. Хорошее пальтишко, драповое. Завтра буду ему вручать. Приятная процедура.

После ужина Куприянов сунул Лубенцову и Леонову по бутылке водки и по коробке икры.

— Вы у нас дальние,— сказал он,— военторг до вас ничего не довозит, все застревает по дороге. Берите, берите...

IX

Среди многих последствий митинга на большом заводе «Лаутербург АГ» обозначилось и то последствие, что Лубенцов особо заинтересовался заводом, рабочими и инженерами, их материальным положением, настроениями. На следующий же день он поехал на завод и не узнал его, настолько все здесь изменилось в сравнении с тем, что застал Лубенцов, приехав впервые в Лаутербург. Он не мог не удивиться тому, как те же пакгаузы, дворы, большие, сложенные из красного кирпича цехи, узкоколейные железные дороги до неузнаваемости меняют свой

облик, когда появляется человек и когда все это нагромождение построек, металла, камня приобретает смысл.

«Рабочие — всегда рабочие, даже немецкие»,— вспомнил он изречение Чегодаева и вполне согласился с ним, увидев людей в спецовках, стоящих у станков, двигающихся с вагонетками по огромным дворам. Черное лицо паровозного машиниста, выглядывающее из окошка «кукушки»; громкие гортанные возгласы крановщиков, взирающих из своих вздыбленных к небу железных клетушек на расстилающийся внизу дымный деловитый мир; мастера в синих тужурках, со сложенными металлическими метрами, торчащими из карманов; запах металлической стружки и машинного масла в механическом цехе,— одним словом, все зрелище промышленного предприятия произвело на Лубенцова то впечатление силы и целеустремленности, какое производит зрелище любого завода на постороннего человека.

Но в данном случае Лубенцова интересовал не сам по себе завод и даже не то, как он выполняет план. Его интересовали здешние люди, к которым он после вчерашнего митинга испытывал чувство, похожее на нежность.

Занимал ли и он в их сердцах какое-нибудь место, то есть не он лично, а то, что он представлял в этом городе? Понимали ли они чистоту его помыслов, его стремление к совмещению государственных интересов Советского Союза с интересами немецких рабочих,— а он был убежден, что эти интересы совпадают. Медленно проходя по территории завода в сопровождении инженера Маркса, Лубенцов пытливо вглядывался в лица. Рабочие, в свою очередь, внимательно глядели на коменданта, а когда он проходил мимо, провожали его взглядами.

Истины ради надо сказать, что к Советской Военной Администрации рабочие в то время еще относились настороженно. Многое им было неясно, и нельзя утверждать, что чувство вины за окончившуюся недавно войну глубоко укоренилось в их сознании. Это чувство вины существовало, но оно легко забывалось, что свойственно людям при таких обстоятельствах. И так как оно забывалось, то у многих рабочих — и не у худших, а у лучших среди них — проскальзывало недоумение, почему Советский Союз, рабочее государство, взимает с Германии крупные репарации, демонтирует заводы и фабрики, нанося этим ущерб не бывшим правителям Германии, которые пока находились в сетях, а самому германскому населению. Понятно,

когда это делают американцы и англичане, но непонятно, что то же самое или почти то же самое проводят советские люди. И несмотря на то что немецкие рабочие знали — не могли не знать — о колоссальных потерях, причиненных германской армией Советскому Союзу и тем же советским людям, но они, немецкие рабочие,— совсем по-человечески,— гораздо легче примирялись с чужой бедой, чем со своей собственной.

И все-таки, вопреки всем сложностям и противоречиям в сознании рабочих, это были рабочие! И они в решительный момент высказались за демократическую реформу. Поистине рабочие были бы очень удивлены, если бы узнали, как они вдохновили советского коменданта.

Лубенцов отправился в ландратсамт к профессору Себастьяну, чтобы вместе с ним поехать по деревиям.

Профессора на месте не оказалось — он уехал в Галле, куда его пригласил президент провинции, престарелый профессор Рюдигер.

От Рюдигера Себастьян вернулся вечером очень расстроенный. Рюдигер ознакомил его с проектом земельной реформы, которую президент провинции должен был подписать и не хотел подписать. Он позвал своего старого друга именно с той целью, чтобы посоветоваться с ним. Профессор Себастьян, ознакомившись с проектом, ужаснулся и даже слушать не хотел об этой реформе или по крайней мере о своей причастности к ее проведению. Потом он оказался свидетелем разговора Рюдигера с его заместителем — коммунистом Карлом Вандергастом. Вандергаст старался убедить Рюдигера в необходимости реформы. Он хорошо знал историю Германии последних десятилетий и, аргументируя свою точку зрения многочисленными фактами и личными воспоминаниями, произносил убежденно и страстно:

— Как вы этого не понимаете! Юнкерство — это война. Кто не хочет рейхсвера, тот должен позаботиться о ликвидации помещиков. Кто не хочет в конечном счете фашизма — должен ликвидировать класс помещиков.

Он потрясал своей правой рукой, изуродованной палачами в концлагере Маутхаузен. Это было красноречивее слов.

Затем к Рюдигеру приехал советский генерал, начальник СВА, умный и блестящий политик, которого Рюдигер ставил необычайно высоко и считал искренним другом немецкого народа. Генерал притворился, что приехал по другому поводу, но, конечно, не прошло и пяти минут, как разговор перешел на проект

земельной реформы. Генерал говорил мягко, улыбаясь, словно его не очень заботила судьба этой реформы.

— Неужели вы думаете,— спросил он,— что мы сторонники реформы ради доктринерства, ради того, чтобы провести в жизнь некую — пусть будет правильную — теорию? Неужели вы считаете нас такими узко мыслящими людьми? Земельная реформа — необходимость. Это нормальная демократическая реформа, не доделанная буржуазной революцией.

Вернувшись в Лаутербург на своем «мерседесе», Себастьян узнал в ландратсамте, что его разыскивает комендант. Он при этих обстоятельствах не хотел встречаться с Лубенцовым и опять выслушивать убеждения, которые были ему известны, и мотивы, которые он уже знал наизусть. Усевшись за столом в своем кабинете, он велел отвечать всем, кто бы ни звонил, что он еще не вернулся.

Ясное дело, что Рюдигер подпишет закон о земельной реформе. Себастьян хорошо знал старика. В крайнем случае он уйдет в отставку, что, конечно, русским невыгодно. Что же делать ему, Себастьяну? Тоже подмахнуть? Вопрос заключается в том, может ли он это сделать по совести. Он был против земельной реформы. Он был вообще против реформ. Почему? Со свойственной ему ясностью мысли он откровенно сказал себе, что он против реформы по той причине, что против нее были его многочисленные друзья, родственники, наконец все его собственные представления и воззрения. Он считал, что в принципе незаконно забирать у людей их собственность. Но дело было не только в этом. Дело было и в том, что эта собственность принадлежала его друзьям, знакомым — его кругу. Он соглашался с доводами коммунистов, что помещичье землевладение в Германии в прошлом порождало множество отвратительных последствий, что помещичьи имения были гнездами реакционного офицерства, пошедшего затем в услужение к Гитлеру. Но из этого он делал вывод, что надо конфисковать имения военных преступников и нацистских вожаков, которых он от души ненавидел и презирал. Однако он не мог согласиться с конфискацией вообще всех имений потому только, что они большие.

А будут ли счастливы люди в своих маленьких хозяйствах? И может ли вообще человек быть счастлив?

Сторож затопил камин, и профессор, глядя на огонь и покуривая сигарету, повторял эти слова: «Может ли вообще человек быть счастлив?» Но жизнь требовала решений, и Себастьян во-

лей-неволей возвращался к проблеме дня. Перед его глазами проходили лица Рюдигера, Вандергаста, генерала, Шнейдера, Лерхе, наконец — живые синие глаза молодого коменданта.

В советских офицерах чувствовалась глубокая убежденность. Их ненависть к помещикам была Себастьяну понятна. К русским помещикам. Себастьян понимал природу их ненависти и уважал ее. Но он не мог на этом основании возненавидеть помещиков немецких. Честно говоря, он считал, что немецкие помещики гораздо благороднее, порядочнее, симпатичнее и умнее, чем русские помещики. Но не он ли некогда на таких же весьма шатких основаниях считал Вильгельма II человеком гораздо более благородным, симпатичным и умным, чем Николай II? В 1917 году, узнав о том, что русские свергли царя Николая II, он, Себастьян, воспринял это как вполне естественное, справедливое и разумное дело. Но даже тогда, в феврале 1917 года, он не допускал мысли о том, что то же самое можно сделать с императором Вильгельмом II. И когда это случилось в следующем же году, низложение кайзера произвело на Себастьяна впечатление непоправимой катастрофы. А спустя короткое время Себастьян не только примирился с этим, но счел это тоже вполне разумным и справедливым актом, отвечающим жизненным интересам немецкого народа.

«Да, мы, немцы,— думал он,— консерваторы и филистеры. Мы боимся перемен, переворотов. Мы настолько боимся переворотов, что позволили Гитлеру совершить переворот, который в конечном счете привел к нынешнему положению. И не потому ли Гитлеру дали совершить переворот, что он заверил помещиков и капиталистов в незыблемости их частной собственности?»

Если он не подпишет закона, его, вероятно, отстранят от должности, и это будет очень хорошо, потому что и так до него доходили кислые отклики друзей на то, что он согласился сотрудничать с русскими. Подписать закон? Это вызовет раздражение его друзей в обеих частях Германии, поставит его в положение предателя интересов тех людей, мнением которых он дорожил. Конечно, можно будет пустить слух, что его принудили. До некоторой степени это будет даже справедливо. Человечество за последнее время привыкло к насилию и склонилось перед ним; никто уже не осуждает подлостей, сделанных по принуждению.

Все это было бы не так сложно, если бы Себастьян дорожил мнением только старых своих друзей. Но он уже имел новых.

Это были лаутербургские антифашисты, рабочие и крестьяне. Они относились к профессору, ставшему ландратом, с трогательным доверием и уважением; они считали его своим человеком, делились с ним горестями и сомнениями. Многие из них заняли разные посты в ландратсамте и исполняли свои обязанности с большим жаром, здравым смыслом и хозяйской заботливостью. Даже колючий и подозрительный Лерхе — и тот безоговорочно доверял Себастьяну и отзывался о нем с большим дружелюбием.

Да, профессор Себастьян боялся обмануть доверие этих людей. Они считали его антифашистом и деятелем новой Германии, которую они хотели построить, и их чувства обязывали его.

Правда, он не боролся с Гитлером, но и не поддался никаким соблазнам. Он отказался от выгоднейшей практической работы в химической промышленности, уединился и стал писать теоретический курс, прочитанный им в свое время в университете в Галле. К нему засылали высокопоставленных агитаторов; однажды он получил письмо от самого министра Функа, но Себастьян продолжал держаться своей независимой позиции. Он с нетерпением ждал поражения Гитлера и был уверен в этом поражении даже во времена величайших успехов нацистской власти. Вот он дождался, а теперь не знает, чего хочет.

В разгар этих размышлений перед Себастьяном неожиданно открылся третий путь. Поздно вечером ему позвонила Эрика и попросила немедленно приехать домой. Дома он застал своего сына Вальтера, о судьбе которого ничего не знал. Вальтер прибыл из Франкфурта-на-Майне и имел пропуск, выданный американским командованием. Следовал он в американскую зону Берлина, но, свернув в сторону от своего маршрута, первым делом заехал в Лаутербург.

X

Вальтер Себастьян прибыл в Лаутербург не один. Вместе с ним приехал небольшого роста и невоенного вида приземистый американский майор. Все, что американец видел, он немедленно трогал руками, если же заинтересовавший его предмет был расположен далеко от него, он ухитрялся под каким-нибудь предлогом приблизиться и неизменно клал узкую волосатую руку на этот предмет — будь то ваза, занавеска, книга или блокнот. Его рука нежно поглаживала предмет, а выпустив его, не пере-

ставала двигаться: толстым пальцем он поочередно трогал все остальные пальцы, и это как-то раздражало собеседников майора, создавало атмосферу нервной напряженности, хотя лицо американца при этом оставалось совершенно спокойным.

Старик Себастьян был уверен, что его сын находится в каком-нибудь концлагере или тюрьме у американцев, так как при Гитлере он занимал довольно видные места в химической промышленности. Вначале профессор, увидев американца, подумал даже, что сын находится под арестом. Но уже спустя несколько минут стало ясно, что у Вальтера все в порядке и он является при американце чем-то вроде советника.

Вальтер сильно постарел и в свои тридцать семь лет выглядел пятидесятилетним. Он был почти совсем лыс, и нежная прядь мягких белокурых волос еле прикрывала его темя, очень отдаленно напоминая ту мощную русую гриву, которая некогда производила такое большое впечатление на женщин. Одним словом, в этом полном и пожилом человеке с тяжелым взглядом и усталыми, опущенными книзу уголками рта профессор Себастьян с трудом узнал своего сына. Они не виделись четыре года,— Вальтер работал всю войну в Саарской области.

Вальтер сразу, без обиняков, предложил отцу переехать в американскую зону. Он сказал, что все для переезда готово, что профессор Себастьян будет хорошо принят и назначен на любую должность в химической промышленности. Он сказал, что Герман Шмиц лично просил передать Себастьяну свое пожелание повидаться с ним.

— А господин Шмиц разве не в тюрьме? — удивился Себастьян.

— Да, в тюрьме,— ответил Вальтер рассеянно.— Но он получил месячный отпуск к семье для поправления здоровья.

Себастьян удивился, но промолчал. Между тем Эрика накрыла на стол. Старушку Вебер они еще раньше отпустили, так как хотели обойтись без посторонних свидетелей.

— Плохо живете,— угрюмо сказал Вальтер, окидывая взглядом скудную трапезу.

Эрика неожиданно рассердилась и сказала:

— Живем, как все.

Вальтер поднял на нее тяжелые глаза, и в глубине их на секунду промелькнуло страдальческое и ласковое выражение. Но он ничего не сказал и снова обратился к отцу:

— Ты будешь получать американский военный офицерский

паек и жалованье в долларах. К твоим услугам будет любая лаборатория.

Старик с любопытством посмотрел на сына.

— Я ведь теперь не частное лицо, Вальтер,— сказал он, усмехаясь.— Я местный ландрат, руководитель самоуправления. Я не могу просто встать и уехать.

— Твоя наивность приводит меня в умиление,— резко сказал Вальтер; его лицо вовсе не изобразило никакого умиления.— Неужели ты не знаешь, что самоуправление — это только ширма для самоуправства оккупационных властей? Не только здесь — во всех зонах.

Себастьян покосился на американца, но лицо майора Коллинза оставалось неподвижным. Может быть, он не знал немецкого языка? Однако уже спустя несколько минут он заговорил по-немецки, и заговорил очень хорошо, почти без акцента. Только концы фраз он произносил чуть нараспев, по-американски. Он сказал несколько приятных слов Эрике — что-то вроде того, что ей к лицу хозяйничать за столом. Хотя по поводу предложения Вальтера американец не сказал ни слова, профессор прекрасно понял, что Вальтер говорит от имени обоих, и не только их обоих, но от имени людей гораздо более высокопоставленных, чем майор Коллинз. И это, неизвестно почему, раздражало Себастьяна, и ему все время казалось, что американец намеревается положить свою узкую волосатую руку на него, профессора Себастьяна, и ласково погладить его, так, как он гладил неодушевленные предметы.

— Хорошо, я все это обдумаю,— сказал Себастьян и, не выдержав, пожаловался: — Я очень сожалею, что принял на себя обязанности ландрата. Это оказалось куда сложнее, чем я думал.

— Это только начало,— мрачно произнес Вальтер, вставая.— Стоит вложить только палец в этот грубый и страшный механизм, и они тебе покажут, что такое демократия и что такое самоуправление.

Хотя Себастьян сам думал нечто подобное, но эти слова рассердили его. Он покраснел и вызывающе спросил:

— Кто это они? Союзники господина Коллинза?

Господин Коллинз в это время долго примеривался к стоявшему на другом конце стола кофейнику и при последнем вопросе Себастьяна наконец протянул руку и погладил кофейник быстрым и ласковым движением всех пальцев.

— Да,— сказал он, не переставая поглаживать кофейник,—

мой друг Вальтер, кажется, намекает именно на них.— Имя «Вальтер» он произносил по-английски: «Уолтер».

Получив это подтверждение из уст официального лица, Вальтер опять заговорил. Он говорил о том, что мир расколот и что если раньше благодаря глупой политике Гитлера русские нашли общий язык с англосаксонским миром, то теперь дело коренным образом изменилось.

— Выходит, что идея господина Рудольфа Гесса близка к своему осуществлению? — спросил Себастьян.

— Ах, при чем тут Гесс! — с досадой воскликнул Вальтер. Он был удивлен, что встретил со стороны отца противодействие.

В этот момент раздался пронзительный звонок. Эрика пошла вниз открывать. К великому конфузу и удивлению профессора в комнату вошел советский комендант. Все встали. Себастьян, сам не зная почему, смутился и покраснел, представляя Лубенцову своего сына и американца. Пожав им руки, Лубенцов сел за стол и не понял, а почувствовал в атмосфере этой большой комнаты что-то очень напряженное, двусмысленное, полное недосказанности и надрыва и подействовавшее не на зрение и слух Лубенцова, а на некое шестое чувство, которое можно было назвать *служебной ревностью*. Из тысячи мельчайших оттенков поведения, из неверных, фальшивых нот в разговоре, из предательского дрожания век, даже из сухого похлопывания форточки, открываемой и закрываемой ветром, в нем оформилось неясное подозрение. Все длилось, может быть, одно мгновенье и было слишком неопределенно, нематериально, чтобы человеку, столь трезво мыслящему, как Лубенцов, воспитанному в глубоком недоверии ко всему кажущемуся, мерцающему в глубине сознания, это могло показаться важным и убедительным.

Так как переводчицы с Лубенцовым не было, он заговорил по-немецки самостоятельно — вначале несмело, запинаясь, потом все смелее и свободнее, что доставило ему неожиданное наслаждение. Вот когда сказались длинные монологи на немецком языке, которые Лубенцов произносил перед сном, оставаясь в одиночестве.

Он спросил, не может ли профессор Себастьян сопутствовать ему завтра утром в поездке по некоторым деревням. Себастьян ответил, что может. Лубенцов спросил, не создаст ли это неудобств для профессора, учитывая, что у него гости. Не дожи-

даясь ответа, он попросил извинения у Вальтера и американца и пообещал, что он не задержит профессора слишком долго и что к обеду они обязательно вернутся. Мгновенье подумав, он пригласил их всех к себе обедать.

— Как только мы приедем,— сказал он,— прошу пожаловать ко мне. Постараюсь вас угостить как можно лучше. У меня есть нечто, любимое даже теми, кто не любит русских, а именно: русская водка и русская икра. Прошлой ночью один знакомый сделал мне этот маленький подарок, и я с удовольствием разделю его с вами, господин профессор, и с вашими друзьями.

— Почему ты не подаешь кофе, Эрика? — спросил профессор. Его лоб покрылся испариной.

— Нет, спасибо,— возразил Лубенцов.— Я только что пил кофе.— Он повернулся к американцу.— Вы говорите по-немецки?

— Да,— ответил Коллинз и любезно добавил: — И удивляюсь, как хорошо говорите вы.

«Следовало бы сказать: «Вы мне льстите»,— подумал Лубенцов, но не мог вспомнить этих слов и сказал:

— Учусь. Это не очень трудно в стране, где даже маленькие дети говорят по-немецки. Вы надолго в гости? — спросил он вдруг и успокоительно добавил: — Это я не в служебном порядке спрашиваю. Достаточно быть другом профессора Себастьяна, чтобы не вызывать никаких подозрений комендатуры.

— Дня на два, на три,— сказал Вальтер.

— А потом дальше, в Берлин? — спросил Лубенцов. В ответ на быстрый вопросительный взгляд Вальтера он коротко рассмеялся и объяснил: — Не удивляйтесь моей осведомленности. Это очень просто — внизу в машине дремлет ваш негр-шофер. Я, естественно, заинтересовался чужой машиной с американскими военными номерами и позволил себе разбудить его и спросить, куда он следует.

— Почему ты не наливаешь кофе, Эрика? — спросил профессор, забыв о том, что уже задавал этот вопрос.

— Спасибо. Я только что пил кофе,— опять сказал Лубенцов.

Он простился и ушел. Коллинз тоже решил пойти спать, и Вальтер проводил его в отведенную ему комнату.

— Молодой нахал этот русский,— сказал Вальтер, вернувшись.— Ведет себя как завоеватель.

— Он и есть завоеватель,— возразил Себастьян.

— А как ведет себя мистер Коллинз? — вызывающе спросила Эрика.— Хватает руками вещи, словно на аукционе.— Она казалась довольной тем, что Лубенцов посрамил Вальтера и этого американца, которые в его присутствии сильно присмирели.— По-моему, наш получше и поумнее твоего. К отцу он относится с большим уважением.

Себастьян сказал:

— Если ты даже считаешь русских нашими врагами, Вальтер, то должен тебе сказать, что недооценка врагов — глупость. Этот молодой комендант имеет огромный авторитет даже среди наших привередливых лаутербуржцев. Он работает по двадцать часов в сутки, и никто не знает, когда он спит. Положение в нашем районе он знает до мельчайших подробностей, словно здесь родился и вырос. Кроме того, он ухитряется много читать, и все жители могут тебе перечислить те немецкие книги, которые он прочитал за последнее время. Пастор Клаусталь рассказал мне ходячую остроту по поводу этого молодого человека. Пародируя первые строчки Библии, кто-то пустил о нем такую шутку: «И земля была безвидна и пуста, и было темно над бездной, и дух господина коменданта витал над водами. И господин комендант сказал: «Да будет свет». И стал свет. И господин комендант увидел, что свет хорош, и сказал: «Давай, давай».

— Дело в том, что он заставил господина Зеленбаха восстановить в городе электрическое освещение,— пояснила Эрика, захлебываясь от смеха.

— Как вам все это нравится! — устало сказал Вальтер.— В конце концов дело же не в том, есть ли среди русских симпатичные люди. Дело в самом существе вопроса, в той политике, которую русские проводят в нашей стране...— Он с минуту помолчал.— Вы хоть не ставьте меня в неловкое положение перед американцем,— продолжал он.— Этот Коллинз — влиятельный офицер экономического отдела Американской Администрации. Он один из видных сотрудников фирмы «Дюпон де Немур». Сейчас он разбирает архивы «ИГ Фарбениндустри». От него во многом зависит будущее нашей химической промышленности.

Себастьян пытливо посмотрел в глаза сыну.

— Надеюсь, «ИГ Фарбен» будет упразднена, согласно духу и букве потсдамских решений?

— Как знать, как знать,— возразил Вальтер.— Мне кажется, что среди американских офицеров на этот счет существуют разные мнения.

— Я все это обдумаю, все обдумаю,— пробормотал Себастьян.

Эрика отвела Вальтера в предназначенную ему комнату и вскоре вернулась. Она погасила верхний свет, оставив гореть в углу синюю настольную лампу, которую Коллинз в течение вечера особенно часто гладил руками. Так как ей не хотелось спать,— она была слишком взволнована событиями этого вечера,— Эрика уселась с ногами на диван и испытующе посмотрела на отца.

— Всюду политика, политика! — сказал Себастьян.— Она преследует тебя, как кошмар. Нет уже ни домашнего очага, ни домашних интересов. Все это поглотило страшное чудовище — политика! Она заглядывает в окна и в душу. Ты гонишь ее в дверь — она влезает в окно и спрашивает бесстрастно и по-хозяйски: с кем ты? «Не воображайте, что неучастие в политике убережет вас от ее последствий». Это сказал еще Бисмарк. Но что он знал? То были младенческие времена! Прошла та эпоха, когда каждый был сам по себе. Да, Эрика. Столкновения больших масс — вот что такое двадцатое столетие. На столе небесного крупье — судьба народов, а не отдельных людей. Санта Клаус приносит подарки не примерным детям, а удачливым народам... «С кем ты?» — спрашивает политика. «Ты мой»,— говорит одна сторона, заметь, не человек, не Вальтер, не доктор Шнейдер, не майор Коллинз, а сторона — огромный лагерь. «Ты мой»,— говорит другая сторона, вот хотя бы господин Лубенцов, и опять-таки не он один, а огромный лагерь, который стоит за ним. И ты не можешь уйти от этого ни с альпенштоком в горы Гарца, ни в собственную квартиру, ни в пещеру...

XI

Так получилось, что в ближайшие после описанного вечера дни Себастьян все время был вместе с Лубенцовым. Впоследствии Лубенцова очень хвалили за это, считая, что он проявил недюжинную предусмотрительность, почувствовав, что гости профессора способны повлиять на Себастьяна в дурную сторону. Но на самом деле это было не так. Он просто решил, что приспела надобность ясно и недвусмысленно разъяснить Себастьяну суть земельной реформы, показать жизнь крестьян, в том числе беженцев, или, как их теперь вежливо называли,

переселенцев, чтобы профессор своими глазами убедился в необходимости отчуждения помещичьих земель в пользу тех, кто обрабатывает землю. Лубенцов считал профессора Себастьяна очень честным человеком, которому предрассудки не помешают увидеть то, что есть на самом деле.

Они ездили из деревни в деревню. С некоторым удивлением Себастьян заметил, как хорошо знает комендант все, что творится в этих деревнях, помнит фамилии и житейские обстоятельства большого числа крестьян и переселенцев. Вопреки обычному порядку, они не заезжали в ратуши, к бургомистрам и вообще к начальству, а останавливались где-нибудь в избе победнее, вступали в беседы с крестьянами и крестьянками. Разговор шел главным образом между крестьянином и ландратом, а комендант только направлял разговор, задавая вопросы, время от времени делая какие-нибудь замечания, и Себастьян умилялся здравому смыслу своих соотечественников и смелости их разговоров с советским комендантом, перед которым они ничего или почти ничего не скрывали, с которым они делились своими сомнениями так, словно это был кто-то из их среды.

С другой стороны, Себастьян по заслугам оценил верный тон молодого коменданта, его вдохновенное упорство в достижении цели.

— Помещичью землю надо конфисковать,— повторял комендант на все лады и доказывал это сотнями различных соображений, а главное фактов. Он не вдавался в исторические доказательства, которые были так обычны в устах немецких коммунистов и социал-демократов. Он знал, что насчет истории Германии Себастьян посильнее его. Он показывал профессору семьи переселенцев, ютившихся в конюшнях, сараях, в полуразрушенных флигельках и просто под открытым небом. Он заставлял безземельных крестьян выкладывать свои нужды, рассказывать о своем житье. Иногда после пребывания в домишке бедняка они заезжали на часок в большой тихий помещичий дом, где их встречали изрядно напуганные помещик и помещица. После того, что профессор видел *там*, здешний быт, жизненный уклад, простор огромных комнат и колоссальных служб производили на него тяжелое впечатление. Оставшись наедине с кем-нибудь из знакомых помещиков, он говорил, потупив глаза:

— Надо как-то сжаться... Надо чем-то поступиться. Нельзя в эпоху такого страшного обнищания всего нашего отечества жить по-прежнему...

Лубенцов от души удивлялся неустойчивости профессорских взглядов. Он не раз замечал, что после беседы с помещиками Себастьян начинал колебаться, толковал о нерентабельности мелкого крестьянского хозяйства, о том, что новые крестьяне, многие из которых непривычны к сельскохозяйственному труду, не смогут дать достаточного количества продуктов; что среди помещиков есть в высшей степени порядочные люди, которые готовы на любое сотрудничество с антифашистскими партиями, таких людей нет смысла сгонять с их земель. Зато после бесед с бедными крестьянами и переселенцами, после зрелища чрезвычайной нужды Себастьян говорил нечто прямо противоположное, сетовал на несправедливость устройства общественных отношений «на нашей грешной земле» и бормотал:

— Вы правы, вы во многом правы.

На следующий день после приезда Вальтера Лубенцов с Себастьяном вернулись часов в пять вечера. Лубенцов забежал к себе узнать, как обстоит дело с обедом. Обед был готов. Взводный повар Небаба, с красным лоснящимся лицом, стоял у кафельной плиты, уперев руки в бока и глядя, как старушка Вебер и еще одна девушка, взятая к ней в помощь, перетирают посуду. Здесь же находилась Ксения. В столовой на пустом, но покрытом белой скатертью столе стояли, радуя глаз, бутылка московской водки и коробочка зернистой икры.

Лубенцов послал Ксению звать к столу, и минут через пятнадцать явились все четверо — американец, Себастьян, его сын и дочь. Из русских, кроме Лубенцова, присутствовали Касаткин, Яворский и Ксения. Касаткин вначале не хотел участвовать в приеме, цели которого казались ему туманными и необходимости которого он не понимал. Но Лубенцов настоял.

Водка очень понравилась как немцам, так и американцу, который со своей стороны принес бутылку виски. Оно пахло дымком и чем-то похожим на ременную кожу.

Лубенцов по русскому обычаю произносил много тостов — поочередно за всех присутствующих, потом за немецкий народ, за американскую армию и, наконец, за точное выполнение решений Потсдамской конференции.

Он чувствовал себя очень усталым и вместо разговоров с превеликим удовольствием лег бы спать; нет ничего более утомительного, чем показное веселье. Однако надо было говорить,

смеяться, занимать каждого в отдельности, ни о ком надолго не забывать. Он говорил по-немецки, а когда ему не хватало слов — переходил на русский, и тогда Яворский и Ксения на обоих краях стола начинали вполголоса переводить: Яворский — дружелюбно и с дежурной, но милой улыбкой на толстых добрых губах, Ксения — равнодушно и с каменным лицом.

Часто в разговор самостоятельно вступал Яворский, и Лубенцов был ему благодарен за это. Яворский рассказал о Московском Художественном театре, о советском балете, музыке и кино, кстати он ввернул словечко насчет того, что немецкие бомбы попали в два московских театра. Он рассказывал интересно, и Лубенцов не без гордости оглядывал гостей: смотрите, дескать, какие у нас ребята.

После обеда Лубенцов пригласил своих гостей на киносеанс в помещении комендантского взвода. Там демонстрировалась только что полученная советская кинокартина.

Гости уселись среди русских солдат. Солдаты искоса поглядывали на Эрику. По этим взглядам Лубенцов понял впервые, что она очень красивая девушка. Ее глаза блестели глубоким и влажным блеском.

Показывали «Юность Максима». Картина растрогала всех, даже американца. Когда зажегся свет, он долго тряс Лубенцову руку, словно Лубенцов был героем либо автором картины. Солдаты опять глядели на Эрику.

Когда вся компания вернулась к дому Себастьяна, было уже темно. Светила луна. Цветы одуряюще пахли. Американец стал трогать их пальцами, и Эрика враждебно посмотрела на него.

Лубенцов попрощался и собрался уходить. В это мгновение Эрика что-то торопливо шепнула отцу, и Себастьян пригласил всех присутствующих на торжество по случаю дня рождения Эрики через неделю. Лубенцов заметил, что Вальтер при этом пожал плечами.

На следующий день с утра Лубенцов и Себастьян снова отправились по деревням — на сей раз не в горы, как вчера, а в равнинную часть района, на восток. По дороге Лубенцов впервые заговорил с Себастьяном о его сыне. Он спросил, чем занимался Вальтер раньше и что делает теперь.

— Он инженер,— ответил Себастьян.

— Тоже химик?

— Да.

— Крупный специалист, очевидно?

— Да... Весьма способный инженер.

— Он находится на американской службе?

— Точно не знаю. По-видимому.— Спустя минуту Себастьян добавил: — Помогает разбирать архивы...

— Надеюсь, вы меня извините, что я не даю вам возможности дольше бывать с сыном после длительной разлуки. У нас принято, что дело — прежде всего. Общее дело, конечно.

— Это я заметил,— сказал Себастьян.

— И теперь как раз такой серьезный момент, так много решается важных вопросов. Я думаю, что решается судьба Германии на много лет вперед.

— Вполне возможно,— сказал Себастьян.

Машина въехала в большую деревню, хорошо знакомую Лубенцову: вот посреди деревни пруд, маленькая ратуша и маленькая кирха, а далеко влево видны верхушки деревьев парка госпожи фон Мельхиор.

Возле сарая, расположенного среди огородов, горел небольшой костер, на котором несколько женщин готовили пищу. Худая, ослепительно рыжая девочка лет десяти, завидев подходивших людей, крикнула, видимо, предупреждая кого-то:

— Der russische Oberst mit den blauen Augen ist schon wieder da! [1]

Себастьян расхохотался.

— Вас тут знают,— сказал он.

Лубенцов смущенно согласился:

— Да, я тут часто бывал.

Из сарая вышли двое мужчин — глубокий старик и рыжий детина с перевязанной рукой.

— А, Квappенберг,— узнал его Лубенцов.— Что с вами?

— Ушиб руку.

Вместе с Себастьяном Лубенцов прошел в сарай и широким жестом руки показал на постели из соломы и на детей, копавшихся в углу. Потом он так же молча вышел из сарая, и Себастьян поплелся за ним.

— Посидите здесь, потолкуйте с этим занятным стариком и с Квappенбергом,— сказал Лубенцов.— А я пойду — мне надо поговорить с бургомистром. Прошлый раз мы договорились, что он расселит этих людей по более зажиточным домам, но они всё тут. Да вот и он идет.

---

[1] Опять приехал русский полковник с синими глазами! *(нем.)*

К ним подошел бургомистр Веллер. Он уже издали громко закричал:

— Они не хотят, они сами не хотят, господин комендант!

— Кто не хочет? Переселенцы не хотят?

— Так точно. Они сами.— Он подошел ближе. С ним был Гельмут Рейнике, молодое румяное лицо которого выражало наивное огорчение по поводу того, что со вселением ничего не выходит.

Лубенцов обернулся к Кваппенбергу и спросил:

— Правду он говорит?

— Куда мы пойдем? — спросил Кваппенберг и вздохнул.— Нас никуда не пускают. Мне назначили вселиться к Биберу. Он сам бедняк, домик у него маленький... Ясно, что он не пустит.

— К Биберу? — спросил Лубенцов, повернувшись к бургомистру.— Почему к Биберу? У него ведь семеро детей. Речь шла о зажиточных домах, где много комнат и сравнительно небольшие семьи. Ведь это временно, временно! Будем строить! К Фледеру, например, кого-нибудь вселили?

— Да! Сам Фледер попросил к себе переселенцев,— сказал Веллер и, обращаясь к Себастьяну, стал объяснять: — У него огромный дом, господин ландрат. И вообще он человек покладистый, щедрый. А остальные не хотят иметь квартирантов. Гюнтер пригрозил, что он сожжет собственный дом, если к нему вселят чужих.

Лубенцов пошел с Веллером и Рейнике в деревню.

На другой стороне пруда им навстречу из большого дома вышел Ганс Фледер — высокий, широкоплечий человек лет сорока пяти, с усиками, в зеленой шляпе. Он пожал Лубенцову руку, пошел с ним рядом и начал расспрашивать о здоровье.

— Вы очень осунулись, господин комендант,— сказал он, качая головой; в его голосе и лице не было и тени притворства; казалось, здоровье коменданта глубоко и бескорыстно волнует его.— Вы слишком много занимаетесь делами. Конечно, дела — важная штука, но без отдыха тоже не обойдешься. Ну, и заботы о вас надлежащей нет. Человек вы холостой, а какой-нибудь денщик — что он может? Суп сварить да палатку поставить... Я сам на войне одно время был денщиком у полковника, знаю все... Приехали бы вы ко мне сюда. Одна неделя — и вас не узнают.— Так как Лубенцов молчал, Фледер перешел на деловой тон: — Нехорошо ведут себя наши крестьяне. Забыли, что

такое человечность. В церковь ходят, Библию читают, а поступают, как скоты. Я, господин комендант, впустил к себе четыре переселенческие семьи. Нужно будет — впущу еще семьи две-три. В такое время приходится потесниться.— Вокруг них собирался народ.— Да, да, Гюнтер,— обратился Фледер к тощему хромому человеку с палкой в руке,— ты нехорошо поступаешь. Ты не должен вымещать свой геморрой на ни в чем не повинных людях.— Все сдержанно засмеялись.— Спроси у господина коменданта, он тебе то же скажет.

— Вы большой мастер говорить, это все знают,— пробурчал Гюнтер.— Вам хорошо, у вас дом, как дворец.

— А у тебя что? Хижина? Тоже шесть комнат. Мог бы уступить одну... Кстати, господин комендант, я тут затеял одну штуку. Стадион для нашей молодежи... Я пожертвовал на эту затею кубометров двадцать досок. Собственных, моих. Все будет как в городе.

Рейнике застенчиво улыбнулся.

— Две футбольные команды готовлю,— сказал он.— Скоро вызовем Лаутербург на соревнования.

Фледер откланялся и ушел поговорить с ландратом, которого заметил на другой стороне пруда.

Когда Лубенцов закончил свои дела в деревне и вернулся к сараю переселенцев, Себастьяна там не было. Армут побежал к Фледеру и вызвал оттуда профессора.

Они поехали дальше.

— Хороший человек,— сказал Себастьян о Фледере.— Настоящий хозяин и в то же время широкая натура, человеколюбец...

В соседнем селе Лубенцов остановил машину у помещичьего дома. В доме жили переселенцы. Он удовлетворенно хмыкнул.

— Вот видите? — спросил он.— Это уже до некоторой степени решение вопроса.

— А где фон Борн? — спросил Себастьян, который знал это село и лично был знаком с помещиком.

— На западе. Пишет оттуда угрожающие письма.

— Он отвратительный человек. Я его знаю. Один из самых неприятных помещиков.

— А остальные лучше?

— Есть очень милые и образованные люди.

— Милые и образованные? — насмешливо переспросил Лу-

бенцов.— Дайте им только возможность, и эти милые и образованные съедят вас всех с потрохами. Это ловкие, жадные люди, которые знают, как сохранить свое значение, власть и собственность во всех обстоятельствах, при всех переменах. Они породили белогвардейское офицерье, которое разделалось с немецкими революционерами в восемнадцатом и двадцать третьем. Оно же поддержало Гитлера. Что вы мне говорите о родовых поместьях? Мне непонятно, как это можно наследовать большую неправедно нажитую собственность и считать себя честным человеком да еще милым и образованным.

В широко распахнутые ворота помещичьей усадьбы входили дети, множество маленьких детей с большими граблями, лопатами и цапками в руках,— и это зрелище вдруг умилило Себастьяна. Он положил руку на плечо Лубенцову и проговорил задрожавшим от волнения голосом:

— Не думайте, что я человек без сердца. Клянусь богом, я готов собственноручно застрелить десяток помещиков для того, чтобы вот эти дети были довольны и счастливы.

Они постояли молча. Так же молча пошли они к машине. Здесь их встретил бургомистр Ланггейнрих.

— Молодец,— сказал ему Лубенцов по-русски, и Ланггейнрих, который уже знал это слово, улыбнулся.

Они втроем посидели у Ланггейнриха в доме, попили молока с хлебом, поговорили. Себастьян потом сказал о бургомистре:

— Хороший человек! В нем прекрасный сплав крестьянской добропорядочности и широты взглядов.

XII

«Почему я должен возиться с этим профессором, задабривать его, нянчиться с ним? — спрашивал себя Лубенцов все эти дни, иногда с трудом сдерживая накипавшую в сердце досаду.— В конце концов я представитель военных властей, и, может быть, прав Касаткин, когда он обвиняет меня в некотором либерализме».

Честно говоря, Лубенцов не совсем понимал, по какой причине Себастьян, при его мягкотелости и половинчатости, пользуется таким авторитетом среди немцев. Он был умным и милым человеком, порывистым, немного чудаковатым, в нем отсутствовала та тяжеловесная солидность, какая была свойственна мно-

гим немцам его возраста и положения. Это нравилось Лубенцову. Вообще, если бы не сложные служебные отношения, связывающие его с Себастьяном, Лубенцов с гораздо большим удовольствием общался бы с ним и, вероятно, гордился бы его дружбой и привязанностью.

Часто досадуя на Себастьяна, Лубенцов все-таки чувствовал, а впоследствии и понял, в чем заключается секрет влияния профессора на людей. Себастьян действительно не являлся борцом, был склонен к мягкости, всепрощению и бесплодным умствованиям, но он был человеком высокой и крайне щепетильной честности. Эта честность, ставшая чертой характера, и привлекала к нему человеческие души, она же влекла к нему Лубенцова. Человек, честный перед собой и людьми,— почти борец; в гитлеровской Германии, где были смещены все нравственные представления, это подтвердилось с особенной силой.

Лубенцов тоже был человеком очень честным, но он был, кроме того, и человеком действия; в отличие от Себастьяна он не только глубоко и искренне воспринимал те или иные явления жизни, но и сразу же старался найти способы для того, чтобы одни явления укрепить, другие преодолеть, третьи сломать. Он тоже, подобно Себастьяну, сомневался и размышлял, но он это делал не вслух, как Себастьян, а про себя; он не мог себе позволить, подобно Себастьяну, откладывать принятие решений, хотя бы они были не вполне зрелыми. Нетерпение и являлось главной причиной его конфликтов с Себастьяном и того раздражения, какое зачастую вызывал в нем профессор.

Право же, он временами жалел, что уговорил Себастьяна стать ландратом, и, нередко приходя в отчаяние от колебаний старика, готов был признать, что честность — весьма неудобная штука при решении важных и не терпящих отлагательства вопросов.

Однако, несмотря на эти мысли, Лубенцов продолжал «воспитывать профессора Себастьяна в духе коммунизма», как иногда пошучивал капитан Яворский. Они продолжали ездить по селам, заводам и рудникам, проводили вечера в нескончаемых разговорах обо всем на свете.

Вальтер провел в Лаутербурге четыре дня. За эти дни он от души возненавидел советского коменданта: тот все время был со стариком; вдвоем они уезжали и приезжали, вместе ужинали, иногда Эрика накрывала им стол в отдельной комнате; извинившись, они уединялись под предлогом служебных разговоров; то

и дело звенела входная дверь — это приходили вызываемые ими чиновники ландратсамта, офицеры комендатуры или руководители демократических партий.

Вальтер и Коллинз сидели в одиночестве и раздраженно курили. Им не удалось ни разу толком поговорить с профессором. Наконец они объявили, что уезжают.

— Уезжаете? — засуетился Себастьян. Ему стало совестно, что он так редко видался с сыном; в то же время он испытывал некоторое чувство облегчения оттого, что сын и Коллинз уезжают. Перед отъездом Вальтеру удалось поговорить с ним наедине. Они вышли после разговора, длившегося свыше часа, хмурые и растроганные.

Проводив Вальтера и Коллинза к машине, Себастьян, задумчивый и обуреваемый колебаниями больше, чем когда-либо раньше, вернулся в дом. Между ним и сыном было решено, что на обратном пути из Берлина Вальтер заедет в Лаутербург, а за это время профессор должен все обдумать и решить.

Но, вернувшись в дом, профессор Себастьян опять был подхвачен водоворотом событий. Из Галле позвонил необыкновенно взволнованный старик Рюдигер; он сообщил, что закон о земельной реформе им подписан окончательно и бесповоротно. После этого пришли Меньшов, Лерхе, Иост и Форлендер. Они обратили внимание ландрата на то, что в земельном отделе проводятся махинации с помещичьей землей,— она передается задним числом монастырям и благотворительным обществам; в ландбухе[1] сделано по крайней мере десять подчисток. Коммунисты и социал-демократы потребовали снятия руководителя кадастрамта[2] и замены его сторонником земельной реформы. Затем, когда все ушли, пришел сам комендант. Он поздравил Себастьяна с принятием закона о земельной реформе и сообщил ему, что СВАГ приняла решение не демонтировать химический завод, а перевести его на производство удобрений. Завод раньше принадлежал концерну «ИГ Фарбениндустри» и производил взрывчатку, а в настоящее время — до решения его участи — выпускал глиссантин, то есть антифриз, жидкость для предохранения автомобильных радиаторов от замерзания.

— Как вы думаете,— спросил Лубенцов,— трудно будет наладить на заводе производство удобрений?

---

[1] Ландбух — земельная книга.

[2] Кадастрамт — отдел учета земельных владений.

— Нет, не трудно,— сказал Себастьян.

— Вы можете съездить на завод и составить подробную записку на этот счет?

— Могу.

Комендант выглядел усталым и счастливым. Когда вошла Эрика, он воскликнул:

— Вы знаете уже? Закон о земельной реформе принят!

— Я знаю,— сказала Эрика, улыбнувшись.

— Ну и как, вы довольны, правда?

Он весь излучал доброту и веселье.

— Оставайтесь у нас обедать,— сказала Эрика.

— Не могу. Дел много. Да и господина Себастьяна я, с вашего позволения, заберу с собой.

— Опять! Куда же вы его?..

— Ему нужно на химический завод.

— Так, сразу? — слабо запротестовал Себастьян.

— Конечно, сразу.— Он чуть не сказал по-русски «давай, давай», но так как уже знал, что это словечко засечено немцами, вовремя удержался.— Мы пообедаем где-нибудь вместе. Очень вас прошу, поедем, не будем откладывать важное дело.

— Поедем так поедем,— вздохнул Себастьян; вздохнул он, впрочем, с некоторым притворством, так как на самом деле был доволен тем, что он нужен людям и без него нельзя обойтись.

С момента вступления в силу закона о земельной реформе для немецкого самоуправления и для комендатуры начались особенно напряженные дни. То, что Лубенцову представлялось простым и ясным делом, на практике оказалось необычайно сложным.

Прежде всего надо было установить подлинное количество земли во всем районе и в каждом хозяйстве в отдельности. Данные земельного отдела устарели. Каждый день случалась какая-нибудь неожиданность вроде раздела задним числом имущества между отцом и сыновьями, скоропалительных разводов мужей с женами; кулаки предпринимали головоломные комбинации с тем, чтобы оказаться владельцами земли площадью менее ста гектаров.

Бургомистры и крестьянские комиссии иногда приходили в отчаяние, сталкиваясь с этой повседневной хитросплетенной борьбой богатого меньшинства с подавляющим большинством крестьян, заинтересованных в реформе.

Однажды к Лубенцову явился Ганс Фледер. Окинув неторопливым взглядом кабинет коменданта, он остановил долгий, подчеркнуто благоговейный взгляд на портретах, потом обратился к Лубенцову и спросил его о здоровье. Лубенцов ответил, что здоров.

— Это хорошо,— сказал Фледер.— Здоровье — самое главное в жизни человека, тем более такого человека, как вы, который несет столь ответственные обязанности по устройству жизни многих людей. Только смотрите не принимайте никаких возбуждающих порошков, они поддерживают работоспособность, но, к сожалению, ненадолго...

Лубенцов нетерпеливо застучал пальцами по столу и в то же время должен был сознаться, что спокойный, заботливый тон Фледера обезоруживает его. Фледер, пожалуй, был единственным человеком в Лаутербургском районе, который разговаривал с комендантом в таком тоне — именно не как житель говорит с военным комендантом, а как человек пожилой, житейски опытный разговаривает с человеком более молодым и менее опытным.

— Я пришел к вам,— продолжал Фледер,— против своего желания, так как знал, что у вас и без меня немало забот. Однако я вынужден обстоятельствами. Комиссия по земельной реформе собирается конфисковать мою землю, несмотря на то что я имею всего семьдесят гектаров. Это незаконно и несправедливо. Обратите на это внимание.

Он сидел, спокойный и даже веселый, голос его звучал почти сочувственно, словно он жалел время и труд такого милого человека, каким является русский комендант. Лубенцов позвонил в деревню к бургомистру Веллеру. Бургомистр подтвердил, что Фледер говорит правду. Он действительно имел всего семьдесят два гектара, что было установлено специальным обмером, проводившимся по указанию самого ландрата, профессора Себастьяна.

— Хорошо, я разберусь,— сказал Лубенцов.

Фледер поднялся, поклонился и вышел.

Через минуту в кабинет ворвался Себастьян. Он набросился на Лубенцова, говоря, что Лерхе и вообще коммунисты делают все, что им заблагорассудится, вот они решили забрать землю у образцового хозяина и честного человека Фледера, хотя не имеют на это права.

— И вы их всегда поддерживаете,— сердился Себастьян.—

Вы всегда толкуете закон так, что он обращается острием против человека, против личности.

Лубенцов ничего не ответил, а вызвал Лерхе.

— Что с Фледером? Надо соблюдать закон,— сказал он.

— Закон! — воскликнул Лерхе со свойственной ему прямотой.— Я вообще считаю, что сто гектаров — слишком много.

— Вот видите? — вспыхнул Себастьян.— Вот так они решают вопросы. Я ухожу в отставку. Делайте как хотите, но меня не вмешивайте. Я ненавижу несправедливость.

Лерхе побледнел.

— Вы всегда рады уйти в кусты! — сказал он.— Каждый раз вы угрожаете отставкой! Это наконец становится невыносимым! — Он повернулся к Лубенцову.— Я сам был в деревне! Врет ваш Фледер! Не верю, что он имеет только семьдесят гектаров! Он самый богатый крестьянин в районе! Его дочь проговорилась, что у него есть земля возле Фихтенроде! Вот вам правда! Вот вам справедливость!

— Это ложь! — вскричал Себастьян.— Фледер честный человек. Вы ненавидите людей и не верите в их правдивость.

— Я ненавижу богачей, а не людей и не верю в правдивость богачей! И народ согласен со мной, а не с вами, господин профессор!

— Что вы на это скажете? — обратился Себастьян к Лубенцову. Его голос дрожал.

— Боюсь, что Лерхе прав,— ответил Лубенцов спокойно.— Фледер очень богатый человек.

Себастьян постоял минуту неподвижно, потом вышел, хлопнув дверью.

Лубенцов покачал головой.

— Не надо так кипятиться,— упрекнул он Лерхе.— Расследуйте это дело. Пошлите людей в Фихтенроде, и пусть они выяснят.

В тот же день в Фихтенроде уехали два члена районной комиссии по реформе и молодой батрак Рейнике, которого Лерхе прочил на пост председателя сельской комиссии по проведению реформы. Договорились, что, вернувшись, они явятся сразу в комендатуру для доклада.

Комендатура опустела. Только внизу слышались звуки аккордеона и согласное пение солдат. Лубенцов, Меньшов, Лерхе и Иост сидели в комендантском кабинете, пили чай и ждали.

Посланцы вернулись в первом часу ночи. Они сообщили, что

за Фледером никакой земли в Фихтенродском районе не числится.

В ближайшие дни история с Фледером получила широкую огласку. О ней заговорили газеты западных зон. Лубенцов впервые в жизни увидел в газетах свое имя. О нем писали с ироническим уважением, называя его «выдающимся энтузиастом и одним из самых деятельных и искренних поборников ликвидации благосостояния немецкого крестьянства».

Себастьян со времени своего скандала с Лерхе не появлялся у Лубенцова и не звонил ему.

Из Альтштадта Лубенцова без конца запрашивали о «деле Фледера» и упрекали его за *излишнюю ретивость*. Это дело его совсем заездило. Он созвал совещание офицеров комендатуры и в свою очередь упрекнул Меньшова; он сказал, что Меньшов, проявив *излишнюю ретивость*, не учел, что комендатура проводит работу на глазах у всего мира. Но предложению о замене Лерхе в районной комиссии по реформе другим коммунистом, хотя бы Форлендером, Лубенцов категорически воспротивился.

XIII

Во время совещания Лубенцов обратил внимание на то, что Воробейцева и Чохова почему-то здесь нет.

— Может быть, вы дали им какое-нибудь поручение? — спросил Лубенцов у Касаткина. Но оказалось, что никаких заданий ни Чохов, ни Воробейцев не получали.

— Распустились, вот и все,— сказал Касаткин.

Лубенцов покачал головой. При каждом шуме за дверью он подымал голову и смотрел с беспокойством на дверь, ожидая увидеть Чохова. Но тот так и не явился до конца совещания.

После совещания Лубенцов опять вспомнил о Чохове. Он упрекнул себя за то, что редко видится с Чоховым, предоставив товарища самому себе и дружбе с Воробейцевым, которого Лубенцов недолюбливал.

Он пошел по кабинетам. С некоторым удивлением осматривал он комендатуру, превратившуюся в настоящее учреждение. Офицеры сидели за столами, принимали немцев, писали, совещались и звонили по телефону. Яворский разговаривал с хозяином кинотеатра, разрешая ему демонстрировать одни кинокартины и запрещая другие. Увидев Лубенцова, Яворский

кинулся к нему со списком переименованных улиц и площадей города, предложенным магистратом. Лубенцов просмотрел список и утвердил все переименования, кроме одного. Площадь Адольфа Гитлера магистрат предложил переименовать в площадь Карла Маркса. Лубенцову показалось бестактным сопоставление этих двух несоизмеримых имен даже в этом случае, и вместе с Яворским они решили назвать площадь именем Фридриха Шиллера.

В соседнем кабинете работал Чегодаев. Тут было накурено и шумно. Рабочие — члены производственных советов, советские военные инженеры — военпреды на заводах, профсоюзные руководители приходили сюда со своими просьбами и требованиями.

По всему коридору был слышен громкий голос и оглушительный смех Чегодаева. Когда вошел Лубенцов, Чегодаев вскочил и торжественно отрапортовал:

— Товарищ подполковник, отдел промышленности разрабатывает план промышленной продукции на будущий, тысяча девятьсот сорок шестой, год. Докладывает капитан Чегодаев.

— Вольно,— сказал Лубенцов.

— Товарищ подполковник,— быстро заговорил Чегодаев, сразу же переходя на другой, «бытовой» тон.— Рабочие медного рудника сообщают, что хозяин ночью сбежал. Как быть? Я думаю, что рабочие должны взять производство под свой контроль...

— Правильно. Пусть так и действуют.

Кабинет Меньшова тоже был полон людей. Тут находилась депутация крестьян. Меньшов вполголоса доложил, что община Финкендорф просит не делить среди крестьян землю графа фон Борна.

— Как так не делить?

— Они говорят, что у фон Борна семеноводческое хозяйство, и есть смысл сохранить его в прежних размерах, чтобы оно стало сельскохозяйственным кооперативом или «провинциальным имением» вроде совхоза. По их мнению, так целесообразней. Коммунисты и социал-демократы поддерживают крестьян. Это инициатива Ланггейнриха.

— Очень хорошо. По-моему, здоровая идея. Наше начальство, очевидно, тоже их поддержит.

Лубенцов обошел все комнаты. Чохов и Воробейцев как в воду канули. Он спустился вниз. Там было пустынно — боль-

шинство солдат находилось в наряде. Один повар Небаба, красный как рак, возился у плиты. Воронин сидел в каптерке и что-то писал.

— Дмитрий Егорыч,— сказал Лубенцов.— Сделай милость, пойди поищи Чохова. Исчез он вместе с Воробейцевым, и всё!

Воронин молча кивнул головой и встал с места.

— Давно тебя не видел,— сказал Лубенцов.— Совсем забегался с этой реформой. Как, доволен своей работой?

— Почему недоволен? Доволен.

— Солдаты какие подобрались? Ничего?

— Солдаты хорошие. И сержанты опытные, особенно Веретенников. Вполне тянет на помкомвзвода.

— Надо мне почаще тут бывать,— виновато сказал Лубенцов.— Тут у вас как в России. Легче дышится как-то. А там,— он показал рукой наверх,— там теперь трудно. Сложный переплет.

— Да,— согласился Воронин.

— Так поищи, пожалуйста, Чохова.

— Поищу.

Лубенцов вышел из каптерки, миновал большую комнату, обвешанную советскими плакатами и портретами,— комната служила красным уголком,— и поднялся наверх.

Начинался прием.

Ксения вводила людей одного за другим. Первым она ввела сухощавого человека в старомодном черном сюртуке. Это был пастор Клаусталь, суперинтендэнт, то есть руководитель лютеранских церквей района. Клаусталь сказал, что собор в основном отремонтирован и что он просит коменданта прийти посмотреть на работы. Лубенцов пообещал зайти, но Клаусталь не уходил, по-прежнему сидел, чуть согнувшись, в большом кресле, в которое можно было усадить четырех таких худых пасторов. Лубенцов замолчал, выжидательно глядя на пастора. Наконец Клаусталь сказал:

— Мне хотелось бы задать вам вопрос.— Лубенцов кивнул головой.— Какова, по вашему мнению, роль церкви в создавшейся обстановке?

Лубенцов слегка смешался, так как вопрос застал его врасплох, и он положительно не знал, что ответить. Он вспомнил, что у него среди купленных книг лежит толстый том «Истории церкви в Германии» и пожалел, что не успел еще просмотреть эту книгу.

— Видите ли,— продолжал пастор,— в связи с земельной реформой в наших приходах происходит некая дискуссия. Если говорить с христианской точки зрения, земельная реформа благо, ибо она проводится в интересах бедных людей...

Насчет реформы Лубенцов мог говорить хоть целый день. Он закивал головой.

— Тут мы с вами сходимся,— сказал он.

— С другой стороны,— продолжал пастор,— многие помещики и богатые крестьяне — весьма благородные люди, которые относились с большой терпимостью к батракам из России и других стран... и вообще пользуются симпатией и доверием со стороны прихожан. Не кажется ли вам, господин комендант, что к таким людям нужно проявить милосердие?

— Ах, вы вот о чем! — пробормотал Лубенцов, мрачнея.— На этот счет у нас такое мнение. В тяжелом положении, постигшем Германию, более всего виноваты именно эти симпатичные, благородные люди, как вы изволите их называть. Они создали немецкую военную касту. В этих самых домах, больших и малых, обвешанных олеиьими рогами, родились и росли офицеры вермахта. И хотя они гордились своей родовитостью, они ради своего благополучия сами отдались под власть безродного австрийского ефрейтора. Это было им выгодно — вот в чем дело. Нет, господин Клаусталь, тут мы с вами никогда не сойдемся, и я вам честно об этом говорю, потому что я не дипломат, а солдат. Да и речь-то идет не о ликвидации людей, а о ликвидации класса. Германия без Гитлера — это все та же Германия; Германия без помещиков — это уже другая, новая страна, где нет почвы для Гитлера. Что, впрочем, об этом толковать? Закон принят, и закон будет выполняться. А вы можете помочь своему народу, если, как вам положено, будете стоять на стороне неимущих и обездоленных... Посмотреть собор я приду, постараюсь сегодня прийти.

Клаусталь вышел из комнаты. Лубенцов сказал Ксении:

— Следующий!

И ахнул: «следующим» оказалась Эрика Себастьян. Она шла медленно и нерешительно, устремив на Лубенцова прямой, напряженный взгляд.

— Садитесь,— сказал Лубенцов.

Она сказала:

— Я пришла к вам по следующему поводу. Мне сообщили, что арестован один из солдат, забравших у нас машину, и что

ему угрожает военно-полевой суд. Я прошу вас... Они вели себя, в общем, вполне пристойно тогда. Они сказали, что берут машину на несколько дней. Может быть, они действительно ее вернули бы... А насчет их... разговора со мной... Боже мой, разве нельзя солдатам поухаживать за молодой и не безобразной женщиной?..

«Кругом христиане, никуда не денешься от них»,— подумал Лубенцов. Перед ним вдруг встало лицо сержанта Белецкого. Лубенцов сказал сухо:

— Этот солдат нарушил воинскую дисциплину. К вам это не имеет никакого отношения. Это внутреннее дело наших войск.

Она побледнела, сказала: «Ясно»,— и повернулась, чтобы уходить. Ему вдруг стало ее жалко, но он подавил это чувство и добавил только:

— Вы можете написать свое свидетельское показание и прислать сюда. Я могу вам лишь обещать передать ваше письмо по назначению.

После ее ухода, принимая все новых и новых людей, Лубенцов часто думал о ней и отгонял от себя эти мысли, злясь на себя за то, что думает о ком-то, кто не является его Таней, и обвиняя себя поэтому в слабости воли и в склонности к дурному.

К концу дня приехал профессор Себастьян. Они несколько дней не виделись с Лубенцовым и встретились очень сухо, хотя время от времени кидали друг на друга исподлобья любопытные взгляды. Себастьян молча протянул Лубенцову докладную записку, написанную на машинке.

«Прошение об отставке»,— промелькнуло в голове у Лубенцова, и он приготовился к тяжелому разговору. Но, взглянув на бумагу, просветлел. Это была докладная насчет химического завода. Себастьян излагал результаты своего обследования, перечислял меры, необходимые для перевода предприятия на новое производство.

Лубенцов позвонил в Альтштадт. Генерал Куприянов сказал, что будет целесообразно, если Себастьян поедет в СВА и лично доложит об этом важнейшем вопросе, которым интересуется маршал Жуков. Положив трубку, Лубенцов передал слова генерала Себастьяну.

Себастьян, если был польщен, ничем не показал этого Лубенцову. Он подчеркнуто официально сказал, что благодарит за приглашение и завтра утром выедет, после чего откланялся и ушел.

— Есть еще кто-нибудь на прием? — спросил Лубенцов у Ксении.

— Депутация батраков.

— Зовите.

В кабинет вошли четыре человека; среди них Лубенцов с удовольствием увидел Гельмута Рейпике. Он подошел к молодому батраку, пожал его руку, усадил вначале его, потом остальных и дружелюбно спросил:

— Ну, что у вас, товарищи?

Самый старый из батраков, долговязый человек с маленьким морщинистым лицом, заговорил смущенно и нескладно:

— Господин комендант. Мы прибыли от имени группы батраков поговорить с вами насчет господина Фледера.— Лубенцов насторожился.— Господин комендант, господин Фледер хороший человек, он заботится о своих рабочих. Господин комендант, господин Фледер хорошо кормит своих рабочих, повышает их культурность, выписывает для них газеты, коммунистические и социал-демократические. Господин комендант, господин Фледер построил на свои средства «спортплац» для крестьян, на свои средства, и лес свой дал на это дело, а также подарки детям батраков готовит к сочельнику, богатые подарки готовит, да.

— Так что вы хотите? — спросил Лубенцов. Его лицо стало серым.— Реформу отменить, что ли? Жить, как жили, батраками, и получать подарки к сочельнику? Этого вы хотите?

— Нет, господин комендант, зачем, господин комендант,— сказал другой батрак.— Нет, мы за... Мы хотим все поместья забрать, разделить, коммуны сделать. Вот что мы хотим.— Он сконфуженно улыбнулся.— Но мы просим, чтобы господина Фледера... У него и земли немного.

— И ты об этом просишь, Рейпке? — спросил Лубенцов в упор молодого парня, который пунцово покраснел.

Лубенцов долго молчал, наконец, когда ему самому стало уже невмоготу, сказал:

— Если у Фледера земли мало, так его и не тронут. Ведь закон ясен... Ну и ну! Беда с вами, немцы! Когда вы уже поймете, что можно жить без хозяев, самим быть хозяевами...

— Господин комендант,— вмешался Рейнике. Он был попрежнему пунцово-красен и чуть не плакал.— Не поймите нас неправильно... Мы понимаем. Вся наша жизнь в земельной реформе. Мы только... Мы...

Лубенцов грустно улыбнулся.

— Все,— сказал он.— Ваше ходатайство мы учтем, конечно.

Они торопливо и молча покинули кабинет.

На этом прием закончился. Лубенцов отослал Ксению, посидел несколько минут в одиночестве, потом вспомнил о Чохове и велел справиться о нем. Чохова все еще не было.

Лубенцов пошел в ратушу, где располагалась районная комиссия по земельной реформе, и поднялся к Лерхе. Тот уже знал про депутацию батраков.

— Рейнике будем исключать из партии! — вскричал он.

— Не за что. Его воспитать надо, а не исключать. Он и сам, кажется, горько жалеет о том, что сделал. Ладно. Пошли посмотрим собор — я обещал Клаусталю. Только захватите Форлендера.

Лерхе недовольно покачал головой. Он не одобрял заигрывания с церковью, как и вообще любых отклонений от прямой, последовательной линии, которая иногда представлялась его воображению именно в виде ровной, ледяной, неуютной, но ясной дороги.

Они направились втроем в собор.

Огромная брешь в левом приделе была искусно закрыта, так что почти незаметно было, где находились ее границы. Собор был пуст, шепот здесь отдавался гулким эхом. Старичок сторож побежал за Клаусталем, и пастор вскоре явился. Он показал им гробницу одного из германских императоров тринадцатого века и его жены. Каменные фигуры императора и императрицы во весь рост лежали рядом, огражденные чугунной решеткой. Орган, не пострадавший от бомбежки и ярко начищенный, сиял во всю стену.

— Ну что ж,— сказал Лубенцов,— как будто все в порядке?

Его голос отозвался в соборе мощно и раскатисто.

— Скамейки, господин комендант,— сказал Клаусталь.— Почти все скамейки сгорели, часть растащили...

Лубенцов подумал про себя, что немцы любят удобства даже на молитве. Он обернулся к Форлендеру.

— Что ж, надо заказывать. Отпустите им леса. Надеюсь, есть тут хорошие столяры? Ну вот и хорошо.— Он посмотрел в мрачное лицо Лерхе, и ему вдруг захотелось засмеяться. Но он сдержался и подумал о том, что Лерхе — милый, честный и хороший человек, но ограничен и, может быть, до некоторой

степени ближе к средневековым монахам, которые вдохновили строительство этого собора, чем к тем гуманистам, которые боролись против них.

Вернувшись в комендатуру, Лубенцов опять пошел к Касаткину.

— Чохова нашли? — спросил он.

— Нет.

— Воронин не возвращался?

— Нет.

Воронин вернулся вечером и сказал, что нигде не мог найти Чохова и что, поужинав, отправится продолжать поиски.

— Не надо, хватит,— хмуро сказал Лубенцов.— Тут ему нянек нет. Придется строго их наказать.

Но Воронин, любивший Чохова и желавший избавить его от неприятностей, наскоро поужинав, опять отправился на поиски. Внизу, возле комендатуры, его дожидался Кранц.

— Пошли,— сказал Воронин и сунул Кранцу в руку завернутую в газету буханку хлеба.— Куда же мы пойдем?

Кранц подумал и полувопросительно сказал:

— На Кляйн-Петерштрассе?

— Это еще что за штрасса?

— Это...— Кранц замялся.— Это улица, где находятся публичные дома.

— Ну нет,— сказал Воронин.— Не может быть, чтобы капитан Чохов... Ладно, пошли.

Кляйн-Петерштрассе была до невозможности узенькой улицей, по которой не могла бы проехать машина. Дома тут были трех- и четырехэтажные, приклеенные один к другому, но вообще эта улица не отличалась от других и ничем не выдавала своего назначения. Правда, в некоторых распахнутых окнах виднелись всклокоченные женские головы. Может быть, эти женщины зазывали прохожих из окон, но на сей раз они этого не делали, видимо смущенные красной повязкой на рукаве Воронина — приметой комендантского патруля. Однако стоило Воронину с Кранцем войти в первый попавшийся дом, как все стало ясно до отвращения. Вся улица состояла из «заведений». В каждом здании их было по шесть — восемь, каждое со своей хозяйкой и со своими «барышнями» (так их называл по-русски Кранц). Убогая обстановка маленьких клетушек, состоявшая из железной кровати, одного стула и обязательно ведра и таза, испуганные грубо раскрашенные лица «барышень», неприят-

ный въедливый запах,— все это даже видавшего виды Воронина привело в ужас.

— Ну и ну,— твердил он, поглядывая на Кранца осуждающе, словно Кранц был во всем этом виноват.

Тем не менее Воронин открывал дверь за дверью и с каменным лицом заглядывал в каморки; при этом он думал про себя, что после того, что здесь видел, он, пожалуй, может вообще навсегда потерять всякий интерес к женщинам.

Очутившись наконец в конце улицы под тусклым электрическим фонарем, Воронин облегченно вздохнул, плюнул и сказал:

— Будьте вы прокляты.

Итак, Чохова на Кляйн-Петерштрассе не оказалось. Воронин, простившись с Кранцем, отправился домой, чтобы доложить Лубенцову, что капитана Чохова он не нашел.

Вернувшись к себе, Воронин сел заканчивать письмо своей невесте в город Шую.

«Моя милая Катя,— написал он,— я очень скучаю по тебе. Лаутербург городок покрасивее Шуи, но мне хочется домой, опротивел мне этот Лаутербург до тошноты, честное слово. Тут такое иногда увидишь, что, если рассказать там, у нас,— никто не поверит. Обнимаю тебя и целую сто раз и рад от души, что ты у меня есть и что ты живешь в нашей родной и простецкой Шуе, а не здесь, допустим, в этом красивом Лаутербурге».

XIV

Чохов в это время находился в деревне за пятнадцать километров от Лаутербурга. Прошлой ночью он был в гостях у Воробейцева и остался ночевать у него, а на рассвете Воробейцев его разбудил.

— Съездим на охоту,— сказал Воробейцев.— Тут у одного немца есть хорошая легавая собака. Ружья и патроны я приготовил. А к десяти мы будем как штыки в комендатуре. Зайцев тут видимо-невидимо.

Зайцев действительно развелось в Германии в то время много, так как немцам не разрешалось пользоваться охотничьими ружьями, как и другим оружием. Они это настолько усвоили, что сопровождавший Чохова и Воробейцева молодой парень даже отказался взять ружье в руки. Он только ходил с ними и показывал хорошие места для охоты. Принадлежав-

шая ему резвая коричневая собака с длинными ушами, под кличкой «Эльба», бежала впереди охотников, делая правильный «челнок», то появляясь, то исчезая в высокой траве, дрожа от возбуждения и изредка поворачивая к охотникам раскрытую улыбающуюся пасть, как будто звала их за собой и сулила массу удовольствий.

Чохов никогда до сих пор не охотился, но им вскоре овладел охотничий азарт, особенно после того, как был застрелен первый заяц, выбежавший буквально из-под его ног. Зайца застрелил Воробейцев, и если раньше он был непривычно сдержан и сосредоточен, то теперь безумно расхвастался и начал рассказывать о своих многочисленных охотах и о том, что в запасной части, стоявшей под Москвой, он осенью сорок третьего года снабжал всю офицерскую кухню зайцами и птицей, за что его не хотели отпускать на фронт, в связи с чем он в запасной части пробыл почти год.

Чохов после удачного выстрела Воробейцева стал внимательнее и собраннее, так как заяц-то был его, Чохова, и только отсутствие охотничьих навыков заставило его промедлить с выстрелом.

Однако и второго зайца он проворонил, хотя заметил его первый. Дело в том, что в последнее мгновенье перед выстрелом он вдруг испугался, решив, что принял за зайца собаку и что эта маленькая тень, летящая стремглав среди травы,— тень собаки. Не выстрелил и Воробейцев, так как в это время он, шагая длинными ногами метрах в пятнадцати правее, все не переставал разглагольствовать о своих прошлых охотничьих победах. Когда же заяц прошмыгнул перед его носом и исчез в роще, он накинулся на Чохова с упреками. Чохов молчал, так как признавал себя виноватым. Но вскоре Воробейцев сказал, что пора отдохнуть и выпить, и что без выпивки не бывает охоты, и что, по сути дела, охота — только повод для выпивки на лоне природы, и пусть Чохов не выглядит так мрачно, так как зайцев на свете много и всех не перестреляешь. Парень, тащивший на спине убитого зайца и туго напиханную сумку с провизией, по сигналу Воробейцева постелил на траве нечто вроде пледа, положил на этот плед сумку, а сам отошел в сторону и присел на корточки. Собаку он взял на поводок и привязал к елке.

Воробейцев живо разложил еду, откупорил бутылку. Они выпили по одной. Чохов сказал:

— Позови немца.

Воробейцев пропустил слова Чохова мимо ушей. Снова выпили по рюмке. Становилось все теплее. Солнце поднялось выше. Чохов обеспокоенно посмотрел на часы. Он все время помнил, что им надо не опоздать в комендатуру, но после четвертой или пятой рюмки он вообще вообразил, что сегодня воскресенье и что спешить некуда. Он лег на спину и, не слушая, что говорит Воробейцев, глядел в бездонное небо. Про немца он тоже забыл и даже забыл, что он в Германии. Небо, ясное и утреннее, чуть-чуть холодноватое, было такое, как в Новгороде. Когда Воробейцев стал его тормошить, он встал. Он уже толком не помнил, почему он здесь находится, и пошел неверным шагом вперед, мутными глазами глядя на бегающую взад и вперед собаку. Раздался выстрел и следом за ним другой. Чохов все шел вперед, и так как ему было все равно куда идти, он вскоре незаметно для себя забрел в густой молодой орешник и потерял из виду Воробейцева и сопровождавшего их мальчишку-немца. С трудом выбрался он из густых зарослей на поляну. Из-под его ног выпорхнул целый выводок куропаток.

Он пошел дальше. Словно догадавшись о том, что он ни для кого не опасен, мимо него пробежали один за другим два зайца. Чохов рассердился, что они так безбоязненно бегают мимо него, нахмурился, остановился. Он смутно понимал, что ради этих зайцев он и находится здесь, но как их достать, не знал, а о ружье, висевшем у него за спиной, совсем забыл. Он встал «смирно» и крикнул властно, по-командирски:

— Зайцы, ко мне!

Он постоял так неподвижно минут пять, но так как к нему никто не шел,— в том числе не появлялся и Воробейцев,— он стал тяжело и упорно думать о чем-то. Тут его взгляд упал на целую россыпь белых грибов, торчавших возле самой его ноги.

— Грибы, ко мне! — сказал Чохов и опять задумался.

Наконец он решил пойти «домой», сделал «кругом» через левое плечо и пошел. Пошел он совсем по другому направлению и вышел на большое поле, где немецкие крестьяне скирдовали пшеницу. Он остановился, долго смотрел на них. Глубочайше уверенный в том, что он на родине, он был очень рад, увидев крестьян.

— Колхозники, ко мне,— пролепетал он и, заметив рядом огромную кучу соломы, уселся возле нее и уснул. Тут его и

нашел Воробейцев, который сбился с ног, разыскивая товарища. Он стрелял в воздух, кричал, но все понапрасну. Наконец он повстречал немца-крестьянина и тот объяснил ему, что какой-то «русский солдат» спит неподалеку.

Молодой немец, сопровождавший Воробейцева, еле тащился, нагруженный зайцами.

Воробейцев разбудил Чохова, которого сон несколько вытрезвил.

— Что это мы пили за гадость? — спросил он.

Воробейцев сказал, что надо опохмелиться и что, выпив рюмки две, он «станет совсем молодцом». Парнишка опять расстелил плед. На свет божий появилась вторая бутылка.

— Иди сюда,— позвал Чохов немца. Немец приблизился и сел с ними. Чохов выпил рюмку, и они снова пошли. Тут Чохову сразу же повезло. Он подранил зайца, которого немец добил ножом. Чохов был первоклассным стрелком и доказал это вскоре, когда Воробейцеву вздумалось потренироваться в стрельбе, бросая вверх пустую бутылку в качестве подвижной мишени.

Чохову так втемяшилось в голову, что сегодня воскресенье, что он уже ни о чем не беспокоился и, увлеченный охотой, провел весь день в лесу. Когда начало темнеть, они вернулись обратно к оставленной в деревне машине.

— Где бы тут одного зайчишку обжарить? — спросил Воробейцев у паренька, и тот показал ему барское поместье. Они въехали в большие ворота. На огромном дворе не было ни души. Вдали виднелся неосвещенный дом. Воробейцев скрылся в доме, оставив Чохова возле машины. Вскоре Воробейцев вернулся возбужденный, рассеянный. Он произнес только одно слово: «Пошли»,— и пошел впереди, время от времени оборачивая к Чохову напряженное и судорожно улыбающееся лицо, как собака во время охоты.

Они очутились в большой зале, посреди которой стояло чучело бегемота. Стены залы были увешаны картинками и фотографиями, изображавшими голых и полуголых негров и негритянок с кольцами в носах и ушах. Из-за бегемота появился невысокий молодой человек в курточке с застежками «молния». Он изобразил на лице гостеприимную улыбку и провел обоих офицеров в следующую комнату — столовую. Затем он с Воробейцевым исчез в боковой двери.

Чохов подошел к окну. Уже совсем стемнело. Чуть прелый

запах отцветающих роз доносился из окна. Слабо освещенная оконным светом, колыхалась медная листва деревьев.

Заслышав шаги, Чохов повернул голову. В столовую снова вошли Воробейцев и молодой человек. Вместе с ними была женщина, одетая в закрытое черное платье. Она подошла к Чохову, протянула ему руку, улыбнулась и представилась:

— Лизелоттэ Мельхиор.

Приставку «фон» она опустила.

Чохов пробормотал свою фамилию и поднял глаза на Воробейцева. Воробейцев был бледен и серьезен.

Пожилая служанка накрыла на стол. Все уселись. Разговор не клеился. Чохов удивлялся молчаливости и напряженности Воробейцева. Впрочем, после выпивки Воробейцев разговорился. Он шпарил по-немецки напропалую, бесстрашно продираясь сквозь придаточные предложения и опрокидывая как попало грамматические правила. Он сидел возле женщины, подливал ей вина и глядел на нее почти страшными от затаенной страсти глазами.

Женщина вначале молчала, глядела на скатерть. Потом она тоже оживилась, начала посматривать на Воробейцева чуть прищуренными холодными глазами, наконец заговорила. Она сказала, что ее отец имел большое поместье в Африке, в Камеруне, еще до первой мировой войны; она там в раннем детстве провела несколько месяцев. То было поместье гораздо более обширное и богатое, чем это, немецкое. Впрочем, и это поместье уже больше ей не принадлежит, сказала она, помолчав. Оно до раздела находится под опекой ландратсамта. Несмотря на всю свою выдержку, помещица не могла скрыть волнения, ее глаза сверкнули.

— Конечно, не в богатстве счастье,— сказала она, улыбнувшись Воробейцеву.

Она начала смеяться приятным, волнующим смехом и все смотрела на Воробейцева, а тот тоже смотрел на нее безотрывно.

— Мне много не нужно,— продолжала она, бросив на Воробейцева пытливый и затравленный взгляд.— Если бы мне оставили этот дом и несколько гектаров земли...

Глаза Воробейцева пронизывали ее, но, услышав последние слова, он вдруг принял суховатый, деловой вид и сказал:

— Конечно... Это верно... М-м-м... Это правильная мысль. При некоторых условиях...

Чохов почти ничего не понял из разговора, но ему было неприятно здесь находиться, и он подумал, что они совершенно зря сюда заехали. Он сказал об этом Воробейцеву, тот раздраженно возразил:

— Зайца своего собственного мы имеем право съесть или как? Переночуем и поедем.

Вскоре зайца принесли. Он весь плавал в жиру, и Чохов подумал, что помещикам и после реформы, видимо, неплохо живется. Воробейцев не притронулся к зайцу; он наклонился к женщине и что-то ей говорил. Наконец он встал и сказал торопливо, почти захлебываясь:

— Поздно уже, спать пора. А, Вася? Спать пора, правда?

Чохов поднялся и вместе с Воробейцевым и молодым человеком с застежками «молния» вышел в залу с бегемотом. Молодой человек повел их по лестнице вверх. Воробейцев прыгал через три ступеньки и все оглядывался на Чохова.

В полутемной комнате Чохов улегся на двуспальной кровати, укрытой перинами вместо одеял. Воробейцев медлил, курил, потом приблизил лицо к лицу Чохова, опять посидел, покурил, затем встал и вышел. Чохов вскоре уснул. Рано утром его разбудил Воробейцев, уже вполне одетый. При сером свете занимавшегося дня Воробейцев был особенно бледен. Он стал торопить Чохова.

— Надо ехать, надо ехать,— говорил он беспокойно.

Чохов быстро оделся, они вышли. Парень и собака уже были возле машины.

— Надо ехать,— повторял Воробейцев, не глядя на помещичий дом.

Когда они выехали из ворот имения, Воробейцев вдруг засмеялся, прищелкнул языком и, покосившись на Чохова, сказал:

— Заяц-то был неплох...

Он опять засмеялся и в это мгновение на повороте улицы ударил машину об угол дома. Толчок на минуту оглушил Чохова. Он с трудом вылез из машины. Все отделались испугом. Радиатор и правое крыло были исковерканы. Собака выскочила из машины и, втянув голову в плечи, приникла к земле. Сопровождавший их молодой человек никак не мог опомниться от испуга и еще с полминуты негромко и протяжно выл на одной ноте.

— Да ладно, заткнись! — прикрикнул на него Воробейцев.

Из поврежденного дома высыпали люди. До чего много людей было в этом маленьком доме — взрослых и детей. Одних детей человек восемь. Здесь жили две большие семьи — местный крестьянин впустил к себе семью переселенца.

Рядом была авторемонтная мастерская. Машину затолкали туда, а Чохов, Воробейцев и молодой немец с собакой остановились посреди улицы. Убитые зайцы лежали рядом с ними. Воробейцев вполголоса ругался. Чохов молчал.

Они направились в сельскую гостиницу — двухэтажный дом с пивной внизу. Здесь они уселись у столика. Воробейцев то и дело бегал в авторемонтную мастерскую. Наконец он вернулся совсем мрачный и сказал Чохову, что придется завтра машину на буксире потащить в город, так как ремонт требуется серьезный.

— Наш-то будет сердиться,— сказал Воробейцев, усаживаясь за стол.— Здорово нам попадет от него.

Чохов вначале пропустил это мимо ушей, но потом вдруг пристально посмотрел на Воробейцева, встал с места, прошелся по пустой комнате взад и вперед и спросил:

— Сегодня какой день?

— Суббота,— сказал Воробейцев.

— Ты не шути,— быстро заговорил Чохов, остановившись возле Воробейцева.— Ты эти шутки брось. Как так суббота? Ты знаешь, что ты сказал? Ты понимаешь, что ты сделал?

Воробейцев чуть отодвинулся.

— Во-первых, не «ты сделал», а мы сделали,— сказал он, быстро встал и отошел в угол комнаты.— Что ты пионера из себя корчишь? На меня одного хочешь все взвалить? И водочку пить и остаться любимчиком у Лубенцова?

Чохов оглянулся на молодого немца, сидевшего в углу между ружьями, сумками и убитыми зайцами, и промолчал.

— Зря ты взъерепенился,— миролюбиво сказал Воробейцев, медленно приближаясь к Чохову.— Ничего страшного не случилось. У нас выходных дней не бывает. Что ж тут такого? Случилось несчастье — машина разбилась. Это со всяким может случиться. Даже с твоим Лубенцовым. Выехали на охоту на рассвете, а на обратном пути машина разбилась. Вот мы и застряли. Тоже трагедия! «Отелло, или Венецианский мавр»!

Чохов вышел на улицу и постоял у двери пивной с опущенной головой. Ему было стыдно крестьян, шедших на полевые работы. Ему казалось, что они знают, что он бездельник и на-

рушитель дисциплины, и смотрят на него, как все труженики смотрят на бездельников. Из пивной вышел Воробейцев.

— Вася, а Вася,— сказал он.— Ну зачем ты так боишься начальства? Ну правильно, мы виноваты, и я виноват больше, чем ты. Это я тебя втравил в это дело. Ничего, как-нибудь отбрешемся. Больше так постараемся не делать.

Чохов отошел от него на середину улицы. В деревне все было тихо. Громко горланили петухи. Потом появились дети. Они вышли на улицу, сонные, полуодетые, зевая во весь рот. Длинные тени ложились от них поперек всей улицы.

Из двери пивной показался и парень с собакой и убитыми зайцами. Чохов постоял, глядя налево, туда, откуда должны были вскоре появиться машины, следующие в город. Гостиница стояла на пригорке, и вся деревенская улица, превращающаяся примерно через километр в большую дорогу, была перед его глазами. Направо он не глядел, и вот как раз оттуда минут через пять появились две легковые машины, которые, поравнявшись с гостиницей, круто затормозили.

Чохов обернулся. Из передней машины выскочил Лубенцов, он медленно обогнул машину спереди и так же медленно пошел к пивной.

Чохов старался не смотреть на него. Он смотрел на машины. За стеклами первой он увидел Ксению Спиридонову и Меньшова. На второй были Лерхе и два незнакомых немца.

Лубенцов подошел к двери пивной, внимательно посмотрел на Воробейцева, потом так же внимательно — на зайцев и на собаку, затем поднял глаза на Чохова.

— Мясозаготовки? — спросил он.

— Машина разбилась,— пробормотал Воробейцев.

— Кроме зайцев, все живы остались? — сказал Лубенцов.— Что же вы стоите? Садитесь по машинам. Парнишке придется добираться пешком.

Воробейцев сел в машину к Лубенцову, а Чохову пришлось сесть к немцам. Машины тронулись.

XV

Они повернули направо, на другую, меньшую, деревенскую улицу и остановились возле одного из домов. Все высыпали из машин. Медленно вылезли и Чохов с Воробейцевым. Лерхе постучал в калитку, и вскоре к ним вышла молодая женщина.

— Где Веллер? — спросил Лерхе.

— Спит еще,— отвечала она. Она глядела на всех с любопытством.

— Разбудите его,— сказал Лерхе.

Пока она будила Веллера, все молчали. Воробейцев курил сигарету за сигаретой. Меньшов отозвал Чохова и шепотом спросил:

— Где ты пропадал?

Чохов ничего не ответил.

Появился Веллер. Он поздоровался со всеми за руку и молча стал ожидать, что ему скажут.

— Позовите Рейнике,— сказал Лерхе.

Молодая женщина быстро пошла по улице и вернулась вскоре с молодым белокурым парнем.

Все вошли во двор, и Чохов с Воробейцевым тоже. Воробейцев напустил на себя деловитый и нахмуренный вид; молодая женщина смотрела на него с некоторым страхом.

Они прошли в большую горницу, всю уставленную мебелью, так что почти негде было стоять. Все сели, и Лубенцов заговорил с Веллером и Рейнике. Он говорил по-немецки, и Чохов почти ничего не понимал, но видел, что Лубенцов сердится. Рейнике был смущен, растерянно разводил руками. Веллер сидел угрюмый.

Так как Лубенцов не пожелал пользоваться переводом, а говорил по-немецки сам, Ксения отошла к окну и стала глядеть во двор. Чохов рассеянно смотрел на ее профиль — строгий, правильный и очень русский. Голова ее с тяжелыми косами была повязана платочком из синего сатина. Концы этого платочка были завязаны сзади — так в Германии никто не завязывал косынок. За окном желтел большой клен. Ксения однажды повернулась и заметила на себе взгляд Чохова. Оба смутились, и Ксения снова отвернулась к окну.

Голос Лубенцова раздавался в притихшей комнате — то строгий, то издевательский. Изредка он останавливался и спрашивал у Ксении:

— Как это будет по-немецки — «подкулачник»?

Или:

— Как это будет по-немецки — «вы разоблачили себя», да так, чтобы покрепче.

Ксения отвечала довольно быстро, а когда не знала точного перевода слова, то говорила:

— Это можно объяснить так...

Потом Лубенцов стал говорить с Рейнике. В его голосе появилась горечь. Он говорил скорее укоризненно, чем зло.

— Как будет по-ихнему — «дали себя обвести вокруг пальца»? — спросил он у Ксении и после ее ответа сказал: — Это неточно передает.

Она предложила другую фразу.

— Это лучше,— сказал он и продолжал разговор по-немецки.

Потом ездили по полям, наблюдали, как крестьяне убирают урожай, осмотрели мельницу, требовавшую ремонта, и, вернувшись в село, на несколько минут остановились возле домика, где жил Рейнике. Здесь Лубенцов и Лерхе поговорили с Рейнике, затем машины пошли в город.

Чем ближе они подъезжали к городу, тем раскаяние и смущение Чохова становились все сильнее.

Наконец они подъехали к комендатуре. Чохов вылез из немецкой машины, которая тут же ушла, и через пять минут — вкупе с Воробейцевым — оказался у Лубенцова в комендантском кабинете.

— Вот возьмите бумагу и пишите объяснение,— сказал Лубенцов.

Было нечто унизительное в том, что их, как провинившихся школьников, посадили по обе стороны стола, дали в руки по перу и по листку бумаги и заставили писать.

Но не это было главное. Главное было то, что Чохов не знал, что писать. Должен ли он написать правду или написать то, о чем говорил Воробейцев,— то есть что им помешала вернуться вовремя авария автомашины, которая по этому варианту произошла не сегодня утром, а вчера утром. Тогда Лубенцов может задать законный вопрос, почему же они не вернулись в город на попутной машине, почему они не позвонили по телефону из села с просьбой прислать за ними машину или по крайней мере не сообщили об аварии.

С другой стороны, Чохов, несмотря на всю злость на Воробейцева, которую он испытывал, не хотел ставить Воробейцева в исключительно тяжелое положение своим явным отрицанием всего, что Воробейцев напишет. Он сознавал, что для Воробейцева это может иметь самые серьезные последствия, так как явная ложь произведет на Лубенцова и Касаткина слишком невыгодное впечатление.

Воробейцев понимал, что творится в душе у Чохова, и то и дело порывался переглянуться с ним, переговорить с ним, что-нибудь шепнуть. Но это было невозможно: Воробейцев знал, что бывший разведчик не так прост,— он сидит за своим столом и глядит на бумаги, но он все прекрасно видит. Тогда Воробейцев решился и стал писать свои объяснения так, как давеча он предлагал Чохову, то есть что они были на охоте; что по дороге в город машина разбилась; что, пока он устраивал ее в авторемонтной мастерской и пытался вместе с немецкими мастерами починить ее, прошло много времени; что немецкие мастера обещали, что вот-вот закончат, а он думал, что они действительно вот-вот закончат и он сможет если не вовремя, то с небольшим опозданием приехать в Лаутербург, однако потом он спохватился, что уже стало поздно, пришлось переночевать в деревне; он все же передал через попутную машину записку в комендатуру, которую немцы, по-видимому, не вручили по назначению; он даже об этом не говорил Чохову, потому что тот был огорчен их опозданием и поссорился с Воробейцевым из-за этого; и он обещает, что найдет эту немецкую машину, потому что запомнил ее номер, и докажет, что сделал все положенное; кроме того, он обещает, что в дальнейшем ничего подобного не повторится.

В то время, как он писал все это, он многозначительно поглядывал на Чохова, стараясь хотя бы взглядом сообщить товарищу свою самоуверенность. Но Чохов не глядел на Воробейцева. Он и не писал ничего. Когда прошло минут тридцать и Лубенцов поднял на них глаза, Воробейцев вскочил и с готовностью подал ему свою писульку. Чохов остался сидеть на месте. Когда же Лубенцов испытующе посмотрел на него, он мрачно сказал:

— Ничего я не буду писать. Виноват я, и всё.

— Как так не будете писать? — с оттенком юмора спросил Лубенцов.— Ведь вы получили приказание писать.

Чохов молчал.

— Ладно, идите,— сказал Лубенцов, и оба вышли.

На следующее утро к Чохову пришел солдат и передал ему приказание явиться к коменданту в кабинет.

Лубенцов спешил по срочному делу в Фихтенроде. Кроме того, он терпеть не мог читать нотации. Но надо было все высказать Чохову, другого выхода не было, и он стал говорить. Не без иронии по собственному адресу он заметил, что все, что

он говорил, получалось убедительно и складно,— не без иронии потому, что он впервые отметил в себе это новое умение читать нотации и вообще говорить складно,— оно, это умение, пришло к нему здесь, в Германии, так как *говорить* было одной из важных обязанностей коменданта. Он напрактиковался, или, грубо говоря, «*насобачился*», до того, что ему не стоило труда произнести без подготовки речь, при этом не испытывая волнения,— не то что раньше.

Но как ни насмешливо, словно посторонний наблюдатель, следил за собой Лубенцов, как ни удивлялся складности своей речи, то, что он говорил, было серьезно и обдуманно.

Он начал с того, что бросил на стол объяснительную записку Воробейцева и сказал с горечью:

— Вот полюбуйтесь, товарищ Чохов, записка капитана Воробейцева. Даже писать не научился правильно. «Товарищ» с мягким знаком пишет. «Привосходно» вместо «превосходно». А ведь он школу окончил, в вузе учился два года. Дело тут не в правописании. Дело в том, что многие наши люди — и боюсь, что вы тоже,— привыкли жить захребетниками у государства, не стремитесь самостоятельно работать, самостоятельно учиться. Вы представляете себе Советское государство поповским работником, который вам яичко испечет, да сам и облупит. Это верно, что наше государство в отличие от остальных кровно заинтересовано в том, чтобы каждый гражданин стал образованным и высококультурным человеком. Но ведь это достижимо только при условии, если каждый будет помогать государству в этом, будет сам к чему-то стремиться, рваться вперед, овладевать культурой. А на деле получается, что такие молодые люди, как вы, например, капитан Чохов, знают гораздо меньше, чем их отцы, окончившие на медные гроши церковноприходскую школу... А ведь в то время им государство мешало, не давало ходу... Ох, как я ненавижу наших полуинтеллигентов с их поверхностными знаниями, с их полным отсутствием любознательности, с их вечным иждивенчеством за счет самого благородного из государств! Как я ненавижу этих недорослей, которые и от простого народа оторвались и в интеллигенцию не вошли! А ведь офицер — типичный представитель интеллигентного труда. Почему вы не читаете, Чохов, книг? Почему не учитесь немецкому языку, на котором написаны великие произведения? Почему вы серьезно не вникаете в дело? Неужели и вы относитесь к категории людей, которые, с детства чувствуя за-

боту о себе нашего общества, так или иначе забыли о своем долге перед собой и обществом? Капитан Чохов, вы плохо исполняете свои обязанности.

Говоря все это, Лубенцов, полный жалости и любви, смотрел, как все больше темнело лицо Чохова.

Воцарилось долгое и тяжелое молчание. Потом Чохов впервые поднял глаза на Лубенцова и проговорил:

— Вы все правильно сказали. Я постараюсь. Я просто не гожусь для этой службы. Я вам сразу про это сказал.

— Василий Максимыч! Голубчик! — воскликнул Лубенцов, подойдя к Чохову и обнимая его.— Годишься! Конечно, годишься! Ты только пойми все.— Произнося эти слова, Лубенцов в то же время думал, что, может быть, напрасно так быстро расчувствовался и что это, может быть, непедагогично и глупо, лучше было бы дуться дня два-три, чтобы Чохов глубже понял свою вину. Так поступили бы многие умные начальники. И все-таки он чувствовал, что поступает правильно, потому что Чохов принадлежал к тем натурам, для которых сознаться в своей вине слишком трудно, чтобы это могло быть неискренним или скоропреходящим.

XVI

Когда Чохов вышел из кабинета, Лубенцов спросил у дежурного, прибыл ли бургомистр Веллер. Бургомистр был здесь. Лубенцов надел фуражку и вместе с Веллером сел в машину.

«Дело Фледера» все еще не кончилось ничем, и Лубенцов решил лично распутать это кляузное дело.

Несмотря на воскресный день, в фихтенродской комендатуре царила такая же суета, как и в лаутербургской. И здесь люди сбились с ног. Пигарев, однако, был дома. Оставив Веллера в машине, Лубенцов направился к Пигареву. Он прошел под увитым плющом сводом, очутился в маленьком дворике и вошел в ту самую одностворчатую дверь, окрашенную в ярко-красную, вроде трамвайной, краску. Всюду было тихо. Он открыл следующую дверь и увидел Пигарева, сидевшего за столом в брюках и нижней рубашке. А рядом с ним, за тем же столом, сидела — вернее, стояла на коленях на стуле, опершись о стол локтями и заглядывая через плечо Пигарева в бумаги, которые он рассматривал,— Альбина Терещенко.

Лубенцов не поверил своим глазам, настолько это было не-

ожиданно. Он даже сделал шаг назад, чтобы уйти. Но Пигарев оглянулся, заметно смутился, однако крикнул в своей манере — громко и весело:

— А, Сергей Платонович! Коллега! Заходи, заходи.

Альбина лениво спустила ноги со стула — она оказалась в пижамных брюках — и повернула голову к Лубенцову. Она владела собой прямо мастерски, и ее смущение не распознал бы даже более внимательный наблюдатель, чем Лубенцов.

— Заходи, заходи,— продолжал Пигарев, хлопая Лубенцова по плечу.— Давно не видались. Аграрный вопрос! Некогда с товарищем повидаться! Садись, Сергей Платонович.— Он покосился на Альбину, и его лицо вдруг потеряло выражение веселости и радушия.— Ну, знакомить я тебя не буду. По-моему, вы хорошо знакомы. Что ж, назовем вещи своими именами. Моя жена.— Он глянул на Лубенцова исподлобья, и было в его взгляде нечто новое, испытующее и загнанное.

Дело в том, что Пигарев ревновал Альбину к Лубенцову. Он был уверен, что во время работы ее в лаутербургской комендатуре между нею и Лубенцовым что-то было, потому что, хотя он любил ее, может быть, первой настоящей любовью, он не питал к ней ровно никакого доверия. Более того, он был убежден в ее развращенности. И всего удивительнее было, может быть, то, что и любил он ее именно по этой причине.

Лубенцов всего этого не знал, но он почувствовал неловкость в тоне разговора и постарался поскорее объяснить Пигареву свое дело, с тем чтобы немедленно заняться расследованием. Однако тут вмешалась Альбина, которая быстро оправилась от первоначального смущения и своим обволакивающим голосом начала просить Лубенцова остаться хоть на полчасика, позавтракать с ними. Лубенцов вынужден был согласиться, и они сели к столу.

— У вас теперь переводчицей Ксения Спиридонова? — спросила Альбина, накрывая на стол.— Злющая кикимора. Терпеть ее не могу. Из нее слова не выдавишь. Да и вряд ли она хорошо знает немецкий. Работала она на заводе. Может быть, даже читать не умеет.

— Нет, почему,— сказал Лубенцов, не зная, как найти правильный тон с Альбиной, неожиданно оказавшейся женой товарища.— Она старается.

— Ну, уж лучше Альбины, я думаю, переводчицы не найдется,— сказал Пигарев.— Ее можно было бы вполне и комен-

дантом сделать. Все знает. Но не думай, я ее не сманивал. Так получилось.

Не обошлось и без выпивки. Время шло. Лубенцов хотел покончить скорее с этим ненужным завтраком, но уйти было невозможно. Он понимал, что уйти нельзя, что «молодожены» обязательно обидятся: Пигарев подумает, что Лубенцов считает его брак стыдным и нехорошим, то есть таким, каким сам Пигарев в глубине души считал этот брак; Альбина оскорбится, решив, что Лубенцов не одобряет товарища и презрительно относится к ней, к Альбине, по той причине, что она несколько лет была здесь, в Германии, и бог ее знает что тут делала. Все это создавало довольно сложный переплет намеков, раненых самолюбий и напряженного внимания друг к другу, которые были для Лубенцова в высшей степени тягостными, не говоря уже о том, что он не хотел тратить дорогое время на всю эту в общем сущую безделицу.

Закусывая и обмениваясь то с Альбиной, то с Пигаревым незначительными фразами, Лубенцов напряженно думал о том, что у Пигарева, кажется, была жена, и о том, что Пигарев, вероятно, даже не сообщил той жене об этой. И Лубенцов был целиком на стороне той жены, не потому, что вообще был таким уж противником разводов во что бы то ни стало, а потому, что новой женой была эта Альбина, против которой он в общем ничего не имел и о которой, по сути дела, ничего плохого не мог бы сказать, кроме того, что она такая, какая есть.

Ко всему прочему он вскоре стал замечать, что Альбина — может быть, под влиянием выпитого вина — смотрит на него опять так же, как смотрела тогда, когда была у него переводчицей в Лаутербурге, и что говорит она с ним тем же низким, обволакивающим контральто, который заставляет думать, что за произнесенными словами стоят совсем другие — гораздо более значительные и интимные.

Когда в соседней комнате позвонил телефон и Пигарев вышел взять трубку, Альбина приблизила лицо к лицу Лубенцова и спросила:

— А вам не жалко, что я уехала?

Лубенцов отшутился:

— Наоборот. Быть женой ведь приятнее, чем переводчицей.

— Это можно совмещать,— сказала Альбина и добавила тихо и одновременно вызывающе: — Я не хотела уходить от вас. Я думаю о вас. Очень часто.

Вошедший Пигарев подозрительно посмотрел на них и сказал:
— Ладно, пора в комендатуру.
Он быстро оделся и вышел вместе с Лубенцовым.
— Вот такие дела,— сказал Пигарев и вдруг спросил в упор: — Ты, я вижу, чем-то недоволен? Осуждаешь? — Не получив ответа, он продолжал: — Мне и без тебя хватает судей. Вызывали в политотдел... Люблю ее, и все, и никто мне не указ. А что касается Вари, так я с ней даже не расписан. И нечего мне голову морочить.
— К тому же она далеко, а эта рядом,— съязвил Лубенцов, но, не желая вступать в бесплодный спор, торопливо добавил: — Конечно, дело твое. И хватит об этом.
— Нет, не хватит, не хватит,— рассердился Пигарев.— Вот ты мой товарищ, я тебя люблю, а ты тоже меня осуждаешь. Нет, я вижу, что осуждаешь! А почему, не сможешь мне объяснить...— Он криво усмехнулся.— А Альбина о тебе хорошо отзывается. Хвалит. Говорит, что ты комендант почище меня...
Они подходили к комендатуре, и Пигареву пришлось замолчать. Часовой сделал им на караул. Капитан в просторном вестибюле отдал рапорт. Они поднялись наверх и прошли прямо в кабинет. Пигарев нажал на кнопку электрического звонка и одновременно крикнул:
— Беневоленский!
Вошел сержант в очках.
— Петрова сюда. Ландрата вызвать немедленно.
Петров — офицер комендатуры по сельскому хозяйству — тут же явился в кабинет и, выслушав дело Лубенцова, кратко сказал:
— Выясним.
Спустя минут пять явился толстый добродушный ландрат. Пигарев говорил с ним отрывисто и властно, и видно было, что ландрат его побаивается. Лубенцов подумал: «Этот ландрат не осмелился бы орать на Пигарева, как Себастьян на меня. Видно, я действительно либерал».
Они поехали в ландратсамт и часа два рылись в «грундбухе». Они там ничего не нашли. Чиновник, ведавший этими делами, был скользко-услужлив, но не слишком ретив. Пигарев кричал на него, тот моргал глазами и повторял:
— Не числится, господин комендант.
Тут вмешался капитан Петров:

— Как так не числится? А ведь мы с вами однажды говорили про одно хозяйство... Флюдер или Флядер... Женщина, помните? Толстая. В деревне Биркенхаузен.

— Поехали в Биркенхаузен,— сказал Лубенцов.

В Биркенхаузене дело выяснилось с такой быстротой, что Лубенцов удивился. То, что издалека да еще через третьих лиц выглядело необычайно запутанным, здесь, на месте, оказалось проще простого. Разумеется, усадьба в восемьдесят га принадлежала Фледеру. Вся деревня знала об этом. Фрау Мольдер, сестра невестки Фледера, не особенно пыталась это скрыть. Веселая, толстая, разбитная, она встретила советских офицеров и чинов самоуправления радушно и давала показания не без некоторого удовольствия, потому что явно недолюбливала своего хозяина.

Она сказала, что у Фледера есть также большой лес в Мекленбурге, в районе города Грайфсвальда.

Лубенцов даже руками развел. Он позвонил Касаткину, что приедет завтра, а сам без дальнейших размышлений вместе с Веллером отправился на машине в Грайфсвальд. Он весело и злорадно усмехался, представляя себе, что скажет старик Себастьян.

Путь предстоял длинный. Вообще говоря, следовало попросить на эту поездку разрешения СВА, но Лубенцов решил не тратить попусту время. Армут жал вовсю. Дороги были прекрасные. Машина делала сто километров в час.

По обе стороны дороги мелькали голые поля, перелески и деревни. Навстречу то и дело попадались машины и высокобортные телеги. Лубенцов иногда поглядывал на свою карту. Усвоенный им за войну инстинкт правильного выбора дороги безошибочно вел машину в нужном направлении. Они ехали на северо-восток. Широкая равнина грелась в лучах теплого осеннего солнца. Понемногу спокойствие и радостное ощущение длительной поездки охватили душу Лубенцова. И, ощущая в себе это настроение, он в то же время почти неотступно думал о делах, в частности о том, как полезно для крестьян и батраков, что Фледер, этот сладкогласный, мягкостелющий кулак, прикидывавшийся с таким искусством доброжелательным и веселым другом народа, будет изобличен в обыкновенном мошенничестве. Иногда ход привычных мыслей Лубенцова прерывался размышлениями о Тане, и эти размышления и воспоминания, сладкие и горькие в одно и то же время, то и дело пере-

бивались более конкретными и потому опасными мыслями, связанными с тонким лицом, стройной фигурой и светлыми волосами Эрики Себастьян.

От этих мыслей Лубенцов хмурился и, чтобы рассеять их, начинал более или менее оживленно разговаривать то с Армутом, то с Веллером. Потом он снова замолкал, и опять путаница разных мыслей и лица разных людей мелькали у него в голове под мерный рокот мотора и плавное покачивание машины.

Поглядывая на Армута, он думал об Иване, которого он, вероятно, никогда больше не увидит, так как Иван подпадал под новый закон о демобилизации, принятый на днях Верховным Советом СССР.

Веллер, заметив молчаливость коменданта, тоже помалкивал, тем более что чувствовал себя несколько виноватым в истории с Фледером. Он сознавал, что проявил неуместную и глупую доверчивость; честно говоря, он до сегодняшних разоблачений восхищался Фледером и считал его своим ближайшим помощником в проведении реформы, так как Фледер пользовался влиянием среди крестьян и ловко прикидывался горячим сторонником демократических преобразований. Теперь Веллер восхищался настойчивостью и проницательностью коменданта, непримиримостью и правильным чутьем Лерхе и обещал себе, что будет стараться подражать им и учиться у них.

Армут, как всегда в поездках, все время молчал и лишь прислушивался к мотору, сцеплению, коробке скоростей, карданному валу и резине. Он был в полном сознании своей ответственности за жизнь советского коменданта и за успех его поездки, в суть которой он не входил, но которую считал весьма важным делом, раз это дело казалось важным коменданту. Помимо того, он немного грустил, считая, что работает на машине коменданта временно, так как не знал еще, что Иван не вернется.

Так они ехали, каждый со своими мыслями, но все трое неразрывно связанные между собой не только пребыванием в одной машине, но и многими другими нитями, чувствами и интересами.

Часа через три Лубенцов почувствовал голод и с досадой хватился, что забыл взять с собой что-нибудь съестное. Спустя несколько минут до него донесся запах жареного мяса. Он покосился на Веллера. Веллер достал из кармана пальто обернутый в газету пакет,. вынул оттуда бутерброд с мясом, потом

опять завернул пакет в газету, спрятал его в карман, а бутерброд стал медленно и негромко поедать. Съев бутерброд, он откинулся на спинку сиденья и задремал.

Голод давал себя знать все сильнее. Лубенцов все больше мрачнел и нет-нет, а все возвращался мыслями к обернутому в газету аккуратному пакетику в кармане Веллера. Веллер же, ни о чем не подозревая, сидел, дремал, вновь просыпался, зевал, глядел в окно. Спустя часа полтора он опять вынул из кармана свой сверток. Лубенцов спиной — ей-богу, спиной — почувствовал это и стал напряженно и со странным любопытством ждать, что будет дальше. Веллер вынул из свертка еще один бутерброд, на этот раз с большой, разрезанной надвое сосиской. Он снова аккуратно завернул пакет и спрятал его в карман, затем съел бутерброд и стал глядеть в окно.

Лубенцов спиной чувствовал каждое движение Веллера, и каждое движение Веллера вызывало в Лубенцове нечто очень близкое к ненависти.

Вскоре машина въехала в довольно большой город. Лубенцов спросил у прохожего, где находится советская комендатура, и они отправились туда. Дежурный лейтенант дал Лубенцову записку в офицерскую столовую и молодого солдата в качестве проводника. Вместе с Веллером и Армутом Лубенцов вошел в столовую. Русская девушка-официантка подала им щи, котлеты с гречневой кашей и теплый компот — все блюда сразу. Лубенцов с подчеркнутым радушием угощал Веллера, пододвигая к нему хлеб, огурцы и помидоры. Чувство вражды к Веллеру исчезло в нем и сменилось чувством приятного для самолюбия чуть-чуть презрительного превосходства, соединенного с насмешливым удивлением. Он в душе посмеивался над Веллером, считая, что этим сытным обедом в советской столовой дал ему предметный урок товарищества.

Уплатив за обед, Лубенцов вышел вслед за Веллером и Армутом на улицу. Армут достал из багажника бачок с бензином и налил бензина в бак. Затем все уселись и поехали дальше. Вскоре городок остался позади, и снова замелькали поля и перелески, черепичные крыши деревень, выпасы со стадами коров и овец. Лубенцов с беспокойством посматривал на карту. До Грайфсвальда оставалось еще двести километров. Несмотря на быстроту езды, они в среднем делали шестьдесят — семьдесят километров в час, учитывая разные остановки, задержки, медленную езду в населенных пунктах и так далее. Таким образом,

они, если даже исключить возможность каких-либо неожиданностей, приедут в Грайфсвальд только к вечеру. Заняться делом, ради которого они ехали, удастся только завтра, и неизвестно еще, сколько времени оно потребует.

— Давай, давай,— поторапливал Лубенцов Армута.

Начало темнеть. С пастбищ потянулись стада. Коровы и овцы, лошади и козы то и дело запружали дорогу, и машина из-за этого двигалась медленно. Армут во всю мочь давил на автомобильную сирену, но это не помогало.

Стало темно. Армут включил фары. Дорога обезлюдела. Вскоре пришлось остановиться — спустило одно заднее колесо. Армут заменил его запасным, заодно снова долил бензину и масла, и опять поехали дальше. Через несколько минут Лубенцов услышал за спиной шуршание бумаги. Веллер развернул свой сверток, достал из него еще один бутерброд, остатки опять спрятал и начал медленно жевать.

Лубенцов криво усмехнулся и зло забарабанил пальцами о подлокотник. Его подмывало сказать Веллеру что-нибудь оскорбительное. Ему хотелось вырвать из рук Веллера бутерброд и выбросить в окно этот кусок хлеба с мясом. Но он сдержался. До Грайфсвальда он не проронил ни слова.

Грайфсвальд оказался необычайно красивым старинным приморским городком, совершенно не пострадавшим от войны. Тут было множество замечательных по архитектуре зданий, уютных площадей и тенистых улиц. Свежий морской ветер шуршал в листве деревьев. Впрочем, осмотреть город у Лубенцова не было времени. Полковник — комендант города, узнав, что привело Лубенцова сюда, сразу же пустил дело в ход. Он и сам был заинтересован в этом деле, так как земля, принадлежавшая Фледеру, числилась тут за другим владельцем. Несмотря на позднее время, полковник вызвал к себе заведующего кадастрамтом, молодого и энергичного человека, бывшего крестьянина, члена коммунистической партии, который, не откладывая дела в долгий ящик, предложил Лубенцову немедленно выехать на место.

Они наскоро поужинали в маленьком ресторанчике напротив комендатуры, где питались офицеры советской воинской части, стоявшей в городе. Опять, как днем, Лубенцов потчевал Веллера.

— Ешьте, Веллер,— говорил он.— А то смотрите, проголодаемся в дороге.

Веллер благодушно кивал головой, благодарил и ел за двоих.

Лубенцов уплатил за ужин, и они отправились за город, в лесные угодья господина Фледера.

Как и следовало ожидать, ведавший этими угодьями старичок оказался подставным лицом и под напором приехавших с Гарца русского офицера и односельчанина Фледера вынужден был сознаться, чьим имуществом он управляет.

На следующее утро, получив в земельном отделе необходимые документы, Лубенцов выехал обратно. На сей раз он захватил с собой еды на троих на всю дорогу.

Когда они уже подъезжали к предгорьям Гарца, Лубенцов вдруг повернулся всем корпусом к Веллеру и сказал:

— Извините меня, Веллер, я иностранец и, как это бывает, многого не понимаю в обычаях чужой страны. Скажите, это у вас принято — не делиться своей едой с товарищами по поездке, забывшими захватить еды в дорогу?

Веллер ужасно смутился, покраснел и сказал, что нельзя сказать, что это принято или что это является неким обычаем,— так было бы неправильно сказать; но так как-то водится; бывает, что и в гости идешь со своей провизией, и когда едешь на несколько дней, скажем, к своим родителям, то заранее посылаешь им деньги на эти несколько дней по столько-то марок на день; в хорошие времена тоже так было; аккуратность, неискренне хихикнул он, национальная немецкая черта.

— Немецкая? — переспросил Лубенцов.— Верно ли это? Не черта ли это всех мелких собственников?.. Нет, нет, Веллер. Я не сержусь на вас, а просто размышляю вслух.

XVII

Лубенцов ввалился в комендатуру веселый и усталый. Он тут же вызвал Касаткина и Меньшова и сообщил им о результатах поездки. Они обрадовались. Меньшов зарделся от удовольствия.

— Где Чохов? — вдруг спросил Лубенцов.

— Здесь,— ответил Касаткин.— У себя.

— Ну, как они тут с Воробейцевым?

— Пока все хорошо, стараются.

— Позовите ко мне Чохова.

Когда Чохов вошел, Лубенцов сказал:

— Василий Максимович, пойдем ко мне, поужинаем. И Воронина возьмите с собой, если он свободен. Посидим. Вспомним генерала Середу и наше дивизионное житье-бытье.

Но, придя домой вместе с Чоховым и Ворониным, Лубенцов возле своей двери столкнулся с Себастьяном.

— Я к вам,— сказал Себастьян.

— Прошу.

Себастьян зашел, и тут Лубенцов с удивлением заметил, что ландрат одет в парадный костюм — он был в длинной визитке, накрахмаленной снежно-белой манишке и лакированных туфлях. Воронин даже потихоньку свистнул.

— Я на вас сердит и не пришел бы к вам,— откровенно сказал Себастьян,— но меня заставила прийти моя дочь. У нее день рождения, и вы приглашены уже давно.

— А почему вы на меня сердитесь? — лукаво спросил Лубенцов.— У вас нет никаких оснований, и я готов...

Себастьян замахал руками.

— Прошу вас, не будем говорить сегодня о делах. Объявим на один вечер перемирие. Итак, мы вас ждем.

С этими словами профессор вышел.

— Что делать? — беспомощно сказал Лубенцов.— В кои веки выдалась возможность посидеть с вами — и вот такое! Придется пойти. Эх, старик! Он не хочет говорить о делах и не понимает, что для меня посещение именин его дочери — вовсе не удовольствие, а тоже дело, и не легкое! Да еще в такое горячее время, когда ландрату следовало бы заниматься более важными вопросами...

— А как с подарком? — вставил Воронин.

— Ох!.. Подарок!.. Тьфу!

— Сделаем,— сказал Воронин и побежал искать Кранца.

— Надеть штатский костюм? — спросил Лубенцов у Чохова.

Чохову даже трудно было себе представить, что Лубенцов будет в штатском костюме. Штатский костюм казался Чохову необычайно бесформенным. Но, поразмыслив, он сказал, что лучше действительно Лубенцову одеться в штатское, как бы демонстрируя этим, что он в данном случае частное лицо.

Лубенцов вытащил из шкафа свой костюм.

— Спасибо Альбине,— сказал он.

Когда он оделся, Чохов с трудом узнал его — настолько этот стройный, русый молодой человек не был похож на подполковника Лубенцова. Однако Чохов должен был признаться, что

штатский костюм Лубенцову к лицу. Следовало только выгладить пиджак. Они нашли электрический утюг, и Чохов взял на себя миссию привести пиджак в порядок. Но тут оказалось, что у Лубенцова нет ботинок, а надеть сапоги под брюки, по-видимому, было неприлично. У Чохова ботинки были, так как он иногда носил военные брюки навыпуск, и он побежал за ботинками. Когда он вернулся, возник вопрос о галстуке. Лубенцов сознался, что никогда в жизни не носил галстука. Но этой беде помог Воронин, который вскоре прибежал со свертками в руках.

Выключив утюг, Чохов пошел посмотреть на подарки, которые Воронин раздобыл для Эрики Себастьян.

— Что у тебя там? — спросил Лубенцов.

Воронин развернул свою добычу. Там было всего по три: три пары чулок в красивых пакетиках из целлофана; три флакона одеколона «французского, высшей марки», заверил Воронин; три бутылки ликера — «это здешний, местный,— заметил Воронин.— Может, неудобно?»

— Им бы консервы преподнести,— пробормотал Лубенцов.— Плохо живут. Наш ландрат, надо ему отдать справедливость, не из хапуг.

Чулки Лубенцов сразу забраковал. Такого рода подарок показался ему просто неприличным, чуть ли не нескромным намеком.

— Ты бы еще подвязки принес,— проворчал он.

Остановились на одеколоне. Ликер Лубенцов тоже после некоторого раздумья решил взять с собой и незаметно сунуть фрау Вебер в прихожей.

— Хорошо бы цветы,— предложил Чохов.

— Цветов у них много,— возразил Воронин.— Да и что толку? Завянут — выкинут.

Лубенцов рассеянно спросил:

— А как же с галстуком быть?

— С галстуком? Минуточку,— сказал Воронин и выбежал на улицу за ворота. Он зажег фонарик и осветил стоявшего в темноте Кранца и его галстук.

— Неважнецкий галстук,— сказал он.

— Могу принести другой,— предложил Кранц.

— Долго ждать.

Кранц снял свой галстук и вручил Воронину.

— Завтра отдам,— сказал Воронин.— Чулки получай обратно. Не прошли.

Кранц стал возражать, говоря, что это вполне прилично — дарить чулки и что сейчас с чулками дело обстоит плохо, так что вот такие чулки — наилучший подарок для дамы.

— Не хочет,— сказал Воронин.— Подожди, сейчас деньги принесу за ликер и духи.

Он вернулся в дом, быстро вывязал галстук Лубенцову, потом сказал:

— Деньги.

Лубенцов дал ему денег и отправился в большой дом, испытывая страшное смущение в непривычном костюме. Так как закапал дождик, он постарался быстро пробежать расстояние до большого дома,— штатского пальто у него не было. Проклиная в душе всю эту историю, он нажал на звонок.

Гостей было человек тридцать. Когда Лубенцов, сунув в руки фрау Вебер свои подарки, вошел в большую гостиную, никто не обратил на него внимания, так как все, сидя в креслах, на стульях и диванах, слушали девушку, игравшую на рояле. К тому же многие из присутствовавших не знали Лубенцова, те же, что были с ним знакомы, не узнали его в гражданском костюме. Эрика, обернувшись, удивленно прищурилась, с полминуты разглядывала его и только потом сразу просветлела, бесшумно поднялась с места, подошла к нему и крепко пожала ему руку. Девушка продолжала играть на рояле. Эрика стояла рядом с Лубенцовым и молча смотрела на него. Ему стало не по себе, он шепнул:

— Поздравляю.

— Я вас не узнала,— шепнула она в ответ.

Девушка кончила играть, все зааплодировали и стали просить ее сыграть еще. А Эрика все продолжала стоять возле Лубенцова. Потом ее позвали, она неохотно отошла от него и скрылась в соседней комнате.

Лубенцов не без чувства облегчения сел на свободный стул и принялся рассматривать людей.

Он узнал президента Рюдигера, сидевшего в кресле рядом с женой — большой суровой старухой, удивительно похожей на своего мужа. Возле них с одной стороны сидел Себастьян, с другой — худой и задумчивый Клаусталь, а рядом с пастором — незнакомый Лубенцову мужчина в черной шикарной паре, с блестевшей при свете люстры лысиной. Правее, на диване, расположились три седых старика весьма ученого вида. Слева от Себастьяна стоял бывший бургомистр Зеленбах, в своих огром-

ных черных очках похожий на филина. Он опирался рукой на оттоманку, на которой устроились его толстая жена и две дочери. Хозяин книжной лавки Минден, бесцветный человек с двойными цилиндрическими очками, примостился в уголке у самого рояля, а рядом стоял изящный Гуго Маурициус с маленькой, болезненного вида блондинкой — женой.

Позади всей это группы на диванчике полулежала и курила сигарету фрау Лютвиц, а возле нее сидели двое незнакомых Лубенцову грузных людей во фраках.

Все смотрели вдаль с таким выражением лиц, словно они разглядывают нечто интересное, но так как оно заслонено от них чужими головами и горю помочь нельзя, то приходится спокойно ждать, пока передние не насмотрятся. Это они слушали музыку.

Лубенцов внимательно посмотрел на Себастьяна. Профессор был красив в своем черном костюме. Его большие темные глаза теперь — может быть, благодаря музыке — казались грустными, прямые седые волосы всклокочены, и эта небрежность, особенно в окружении приглаженных и припомаженных причесок остальных мужчин — заставила Лубенцова дружелюбно улыбнуться. Он впервые смотрел на Себастьяна не как на ландрата и не как на профессора, а как на человека среди других людей. И Лубенцов решил, что Себастьян — красивый, приятный и, несомненно, значительный человек.

Придя к этому выводу, Лубенцов повернул голову влево, к другой большой группе людей, сидевших слева от рояля.

Здесь было больше молодежи: прилично и старательно одетые юноши с гладкими прическами и узкими пиджачками и девушки, сдержанно-взволнованные, раскрасневшиеся, с трудом заставляющие себя сидеть неподвижно. Среди них находился только один пожилой человек — Эрих Грельман. Он был одет в коричневый мешковатый костюм. Музыкой он, по-видимому, не интересовался и все время шептался с одетой в длинное вишневого цвета платье дамой, в которой Лубенцов вскоре с удивлением узнал помещицу фон Мельхиор.

Наконец, еще левее, у окна, тоже стояло и сидело несколько человек. Среди них были Форлендер, Иост и рабочий-коммунист Визецки, ведавший в ландратсамте вопросами труда. Узнав их, Лубенцов приятно удивился и мысленно назвал эту группу «левыми скамьями», как это принято в парламентах в отношении левых партий.

Визецки был с женой — молодой работницей, опрятно, но бедно одетой. Она смотрела на собравшееся общество с нескрываемой насмешкой, ее голубые острые глаза смеялись. Этот взгляд пришелся по душе Лубенцову. Ему понравилось, что работница, оказавшаяся в «высшем свете», не оробела, не желает приспосабливаться; она пришла такая, какая есть. И Лубенцов подумал, что, когда рабочие придут к власти в стране, эта женщина, если ей придется принимать у себя гостей, даже самых высокопоставленных, будет делать это со спокойным достоинством, весело и непринужденно. Он чуть не вынул из кармана записную книжку, чтобы, по своему обыкновению, занести туда для памяти фамилию фрау Визецки, но вовремя сдержался.

В то же время Лубенцов был рад, что Себастьян, хотя и пригласил «светское общество» Лаутербурга, как он делывал, вероятно, прежде, счел нужным позвать и своих новых друзей и сослуживцев. Это уже было прогрессом, хотя от позы «между двух стульев», как ни была она для него тягостна, он еще не отказался.

Лубенцов посмотрел на Себастьяна и с трудом скрыл веселую усмешку, когда вспомнил о своей поездке. Ему захотелось сразу же подойти к профессору и огорошить его рассказом о землях «честного Фледера» в Биркенхаузене и под Грайфсвальдом. И вдруг взгляд Лубенцова упал на сидевшего рядом с Клаусталем господина со сверкающей лысиной, и Лубенцов узнал Фледера. Да, это был Фледер собственной персоной; по-видимому, Лубенцов не узнал его раньше лишь потому, что не мог себе представить его во фраке и к тому же не знал, что у Фледера лысина, так как никогда не видел его без шляпы.

«Э-э, да тут весь Лаутербургский район в поперечном разрезе»,— подумал Лубенцов, и злые желваки заходили у него на лице.

«Честный Фледер» чувствовал себя несколько стесненно в высоком обществе. Он то и дело ерзал на своем стуле и вороВато поглядывал на Рюдигера и Себастьяна, музыку он явно не слушал и с трудом сохранял задумчивый вид, подобающий человеку, слушающему музыку: он хотел быть похожим на профессоров и городских воротил.

Между тем девушка кончила играть. Общество разделилось на группки и кружки. Во всех углах завязалась оживленная беседа. Эрика, вернувшаяся в залу, подходила то к одному, то к

другому кружку. Ее смех звучал то в одном, то в другом углу. Лубенцов исподлобья следил за ней.

Многие уже узнали коменданта и, вероятно, распространили среди остальных новость о его появлении на вечере. Но Лубенцов с легким удивлением отметил, что все без исключения отнеслись к этому факту внешне равнодушно, так, словно ничего особенного не произошло. Проходя мимо него, они вежливо склоняли головы и продолжали свои беседы друг с другом. Он был этому рад, так как их такт освобождал его от обязанности находиться в центре внимания, объяснять, агитировать. С другой стороны, он не мог не отметить, что до некоторой степени их сдержанность его задевала — именно потому, что он привык быть в центре внимания и в глубине души предполагал, что его приход произведет сенсацию. К своим противоречивым чувствам он отнесся с юмором.

Он продолжал следить за Эрпкой и замечал, что и она следит за ним. Раза два их взгляды встретились, и он мгновенно отворачивался.

Фледер все время беседовал с Рюдигером и Себастьяном. Себастьян несколько раз хлопал его по плечу — вероятно, хвалил «честного Фледера» за филантропические начинания. Лубенцов усмехнулся, встал с места и прошелся по гостиной.

Он ходил от кружка к кружку, ловя обрывки разговоров. И чем больше он слушал то, о чем здесь говорили, тем более удивлялся. О политических событиях большой важности, происходящих теперь в Германии, здесь не упоминалось вовсе, словно их не существовало.

В одном кружке говорили о религии.

— Протестантизм — враг самой идеи бога,— медленно, растягивая слова, но не без внутренней страсти говорил один старичок, которого Лубенцову представили как «профессора доктора».— Сделав Библию основой веры, Лютер превратил идею бога в идею книги. Грубые легенды пастушеского племени волей-неволей ударили по идее откровения, которая не нуждается в доказательствах...

В другом кружке молодежь с воодушевлением говорила о спорте. Один юноша вспоминал о своем довоенном путешествии в Скандинавию и о том, как он видел там конькобежные состязания. Толстая девушка, закатывая большие, как блюдечки, добрые голубые глаза, замирающим голосом говорила о слаломе.

В третьем кружке, центром которого являлась фрау Лютвиц,

шла речь о модах — в частности, о новых американских журналах мод, присланных ей знакомыми с Запада.

Лубенцов слушал все эти разговоры с недоумением и досадой. Что это? Равнодушие или усталость? Безразличие или скрытая враждебность? Или они просто хотят забыться, не думать о том самом насущном, от чего зависела их жизнь? Или они считают, что за них должен думать кто-то другой?

Да, он, Лубенцов, вынужден думать не об «идее откровения», а о несравненно более близких и важных делах — например, об улучшении продовольственного снабжения немцев, об увеличении пайков хлеба и мяса, об удобрениях для полей и заготовках зерна, о пуске предприятий и справедливом разделе земли.

Он ненавидел праздношатающихся бездельников, людей, которые всегда стремятся быть свидетелями, «нейтралов», как он называл их с презрением. И в то же время он жалел стариков и молодых,— разумеется, Лютвицы и Фледеры в счет не шли,— столь приверженных к старому, столь слабо ощущающих новое. И к этому чувству неприязни и жалости примешивалось и удивление. Лубенцов удивлялся, что большие мировые события и явления, которые, канув в вечность, кажутся потомкам событиями и явлениями, целиком захватившими всех современников, на самом деле захватывают далеко не всех. Во время этих событий многие люди живут, опутанные своими маленькими мыслишками и делишками. И одна из важнейших проблем века не заключается ли в том, что два противоположных лагеря бьются за души маленьких людей, обывателей огромного всемирного «болота», чье имя легион. Эта борьба трудна тем, что обыватель по самой своей сущности тянется к капитализму.

«Но так ли это? — думал Лубенцов, с жадным любопытством разглядывая лица людей.— Разве нельзя, ведя правильную и умную политику, убедить их в преимуществах нового образа жизни и хозяйствования, новых человеческих взаимоотношений перед старыми, отжившими?» И он ответил себе убежденно: «Это трудно, но возможно».

Он направился к «левым скамьям».

XVIII

Здесь царила совсем другая атмосфера. Форлендер разговаривал с Иостом об объединении обеих рабочих партий в одну большую, сильную марксистскую партию. Оба были согласны

с тем, что вопрос назрел. Визецки задумчиво улыбался, наконец сказал:

— Наш Лерхе будет бунтовать.

Слова «наш Лерхе» он произнес ласково, а слово «бунтовать» с оттенком иронии.

— Вам еще не надоело здесь? — спросила фрау Визецки у Лубенцова.

— Неудобно уйти так сразу,— ответил Лубенцов,— да и, в общем, тут для меня много интересного.

— О, интересного тут много,— засмеялась фрау Визецки.— Так и разит прошлым веком. Что касается меня, то мне надоели эти господа с их внешним лоском и внутренней пустотой. Пойдем, Рейнгольд? — обратилась она к Визецкому.

— Не уходите,— попросил ее Лубенцов от всей души.— Без вас тут станет совсем уныло.

Позади раздались жидкие аплодисменты. Помещица фон Мельхиор пошла к роялю. «Всеяден наш профессор»,— подумал Лубенцов о Себастьяне с мимолетным упреком. Мельхиор заиграла, и Лубенцов вначале рассеянно, а потом все внимательнее начал слушать музыку.

Игра на рояле всегда навевала на него меланхолию, рассеянную и тихую грусть и вызывала воспоминания о лесных полянах, берегах озер и рек, милых сердцу людях, виденных когда-то. Госпожа Мельхиор играла, по-видимому, очень хорошо,— во всяком случае, все примолкли и, кажется, искренне увлеклись игрой. Только Фледер ерзал на стуле и оглядывался. Помещица играла что-то грустное, нежное, своей непосредственностью и неожиданностью поворотов похожее на импровизацию. Под такую музыку, казалось Лубенцову, нельзя делать ничего дурного и думать ни о чем дурном. И, блуждая глазами по слушателям, он с внезапным наивным огорчением убеждался в том, что музыкой нельзя переделать людей: Фледер оставался Фледером, фрау Лютвиц — корыстной заводчицей, Зеленбах — лавочником, да и сама Мельхиор, игравшая так чудесно, с упорством бульдога держалась за свои неправедно нажитые богатства.

Потом его взгляд упал на Эрику, сидевшую далеко, на другом краю комнаты. Она смотрела на него, несомненно. Смотрела прямо на него и, когда их взгляды встретились, не отвернулась, а продолжала упорно смотреть. По его спине прошел холодок.

Мельхиор кончила играть, и все направились в столовую. Лубенцов тоже пошел туда, но внезапно к нему подошла Эрика и попросила его последовать за ней в другую комнату. Он покраснел до корней волос, но пошел за ней. В небольшой полутемной комнате его дожидалась госпожа Мельхиор.

— Вы, кажется, уже знакомы,— сказала Эрика, напряженно улыбаясь.— Извините, что я вас оторвала от общества. Госпожа фон Мельхиор просила меня...

Она быстро вышла из комнаты.

Госпожа фон Мельхиор, бледная и очень красивая в своем вишневом платье, постояла с минуту, не зная, с чего начать. Наконец она сказала:

— Я вас не узнала вначале, господин Лубенцов. А узнав, попросила фрейлейн Эрику... Ваш помощник не говорил с вами... обо мне?

— Какой помощник? — удивился Лубенцов.

Ее глаза на мгновенье раскрылись, потом сузились, и она сказала упавшим голосом:

— Значит, не говорил?..

— А о чем, собственно?

— Дело в том,— проговорила она после некоторого молчания, запинаясь,— что я просила оставить мне только дом и хотя бы пять гектаров земли... Как всем крестьянам... Я буду работать... Как все крестьяне... Я умею. Научусь.

— Фрау Мельхиор,— сказал Лубенцов.— Это невозможно, невозможно по многим причинам. Хотя бы потому, что мы не можем делать исключения ни для кого, поймите это. Я даже не могу вам посочувствовать, так как глубоко убежден в правильности проводимых мер.

Они постояли с минуту молча.

— Вы хорошо говорите по-немецки,— сказала она наконец, и ее сжатые руки разжались.

— Отвечу вам более основательным комплиментом,— сказал Лубенцов.— Вы прекрасно играете. С таким талантом нет смысла опасаться будущего и мечтать о пяти гектарах... Присоединимся к остальным?

— Идите, господин Лубенцов. Я немного посижу одна.

Он вышел из комнаты. Гостиная была пуста. «Не смыться ли мне домой?» — подумал он и действительно собрался уйти, как вдруг дверь открылась, и на пороге показался капитан Воробейцев в советской военной форме с медалями на груди, в ши-

рочайших синих галифе. В руке он нес букет цветов и сверток. Он рассеянно взглянул на Лубенцова, но не узнал его в гражданской одежде. Раскрылась другая дверь, в столовую, и оттуда появилась старушка Вебер. Она пригласила Воробейцева войти, и он вслед за ней скрылся в столовой. Почти сразу же после этого из столовой вышел Себастьян.

— А, вот вы где,— сказал он Лубенцову.— Прошу, прошу.

Лубенцов сказал:

— Господин профессор, к сожалению, служебные дела... Я пойду.

— Нет, нет,— запротестовал Себастьян.— Эрика будет огорчена. И гости...— Он лукаво усмехнулся.— Они польщены вашим присутствием на скромном празднике немецкого профессора. Это тоже полезно для служебных дел, а, как вы думаете?

Лубенцов нахмурился, но послушно вошел вместе с Себастьяном в столовую.

Гости уже выпили. В столовой было шумно. Жужжанье голосов становилось все громче. Лубенцов сел на отведенное ему место между женой Рюдигера и Форлендером. Он поискал глазами Воробейцева. Тот сидел, очень важный, среди молодых девушек на другом краю стола, и его взгляд бесцеремонно скользил по лицам гостей.

Вскоре дверь тихонько приотворилась, пропуская госпожу Мельхиор. Она сразу же с порога увидела Воробейцева, и ее лицо перекосилось. Эрика подошла к ней, они пошептались и вышли из комнаты. Через несколько минут Эрика вернулась одна. Она посмотрела на Лубенцова долгим, пристальным взглядом и села на свое место. Помещица больше не появлялась.

Фледер, изрядно выпив, стал разговаривать громко и непринужденно. Время от времени он обращался через стол к Лубенцову, приглашал его к себе в деревню отдыхать и хвастался своими сливками, свининой и грушами.

— За ваше здоровье, господин комендант! — воскликнул он.

Этот возглас достиг слуха Воробейцева, который в это время, сбросив с себя важность, что-то шептал своим соседкам. Он сразу умолк, пристально взглянул на Лубенцова, узнал его и тихо свистнул. Одернув китель, он медленно направился к Лубенцову.

Пробравшись среди гостей, он вскоре очутился возле стула, где сидел Лубенцов, и шепнул ему:

— Товарищ подполковник, меня пригласили, и мне неудобно было отказаться.

Лубенцов не видел ничего дурного в том, что Воробейцев принял приглашение; офицеры комендатуры вынуждены были все время общаться с немцами, и ограничивать это общение было неразумно, да и невозможно. Но у некоторых начальников в СВА существовала иная точка зрения, и Лубенцов знал это. Поэтому он сказал:

— Надо было поставить в известность меня или майора Касаткина.

— Есть,— сказал Воробейцев.— Учту.

Он отошел от Лубенцова, довольный тем, что подполковник так спокойно отнесся к его появлению здесь, на вечере. Но чувство свободы исчезло, и Воробейцев, потолкавшись немного в гостиной, вскоре ушел.

Лубенцов тоже собрался уходить. Он мигнул «левым скамьям». Фрау Визецки кивнула и улыбнулась.

Но и на этот раз Лубенцову пришлось задержаться. К нему направился своей медвежьей походкой руководитель ХДС Эрих Грельман, который в течение всего ужина пристально и хмуро поглядывал на Лубенцова.

— Хочу поговорить с вами откровенно,— сказал Грельман. Он показал Лубенцову на стул, сел напротив и заговорил медленно и веско: — Я боюсь, что наши левые не понимают, что творят, и ведут Германию к голоду, к дефициту сельскохозяйственных продуктов... Поймите, господин комендант. Ведь и у вас, в Советском Союзе, опыт показал, что мелкое землевладение нерентабельно. Вы заменили его крупным землевладением. А левые хотят здесь, в Германии, раздробить большие поместья, раздать их многим владельцам по нескольку гектаров и таким образом привести к застою и в конечном счете к развалу наше сельское хозяйство...

— Вы обращаетесь не по адресу,— сказал Лубенцов сухо.— Я не решаю этого вопроса. Вам надлежит обратиться гораздо выше и там развивать свои доводы. Тем более что, как вам известно, инициатива в этом вопросе исходит не от Военной Администрации, а от двух демократических партий.

— Понятно, понятно,— махнув рукой, сказал Грельман.— Понятно и то, что эти партии не выступили бы со своей инициативой, если не ожидали бы поддержки Военной Администрации. Господин комендант! — после некоторого молчания

продолжал Грельман торжественным тоном.— Я высокого мнения о вашем уме и энергии, а также о свойственном вам чувстве справедливости. Именно поэтому я решился откровенно сказать вам свое мнение, не боясь последствий. Именно потому, что я желаю добра вам лично и не питаю никаких враждебных чувств к советским оккупационным властям, я счел своим долгом ознакомить вас с моим мнением, которое является не только моим.

— Благодарю за откровенность,— сказал Лубенцов.— Разрешите и мне быть откровенным. В вашей партии состоят свыше ста помещиков Лаутербургского района. Кроме помещиков, у вас несколько сот крестьян. Среди них есть и безземельные. Вы и от их имени говорите со мной? Или вы думаете, что они не имеют своего мнения и не смогут его высказать? Боюсь, что вы грубо ошибаетесь. Вы слабо представляете себе, что думают крестьяне. Говорят, что со стороны виднее. Я за то время, что работаю здесь, беседовал с сотнями крестьян. Я не хвастаюсь этим, так как считаю своей обязанностью говорить с людьми. Кстати, мне известно, что вы этого не делали. Вы не интересовались тем, что думают крестьяне, опасаясь, что они вас не поддержат и выразят вам недоверие, потому что их интересы прямо противоположны вашим идеям. А вот с помещиками вы беседуете. В прошлую субботу вы были в гостях у помещика Вальдау, в среду — у помещицы фон Мельхиор. И так далее. Я ценю вашу искренность, но повторяю в третий раз, что вы обращаетесь не туда, куда следует.

— Пусть будет так,— сказал Грельман не то покорно, не то угрожающе.

— Будет так,— ответил Лубенцов и пошел к выходу. В гостиной играл патефон, молодежь танцевала. «Левые» дожидались его у двери.

— Скорей пошли,— шепнул им Лубенцов и открыл дверь. В это мгновенье его окликнул Фледер, который стоял неподалеку рядом с Себастьяном.

— Вы уже уходите? — спросил Фледер, улыбаясь.— Всё дела!.. А отдыхать когда? Ведь отдыхать необходимо!

Себастьян улыбался, глядя на Фледера устало и ласково.

— Он приглашает нас к себе,— сказал он.— Действительно, мы могли бы несколько дней чудесно отдохнуть у господина Фледера. Он рыболов и любитель спорта.

— А куда он нас приглашает? — спросил Лубенцов, мрач-

нея, и повернулся к Фледеру: — Куда вы меня приглашаете, господин Фледер? Может быть, в Биркенхаузен или Грайфсвальд? Там тоже красивые места. Я вчера там был. В Биркенхаузене замечательно. Дом у вас там прекрасный, горы кругом, рядом река. А лес под Грайфсвальдом над самым морем! Привет вам от фрау Мольдер и от старика Ланке. Хотел вам раньше передать, но господин Себастьян так дорожит вами, что не отпускает вас ни на шаг. Вы у него вроде как герой сегодняшнего праздника... Просто не наглядится на своего «честного Фледера».

С этими словами Лубенцов круто повернулся и вышел в прихожую, оставив бледного и дрожащего Фледера и растерянного Себастьяна глядеть друг на друга. Впрочем, Себастьян сразу опомнился и бросился вслед за Лубенцовым. Он догнал его у двери домика, где Лубенцов в темноте прощался с Форлендером, Иостом и Визецкими.

— Да, да да,— сказал Себастьян.— Вы мне преподали серьезный урок. Мерзкий человечек этот Фледер и как умеет притворяться... Ну и вы хороши! Надо было сразу сказать. У вас прямо убийственная, мефистофельская ирония. Его там отливают водой, как первную знатную даму. Впрочем, некоторые знатные дамы ведут себя мужественнее. Наделали вы переполоха. Ну, хорошо, ну, спокойной ночи, завтра поговорим.— Он вдруг засмеялся и, смеясь, сказал: — А в остальном вечер прошел неплохо, как вы считаете?

Он суетливо пожал Лубенцову руку и ушел. Посмеявшись и поздравив Лубенцова с разоблачением Фледера, ушли и Визецкие, Иост и Форлендер. Лубенцов почувствовал чудовищную усталость. Шел теплый дождик, и Лубенцов поднял лицо вверх, чтобы капли дождя освежили его. Возле большого дома раздавались голоса. Засветился и снова погас фонарик. Кто-то из гостей уходил.

«Молодец, старый хрыч»,— подумал Лубенцов о Себастьяне полунасмешливо, полулюбовно.

XIX

Проезжая утром по дороге в комендатуру мимо ресторана Пингеля, Лубенцов заметил возле входа в ресторан американскую воинскую машину «додж». Здесь же на тротуаре стояли сержант Веретенников с двумя солдатами.

— Американцы какие-то приехали,— сказал Веретенников.— Драку учинили. Что с ними делать? Союзники все-таки. Арестовать неудобно. Да и не так это просто. Ужасно перепились.

Лубенцов вошел в ресторан. У одного из столов сидели шестеро американцев. Они пели песню. Кроме них, в ресторане никого не было, и только из дверцы, ведущей на кухню, виднелось перепуганное лицо фрау Пингель. При виде Лубенцова она скрылась и появилась вместе с бледным и дрожащим Пингелем. Рука его была на перевязи.

Американцы, увидев Лубенцова, прекратили пение и стали весело тараторить,— по-видимому, приглашая русского офицера к своему столу. Один из них поднял высоко над головой две нераспечатанные бутылки горлышками вниз.

Один из американцев, лейтенант, сравнительно более трезвый и говоривший по-немецки, объяснил в ответ на вопрос Лубенцова, что ничего особенного не произошло: они просто выгнали из ресторана всех немцев, потому что немцам нечего делать там, где пьют американские солдаты; не уплатили они по той причине, что не собираются платить немцам, так как немцы обязаны все давать американцам и русским бесплатно, и пусть они будут благодарны уже за то, что их не убивают, «этих проклятых нацистов».

Тут была не ненависть, а озорство, ощущение безнаказанности и безответственности, та оккупационная вольница, которая встречалась и среди советских солдат, но против которой Советское командование боролось всеми средствами.

Лубенцов спросил, что им нужно в Лаутербурге и как они забрели в этот городок. Лейтенант ответил, что они следуют в Берлин по делам службы. Лубенцов сказал, что они поехали не туда, так как та дорога, по которой должны следовать американцы, не проходит через Лаутербург.

— Какая разница? — сказал лейтенант.

Лубенцов сказал, что им следует немедленно уехать и что он, как комендант, не может разрешить устраивать дебоши в вверенном ему городе. Лейтенант обиделся, надулся и сказал, что он не предполагал, что русские станут защищать немцев от своих товарищей по оружию. Лубенцов настойчиво повторил, что дело тут не в защите немцев, а в том порядке, который установлен высшим командованием — Контрольным Советом, в который входят, как, наверное, известно лейтенанту, и гене-

рал Эйзенхауэр и маршал Жуков. Лейтенант обиженно поджал губы, так что Лубенцову стало даже чуточку жалко его, как бывает жалко ребенка, у которого забирают спички и который никак не может понять, зачем людям нужно лишать его удовольствия.

Лейтенант велел остальным собираться. Они недовольно поднялись, не очень дружелюбно простились и уехали.

— Не уплатили! — всплеснула руками фрау Пингель.

Официантки стали собирать осколки разбитых бокалов и тарелок. Пингель хмуро молчал.

Лубенцов начал шарить по карманам, чтобы возместить Пингелю его потери и убытки, так как до некоторой степени считал своим долгом защищать достоинство союзников от немецких обвинений. Но денег он у себя не нашел. Он бросался деньгами, не придавая им никакой цены. За войну он так привык жить на полном иждивении у государства, что теперь, в мирных условиях, заметил, что отучился соизмерять свои средства. Он только знал, что коменданту полагается за все платить, но так как разучился ценить деньги — он платил за все втридорога: сколько вынимал из кармана, столько и платил.

Это происшествие с американцами было только одним из многих. Начиная с сентября американцы все чаще заглядывали в Лаутербург. Некоторые из них являлись в комендатуру, другие просто приезжали в город, останавливались у немцев на квартирах. Лубенцов наконец потерял терпение и запросил СВА, как быть. Причины американских визитов были весьма разнообразны. Один капитан приехал для того, чтобы расплатиться с неким немецким лавочником за купленные несколько месяцев назад вещи; другой американский офицер, после того как комендантский патруль обнаружил его машину в одном из лаутербургских дворов, объяснил, что не знал о том, что в Берлин можно ездить лишь по одной определенной дороге; третьи — целая группа офицеров, в течение двух-трех дней путешествовавшая по всему району вкривь и вкось, — заявили, что совершают увеселительную прогулку, и так далее.

Из СВА поступило указание возвращать американцев к демаркационной линии, вежливо, но настойчиво объясняя им незаконность их действий. Поневоле возникло подозрение, что прогулки совершаются неспроста, а с разведывательными целями. Вполне возможно, что не всегда это было так. Например, те американцы, которые дебоширили в ресторане Пингеля, не

имели никакой тайной цели. Но несколько случаев не могли не насторожить Лубенцова.

Особенно не понравился ему американский капитан по фамилии О'Селливэн, который прибыл якобы затем, чтобы расплатиться с целым рядом немцев за ранее купленные у них вещи. После того как этот капитан был обнаружен и приведен в комендатуру, Лубенцов поручил капитану Чохову сопровождать его до демаркационной линии.

Чохов ехал на своей машине впереди, а американец на своей — сзади. Собственно говоря, Чохов вначале подумал, что позади следует ехать ему, так как он до некоторой степени является конвоирующим. Но потом он решил, что вернее будет все-таки наоборот, именно для того, чтобы не подчеркивать свою роль и проявить максимум такта в отношении союзника. Однако уже в первой деревне Чохов, поглядев назад, обнаружил, что машина американца не следует за ним. Он остановил машину, подождал минут пять, потом вернулся.

Машина американца стояла посередине деревни возле пивной. Американского капитана и шофера в машине не было.

Чохов вошел в пивную. Американцы стояли у стойки. Хозяйка или официантка, молодая девушка с высоко взбитой прической, разговаривала с ними. Оказалось, что О'Селливэн знает немецкий язык, хотя в Лаутербурге утверждал, что не знает.

Он оглянулся на вошедшего Чохова. Лицо Чохова было мрачным, и он без всяких церемоний показал рукой на дверь.

— О'кей,— сказал американец улыбаясь, и пошел к двери.

Чохов вышел вслед за ним. Американцы уселись в машину. Чохов зло сказал им несколько слов по-русски, сопровождая свои слова красноречивыми жестами, потом тоже сел в машину и, с минуту поколебавшись, опять поехал впереди.

В следующей деревне американская машина прибавила ходу. Поравнявшись с Чоховым, О'Селливэн просунул в окошко бутылку, предлагая, по-видимому, Чохову остановиться и выпить. Чохов ничего не ответил, но посмотрел достаточно выразительно.

Машина О'Селливэна — большой легковой «студебеккер», окрашенный в разные цвета — зеленый, коричневый и белый (остатки военной маскировки),— взревела, обогнала машину Чохова и скрылась за поворотом. Чохов побледнел от злости.

— Нажимай,— сказал он. Шофер «нажал», но «студебеккер» был мощнее, к тому же дорога шла в гору. Только в следу-

ющей деревне, где машина американца снова остановилась у пивной, Чохов догнал его. Чохов выглядел довольно глупо, когда вошел в пивную и встретил насмешливую улыбку О'Селливэна, сидевшего в углу за столиком и тянувшего из рюмки коричневую жидкость. Бутылка — та самая, которую он высовывал в окошко машины, дабы искусить Чохова,— стояла откупоренная на столе.

— Плиз[1],— сказал О'Селливэн, быстрым движением хватая стул и ставя его возле себя.

Чохов с превеликим удовольствием взял бы американца за шиворот и выволок к машине, но, помня предупреждение Лубенцова о тактичном отношении к союзнику, сел рядом и вынул сигарету, чтобы закурить. О'Селливэн предупредительно вынул из кармана пачку «Честерфилда». Но Чохов закурил свою. Пить из налитой ему рюмки он тоже не стал. О'Селливэн взял его рюмку, наполненную водкой, и поставил себе на голову, предварительно сняв пилотку. Потом он встал, с рюмкой на голове влез на стул, оттуда на стол, потом слез со стола на стул, оттуда на пол, снова сел, снял рюмку с головы и поставил ее на стол перед Чоховым.

Чохов не улыбнулся даже краешком губ.

Тогда американец взял три стакана и стал ими ловко жонглировать, одним глазком все время следя за Чоховым, который сидел с необычайно скучающим видом. Потом американец развел руки в стороны, и все три стакана — один за другим — с грохотом упали на пол и рассыпались на мелкие осколки. Чохов даже не шелохнулся, продолжая рассматривать его лицо и покуривать свою сигарету, не затягиваясь, а просто пуская дым.

После этого американец уплатил хозяину пивной и направился к выходу. Чохов встал и пошел за ним, чувствуя себя в ужасно глупом положении и проклиная Лубенцова за то, что он послал именно его, Чохова, с этим юродивым.

Когда О'Селливэн сел в машину рядом с шофером, Чохов решительно открыл заднюю дверцу его машины и тоже сел в нее. О'Селливэн засмеялся. Машина тронулась. Комендантская машина пошла следом за ней.

Они без дальнейших приключений доехали до деревни, находившейся на самой демаркационной линии. На краю деревни

[1] Прошу *(англ.)*.

стоял шлагбаум, возле шлагбаума ходил советский солдат с автоматом. О'Селливэн жестами пригласил Чохова ехать с ним дальше, в американскую зону, и при этом произносил по-русски слово «карашо».

Чохов вышел из машины и сказал солдату:

— Выпусти его, пускай едет к...

Солдат открыл шлагбаум, и О'Селливэн, махнув Чохову на прощанье рукой, поехал дальше по дороге туда, где метрах в сорока, возле мостика через ручей, стоял американский солдат.

XX

Чохов вернулся в Лаутербург часов в семь вечера и, поднимаясь по лестнице комендатуры, вдруг остановился, удивившись охватившему его на мгновение радостному предчувствию чего-то приятного. И затем еще больше удивился тому, что повидимому, это приятное — не что иное как занятие кружка по изучению немецкого языка, которое должно было начаться в восемь часов.

Он нахмурился, постоял с минуту и пошел дальше. Лубенцова не было, он уехал в Галле. Чохов доложил Касаткину о поездке с американцем и пошел в комнату, где собирался кружок. Почти все офицеры были в сборе. Ксения сидела у столика и читала. Ее толстые косы были сплетены, увязаны и уложены вокруг головы так туго, что казалось, ей больно. Она подняла лицо, посмотрела на входившего Чохова и тут же снова склонилась над тетрадкой.

Так как не все еще собрались, офицеры мирно беседовали между собой. Они говорили о городе Лаутербурге, оценивая город каждый со своей колокольни. Чохов услышал примерно такой диалог:

Яворский. Культурный городок. В городской читальне всегда полно юношей и девушек. Много читают... Любят очень свой город, его исторические памятники.

Чегодаев. Трудовой городишко. Разные мастерские, ремонтные и всякие. Промышленность солидная. Хорошо работают, молодцы.

Лейтенант — командир взвода. Город бездельников. Пьяных много, в пивных всегда народ. Неизвестно, когда и работают.

Меньшов. Город очень приличный. Все вежливые, особенно дети очень вежливые. Только и слыхать — «пожалуйста», «битте». Чистенько живут.

Воробейцев. Развратный, пропащий город! Все проститутки да спекулянты. Черт знает что творится.

Кто из них был прав? Все.

Занимаясь с Ксенией в кружке, Чохов иногда вместе с ней покидал здание комендатуры, и они шли рядом до ее дома. Здесь Чохов прощался и уходил. Их разговор был вначале односложен. Но чем дальше, тем больше они говорили. Люди, знающие их, удивились бы, услышав, как свободно льется их беседа. Говорила больше Ксения. Она как бы отыгрывалась за свою обычную молчаливость. При Чохове у нее раскрывалась душа. Она чувствовала, что при нем можно говорить все, потому что никто на свете от него ничего не может узнать. То доверие, какое он внушал людям вообще, он сумел внушить ей во много раз сильнее.

Несколько мальчишеское презрение к женщинам, которое он еще не изжил в себе, понемногу таяло в нем.

Их прогулки становились все продолжительнее. Они уходили далеко за город. Трудно решить, кто был зачинщиком этих загородных прогулок,— они начались как-то сами собой,— но все-таки, пожалуй, она; Чохову было стыдно ходить по городу с девушкой. На немцев он не обращал внимания, но при встрече с советскими офицерами или солдатами мучительно краснел. Может быть, он опасался, что ее примут за немку и, таким образом, заподозрят Чохова в немыслимом с его точки зрения поступке: что он прогуливается с немкой по городу. Впрочем, принять ее за немку было невозможно. Немцам, если бы им об этом сказали, это показалось бы смешным, настолько Ксения похожа на русскую, и только на русскую. Но важнее для Чохова было другое. Самолюбие Чохова страдало оттого, что кто-то мог подумать, что он, подобно всем, не может обойтись без женщины. Однако прекратить эти прогулки он уже тоже не мог. Они углублялись в узкие средневековые улочки, похожие на декорации игрушечного театра, и вскоре оставляли город позади себя; в горы они поднимались не по большой дороге, а по тропиночкам, которые шли круто вверх и были густо посыпаны желтыми кленовыми листьями и золотыми листьями буков. Вскоре они оказывались на вершине, с которой малиновые кровли города, освещенные заходящим солнцем, и желтая

листва деревьев представляли зрелище, полное спокойствия и красоты. Правее, на другой стороне города вздымались скалистые стены, и замок, серый и печальный при любой погоде, казался на таком расстоянии тоже декорацией игрушечного театра, на котором разыгрывается какая-нибудь сказка братьев Гримм.

Это сравнение со сказочной декорацией, однажды высказанное Чоховым, неожиданно привело Ксению почти в исступленное состояние. Она с презрением посмотрела на Чохова, ее строгое лицо исказилось, и она проговорила:

— Какие вы все забывчивые! Они вами прямо не нахвалятся. Кричали «рус, сдавайся», теперь кричат «рус хорошо». Вы им верите, а им верить нельзя. Скорее бы уж домой уехать. Долго нас будут мариновать? Вы бы хоть узнали, спросили.

Нельзя сказать, чтобы ее слова не нашли отклика в душе Чохова. Они подняли со дна его души все, что, казалось, давно устоялось, осело или вовсе исчезло, но, видимо, где-то там все-таки существовало. Это были обрывки воспоминаний, мысли о погибших родных людях, о разоренных дотла землях — все то, что память держала под спудом и что казалось столь давно прошедшим, что неизвестно, было ли оно вообще. Чохов даже испытал нечто вроде угрызений совести по поводу того, что он это как бы совсем забыл, так легко все простил, подчиняясь ходу повседневной жизни и под влиянием свойственной людям склонности к забвению прошлого.

Однако в то же время нынешняя политика по отношению к народу побежденной страны казалась настолько единственно правильной, настолько разумной и само собой разумеющейся, происходящая борьба за новый строй жизни и мыслей в этой стране представлялась настолько успешной, что Чохов сделал попытку оспорить слова Ксении и свои собственные воспоминания.

— Нельзя,— сказал он,— всех под одно.— И он начал выкладывать ей тот великий список, который обычно выкладывался в таких случаях: — А Маркс и Энгельс? А Либкнехт? А Тельман?

На это она ответила уже без горячности, скорее с печалью:

— Они их выгнали или убили.— И она махнула рукой.— Они всех убьют. Всех, кто хочет сделать их людьми. Они и Вандергаста убьют, и Лерхе, дай им только волю. И Лубенцова, и вас, дайте им только волю.

Чохов подумал о том, как ответил бы на это Лубенцов, и сразу решил, что Лубенцов ответил бы: «А на это мы им воли не дадим». Или что-нибудь в этом роде. И Чохов позавидовал Лубенцову, что он мог бы именно так ответить — весело и непринужденно, обходя существо вопроса тогда, когда это необходимо, потому что в конце концов ведь было смешно стоять здесь, на этой золотой от палой листвы горе, и спорить о том, что решается там, внизу. И Лубенцов был бы, конечно, прав, не входя в обсуждение вопросов, над которыми бился теперь весь мир.

Но Чохов не мог отшутиться, потому что слова Ксении произвели на него большое впечатление. Кроме того, Ксения нравилась ему именно теперь особенно сильно. Она была серьезна. В ней не было ничего похожего на отношение к нему как к молодому человеку, пригодному для флирта. Он и не был пригоден для этого.

Они постояли несколько минут молча, потом она медленно пошла дальше, по тропинке вниз: она не позвала его за собой, а только оглянулась с истинно женственным поворотом головы, в котором было столько уверенности в том, что он за ней следует, что более наблюдательному человеку, чем Чохов, это сказало бы многое. Но Чохов думал еще о ее словах больше, чем о ней самой, и проблемы послевоенного устройства мира занимали его еще больше, чем проблемы его собственного послевоенного устройства.

В другой раз она повела его на скалу, где стоял замок.

Замок, издали казавшийся пустующим, необитаемым, был полон людей. Здесь в комнатах со стенами необычайной толщины и в каморках, расположенных в самой крепостной стене,— там, где некогда квартировали солдаты, обслуживавшие бойницы,— теперь жили люди, потерявшие жилье после американской бомбардировки. Во дворе замка на неровных, выщербленных плитах играли дети.

В замке был сторож, старик лет шестидесяти. Он рассказал легенды, связанные с этим местом. То, что он рассказал, было похоже как две капли воды на рассказы о других замках. Здесь жил князь, который замуровывал своих врагов в стены. В подземельях, по преданию, некогда помещался монетный двор; чеканщиков отсюда никуда не отпускали, и они погибали в подземельях. У князя был единственный сын, которого он казнил, а потом, раскаявшись, верхом на коне, во всех доспехах бросился вниз со скалы.

От более поздних времен здесь остались клавикорды, портрет Екатерины II тех времен, когда она еще была бедной принцессой Ангальт-Цербстской, старинная мебель.

Сторож похвалил коменданта, сказав, что по его приказу людей понемногу переселяют отсюда в отремонтированные городские дома, а здесь вскоре откроется музей.

Однажды Ксения повела Чохова на противоположную окраину города, и, свернув от крайних домов в поле, они дошли до группы бараков неприятного вида. Подходя к ним, Ксения замедлила шаги. Чохов понял, что это бывший лагерь для русских пленных и что здесь Ксения жила раньше. Они подошли к одному из бараков. Ксения постучала в окно. В окне сразу же появилось большое и бледное лицо, обросшее бородой, и через минуту на пороге показался человек с деревяшкой вместо одной ноги, в белой рубахе без пояса.

— Гоша,— сказала Ксения,— познакомься. Это капитан Чохов.

То, что Ксения назвала человека уменьшительным именем, произвело на Чохова неприятное впечатление. Но это мимолетное чувство быстро прошло, так как одноногий после первых же слов, сказанных им, показался Чохову человеком значительным и особенным. Он здесь, в бараках, остался в одиночестве, нигде не работал — ссылался на свою ногу. Бывшие лагерники, теперь работавшие кто где, снабжали его всем необходимым, хотя никто их к этому не обязывал.

— Доживу уже здесь до отъезда на родину,— сказал он.

— А когда едете? — спросил Чохов.

— Обещают скоро отправить. А ты как? — спросил он Ксению.

— Просилась. Пока не отпускают.— Она сердито посмотрела на Чохова.— Замолвили бы вы словечко подполковнику. Он немецкий язык знает не хуже меня, обойдется. У него теперь Яворский есть. Да и переводчика он найдет.

— Хорошо, скажу,— буркнул Чохов.

Ксения в ответ на эти слова бросила на него быстрый взгляд, выразивший необычайно сложную гамму разнообразных чувств. Да, она хотела уехать домой, и это желание было совершенно искренним, стало быть, ей следовало радоваться обещанию Чохова поговорить об этом с Лубенцовым. И она действительно радовалась его обещанию, так как знала о связывавшей Чохова и Лубенцова стародавней дружбе. Но в то же время она огор-

чилась, что Чохов воспринял эту просьбу с такой наивной уверенностью в ее полной искренности, и девушку пронизала острая боль от его честной готовности помочь ее отъезду.

Но Чохов со свойственной ему прямотой характера не уловил этих сложностей.

Однако на следующий день, когда Чохов, освободившись от работы, узнал, что Ксения уехала с Касаткиным в район, он почувствовал, что без нее ему скучно. Заметив это, он несколько удивился, потом рассердился на себя, и, лишь когда то же самое повторилось несколько дней подряд, он наконец стал догадываться, что любит Ксению.

Но и убедившись в том, что ему без Ксении нехорошо, и признавшись перед самим собой, что он все время хочет ее видеть, Чохов тем не менее все еще не мог согласиться с тем, что Ксения — его судьба. Его смущало то, что он познакомился с ней *случайно*. То есть если бы не произошел ряд мелких и крупных случайностей, а именно: если бы не была расформирована его часть, а потом другая часть; если бы он не согласился идти работать в Советскую Военную Администрацию; если бы не попал в Альтштадт и не встретил там Лубенцова; если бы не ушла из комендатуры Альбина; если бы одноногий не порекомендовал именно Ксению на ее место; если бы Ксения вообще находилась не в Лаутербурге, а в другом городе; если бы Лубенцов не заставил Чохова изучать немецкий язык, то есть заниматься с переводчицей,— если бы всего этого не случилось, Чохов не был бы знаком с Ксенией и, следовательно, не возникло бы то чувство, которое связывало его с нею. Несмотря на всю наивность этих рассуждений, они сильно действовали на Чохова и заставляли его быть сдержанным.

Он сам толком не знал, как представлял он себе ранее такую встречу — встречу особую, единственную, на всю жизнь. Девушка, что ли, должна быть обязательно из его родного города? Быть знакомой ему с детства? Или он должен отправиться, как в сказках, на поиски своей «доли» и при этом должен получить какое-то знамение, что это именно та самая? Может быть, он так действительно думал, потому что детские представления не так легко, как это кажется, выветриваются из головы взрослого человека.

Серьезное значение имело и то обстоятельство, что Ксения была угнана немцами в Германию и жила здесь несколько лет.

Мужское население страны, подвергшейся оккупации чужих войск, испытывает жгучую ревность — оно ревнует женщин, живущих на оккупированной территории, к оккупантам. Так было, когда немцы были на территории СССР. То же самое чувствовали теперь многие немцы по отношению к своим женщинам.

С особенной остротой эта странная общенародная ревность проявлялась по отношению к девушкам, которые вынуждены были подневольно работать в Германии. Это отношение многих солдат и офицеров нередко было несправедливым и оскорбительным, но оно было. Такие люди ненавидели и презирали русскую женщину, сблизившуюся с захватчиком, пожалуй больше, чем самого захватчика.

Чохову, которого сильно тронула ненависть Ксении к немцам, почудилось в ее ненависти и нечто очень личное. Он предполагал, хотя и не имел на это никаких оснований, что она ненавидит не просто немецких фашистов за их злодеяния, а может быть, одного какого-нибудь немецкого фашиста за его злодения по отношению к ней и переносит эту ненависть на всех немцев вообще. И эта непонятная, беспредметная ревность к одному немцу, который, может быть, некогда надругался над Ксенией, причиняла самолюбивому и скрытному Чохову страдания, которые не становились легче оттого, что не имели оснований.

XXI

Между тем их прогулки и встречи не могли остаться в секрете. Чохов стал замечать — а скорее всего ему стало казаться,— что товарищи смотрят на него по-особому и в разговоре с ним на что-то намекают. Лубенцов раза два после конца работы, когда офицеры оставались на совещание, неожиданно говорил ему, что вопросы, которые будут обсуждаться, его не особенно касаются и что он может быть свободен. Он впервые в жизни почувствовал себя глубоко зависимым от окружающих. Он никогда никого не боялся, а теперь он опасался чьего-либо прозрачного намека или насмешливой улыбки. Он считал при этом, что Ксении должно быть еще стыднее, чем ему, и удивлялся, почему она не боится никого. Она была моложе, но взрослее. Он же решил, что она потому никого не опасается, что не любит его и поэтому не находит ничего предосудительного в их

встречах. А она любила его, но была, в свою очередь, уверена, что он не помышляет ни о чем подобном.

Во всяком случае, Ксения сумела сделать то, чего не смог даже Лубенцов,— отвадить Чохова от Воробейцева. Чохов совершенно потерял к нему всякий интерес.

Воробейцев не преминул заметить эту перемену в отношении Чохова и вскоре узнал причину. Он понял, что Ксения не только отвлекает Чохова от товарища, но, весьма вероятно, отзывается о нем, Воробейцеве, враждебно. Он не ошибался. Ксения невзлюбила Воробейцева с самого его приезда в комендатуру. Она-то сама скрывала свои чувства, но ее глаза не могли их скрыть. У нее были такие глаза, которые без труда скрывали дружеские или любовные чувства, но не в состоянии были скрывать чувства неприязненные или враждебные. Немцы, приходившие в комендатуру по разным делам, побаивались ее взгляда. Почти таким же взглядом глядела она на Воробейцева. Это часто выводило его из равновесия, и он стал избегать ее.

Воробейцев был сильно задет, узнав, что его друг Вася Чохов «спутался с этой молодой ведьмой».

Последнее время Воробейцев все больше и больше обособлялся от остальных офицеров комендатуры. Он все меньше имел с ними общих интересов, так как они были заняты только своим делом и, находясь под сильным влиянием Лубенцова, относились к своей службе с добросовестностью, доходящей до фанатизма. Воробейцев же был к службе равнодушен и оправдывал себя тем, что он-де человек с широкими запросами, что одной службой не проживешь. Он усвоил в отношении своих сослуживцев пренебрежительную мину, и их «добропорядочность» и некоторый страх перед «капиталистическим окружением» вызывали его презрительные замечания. Он никак не мог понять также и их желания вернуться на родину и ту тоску о родине, которую они часто высказывали и которая казалась ему либо лицемерной, либо свидетельствующей об их ограниченности, если она была искренна. Лицемерной он считал ее по той причине, что офицеры комендатуры жили здесь, в завоеванной стране, ни в чем не нуждаясь, в то время как у себя на родине они жили бы наравне с миллионами других людей, может быть, в районах, пострадавших от войны, в дотла разрушенных городах. Он не мог поверить, что, несмотря на это различие уровня жизни, советские офицеры действительно хотят вернуться домой. Лично Воробейцев чув-

ствовал себя здесь, в Германии, отлично, и все уродства, от капиталистической частной собственности до публичных домов, не только не смущали его, а, наоборот, нравились ему.

Заметив, что и Чохов от него отдаляется, Воробейцев впал в уныние, а узнав, кто является виновником этого, избрал тактику, старую, как мир: он стал говорить о Ксении разные гадости.

Нельзя сказать, чтобы Воробейцев действовал, совершенно сознательно поставив перед собой задачу оклеветать человека без всякой вины с его стороны. Он это делал и потому, что был весь переполнен неуважением к женщинам вообще и наперед убежден в непорядочности каждой из них. Поэтому, когда он говорил то Чегодаеву, то Меньшову о том, что Ксения вела себя здесь, в Германии, в лагере и на заводе, где она работала, непорядочно,— он действительно верил в это, хотя и не имел никаких доказательств и не искал их. Он даже считал, что оказывает Чохову услугу, косвенно предостерегая его от близости с Ксенией.

Правда, самому Чохову он не решался ничего говорить. А не решался потому, что уважал Чохова, преклонялся перед цельностью его натуры, а уважать — значило для Воробейцева бояться. Он потому и любил Чохова, что до некоторой степени считал его образцом для себя, хотя и недосягаемым. Нечестный человек хочет быть честным, болтливый — молчаливым, развязный — сдержанным, трусливый — храбрым. Нравственность, как сказано в эпиграфе к IV главе «Онегина»,— в природе вещей.

Однажды Воробейцеву во время его ночного дежурства по комендатуре позвонил начальник полиции Иост. Он сообщил, что в одном из дворов снова замечена американская воинская машина. Воробейцев взял с собой автоматчика и поехал по указанному адресу.

Расспросив жителей, Воробейцев поднялся на второй этаж дома и в квартире у некоего Меркера обнаружил капитана О'Селливэна, ставшего в комендатуре притчей во языцех. Американец, увидев советского офицера с красной повязкой на рукаве, расхохотался и стал без возражений собираться в дорогу.

Пока он собирался, Воробейцев поговорил с Меркером. Это был юркий человек с маленькими усиками а ля Гитлер. Он, по-видимому, не имел определенных занятий, маклерст-

вовал, покупал, продавал. При Зеленбахе он работал в магистрате и ведал там финансами и торговлей, но был уволен по настоянию Яворского, так как раньше состоял в нацистской партии и был хотя и мелким, но каким-то деятелем в ней. Квартира его была хорошо обставлена. Тут было множество бронзовых статуэток, ковров, красивой посуды, картин и ценной мебели.

Воробейцев пошнырял по комнатам. Меркер сопровождал его.

— Красивый ковер,— заметил Воробейцев, щупая руками большой ковер, висевший на стене.

— Можете купить, господин капитан,— сказал Меркер.— Две тысячи марок.

То же самое он неизменно говорил в ответ на все замечания Воробейцева по поводу того или иного предмета:

— Можете купить,— и тут же называл цену.

По-видимому, вся его квартира продавалась оптом и в розницу.

После этого случая Воробейцев зачастил к Меркеру. Немец доставал для Воробейцева всякие вещи по очень низким ценам, так как хотел заручиться поддержкой и приобрести связи в комендатуре.

Стараясь отвадить Чохова от Ксении, Воробейцев заказал Меркеру хороший мотоцикл; он знал, что Чохов мечтает о мотоцикле давно. Вскоре Меркер позвонил Воробейцеву в комендатуру. Воробейцев нашел Чохова, и они вместе пошли на Гнейзенауштрассе, где проживал Меркер.

Мотоцикл был превосходный, мощный и очень красивый. Глаза Чохова заблестели. Он, не говоря ни слова, сел на него и выехал из ворот. Вначале он ехал медленно, затем все быстрее, а оказавшись за городом, помчался с огромной скоростью. При этом лицо его оставалось непроницаемо спокойным, словно он сидел в кресле. Но внутренне он ликовал. Эта бешеная езда на мощной машине, требующая верного глаза и твердой воли, пришлась Чохову по нутру.

Вернувшись во двор Меркера, он молча уплатил за мотоцикл и сказал Воробейцеву:

— Садись сзади.

Воробейцев боязливо поморщился, но все-таки сел.

Мотоцикл рванулся из ворот, как буря. Воробейцев побледнел. Они помчались по улицам и через минуту уже были за

городом. На поворотах машина наклонялась почти до земли. Ветер рвал голову с плеч. Воробейцев сидел ни жив ни мертв, судорожно уцепившись за Чохова.

— Не дави,— сказал Чохов и на секунду оглянулся на Воробейцева. Лицо Чохова было спокойное и серьезное.

— Ты чего оглядываешься? — взревел Воробейцев.— Вперед гляди!

— Не дави,— повторил Чохов.

— Спусти меня на землю,— взмолился Воробейцев,— или сбавь скорость.

Чохов сбавил скорость и поехал обратно в город.

Возле комендатуры его окружили солдаты. Они разглядывали мотоцикл, обсуждали его достоинства. Вскоре в дверях показалась Ксения. Она тоже подошла и посмотрела на мотоцикл. Чохов страшно смутился. Он не знал, что делать. Она ждала, что он пойдет с ней, но не мог же он при солдатах взять да и пойти, а мотоцикл бросить на их попечение. Воробейцев между тем громко говорил солдатам:

— Хороша машинка?.. Это я раздобыл. Капитан Чохов назначается председателем клуба самоубийц. Как ездит!.. Скорость звука. Все время на волосок от смерти. Одно удовольствие.

Ксения внимательно посмотрела на Чохова и неожиданно для всех сказала:

— Покатайте меня.

Чохов вспыхнул от удовольствия и завел машину. Все расступились. Секунда — и машина, Чохов и Ксения исчезли с быстротой ракеты.

— Уф!..— сказал Веретенников.— Вот это да!

— Как бы кого не задавил,— покачал головой Небаба.

— Не задавит,— возразил Воронин.— Большого хладнокровия человек. Я его знаю давно.

Солдаты ушли к себе, а Воробейцев долго стоял, ожидая возвращения Чохова, и, не дождавшись, плюнул и медленно пошел домой.

Чохов и Ксения на мотоцикле укатили далеко. Он посмотрел в зеркальце. Лицо Ксении было покойно и только чуть зарделось от быстрой езды.

— Смотрите, еще какого-нибудь немца задавите,— сказала она насмешливо.— Подполковник вас за это в два счета отдаст под трибунал... Вы ему говорили обо мне?

— Еще нет,— ответил Чохов.— Сегодня скажу.

Возвратившись в город, Чохов простился с Ксенией и пошел к Лубенцову домой. У Лубенцова был в гостях командир полка полковник Соколов. Они ужинали. Чохов сел и прислушался к их разговору.

— Я в политике ничего не понимаю,— сказал Соколов.— Мое дело — служба. Я на вашей должности околел бы. Противная работенка! Каждый день жди какой-нибудь каверзы. В чужую душу не влезешь. Тем более в душу целого народа, да еще какого народа! Не люблю я их, скажу честно.

Лубенцов ответил:

— Это мне непонятно. Я тоже не политик, хотя ни капельки этим не горжусь и стараюсь быть им насколько могу. А немцы? Немцы — люди, живущие в Германии и говорящие по-немецки. Я не могу поверить и признать, что подлость является отличительной чертой какого-нибудь национального характера. От такой точки зрения до расизма — один шаг. Мы же их за расизм и били. Нет, товарищ полковник! Мы с Яворским теперь занимаемся школьным вопросом. В связи с этим я на днях читал немецкую школьную хрестоматию гитлеровских времен. Там есть глава, которая называется «Русский», и в ней про нас сказано так: «Русский белокур, ленив, хитер, любит пить и петь». Вот и все. Как о каком-то маленьком безвестном племени, сказано о великом народе с большой и сложной историей... Это звучит столь же убедительно, как то, что мы иногда говорим о немцах: «Немец аккуратен, скуп, педантичен, жесток...»

— Ну и накинулись вы на меня,— захохотал Соколов.— Ладно, виноват. Согласен. Но все-таки вам с ними будет несладко.

— Это я знаю! — засмеялся и Лубенцов, но тут же снова стал серьезным.— Но должен вам сказать, что работа моя с каждым днем все больше облегчается политическим ростом самих немцев. Коммунистическая организация колоссально выросла, социал-демократы левеют. А рабочие! Рабочие еще скажут свое слово, увидите.

Чохов, слушая этот разговор, очень жалел, что тут нет Ксении. Он с горечью сознавал, что не сможет передать Ксении своими словами слова Лубенцова с той убедительностью, с какой они были произнесены. И, вспомнив о Ксении, он почувствовал в груди странный и приятный укол.

Когда Соколов ушел, Лубенцов спросил у Чохова:

— Вы ко мне по делу, Василий Максимович?

— Нет,— сказал Чохов, помолчав,— проведать зашел.— Он добавил: — Купил мотоцикл.

— Смотрите не задавите кого-нибудь,— улыбнулся Лубенцов.— Еще под трибунал попадете.

XXII

Лубенцов с Яворским действительно занимались «школьным вопросом». Это был непростой вопрос. Учителя сплошь состояли раньше в нацистской партии. Учебники из-за их ярко выраженного фашистского характера пришлось запретить. Из Альтштадта предложили организовать семинары новых учителей и собрать учебники «веймарской республики», пока в Берлине составляются новые.

В связи с этим Лубенцов подумал об Эрике. Он удивлялся тому, что она ничего не делает, играет целыми днями на рояле,— он слышал звуки рояля по утрам, когда уходил на службу, и вечером, когда приходил. Он не мог понять, как это великовозрастная, умная и образованная девушка может ничего не делать. Жениха она ловит, что ли? Его удивляло и раздражало ее безделье. Когда он бывал у Себастьяна, она неизменно сидела в углу, иногда вязала что-нибудь и нередко принимала участие в разговоре, высказывая здравые мысли о чужой работе, но никогда не изъявляя желания делать что-нибудь для общей пользы. При этом она смотрела на Лубенцова открытым и ясным взглядом, от которого ему становилось не по себе.

Однажды он зашел вечером к Себастьяну и не застал его дома.

— Отец скоро придет,— сказала Эрика.— Подождите. У меня кофе на столе.

— Хорошо,— сказал Лубенцов после минутного колебания.— Кстати, есть к вам дело.

Она посмотрела на него недоумевающе. Они прошли в столовую и сели пить кофе. Он сказал:

— Мы решили создать учительский семинар. Возьмитесь за организацию этого дела. Сами будете учиться. Мне кажется, вы будете хорошей учительницей. Отдадим вам тот особняк, где стояла английская комендатура. Наберете хороших людей, умных, дельных... Лекторов для них подберете. В университете

в Галле открывается подготовительный двухгодичный семинар для рабочих и крестьян. Это важный вопрос, фрейлейн Эрика. От его решения во многом зависит будущее Германии.

— Вы думаете, я это смогу? — спросила она.

— Конечно, сможете! А что тут уметь? Мы вам поможем, отец, коммунисты, остальные демократические партии — все помогут.— Он улыбнулся.— Рояль от вас не уйдет... Как вы можете в такое время стоять в стороне от жизни? Разве так можно? Ах, как нехорошо, просто из рук вон... Вы извините меня, что я говорю с вами откровенно...

Она неподвижно сидела на кушетке с простывшей чашкой кофе в руке. Стройная, длинноногая, с короткими темно-русыми волосами, с тонким нежным лицом и открытым взглядом, прямо устремленным на него, она ему вдруг так понравилась, что он заставил себя отвести глаза в сторону и потерял нить разговора. Оба посидели минуту молча. Часы в соседней комнате медленно пробили девять раз.

— Какой вы странный,— сказала она вдруг.— Вас, наверно, ничто на свете не интересует, кроме вашей работы.

— Хорошо, что вы мне напомнили,— сказал он, сбрасывая с себя оцепенение и вставая.— Меня ждут в комендатуре.

Она тоже быстро встала и, сделав шаг к нему, сказала голосом, который прозвучал умоляюще:

— Не уходите. Пожалуйста.— Она сразу оправилась и заговорила уже обычным тоном: — Отец придет с минуты на минуту. Ваше предложение мне нравится. Вы правы, и спасибо вам за откровенность.

«Надо идти»,— неотступно думал он, но сел обратно на место. К счастью, открылась дверь, и вошел Себастьян.

— Отец,— сказала Эрика, пойдя ему навстречу.— Господин Лубенцов предлагает мне заняться организацией учительского семинара и тоже стать учительницей.

Себастьян даже глаза раскрыл.

— Кому? Тебе? — спросил он и обратился к Лубенцову: — Вы это серьезно?..— Он задумался на мгновение.— А почему бы и нет? Это даже интересно. Просто превосходная идея! — Он расшагался по комнате и, потирая руки и лукаво поглядывая то на Эрику, то на Лубенцова, заговорил: — В вас, господин Лубенцов, скрыт великий педагог и знаток людей. Ваше предложение свидетельствует об этом. А я все думал, куда бы определить Эрику, и мне не приходило в голову ничего хоро-

шего. Между тем я ведь преподаватель и считался не из последних. Ну, а ты, Эрика? Как твое мнение?

— Я попробую,— сказала она смущенно и радостно.

— Очень рад...— начал было Лубенцов, но Себастьян перебил его:

— Ах, бросьте эти дипломатические обороты речи. У вас в голове целые гнезда остроумных идей, вот и все, что я могу вам сказать... Кстати, слышали? Фледер сбежал на запад! — Лубенцов еще не знал об этом, и Себастьян возгордился своей осведомленностью.— Я расту как ландрат,— засмеялся он.— Впервые я узнал раньше вас важную новость.

Когда Лубенцов ушел, а Себастьян собрался лечь спать, раздался продолжительный звонок во входную дверь, послышались гулкие шаги и приглушенные разговоры. Это приехал из Берлина Вальтер все с тем же американцем, майором Коллинзом.

Они задержались в Берлине дольше, чем предполагали. Несмотря на опоздание, они привезли Эрике ко дню рождения много подарков. Коллинз преподнес ей коробку чулок и целый багажник продуктов — кофе, шоколада и консервов разного рода. Они не имели возможности задержаться надолго и поэтому сразу же приступили к объяснению. Впрочем, Коллинз был сильно пьян и в разговоре не участвовал, зато его шофер, рослый негр, все нес и нес из машины разные коробки и картонки: Коллинз считал это наилучшей агитацией.

Вальтер заговорил с отцом о переезде на запад, но получил еще более уклончивый ответ, чем в прошлый раз.

— Подождем, подождем,— твердил Себастьян.— Не будем спешить с этим вопросом. Очень хочется быть вместе с тобой, но пока что я не готов к столь важным решениям... К тому же надо надеяться, что будет заключен мирный договор и тогда...

— Мирный договор! — горько усмехаясь, сказал Вальтер.— Неужели ты на это рассчитываешь?

Эрика сказала враждебно:

— Теперь не время об этом говорить. Утром договоришь. Спать надо.

Однако и утром поговорить не пришлось. Кто-то сообщил в комендатуру о появлении в городе очередной американской машины. Хотя на этот раз Коллинз велел шоферу не оставаться во дворе у Себастьяна, где жил комендант, и шофер за-

ехал на другой двор, но и там его обнаружили, и ему пришлось повести комендантский патруль в особняк ландрата, где ночевал Коллинз.

На рассвете в дверь особняка позвонили, и Воробейцев, в тот день снова дежуривший по комендатуре, потребовал от американца немедленного выезда. Коллинз сначала заартачился, но Воробейцев сослался на категорический приказ. Коллинз, выругавшись по-английски и по-русски, вынужден был уступить. Он разбудил Вальтера. Вальтер ужасно рассердился и сказал отцу:

— Вот тебе твоя официальная должность! Ты не имеешь даже права принять у себя своего собственного сына.

— Собственного сына, который требует моего бегства с этой официальной должности,— язвительно ответил Себастьян, но тем не менее накинул пальто на пижаму и побежал к Лубенцову.

— Придется мне съехать от вас,— покачал головой Лубенцов.— Я слишком близко живу и в угоду вам вынужден пренебрегать приказами моих начальников. Американцы должны следовать по установленному маршруту — так договорились Жуков с Эйзенхауэром.

— Пожалуйста, отправьте американца, но моего сына...

На этом столковались. Воробейцев получил приказание оставить Вальтера в покое, а к демаркационной линии препроводить лишь американца. Однако Вальтер на это не согласился и уехал вместе с Коллинзом.

Этот американский майор Коллинз показался Воробейцеву прекрасным парнем. Воробейцев по его приглашению пересел к нему в машину, предоставив своей следовать позади. Коллинз болтал без умолку по-немецки, угощал Воробейцева джином, а напоследок пригласил к себе во Франкфурт, дал ему точный адрес и наобещал гору всяких удовольствий.

У них оказались общие знакомые. Когда Воробейцев рассказал ему, что знаком с некоторыми офицерами, бывшими во время Потсдамской конференции в охране американских делегатов, и назвал фамилию Уайта, Коллинз воскликнул:

— Фрэнк Уайт! Как же, я его хорошо знаю. Он тоже во Франкфурте, служит в Администрации, не в моем, а в другом отделе. Превосходный офицер... Очень хорошо отзывается о русских. Кстати, он русский язык знает неплохо.

— Да,— подтвердил Воробейцев.— Он самый. Фрэнк, да,

да.— Он вдруг вспомнил «операцию» с кольцами и смущенно замолчал.

— Честнейший офицер,— продолжал восхищаться Уайтом Коллинз.— По-моему, он уже даже не лейтенант, получил повышение. Как ваша фамилия? Я обязательно ему передам, что имел честь с вами познакомиться — правда, при таких неприятных обстоятельствах... Служба есть служба, разумеется.

Воробейцев, у которого не шла с ума история с кольцами, воздержался от сообщения своей фамилии и вообще пожалел о том, что вспомнил об Уайте. Он сказал, что Уайт фамилии его не знает, а знает только имя: Виктор.

Себастьян-младший всю дорогу молчал, не вмешиваясь в разговор и отвечая на обращения к нему Коллинза односложными «да» и «нет».

У шлагбаума демаркационной линии Коллинз выскочил из машины одновременно с Воробейцевым, долго тряс его руку и снова повторил приглашение.

— Приезжай обязательно,— сказал он, переходя на «ты».— Будешь доволен. Съездим денька на два в Париж. Ты не был в Париже? Напрасно. Слава этого города вполне заслуженна. Мы туда часто ездим — с разрешением и без разрешения.

На обратном пути Воробейцев думал об этом Коллинзе, снова испытав к нему и к Уайту, вообще ко всем американцам, легкое чувство зависти. Каждого из них лично он и в грош не ставил. Он даже относился к ним — к каждому из них в отдельности — с некоторым презрением, разделяя общее мнение многих советских офицеров, что американцы не вояки и что им легко было громить немцев тогда, когда немцы уже были обессилены. Он завидовал их расхристанности и представлял себе американскую оккупационную зону и всю Западную Европу широкой ареной для безграничного разгула сильных ощущений и сногсшибательных приключений — всего того, что было почти недостижимо в условиях советской зоны под наблюдением серьезных глаз советских начальников.

Да, у советских начальников были серьезные глаза, и все, что они делали,— они делали всерьез. Они всерьез хотели коренным образом изменить условия немецкой жизни, всерьез принимали решения разных международных конференций и свои обязательства, всерьез думали сделать немцев миролюбивыми. Будучи материалистами и не скрывая этого, они верили в идеи и идеалы, в которые ни капельки не верили американцы,

хотя они всюду — даже в выступлениях самых высоких официальных лиц — ссылались на господа бога, на проведение и на высшую справедливость.

В комендатуре Воробейцев застал обычное совещание — одно из тех совещаний, которые ему уже осточертели и которые составили разительный контраст с миром, только что промелькнувшим перед его глазами. Речь шла об укреплении государственных и семеноводческих хозяйств и вообще о проблеме семян для предстоящего весеннего сева; о центнерах картофеля, развитии местного табаководства и прочих таких предметах, до которых Воробейцеву не было ровно никакого дела. Он с удивлением смотрел на офицеров комендатуры, которые с серьезным видом разбирали эти вопросы.

XXIII

То, что Воробейцеву казалось таким будничным и пресным, остальных офицеров, и в особенности Лубенцова, трогало и волновало, захватывало до глубины души. Каждое новое проявление сознания и самоотверженности любого немецкого крестьянина и рабочего было для них праздником, каждая неудача огорчала их, как личное горе.

Однако Лубенцова в последнее время стало беспокоить странное состояние, не знакомое ему прежде. По вечерам, оставшись в одиночестве, он испытывал нечто вроде слуховых галлюцинаций. В его ушах беспрерывно звучала немецкая речь, он слышал разные голоса — женские, мужские и детские, молодые и стариковские. Среди них он иногда распознавал голоса знакомые, слышанные в течение дня и повторявшие быстро и внятно то, что говорилось днем. Этот бесконечный многоголосый разговор доводил его до зубовного скрежета. Он стал плохо спать. «Не схожу ли я с ума?» — думал он иногда, холодея от страха. Это было нервное переутомление, но он, никогда не знавший прежде никакой усталости, кроме физической, очень встревожился.

Свое состояние он скрывал от всех, даже от Воронина. Впрочем, проницательный Воронин вскоре заметил нездоровый вид подполковника и по вечерам стал приходить в комендантский домик, за что Лубенцов был ему благодарен. Воронин несколько раз пытался осторожно намекнуть Лубенцову на необ-

ходимость отдыха, но Лубенцов отмахивался от него, так как дел было много, да и не привык Лубенцов отдыхать.

Даже тогда, когда он в воскресенье выходил просто погулять по улице, он не переставал быть комендантом, потому что, где бы он ни был, к нему обращались по разным вопросам, просили, жаловались. Однажды он вспомнил, как его не узнали в гостиной Эрики Себастьян, когда он был в гражданском костюме. Он решил использовать этот способ остаться неузнанным и по воскресеньям отправлялся гулять по городу в штатском. Он, несомненно, достиг цели, так как его действительно никто не узнавал. Он иногда глазам своим не верил, замечая, как хорошо знакомые люди проходят мимо, не обратив на него никакого внимания. Все было бы отлично, если бы в эту своеобразную форму отхода от служебных тягот то и дело не встревал его собственный неуемный характер. Обнаружив какой-нибудь непорядок — все еще заваленный обломками переулок, закрытую, вопреки распоряжению комендатуры, лавку, или кинотеатр, или пивную,— он сейчас же разыскивал виновников. Ему было смешно наблюдать, как они вначале разговаривали с ним дерзко и небрежно, а потом, узнав в нем «оберстлейтнанта Давай», рассыпались в извинениях либо жалобах.

Однажды он забрел на Кляйн-Петерштрассе — улицу публичных домов, о которой знал понаслышке и теперь увидел впервые своими глазами. Эта улица произвела на него ужасное впечатление, и он пошел искать бургомистра Форлендера. Он застал его за партией преферанса с Визецким и другим товарищем, ведавшим в магистрате вопросами культуры.

Жена Форлендера неохотно впустила в дом незнакомого ей человека, который потребовал немедленного свидания с бургомистром и которого она приняла — из-за его твердого немецкого выговора — за балтийского немца.

— Играете? — спросил он у Форлендера, насмешливо и свирепо поглядывая то на одного, то на другого из играющих.

Он рассмеялся, увидев возмущенное и непонимающее лицо бургомистра, который глядел ему в глаза и не узнавал его. Только минуту спустя Форлендер хлопнул себя по колену и воскликнул, расплывшись в улыбке:

— Господин подполковник! В шляпе вас невозможно узнать!

— Это вполне естественно,— возразил Лубенцов.— Если бы

вы побывали там, где я сейчас был, вы бы тоже сильно изменились к худшему.

Он рассказал им о том, что видел на той улице. Они реагировали на его рассказ весьма сдержанно и вовсе не пришли в ужас, так как все это было им знакомо и считалось вполне естественным. Но, уступая настояниям коменданта, Форлендер сказал, что завтра они пойдут и все посмотрят, а в ближайшие дни поставят вопрос на заседании магистрата.

— Почему завтра? Пойдемте сейчас. Вы любите все откладывать на завтра.

Они оделись без особой охоты. Он направился было вместе с ними, потом с досадой решил, что надо же ему отдохнуть, и предоставил им отправиться одним, а сам пошел опять бродить по городу.

Проституция в Лаутербурге не ограничивалась Кляйн-Петерштрассе. Она существовала в разных формах, и одной из форм были брачные объявления, которые Лубенцов обнаружил на многих витринах справочных бюро и просто на стенах домов.

Эти объявления он читал с отвращением и насмешкой. Вот некоторые из них:

«Молодая вдова 29 лет, блондинка с правильными чертами лица, любящая природу и животных, муж погиб на Восточном фронте в 1942 году, ищет человека не старше 50 лет с целью совместных прогулок и катания на лодке. Брак не обязателен».

«Молодой человек 42 лет, брюнет, на хорошей должности, не принадлежал к нацистской партии, идеалист-романтик, ищет молодую девушку 19—20 лет, блондинку, рост не меньше метра шестидесяти, с целью совместного времяпрепровождения. Возможен впоследствии брак. Присылка фотографий обязательна».

«Какая интеллигентная девушка до 25 лет, католического вероисповедания, с хорошим характером и полной фигурой, с собственностью, желает встречаться с молодым человеком, 45/158 (первое число этой дроби, как узнал Лубенцов, означало возраст, второе — рост в сантиметрах), темно-русым, доверчивым и жизнерадостным? Собственный автомобиль. Тайна — дело чести».

«Молодой человек, 33/175, полный юмора, стройный, торговец авто, разведенный, любит искусство, ищет скромную, хорошо выглядящую, приятную партнершу, вероисповедание безразлично, до 22 лет, 165 см».

«Девушка, беженка из Силезии, 20/173, из хорошей семьи, стройная, ищет друга и покровителя до 60 лет».

Он заходил в кино на дневные сеансы, смотрел картины с прославленной немецкой кинозвездой Марикой Рэк, забредал в парикмахерские и кафе, и все, что он видел, огорчало его. Оно производило на него впечатление медленного тления, вырождения культуры, превращения ее в пустую и занимательную мишуру, рассчитанную на самые низменные вкусы. Он разрешил одному импресарио, надоевшему ему до смерти, открыть эстрадный театр — тут это называлось варьете — и однажды пошел посмотреть на это самое варьете, которое считал своим детищем.

Он ужаснулся пустоте всех без исключения номеров; вызвавшим наиболее бурный смех зала был номер, в котором некий господин во фраке, исполняя куплеты со своей партнершей, время от времени хлопал ее ладонью по заду.

Лубенцов хотел было формальным приказом запретить эти представления, но Себастьян и Форлендер отговорили его — так велось испокон веку, такие представления были и до Гитлера, и это даже до некоторой степени традиция.

Он уступил, при этом твердо зная, что с такой традицией надо бороться, что это портит вкусы и ухудшает нравы.

Ко всему прочему Лубенцова тревожила все больше Эрика Себастьян. Он был не рад, что навязал ей работу. В связи со своими новыми занятиями она беспрестанно звонила ему, а иногда приходила в комендатуру. Он сознавал, что ему приятно с ней встречаться, и это сознание пугало его до смешного. Разговоры их носили сугубо деловой характер, и все было бы хорошо, если бы не ее лицо, прямой, открытый и зоркий взгляд,— одним словом, если бы это была не она, а кто-нибудь другой.

Однажды она — по действительно срочному делу — зашла поздно вечером к нему домой. К счастью, у Лубенцова сидел Воронин. Старшина посмотрел на Эрику подозрительно и встревоженно. Переговорив с Лубенцовым, она ушла.

Воронин покосился на Лубенцова и сказал:

— Никак фрейлейн в вас влюблена. Смотрит, как кошка на сало.

К удивлению Воронина, предполагавшего, что начальник посмеется над этими словами, Лубенцов ужасно рассердился и устроил старшине форменный нагоняй.

— Меньше всего,— сказал он,— я ожидал таких глупых разговоров от тебя. Неужели и на тебя начинает действовать атмосфера буржуазной Европы? Это недостойно военнослужащего Красной Армии!

Воронин покачал головой и промолчал. А Лубенцов, который знал, что бранит Воронина несправедливо, никак не мог остановиться, с ужасом чувствуя, что не в состоянии владеть собой. Наконец он успокоился, извинился за свою горячность, жалко улыбнулся. Сердце Воронина сжалось. Он спросил:

— Ляжете спать?

— Да, пора.— Помолчав, Лубенцов сказал: — У нашего капитана с переводчицей, по-моему, роман?

— Похоже на то.

— Оба сдержанные, молчаливые, просто не понимаю, как они признаются друг другу.

— Как-нибудь.

— Останься у меня ночевать, Дмитрий Егорыч.

— Хорошо.

В присутствии Воронина ему было спокойно и спалось лучше.

XXIV

На следующий вечер Эрика снова зашла к Лубенцову. Она постучалась, он сказал по-русски: «Войдите»,— и она медленно открыла дверь.

Войдя, она бросила любопытный и боязливый взгляд на полутемную комнату, освещенную только настольной лампой. Боязливость ее взгляда заставила Лубенцова вздрогнуть. Это была не робость человека перед другим человеком, а женская дрожь перед тем неотвратимым, что должно произойти, выражение уверенности в мужском праве повелевать, сила слабости. Все это было прочтено Лубенцовым в ее взгляде — робком, но смелом, боязливом, но доверчивом.

Надо было быть стариком или философом, чтобы отнестись ко всему этому равнодушно. Лубенцов не был ни тем, ни другим. Но он был комендантом. И свойственное ему обостренное чувство служебного долга, обостренное до того, что индивидуальное и служба почти безраздельно сливались воедино,— что свойственно как раз молодым людям и нефилософам,— заста-

вило его говорить и двигаться совершенно спокойно, ничем не проявляя той страсти, которая охватила его.

Он плохо соображал, чего она у него просила и о чем говорила, потому что знал, как и она, что все это только повод. Но, несмотря на то что он почти ничего не соображал, он отвечал ей на вопросы довольно логично — по крайней мере в той степени, в какой логичны были вопросы. Она подошла к его книгам и стала их рассматривать. Ее лицо осветилось красноватым светом настольной лампы; монах счел бы это отблеском геенны огненной.

Ему стоило только сказать ей одно ласковое слово. Но он огромным усилием воли превозмог себя и заговорил о «школьной проблеме». Он произнес целую филиппику о недопустимости телесных наказаний в новой немецкой школе. Он посоветовал ей почитать «Педагогическую поэму» Макаренко и работы Надежды Константиновны Крупской.

— Немецких детей,— сказал он, встав с места и прохаживаясь по комнате,— надо любовно и настойчиво воспитывать в духе любви ко всем народам и уважении к трудящимся людям.— Он называл ее «фрейлейн Себастьян», чтобы обращение по имени не прозвучало сближающе.— Вы, фрейлейн Себастьян, должны проникнуться этими идеями, и вам станет радостно жить и работать для Германии.

Она стояла, опустив голову, любящая и разочарованная, полная преклонения перед этим цельным характером и уныния по поводу его кажущейся отрешенности от земных страстей. Тихонько вздохнув, она сказала, что просит его не забыть свое обещание,— а о каком обещании шла речь, он не знал. Позднее он вспомнил, что она просила дать ей две-три советские книги, так как она начала изучать русский язык. Еще позже в его памяти медленно и плавно восстановилось все, что было сказано за эти минуты,— он обещал ей помогать в изучении русского языка, в связи с чем она сказала, что «позволит себе иногда заходить сюда по вечерам».

Как только она ушла, Лубенцов сразу же сел писать Тане письмо. Обычно он не давал в письмах воли своим чувствам, но сегодня написалось по-иному. Он умолял ее добиться поскорее демобилизации и приехать. Он возмущался тем, что ее до сих пор держат в далекой Маньчжурии, когда война уже так давно окончилась. Он писал ей, что не может без нее жить, и упрекал ее, что она редко пишет. Когда муж упрекает жену в

том, что она редко ему пишет, это не всегда значит, что он беспокоится за нее,— иногда это является признаком того, что он беспокоится за себя.

В ближайшие дни Лубенцов почти совсем переселился в комендатуру. Когда же несколько дней спустя все-таки решился остаться дома, он все ждал с замиранием сердца, что она может вот-вот появиться, и этот страх, в равной доле смешанный с желанием, чтобы она действительно появилась, снова заставил его перекочевать в комендатуру.

Свободные вечера он стал проводить внизу, с солдатами. Он называл это «провести вечер в России». Он чувствовал себя здесь очень хорошо. В клубной комнате было уютно и тепло. Люди играли в домино и шашки, рассказывали о своих домашних делах и о приключениях военного времени. Лубенцов и сам частенько рассказывал им про действия разведчиков, про сметку и храбрость их нынешнего помкомвзвода, старшины Воронина; иногда он подробно объяснял им немецкие дела, политику Советского правительства в германском вопросе. Они слушали с глубоким интересом, польщенные его вниманием к ним и не подозревая о том, как *он* польщен их вниманием и как хорошо ему с ними.

Бывало, они начинали петь русские песни. Зуев играл на аккордеоне. Лубенцова прошибала слеза от этого пения. К нему однажды подошел Касаткин и, сев рядом, спросил:

— О чем задумался, Сергей Платонович?

— Ей-богу, сам не знаю, Иван Митрофанович,— ответил Лубенцов.— Вероятно, тоска по родине. Хочется домой. И тут есть озера и речки, леса есть. Все, как у людей, а тянет к своим озерам и речкам, в свои леса. Никогда не думал, что это возможно, что это так сильно. Хочется послушать детей, говорящих на русском языке. Хочется поудить рыбу в русской речке. Тоскую о том, чтобы быть как все, чтобы ничем не выделяться, чтобы вместе с толпой служащих идти с работы домой. И чтобы был свой дом. И чтобы не казалось всегда, что кто-то чужой, посторонний, с неясным лицом, заглядывает тебе через плечо... Тоскую о том, чтобы меня звали не господин, а товарищ.

После долгого молчания Касаткин спросил непохожим на него тихим и ласковым голосом:

— Устал, Сергей Платонович?

— Устал,— сознался Лубенцов и поднял глаза на Касат-

кина. И, увидев его сидящим в расслабленной позе на диване, понял, что и Касаткин ужасно устал и что все, что он, Лубенцов, говорил, в той же, если не в большей, степени относится и к Касаткину.

Сидевший рядом Яворский сказал, вздохнув:

— Даже заседание месткома кажется мне отсюда прекрасным и романтическим событием.

Помолчали. Потом Лубенцов спросил:

— Как ваша семья, Иван Митрофанович?

— Едет,— коротко, но с явно счастливым видом сказал Касаткин. Он потупился, потому что ему было неудобно высказывать свое хорошее настроение перед Лубенцовым, у которого с приездом жены, как он знал, пока ничего не получалось.

Лубенцов почувствовал прилив необычайной нежности ко всем этим людям, своим товарищам, и упрекнул себя в том, что, занятый делами, мало говорит с ними о личном, интимном, об их горестях и радостях. Зная наперечет сотни немцев по фамилиям, он еле может вспомнить фамилии двух десятков живущих рядом с ним солдат; с офицерами он тоже разговаривает только о делах службы.

— Пошли ко мне,— сказал он, вставая с места.— У меня вино есть, еда кой-какая, посидим, поужинаем.

Он вышел вместе с Касаткиным, Яворским, Чоховым и Чегодаевым и, усмехаясь, думал о том, что в таком обществе ему Эрика не страшна.

Стояла лунная ночь. Их шаги отдавались в гулкой тишине узких улиц. Инстинктивно, как люди военные, они шли в ногу, и этот согласный топот ног успокаивал Лубенцова.

Придя к Лубенцову, офицеры уселись за стол. Пока Лубенцов возился с ужином, Чохов ушел в его комнату и сел к письменному столу. Его взгляд рассеянно упал на исписанную страницу блокнота. Прочитав первые строчки, Чохов стал внимательнее.

На страничке было написано:

«ПАМЯТКА СОВЕТСКОГО КОМЕНДАНТА»

1. Самый нетерпимый недостаток, какой может быть у коменданта,— корыстолюбие. Хотя бы он был крупным администратором, умным человеком, знатоком вверенного ему района, но если он корыстен — он должен быть немедленно снят.

2. Величайшее достоинство для коменданта — бескорыстие. Хотя бы он был средним администратором, среднего ума человеком, но если он бескорыстен — он способен быть комендантом.

3. Человек не может быть похож на ангела. Но сразу же после ангелов должен идти комендант. Он имеет право покупать только на собственные деньги, пить только дома, а жить только с собственной женой, и ни с кем больше.

4. Постоянная серьезность — недостаток для коменданта. Серьезностью часто прикрывается тупость. Слишком много шутить — тоже недостаток. Шутками часто прикрывается ничтожество.

5. Комендант — революционер, поскольку он представляет государство и общественный строй, созданные революцией; его революционность должна выражаться в том, что он обязан охранять порядок и законность, а также уважать и оберегать обычаи, принятые в данной стране, то есть ликвидировать в данной, не дозревшей до революции, стране страх перед будущей революцией.

6. Его революционность должна выражаться и в любви к трудящимся классам населения и в помощи этим классам в первую очередь.

7. Внутренняя жизнь комендатуры не может долго остаться секретом для населения. Поэтому комендатура не должна иметь от населения никаких секретов, кроме служебных.

8. Комендант — дипломат, но только с врагами. Населению же он должен говорить суровую правду.

9. Комендант — учитель: он должен уметь повторять общеизвестные истины.

10. Пусть комендант старается, чтобы граждане города или района, где он действует, думали, что все невыгодное для них исходит лично от него, а все выгодное — от Москвы. Тогда они будут уважать коменданта за прямоту и силу духа, а Москву — за то, что она имеет таких самозабвенных слуг.

11. Комендант представляет СССР. Пусть он это всегда помнит. Он должен, вставая, думать о Родине и, ложась спать, думать о ней. День без мысли о Родине — пропащий день для коменданта. Он должен ежедневно читать советские газеты, книги, журналы. Пусть он выписывает областную и районную газеты тех мест, откуда он родом. Из старых писателей пусть он чаще других читает Толстого, Пушкина и Некрасова. Книги

Салтыкова-Щедрина полезны для него, потому что они написаны вице-губернатором, который знал недостатки управления.

12. Дома у него должен быть вполне советский обиход; то же — в комендатуре.

13. Но вместе с тем комендант обязан изучать язык, быт, культуру и историю классовой борьбы данной страны. Для него это полезно как для человека; для населения это полезно, потому что предохранит его от многих ошибок, за которые придется расплачиваться населению.

14. Комендант всегда прав, потому что за ним стоит вооруженная сила. Поэтому нужно, чтобы он был действительно всегда прав.

15. Комендант — хозяин, иногда строгий, но всегда справедливый.

Комендант, кроме того, и гость. Пусть он уважает хозяев, у которых отнял на время хозяйские права. Пусть помнит, что сделал он это для того, чтобы они могли опять стать хозяевами.

Подполковник *С. Лубенцов*

1945 год.
Лаутербург

Чохов прочитал, потом снова перечитал заметки. За этим занятием застал его Лубенцов.

— Да не читайте вы эти глупости! — крикнул он покраснев.

— Это не глупости,— сказал Чохов.

— Нет, глупости, глупости,— сердито бормотал Лубенцов, засовывая блокнот в один из ящиков письменного стола.— Плоды бессонницы... Литературное творчество коменданта района второго разряда. Ладно, забудьте про это.

— Я не забуду,— ответил Чохов. Его голос прозвучал торжественно.

— Пошли ужинать,— махнув рукой, сказал Лубенцов.

Часть третья

ИСПЫТАНИЕ

I

Демаркационная линия между советской и западными зонами причудливо извивалась, перерезая надвое Гарц западнее Брокена. Через бурелом, минуя маленькие горные водопады, подымаясь на горы и опускаясь в долины, она первое время не была особенно приметна, но потом понемногу все больше опоясывалась колючей проволокой, запиралась с обеих сторон шлагбаумами, обрастала кордегардиями и караульными будками. С двух сторон ее обходили патрули: с одной стороны советские, с другой — английские и американские. В горах ее охраняли шотландцы в плиссированных клетчатых юбочках, на южных склонах — «ами» в стальных шлемах и брюках гольф.

Из демаркационной линии она медленно, но верно превращалась в границу.

Когда впоследствии проводилось дознание, каким образом бывший эсэсовец Фриц Бюрке попал в советскую зону, выяснилось, что он воспользовался простым, но остроумным трюком, которым многие немцы пользовались и до него. Вечером, перед закатом солнца, когда на вершинах гор еще горят алые отсветы, а в расселинах темно, Бюрке нырнул в одну из этих расселин, выбрался на дорогу и пошел не на советскую сторону, куда ему нужно было, а как бы от советской стороны на американскую, и появился перед американским солдатом, будто

шел с востока. Разумеется, американец, обнаружив, что у высокого плешивого немца нет пропуска в американскую зону, не преминул вернуть его «обратно». Он дал оглушительный свисток. Советский солдат у противоположного шлагбаума лениво отозвался:

— Чего?..

— Э джермен фром юр сайд! [1] — крикнул в ответ американский солдат.

— Вот еще, ходят взад-вперед! — проворчал русский солдат.— Иди, иди к себе обратно.— И Фриц Бюрке с послушанием, подобающим побежденному, «вернулся» на советскую сторону и неспешным шагом пошел на восток.

Высокого плешивого немца в поношенном пальто, с котомкой за плечами видели потом в горной гостинице в Ширке, где он переночевал. Потом он спустя неделю появился в Бланкенбурге и еще через день — в Вернигероде. Потом его след пропал. В Лаутербурге он появился значительно позже, ранней весной, и уже совсем в другом виде. Он был одет в южнобаварский костюм — замшевые трусы с помочами и серую куртку с зелеными нашивками.

Он зашел выпить пива в ресторан Пингеля и сел в дальнем углу, посматривая на посетителей равнодушным и усталым взглядом маленьких серых глаз. Пингель, который знал все население Лаутербурга и окрестностей, заинтересовался этим человеком, поскольку он был чужак и, может быть, еще потому, что в этом человеке что-то показалось странным содержателю ресторана, тонкому знатоку человека. Во всяком случае, Пингель шепотом предложил посетителю водки, а водку он давал только близким знакомым или высокопоставленным лицам города. Бюрке кивнул с небрежным видом, несколько обидевшим Пингеля, так как он ожидал, что посетитель рассыплется в благодарностях.

Выпив рюмку, Бюрке попросил другую все с тем же небрежным видом, словно не знал, что водка — одно из самых дефицитных удовольствий в нынешние времена. Тем не менее Пингель подал ему и вторую рюмку.

Хотя ресторан был переполнен, а около столика Бюрке стояло три пустых стула, никто не садился рядом с ним. Было в его глазах такое, что заставляло людей, подходивших с вопро-

---

[1] Немец с твоей стороны! *(англ.)*

сом насчет этих стульев, прикусить язык. Наконец он сам пригласил к своему столу двух девиц, вошедших в ресторан и остановившихся неподалеку. Поняв, зачем им машет рукой этот человек, они порхнули к нему, сели и поблагодарили его за любезность. Он в ответ не произнес ни слова, только постукивал волосатой рукой по столику.

При взгляде на Бюрке никому не пришло бы в голову, что главное чувство, владеющее им,— страх. Он слыл среди знакомых и на самом деле был человеком отчаянной храбрости. Но с недавнего времени, точнее, с апреля 1945 года, он был травмирован почти паническим унизительным страхом. Он принял предложение отправиться в советскую зону потому, что не имел другого выхода и, может быть, еще в надежде, что, отправляясь навстречу опасности, он сможет превозмочь в себе это состояние, граничившее с психической болезнью.

Видимо, оно было следствием колоссального нервного напряжения, испытанного им в дни поражения Германии и последующих событий, когда он жил, как затравленный зверь, скрываясь то здесь, то там, то в подвале виллы его покровителя Линдеманна, то где-нибудь в толпе беженцев, располагавшихся табором в окрестностях Мюнхена. Из американской зоны он вскоре ушел в английскую, так как англичане, более чем американцы напуганные проникновением русских в центр Европы, по этой причине мягче относились к провинившимся во время войны немцам. Так по крайней мере говорили среди скрывавшихся нацистов. Если бы тихий пансион в Гамбурге, где под чужой фамилией проживал Бюрке, не посетила однажды одна дама, знавшая его в стародавние времена и поспешившая сообщить о нем английским властям, он, может быть, прожил бы благополучно еще много лет. Но, получив донесение, что в пансионе скрывается видный эсэсовец, британская комендатура арестовала Бюрке. Одновременно в другом пансионе был арестован бывший имперский министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп, которого тоже выдали свои же, немцы. При нем было три письма — к Черчиллю, Идену и Монтгомери — и пузырек с ядом.

В тюрьме, где Риббентроп провел вместе с Бюрке ночь — одну из самых страшных ночей, пережитых Бюрке,— бывший рейхсминистр рассказал, что прибыл в Гамбург, чтобы спрятаться у друга-виноторговца, с которым он был в близких отношениях двадцать пять лет. Однако тот отказался его принять.

Тогда Риббентроп под фамилией Рейзе укрылся в частном пансионе, но вскоре был обнаружен.

Утром в камеру пришла сестра Риббентропа. Она опознала брата, и англичане изолировали его.

Это было время, когда каждый день в Германии кого-то ловили или кого-то судили. В течение нескольких недель были схвачены: секретарша Гитлера Криста Шроден, командующий войсками в Дании генерал Линдеманн, начальник Майданека Пауль Гофман, гаулейтер провинции Магдебург-Ангальт Рудольф Иордан, генерал-полковник Иодль, гросс-адмирал Дениц, Риттер фон Эпп, сестры Гитлера Ангела Хаммиг и Паула Вольф, фюрер Словакии Тиссо; в маленькой деревне близ Берхтесгадена поймали Юлиуса Штрейхера, а двумя днями раньше был опознан в поезде ехавший под вымышленным именем, с черной повязкой на глазу, Генрих Гиммлер.

Одним словом, та Германия, которой Бюрке принадлежал всей душой, гибла на его глазах. Ее крупнейшие вожди один за другим попадали в тюрьмы и лагери, кончали самоубийством или сдавались на милость победителей. «Тысячелетняя империя» рушилась, не прожив и четверти века. Покровители и друзья Бюрке метались, как затравленные, по Западной Германии без всякой надежды скрыться, уцелеть. Их гнал только биологический инстинкт самосохранения, безумное желание пожить еще хоть одну неделю, еще хоть один день.

Бюрке был человеком бесстрашным, грубым, малоинтеллигентным. Неинтеллигентность была не только его свойством — он даже гордился ею и культивировал ее как нечто ценное, способное лишить человека колебаний и сомнений.

Однако события первых недель после войны сделали Бюрке более восприимчивым и наполнили его сомнениями, неизвестными ему ранее, и страхом, которого он не испытывал никогда прежде. Поистине, он стал «интеллигентом». Он стал относиться почти с жалостью к угнетенным и обиженным, среди которых числил теперь и себя. Он начал вспоминать с некоторым раскаянием то, что делал раньше, и стал искать себе оправданий, среди которых первое место занимало так называемое «солдатское повиновение» приказам разных фюреров.

Более того, Бюрке стал читать книги. В пансионе, где он поселился на окраине Гамбурга, имелась библиотека, и Бюрке, может быть впервые после окончания школы, занялся чтением и стал находить в этом занятии некоторое удовольствие. Он

даже завел себе очки, так как заметил, что дальнозорок. Он сильно похудел — не так от недоедания, как от того, что называл «душевными переживаниями», хотя раньше никогда не поверил бы, что можно худеть от душевных переживаний.

Нет, определенно он теперь жалел о том, что в свое время пошел в СС,— было гораздо целесообразнее служить просто в вермахте, где он мог бы тоже сделать неплохую карьеру.

Он становился сентиментален, и когда читал в книгах трогательные сцены, его глаза наливались слезами. Он сам умилялся от этих слез, считая, что они искупают многое из того, что он раньше делал, и являются признаком духовного возрождения. Ему снились сны по преимуществу трогательные. Однажды ему снилось, что он является начальником концентрационного лагеря, опоясанного, как полагается лагерям, колючей проволокой и охраняемого, как в действительности, людьми с автоматами. Но в самом концлагере, внутри его, все было очень красиво: на окнах бараков висели голубые занавески, а на стенах — коврики с вышитыми изображениями детей и животных, у входа в крематорий сверкали елочные игрушки. В воздухе гудел колокольный звон, напомнивший Бюрке о детских годах. Все заключенные были старые, у всех были пышные седые бороды, и можно было предполагать, что это святые или ангелы, хотя и без крыльев. Они ходили медленно, и их лица светились. А он, Бюрке, командовал ими — он строил их в ряды. Они строились и перестраивались необычайно быстро и согласно, как вышколенные солдаты, и он испытывал от этого большое умиление и готов был заплакать от радости, что такие старые люди столь умело выполняют любые команды и при этом улыбаются блаженными улыбками. И тут слышится позади твердый русский голос, произносящий: «Фриц Бюрке, вы арестованы как военный преступник!» Этим возгласом кончались почти все его сны, и он просыпался, дрожа от страха, и так как сон не сразу улетучивался из его насмерть запуганного мозга, ему хотелось ответить этому голосу, что не надо его трогать, ведь этот голос сам видел, как все хорошо, благостно и тихо.

После двух спокойных недель он начал надеяться, что избежит ареста. Он говорил себе, что его не за что арестовывать и судить, потому что он ведь сидит теперь смирно и готов всегда вот так сидеть, до самой смерти, ни во что не вмешиваясь, и готов дать самую великую клятву, что вот таким образом,

как частное лицо, он проживет всю жизнь и ему ничего ни от кого не нужно.

Он почти не выходил на улицу, а если выходил, то с палкой, искусно подражая походке хромого, и в очках, которые сильно изменяли его лицо. Одна из служанок пансиона покупала и приносила ему скромную еду, какую можно было достать в то время. И когда к нему в комнату ворвалось человек десять английских солдат с автоматами наперевес, он был почти удивлен. Он не оказал никакого сопротивления, как того опасались англичане.

В тюрьме он почувствовал облегчение. Все стало определенным и ясным. Рухнули надежды, и вместе с ними кончилось тягостное одиночество. Он вскоре попал в лагерь, где содержалось немало эсэсовцев и генералов вермахта, обвиненных в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Режим в лагере и питание были вполне терпимыми. Людям не возбранялось общаться друг с другом.

Вообще все оказалось гораздо лучше, чем можно было себе представить. Разумеется, в этом неожиданно хорошем самочувствии заключенных деятелей СС, СД и вермахта играло роль то обстоятельство, что они так или иначе сравнивали режим британского концлагеря с режимом, который был им хорошо известен по немецким концлагерям, и с тем режимом, который они устроили бы для англичан, если бы победителями оказались они, а не англичане. Первые две-три недели Фриц Бюрке, как, вероятно, и остальные, попросту удивлялся тому, что их не убивают. Потом он привык к этому и даже начал поглядывать на англичан с некоторым презрением — да, с вполне искренним неуважением профессионального убийцы к чистоплюям.

Генералам англичане отвели отдельные комнаты, а один фельдмаршал даже имел апартаменты. Так как этот фельдмаршал страдал сильным нервным расстройством и занимался писанием мемуаров, английские солдаты, по специальному распоряжению командования, входили к нему, предварительно надев на ботинки суконные галоши с длинными завязками, словно в храм или музей.

По воскресеньям к лагерю съезжались жены арестованных с письмами и передачами. В лагере играло радио. Приезжали немецкие адвокаты, изъявившие желание защищать некоторых из заключенных на предстоящих процессах. Фельдмар-

шал иногда выходил гулять, и все отдавали ему честь, на что он — чопорный, прямой, со строгим и важным лицом — отвечал небрежным кивком головы.

В одном из уголков лагеря было несколько женских бараков, где жили бывшие надзирательницы немецких женских концлагерей, летчицы из «Люфтваффе» и одна англичанка, которая вела при Гитлере антианглийские передачи по берлинскому радио. Составилась компания, в которую вошел и Бюрке. Англичанка получала щедрые посылки от своих английских друзей и родственников и пекла на электрической плитке вкусные блины, которыми угощала своих друзей-эсэсовцев.

Говорили о том, что главное — выиграть время. Нужно, чтобы поостыли страсти, чтобы выдохлись митинговые ораторы в Гайд-парке и других говорильнях. Чем позже начнутся процессы, тем лучше будет для обвиняемых. Говорили, что англичане склонны сурово отнестись к тем обвиняемым, которые были виновны в убийствах английских и американских военнопленных или в уничтожении команд торпедированных немецкими подводными лодками английских и американских военных и торговых кораблей. Таких обвиняемых ожидал почти наверняка расстрел. Но зато по отношению к виновным в зверском обращении, скажем, с русскими военнопленными приговоры предполагались не столь суровые. То же самое относилось к тем, кто просто служил в охране концлагерей, если в этих лагерях не было англичан или американцев. Наибольшей опасностью была бы выдача тех или иных заключенных советским властям по требованию Советского командования либо польским и чешским властям.

Итак, следовало выиграть время и следовало остаться в руках англичан. Это были две заповеди, от которых зависела жизнь многих заключенных.

II

Однако понемногу этот санаторий для чинов СС, СД, «зипо» [1] и «гестапо» начал рассасываться. Некоторых англичане все-таки выдавали по требованию других стран. Это была почти верная казнь. Возникали душераздирающие сцены.

[1] «Зипо» — полиция безопасности.

Выражение «ехать на восток» стало тут синонимом таких выражений, как «сыграл в ящик», «загнулся», «дал дуба»,— одним словом, означало смерть. Россия стояла перед глазами этих людей некоей огромной Немезидой с холодными ненавидящими глазами, с окровавленным мечом в руке. В отличие от нее американское правосудие выглядело долговязым, веселым, несерьезным, как сам «дядя Сэм» на карикатурах. В нем не было убежденности. В нем не было ненависти. Он играл, напускал на себя суровость, но оставался равнодушным к сути самой проблемы. Он судил потому, что имел эту возможность, а судить интересно. Его глаза блестели от сознания своей власти и могущества, но не от пожиравшей его страсти установить справедливость. Поэтому от него можно было ожидать неожиданностей, но нельзя было ожидать последовательности действий. И эсэсовцы мечтали о том, чтобы попасть к американцам, если уж не было возможности остаться у англичан.

Что касается англичан, то тут был вопрос особый. Они испытали ужасы гитлеровской войны, хотя и не в такой степени, как Восточная Европа. Но английское правосудие, гордое своими вековыми традициями, испытывало какое-то нездоровое сладострастие, мягко обращаясь со своими врагами или оправдывая их. При этом адвокаты и прокуроры ссылались на христианскую цивилизацию, традиции англосаксонского мира, римское право и «Габеас корпус»[1]. Далеко не все из этих чванных и слабых интеллигентов отдавали себе отчет в том, что выполняют спрятанную под разными красивыми словами волю правителей своей страны, которые всегда были согласны на любой союз с кем угодно против врагов капиталистической частной собственности, то есть против коммунистов. Английские правители искали союзников в Европе против СССР. Такими естественными союзниками в будущем были бывшие нацисты, которых для этой цели следовало щадить, затем немного подлакировать и привести в более цивилизованный вид, лишив их лексикон людоедских выражений, способных вызвать ропот английского обывателя.

Об этом бывшие немецкие нацисты смутно догадывались. Но, зная, что англичане на первых порах вынуждены будут считаться с озлобленным против нацистов общественным мнением, они думали о выигрыше времени.

---

[1] *«Неприкосновенность личности» (лат.).*

И тем не менее, несмотря на все эти висевшие в воздухе настроения, на все эти расчеты, Бюрке долго не мог оправиться от изумления, когда английский военный суд оправдал его и передал в распоряжение немецкого суда или комиссии по денацификации. На суде Бюрке разыгрывал — и делал это мастерски — роль нерассуждающего и исполнительного солдата. Его участие в похищении Муссолини и в диверсии во время Арденского сражения принесло ему определенную пользу, так как окружило его ореолом бесстрашия. К счастью, не было никаких доказательств того, что он расстреливал военнопленных и заключенных в лагерях. Его действия во Франции, когда он служил в тылах эсэсовской дивизии «Рейх», прошли мимо суда. Французские власти потребовали его выдачи, но сделали это робко и не настаивали на своем требовании. Он вел себя на суде осторожно и однажды высказал сожаление по поводу того, что верой и правдой, без рассуждений, служил людям, которые были недостойны такой честной службы. Но и это он высказал в весьма туманных выражениях, ибо, как он выразился, «воинская честь не позволяет ему распространяться на эту тему». Немецкие и английские газеты печатали интервью с ним своих корреспондентов. Английский майор, являвшийся прокурором на этом процессе, после окончания заседания суда подошел к Бюрке, пожал ему руку и сказал, что он сам фронтовой командир и что, если ему еще раз придется воевать, он желал бы иметь таких солдат, как Фриц Бюрке. Этот факт стал известен, и майор был отозван в Англию.

Нельзя сказать, чтобы спокойствие, уравновешенный тон, недоуменные улыбки и возмущенные восклицания — одним словом, все то, что с таким искусством разыгрывал Бюрке во время процесса,— дались ему легко. Нет, все это стоило ему огромного напряжения сил. Дело в том, что он ожидал каждое мгновение, что появится некий свидетель, видевший его, Бюрке, на оккупированной русскими территории Восточной Германии, либо во время его службы в Лилле и Авранше, либо в концлагере Заксенхаузен, севернее Берлина, куда он прибыл уже в апреле, перед самым приходом русских войск, для ликвидации некоторых неудобных арестантов. С замиранием сердца вглядывался он в каждого свидетеля обвинения, слушал слова присяги, даваемой свидетелем, вслушивался в первые слова показаний и облегченно откидывался на спинку стула. Нет, это был не тот свидетель: свидетели говорили больше об СС вообще, чем о нем,

Бюрке, в частности. Да и свидетелей было мало. Одновременно с этим процессом происходили десятки других, среди них — Люнебургский процесс надсмотрщиков Бельзенского лагеря смерти, где перед судом предстал давний знакомый Бюрке Иозеф Крамер. Крамер впоследствии был приговорен к смертной казни, и Бюрке мысленно благодарил бога за то, что в свое время отказался от должности начальника Бельзенского лагеря, которую ему предлагал Эрих Кальтенбруннер.

Одним словом, выходило, что Бюрке не так уж скомпрометирован, что деяния его не так уж ужасны. Нет, определенно та парижская гадалка, мадам Ригу, которая некогда предсказала ему, что он умрет генералом, может быть, кое-что и понимала в своем деле!

Все эти жестокие страхи и переживания привели к тому, что Бюрке, ранее такой несдержанный, грубый, хваставшийся физической силой и беспощадностью, основательно изменил свой облик. Он стал говорить тихо, ходить медленно, стал жаловаться на болезни. В его взгляде и голосе появилось что-то сладкое, ханжеское, и со своей большой плешью он стал похож на средневекового монаха.

Немецкий суд все-таки приговорил Бюрке к трем годам тюрьмы. Но на следующую же ночь после приговора Бюрке бежал на юг, в Баварию, в американскую зону.

Здесь он нашел защитника в лице известного промышленника Линдеманна, знакомого Бюрке по прежним временам. Линдеманн был внештатным советником Американской Военной Администрации, вернее ее экономического отдела. Он часто выезжал во Франкфурт-на-Майне, где в то время располагалась Американская Администрация. Среди американцев у него нашлись знакомые, в том числе начальник экономического отдела бригадный генерал Уильям Дрейпер. Генерал стал приезжать к Линдеманну в гости в Мюнхен и советовался с ним по экономическим вопросам.

Когда начался процесс главных военных преступников в Нюрнберге, Линдеманн посоветовал Бюрке временно исчезнуть, так как страсти накалились и это могло привести к разным неожиданностям. Бюрке получил документы на чужое имя и с помощью своих друзей очутился в Португалии, где нашел большую немецкую колонию, состоявшую из бывших офицеров вермахта.

Здесь Бюрке впервые услышал рассмешившие его вначале

рассуждения о том, что войска СС были прообразом объединенной Западной Европы в борьбе против азиатских полчищ. Войска СС в новейшем истолковании, поскольку они состояли из головорезов разных национальностей, из фашистов всех стран — от Норвегии до Италии,— изображались чуть ли не как интернациональные бригады, призванные вовсе не для того, чтобы создать великую Германию, а для того, чтобы «защитить Европу», скромной частью которой является и Германия... Не Европа должна была стать германской, как это твердили десять лет подряд, а Германия вместе с Англией, Францией и другими странами, согласно этой новой интерпретации, защищала Европу от Азии.

Как сказано, Бюрке вначале хохотал над такой концепцией, но вскоре понял ее выгоду в нынешние смутные времена. Со временем же он почти уверовал в эти «исторические факты» и стал вспоминать, как дружно уживались в эсэсовских формированиях западноукраинские бандиты с изменниками господина Жака Дорио, испанские фалангисты с хорватскими усташами.

Процесс главных военных преступников в Нюрнберге шел мелкой сеткой, как дождь. Бюрке с удовлетворением отмечал, как падает интерес к нему во всех слоях общества. Немецкие газеты, приходившие из Германии, уделяли ему все меньше и меньше места, иногда целыми неделями вовсе не упоминали о нем. Был пущен слух, что специально для немцев будет издан стенографический отчет — подлинный и правдивый. Это был ловкий слух, потому что таким образом подвергалась сомнению правдивость отчетов, публикуемых в газетах, и, с другой стороны, приглушался интерес читателей к этим отчетам: нет-де смысла их читать, так как вскоре появится отчет полный и правдивый.

При этих обстоятельствах Линдеманн, который привязался к Бюрке и жаждал отблагодарить его за услуги, оказанные ему эсэсовцем в прошлом, счел возможным прислать ему через оказию весточку о возможности и желательности возвращения в Германию. В этом письме он намекнул, что согласовал вопрос со своими друзьями из Американской Администрации, но что Бюрке, разумеется, надлежит приехать нелегально. К письму был приложен чек на предъявителя для получения в одном из португальских банков скромной, но достаточной для переезда суммы.

В Мюнхене его ожидали приятные новости. Бывший гитлеровский министр путей сообщения Дорпмюллер был советником Американской Администрации, в этой же Администрации в качестве советников служили и получали оклады и другие видные нацистские чиновники. Левые лозунги были в загоне. В земле Гессен был проведен референдум по вопросу о национализации тяжелой промышленности и железных дорог; за национализацию высказалось свыше семидесяти процентов населения, но американские власти просто отменили референдум и оставили все по-прежнему.

У Бюрке не оставалось никаких сомнений в приближении переломного момента, начала конца согласия и дружбы между восточной великой державой и ее западными союзниками в войне; кулак разжался и разделился на пальцы — загребущие, но не убивающие.

Линдеманн и близкие к нему люди стали разговаривать на смешанном англо-немецком жаргоне. Английский язык входил в моду. Девушек стали называть «герлс». Кинотеатры показывали американские картины, книжные прилавки были завалены американскими романами. Потом книжный рынок заполнили мемуары родственников и знакомых Гитлера. Знаменитый замок в Берхтесгадене превратился в музей, куда валом валили американские туристы. Там продавали сувениры, касающиеся Гитлера. Пока медленно, спотыкаясь, брел вперед Нюрнбергский процесс, со всех прилавков продавали мемуары жены Геринга, брата Риббентропа, горничной Гиммлера. Рабочие были пришиблены, так как они куда больнее разных лавочников и военных ощущали вину немецкого народа и честнее, чем кто-либо, относились к своему долгу побежденных. Поэтому они работали спокойно, угрюмо, не позволяя себе выступать против оккупационных властей, в руках которых была вооруженная армия, и не имея возможности выступать против предпринимателей, находившихся под покровительством англо-американцев. Рабочий класс, эта единственная сила, которая действительно могла бы расправиться с остатками нацизма и добиться демократических свобод, была, таким образом, скована по рукам и ногам.

Таково было положение в Западной Германии в ту пору. И в этом котле варилось неопределенное и неясное будущее, черты которого не могли не приводить в ужас людей с душой, с любовью к Германии и к человечеству.

Но Фриц Бюрке не был таким человеком. Напротив, он был тем прошлым, которое хотело выжить и стать будущим. Попав в эту атмосферу брожения, он сразу же пришел к выводу, что выкормивший его нацистский режим, в котором он усомнился было на первых порах после сражения, на самом деле — хороший и самый подходящий для Германии. Бюрке счел этот режим вполне приличным, как только оказалось, что этот режим уже не вызывает вражды и омерзения, как раньше, а, наоборот, возбуждает любопытство и нездоровый интерес. Преступления были так громадны, что в них перестали верить; увидев, что эти звери, убившие миллионы людей, ходят на двух ногах, одеты в приличные пиджачные тройки и пары, носят галстуки и очки, прямые проборы и ежики, люди заколебались, не в силах поверить, что эти господа действительно совершали такие небывалые преступления. Когда жена бельзенского палача Иозефа Крамера показала на суде и доказала, что Крамер был превосходным семьянином, нежным отцом и любящим мужем, все поверили в это с гораздо большей легкостью, чем в то, что он хладнокровно замучил миллион человек.

Никто еще не написал злую сатиру на чудовищно куцую память человека, никто еще даже по-настоящему не удивился безграничной способности человека забывать — этому наследию обезьяньих времен, которое используется некоторыми политиками для своих темных целей.

III

В Кельне у одного банкира на узком совещании промышленников и финансистов, где присутствовали также два-три бежавших с востока крупных помещика, зашел разговор о земельной реформе в советской оккупационной зоне. Попутно кто-то обратил внимание присутствующих на то, что советские власти фактически прибирают к рукам, национализируют и экспроприируют крупные предприятия, принадлежавшие различным компаниям. Участились случаи, когда советские власти смещают управляющих такими предприятиями, заменяя их неопытными, но озлобленными против предпринимателей немецкими коммунистами из рабочих. Все это делается под видом конфискации предприятий военных преступников, хотя пока что никакие суды не установили совершения военных преступлений рядом уважаемых и мощных производственных единиц.

Нельзя тот факт, что многие из предприятий работали «на оборону», то есть производили определенные товары, нужные на войне, вменять в вину людям, которые руководили производственным процессом, поскольку не доказано, что эти люди, выпуская продукцию, имели целью захват чужих территорий, уничтожение народов и так далее.

Банкир сказал, что обвинять предпринимателей в военных преступлениях нацизма столь же смешно и нелогично, как обвинять кузнеца, сделавшего кочергу, в том, что этой кочергой жена била мужа.

Эта острота позабавила всех, тем более что не имела ничего общего с действительными фактами.

Кто-то сказал, что следовало бы послать в Восточную Германию верных людей, которые могли бы собрать необходимую информацию там на месте. В связи с этим предложением Линдеманн сказал, что у него есть на примете человек,— кстати говоря, оправданный английским военным судом, хотя еще и не прошедший денацификацию,— который мог бы в данном случае оказаться полезным. Он хорошо знает Восточную Германию и имеет там обширные знакомства.

Все согласились с тем, что это было бы полезно для получения исчерпывающей информации. Слово «информация» всем понравилось. Оно придавало делу приличный вид. Многие из друзей банкира были кровно заинтересованы в судьбе восточногерманских предприятий. Некоторые были также связаны с крупным землевладением либо лично, либо через своих родных и близких.

Вернувшись к себе в Мюнхен, Линдеманн, очень довольный результатами разговоров в Кельне, немедленно вызвал Бюрке и сообщил ему о его предполагаемой миссии. Он был настолько уверен в личном бесстрашии Бюрке и в его стремлении мстить, убивать, бесчинствовать, резать, то есть был настолько убежден в том, что Бюрке никак и ни в чем не изменился, что не ожидал никаких колебаний со стороны бывшего эсэсовца. Услышав от Бюрке немедленный отказ и заметив в его глазах паническое выражение, Линдеманн удивился и огорчился. Он подумал о том, как все измельчало, зашаталось, опустилось, лишилось основ. Возникло неловкое молчание. Наконец Линдеманн сказал сухо и без того оттенка почтения, который ранее всегда присутствовал в его разговоре с эсэсовцем:

— До свидания.

Бюрке ушел и потом весь вечер с горечью думал о том, что теперь Линдеманн перестанет его подкармливать; его, Бюрке, всегда использовали на самой черной и грязной работе, по мокрым делам, плоды его дел пожинали другие, а он только сытно ел и пил, и собственности у него никакой нету, и как был он пищим псом, так и остался им.

С горя он напился. «Да,— думал он,— фюрер был прав, богачей надо убивать. Но богачей убивать сам же фюрер не давал. И вот фюрер помер, а богачи как были, так и остались и с легкостью его продали, лижут теперь пятки у америкашек, а те, кто был ему предан,— в дерьме».

Но жить без поддержки богачей было невозможно: все стоило страшно дорого, работы никакой не было. Он встретился с несколькими бывшими эсэсовцами, которые прозябали, подобно Бюрке. Они мечтали о полном разрыве англо-американцев с Советским Союзом и надеялись на этот разрыв. От этого, по их мнению, зависела вся их будущность. В отличие от Бюрке, который был весьма сдержан в своих оценках, они на все лады расхваливали американцев и рассказывали разные случаи, неопровержимо доказывающие, что американцы готовы «опереться на здоровые силы нации», то есть на бывших нацистов.

Но это все было в будущем. А пока Бюрке понял, что у него нет выбора. Как ни пугала его перспектива очутиться на территории, оккупированной русскими, ему пришлось смириться скрепя сердце.

Так очутился он в Лаутербурге в ресторане Пингеля, где мы прервали наше повествование, чтобы рассказать о пути Бюрке сюда.

Пригласив к своему столу двух девиц легкого поведения с той целью, чтобы выглядеть, как все, и никому не бросаться в глаза своим одиночеством, Бюрке вскоре расплатился и готов был уже покинуть помещение ресторана, когда в дверях появился комендантский патруль — два невысоких, но коренастых русских солдата с красными повязками на рукавах. Трудно передать словами ощущения Бюрке при виде этих солдат, каждый из которых был вдвое ниже его ростом. Он смотрел на них одними глазами, не поворачивая головы. Он и раньше знал, что боится русских, но все-таки не ожидал такого панического страха. «Надо взять себя в руки»,— решил он и медленно пошел к выходу, прямо на солдат, которые стояли у дверей с таким видом, словно зашли сюда погреться. К ним, прихрамывая,

подошел предупредительный и улыбающийся хозяин; он с ними поговорил. Бюрке шел медленно, стараясь сохранять независимый и спокойный вид. Это, может быть, не удалось ему или были какие-нибудь другие причины, но один из солдат вдруг посмотрел на него и, вместо того чтобы уступить ему проход, сказал по-немецки:

— Папире [1].

Бюрке опустил руку в грудной карман и нащупал там свои документы, но солдат махнул рукой — не надо, мол, и сказал:

— Комм [2].

Они вышли втроем. Бюрке пошел вперед. Голова его лихорадочно работала, и он старался уяснить себе, что тут произошло, почему они задержали именно его, не спросив документов у других.

Он завернул за угол. Направо был узкий переулок, и туда можно было бы быстро повернуть и, может быть, скрыться. Но Бюрке взял себя в руки и пошел все так же медленно, решив не делать никаких попыток к бегству, так как был уверен в своих документах. Если только русские не имеют о нем точных сведений от каких-нибудь своих агентов в Западной Германии, тогда все это пустая случайность и его сразу же выпустят. Решив надеяться на лучшее, он шел и шел и, наконец, вышел на площадь, где справа стоял собор, а слева находился дом в три этажа, над которым развевался советский флаг.

Действительно, как он и предполагал, задержали его «на всякий случай». Может быть, хозяин ресторана сказал патрулю, что он нездешний, чужак. Во всяком случае, в комендатуре его документы просмотрели бегло и небрежно. В них было сказано, что он купец, мясник из Эйзенаха; он даже имел нечто вроде командировки от фирмы сюда, в Лаутербург.

Счастливый и совсем ослабевший от пережитого страха, он вышел из комендатуры на свет божий и вдруг замер. Со стороны собора, пересекая площадь, быстрыми и решительными шагами к нему шел русский офицер. Собственно говоря, шел он не один: справа и слева от него шли двое в штатском,— очевидно, немцы,— а немного позади — несколько немецких мальчиков. Мальчики двигались на почтительном расстоянии, но

[1] Документы *(нем.)*.
[2] Идем *(нем.)*.

смотрели на офицера с очевидным интересом и, по-видимому, прислушивались к тому, что он говорил немцам. В руках у детей были нитки, на концах которых развевались бумажные белые змеи.

Все это было в высшей степени обычно и не должно было бы обратить на себя особого внимания Бюрке, если бы не лицо офицера, которое, несомненно, было Бюрке хорошо знакомо, знакомо до ужаса. Бюрке готов был поклясться, что именно этого русского он, Бюрке, убил 2 мая 1945 года в лесу западнее Берлина. Именно этот офицер вышел с белым флагом в качестве парламентера и обратился к нему, Бюрке, и другим, скрывавшимся вместе с ним в зарослях леса, с требованием о сдаче в плен. Именно навстречу этому офицеру поднялся, чтобы сдаться в плен, капитан Конрад Винкель — друг и спутник Бюрке в длительных скитаниях по русским тылам. Бюрке тогда убил Винкеля и убил этого офицера. То, что он его убил, было несомненно, так же несомненно, как то, что он убил Винкеля. И все-таки именно тот офицер шел теперь через площадь, весело разговаривая и жестикулируя. Бюрке глубоко потрясло и то, что позади русского шли немецкие мальчики с белыми бумажными змеями,— тогда, 2 мая, позади этого, убитого им, офицера, тоже шли немецкие мальчики с шестами, на которых развевались белые лоскутки.

Бюрке был суеверен, но не до такой степени, чтобы поверить, что мертвые встают из гроба и в ясную солнечную погоду шагают через большую, замощенную брусчаткой площадь, разговаривая и смеясь. И все-таки это была правда. Тот самый синеглазый русский офицер-парламентер, живой и веселый, шел прямо на Бюрке, пока еще не видя его. Бюрке настолько потерял над собой контроль, что сделал два шага назад и уперся спиной в фонарный столб, стоявший возле комендатуры. Это непроизвольное движение заставило русского обратить внимание на Бюрке, и он посмотрел на него в упор. Глаза русского посуровели и сузились, и он замедлил шаг. Бюрке ожидал, что сейчас произойдет нечто ужасное и сверхъестественное и что русский скажет: «Вы меня убили, а теперь я вас убью» — или: «Вот и вы наконец, я вас ждал».

Русский действительно обратился к Бюрке. Он сказал:

— Вы *меня* ждете?

Но и эти простые слова показались Бюрке полными потустороннего смысла. Однако он нашел в себе силы пролепетать

«нет», повернулся и сначала медленно, потом все быстрее пошел по тротуару, не разбирая дороги, и остановился только на самой окраине города, у подножия горы, на вершине которой мрачной громадой возвышался замок.

IV

На Лубенцова встреча с Бюрке тоже произвела хотя и неопределенное, но неприятное впечатление. Он спросил у дежурного, к кому и зачем приходил этот высокий, немного сутулый краснолицый немец. Дежурный сначала не понял, о ком идет речь, потом сказал:

— Ах да. Сержант Веретенников задержал его в ресторане «Братвурст». Нездешний. Оказался мясником из Тюрингии. Почему-то не понравился он сержанту Веретенникову.

Конечно, события, которые развернулись в ближайшее время в районе Лаутербурга, Лубенцов не мог связать с появлением этого немца возле комендатуры. Но вскоре стало ясно, что действия против земельной реформы направляются неким центром, а не являются разрозненными, как это было раньше.

Уже спустя несколько дней Касаткин выехал расследовать два случая падежа лошадей, принадлежавших ранее помещику; лошади были распределены между крестьянами, но содержались по-прежнему в помещичьих службах. Касаткин вернулся из этой поездки удрученный. Он рассказал о царившем среди крестьян в связи с падежом лошадей тяжелом настроении. Крестьяне считали, что падеж не мог быть следствием простой случайности. Немецкие зоотехники, напротив, приписывали все эти происшествия некоей болезни скота, но у них не было того опыта, который был у Касаткина. Касаткин некогда проводил раскулачивание в степном приволжском районе; он-то хорошо знал, на что способен взбесившийся кулак, когда у него отнимают собственность.

Профессор Себастьян, который, как и зоотехники, не имел этого опыта и еще доныне не совсем изверился в порядочности немецких помещиков, откровенно сказал Лубенцову и Касаткину, что подозрения комендатуры похожи на детективный роман и что в наше время вряд ли могут происходить такого рода бессмысленные преступления.

— Я знаю,—сказал он,— что слово «вредительство» очень

популярно у вас в стране. Но я не могу поверить, что люди сознательно идут на такого рода преступления. Трудно допустить, например, чтобы госпожа фон Мельхиор могла подсыпать яду лошадям.

Лубенцов рассмеялся: действительно, нелегко было представить себе картину, как госпожа фон Мельхиор, играющая фуги из «Хорошо темперированного клавира» Баха, пробирается ночью в свою конюшню с ядом в руке. И в этом отношении Себастьян был, вероятно, прав.

И все-таки подозрения Касаткина оказались справедливыми. Если первые два случая преднамеренного уничтожения лошадей были не совсем ясны, то третий случай произошел при обстоятельствах, более чем понятных. В деревне Ульмендорф были прирезаны двенадцать молочных коров. Хозяин двора, где они стояли, был найден связанным в чулане. Он показал, что на рассвете к нему пришли трое незнакомых ему людей — двое в черных очках, нахлобученных фуражках и с поднятыми воротниками, а третий в маске. Они, по его словам, потребовали, чтобы он перебил скот, отобранный у местного помещика. Он отказался выполнить их приказ. Тогда они его связали и зарезали коров сами. При этом они не ограничились только помещичьим скотом, а прирезали корову и двух бычков, принадлежавших крестьянину.

На следующее утро жена крестьянина повезла говядину на рынок и продала ее по спекулятивным ценам.

В ближайшие дни этому примеру последовали и другие богатые крестьяне, которые, вместо того чтобы сдать мясо по заготовкам, втайне — уже без вмешательства кого-то из посторонних и не в виде мести за реквизицию помещичьего имущества — прирезали большое количество скота и повезли продавать мясо.

Лубенцов поднял на ноги всю полицию. Пришлось устанавливать заставы полицейских по дорогам в город, перехватывать спекулянтов, реквизировать мясо, которое они везли продавать. Комендатура занялась строжайшим учетом всего наличного скота. Малейшие изменения поголовья, любая болезнь немедленно расследовались комендатурой. Меньшов знал теперь всю скотину не хуже, чем ветеринарные врачи, работавшие в земельном отделе, а особенно породистых свиней и коров, производителей — быков и жеребцов знал даже по кличкам.

Бургомистры лично отвечали за любой случай падежа скота.

Вместе с немецкими ветеринарными врачами и зоотехниками Лубенцов обследовал стада и пастбища. Ему даже стали сниться коровы и лошади, телята и ягнята. Теперь он во время своих разъездов останавливал машину не только тогда, когда видел людей, с которыми ему было интересно или полезно поговорить, а и тогда, когда замечал табун лошадей, стадо коров или овец. Он спрыгивал с машины, беседовал с пастухами, расспрашивал их и, когда появлялся в деревне, удивлял крестьян своим непонятным для них точным знанием положения дел в скотском поголовье. Крестьянки в шутку говорили, что комендант дружит с горными человечками, гномами, в которых немножко верили жители горных сел.

Массовый падеж скота прекратился. Однако то и дело то здесь, то там происходили случаи, похожие на диверсионные акты. Вместе с Касаткиным, Меньшовым и Иостом Лубенцов завел специальную карту-схему, где отмечал эти случаи, и вскоре перед ними вырисовалась вполне ясная картина. Флажки понемногу опоясали равнинную часть района, потом медленно поднялись в гору, потом исчезли на время и вскоре снова появились на территории «крайса» значительно южнее. Однажды он показал генералу Куприянову эту схему.

Выслушав Лубенцова, Куприянов заметил, что в других местах провинции такие случаи вовсе не происходят в определенной последовательности и вовсе не похожи на некий извилистый путь людей, переходящих с места на место. Однако генерал дал распоряжение контрразведке учесть данные Лубенцова и принять немедленные меры.

Так началась охота на Бюрке, в которой участвовала и немецкая полиция.

Несмотря на то что Бюрке оказался неуловимым, Лубенцов вскоре уже имел о нем довольно верные и подробные сведения. Было ясно, что в этих районах действовал какой-то умелый диверсант, которого условно назвали «генералом Вервольфа».

Так как в связи с событиями обо всех «чужаках» бургомистры, члены комитетов крестьянской взаимопомощи и просто граждане-добровольцы немедленно доносили в комендатуру или в полицию, то вскоре у Лубенцова появились данные о некоем высоком, чуть сутулом, краснолицем человеке, которого видели поблизости от тех мест, где совершались диверсии. Один горный мастер, работавший на медных рудниках, видел этого человека спящим возле водопада. Две крестьянские девочки,

которые несли обед своему отцу-пастуху, были испуганы появлением в расщелинах скал человека с красным лицом. Человека, весьма похожего на него, встретила Марта Лангейнрих, жена бургомистра, поздно вечером за селом. Он был не один. С ним рядом шагали еще двое неизвестных Марте людей.

Однако все это было весьма неопределенно. Более точные сведения Лубенцов получил несколько позднее в связи с совсем другим делом.

В это время уже начали работать некоторые школы, и об одной из этих школ в комендатуру поступили тревожные известия.

Преподававший в младших классах учитель Геннке, по этим сведениям, ведет во время занятий агитацию против земельной реформы и вообще против мероприятий Советской Военной Администрации в Германии.

Лубенцов вместе с Яворским отправился в горную деревню, где находилась школа. Они заехали к бургомистру, поговорили с ним о том о сем, потом спросили, как идут дела в школе. Бургомистр признался, что не знает, так как занят другими делами, а школой руководят органы просвещения, районные и окружные. Лубенцов слегка пожурил его за это равнодушие к своей школе и предложил ему пойти туда.

Они пришли в школу уже к концу занятий. Директор встретил их приветливо — это был знакомый Лубенцову честный и неглупый человек, кандидат партии. Яворский стал расспрашивать его насчет учебного процесса. Потом он спросил у директора, доволен ли тот своими учителями, достаточно ли они квалифицированы и лояльны. Директор сказал, что у него нет никаких жалоб на учителей.

В это время в комнату вошел один учитель — низенький, щуплый, с бледным высокомерным лицом.

«Это он»,— подумал Лубенцов и ошибся. Учитель представился. Его фамилия была Корнелиус. Он преподавал математику и физику в старших классах.

По просьбе коменданта директор собрал всех учителей. К некоторому удивлению Лубенцова, Геннке оказался полным мужчиной добродушного вида, разговорчивым и чуть самодовольным.

Яворский стал расспрашивать учителей, в чем они нуждаются, как у них идет дело, довольны ли они новыми учебниками. Он сказал им, что комендант интересуется, насколько

их нынешняя работа соответствует решениям Конференции великих держав в Потсдаме, достаточно ли наглядно они объясняют детям задачи, стоящие перед германским народом, насущную необходимость для немцев внедрения демократических традиций и ненависти к нацизму, приведшему Германию на край гибели.

Учителя мялись и ничего особенного не ответили на этот прямо поставленный вопрос. Только один Генике с юмористическим видом пожал плечами, развел руками и сказал, что они делают то, что в их силах.

Лубенцов вмешался в разговор:

— Ну вот хотя бы вы, господин Генике. Как вы строите свои уроки? Иллюстрируете ли вы то, что преподаете, фактами из современной жизни? Скажем конкретно — рассказываете ли вы детям о земельной реформе?

Генике чуть помедлил с ответом, словно вспоминая. Он пристально смотрел выпуклыми глазами на коменданта. Может быть, он пытался проникнуть в его мысли, узнать, случаен ли этот вопрос или за ним что-то кроется. Лицо коменданта было непроницаемо. Он смотрел на Генике с интересом.

— Как правило, я этого не делаю,— ответил Генике.— Это не всегда целесообразно с педагогической точки зрения.

— Как правило, вы этого не делаете,— сказал Лубенцов.— А в виде исключения?

Его настойчивость становилась подозрительной, и все притихли. Так как Генике ничего не отвечал, Лубенцов продолжал, обращаясь уже ко всем:

— Вот господин Генике считает, что поддерживать мероприятия демократических партий и директивы Советской Администрации непедагогично. Но, господин Генике,— обратился он вновь к учителю,— не кажется ли вам, что с точки зрения детей довольно странно, что их учитель, воспитатель, человек, которому они должны доверять и с которым они делятся своими чувствами и переживаниями, подчеркнуто обходит все актуальные вопросы современности? Как правило, обходит. Не покажется ли детям, что учитель, воспитатель потому обходит эти вопросы, что он не разделяет взглядов демократических партий и Военной Администрации на те проблемы, которые сейчас стоят в Германии и о которых даже дети знают? А вы, господин Генике, не думаете, что в преподавании аполитичность, отсутствие политики — тоже политика?

— Да, пожалуй... Пожалуй,— с выражением раздумья произнес Генике.— Это действительно может быть так истолковано детьми.

Лубенцова больше всего возмутило именно это показное раздумье. Несмотря на свой большой опыт разговора с различными людьми, из которых многие никак не могли назваться друзьями и единомышленниками, Лубенцов, пожалуй, впервые сталкивался с такой поразительной лживостью. Но сам Генике уже не так интересовал его, как все остальные учителя. Он с немым вопросом переводил глаза с одного на другого — с седовласого старика на молодую женщину, с нее на худощавого математика и с него на директора — и с чувством, похожим на отчаяние, спрашивал их,— конечно, про себя: «Неужели вы все знали о нем, знали и молчали? Неужели вы отличаетесь от него только большей осторожностью? Неужели и о вас возможно такое же донесение, но его поймали, а вас нет? Если вы узнаете о нем — проявите ли вы отвращение и вражду к нему, а если проявите, то будут ли они, отвращение и вражда, искренни? Можно ли доверить вам воспитание юного поколения немцев, таких немцев, для которых чужие народы не будут предметом вражды, ненависти и презрения?»

И, может быть, для того чтобы выяснить для себя эти вопросы, он тут же, не откладывая дела, без обиняков спросил Генике, как бы он отнесся к такому учителю, который не только избегает говорить детям о важнейших вопросах современной жизни, но прямо высказывается против принимаемых мер по оздоровлению немецкого жизненного уклада. То есть если учитель говорит детям, что их родители не должны брать землю, принадлежащую помещикам; говорит детям переселенцев, что получение этими переселенцами земли — кража; наконец, стращает детей наказанием на этом и том свете?

Было не смешно, а страшно смотреть, как менялся весь облик Генике в продолжение одной минуты. Ни для него, ни для остальных учителей уже не было сомнений в том, что комендант не случайно обращается к нему и не случайно начал именно с ним разговор.

— Вы молчите? — спросил Лубенцов, глядя на трясущиеся щеки учителя.— Я вынужден вам разъяснить, что такого человека мы рассматриваем как ярого противника советской оккупационной политики и как врага немецкого народа.

Были ли остальные учителя возмущены и взволнованы

этими разоблачениями? Лубенцову казалось, что были, что они с недоумением и по меньшей мере с неудовольствием глядели на Генике. Но и на них Лубенцов теперь, после случая с Генике, глядел с недоверием и только на обратном пути домой упрекнул себя за это недоверие, потому что в нем таилась опасность — перестать доверять кому-либо,— опасность страшная, которая всегда влекла и влечет за собой тяжкие последствия для себя и для других. С нежностью вспоминал он многих немцев, людей искренних, откровенных, отдавших себя целиком делу строительства новой жизни в прекрасной и несчастной стране — Германии.

V

Вернувшись вечером в комендатуру, Лубенцов не мог решить, следует ли арестовать Генике или стоит ограничиться отстранением его от работы. Касаткин был за то, чтобы арестовать Генике. Яворский колебался.

Оставшись в одиночестве, Лубенцов начал рассматривать прибывшие за день бумаги. Среди них была выписка из постановления военного трибунала о том, что сержант Белецкий приговорен к двум годам дисциплинарного батальона. Лубенцов задал себе вопрос, почему у него не дрогнула рука предать суду своего человека, а здесь, когда речь идет о заведомом враге, он колеблется, обдумывает, готов советоваться с каждым. Может быть, потому, что он всей душой желал, чтобы наши люди не делали ничего плохого и каждое проявление плохого в них вызывало в нем боль и злость, а от немцев, сделавших столько плохого, он в глубине души все еще ожидал всяких каверз? Не потому ли воспринимал он подлость и лживость Генике с меньшим возмущением и, уж во всяком случае, с меньшей болью, чем историю с Белецким?

Он написал приказ об аресте Генике. Но до того, как отдал этот приказ, поехал — это было уже поздно ночью — к Леонову, чтобы опять посоветоваться.

Однако в Фельзенштейнской комендатуре ему сказали, что к Леонову приехала жена. Остро позавидовав товарищу, Лубенцов не стал его тревожить и поехал обратно в Лаутербург.

По дороге с ним случилось небольшое происшествие, которое несколько усилило его решимость арестовать Генике. Ему встретилась легковая машина. Немец, сидевший там за рулем,

выключил фары, и Лубенцову показалось, что этот промелькнувший мимо немец за рулем не кто иной, как Генике. Он был действительно похож на Генике — круглолицый, с напряженным взглядом и грузной фигурой. В этот момент Лубенцов вспомнил о том, что существует еще одна Германия — за демаркационной линией, Германия, где все еще не проводятся никакие реформы и куда стремятся такие люди, как учитель Генике.

Дома Лубенцова ожидал профессор Себастьян. Он был сосредоточен и задумчив. Выпув из кармана конверт, он вытащил из него письмо и молча передал Лубенцову. На бумаге было напечатано машинописью всего несколько слов: «Если русский холуй господин Себастьян не перестанет помогать тем, кому он помогает в грабеже чужих земель и чужого имущества, с ним будет поступлено по заслугам. Мы стоим на посту». Вместо подписи был нарисован желудь.

Лубенцов рассмеялся — не очень искренне, так как был серьезно обеспокоен, но этот смех вызвал ответную улыбку Себастьяна, который сказал:

— Я наперед знал, что вы будете смеяться. Я даже представлял себе, как вы будете смеяться, и вы действительно рассмеялись именно так.

— Это не кажется вам похожим на детективный роман? — прищурясь, спросил Лубенцов.— Между тем это не роман, а реальная борьба, захватывающая и далеко не безопасная.

Он подумал, потом рассказал Себастьяну историю с Генике.

— Придется его арестовать,— спокойно закончил он свой рассказ.

Себастьян промолчал.

— Вызовем Иоста,— предложил Лубенцов.

Он позвонил в полицию. Иост приехал через несколько минут. Прочитав анонимное письмо, он задумался.

— Не пора ли вооружить полицию? — спросил он.— Ребята у меня хорошие, я ручаюсь за них.

— Вооружайте,— согласился Лубенцов.— Об этом уже шла речь с начальником СВА. Вопрос решен.

Иост заметно оживился и спросил:

— Значит, вы дадите распоряжение о выдаче нам пистолетов?

Лубенцов воскликнул:

— Иост, зачем вы мне это говорите? Помилуйте, неужели

в Германии совсем не осталось оружия? Поищите, поищите, товарищ Иост...

Иост хитровато усмехнулся и развел руками.

— Ну хорошо,— сказал он.— Раз такое дело... Найдем оружие, конечно. Вас не проведешь.

— Под всеми мостами на дне речек, а то и просто в лесу можно найти оружия чертову уйму,— объяснил Лубенцов удивленному Себастьяну.— Оно требует только очистки от ржавчины.

Себастьян и Иост собрались уходить. Лубенцов шепнул Иосту на прощанье:

— Ни один волос не должен упасть с головы профессора, понятно?

Несколько дней спустя Касаткин зашел в кабинет к Лубенцову.

— Запрашивали из Галле,— сказал он.— Все насчет этого учителя, Генике. Какая-то газета в Рейнской области напечатала статью по этому поводу — дескать, сажают интеллигенцию... Наше начальство заволновалось. Спрашивают, были ли достаточные основания для ареста.

— И что вы ответили?

— Ответил, что были. Утром нам с вами придется выехать в СВА для объяснений.

— Что ж, объясним! Беда! То мы ни с кем не считаемся, делаем, что в голову взбредет, то вдруг начинаем чутко прислушиваться к любым высказываниям какой-нибудь поганой газетенки за границей. Следствие ведется? Что удалось узнать?

— Придется им умыться со статьей. Генике не только виноват, но и связан с целым рядом лиц по сю и по ту сторону демаркационной линии. Он много чего рассказал. В том числе подтвердил, что связан с крупным фашистом, который направляет действия против мероприятий Администрации; он находится где-то в нашем районе.

— Ну и слава богу,— облегченно вздохнул Лубенцов.— А то я немножко струхнул.

Итак, краснолицый реально существовал. Весь район был поставлен на ноги. Однако после ареста Генике — может быть, в связи с этим арестом — «генерал Вервольфа» исчез. Лубенцов искренне жалел об его исчезновении. Было бы очень обидно, если бы краснолицый убежал за демаркационную линию и избегнул таким образом кары.

Во всяком случае, кругом стало тихо и мирно; началась засыпка семян к весенней посевной кампании. Новые крестьяне и безземельные, получившие землю, работали на своих участках, находя все больший вкус в реформе и понемногу освобождаясь от страха перед помещичьим возмездием. Когда же Советская Администрация распорядилась получить с них первый взнос с оплаты за землю, они и вовсе ободрились. Взнос был ничтожным, но это все-таки был взнос. Он означал, что земля куплена, а не взята. И крестьяне охотно и с удовольствием вбивали столбики вдоль своей новой межи, столбики, означавшие, что участок — ихний, собственный, купленный.

Краснолицый исчез.

VI

Воробейцев, придя однажды к своему новому приятелю Меркеру, застал у него высокого краснолицего плешивого человека, одетого в черный костюм и похожего в этом костюме на духовное лицо. Меркер познакомил «господина капитана» с «попом», как Воробейцев мысленно назвал краснолицего.

— Как живешь? — спросил Воробейцев у Меркера.— Достал ты мне тот «нэш»? Гоночный? С красной кожей на сиденьях?

— Достал, достал, господин капитан,— угодливо сказал Меркер.

У Воробейцева разгорелись глаза.

— Веди, показывай,— сказал он.

Воробейцев вышел вслед за Меркером.

— Это кто? — спросил Воробейцев, когда они вышли на улицу.

— Один знакомый,— ответил Меркер.— Вернее, знакомый моих знакомых. Приехал из Тюрингии по торговым делам.

— Чем он торгует?

— Различной м... м... мебелью и вообще... разным имуществом.

— Он не в Зуле живет? Охотничьими ружьями не торгует?

— Вполне возможно... Я спрошу. Обязательно узнаю. А что, вам нужны ружья?

— Вот еще спрашивает! Конечно, нужны!

Когда они после осмотра гоночной машины, которую Меркер раздобыл для Воробейцева, вернулись обратно, «поп» сидел все в той же позе у стола, зябко потирая большие руки. На сей раз

он не испугался русского. Этого русского нечего было пугаться: он ходил по комнате — худой, длинный, изломанный, болтливый, нарочито грубый, удивительно невнимательный. «Поп» стал с ним разговаривать оживленно, ласково, расспрашивал его про подполковника «фон Любенцоф». Узнав, что русский интересуется ружьями, он выразил желание при первой же возможности, как только прибудет партия товаров, подарить капитану трехствольное ружье с одним стволом нарезным — на крупного зверя. Воробейцев еще не видел таких ружей и очень обрадовался.

Русский капитан легко говорил по-немецки, и «поп» чувствовал себя с ним свободно. Только фуражка русского с малиновым околышем и большой красной звездой, фуражка, лежавшая на столе между ними, иногда, когда он косился на нее, выводила его из равновесия. Но потом Меркер нежно взял эту фуражку обеими руками, так, словно она была живая, и переложил ее куда-то на другое место, так как фрау Меркер стала накрывать на стол. После этого «поп» стал себя вести с Воробейцевым совсем запросто. Он даже раз хлопнул русского по колену в знак своих дружеских чувств и сам в душе возгордился этим своим жестом, о котором не мог даже мечтать час назад. Он решил, что поборол в себе страх перед «ними», что наконец перестал бояться «их».

Бюрке в эти дни, как и Лубенцову, тоже снились коровы, лошади, ягнята и телята. Но Лубенцову снились живые, а ему — плавающие в крови. Он мечтал об уничтожении всего скота в советской зоне, с тем чтобы здесь начался повальный голод, лучший союзник пославших его.

Фрау Меркер подала на стол огромный противень с жареной бараниной.

— Это последнее мясо у нас,— печально сказал Меркер.— От тех двух баранов, которых вы, господин капитан, изволили подарить нам... А что дальше будет...

— Ладно,— сказал Воробейцев,— не горюй. Подброшу тебе кое-что за эту машину. Сахару велю тебе дать с завода. Не бойся. Не похудеете,— сказал он, обращаясь уже к жене Меркера, и похлопал ее по ляжке, не стесняясь присутствием мужа.

— О,— сказала она, нагибаясь к Воробейцеву и обнимая его.— Lieber Kerl! [1]

[1] Милый парень! *(нем.)*

— Гулять так гулять! — воскликнул Воробейцев, возбужденный этим быстрым объятием.— Что же это? Водки у вас нет, что ли? Доставай, доставай. Пришлю тебе еще.

«Поп» осторожно клал себе в тарелку куски баранины и при этом глядел на них странно пристальным взглядом. Время от времени он переводил взгляд с баранины на Воробейцева. Одобрительно кивая головой и иногда смеясь в ответ на остроты, успокаиваясь все больше и больше, он неопределенно думал о том, что, в общем, не все русские страшны; вот этот русский — порядочный бездельник и парень неплохой.

О подполковнике «Любенцоф» Воробейцев отозвался, в отличие от всех немцев, рассказывавших Бюрке о коменданте, не слишком почтительно. То есть в словах его ничего непочтительного не было, но все-таки в них сквозило раздражение; чувствовалось, что Воробейцев недоволен любопытством немца одним тем, что этому приезжему немцу так интересен Лубенцов. Разумеется, Воробейцев не собирался отзываться плохо о своем, советском, коменданте перед этими немцами, кто бы они ни были, хотя бы потому, что они немцы. Но он не в силах был скрыть свою неприязнь. Он сразу же перевел разговор на себя. И чем больше он пил, тем больше говорил о себе, и из его слов получалось, что в комендатуре главный — он, что все дела зависят от него, а начальство в Галле и даже в Берлине предпочитает всем другим офицерам его. Он сам как будто не замечал, что проделывает интересный, хотя и обычный в устах пьяных и хвастливых людей, фокус: он рассказывал о словах, сказанных Лубенцовым, и о делах, сделанных Лубенцовым, но вместо Лубенцова подставлял себя. И оттого что он в глубине души, конечно, знал об этой подстановке, он еще больше ненавидел Лубенцова, а себя еще больше любил и жалел.

— Выпьем! — кричал он то и дело по-русски и провозглашал один и тот же тост: — За встречу под столом!

Когда он объяснил своим собутыльникам суть этого тоста, они много смеялись и тоже стали провозглашать его по-русски, на ломаном языке, весьма отдаленно напоминавшем верное произношение этих слов.

— За стреч по столём! — кричали то Меркер, то Бюрке, выпивая свои рюмки; Воробейцев же пил стаканами, чему оба удивлялись, а заметив, что ему нравится их удивление, удивлялись вслух.

— Выпьем! — опять крикнул Воробейцев и чокнулся с обоими. Однако Меркер на этот раз спасовал и сказал, что больше пить не может. Тогда Воробейцев, не говоря ни слова, взял за горлышко начатую бутылку и небрежным жестом выкинул ее в открытую форточку.

— Будешь пить? — спросил он, берясь за горлышко другой, еще не распечатанной бутылки.

— Я, я, — испуганно забормотал Меркер и выпил свою рюмку залпом.

Бюрке напряженно улыбался. Пьяная удаль Воробейцева немного пугала его, Меркер суетился, задабривая русского. Он вовсе не хотел, чтобы его квартира стала предметом наблюдения.

Наконец Воробейцев угомонился, и его уложили спать на диване. Улеглись и остальные. Но Меркер все беспокоился, как бы кто-нибудь не пожаловался в полицию или — еще хуже — в комендатуру. И когда поздно ночью раздался стук в дверь, Меркер испугался. Он попытался растолкать Воробейцева, но это оказалось невозможным. Бюрке, разбуженный стуком, уже сидел на кровати и быстро одевался. С перекошенным лицом Меркер пошел открывать. К великому своему облегчению, он услышал за дверью английский говор и впустил двух американцев. Оба были ему незнакомы, но один из них сказал, что прислан О'Селливэном, и тогда Меркер совсем успокоился. Сказавший это был высоким человеком с большими неподвижными глазами. Он осмотрел полутемную комнату, стол с опрокинутыми бутылками, хмыкнул и, заметив лежавшую на диване фигуру, подошел к ней, наклонился и сказал:

— Э, Виктор!

Он быстро растолкал Воробейцева, который долго не узнавал его.

— Ты как сюда попал? — закричал Воробейцев.

Это был Уайт, тот самый Фрэнк Уайт, с которым Воробейцев познакомился во время Потсдамской конференции. Появление его здесь показалось Воробейцеву прямо-таки удивительным. Нельзя сказать, чтобы Воробейцев слишком уж обрадовался возобновлению знакомства. А Уайт все похлопывал Воробейцева по плечу и говорил:

— Миртэсэн.

Это странное слово он повторял много раз, и Воробейцев вначале принял это слово за неизвестное ему американское при-

ветствие. И только гораздо позже он понял, что Уайт говорит по-русски «мир тесен».

— Да, мир тесен,— сказал Воробейцев, не очень довольный этим обстоятельством.

Второй американец, никого не спрашивая, хлебнул из одной бутылки и лег на место Воробейцева спать. Меркер вытащил из другой комнаты Бюрке, и они уселись «допивать». Тут не было недостатка в тостах. Тосты произносил Уайт. Выпили за Россию и за Соединенные Штаты.

— Выпьем и за Германию,— сказал Уайт, исподлобья взглянув на Бюрке.

Выпили.

— Теперь давайте за Англию и Францию,— предложил Воробейцев, который снова сильно захмелел.

Но за Англию и Францию Уайт отказался пить. Он отрицательно замотал головой.

— Тогда за встречу под столом,— предложил Меркер, и Уайт, не без труда поняв, что он сказал, оглушительно захохотал, так что чуть не захлебнулся вином. Потом он стал смертельно серьезным, уставился в одну точку и зашевелил губами.

— А где твой друг, этот хороший и весьма милый капитан? — спросил вдруг Уайт, обращаясь к Воробейцеву.

— Мы с ним больше не встречаемся,— сказал Воробейцев.

Уайт спросил:

— Уехал далеко? Россия?

— Здесь он,— хмуро сказал Воробейцев.

— Ссора? Женщина?

Воробейцев не стал ничего объяснять и в ответ только буркнул нечто нечленораздельное.

— Он хороший,— сказал Уайт.— А я и ты нехорошие. Очень плохие. Нас надо повешать.— Он говорил спокойно, с неподвижным лицом.— Майор Коллинз передает тебе привет. Говорит, что ты хороший. Очень любит тебя.

Последние слова заставили Воробейцева сразу протрезветь. Если раньше он думал, что появление Уайта — случайность, то теперь, после упоминания о Коллинзе, он взглянул на Уайта с опаской. Вскоре он поднялся с места, говоря, что пора уходить. За окном было уже почти совсем светло. Появились первые прохожие.

— Придешь сегодня? — спросил Уайт.— Вечером приди. Или я к тебе приду? Могу прийти. Домой к тебе или на службу?

— Зачем? — сказал Вробейцев.— Я сюда приду.

Он подошел к зеркалу, привел в порядок свой китель, застегнул его на все пуговицы, поправил помявшиеся погоны и надел фуражку. Собственный вид в зеркале заставил его подтянуться и приободриться. Глядя на свой мундир, он как бы вспомнил о своей принадлежности к войскам величайшей державы и почувствовал уверенность в себе. Вместе с тем — и одно было связано с другим — он преисполнился чувства неприязни и подозрительности по отношению к своим трем собутыльникам. В этот момент, который мог бы оказаться спасительным для него, он как бы наполовину прозрел и осознал, что американец гораздо ближе к этим немцам, чем к нему, Воробейцеву, и что все они составляют одно целое, причем их цель — привлечь к себе, опутать и подмять под себя его, Воробейцева.

Эти мысли или обрывки мыслей пронеслись у него в голове. Он теперь с особенной силой хотел быть таким, как Чохов, о котором он, оказывается, думал гораздо больше, чем сам предполагал, и воспоминания о котором встали перед ним с особенной остротой после того, как сам Уайт, похвалив Чохова, определил пропасть, разделявшую двух друзей.

Воробейцев сказал в сухой и отрывистой чоховской манере:

— Зря ты сюда приехал. Если ты следуешь в Берлин, то маршрут совсем не тот.

Манера-то походила на чоховскую, да совесть была нечиста. И, встретив холодный взгляд огромных белых глаз американца и увидав на столе узкие белые руки Меркера, Воробейцев делапно хихикнул и сказал:

— Это я шучу. Ладно. Увидимся.— Он вышел на улицу. На лестнице он столкнулся с маленьким пожилым немцем, лицо которого было ему знакомо. Он однажды встретил его у Меркера и несколько раз видел возле комендатуры.

VII

Побродив некоторое время по улицам, Воробейцев отправился в комендатуру и, так как было еще слишком рано, прошел черным ходом во двор и оттуда попал в помещение комендантского взвода, где в одной из комнат жили командир взвода и Чохов.

Оба уже были на ногах и умывались. Причем оба умывались так старательно, так шумно, с такой любовью к этому делу, что Воробейцев тоже решил умыться. И постарался сделать это в точности, как они, то есть без боязни залить воду за ворот рубахи или замочить закатанный рукав, что для нервного Воробейцева было нелегко.

Они сели завтракать. Пища была самая что ни на есть солдатская — гречневая каша с салом. Воробейцеву вовсе не хотелось есть ее, но он ел, чтобы быть таким, как они. Вскоре к ним присоединился Воронин, сообщивший, что Лубенцов сегодня ночевал в комендатуре у себя в кабинете, так как поздно засиделся. Чохов наложил для коменданта миску каши, и Воронин отнес ее наверх, а потом вернулся и тоже сел завтракать.

Воробейцев начал говорить о том, что пора уже, пожалуй, ехать на родину; надоела эта Германия как горькая редька.

Чохов посмотрел на него с удивлением. Он впервые слышал от Воробейцева нечто подобное. Воробейцев говорил искренним голосом и смотрел перед собой с выражением тоски в глазах, которую и впрямь можно было принять за тоску по родине.

Тогда Чохов посоветовал ему написать рапорт Лубенцову и сразу, пока не начался рабочий день, зайти к Сергею Платоновичу и поговорить с ним об этом.

Воробейцев сказал: «Да, верно»,— и поднялся с места, но потом заколебался, заговорил о другом, снова сел. Ему вдруг показалось страшным ехать домой. Он вел тут слишком легкую жизнь и слишком к ней привык. На родине его ожидает снабжение по карточкам и настоящий труд, да еще, может быть, на пострадавших от войны территориях.

— Эх, ребята,— сказал он.— Я тут в одном месте обнаружил такую машину — пальцы оближешь. Представьте себе — гоночная, небольшая, но с длиннейшим капотом. Сплошной мотор. Восемь цилиндров. А мест всего два и одно сзади откидное. Сиденья из красной кожи высшего качества. Игрушка. Легко развивает скорость до ста восьмидесяти километров. Только не знаю, себе оставить или подарить кому-нибудь — скажем, генералу Куприянову. Конечно, машина не для капитана. Вечером я ее возьму и обязательно вам покажу.

— Где это вы все достаете? — спросил Воронин.— Я и сам хочу найти для подполковника какую-нибудь машину получше.

— Что подполковник? — засмеялся Воробейцев.— Он этим мало интересуется. Уж кому-кому, а ему легко заполучить все, что угодно. Могу подыскать для него. Я сегодня вечером буду в одном месте, спрошу.

— Ловкач,— сказал Воронин, когда Воробейцев ушел.

Поевши, Воронин вышел на улицу. Его ожидала машина, так как по поручению командира взвода ему надлежало ехать в Альтштадт. У фонаря стоял Кранц.

— Ну что, поедешь со мной? — спросил Воронин.

— Хорошо,— сказал Кранц.

Они сели в машину и поехали. А так как машина, на которой они ехали,— старый «вандерер»,— стучала и грохотала, Воронин вспомнил о разговоре с Воробейцевым и сказал:

— Пора машину сменить. Неудобно коменданту на такой ездить.

— Полиция может подобрать подходящую машину для господина коменданта,— сказал Кранц.— Скажите господину Иосту.

— Капитан Воробейцев раздобыл красивую спортивную машину. И где он все достает?

Кранц сразу понял, где Воробейцев достал эту машину. Сегодня рано утром он встретил Воробейцева выходящим из квартиры Меркера. Кранц вел с Меркером кое-какие коммерческие дела, был у него маклером, исполнял мелкие поручения, но Меркера не любил и знал о нем — хотя никому об этом не рассказывал — немало компрометирующего еще с гитлеровских времен. То, что советский офицер, по-видимому, ночевал у Меркера, покоробило Кранца. Особенно удивился он, когда попал к Меркеру в квартиру и обнаружил, что там находились два американца и один чужой немец, нездешний, явный баварец, судя по акценту.

Кранц подумал, что это не его дело и что вольно капитану Воробейцеву якшаться с кем угодно. В отличие от Воронина или от подполковника Лубенцова Кранц не считал коммерческие дела чем-то предосудительным. Но он знал, что они, Воронин и Лубенцов, так именно считают. Он прекрасно знал, с какой щепетильностью «подполковник Давай» относится к этим делам. Поглядев с боку на маленькое лицо Воронина, на его узкие татарские глазки под иссиня-черными, тоже узкими бровями, Кранц решил про себя, что надо предостеречь комендатуру.

На этот счет у него были свои мысли. Он желал русским добра. Ему хотелось, чтобы немцы думали о России хорошо. Он вряд ли вкладывал в это свое желание какой-либо особый политический смысл. Частная жизнь капитана Воробейцева, о которой Лаутербург кое-что знал, коробила Кранца, хотя многим немцам здесь она казалась естественной и вполне человеческой. Естественной она, пожалуй, казалась бы и Кранцу, если бы он не мог читать русских газет и книг и если бы не знал Лубенцова и Воронина. А он знал их, и гораздо лучше, чем они предполагали. Он вообще многое знал.

Может быть, русские даже сами того не понимали, насколько они на виду. Когда кто-нибудь из немцев высказывался против русских, он обязательно упоминал капитана Воробейцева в том смысле, что вот они, русские, говорят про социализм и кичатся социализмом, построенным у них, а если взглянуть на них повнимательнее — вот хотя бы на того же капитана Воробейцева,— сразу видишь цену словам.

Хорошее всегда сокровеннее плохого, оно не так заметно, как плохое.

Перебрасываясь с Ворониным односложными замечаниями, Кранц не решился сказать ему что-либо в присутствии немца-шофера, который немного понимал по-русски. Разговор шел вполне нейтральный.

— Как тебя зовут? — спросил Воронин.

— Пауль.

— А!.. Пауль Кранц, значит?

— Да. Это по-русски Павел.

— Ну? Неужели? Как? Значит, немецкие имена переводятся на русский?

— Да. Почти все.

Воронин страшно заинтересовался.

— А Иван как по-немецки?

— Иоганн. Ваня — это Ганс по-нашему.

— Ну?.. А твоего отца как звали?

— Томас.

— А по-русски?

— Фома.

Воронин расхохотался.

— Значит, тебя зовут Павлом Фомичом?

— Да,— улыбнулся Кранц.— Так меня жена звала.

— А меня как зовут по-немецки?

— Деметриус.

— Похоже, но потруднее, еле выговоришь. А Екатерина Федоровна как будет по-вашему?

— Катарина. А Федор — Теодор.

— Вот тебе раз!

Так они болтали до приезда в Альтштадт. И только здесь, возле склада, где Воронин получал продукты для своего взвода, Кранц как бы невзначай сказал Воронину о «коммерческих связях» Воробейцева с черным рынком, который имелся в Лаутербурге, как и повсюду.

Брови у Воронина на мгновенье поднялись, потом снова встали на свое обычное место.

— А может, у него служба такая,— сказал он спокойно.— И нечего вам, Павел Фомич, мешаться не в свои дела.

Кранц обиделся и всю обратную дорогу сидел молча, хотя Воронин то и дело пытался заговорить с ним,— конечно, не о Воробейцеве, а вообще о разном, главным образом об именах.

В Лаутербурге Воронин остановил машину возле домика коменданта и вынес Кранцу несколько пачек сигарет. Но хотя Кранц был завзятым курильщиком и наверняка нуждался в куреве, он на этот раз наотрез отказался взять сигареты и быстро ушел. Воронин долго смотрел вслед Кранцу. Потом он поглядел на сигареты и сделал вывод, что предупреждение Кранца имеет гораздо большее значение, чем ему показалось вначале.

Второе предупреждение последовало из совсем неожиданного источника.

На следующий день отправлялся в Советский Союз эшелон с репатриантами. Ксения пошла на станцию провожать своих товарищей и подруг, со многими из которых провела вместе несколько страшных лет. Лубенцов поручил Чохову представлять на проводах комендатуру. Подходя к эшелону, Чохов издали увидел Ксению, стоявшую в кружке отъезжающих девушек и парней, среди которых выделялась широкая фигура одноногого.

Чохов покосился на них, но не подошел, а медленно двинулся по перрону, заходя то в один, то в другой вагон, проверяя, все ли тут в порядке. К нему обращались разные люди с жалобами то на то, то на другое. Он выслушивал их, потом шел за ними в вагоны, чтобы проверить жалобы. Ехали тесно, хотя один вагон, задний, был никем не занят и почему-то заперт.

Чохов велел открыть этот вагон, и люди, не имевшие места, быстро заняли его.

Возвращаясь с хвоста поезда к его голове, Чохов увидел, что одноногий и Ксения отделились от остальных и медленно идут у самой стены вокзала, причем одноногий положил большую руку на плечо Ксении. Они говорили вполголоса и, видимо, были очень заняты своим разговором. Чохов испытал щемящее чувство ревности. Он посмотрел на них только однажды, но ему казалось, что он навеки запомнит эти два лица, чуть склоненные к земле. Оба были серьезны. Одноногий говорил. Ксения молчала, слушала.

Чохов прошел мимо. Издали показался паровоз — тот самый, который должен был повести состав. Два сцепщика в замасленных комбинезонах не спеша шли от здания станции к голове поезда. Чохов пошел за ними, долго смотрел, как они сцепляют паровоз с составом. Раздался металлический лязг. Машинист, высунувшись из окошка паровоза и глядя назад, что-то крикнул по-немецки, и это показалось Чохову неожиданным; он все еще не мог представить себе мирных, работающих немцев: переживания войны слишком глубоко сидели в нем.

Поезд тряхнуло. Паровоз громко запыхтел. Все было готово. Чохов повернулся и пошел обратно к центру состава. Начальник станции подошел к нему и произнес несколько слов. Чохов не понял, хотя уже понимал немецкий язык довольно хорошо. Он даже не слышал, что начальник станции говорит, так как опять увидел Ксению и одноногого. Те уже стояли среди других. Ксения увидела Чохова и быстро пошла к нему. Начальник станции продолжал говорить. Чохов рассеянно кивал головой. Ксения подошла и сказала:

— Товарищ капитан, товарищи вас зовут.

— Ладно,— сказал Чохов и вместе с ней пошел к группе, в которой находился одноногий.

Все были взволнованы и растроганы. Одноногий, сделав шаг навстречу Чохову, протянул ему руку.

— Прошу вас передать нашу общую благодарность коменданту,— сказал он.— И от меня личный привет передайте ему и всем товарищам из комендатуры. Желаю вам счастливо оставаться и все сделать, что нужно, тут, в Германии.

— Хорошо, передам,— сказал Чохов угрюмо.

Одноногий все тряс его руку и заглядывал ему в глаза светлым и растроганным взглядом своих обычно сумрачных глаз.

— Ксению берегите,— сказал он негромко.

— Гоша, дай и нам проститься,— проговорила одна из девушек, и одноногий нехотя выпустил руку Чохова. С Чоховым стали прощаться и остальные.

— Счастливого пути,— сказал Чохов. Мрачное настроение покинуло его сразу же после слов одноногого о Ксении: эти слова были явно сказаны лично ему, Чохову, и сказаны так, как брат может сказать о сестре, доверяя ее жениху. Чохов это смутно понял, и краска бросилась ему в лицо.

Ксения стояла в стороне. Ее рот был полуоткрыт, и непонятно было, то ли она грустно улыбается, то ли собирается заплакать. Потом она действительно заплакала, но не навзрыд. Выражение ее лица даже ничуть не изменилось, а просто из глаз показалось несколько слезинок, которые поползли вниз. Она не пыталась их вытирать и не пыталась скрыть лицо. Она смотрела все так же, ни на кого не глядя, куда-то вперед.

— Вы старшего по эшелону выбрали? — спросил Чохов, продолжая выполнять свои обязанности. Он чувствовал, что сердце его наполняется восторгом, испытанным, может быть, один или два раза за всю жизнь.

— Гоша у нас выбран старшим,— сказал кто-то.

Чохов кивнул головой, так как наперед знал, что именно одноногий должен быть старшим и что именно его все выберут.

Как ни непохож был одноногий на Лубенцова, но Чохов почему-то вспомнил в этот момент о своем начальнике — потому, очевидно, что, попади Лубенцов в эти обстоятельства, его тоже выбирали бы всегда старшим и он тоже был бы поверенным во всех делах и мыслях окружающих его людей. А он, Чохов? Мог ли и он быть таким? Способен ли и он раствориться в делах, в общем интересе, в то же время оставаясь самим собой — особым, ни на кого не похожим? Он в этом сомневался. Будучи крайне самолюбивым, он в то же время относился к себе в высшей степени критически.

Между тем начальник станции сообщил, что поезд готов к отправлению. Одноногий, стуча деревяшкой по плитам перрона, отошел от остальных, словно ему было тесно среди людей, и, подняв руку вверх, зычно крикнул:

— Внимание! По вагонам!

Потом он подошел к Чохову, обнял его быстрым объятием, так же быстро обнял Ксению и заковылял к составу. На подножке того вагона, к которому он направился, сидел человек

с аккордеоном. В этот момент он заиграл самую популярную в то время советскую песню «В прифронтовом лесу». Одноногий встал на подножку, переступил ногой через играющего и очутился в тамбуре. С полминуты постоял он вот так — спиной к станции, потом медленно повернулся всем корпусом, снял фуражку и взмахнул ею. Чохов и Ксения смотрели на него, и он улыбнулся им сдержанной и тревожной улыбкой.

Поезд тронулся. Звуки песни вскоре замерли. Чохов и Ксения остались на пустом перроне вдвоем. Они постояли минуты две и потом медленно направились на вокзальную площадь, где стоял мотоцикл Чохова.

VIII

Они сели на мотоцикл.

— Поедем за город,— сказала Ксения.— Мне надо с вами поговорить.

Чохов завел машину, и они спустя несколько минут были в горах. Здесь, на безлюдной дороге, под соснами, Чохов остановился и слез с мотоцикла. Ксения тоже слезла и внимательно посмотрела на Чохова.

«Сейчас что-нибудь скажет про одноногого»,— подумал Чохов.

— Гоша вот что велел передать,— сказала Ксения, и в ее голосе Чохов почувствовал волнение.— Вчера он был у одного немца, который живет тут недалеко, на Гнейзенауштрассе. Он не просто туда пришел. Его вызвали. В Лаутербург приехал какой-то американец, который имел письмо к Гоше. Письмо от одного... нашего... русского... оттуда, с запада. Цапайло его фамилия. Человек как человек, но, видно, совесть была нечиста, и когда стало известно, что Красная Армия сюда идет, он убежал на запад. Ночью убежал, никого не предупредил. Правда, он и раньше все время толковал, что неизвестно еще, как поступят с нами наши, то есть советские, не посадят ли за то, что мы оказались на вражеской земле. Нас этим все время запугивали. И англичане нам об этом твердили и американцы... Видимо, тот Цапайло... и испугался. Вчера он прислал Гоше письмо через американского офицера: беги сюда, на запад. Будешь хорошо здесь жить. Устроим тебя... А этот офицер-американец — он хорошо говорит по-русски, по фамилии его Гоша не знает — сказал, что у него есть официальный пропуск на

Гошу, выданный американским командованием. Так что Гоша мог сегодня уехать с этим американцем на запад. Он, конечно, не уехал, но американцу сказал, что подумает, так как опасался, что, если сразу откажется, они его там пристукнут, так как побоятся, что он про все сообщит. Так вот,— продолжала она, помолчав,— Гоша велел передать, что у того немца часто бывает капитан Воробейцев. Он ведет с ним какие-то темные дела, спекулянтские. В общем, пользуется служебным положением и достает для этого немчика дефицитные товары, а тот взамен ему тоже что-то там достает. И Гоша велел об этом передать товарищу Лубенцову. Конечно, Гоше не хочется, чтобы его, Гошу, вмешивали в это дело, чтобы его тягали. А просто он просит предупредить, чтобы последили. Но если понадобятся его показания, то он, так и быть, согласен в крайнем случае подтвердить это письменно или как-нибудь иначе. Адрес его у меня есть. Но,— она умоляюще посмотрела на Чохова,— если можно обойтись без участия Гоши...

Чохов молчал и слушал. Собственно говоря, он совсем не удивился. Он хорошо знал Воробейцева и мог вполне поверить в то, что Воробейцев действительно делает темные коммерческие дела. И, однако, зная это и не удивившись этому, Чохов был поражен и взволнован. Потому, очевидно, что, услышав такого рода сведения о Воробейцеве из *чужих* уст, он вдруг впервые начал оценивать Воробейцева и весь его облик совсем не так, как раньше, на основании личных наблюдений. Раньше, когда он все видел и ощущал лично, это вовсе не казалось ему таким грозным и опасным, как сейчас, когда были произнесены вслух такие слова, как «темные дела», «коммерческие махинации», «использование служебного положения» и т. д. Одно дело наблюдать, догадываться и испытывать личное недовольство недостатками товарища, другое дело — когда эти недостатки и пороки становятся общеизвестными.

— Поговорить, что ли, с Воробейцевым? — растерянно сказал Чохов после некоторого молчания.

Ксения посмотрела на него и неожиданно ответила с оттенком ласковой насмешки:

— Вы хороший человек, Василий Максимович. Но мне кажется, что говорить надо не с Воробейцевым, а с Лубенцовым. Во всяком случае, я обязана это сделать. Мне Гоша поручил.

Он ничего не ответил, только стал молча заводить мотоцикл.

Вернувшись в комендатуру, Ксения пошла к Лубенцову. Но

Лубенцова не оказалось, он был в отъезде. Чохов пошел к себе. Он шел по длинному коридору и, когда поравнялся с дверью, за которой обычно работал Воробейцев, на мгновенье приостановился, прошел мимо, вернулся, приоткрыл дверь. Воробейцев сидел за столом и старательно писал, нагнув голову так, что белесая прядь прямых волос достигала стола и заслоняла его лицо. Услышав скрип двери, он поднял голову, привычным взмахом головы отправил прядь на место и, увидев Чохова, просветлел.

— Садись, Вася,— сказал он.— Мы редко видимся. Как будто живем в разных городах.

— Да,— сказал Чохов.

— Я по тебе соскучился,— признался Воробейцев, и что-то жалкое промелькнуло на его лице.

— Мне надо с тобой поговорить,— сказал Чохов.

Воробейцев посмотрел на него быстрым испытующим взглядом.

— Что ж,— сказал он,— поговорить можно.— Он начал складывать бумаги и, то и дело кидая на Чохова взгляд исподлобья, сказал: — Ты мне это так торжественно объявил... Как в Большом академическом театре.— Несмотря на игривый тон, он был обеспокоен.— Что ж, поговорить можно,— продолжал он, все так же складывая бумаги, причем делал это старательно и не спеша. Наконец он встал с места, посмотрел на ручные часы и сказал: — Пожалуй, можно и кончать. Можно идти и пообедать. Тем более что вечером мы все должны быть здесь — очередное совещание. Наш-то не дремлет.

Чохов ничего не ответил, угрюмо ждал, пока Воробейцев собирался, и они вдвоем вышли из комендатуры.

«А что я ему буду говорить?» — вдруг подумал Чохов и почувствовал себя неловко. Читать потации было совсем не в его духе.

— Куда пойдем? Ко мне? — спросил Воробейцев.

Чохов кивнул головой. Они шли еще некоторое время молча, наконец Воробейцев, как всегда нетерпеливый, заговорил:

— Чего ты напустил на себя такой важный вид? Что у тебя там? О чем ты хочешь говорить? А то ты все идешь, как будто на моих похоронах. Выкладывай, что имеешь!

Улица была пустынна, и Чохов мог бы и сейчас объяснить Воробейцеву все, но он не знал, с чего начать, поэтому отмахнулся от вопросов и заговорил только в квартире Воробейцева.

— Это нехорошо кончится,— сказал он.— Связался с немцами-жуликами, спекулянтами. Делаешь темные дела.

— Что, что именно? — вскочил с места Воробейцев.— Ты это брось! Это все сплетни! Какая-то сволочь выдумала. А что? Ты где это слышал? Кто это тебе?..— Он закидал Чохова тревожными вопросами, стараясь выудить, что, собственно, такое случилось и что известно о его, Воробейцева, поведении. При этом он лихорадочно прикидывал, кто именно мог бы оказаться в свидетелях против него, кто что знает — в особенности из немцев. Не то чтобы он находил свое поведение и свои «дела» предосудительными, однако теперь, оказавшись перед опасностью разоблачения, он на минуту посмотрел на себя и свои «дела» не своими глазами и не глазами тех немцев-коммерсантов, с которыми якшался, а глазами Лубенцова и Касаткина. С их точки зрения его жизнь и поведение были в высшей степени преступны, и если бы они узнали хоть половину из этой мелкой эпопеи самоснабжения, использования должности и так далее, они бы, несомненно, сочли его преступником, почти врагом.

Главное было теперь разузнать у этого простака Чохова, что именно уже известно и откуда известно. Хуже всего, если бы оказалось, что «капнул» кто-то из немцев. Этого он никак не мог ожидать, так как те немцы, с которыми он водился, смотрели на его мелкую погоню за наживой как на естественное дело: они сами занимались этим всю жизнь и не имели представления о другой жизни. Они могли это сделать из мести, и то вряд ли, так как боялись его и, по его мнению, считали его всесильным и способным нанести им серьезный ущерб. В конце концов он действовал им на пользу, давал некоторым предпринимателям больше дефицитных товаров, чем им полагалось, а взамен получал кое-что. Такие операции казались им, по его наблюдениям, вполне нормальными.

— Это все сплетни,— говорил он между тем, шагая из угла в угол.— И не верь, Вася. Это все Касаткин, у которого все на подозрении. Он уже раз вызывал меня. Шумел, что я выписал ликерному заводу больше бензина, чем надо... Просто ошибка получилась.

— Ты мне этого не говори. Я тебя знаю. Знаю твою философию.

— Ну и что? Что ты знаешь? За философию не наказывают! Если бы наказывали за философию, то многие погорели бы, как свечи! Философию! А кто тебя тянет за язык? Ты мне друг или

так только? Может быть, ты пойдешь стукнешь Лубенцову про мою философию? Никак не ожидал, что ты доносчик! Я думал, что ты человек благородный, человек с душой солдата.

Он размахивал руками, распаляясь все больше. Собака-«боксер», лежавшая в углу на ковровой подстилке, привстала и зарычала на Чохова.

— Значит, нет у меня друзей? — продолжал Воробейцев.— Единственный друг, значит, вот этот пес? Так, что ли? В последнее время ты совсем меня забыл. С бабой тебе приятнее проводить время, чем с товарищем? Ах, Вася, Вася!

Чохов не ожидал такого взрыва чувств. Его, всегда такого сдержанного, выводило из равновесия выражение чувств вслух. Он начал оправдываться:

— Я именно как друг и хотел тебя предупредить. Брось, Воробейцев, все это. Смотри, как дружно мы все работаем. Если в чем виноват, то прямо пойди к Сергею Платоновичу и открыто скажи. Он поймет. Ведь ты же знаешь, какой он человек. Ты только притворяешься, что не знаешь.

Воробейцев, слушая Чохова, жалел себя все больше. Тем временем он прикидывал в уме, как ему нужно будет держаться, если его вызовет Лубенцов, и как — если его вызовет Касаткин. Он был доволен, что Чохов предупредил его. И он глядел на Чохова любящим взглядом, но в то же время прикидывал, нельзя ли повернуть дело так, чтобы уговорить Чохова свидетельствовать при случае о его, Воробейцева, невиновности. В крайнем случае можно будет сознаться в легкомыслии, непонимании опасности капиталистического окружения и, главное, бить на то, что с ним, Воробейцевым, не работали, мало с ним беседовали, мало разъясняли. Он знал, что это всегда сильно действует на наших людей, которые стремятся всегда со всеми «работать» и всем «разъяснять».

Собака перестала рычать и, успокоенная, опустилась на подстилку, продолжая глядеть на хозяина доверчивыми большими, навыкате, глазами.

— Все свои знакомства прекрати,— сказал Чохов, вставая.— Сразу же отрежь.

— Да какие знакомства? — обиженно спросил Воробейцев.— Опять ты мне толкуешь про знакомства.

— Зря ходишь к немцам домой.

— Никуда я не хожу! С одной стороны, вы кричите: немцы бывают разные, есть и хорошие! Большинство хороших! Надо

им помочь! А с другой стороны — никуда не ходи, ни с кем не общайся...

— Ходи к хорошим,— сказал Чохов.

— А ты что, не был у Меркера? Мотоцикл тебе кто устроил? Тот же Меркер!

Чохов пожал плечами и пошел к выходу, сопровождаемый тихим рычанием собаки. У выхода из дома он постоял минуту, потом пошел обратно в комендатуру, послонялся там по комнатам. Дежурный сержант Веретенников сказал, что Лубенцов все еще не приезжал, но звонил из соседнего города Фельзенштейн; он задержался у подполковника Леонова и к совещанию приедет.

Веретенников держал в руках большую пачку писем и раскладывал их по стопкам. Чохов сел возле него и задумался.

— Чего это вам никогда писем нет, товарищ капитан? — спросил сержант.

— Не от кого получать,— сказал Чохов.

— Сегодня подполковнику три письма. Майор Касаткин совсем перестал получать письма с тех пор, как жена приехала. Но больше всех получает старшина Воронин. Так и сыплются со всех концов России — и от родственников, и от бывших разведчиков. И девушка какая-то ему пишет без конца. Я уже все почерки изучил.

— А капитан Воробейцев много получает писем? — вдруг спросил Чохов.

— Нет, редко ему пишут. Вначале часто писали — больше всего одна девушка из Загорска Московской области. А в последнее время перестала писать. Он ей не отвечал.

Чохов хотел спросить про Ксению, но не решился. Это показалось ему некрасивым — справляться про ее переписку. Он поднялся, чтобы уйти, но тут дверь открылась, и вошел Лубенцов, как всегда, не один — с Меньшовым, тремя немцами и одной немкой. Не заметив Чохова, он прошел со своими спутниками в кабинет, оставив дверь открытой. Чохов слышал издали его быструю речь, прерываемую то и дело голосами немцев. Вскоре немцы ушли. Чохов поднялся, чтобы идти к Лубенцову. Веретенников протянул ему письма и сказал:

— Передайте, товарищ капитан. Он обрадуется. Любит письма получать.

Чохов усмехнулся, взял письма и вошел в кабинет. Лубенцов, заметив письма в его руке, стремительно пошел ему на-

встречу, взял их, сел на первый попавшийся стул, начал читать и тут же вскочил с места.

— Можете меня поздравить,— сказал он.— Таня на днях приезжает. Демобилизовалась, получает документы.

Он отвернулся, может быть потому, что не хотел, чтобы заметили выражение его лица в этот момент. И только когда Меньшов вышел, Лубенцов повернулся к Чохову, подошел к нему и обнял его.

— Наконец-то,— сказал он,— начинается скучная, постная, трезвая семейная жизнь. Если есть на свете счастливый человек, то это я. Вам все это еще предстоит. Что-то мне надо было делать срочное, но я все забыл, ей-богу. Такие известия плохо отражаются на практической работе. Пойдем ко мне, Вася, выпьем по маленькой.

— Сейчас должно быть совещание,— сказал Чохов.

— Ах да. Ну, потом выпьем.

IX

Когда офицеры собрались в кабинет и Лубенцов начал проводить совещание, Чохов следил за ним с особым интересом. Если замечание Лубенцова о том, что получение радостных известий плохо отражается на практической работе, и было верным, то поведение Лубенцова на совещании не подтверждало этого ни в малейшей степени. Все шло, как всегда. Лубенцов только раза три бросил на Чохова веселый взгляд.

В общем, Чохов пришел к выводу, что радостные известия не так уж вредны для работы.

Но, следя за Лубенцовым, Чохов в то же время следил и за Воробейцевым и подумал, что и дурные известия не так уж плохо отражаются — по крайней мере внешне — на людях. Воробейцев слушал подчеркнуто внимательно, записывал в блокнот, иногда бросал односложные одобрительные реплики Лубенцову и Касаткину и вообще выглядел, как самый старательный и ретивый службист изо всех присутствующих.

Чохов подумал о том, что поистине чужая душа потемки и что трудно по внешним признакам понять человека, если он умеет притворяться. Но чем может помочь такое притворство, думал Чохов, если там, в одной из комнат, находится маленькая строгая девушка с непреклонными глазами, которая обяза-

тельно сегодня или в крайнем случае завтра расскажет все Лубенцову, и начнется медленное и упорное дознание, от которого будет лихорадить весь Дом на площади и которое приведет, очевидно, к крупным неприятностям для Воробейцева. Он жалел Воробейцева, а Ксенией, хотя она-то и собиралась нанести Воробейцеву удар, гордился. Эти два как будто несовместимые чувства одновременно владели Чоховым.

После совещания, когда все собрались расходиться, Лубенцов вдруг заговорил совсем о другом, не имевшем касательства к вопросам, разбиравшимся на совещании.

— Товарищи,— сказал он.— У меня еще один небольшой вопрос личного порядка. А именно: я хотел бы узнать, как обстоят у вас у всех личные, самые интимные дела. К товарищу Касаткину приехала жена с детьми. Чегодаев выписал свою семью. Моя жена тоже вскоре приедет. А как быть с холостяками? Вы все великовозрастные молодые люди. Неужели у вас нет на примете невест? Это было бы хорошо. Не улыбайтесь, товарищи, я говорю серьезно. Я, конечно, не имею ни права, ни желания заставлять вас жениться. Но если у вас были такие намерения — осуществляйте их немедленно. Спишитесь, вызывайте. У меня все.

Все поднялись и пошли к выходу, оживленно и не без юмора обсуждая «брачное выступление» коменданта.

Лубенцов счел необходимым заговорить о личных делах офицеров, так как приехал от подполковника Леонова, где случилась следующая история.

Один из офицеров Леонова, лейтенант Поливанов, сошелся с молодой немкой. Лубенцову пришлось присутствовать при разговоре Леонова с Поливановым по этому поводу.

Молоденький лейтенант Поливанов, тихий и милый юноша, командовавший комендантским взводом, не знал, зачем его вызвали, и когда Леонов заговорил, лейтенант страшно смутился. Впрочем, он не стал отнекиваться и что-либо отрицать и, подняв глаза на Леонова, сказал, что любит эту девушку и она любит его.

Тогда Леонов спросил, понимает ли Поливанов, что так нельзя, что не может офицер советской комендатуры вступать в связь с немецкой девушкой, кто бы она ни была. На это Поливанов ответил, что не понимает. И этот простой ответ, надо признаться, поставил Леонова и Лубенцова в тупик, потому что это был в основном верный ответ: непонятно, по какой причине

советский молодой человек — на какой бы он службе ни находился — не имеет права влюбиться в иностранную девушку. Но следовало объяснить Поливанову то, что для них самих было неясно.

Леонов, как и Лубенцов, был сторонником того, громко говоря, направления среди советских офицеров, которое утверждает, что, прежде чем приказать, нужно разъяснить,— разумеется, если для этого есть возможность, если это не на поле боя или в иных исключительных условиях.

По этой причине Леонов при помощи Лубенцова стал объяснять Поливанову, что они, советские люди, выполняют здесь государственную задачу, причем задачу огромной важности и большого политического резонанса, и не могут себе позволить роскошь отвлекаться на какие бы то ни было посторонние дела, тем более не должны вступать в неслужебные связи с местным населением.

— Мы обязаны,— сказал Леонов,— всячески охранять моральную чистоту наших людей за границей и вынуждены бороться с малейшими проявлениями расхлябанности, бесхарактерности и забвения служебного долга самым беспощадным образом.

— Но я ее люблю,— сказал Поливанов все с той же трудно оспариваемой простотой.

— Перед вами выбор,— сказал Леонов.— Либо вы порвете всякие отношения с этой девушкой, либо отправитесь на родину.

— Она хочет поехать со мной,— сказал Поливанов.— Можно это сделать?

Он был бледен.

— Нет,— сказал Леонов.— Перед вами выбор, о котором я сказал.

— Хорошо,— произнес Поливанов после некоторого молчания.— Я поеду на родину.

Все помолчали. Потом Леонов сказал:

— Садись, Поливанов.— Он перешел на «ты», показывая этим, что официальный разговор закончен. И ему и Лубенцову хотелось сказать Поливанову что-то ласковое, успокоить, подбодрить его, но они не нашли слов, да и вряд ли ему нужны были слова. Он чувствовал их отношение к нему. Когда Леонов после долгого молчания сказал ему: «Ничего, Поливанов, ты человек молодой, у тебя все впереди»,— Поливанов сказал:

— Спасибо вам, товарищ подполковник.

Он благодарил, конечно, не за банальные слова утешения, а вообще за их отношение к нему, за весь этот разговор, человечный, хотя и суровый.

В связи с этим Лубенцов подумал о своих офицерах и решил, что лучшее лекарство от таких болезней — сделать комендатуру женатой.

Когда Чохов вышел вместе с Лубенцовым в приемную, он с некоторым облегчением отметил, что Ксении здесь нет. Видимо, не дождавшись конца совещания, она ушла. Чохов не знал, что дома Лубенцова с тем же известием дожидается Воронин, который был обеспокоен сообщением Кранца и уже сам, по своей инициативе, провел кое-какие «разведывательные операции».

Он даже побывал в квартире Меркера, придумав пустячный повод. При этом, со свойственной ему дьявольской наблюдательностью, он приметил, что в соседней комнате находится кто-то скрывшийся туда, как только выяснилось, что в квартиру ненароком зашел русский солдат. На вешалке висело большое грязно-белое полупальто с шалевым воротником из цигейки. А пальто Меркера, маленькое, демисезонное, темно-синего цвета, висело рядом.

Воронин обратил внимание на множество красивых и, по-видимому, дорогих вещей, расставленных повсюду. Решив войти в предполагаемую роль Воробейцева, Воронин стал восхищаться то одним, то другим предметом, на что Меркер неизменно говорил:

— Это можно купить, господин фельдфебель... это стоит недорого...

Жена Меркера тоже как будто продавалась по дешевой цене,— она кокетливо улыбалась Воронину и была одета в очень открытое платье.

На столе у Меркера стояли десятка полтора банок с американской свиной тушенкой, пачки сигарет «Лэки Стрэйк»; в углу, в ведре с водой, плавал огромный кусок сливочного масла кило на шесть.

Вернувшись домой, Воронин стал с нетерпением дожидаться Лубенцова. Но Лубенцов пришел не один, а с Чоховым, Меньшовым и... Воробейцевым. Дело в том, что, когда они покинули комендатуру, получилось так, что Воробейцев никак от них не хотел отстать, и Лубенцов пригласил всех к себе.

Когда они расселись вокруг стола, Лубенцов признался, что

он позвал их неспроста, что у него сегодня радостный день и что, если они не возражают, он угостит их вином.

Не успели они выпить по первой рюмке, как позвонил телефон.

— Никак вас не оставят в покое,— с искусной миной, изобразившей досаду и одновременно восхищение, сказал Воробейцев.

Лубенцов взял трубку. Звонил Себастьян, который хотел с ним немедленно встретиться по важному делу.

— Хорошо,— сказал Лубенцов.— Я к вам сейчас зайду.

Он извинился перед товарищами и пошел в соседний дом.

Профессор ожидал его на пороге. Они поднялись наверх, прошли гостиную и соседнюю с ней комнату. В третьей был кабинет профессора. Эту комнату Лубенцов видел впервые. Кругом с не немецкой неаккуратностью валялись книги и рукописи.

— Давно вы у нас не были,— сказал Себастьян. Он взял со стола бумагу с коротким машинописным текстом, повертел ее в руках и снова положил на место. Потом поднял на Лубенцова глаза и спросил: — Вы довольны мной? То есть моей работой?

— Да, мы довольны вашей работой,— ответил Лубенцов, удивленный вопросом.— Благодаря вашим стараниям и самоотверженности положение с сельским хозяйством в нашем районе лучше, чем во многих других. Вы пользуетесь громадным авторитетом среди населения. Вас любят. И вы заслуживаете эту любовь. Должен вам сказать, что в вас есть много качеств государственного деятеля. Иногда вам, может быть, не хватает твердости характера... Вернее, я бы сказал, что характер у вас есть, но, как бы вам это объяснить, вы слишком много размышляете.

Себастьян рассмеялся смущенно.

— Спасибо за добрые слова,— сказал он.— Вы правы в том смысле, что я слишком рефлектирующий индивидуум. И беда, вероятно, не в том, что я много размышляю, а в том, что я размышляю медленно, медленнее, чем этого требуют обстоятельства. Если бы мне дать волю, я бы только и делал, что размышлял. Известный пример из истории философии о буридановом осле, который издох с голоду между двух охапок сена, не зная, какую из них выбрать, целиком и полностью относится ко мне.

— Но вы выбрали,— засмеялся Лубенцов.

— Благодаря вам,— возразил Себастьян.— Вы заставили меня поесть из одной охапки.
— Заставили? — улыбнулся Лубенцов.
— Уговорили.
Теперь засмеялись оба.
— У меня к вам просьба,— продолжал Себастьян, вертя в руке очки.— Не кажется вам, что с меня хватит? Мне ведь наконец нужно закончить свой научный труд. Университет в Галле предложил мне прочитать там курс лекций.
— Как!.. Вы покинете Лаутербург? — опешил Лубенцов.
— Нет,— сказал Себастьян, которому ревнивый возглас Лубенцова доставил явное удовольствие.— Нет, нет. Я буду ездить на лекции два раза в неделю. И готов продолжать свою деятельность в лаутербургском магистрате в общественном порядке.
Лубенцов подумал и сказал:
— Вы правы. Ладно, я запрошу свое начальство. Я лично считаю ваше предложение целесообразным.
— Вы умный мальчик! — восхищенно воскликнул Себастьян.— А Эрика со мной спорила. Утверждала, что вы никогда не согласитесь отпустить меня с должности ландрата.
— Она считает меня более тупым, чем я есть на самом деле,— усмехнулся Лубенцов.— А кого вы предлагаете взамен? Есть у вас кто-нибудь на примете?
— Я предложил бы кандидатуру господина Ланггейнриха. Он хорошо понимает сельское хозяйство и очень предан земельной реформе. И размышляет он не так медленно...
— А ведь он может и не захотеть с земли да в контору?
— У вас разве откажешься?
— Кандидатура хорошая. Ладно. Поговорите вы с ним. Он вас уважает.
— Поговорю,— сказал Себастьян и довольно рассмеялся.— Вы умеете себя вести с нами, немцами. Я часто удивляюсь, как хорошо вы поняли психологию немца, его слабые и сильные стороны. И вы прекрасно умеете пользоваться этими слабыми и сильными сторонами.
Лубенцов нахмурился.
— Что значит пользоваться? — сказал он.— Неужели я похож на интригана? Поймите, господин Себастьян, мы вовсе не заигрываем с немцами, как это думают некоторые из вас. Дело тут и проще и сложнее. То, что мы стараемся по мере наших

сил получше устроить вашу жизнь, добиться объединения Германии и так далее,— это не заигрывание, а определенная политика, основанная на определенном мировоззрении. Я прекрасно знаю, что некоторые немцы думают, что вы, дескать, немцы, хитрые, вы используете наши противоречия с союзниками, и мы, ссорясь между собой, вынуждены заигрывать с вами. Вы ошибаетесь. Мы проводим политику, вполне для нас естественную, а вовсе не диктуемую недолговечными тактическими соображениями. Мы просто считаем, что земля и вообще все должно принадлежать тем, кто трудится. Вот и все. Если хотите знать, то и американцы вовсе не заигрывают с вами в пику нам, русским. Они тоже проводят политику, основанную на определенном мировоззрении. Грубо говоря, они поддерживают капиталистов и помещиков и подавляют рабочих и крестьян. Они дают волю первым и не дают воли вторым. Неважно, какими словами они прикрывают эту свою политику и насколько эти слова убедительны. Важна сама политика. Мы способны сделать и уже сделали немало глупостей. Но линия наша — верная и единственно прогрессивная. Союзники в лучшем случае хотят вас привести к состоянию, которое было до Гитлера; то есть они хотят вести вас назад. Мы пробуем вести вас вперед.

— Любую линию,— сказал Себастьян,— даже правильную, можно проводить хорошо и плохо. Вы ее проводите хорошо.

— Ну и прекрасно! — воскликнул Лубенцов.— Рад, что мы довольны друг другом.

Лубенцов встал, вспомнив, что его ожидают сослуживцы. Поднялся и Себастьян. Он с минуту постоял неподвижно, потом сказал чуть изменившимся голосом:

— У меня еще одно дело к вам. Я хотел бы съездить на запад, точнее во Франкфурт-на-Майне. Мой сын просил меня приехать погостить.

— Да? — сказал Лубенцов и снова уселся. Пытливо посмотрев на Себастьяна, он медленно спросил: — Вам надолго?

— На неделю,— быстро ответил Себастьян.

— Что ж, мне кажется, это вполне возможная вещь. Думаю, что пропуск вы получите. Я по крайней мере буду об этом просить.

— Благодарю вас. Я так и думал.

— А что,— усмехнулся Лубенцов,— фрейлейн Эрика сомневалась и в этом?

— Н-нет,— смутился Себастьян.— Не она. Я сомневался.

— Вы ошиблись.

— Признателен вам за это,— сказал Себастьян и, подойдя ближе к Лубенцову, произнес выразительно: — Эрика не поедет. Я поеду один. Она останется здесь.

— Как заложница? — заметил Лубенцов как бы в упрек, но на самом деле очень довольный этим сообщением Себастьяна.

— Да, господин Лубенцов,— сказал Себастьян.— Вот именно. Я не хотел бы, чтобы вы в чем-нибудь сомневались. После того как профессор Вильдапфель, крупнейший наш агроном, уехал и не вернулся, вы имеете полное право испытывать недоверие.

— Да, вы правы,— согласился Лубенцов.— Начальник СВА очень расстроился, когда случилась эта история. Он считает, что сам Вильдапфель еще пожалеет о своем поступке. Измена своему слову и обязательствам всегда кончается печально для самого изменившего. Она приводит к душевной опустошенности и к позднему раскаянию. В вас я уверен. Прежде всего — вы умный человек. Что касается Вильдапфеля, то я думаю, что он просто недостаточно умен. Ведь ученый — это не всегда одно и то же, что умный? Как вы думаете?

— О нет! К сожалению, не одно и то же. Ученых дураков не намного меньше, чем невежественных дураков. Но касательно Вильдапфеля вы ошибаетесь. Он человек чрезвычайно умный, но и чрезвычайно корыстолюбивый. Его, разумеется, купили обещаниями материальных благ.

X

Раздался звон стеклянной двери, она распахнулась, и в комнату вошла Эрика. Позади нее показались еще девушки и молодые люди, но, увидев коменданта и ландрата, они оробели и отпрянули назад.

Лубенцов впервые за последнее время посмотрел прямо в глаза Эрики. Его взгляд был на этот раз полон спокойствия и откровенно выразил то восхищение, какое она вызывала в нем.

Наблюдая ее и слушая ее голос, он, по правде говоря, гордился собой, своей выдержкой. А если и чувствовал некие сожаления, то их тихая горечь перекрывалась радостным

чувством удовлетворения собой, которое обуревает человека, сумевшего одержать победу над своими страстями.

— Вы ни разу не заходили в наш семинар,— упрекнула она его.— Всюду вы бываете, а у нас ни разу не были.

— Приду обязательно, поверьте мне,— пообещал он.— Никак времени не выберу. Но знаю все, что у вас делается. И рад, что работа идет хорошо. Нужны учителя.

— У нас много хороших людей,— сказала она, просияв.— Я никогда не думала, что в нашем захолустном Лаутербурге столько по-настоящему хороших, честных людей. Хотя бы для того, чтобы в этом убедиться, стоило заняться семинаром.— Она помолчала.— Хочется посидеть с вами, но не могу, меня ждут.— Она вдруг нахмурилась, быстро попрощалась и вышла.

— Пойду и я,— сказал Лубенцов Себастьяну.

Себастьян проводил его до наружной двери.

Совсем стемнело. Мрачное беззвездное небо лежало над городом. Со света казалось особенно темно. Лубенцов медленно пошел по двору, привыкая к темноте.

— Товарищ подполковник,— услышал он негромкий возглас Воронина, и хорошо знакомый голос разведчика в этой кромешной фронтовой темноте напомнил Лубенцову войну.

Воронин вполголоса поведал о предупреждении Кранца и о своем посещении Меркера.

— Это малина,— сказал он.— Самая настоящая малина. Кроме того, Кранц сказал, что Меркер — бывший фашист.

Известие сильно встревожило Лубенцова. Они с Ворониным постояли с минуту молча, потом вошли в дом.

Окинув беглым взглядом лицо Воробейцева, Лубенцов сел за стол, извинился за долгую отлучку и поднял свой бокал, уже наполненный вином. Все выпили и снова налили.

— За Татьяну Владимировну,— сказал Воронин.

Лубенцов вздохнул.

— Так и быть,— сказал он.— Выпьем за Татьяну Владимировну. Вероятно, она уже на пути сюда.— После того как все выпили, Лубенцов спросил: — А теперь расскажите мне, товарищи, как вы проводите свободное время. Где бываете? Что читаете, если вообще читаете? Ну, расскажите хоть вы, Воробейцев.

Воробейцев бросил быстрый взгляд на Чохова и сказал:

— Да так, ничего особенного, товарищ подполковник. Читаю понемногу. Изучаю немецкий и вообще... Скучновато,

конечно. Наверное, в большом центре — скажем, в Галле или в Веймаре — офицеры веселее проводят время. Там Дома Красной Армии. Артисты приезжают.

— Да,— сказал Лубенцов, непроизвольно нахмурясь.— Там веселее, разумеется.— Он помолчал, рассеянно повертел в руке бокал, потом продолжал: — Ну, а все-таки? Ну, что вы делали вчера после работы?

— Даже не помню,— сказал Воробейцев и опять посмотрел на Чохова. Чохов сидел сосредоточенный, со сдвинутыми бровями и крепко сжатым ртом.— Дома сидел, кажется. Да, да, дома. У меня собака. Заболела.

— Это та, с которой вы ходили на зайцев? — спросил Лубенцов без улыбки.

— Нет. Другая. Та охотничья. Не моя. У меня «боксер».

Воцарилось молчание. Меньшов, который не подозревал о том, что здесь происходит, первый нарушил тяжкое молчание и стал рассказывать о том, как он проводит свободное время. Он сказал, что раза два был в варьете. Там артисты представляют, острят. Глупо, но весело. Читать он стал в последнее время много. И, может быть, только здесь понял, что чтение не праздное занятие, а необходимость и удовольствие. В частности, он прочитал много советских книг о Великой Отечественной войне. Они ему понравились, потому что при чтении каждый раз вспоминаешь факты из собственной военной биографии. Пробует он читать и по-немецки. Он легко прочитал несколько детективных романов, но серьезные вещи ему даются трудно.

Он рассказывал не спеша, в полной уверенности, что все это интересно Лубенцову, раз Лубенцов задал такой вопрос.

— Теперь мы хотим приготовить самодеятельный спектакль,— продолжал он.— Еще не выбрали. Может быть, что-нибудь Островского поставим. Среди наших солдат есть способные ребята. И женщины появились. Анастасия Степановна Касаткина, оказывается, старая любительница. Беда только, что старая. Предлагали мы Ксении исполнить роль молодой, но она не расположена.

— Легка на помине,— сказал Воронин, открыв дверь.

На пороге стояла Ксения.

— Прошу, прошу к столу,— сказал Лубенцов, вставая. Он подвел ее к столу и усадил. Мигом возле нее очутился чистый прибор и была налита «штрафная». Но пить она не стала.

— Я к вам по делу,— сказала она.

— А что? Что-нибудь случилось?

— Нет. Мне надо с вами поговорить.

Лубенцов окинул ее пытливым взглядом и почему-то — будто душа почуяла — вспомнил о предупреждении Кранца и о только что происшедшем неприятном разговоре с Воробейцевым. Нечто тревожное ощутил и Воробейцев. Он почувствовал неприятное колотье в сердце и не мог объяснить себе причину этого; может быть, тут сыграло роль какое-то неуловимое движение Чохова, лицо которого становилось все мрачнее и настороженнее.

Напряжение, неловкость и неясные предчувствия, испытываемые пятью из шести присутствующих, были бы невыносимы, если бы шестой, Меньшов, замолчал. Но Меньшов, выпив, был разговорчив и мил, шутил и смеялся, рассказывая то одно, то другое из своих столкновений и встреч с разными немцами. Потом он сказал, что принимает совет Лубенцова и завтра обязательно напишет знакомой девушке, с которой у него роман еще школьной поры.

— Ларису в «Бесприданнице» она сыграла бы превосходно! — воскликнул он.

— Да, значит, вы хотели со мной поговорить,— сказал Лубенцов и вышел с Ксенией в другую комнату.

— Выпьем еще по одной, что ли? — предложил Воробейцев и, чокнувшись с Меньшовым, выпил. Потом он встал, прошелся по комнате, остановился в дальнем углу, закурил.

Лубенцов и Ксения вернулись из соседней комнаты минут через пять и снова сели на свои места. Ксения пригубила из рюмки вино.

— Что вы, черти, приуныли? — шутливо спросил Лубенцов.— Как будто не рады, что ваше начальство становится семейным.— Он налил всем. Воробейцев подошел к столу.

— Разрешите произнести тост,— сказал он.— Мне хочется выпить за дружбу. За то, чтобы все мы уважали друг друга и друг друга защищали. Как на фронте, хотя и в мирное время. Взаимно... вот именно, защищали и уважали друг друга. Я, в частности, хотел бы скорее вернуться на родину... которую я, как и другие, защищал в годы Великой Отечественной войны. И вот я хочу выпить за участников войны. И еще я хочу...

— Что ж, вы хотите одну рюмку выпить за все на свете! — сказал Лубенцов.— Давайте за дружбу, раз вы предложили за

дружбу. Тост хороший, только не совсем ясный. Уважать друг друга — это я понимаю. А защищать? От кого защищать? Да ладно, не будем придираться, выпьем за дружбу.— Он чокнулся со всеми, ни на кого при этом не глядя.

— Я пойду,— сказал Чохов.

— Да, поздно,— заторопился и Воробейцев и сразу же засуетился, ища свою фуражку. Но Чохов не хотел идти вдвоем с Воробейцевым и поэтому спросил Меньшова:

— Вы идете, Меньшов?

— Конечно,— сказал Меньшов.

Ксения молча встала и присоединилась к остальным. Лубенцов глядел, как они собираются. Он, конечно, понимал, что следовало бы произнести обычные в таких случаях слова, вежливости ради задерживать гостей или в крайнем случае проводить их к выходу. Но ему не хотелось этого всего делать, и он махнул рукой на приличия, подумав про себя: «Ладно, воспользуюсь тем, что я начальство. Подчиненные вынуждены прощать начальству невежливость».

Наконец все ушли. Один Воронин, насупясь, сидел за столом.

— Ну и вечерок,— сказал Воронин.— А этот Воробейцев — подлец. Это я вам точно говорю. Я за ним следил все время. Нечистая душонка. Все время хитрит, притворяется, старается вас задобрить.

— Вы слишком скоро делаете выводы, товарищ старшина,— хмуро сказал Лубенцов.— У нас часто бывает — стоит кому-то на кого-то чего-нибудь сказать, как он сразу всем кажется подозрительным. Еще и не проверили ничего. Все одни слухи, видимость одна — и сразу же все начинают коситься.— Он задумался, затем сказал: — Ксения Андреевна тоже сообщила мне про связь Воробейцева с этим спекулянтом.

— Вот видите,— сказал Воронин.— Вы куда это собираетесь? — удивился он, видя, что Лубенцов надевает шинель.

— Прогуляюсь. Что-то голова болит.

— И я с вами пойду.

— Зачем? Скоро вернусь.

— Нет, я пойду с вами.

Они вышли вдвоем и медленно пошли по улице. Было сыро и холодно.

— Погодка для прогулок,— пробурчал Воронин.

— Иди домой. Я к Касаткину хочу зайти.

— И я с вами,— сказал Воронин.

— Надо было позвонить предварительно,— пробормотал Лубенцов.— Который час?

— Около двенадцати. Может, на завтра отложите?

Лубенцов промолчал и продолжал идти дальше. Наконец они дошли до дома, где жил Касаткин. Лубенцов постоял около двери, потом решительно нажал на звонок. Послышались шаги. Дверь открыл Касаткин. Он был одет в украинскую рубашку, гражданские брюки навыпуск и комнатные туфли, обшитые мехом. Лубенцов еле узнал его. Обеспокоенная поздним звонком, появилась Анастасия Степановна — высокая полная женщина с белым, несколько рыхлым лицом. Она была одета в яркий халат. Из-за этого халата тотчас же выглянули два уморительных маленьких Касаткина — мальчики лет по восемь — десять, с точно такими же волосами ежиком, как у отца, и вообще похожие на него необыкновенно. Они выглядели ничуть не сонными.

— Спать, спать,— закричала на них Анастасия Степановна, делая большие глаза и тут же, без всякого перехода, улыбнувшись Лубенцову широкой улыбкой, обнажившей два ряда белейших мелких зубов и образовавшей на ее толстых щеках две милейшие ямочки. Но Касаткин зашикал на нее, потому что заметил в выражении лица Лубенцова, да и просто понял по его позднему приходу, что случилось нечто необычное. Она встревоженно взглянула на того и другого и исчезла за дверью вместе с детьми.

— Я вас здесь подожду,— сказал Воронин, усаживаясь на стул в прихожей и вынимая пачку сигарет.

Оставшись с Касаткиным без свидетелей, Лубенцов рассказал ему все, что узнал от Воронина и от Ксении. Касаткин сразу же, как раньше Воронин, сказал, что Воробейцев давно ему не нравится. Как и Воронину, Лубенцов возразил Касаткину, что русский мужик задним умом крепок и что сейчас нужны не рассуждения, а срочное расследование. Расследование он поручает Касаткину и настаивает на том, чтобы оно проходило совершенно секретно.

— Как бы то ни было,— сказал Касаткин твердо,— мы с вами слишком слабо реагировали на случаи нарушения дисциплины со стороны Воробейцева... и, между прочим, со стороны Чохова. А такие случаи были. Достаточно вспомнить историю с прогулом. Потом Воробейцев неоднократно опаздывал на ра-

боту, относился к ней с недостаточным рвением, плохо посещал кружок по изучению истории партии...

— Ах, да это все ведь мелочи! — не без досады воскликнул Лубенцов.— Чегодаев тоже плохо посещал кружок! Какая связь между этим и темными коммерческими махинациями! Этак и до абсурда дойти недалеко.— Он промолчал, закурил и сказал уже спокойно: — Надеюсь, все это сильно преувеличено. Я тоже не питаю особых симпатий к Воробейцеву, и в этом смысле я вас понимаю. Но собственные симпатии и антипатии в таких делах могут только ввести в заблуждение.— Он опять минуту помолчал, затем спросил: — Ну как Анастасия Степановна? Нравится ей здесь? Не жалеет, что приехала? Трудно вначале в незнакомой стране...

— Стерпится — слюбится,— сказал Касаткин.— Насчет Меркера я свяжусь с полицией.

Наконец они вышли в прихожую. Воронин встал и снял с вешалки шинель. Все трое постояли минуту молча.

— Вот какие дела,— сказал наконец Лубенцов, покачал головой и пошел к выходу.

XI

После ухода Лубенцова Касаткин вызвал к себе Ксению и Иоста. Начальник полиции уже лег спать, но сразу же оделся и через пятнадцать минут был на месте: немцы давно усвоили, что для комендатуры нет ни дня, ни ночи; вначале они пугались при ночных вызовах, а потом привыкли.

Касаткин навел справки о Меркере и велел установить за его квартирой наблюдение, причем предупредил Иоста, что для этой цели следует отобрать самых проверенных людей, на которых можно вполне положиться, все происходящее в квартире Меркера должно стать известно полиции. Все посетители, все дела «малины» должны находиться под неусыпным надзором. За каждым человеком, посещающим квартиру Меркера, в свою очередь, должна быть установлена слежка, все равно, кто бы ни был этот посетитель и какое бы место он ни занимал, скажем, в магистрате или где бы то ни было.

Напоследок Касаткин потребовал от Иоста, чтобы полиция докладывала свои наблюдения каждые два часа, но ни в коем случае не по телефону, а только лично.

С этим он отпустил Иоста. Спать он не хотел, так как вся

история глубоко взволновала его. Ксения тоже не подымалась уходить, несмотря на то что Анастасия Степановна то и дело просовывала голову в дверь и глядела красноречивыми глазами на мужа.

— Постелите мне здесь на диване,— наконец сказала ей Ксения.

— Да, да,— обрадовался Касаткин.— Спите тут, а как Иост явится, я вас разбужу.

В три часа ночи приехал Иост. Ничего особенного за это время не случилось. Свет у Меркера до сих пор горел, пробиваясь сквозь густые шторы, но это, разумеется, ничего не значило.

В пять часов утра Иост опять не смог сообщить ничего особенного, кроме того, что свет у Меркера погас полчаса назад. Наблюдающие полицейские заняли хорошую позицию в противоположном доме, у одного железнодорожника, который там жил, а теперь находился на дежурстве. Как парадный ход, так и черный были под наблюдением.

В течение следующего дня Иост каждые два часа приезжал в комендатуру, и к концу дня составился солидный список людей, приходивших к Меркеру и уходивших от него. Это были большей частью местные коммерсанты, в том числе владелец ликерного завода Лютвиц, хозяин меховой фирмы Рабе и другие. Некоторый интерес представило то обстоятельство, что дважды за день у Меркера побывал бывший помещик Аренсберг, который недавно куда-то исчез из поля зрения полиции и теперь вот объявился таким образом.

В три часа дня Касаткин и Иост пришли к Лубенцову доложить о принятых мерах. Лубенцов решил, что меры недостаточные, так как неизвестно, что происходит в самой квартире. Иост сказал, что постарается, но это ему удалось только на следующий день. Он послал на квартиру Меркера исправить телефон, который Меркеру нарочно испортили, потом газовую колонку.

Главное случилось в половине одиннадцатого вечера, когда из квартиры Меркера вышел незнакомый полицейским человек с красным лицом, одетый в светлое полупальто с воротником из цигейки. Иосту дали об этом немедленно знать. По всем приметам, это был тот самый «генерал Вервольфа», которого столько времени разыскивали полиция и советская контрраз-

ведка. Агент, следивший за ним, упустил его из виду на одном из перекрестков, за что получил неслыханный нагоняй лично от заместителя коменданта майора Касаткина, а потом от Иоста.

Лубенцова в этот день не было в городе, так как он выехал по вызову генерала Куприянова в Альтштадт. Там он, между прочим, попросил дать Себастьяну пропуск в западную зону. Куприянов вначале и слушать не захотел про это. После истории с Вильдапфелем он был полон недоверия вообще ко всем профессорам на свете. Однако Лубенцов с горячностью отстаивал свою точку зрения и сказал, что нельзя запрещать честному человеку что-нибудь делать на том основании, что нечестный сделал худо. Он рассказал Куприянову о своем разговоре с Себастьяном, а также о том, что дочь Себастьяна остается. Куприянов стал колебаться и наконец согласился. Лубенцов попросил его лично позвонить профессору и сказать о том, что не имеет возражений против отставки Себастьяна с должности ландрата, а также против его поездки к сыну на неделю. Переводчик, передавший все это по телефону Себастьяну, добавил под диктовку Куприянова, что университет с нетерпением ждет возвращения профессора и начала курса химии: этот курс профессор должен будет читать перед новыми студентами — немецкой молодежью из самых широких демократических слоев.

Слова благодарности Себастьяна были тут же переданы переводчиком генералу. Слова эти, полные самых трогательных выражений, были сказаны, по всей видимости, от души. Куприянов совсем успокоился и пробурчал:

— Ох, Лубенцов, подведешь ты меня под трибунал...

Вернувшись из Альтштадта и узнав от Касаткина последние известия о «малине» (это слово с легкой руки Воронина стало условным для обозначения дела Меркера), Лубенцов немедленно поехал в полицию вместе со своим заместителем.

— Этого человека надо было немедленно арестовать,— сказал Лубенцов полицейским чинам.— Даже по самому отдаленному подозрению. Тут вы сильно промазали, господа. И вообще непонятно, как может он скрываться в городе. Если бы полиция хорошо работала, такой человек не мог бы скрыться. Где ваша массовая база? Где поддержка населения? Неужели вы думаете, что полиция может обойтись только своими силами? Нет, товарищи, простите — господа... Впрочем, ладно. Что вы думаете насчет обыска у Меркера? Внезапного обыска? Как бы он не

заметил, что за ним наблюдают. Тогда все станет гораздо более трудным.

Не успели Лубенцов с Касаткиным вернуться в комендатуру, как туда же приехал Иост и очень смущенно, разводя руками и как бы извиняясь, сообщил, что они уже собирались делать обыск, но в квартиру к Меркеру в это время приехал на машине офицер комендатуры капитан Воробейцев. Он там пробыл с час и ушел, неся в руке чемодан. Сойдя вниз, он сел в свою машину — новый спортивный «нэш», на днях зарегистрированный им в полиции,— и уехал. Кстати, регистрация была незаконная, так как советские военнослужащие обязаны были регистрировать свои машины в органах Советской Администрации, а не в немецкой полиции.

— Надо было делать обыск,— сказал Лубенцов, досадливо махнув рукой.

— А Меркера что? — спросил Иост.— Арестовать?

— Арестовать,— сказал Касаткин.

— А может быть, этот краснолицый еще туда вернется? — заколебался Иост.

— Ладно, подождем еще часа два, до позднего вечера. В одиннадцать часов действуйте. Я пришлю вам нескольких автоматчиков. И Воронин придет с ними.

В одиннадцать часов был произведен обыск и были арестованы Меркер, его жена и некая девица. При обыске нашли несколько тысяч американских долларов, много драгоценностей, продуктов питания и других товаров, три американских пропуска в западную зону с пустыми местами для фамилий, план города Лаутербурга с крестиками на тех местах, где располагались советские посты охраны; на обороте этого плана находился список населенных пунктов, где стояли советские гарнизоны, с надписями: «возможно, штаб полка», «возможно, полк», «возможно, штаб дивизии», «артиллерийская часть» и так далее. Среди прочих бумаг нашли большую любительскую фотографию Лубенцова, на обороте которой были кратко описаны его приметы.

Одновременно с Меркером в разных частях города были задержаны некоторые из его посетителей, в том числе помещик Аренсберг, которого полиция разыскивала давно.

Бумаги, захваченные у Меркера при обыске, привезли в комендатуру. Лубенцов, Касаткин, Яворский и Ксения сели их рассматривать. Дежурному было велено никого не пропускать

в кабинет. Углубленный в чтение бумаг, Лубенцов тем не менее услышал, как Касаткин, приоткрыв дверь, велит дежурному прислать сюда двух автоматчиков и командира комендантского взвода.

— Зачем они вам? — спросил Лубенцов, подняв глаза на Касаткина.

Касаткин повернул к нему лицо, бесшумно прикрыл дверь и, подойдя к столу, сказал:

— Арестовать Воробейцева.

— По-моему, не надо спешить,— сказал Лубенцов, подымаясь с места.— Нет, нет, Иван Митрофанович. Не будем делать необдуманных шагов. Вызовем его, побеседуем, выясним. Воробейцев просто доставал через этого поганца что-нибудь вроде машины, фотоаппарата и, разумеется, не знал, что за птица этот Меркер. Вы ведь не думаете, что Воробейцев — враг. Или думаете?

— Надо его арестовать,— сказал Касаткин.

— Надо разобраться,— возразил Лубенцов.— Яворский, скажите дежурному, чтобы вызвали Воробейцева.

Яворский ушел и сразу вернулся.

Воцарилось молчание, нарушаемое только шелестом бумаги.

— Я в партии не первый год,— высоким ненатуральным голосом заговорил Касаткин.— Я был в партии тогда, когда вы, может быть, еще состояли пионером. Я требую, чтобы вы считались с моим мнением. Вы чересчур самонадеянны и думаете, что понимаете больше всех.

Лицо Лубенцова залилось краской, потом побледнело, но он сказал почти мягко:

— Такие вещи лучше говорить наедине.

— Да, да,— пробормотал Касаткин и отошел к окну.

Ксения встала и вышла из комнаты. Яворский вспотел, покраснел, тоже поднялся и хотел выйти, но Лубенцов остановил его.

— Что ж, говорите, говорите теперь,— сказал Лубенцов.— Я готов выслушать все, что вы мне скажете. И заранее говорю вам, что буду рассматривать наш разговор не как разговор начальника с подчиненным, а как обмен мнениями двух членов партии. Поэтому выкладывайте. Давайте, давайте. Лучше сказать, чем таить в себе. Я ведь впервые слышу от вас эти обвинения. А я-то думал, что мы живем душа в душу.

В дверь просунулась голова дежурного.

— Командир взвода и автоматчики прибыли в ваше распоряжение! — громко доложил он, щелкнув каблуками.

— Отставить,— сказал Лубенцов.— Пусть идут отдыхать. Воробейцева вызвать ко мне.

Дежурный скрылся.

— Вы обязаны считаться с мнением других товарищей,— негромко сказал Касаткин.— Вы не должны думать, что все вам открыто, что вы все знаете...

Слушая, Лубенцов покачивал головой, полный искреннего удивления, еще более сильного, чем испытываемая им обида. А он-то думал все время, что по всем вопросам советуется с Касаткиным, почти ничего не делает без его совета и что между ними существуют самые правильные, какие только могут быть, служебные и товарищеские взаимоотношения. Лубенцов редко, только в крайнем случае, принимал с ним тон начальника, всегда подчеркивал, что их служебные отношения в конце концов дело случайное и что с таким же успехом он мог быть подчиненным Касаткина, как и начальником его. Но теперь он думал, что, может быть, Касаткин прав, может быть, он, Лубенцов, не все делал для того, чтобы создать правильную, товарищескую атмосферу в комендатуре. Легче всего было решить для себя, что Касаткин, не ощущая над собой твердой руки, «распустился», «зазнался не по чину» и так далее. Но Лубенцов по характеру своему был склонен при подобных конфликтах выискивать и свою вину.

— Если вы правы,— сказал он с обезоруживающей простотой,— значит, я виноват. И я все это обдумаю. Во всяком случае, можете быть уверены в том, что я вас высоко ценю и ваше мнение для меня всегда имело большое значение. Но не могу же я с вами всегда соглашаться!

Касаткин что-то пробормотал и вышел. Снова вошла Ксения, ждавшая окончания разговора в приемной. Была уже поздняя ночь.

— Воробейцева вызвали? — спросил у нее Лубенцов.

— Не могут его нигде найти,— сказала Ксения, недобро усмехнувшись.— Разве его вечером найдешь?

На рассвете приехали из Альтштадта офицеры контрразведки. Они вместе с Касаткиным весь день допрашивали арестованных.

Вечером, когда они собрались в кабинете Лубенцова для подведения итогов, дверь широко распахнулась, и на пороге

появился генерал Куприянов. Все встали. Он вошел быстрыми шагами, остановился посреди комнаты, снял фуражку, положил ее на стол, сел и спросил:

— Где Воробейцев?

— А что? — растерянно сказал Лубенцов.— Вызвать его? — И он сделал два шага к двери, чтобы отдать распоряжение о вызове Воробейцева.

— Можете не трудиться,— сказал генерал. Он тяжело сидел на стуле и казался очень старым.— Можете не трудиться,— повторил он.— Ваш Воробейцев вчера сбежал. Он изменил родине. Сегодня в шестнадцать часов он выступал по радио во Франкфурте-на-Майне. Вот что он говорил.— И генерал бросил на стол скомканную бумажку.

XII

С пронзительной отчетливостью увидел Лубенцов в эти мгновения все, что обычно скользит, не задерживаясь, на поверхности сознания: тонкие морщины на сгибах пальцев больших рук генерала Куприянова; чуть колышущуюся тень люстры, потревоженной тяжелыми шагами генерала; чуть раскачивающуюся, как маятник, медную бляшку, привязанную витой веревочкой к кольцу ключа, вставленного в замок тяжелой темно-коричневой с черными прожилками двери. Эта внезапно появившаяся поразительная острота видения мелких подробностей как бы спасала его от лицезрения того большого и страшного, что произошло только что. Она рассеивала его внимание и не давала сосредоточиться на самом главном. Можно сказать, что сердце его исходило каплями крови вместо того, чтобы кровь хлынула мгновенным и необратимым потоком. Меньше всего он в эти мгновенья думал о Воробейцеве как о человеке, с которым был знаком, который жил бок о бок с ним. Мысли о себе, о своей роли во всем этом и обо всех последствиях тоже еще не приходили ему в голову. Он думал обо всем случившемся отвлеченно, как о чем-то необычайно уродливом, противоестественном и отвратительном, что вдруг соприкоснулось с ним и отравило ему жизнь надолго, может быть, навсегда. На первых порах он готов был не поверить в то, что случилось,— слишком чудовищно выглядело это в его глазах. Он не верил в государственную измену того человека — кто бы он ни был,— как не верят в смерть близких людей. Пусть тот

человек — кто бы он ни был — был даже не человеком, а лягушкой, жабой, но даже от жабы нельзя было ожидать, что она залает по-собачьи. Да, это было страшно именно своей противоестественностью, несуразностью, невозможностью. Он вначале до того не поверил в реальность происшедшего, что мгновенье ожидал, что вот-вот откроется дверь и тот войдет — и все окажется бредом. Это было бы действительно реально, действительно так, как должно быть. Ему вдруг на мгновенье пришла в голову ненормальная мысль, что если закрыть глаза и пойти по всем комнатам Дома на площади, щупая воздух, как слепой, то обязательно напорешься, не можешь не напороться на того, который сбежал,— сбежал в то время, как личное дело его с фотокарточкой и анкетой мирно лежит в несгораемом шкафу среди других личных дел и анкет.

Как натура в высшей степени деятельная, Лубенцов хотел что-то делать, что-то предпринять и ужас оттого, что ничего сделать и ничего предпринять нельзя, глубоко потряс его.

Между тем глаза его видели все окружающее с той же поразительной отчетливостью. И слова, которые говорились вокруг, и слова, которые говорил он сам,— а он все-таки говорил, и притом довольно спокойным голосом,— воспринимались им тоже с необыкновенной ясностью. Его слух улавливал не только то, что говорилось, но и то, что стояло за всеми словами, что подразумевалось, и он даже знал наперед, какие слова последуют затем.

Надо было что-нибудь делать; пусть будет видимость дела, но что-нибудь надо делать. Вместе с контрразведчиками Лубенцов сел в машину и поехал в дом, где раньше жил Воробейцев. Они поднялись по лестнице. Дверь, за которой когда-то жил Воробейцев, была заперта. За ключами к хозяину решили не ходить, и Лубенцов при помощи других с силой нажал на дверь и сорвал замок.

Дверь открылась, и на вошедших пахнуло спертым, прокисшим, тяжелым воздухом, таким же отвратительным, как все то, что случилось. И Лубенцову подумалось, что такой воздух тут стоял всегда, потому что не мог тот человек жить в другом воздухе. Он, тот человек, ходил среди всех и чувствовал себя в том воздухе, которым дышали все, так же плохо, как рыба на песке, и он, вероятно, при первой же возможности спасался сюда, в эту полутемную комнату, наполненную тем воздухом, которым он мог дышать привольно.

Дело объяснилось тем, что Воробейцев запер в комнате собаку — большого слюнявого «боксера», который, заслышав людей, завилял обрубком хвоста. Пока делали обыск, Лубенцов смотрел в выпученные глаза собаки, словно хотел в них прочитать правду о том человеке, который тут жил. И Лубенцов испытывал глупое, но сильное желание, чтобы этот пес мог заговорить и рассказать, объяснить, как все это могло произойти.

Холодное оцепенение понемногу овладевало Лубенцовым, напоминая паралич,— так немыслимо казалось ему двинуть рукой или ногой. Он стоял, прислонившись к стене, и невидящими глазами смотрел на людей, которые выдвигали и задвигали ящики, раскрывали и закрывали дверцы шкафов, выкидывали на пол флаконы, тряпки, переплетенные в кожу бювары. Он равнодушно смотрел на все это, только где-то в глубине души удивляясь изобилию вещей, никому не нужных, но, по-видимому, собираемых в свое время старательно и любовно, со знанием дела и со страстью почти коллекционерской.

Обыск кончился. Люди поодиночке скрывались в ванной и долго мыли там руки, потом возвращались, садились, закуривали. Не садился только один Лубенцов; ему казалось невозможным сесть на стул, на котором вчера еще, может быть, сидел тот.

— Ничего особенного? — спросил он.

— Да нет. Ничего особенного,— ответил один из офицеров.— Вещей много нахватал. Мужских и дамских, всяких.

— Все бросил,— сказал другой офицер из другого угла комнаты.— Видно, увез с собой только самое ценное.

— Пил сильно,— сказал третий, сидевший посреди комнаты у стола.

Да, повсюду в квартире валялись пустые бутылки. Их тут было не меньше сотни, разной формы и с разными наклейками. Похабные игрушки, неприличные открытки лежали тут и там.

Стряхнув с себя оцепенение, Лубенцов вышел, сел в машину и поехал в комендатуру. Кругом стояла непроглядная ночь без единого просвета на небе. Город спал крепким предрассветным сном, и Лубенцову, думавшему все об одном и том же, вдруг стало стыдно перед этим городом и жителями его за то, что произошло в Доме на площади. Он застонал, как от физической боли, но, вспомнив о шофере, раза два неестественно кашлянул.

У него все-таки хватило сил доложить о результатах обы-

ска генералу Куприянову, который все еще не уехал и сидел все в том же кожаном пальто в кабинете Лубенцова. Выслушав доклад, Куприянов встал, сухо простился и уехал.

Наконец Лубенцов остался в одиночестве. И только в одиночестве он со всей силой ощутил глубину своего позора. Он никогда еще не чувствовал себя таким глубоко несчастным.

Посидев с полчаса, он заставил себя вызвать дежурного и велел принести все личные дела офицеров комендатуры. Пока вызывали офицера, ведавшего секретной частью, Лубенцову вдруг захотелось пойти вниз, к солдатам. Он не давал себе отчета, почему в нем возникло такое желание. Он сошел вниз и вскоре очутился в большой комнате, служившей клубным помещением. Там, разумеется, никого не было. Он зажег свет. Все тут находилось в образцовом порядке. Русские книги, брошюры и уставы в стеклянных шкафах. Свежий, утром только выпущенный «Боевой листок». Доска приказов. Плакаты с изображением частей стрелкового оружия. Большие портреты членов правительства и портреты русских писателей. Вся обыденная обстановка небольшого, но хорошо поставленного красноармейского клуба внесла в сердце Лубенцова еще большее смятение, потому что контраст этого спокойного и достойного бытия людей с тем, с чем он сегодня столкнулся, был до невозможности разителен.

Он услышал за стеной разговор и остановился у входа в караульное помещение, освещенное неярким светом настольной лампы. Здесь сидело несколько солдат, готовившихся сменить караульных. Они негромко разговаривали. Один из них рассказывал о полученном накануне письме из Великих Лук, откуда он был родом. Другой ругательски ругал правление своего колхоза в Днепропетровской области за то, что не успели вовремя убрать картофель, который так и остался под снегом. Третий рассуждал о том, что сейчас, когда на родину вернутся демобилизованные, дела повсюду пойдут лучше.

Потом заговорил сержант Веретенников. Он рассказал о путешествии, совершенном им и еще пятью солдатами из Белоруссии на Гарц. Он говорил неторопливо и образно, и от его рассказа повеяло воздухом больших дорог и запахом хвои и солнца.

— Одно нарушение мы сделали в Польше,— сказал он, помолчав.— Нам положено было поскорее догонять свою часть, а мы остановились в одной деревне. Несколько дней повозились

там, да... Домик строили... Вообще мы были даже не солдатами, а совсем свободными людьми, делали все, что хотели.

Лубенцов отошел от двери и опять поднялся наверх. Здесь он послонялся по пустым комнатам, затем пошел в свой кабинет. На столе у него уже лежала гора папок. Он стал их перебирать, ища ту папку. Ему представлялось, что той папки здесь нет, раз нет человека, на которого она составлена.

Но папка была на месте и ничем внешне не отличалась от других.

Лубенцов долго просматривал и перечитывал личное дело Воробейцева. Перечитывал и удивлялся формальности, с какой составляется анкета, и тому, что она ровно ни о чем не говорит. Она фиксирует внешние обстоятельства жизни человека, но о самом важном, о самом сокровенном она молчит, как глухонемая. Более того, она самим своим наличием усыпляет бдительность, успокаивает, располагает к дремоте, как бы намекая на то, что человек, которому она посвящена, не ходит по земле, а в плоско-бумажном виде благочинно стоит в несгораемом шкафу среди других таких же.

Лубенцов постарался вспомнить свою первую встречу с Воробейцевым и дальнейшие впечатления о нем. Да, нет сомнения, что Воробейцев при первом знакомстве и в дальнейшем производил на Лубенцова неприятное впечатление. Но ведь он не старался проверить свое впечатление, ближе присмотреться к Воробейцеву. Он верил в анкету, как старики верят в бога.

Здесь было штук шесть характеристик Воробейцева, подписанных разными начальниками. Краска бросилась Лубенцову в лицо, когда он прочитал — медленно, слово за словом — эти характеристики, пустые, ничего не говорящие слова. Один начальник писал: «Энергичен, старателен. Занимаемой должности соответствует». Другой глубокомысленно заметил: «Не свободен от недостатков личного порядка, но занимаемой должности соответствует». «Морально устойчив»,— сообщал третий.

Наконец последняя характеристика была подписана не кем иным, как им же, Лубенцовым. Это была такая же жалкая, ничего не говорящая писанина, как и предыдущие. Правда, тут имелись слова о том, что Воробейцев страдает индивидуализмом и что он груб и самонадеян. Но и здесь были сказаны формальные и безответственные слова о том, что он предан общему делу, занимаемой должности соответствует.

Лубенцов позвонил и велел дежурному забрать папки.

Снова оставшись в одиночестве, он стал смотреть в окно, где по-прежнему царила непроглядная темень. Потом его взгляд упал на стол — не на письменный, а на приставленный к нему длинный стол, покрытый зеленой скатертью. На этом столе, рядом с пустым графином, лежала скомканная бумажка. Не спуская с нее глаз, Лубенцов встал и пошел к ней, взял ее, медленно разгладил и стал читать.

Воробейцев, этот подлый шут, говорил в высокопарных выражениях и, несмотря на то что он только один день как находился вне рядов русской армии, уже выражался как-то не по-русски, странными, словно переведенными с иностранного языка фразами. С этой бумажки веяло тем же затхлым, кислым, отвратительным запахом, запахом измены, который обдал Лубенцова в квартире Воробейцева. Воробейцев сказал, что он просит политического убежища, так как из-за политических несогласий с коммунистической партией и Советским правительством скрылся из советской зоны. Это было бы смешно, если бы в мотивировке бегства не присутствовало столько подлого. Воробейцев объяснял, что удрал потому, что в Советском Союзе нет свободы; что в высшие учебные заведения там принимают только коммунистов и комсомольцев; что все там получают только половину заработной платы, а вторая половина идет в пользу ГПУ; что ярким доказательством рабства, существующего в Советском Союзе, может явиться то, что комендантом города Лаутербурга было категорически приказано всем офицерам немедленно жениться; что советские власти в Германии решили арестовать всех учителей; что советские солдаты забирают машины у немецкой интеллигенции, а советские власти, потворствуя им, не принимают против этого никаких мер.

Кончив чтение, Лубенцов положил бумажку на стол и стал ходить по комнате, собираясь с мыслями.

Он все еще не мог поверить, что тот ел, пил, ходил вот здесь, по этим пластинкам паркета, от двери к столу и от стола к двери, вот по этим самым пластинкам, что он сидел на этом самом диване, козырял, разговаривал — одним словом, притворялся человеком. Но как ни трудно было себе это представить, так оно было, и следовало все это трезво оценить, следовало выяснить причины.

Никогда еще мозг Лубенцова не работал так напряженно. Трудно было собрать мысли, поставить их на свои места, составить для себя ясную картину происшедшего и свою роль в ней,

в этой картине. Кто же он, Лубенцов? Человек, ничего не видевший, не замечавший, благодушествующий, довольный собой? Или человек здоровый, нормальный, верящий в людей, не могущий себе представить всей глубины подлости, на которую плохой человек способен? Тут только впервые Лубенцов стал думать о том, как может случай с Воробейцевым отозваться на его, Лубенцова, судьбе. Да, у него защемило сердце, потому что он высоко ценил свою воинскую репутацию и стремился к ее чистоте. Но не это сейчас было главным. Важнее всего было уяснить себе весь ход событий, понять причины происшедшего.

В разгар этого придирчивого и жестокого разговора с самим собой Лубенцов услышал негромкий скрип открываемых дверей. В полутемном прямоугольнике появилась фигура Касаткина. Когда Касаткин подошел ближе и Лубенцов увидел его угрюмое и измученное лицо, он преисполнился чувством раскаяния и сострадания и сказал:

— Вы были правы, Иван Митрофанович.

Но Касаткин отмахнулся от этой попытки поговорить по душам и сказал:

— Я считаю нужным немедленно арестовать капитана Чохова. Они были друзьями, вместе прибыли, вместе проводили время. Есть сведения, что Чохов бывал у Меркера на квартире вместе с ним... с Воробейцевым и получил от Меркера мотоцикл. Кроме того,— продолжал Касаткин очень твердым голосом, глядя мимо Лубенцова,— я считаю, что отъезд профессора Себастьяна — наша большая ошибка.— Он сказал «наша», хотя, разумеется, хотел сказать «ваша».— Себастьян не вернется. Есть сведения, что у него недавно побывали высокопоставленные американцы, которые вместе с его сыном уговорили его бежать на запад. В порядке предупреждения я считаю необходимым подвергнуть аресту дочь Себастьяна и ряд лиц, наиболее связанных с ней. Мое мнение разделяет и генерал Куприянов, с которым я только что говорил по телефону.

Он говорил тихо, но твердо, почти начальническим тоном, так как, видимо, считал, что Лубенцов, совершив серьезную ошибку, был так виноват перед Касаткиным, все предусмотревшим и обо всем предупредившим, что потерял право возражать.

Лубенцов похолодел.

— Вы это что, майор? — спросил он.— Вы, кажется, разговариваете со мной так, как будто получили назначение на

мое место. Я отстранен от работы? Где приказ об этом? Почему вы говорите с генералом Куприяновым без моего ведома, по собственной инициативе? Чохов не будет арестован, пока я здесь сижу. И никто не будет арестован «в виде предупреждения». Я вижу, вы кажетесь себе необыкновенно решительным и твердым человеком. На самом деле вы паникер и мямля. Что, собственно, случилось? Сбежал один подлец. На этом основании вы начинаете подозревать всех, вы впадаете в панику. Вам, майор, недостает спокойствия и выдержки. Это большой недостаток для коммуниста и советского офицера.

Не глядя больше на Касаткина, он снял трубку и соединился с генералом Куприяновым. Генерала на службе не оказалось. Телефонная станция позвонила к нему на квартиру.

— Куприянов у телефона,— послышался голос генерала.

— С вами говорит Лубенцов,— сказал Лубенцов и даже на таком далеком расстоянии уловил в односложном «да» генерала Куприянова сухость и недовольство. Но, не обратив на это внимания, Лубенцов продолжал настойчиво и твердо говорить, оставляя без ответа недовольные восклицания и неоднократные попытки генерала прервать его.— Снимайте меня,— сказал он.— Это в вашей власти. Отзовите меня немедленно. Но я предупреждаю вас, товарищ генерал, что я не могу допустить, чтобы мы в панике натворили глупостей. В чем я виноват — я отвечу, но разрешите мне самому расхлебать всю кашу. Не предпринимайте шагов через мою голову, пока вы меня не сняли. Я лучше знаю положение на месте, чем кто бы то ни было. Для этого я сюда поставлен. Не будем давать врагам пищу для клеветы и насмешек. Я ничего не боюсь, во всяком случае за себя не боюсь,— я боюсь только ущерба нашему общему делу. Мне вы по крайней мере верите? Или один подлец заставил вас потерять доверие ко всем людям? А я не потерял ни к кому доверия и считал бы себя ничтожным и несчастным человеком, если бы из-за него... из-за Воробейцева... потерял бы веру в людей вообще. Именно об этом я и думаю все время.— Его голос неожиданно для него самого задрожал, и он замолчал.— Хорошо,— сказал он наконец в ответ на слова генерала.— Я буду завтра у вас в одиннадцать часов.

Он положил трубку, вернее, не положил, а пытался положить, но все не мог попасть трубкой на вилки телефона. Устыдившись своего волнения, он вполголоса выругался.

— Идите, вы свободны,— сказал он Касаткину.

XIII

Часов в шесть утра Лубенцов забылся тяжелым сном и часа полтора спустя проснулся в очень радостном настроении. Ему снилось что-то приятное, и, открыв глаза, он несколько минут находился в полном забвении случившихся событий и лежал, испытывая чувство беспричинного счастья. Потом он все вспомнил, и его пронизала нечеловеческая боль. Тем не менее он заставил себя одеться, умыться. Мгновение подумав, он отправился к Эрике Себастьян.

Она встретила его с удивлением, которого не пыталась скрыть.

— Пришел вас проведать,— сказал он улыбаясь.

— Я рада,— пробормотала она и, так как привыкла, что Лубенцов говорит только о делах, сразу же начала рассказывать о работе семинара и о курьезах разного рода, которые случались во время занятий.

— Вы молодец,— сказал он по-русски. Она знала это слово и рассмеялась.

— У вас сегодня хорошее настроение,— сказала она.

— Да. Вы психолог,— сказал он.— Очень хорошее.

— Почему?

— Без особых причин. Бывает же хорошее настроение без особых причин.

— Бывает,— ответила она серьезно.— Вернее, людям кажется, что бывает. Но, вероятно, это оттого, что они не могут догадаться о причинах. А причины всегда есть.

— Вы близки к марксизму. Как отец? Получали вы от него какие-нибудь известия?

— Нет. Он должен приехать через три-четыре дня. А письма из Западной Германии все равно пришли бы после его приезда. Вообще чем дальше идет время, тем обе части Германии становятся отчужденнее друг от друга. Как будто два различных государства. Ведь это ужасно! И долго это будет продолжаться?

— Кто знает!

— Неужели есть что-нибудь на свете, чего вы не знаете?

— Есть, и многое.

— А мне всегда казалось, что вы все знаете. А если чего и не знаете, то немедленно же узнаёте.

— Стараюсь,— засмеялся Лубенцов.— Да, это нехорошо, что Германия до сих пор разделена на несколько частей. Так

оно и получается, что профессор Себастьян и его дочь живут в одном государстве, а его сын — в другом. Это ненормально. Во всяком случае, я думаю, что Советское правительство будет стараться объединить обе части. К сожалению, это зависит не только от него.

— Да. Кажется, американцы этого не хотят.

— Почему вы так думаете?

— Слышала я их разговор. Вот когда здесь был майор Коллинз с братом. Он обо всем говорил в таком тоне... Отец не согласен с ним.

Глаза Лубенцова просветлели.

— Он спорил с ними? — спросил он.

— Да.

— А вы на чьей стороне были?

Она улыбнулась.

— На вашей,— сказала она. Она вдруг покраснела, потом положила руку на стопку книг.— Я все это время читаю советскую литературу. Тут много интересного.

Идя сюда, в дом Себастьянов, Лубенцов, несмотря на категорический тон вчерашнего своего разговора с Касаткиным, все-таки где-то в глубине души подозревал, что и Эрика замешана в заговоре, что она осталась тут для отвода глаз, что Себастьян сбежал, а не уехал на несколько дней. Подозрительность Касаткина, с которой Лубенцов внутренне боролся, тем не менее зацепилась за что-то в нем и отравляла его. Надо было стряхнуть с себя это проклятье, и Лубенцов стряхнул его с себя. Разговор с Эрикой успокоил его. Во всяком случае, он понял еще раз и с еще большей силой, что подозрения Касаткина беспочвенны. И он уяснил для себя, что подозрительность вовсе не достоинство для коммуниста. Она — прямая противоположность бдительности, и не дай бог, чтобы вторая перешла в первую. Первая, если она не распространяется нарочно, с вражескими целями,— следствие паники, неуверенности в себе, в своих силах, в своем влиянии на людей. Да, в случае с Воробейцевым он, Лубенцов, не проявил бдительности. Но он не должен, не имеет права впасть в ее противоположность.

Прощаясь с Эрикой, он поцеловал ее руку, то есть сделал то, чего никогда в жизни не делал и что привело ее в сильное волнение.

Во всяком случае, теперь, после первых самых лютых переживаний в связи с делом Воробейцева, Лубенцов отчетливо

наметил линию своего поведения и знал, что будет говорить и что будет делать.

Но важно было и выяснить, почему Воробейцев стал изменником. Конечно, немалую роль играли тут черты характера. Но ведь несимпатичных, нехороших людей не так уж мало. Однако это вовсе не значило, что они все способны стать изменниками.

Этот вопрос, который волновал и мучил Лубенцова, следовало выяснить, и Лубенцов решил взяться за его выяснение.

Но время подходило к девяти часам, а в одиннадцать он должен быть у Куприянова. Возле комендатуры его ожидал Воронин. Глядя на Воронина, Лубенцов понял, что тот все знает. Но старшина не стал ничего говорить. Он только окинул взглядом Лубенцова, и этот взгляд был красноречивее слов.

— Машину,— сказал Лубенцов.

Машина через пять минут выехала из ворот.

— Поеду с вами,— сказал Воронин.

— Хорошо.

Они всю дорогу ехали молча, в том тяжелом мужском молчании, которое, быть может, стоит людям года жизни. Ведь они были больше чем братья. Они любили и глубоко уважали друг друга. Они знали подноготную друг друга, как не всегда знают близкие родственники.

Только когда машина въехала в Альтштадт, Воронин впервые открыл рот.

— Если вы уедете,— сказал он,— заберите меня с собой.

У генерала Куприянова сидело человек десять разных людей, среди них два генерала. Это было для Лубенцова неожиданным, так как он предполагал, что будет говорить с Куприяновым наедине, и к этому именно и приготовился. А здесь на него десять пар глаз смотрели с враждебным выражением, как смотрят на человека, чьи достоинства давно забыты и перечеркнуты и чья жизнь, какая бы она ни была, померкла в свете того, что случилось в последнюю минуту. Было ясно, что только что они говорили о нем и говорили в выражениях весьма нелестных. На Лубенцова злое выражение их глаз подействовало с огромной силой, так как он к этому не привык. Да, он был «счастливчиком», человеком, которого окружающие, как правило, любили и ценили, о котором и начальники и подчиненные всегда отзывались с теплотой и доверием. И внезапная перемена в отношении к нему глубоко задела его.

Потом они стали говорить, и говорили так же враждебно, как раньше глядели на него. Они говорили о нем в таких выражениях, как будто его здесь не было и как будто он непосредственно виноват в бегстве Воробейцева и объективно не меньший преступник, чем Воробейцев. А он слушал, и ему хотелось спросить у них: «Что вы делаете? Как вы можете так говорить обо мне?» Но он молчал и слушал, потому что понимал, что эти вопросы ни к чему не приведут и только вызовут новый взрыв негодования. Кто-то спросил, верно ли, что его заместитель требовал ареста Воробейцева, а он, Лубенцов, не позволил его арестовать. Он ответил, что верно, что так оно было. Ему хотелось сказать, что он не мог подозревать Воробейцева в таких замыслах; кроме того, если бы Воробейцев был арестован, он был бы самое большее отослан обратно в СССР и, будучи врагом и изменником, продолжал бы маскироваться, как маскировался до этой поры; его обвинили бы в худшем случае в коммерческих делишках, а на самом деле это был бы изменник в душе, который мог бы в любой момент, еще более сложный, чем теперь, стать явным изменником. Лубенцов хотел все это сказать, но он этого не сказал, потому что знал, что такие слова не будут поняты правильно и только поставят Лубенцова в положение человека, не желающего признать свои ошибки и противопоставляющего себя всем остальным. Поэтому он сказал только, что виноват, и еще раз повторил, что виноват.

Потом он заявил, что в конечном счете дело не в нем и не в мере его вины, а в том, чтобы в связи с этим делом не совершить еще более непоправимых вещей. Он сказал, что готов нести полную ответственность за все случившееся, однако он просит, чтобы ему дали возможность самому выправить положение и самому разобраться во всем деле.

И хотя многие признали в глубине души, что он прав и что действительно нет оснований заподозрить всех и вся, тем не менее они продолжали обвинять его и всех офицеров комендатуры и говорить, что не питают к лаутербургским офицерам политического доверия и тому подобные слова, которые привели Лубенцова в состояние полного изнеможения.

Тем не менее его репутация была настолько высока и его точка зрения на дальнейший ход дел настолько убедительна, что здесь не были сказаны никакие решительные слова. Ему было велено ехать обратно. На следующий вечер созывалось

собрание актива, где будет обсуждаться деятельность лаутербургской комендатуры.

С этим Лубенцов отправился в обратный путь. И снова весь путь они с Ворониным молчали.

Как только Лубенцов приехал в Лаутербург, он стал проводить расследование. Он побывал на трех квартирах, где в течение пребывания в городе жил Воробейцев. Он узнал все касательно махинаций с автомашинами. На маслозаводе, сахарном и ликерном заводах он окольными путями выяснил, сколько продуктов получил Воробейцев. С помощью Кранца и из допросов Меркера он уяснил себе весь круг интересов Воробейцева.

Он твердо установил, что Воробейцев ни с кем и нигде не вел никаких политических разговоров, никакой враждебной агитации. Он жил только наживой и думал только о ней. Он был жаден и вел легкую жизнь. И если бы после ареста Меркера не испугался разоблачения и не понял, что ему грозит серьезная кара, он никогда не убежал бы.

Короче говоря, Воробейцев стал изменником потому, что был корыстным, жадным до собственности человеком. Это представляло для Лубенцова вовсе не какой-либо академический интерес, а имело жизненно важное значение не только для самозащиты самого Лубенцова, но для него лично. Тяготение к наживе, к собственности, к вещам сделало Воробейцева изменником. Два мира, живущих рядом, действуют друг на друга. Наш мир, действуя на лучшие стороны человека, вербует себе сторонников своим стремлением к справедливому распределению богатств, своими высокими целями, своим уважением к человеку труда и верой в его будущее. Другой мир, действуя на темные и подлые инстинкты человека, вербует себе сторонников среди корыстных и жадных людей, для которых общее дело не имеет никакого значения, для которых значение имеют только их личные делишки. Не признавая ничего, кроме чистогана, он завлекает, прельщает, заманивает их этим чистоганом.

«Да, но разве Воробейцев один? Разве таких мало? Однако не все же они, не все же эти стяжатели, жадные на чужое добро, на легкую добычу, становятся изменниками родины»,— раздумывал Лубенцов и наконец пришел к следующей формуле: «Не все стяжатели — изменники родины, но все изменники родины — безусловно стяжатели».

Итак, жажда собственности в обществе, отрицающем капи-

талистическую собственность, делает человека отребьем общества. Не разделяя тех идей, которыми живет общество, человек привыкает скрывать свои мысли, лицемерить, подличать. Обманывая окружающих, а нередко и себя самого, он иногда доходит до высоких ступеней, но раньше или позже его разоблачают или он сам разоблачает себя.

Лубенцов снова побывал в последней, опечатанной, квартире Воробейцева и сам осмотрел все, что в этой квартире находилось. Все следы жившего тут недавно человека свидетельствовали о попойках, разгуле, мелком разврате. Глядя на пустые бутылки, неприличные открытки, читая эту немую повесть разгульных ночей, Лубенцов ужасался, удивлялся, на что уходила энергия, на что разбазаривались силы. Но вместе с чувством омерзения и удивления он на мгновенье испытал неожиданное чувство некоторой зависти к этой абсолютной свободе от всяких обязанностей, к этому забубенному времяпрепровождению, залихватскому и бесшабашному существованию. Лубенцов подумал, что, по сути, и он по своему характеру — гуляка; но уж если бы он загулял,— он бы не мог запереться в четырех стенах, гулять исподтишка, потихоньку, чтобы никто не увидел и не услышал. Он устроил бы по крайней мере дым коромыслом без всякой боязни перед кем бы то ни было. Однако он так не делал, не делал потому, что самое важное для него, весь смысл его жизни заключался в победе нового мира, в счастье миллионов людей. И без этого не было ему жизни и не было веселья.

Он заставлял себя после всех своих розысков и расследований возвращаться в комендатуру. Да, именно заставлял себя, потому что Дом на площади, ставший для него родным домом, теперь перестал им быть. Его там встречали хмурые лица. Ему казалось, что даже стук подкованных подошв солдат, идущих на смену караулов, звучит мрачно. То и дело приезжали разные комиссии. И ему стоило немалого труда спокойно отвечать на их вопросы, подробно освещать то одно, то другое обстоятельство и вообще вести себя сдержанно и даже по возможности непринужденно.

С пяти до семи были его приемные часы. Капитан Чегодаев зашел к нему перед началом приема и сказал:

— Человек двадцать дожидаются. Объявить, что приема сегодня не будет?

Он пристально смотрел на Лубенцова, и его маленькие

глазки были полны преданности, понимания и любви. Однако Лубенцов вызывающе посмотрел на него и произнес с деланным удивлением:

— Почему не будет? Что такое случилось? Приглашайте.

Начался прием, и Чегодаев с Ксенией, присутствовавшие во время приема, с молчаливым изумлением слушали слова Лубенцова и его смех. Сдержанная Ксения ничем не выказала своего удивления, но Чегодаев, который был страшно взволнован и взвинчен,— как и все обитатели Дома на площади,— вскоре выскочил из кабинета, зашел к Меньшову, сел и сказал:

— Не могу там сидеть. У меня душа разрывается, на него глядя.

Через минуту за ним пришла Ксения, сказавшая, что Лубенцов велел ему вернуться, так как пришли по важному делу представители рудоуправления. Чегодаев вздохнул и пошел в кабинет коменданта.

В семь часов вечера Лубенцов, Касаткин, Яворский, Чегодаев и Меньшов выехали в Альтштадт на собрание актива.

XIV

Когда офицеры лаутербургской комендатуры вошли в зал, все взоры устремились на них. Лубенцов в нерешительности постоял у двери, потом, не глядя по сторонам, быстро пошел вперед, к передним рядам. Первые два ряда никем не были заняты.

— Тут мы и сядем,— сказал Лубенцов.

Меньшов пробормотал:

— Это, наверное, места для начальства.

— Ничего,— сказал Лубенцов.— Сегодня нам и с начальством можно посидеть.

Они сели и, не оглядываясь, стали смотреть на пустую сцену, где стоял стол, покрытый красной скатертью, а в стороне от него — трибуна с настольной лампой, графином и стаканом.

Лубенцов сидел напряженный, чувствуя спиной взгляды и перебирая в уме лица многих знакомых и друзей, вероятно находившихся в зтом зале. С каждой минутой на его сердце наваливалась все большая тяжесть.

Наконец из боковой двери появился Куприянов и несколько

полковников. Они подошли к тем рядам, где сидели Лубенцов и его товарищи. Зал встал. Куприянов сказал: «Вольно». Все сели, и только один Лубенцов опоздал. И ему стало неловко оттого, что он не сел вместе со всеми, и он подумал о том, что многие могут истолковать это так, будто он в связи с постигшим его несчастьем стал преувеличенно почтителен по отношению к начальникам.

Он сел.

На сцену вышел секретарь партийной организации подполковник Горбенко — один из друзей Лубенцова, умный, толковый человек, которому все предсказывали большую будущность. На этот раз его голос был торжествен и строг и усталые, добрые, чуть близорукие глаза глядели сурово.

«Как он не похож на себя,— думал Лубенцов.— И все из-за этого дурачка, из-за этого ничтожества, из-за Воробейцева. Все натворил этот никчемный, жалкий и подлый человечек. Из-за него собрались тут две сотни офицеров, превосходные и славные русские люди, выполняющие одну из самых сложных задач, выпадавших когда-либо на долю русских людей...»

Горбенко открыл собрание и предложил избрать президиум. На сцену быстро и несколько суетливо вышел подполковник из промышленного отдела и огласил список. Все проголосовали. Генералы и полковники медленно встали и пошли к ступенькам, ведшим на сцену. Одновременно изо всех углов зала стали проходить к тем же ступенькам офицеры, чьи имена находились в списке. Президиум уселся на свои места. Председательское место занял полковник, который дал слово для сообщения подполковнику Горбенко.

Проходя от стола к трибуне, Горбенко бросил мимолетный взгляд на Лубенцова, однако, встретив ответный взгляд Лубенцова, отвернулся. Он встал у пюпитра, разложил бумагу и начал читать с листа, но время от времени подымал глаза и заканчивал фразу без заглядывания в бумагу, так, словно хотел убедить аудиторию в том, что не читает, а говорит.

Он сказал, что районная комендатура Лаутербурга проделала серьезную работу и неплохо выполняла соответствующие приказы по демократизации и денацификации порученного ей района. Однако комендант, подполковник Лубенцов, неплохо работавший с немцами, запустил воспитательную работу в коллективе комендатуры, в результате чего бывший офицер, разложившись и потеряв облик советского человека, совершил

измену родине и бежал в американскую зону. Этот неслыханный случай наложил клеймо позора на лаутербургскую комендатуру и на весь коллектив советских офицеров. Вина за это тяжкое преступление ложится на Лубенцова, который не только мало и плохо работал со своими офицерами, но и проявил политическую слепоту, отказавшись тогда, когда еще было время, задержать и изолировать изменника. Притупление бдительности, обязательной для коммуниста, особенно в тех условиях, в которых советские люди находятся здесь, в Германии, является тягчайшим преступлением. Майор товарищ Касаткин, заместитель Лубенцова, обратился с вполне справедливой жалобой в Администрацию. Если бы не самонадеянность и политическая слепота Лубенцова — этого инцидента не произошло бы.

Помолчав, Горбенко произнес заключительные слова:

— Я знаю Лубенцова давно и считал его способным, серьезным и культурным офицером. Но его поведение в этом последнем случае должно заставить нас всех во многом пересмотреть наше отношение к нему, внимательно и серьезно обсудить его поступки, а также более глубоко изучить весь наш личный состав и изучать его повседневно, без всяких скидок на прошлые заслуги.

После Горбенко выступил офицер, который обвинил Лубенцова в том, что он вообще отличается либеральностью, нетерпимой на его должности. Он рассказал историю с профессором Себастьяном, которого Лубенцов отпустил в западную зону якобы в гости к сыну. И это несмотря на то, что недавно был случай со специалистом по сельскому хозяйству профессором Вильдапфелем, который обманул Советскую Администрацию и убежал из нашей зоны. Лубенцов слишком часто бывал у этого Себастьяна, был даже на именинах его дочери, причем находился там в штатском костюме. Известен случай, когда Лубенцов устроил обед в честь Себастьяна и некоего американского разведчика майора Коллинза. Во время своих разъездов Лубенцов останавливался на ночевку у немцев. Он проводил долгие беседы, причем не только с трудящимися, но даже с помещиками. Он позволял себе говорить немцам, что репарации со временем будут отменены; он жалел немцев, говоря им, что они плохо живут, и давая им беспочвенные обещания, что их жизненный уровень будет поднят.

Третий выступивший сказал, что, если бы Лубенцов про-

явил бдительность, он давно мог бы понять нутро Воробейцева. Воробейцев был нарушителем дисциплины и вместе с капитаном Чоховым, бывшим сослуживцем Лубенцова — кстати, и Воробейцев некоторое время служил в дивизии, где работал начальником разведки Лубенцов,— неоднократно нарушал дисциплину, не являлся на работу вовремя, а иногда даже вовсе не приходил на службу. Лубенцов ограничивался разговорами и журил этого врага народа, вместо того чтобы наказать его.

Лубенцов слушал все это и сам удивлялся своему внешнему спокойствию. Сердце, вначале стучавшее быстро и бурно, понемногу успокаивалось, стало биться отчетливыми, но очень редкими ударами. При выходе каждого очередного оратора Лубенцов думал: «Неужели и этот не найдет ни одного доброго слова? Неужели и этот будет говорить одно плохое или такое, что кажется плохим в надлежащей передаче? Что же это значит? Неужели я на самом деле так плох — слеп, глуп, бездеятелен, либерален, самонадеян и высокомерен? Неужели я — почти Воробейцев?» Он спрашивал себя, что думают о выступлениях все собравшиеся здесь люди, и приходил к выводу, что и они разделяют мнение ораторов, потому что выступления звучат чрезвычайно убедительно, до того убедительно, что иногда ему, Лубенцову, самому кажется, что выступающие правы.

Он время от времени отводил пристальный взгляд от выступавших и смотрел на генерала Куприянова, человека, который лучше, чем кто-либо, знал до малейших подробностей все, что Лубенцов делал, и почему делал именно так, а не иначе. Что же думает генерал Куприянов? Какова его точка зрения? Что он скажет?

Генерал Куприянов, со своей стороны, иногда косился на Лубенцова и отмечал про себя те преувеличения и передержки, которые допускались в пылу речей тем или иным оратором. И тем не менее Куприянов все больше ожесточался против Лубенцова.

Дело в том, что Куприянов считал, что всегда чутко прислушивается к мнению своих офицеров. При этом он не замечал, что они, его офицеры, еще более чутко прислушиваются к его мнению. Думая, что он действует так или иначе потому, что таково общее суждение, он не замечал, что общее суждение складывается в угоду его мнению. Он часто по разным поводам спрашивал у руководителей партийной организации,

каково мнение членов партии, потому что от души желал услышать это мнение и учесть его. Но некоторые подчиненные ему офицеры, излагая это общее мнение, вовсе не излагали его таким, каким оно было (они даже не удосуживались его узнавать), а таким, каким было мнение генерала Куприянова или, если они не знали его мнения,— таким, каким оно должно было быть по их предположениям.

Если бы ему честно сообщали мнение других людей, генерал, несомненно, прислушался бы к нему, но так как ему сообщали его же мнение, он фактически принимал единоличные решения.

Так происходило и теперь, в деле Лубенцова.

Окружавшие генерала офицеры знали, что генерал расстроен, удручен и разгневан в связи со случившимся. Поэтому офицеры выступали так остро на собрании. Тут сказывалось, правда, и уважение к личности генерала, которого все высоко ценили. Но была в этом и немалая доля того, что можно назвать ловлей на лету исходящих «сверху» впечатлений и произнесенных «наверху» слов, часто сказанных случайно и необдуманно. Генерал же, которому выступления казались свободно выраженным общим мнением, пришел к выводу, что в деле Лубенцова надо действовать с большой строгостью.

Может быть, Куприянов не отдавал себе ясного отчета в том, что, обвиняя Лубенцова, он до некоторой степени снимает ответственность с себя; подвергая Лубенцова осуждению, он перед высшим начальством — перед Берлином и Москвой — смягчает свою вину. И хотя он понимал, что случившееся чрезвычайное происшествие с одним из рядовых офицеров одной из рядовых комендатур не может быть серьезно поставлено в вину ему, генералу Куприянову, но он достаточно хорошо знал обычай некоторых крупных начальников, которые после такого рода происшествий — вовсе не из любви к истине, а для отчета перед вышестоящими, еще более крупными начальниками — стремятся найти виновника, а если виновника найти нельзя, то хотя бы найти наиболее виновного.

При этом надо сказать, что генерал Куприянов был человеком честным и душевным и делал все это потому, что так было принято делать, хотя в глубине души со всей ясностью сознавал, что вина Лубенцова не так велика, как это изображают здесь, на собрании, и как он, генерал Куприянов, изобразит в своем выступлении. Но, сознавая это, он тем строже

и враждебнее глядел на Лубенцова, подпадая под властное влияние массового психоза, который он, сам того не зная, сам и создал.

Вскоре объявили перерыв. Зал опустел. Ушел и Касаткин. С минуту помявшись, встали Чегодаев, Яворский и Меньшов.

— Пойдем покурим,— пробормотал Чегодаев.

Они ушли, и Лубенцов остался один. Он думал о том, что и ему следовало бы выйти в фойе. Он знал, что ему хватило бы сил выйти, потолкаться среди людей и даже перекинуться словами с теми, кто пожелает с ним заговорить; это было бы прилично. Но теперь ему было все равно, что о нем подумают. Хуже уже не могло быть. И он остался сидеть на месте, вопреки своему обыкновению делать все так, как все, и быть таким, как все.

Вскоре он услышал, что люди начинают собираться. Потом появились и его офицеры, они молча сели рядом с ним. Наконец заполнились и места президиума.

Следующим выступил майор Пигарев. Лубенцов откинулся на спинку стула. Его переполнило чувство внезапного острого любопытства. Что же скажет Пигарев?

Пигарев начал с того, что знает Лубенцова как хорошего работника. И вся беда его, сказал Пигарев, заключается в том, что он зазнался. Его слишком расхвалили. Всегда всем комендантам тыкали в лицо пример лаутербургской комендатуры и нескольких других комендатур, которые числились любимчиками.

— Много раз и от кого угодно слышал я похвалы по адресу Лубенцова,— с внезапной злобой сказал Пигарев. Помолчав, он продолжал: — Это-то и привело к таким плачевным результатам.— В его голосе прозвучало сожаление, которое поразило Лубенцова не свойственными ранее Пигареву лицемерными нотками.— Он давал всем советы, цитировал в разговоре немецкие стихи... Зазнался, зазнался товарищ Лубенцов. Потому он и Касаткина не послушал... Довольно легкое дело пускать пыль в глаза немцам, цитируя на память какого-нибудь Гете или Шиллера. (Генерал Куприянов кивнул.) Культура вещь хорошая, но поклоняться буржуазной культуре тоже не надо. (Генерал Куприянов снова кивнул.) Про этого Себастьяна Лубенцов мне уши прожужжал. И такой, и сякой, честный, интересный... А тому только это и нужно. Охмурил Лубенцова и подался на запад, лови его... (Генерал Куприянов мрачно по-

качал головой.) Но, конечно, самый большой позор для нас — история с Воробейцевым. Для нас всех. И за это, я вам скажу, надо голову оторвать! — Последние слова он выкрикнул громко и, опьяняясь своим криком, стукнул кулаком по кафедре.— Вот говорят, что Лубенцов скромный, скромно живет, простой... Грош цена этой эффектной простоте и скромности. Пусть живет как хочет, но пусть видит, что кругом него делается, пусть умеет разоблачать врагов. Пусть не важничает! Не думает, что понимает лучше других, лучше всех!

Раздались аплодисменты. Пигарев отрывисто вскинул голову вверх, и Лубенцов ужаснулся, настолько это движение было точной копией с подобного же привычного движения Альбины.

XV

В двенадцать часов ночи собрание было прервано за поздним временем. Продолжение его перенесли на следующий вечер, на семь часов. Лубенцов вышел на улицу. В толпе он потерял своих сослуживцев. Машин было много; они подъезжали одна за другой, освещая неярким светом подфарников мокрую брусчатку. Темные фигуры, односложно переговариваясь, подходили к краю тротуара, вглядывались в темные очертания машин и уезжали. Людей и машин становилось все меньше. И Лубенцов впервые в жизни почувствовал себя одиноким человеком, отгороженным невидимой стеной от всех своих товарищей. И это чувство одиночества не прекратилось и тогда, когда подъехала его машина, из которой высунулась большая голова Чегодаева, произнесшего:

— Сюда, товарищ подполковник.

— Давайте поменяемся местами,— сказал Лубенцов. Чегодаев послушно вышел из машины и сел рядом с шофером. Лубенцов хотел сесть сзади. Но прежде чем он сел, к нему подскочил офицер из задней машины.

— Что же вы стоите? Проезжайте,— сказал он, негодуя на задержку. Но, присмотревшись и узнав Лубенцова, он осекся, пробормотал извинение и замер на месте, словно увидел привидение.

Лубенцов сел в машину. Она тронулась, и он ушел в себя, полный все того же внезапно охватившего его ощущения неприкаянности и оторванности от всего на свете.

Чувство стыда и обиды на своих товарищей овладело им и переворачивало ему душу так, что нельзя уже было терпеть. Пробегающие мимо редкие огоньки деревень и завывание ветра за стеклами машины были под стать его внутреннему состоянию. И ему казалось, что вот так он мчится, никому не нужный, мимо темных домов, мимо людей, занятых своими делами, своими заботами, и никому нет дела до него с его заботами и делами. И он думал с содроганием, что так уже будет продолжаться всю жизнь, что он будет один в темноте, отгороженный стеклами дребезжащего стального ящика от всего остального мира.

Когда он очнулся у себя на квартире в Лаутербурге, он даже удивился, потому что не мог вспомнить момента приезда и того, как он вышел из машины и как оказался дома, настолько мысли его были заняты другим. Но так или иначе, он был дома; здесь оказался Воронин. Шаги Воронина раздавались в соседней комнате. Воронин, видимо, готовил ужин, хотя знал, что Лубенцов есть не будет, как вообще почти не ел в течение последних дней.

Воронин ни о чем не спрашивал и ничего не говорил, только возился с тарелками. И эта возня, и звон тарелок немного успокоили Лубенцова.

Он подумал, что хорошо бы завтра выйти и сказать: «Ну вас к черту! Не желаю я выслушивать того, что вы мне говорите. Не желаю и не хочу принимать на свой счет всю эту мерзость. Я не тот человек, о котором вы говорили здесь. Как бы внешне убедительно ни выглядели ваши обвинения и как бы внешне дружески ни звучали ваши попреки, но все, что вы говорите,— ложь и клевета».

Но, разумеется, он не мог так сказать и никогда так не скажет. Не скажет потому, что любит и уважает этих людей; а главное, потому, что он старался быть и был дисциплинированным членом партии, человеком, привыкшим уважать своих товарищей, считаться с их мнением и искать в их словах, как бы ни были жестоки эти слова, крупицу истины. Он верил в коллектив и был воспитан в уверенности, что коллектив в конечном счете всегда оказывается прав.

Да, он был дисциплинированным солдатом. И вдруг он понял, что в течение месяцев и лет находится в состоянии постоянного и жестокого самоконтроля; что все время невидимые щупальца, созданные им для себя, держат его; и что он не

произносил ни слова без предварительного обдумывания и не делал движения без того, чтобы не иметь в виду чьих-то посторонних глаз; и что он выковал в себе ту железную самодисциплину, которая незаметно для него тяготила и давила его, делала расчетливым и аккуратным до противности, до отвращения к себе.

Но все это он делал не для себя, не в своих интересах, не для того, чтобы, будучи похожим на всех, выдвинуться выше других, а потому, что считал это необходимым для общего дела. Без самодисциплины невозможна дисциплина, а без последней нельзя выполнить то грандиозное, что предначертано поколению, к которому он принадлежал.

Вошел Воронин, поставил на стол посуду, постоял неподвижно, потом вдруг сказал:

— Выпейте водки, товарищ подполковник. Помогает.

— Давай.

Воронин заметно обрадовался, оживился, ушел и быстро вернулся с бутылкой. Он налил полные стаканы Лубенцову и себе. Оба выпили.

— А теперь вам спать надо,— сказал Воронин.

— Да, да.

Но тут раздался стук шагов, дверь открылась, и в комнату вошел Чохов.

Чохов был одет, как на парад. Сапоги его были начищены до блеска. На шинели блестели полевые ремни. Он был чисто выбрит, хмур, спокоен. Хмур и спокоен, как всегда. Но что-то в нем было непривычным и грозным, и Лубенцов вначале не понял, что именно. Потом понял: на груди у Чохова висел автомат. Автомат на офицере мирного времени, одетом с иголочки, в фуражке с малиновым околышем и с золотыми погонами взамен полевых,— это и было то необычное, что поразило Лубенцова.

— Садитесь,— сказал Лубенцов.

Но Чохов не садился. Он положил на стол сложенную вчетверо бумажку и начал говорить негромко, ясно и раздельно.

— Товарищ подполковник,— сказал он.— Разрешите доложить. Во всем виноват я один. Я уломал вас, чтобы вы взяли Воробейцева сюда в комендатуру. Я знал Воробейцева, его характер, то, чем он дышал, товарищ подполковник. Но я не сказал этого вам и сам не понимал по своей глупости и отсталости, чем это кончится для него... и для нас всех. Я кругом виноват,

и только я один. Вот я это все написал. Вот оно все. Вот.— Помолчав, он сказал изменившимся голосом: — Простите меня, Сергей Платонович. Этого гада... Этому гаду...— Его голос пресекся.

— Вы куда собрались? — внезапно спросил Лубенцов, вставая в страшном волнении.— Вы что это придумали? Вы в своем уме?

— Нет, нет. Вы меня не останавливайте,— сказал Чохов уже спокойно.— Мне нужен отпуск на два дня. Вот и все, что я прошу.

— Вы в своем уме, спрашивают вас! — воскликнул Лубенцов. Он подошел к Чохову вплотную.

— Я должен его убить,— сказал Чохов.

— Вы не понимаете, что вы затеяли,— возразил Лубенцов.— Вы дитя, Чохов! Вы даже не подумали, в какое положение поставите меня. Снимайте шинель! Чохов, вы слышите?

— Товарищ подполковник,— внезапно вмешался в разговор Воронин, делая шаг вперед к Лубенцову.— По-моему, правильно он решил. Надо эту мразь стереть с лица земли. Отпустите меня с капитаном. Не беспокойтесь, мы это сделаем все так чисто, что никто чихнуть не успеет. Вы разве не доверяете старшине Воронину? Вы забыли, что я делал на фронте... Сколько «языков» мы вместе перетаскали?!

— И ты дуришь? — спросил Лубенцов, обращая укоризненный взгляд на Воронина.— Может быть, и мне отправиться вместе с вами? — Он на минуту задумался, усмехнулся и мечтательно произнес: — Мы бы совсем неплохо провели этот поиск и приволокли бы предателя в Лаутербург. Заодно можно прихватить еще кое-кого... Эх вы! Чудаки! Капитан Чохов, вы арестованы домашним арестом. Отбывать будете здесь, у меня. Снимайте автомат. Что у вас там еще? Нож? Все снимайте. Пояс снимайте: вы арестованы. И не глядите на меня так, словно перед вами Воробейцев.— Он выпил водки и продолжал, все больше возбуждаясь: — Плюньте. Самое страшное наказание для него: пусть живет. Пусть живет наедине со своей подлостью и ничтожеством. Раздевайтесь, Василий Максимович. Садитесь. Ну, разоблачил себя один подлец. Неужели это такая большая потеря? Да хрен с ним в конце концов! Может быть, это хорошо, что он разоблачил себя, что он не с нами, что мы не будем обманываться в нем, не будем считать его одним из

своих. Такие случаи бывали и еще будут. Они не так уж неестественны при нынешних обстоятельствах, когда два больших лагеря борются друг с другом. Зачем же приходить в уныние или решаться на отчаянные поступки? Вот выпейте рюмочку и, поскольку вы арестованы, спешить вам некуда, посидите со мной или ложитесь спать. А если и я буду арестован сегодня ночью, что весьма возможно, то пусть уж нас возьмут вместе.

Чохов твердыми шагами подошел к окну и прижался лбом к стеклу. Его глаза наполнились слезами. Он закрыл глаза, чтобы их смахнуть, постоял так еще минуту, потом повернулся к Лубенцову.

— Пойду вкачу мотоцикл во двор,— сказал он.

Он вышел, вкатил мотоцикл во двор и вернулся.

Уже начало светать, когда Чохов и Воронин уснули. А Лубенцов все ходил по комнате, время от времени останавливаясь возле дивана, где спал Чохов, и смотрел на капитана глазами, полными нежности. Он вспомнил, что когда-то уже видел Чохова спящим. Это было год назад, но казалось, что с тех пор прошли десятилетия — так много событий и переживаний пронеслось за это время. Во сне лицо Чохова выглядело совсем юным, решительный рот был полуоткрыт. Чохов неровно дышал и время от времени глубоко вздыхал. Лубенцов взял со стола заявление Чохова и разорвал его, не читая, в мелкие клочки.

В девять часов Лубенцов отправился в комендатуру. Он вызвал Яворского. По покрасневшим глазам и желтому лицу заметно было, что Яворский тоже спал мало и плохо.

— Как с Ланггейнрихом? Вызвали вы его? — спросил Лубенцов.

— Нет.

— Напрасно. Ведь ландрат до сих пор не назначен. Вызовите его.

— Он не хочет идти на эту должность.

— Не хочет! Мало чего не хочет! Он самый подходящий человек. Профессор Себастьян рекомендовал его не без оснований. Вызовите его сейчас.

— Есть.

— Можете идти. Пришлите ко мне Чегодаева.

Пришел Чегодаев.

— Вы обратили внимание,— сказал Лубенцов,— что шахты

за последнюю декаду не выполнили плана? Вы беседовали об этом с руководителями шахты?

— Еще не беседовал.

— Поедем туда.

— Есть.

Они выехали на шахту. В шахтоуправлении шло заседание производственного совета, возглавляемого старым знакомым Лубенцова Гансом Эперле. Лубенцов, недовольный вялым ходом прений, выступил и сказал, что нельзя допускать, чтобы обыватели болтали,— рабочие-де не в состоянии сами управлять предприятием; ведь шахта прошлую декаду блестяще работала и т. д.

Он заехал еще куда-то по делам, но потом с трудом вспомнил, где был и с кем разговаривал. Вернувшись в город, Лубенцов поехал в комендатуру. Здесь он оставил Чегодаева, машину отпустил, а сам отправился пешком к дому у подножия горы, где теперь работал семинар по подготовке новых учителей. Некогда тут помещалась английская комендатура.

В прохладной прихожей было тихо, и казалось, что никого в доме нет. Но, пройдя дальше, Лубенцов услышал из-за приоткрытых дверей негромкое гудение одного голоса и настороженную тишину, прерываемую покашливаниями. Те же звуки слышались из-за другой двери. Все вместе напоминало школу во время уроков. Казалось, что вот сейчас двери раскроются и из классов гурьбой бросятся дети.

— О! Господин Лубенцов! — услышал он удивленный возглас. Из бокового коридора показалась фрау Визецки. Она широко улыбнулась и пошла ему навстречу. Из-за ее спины появилось еще одно любопытное круглое женское лицо.

Пока Лубенцов расспрашивал фрау Визецки о ее делах, раздался звонок. Коридор переполнился людьми, и Лубенцова окружили со всех сторон дружеские лица. Все наперебой здоровались с комендантом, не скрывая своего удовольствия по случаю его прихода. У него сжалось сердце, и он не без труда заставил себя улыбаться этим милым людям, которые не подозревали о смятенном состоянии его души.

Потом он увидел Эрику. Она пошла к нему, вся светясь от радости.

— Наконец-то вы к нам пожаловали,— сказала она.— Сию минуту договорюсь... Вы ведь не откажетесь побеседовать хотя бы полчаса с будущими учителями?

— Сегодня никак не могу,— сказал Лубенцов.— Дня через два-три.— Подумав, он добавил: — Или пришлю своего заместителя. Он это сделает не хуже, а может быть, лучше, чем я.

Эрика недоверчиво усмехнулась.

Тем временем к ним подошли лекторы, среди которых был Лерхе, читавший слушателям семинара марксизм-ленинизм. Он сказал, что ему очень нравится эта работа и, может быть, в ней — его призвание.

Лубенцов уже знал, что Лерхе уходит с поста руководителя районной организации компартии. Хотя Лубенцов сам считал, что Лерхе не годится для этой работы, что он резок, не гибок, живет старинными представлениями, а главное, слишком враждебно относится к социал-демократам, всем без исключения,— все-таки Лубенцов расстроился: их связывала многомесячная совместная работа, в течение которой он успел полюбить немецкого коммуниста за кристальную честность, бескорыстие, непримиримость и жгучую ненависть к врагам; правда, Лерхе нередко относил к числу врагов таких людей, которые не были врагами. Коммунисты и социал-демократы объединялись в одну единую социалистическую партию. Вопрос был решен, и Лерхе понял, что при таких условиях он должен отойти от руководящей работы.

Лубенцова обрадовало то, что Лерхе не пал духом и даже как-то успокоился, стал ровнее в обращении и ласковей к людям.

— Теперь меня есть кому заменить, теперь все стали развитые и умные,— сказал Лерхе не без желчи, но добавил: — Организация сильная, и много хороших людей.

Вскоре раздался звонок. Коридор опустел. Одна Эрика не тронулась с места.

— У вас измученный вид,— сказала она.

— Работы много, Эрика.

Она вздохнула и проговорила:

— Ради великой цели не жаль труда.

Он посмотрел на нее удивленно, услышав непривычные в ее устах громкие слова. Он даже подумал, не шутит ли она, не пародирует ли его. Но она была серьезна, и ее глаза смотрели на него проникновенно.

Эрика, как, вероятно, многие женщины на белом свете, была способна легче всего усвоить большую идею и проникнуться ею не отвлеченно, а посредством большого чувства к носителю

этой идеи. Чтобы убедиться в правоте дела социализма, она должна была прежде почувствовать правоту и личное обаяние Лубенцова. Полюбив его, она разделила те взгляды, которые разделял он. Она в связи с этим стала с горячностью и фанатизмом новообращенного читать все, что могла достать об СССР и коммунистических воззрениях, и восприняла новые для нее взгляды безусловно, без всякой критики — потому, что эти взгляды разделял Лубенцов. Она не терпела никаких критических замечаний по поводу мировоззрения, к которому приобщилась таким чисто женским путем, и была наивна, мила и немного смешна в своей прямолинейности и непримиримости.

Уже гораздо позже ее новые взгляды на жизнь и мироустройство стали существовать отдельно от ее интимных чувств.

Они стояли одни в полутемном прохладном вестибюле.

— Как отец? — спросил он небрежно.— Пишет?

— Зачем? Он не сегодня-завтра приедет.

— Ага. Понятно.

Они вышли на крыльцо. Было холодно.

— Зайдите в дом. Вы простудитесь,— сказал он.

— Нет,— ответила она просто. Потом спокойно добавила: — Отец обязательно приедет в ближайшие дни. Он рассеянный и неорганизованный, но обещания свои всегда выполняет.

— Ага. Понятно.

На этом они расстались.

«Если я обманулся в нем,— думал Лубенцов, медленно идя по улице,— то мне в утешение можно сказать, что я обманулся не один. Его родная дочь — и та обманулась. Или она такая актриса и такая сволочь, каких свет не видывал».

XVI

В приемной Лубенцова ожидал Ланггейнрих. Рядом с ним сидела его жена Марта и капитан Яворский. Увидев вошедшего Лубенцова, все встали. Марта поздоровалась и скромно отошла в угол, чтобы не мешать разговору мужчин. Но Лубенцов подошел к ней и сказал:

— Заходите, заходите тоже, Марта. Это вопрос серьезный. Без женщины тут не обойдешься.

Они вошли в кабинет. Здесь сидел Касаткин. Лубенцов бро-

сил на него быстрый взгляд. Касаткин плохо выглядел. Тоже, видимо, плохо спал. Брови его были страдальчески стянуты.

— Ну что ж,— сказал Лубенцов, становясь еще оживленнее, потирая руки и самолично усаживая Ланггейнриха и его жену на диван.— Садитесь, товарищи. Я пользовался вашим гостеприимством не однажды, а вы у меня ни разу не бывали. Чаю не хотите?

От чая они отказались.

— Ну, вы, вероятно, знаете, зачем вас позвали,— продолжал Лубенцов, глядя на супругов лукаво.— По государственному делу.

— Знаем,— протянула Марта.

— И не очень довольны? — подхватил Лубенцов.

— Да, не очень довольны,— подтвердила Марта.— Совсем недовольны. Как же мы уедем из деревни? У нас хозяйство... Да и вообще не под силу Ланггейнриху (она называла его по фамилии) такое дело.

— Жена всегда считает своего мужа хуже, чем он есть,— возразил Лубенцов со смехом.

— Нет, она права,— сказал Ланггейнрих. Он был смущен, несколько растерян и произнес умоляющим голосом: — Напрасно вы... это всё... придумали. Ну куда мне, скажите на милость! Профессор Себастьян — это я понимаю. Человек ученый, умный, влиятельный.

— Он сам вас и предложил,— сказал Лубенцов.— Он о вас лучшего мнения, чем ваша жена. Я тоже.

Ланггейнрих, который все время смотрел вниз, при этих словах вскинул глаза на Лубенцова и с оттенком недоверчивости сказал:

— А профессор Себастьян?.. Он что?.. Уезжает из Лаутербурга? Не вернется сюда?

— Почему не вернется? — медленно сказал Лубенцов, искоса взглянув на Касаткина.— Он будет преподавать... У него ведь своя специальность. В Галле возобновил работу университет. Там нужны специалисты, это тоже важное дело.

Ланггейнрих испытующе впился взглядом в лицо Лубенцова и снова опустил глаза, ничего не сказав.

— А районный комитет — тот сразу поддержал вашу кандидатуру,— продолжал Лубенцов.— В конце концов можно вынести решение партийного комитета, и вы пойдете, куда бы вас ни послали. Так ведь, товарищ Ланггейнрих? Партийная дис-

циплина, Марта! Но дело не в этом. Мы хотим, чтобы вы пошли на это сами, добровольно. Когда человек добровольно идет, он лучше работает. Ну, попробуйте в конце концов, не выйдет — отпустим обратно в деревню. Обещаю вам: не получится — отпустим. И вот товарищ Касаткин вам это тоже обещает... на случай, если я уеду... Обещаете, товарищ Касаткин? — Он сказал Касаткину по-русски: — Скажите ему, что, если окажется, что он не в силах справиться с работой, его отпустят, заменят другим товарищем, подберут другого человека.

Касаткин, который по-немецки понимал, но говорить не мог или не решался, ответил тоже по-русски:

— Конечно. Это вполне естественно.

— Вот и товарищ Касаткин обещает,— сказал Лубенцов.

— А куда вы собираетесь ехать? — спросил Ланггейнрих.

— Может, в отпуск поеду,— быстро сказал Лубенцов. Он подошел к Марте, сел напротив нее и тихо проговорил: — Поймите, Марта. Это необходимо. Ученость тут ни при чем. Мало, что ли, ученых бездельников! Главное, что у вашего мужа крепкая хватка и чистая совесть. Ведь с этим вы не можете не согласиться, Марта? Надо думать не только о себе и о своих удобствах.

— Конечно,— сказала Марта, смутившись и глядя в сторону.

— Ну вот видите! — воскликнул Лубенцов и обратился к Ланггейнриху: — Ну вот, Ланггейнрих, Марта согласна.

Ланггейнрих усмехнулся.

— Этого еще мало,— сказал он.— Я и сам человек взрослый.

— Не притворяйтесь таким самостоятельным,— улыбнулся Лубенцов.— Все равно я вам не поверю. Я сразу узнал, что все зависит от Марты. Зря, что ли, она приехала? Ну что ж, попробуете, Ланггейнрих? Попробуйте. Мы вам поможем.

Ланггейнрих махнул рукой. Лубенцов похлопал его по плечу и произнес по-русски:

— Молодец!

Марта поднялась с места и сказала:

— И как вы нас уговорили! Я думала, что никто меня не сможет уговорить.

— Это нужно для дела,— отозвался Лубенцов серьезно.

Он проводил Ланггейнриха и Марту до двери, потом мед-

ленно повернулся лицом к своим офицерам. Оживление его сразу пропало. Касаткин и Яворский молчали.

Лубенцов сказал:

— Помогайте ему, товарищи. Поддержите его. Он прекрасный мужик и, конечно, отлично справится с работой. Притворяется только, что растерян и смущен, а сам уже в это время думает, как все получше устроить. Я его хорошо знаю. Слышите? Помогайте ему.

— Поможем, конечно,— тихо пообещал Яворский.

Касаткин только кивнул головой и вышел.

— Товарищ подполковник,— сказал Яворский.— Я хотел... Хотел бы...— Он вспотел, не находил слов, был бледен, расстроен. Его толстые добрые губы дрожали. Протерев очки, он продолжал: — Я должен буду сегодня выступить. Мне сказали, чтобы я выступил. Вы знаете, как я вас ценю, уважаю и просто... люблю. Да, люблю вас, Сергей Платонович. За многое. Но мне предложил товарищ Горбенко. Я должен сказать. Не обижайтесь на меня.

Лубенцов холодно посмотрел на него, усмехнулся и вышел, хлопнув дверью. Но потом пожалел Яворского внезапной и непонятной жалостью, вернулся обратно, подошел к окну и сказал рассеянно:

— Ладно. Хорошо. Ладно.

Вошел Меньшов, принесший бумаги коменданту на подпись. Лубенцов подписал. Время подошло к пяти. Лубенцов встал. Лицо его внезапно потемнело, и он сказал:

— Пора ехать.

И сразу же стал неразговорчив, тих. Суета и мелькание лиц прекратились.

— Пора ехать,— повторил он, надел фуражку и вышел на улицу. Машины уже ожидали внизу.

Около семи часов вечера они подкатили к дому, где происходило собрание. При виде его Лубенцов почувствовал дрожь, и все события сегодняшнего дня — посещение шахты, разговор с Лерхе и Эрикой, беседа с Ланггейнрихами отодвинулись от него куда-то вдаль, словно он сам разделился на двух человек, совсем разных, не похожих друг на друга. Он теперь с удивлением думал о том, как мог он жить той, другой жизнью и как могло у него хватить сил жить ею и не упасть под тяжестью второй жизни, которая начиналась теперь.

До начала собрания оставалось минут двадцать, и Лубенцов на этот раз заставил себя стоять и ходить по фойе, раскланиваться с людьми, которые с ним раскланивались, и притворяться, что не замечает людей, которые отворачивались от него. Фойе заполнялось все больше. Он остановился у стены и стал глядеть на людей. Многих из них он знал, про многих слышал хорошее. Это были в большинстве своем молодые, но умудренные опытом люди, с многочисленными орденскими планками на груди, подтянутые, серьезные. Он впервые смотрел на них со стороны, потому что раньше всегда привык чувствовать себя одним из них. И его сердце, размягчившееся от жестоких страданий, ощутило к ним, ко всем этим людям, нежность и любовь, которая оттого, что казалась ему теперь неразделенной, еще сильнее ранила его душу.

Полный тревоги за себя и за них, он смотрел на их простые лица и с переполненным сердцем думал: «Под силу ли нам, простым русским людям, наша советская судьба, сумеем ли мы исполнить до конца великие предначертания и оправдать великие надежды? Не одолеют ли нас мелочи жизни, не остудится ли наш пыл рутиной, зазнайством, жаждой покоя?»

Задав себе эти вопросы, новые для него, Лубенцов с чувством, близким к восторгу, отвечал: «Да, под силу, да, исполним, да, не сойдем с верного пути». И то, что он испытал чувство беспредельной любви к товарищам и уверенности в них и в себе не тогда, когда ему было хорошо, когда он занимал почетное положение, а именно теперь, когда он был в отчаянном положении, заставило его с небывалой силой понять, что его нынешнее чувство является отражением реальной действительности, а не следствием мелкого и глуповатого оптимизма.

Тут раздался звонок, сзывающий людей в зал.

Объявив собрание открытым, полковник Горбенко сообщил, что сегодня оно будет длиться всего два часа и поэтому не закончится, так как в двадцать один час руководящие товарищи должны будут уехать на важное и срочное совещание с представителями немецких партий и профсоюзов, президиум же решил, что комкать прения не годится. Ораторов записалось много.

Это сообщение расстроило Лубенцова, который надеялся, что сегодня все закончится и будет наконец решено окончательно и бесповоротно.

Впившись пальцами в спинку впереди стоящего стула, Лубенцов стал слушать выступавших. Слушая их, он успокаивал себя, сдерживался, хотя его много раз подмывало встать и опровергнуть тут же на месте то, что говорилось. И одновременно с этим он старался, как всегда это делал, находить верное в густой череде обвинений, раздававшихся с трибуны. Он говорил себе: «Нельзя на все смотреть только со своей личной точки зрения. То, что мне кажется, может быть и неверным. Неужели весь этот зал, вмещающий две с лишним сотни людей, проявляет злопамеренность или желает моей гибели и позора? Ведь, может быть, многие из этих людей искренне хотят указать мне на мои слабости и недостатки с той целью, чтобы я исправился и понял все. Поэтому я не должен и не имею права проявлять глупую строптивость. Я должен попытаться понять их точку зрения и стать на их место». И он в сотый раз говорил себе, что, если бы случай с Воробейцевым произошел в другой комендатуре, он, Лубенцов, быть может, тоже выступил бы здесь со злой и непримиримой речью. Так ли это? Что бы он сказал? Нет, он не выступил бы так, а постарался бы спокойно и серьезно проанализировать случившееся. Но, возможно, ему это кажется теперь, когда сам он попал в такое положение?

Потом выступал Яворский. Лоб Яворского был покрыт крупными каплями пота. Он каялся, и делал это очень красиво и интеллигентно, округлыми, изящными фразами. Свое покаяние он читал с бумаги, и то, что оно было написано заранее, плохо вязалось с взволнованным тоном, каким он произносил эти заготовленные наперед словеса. Он признал правильными все обвинения, справедливые и несправедливые, без разбора, почти со сладострастием отрекаясь от Лубенцова и от всего хорошего, что комендатура сделала в Лаутербургском районе.

Касаткин, выступления которого Лубенцов ждал с особым волнением, говорил совсем не так. Он излагал факты, положительные и отрицательные, строго объективно. Он сказал, что Лубенцов честный коммунист и талантливый работник и у него можно многому поучиться. «Да, я многому научился у Лубенцова»,— сказал он твердо и несколько вызывающе. В то же время он с той же твердостью обвинял Лубенцова в ротозействе, либеральности, излишней доверчивости и опять требовал арестов.

Слушая Касаткина, Лубенцов был ему почти благодарен за объективное изложение его взглядов. Но и теперь он не мог согласиться,— и в этом он был непоколебим,— что случай с Воробейцевым должен явиться причиной недоверия к людям вообще.

Он внезапно вспомнил Дальний Восток, и юношеские впечатления странно и неуместно стали проноситься в его голове. Он представил себе зимнюю тайгу после того, как выпадет первый снег и огромные пространства превращаются в открытую книгу для людей, умеющих читать ее. Перед глазами внимательного наблюдателя сокровенная жизнь лесных просторов вся как на ладони. Он видит след лисы и медведя, разлапистый след глухаря и огромный отпечаток лапы уссурийского тигра. Если бы придумать такую лакмусовую бумажку, такое зеркало следов человечьей души, по которой можно читать самое тайное, самое глубинное!

Почти в конце заседания Лубенцову передали по рядам записку, которую он взял в руки, но не стал разворачивать, так как в это время начал говорить полковник — глава одной из комиссий, приезжавших в последние дни в Лаутербург для расследования. Полковник сказал, что Лубенцов потерял моральный облик коммуниста, связавшись с семьей немецкого профессора Себастьяна, которого он продвинул на должность ландрата. Он откровенно намекнул на то, что Лубенцов состоял в близких отношениях с дочерью Себастьяна, которую он же продвинул на курсы новых немецких учителей. Тот факт, что Эрика Себастьян не уехала с отцом на запад, изображался в этом выступлении как доказательство ее связи с Лубенцовым. Полковник иронически похвалил Лубенцова за его успех у женщин и иронически же сказал, что было бы гораздо полезнее, если бы Лубенцов имел успех не у Эрики Себастьян, а у ее отца, который ныне находится в американской зоне.

Этот полковник, с низким лбом и рачьими глазами, с толстыми губами любителя выпить и закусить, негодовал по поводу мнимых грехов Лубенцова с таким видом, что Лубенцов от души возненавидел его. И с ужасом Лубенцов опять подумал о том, что позорящие его слова звучат убедительно и что, вероятно, все им поверят. Поведению Лубенцова придавался дурной, позорный смысл. В воздухе пронесся душный ветерок угрюмой подозрительности, недоверия к людям — не только к нему, Лубенцову, но и ко всем сидящим здесь. «И неужели они этого

не понимают? — спрашивал себя Лубенцов.— Неужели никто здесь не догадывается, что то же можно сказать о любом из них и каждому будет так же трудно, как мне, опровергнуть все это?»

В конце своей речи оратор вынул из кармана гимнастерки бумагу и, торжествующе глядя на аудиторию, медленно разгладил ее и сказал:

— Как выяснилось, Лубенцов занимался, так сказать, и «литературным трудом». Вот его «произведение», которое вручил мне один из офицеров лаутербургской комендатуры.— Зал замер, ожидая необычайно крупных новых разоблачений.— Вот, пожалуйста,— продолжал полковник,— я вам зачитаю. Товарищ Лубенцов написал что-то вроде инструкции, которую он назвал «Памяткой советского коменданта». Он позволяет себе давать наставления и советы, как должен себя вести советский комендант.— Он стал читать сочиненную Лубенцовым в часы бессонницы «памятку». И хотя в этой «памятке» не было ничего такого, что могло бы бросить тень на ее автора, но полковник читал с таким выражением, как будто в ней что ни слово — то нарушение правил, что ни буква — то отклонение от служебных установлений. И хотя все понимали, что в ней ничего дурного нет, но тон, каким она читалась, наводил на подозрения, назойливо требуя от аудитории осуждения и добиваясь этого осуждения. Преподнесенная в таком виде «памятка» показалась людям предосудительной хотя бы по одному тому, что она не была похожа на обычные утвержденные инструкции. Лубенцов, сгорая от стыда за то, что его «писанина», как он сам называл ее, предназначенная только для себя и неизвестно какими судьбами ставшая достоянием гласности, теперь читалась на собрании, прислушивался к словам «памятки». В устах полковника, при том тоне и в том обрамлении, как он ее читал, она показалась Лубенцову ужасно глупой. Но ведь только глупой — и ничего больше. А люди, вероятно, воспринимали ее как что-то преступное, запрещенное.

— Вот,— победоносно заключил полковник, поднимая высоко над головой бумажку.— Решил всех нас учить, нигде не утверждал инструкцию, никому не давал на проверку.

Следующим оратором вызвали Меньшова. Меньшов протиснулся, стараясь не задеть колени Лубенцова. Он произнес всего несколько слов, очень взволнованных и путаных. Он сказал, что злосчастную «памятку» передал полковнику он, но не для

того, чтобы ее обнародовать, а, наоборот, чтобы показать, что товарищ Лубенцов правильно относится к своим обязанностям и даже вот... в письменном виде... это может быть подтверждено, и что «памятку» он получил от другого офицера, который взял с него слово, что он никому ее не покажет. Тот офицер втайне от Лубенцова переписал ее для себя. А Лубенцов ни в коем случае не распространял ее и никому не давал читать. И что они, офицеры лаутербургской комендатуры, старались все время работать как можно лучше и ошибки свои постараются исправить.

Он вышел из-за трибуны, готовый сойти вниз с лесенки, но вдруг остановился и отчаянным голосом сказал:

— А на товарища Лубенцова мы не обижаемся. Он старался. Он все делал. Все, что нужно, старался делать для блага нашей Родины.

Лицо генерала Куприянова выразило недоумение. Генерал развел руками.

Когда Меньшов сошел с трибуны, Лубенцов чисто механически развернул полученную им записку. В ней было написано:

«К вам приехала жена. Она дожидается вас в здании комендатуры в комнате № 63».

XVII

То, что говорилось дальше, Лубенцов уже не слышал. Все вместе складывалось слишком страшно, чтобы обращать внимание на мелкие или крупные нападки или негодовать по поводу крупных или мелких несправедливостей. Чувства, которые он испытывал, трудно описать. Вместе с волнением и радостью — страстное желание, чтобы Таня очутилась теперь за тридевять земель отсюда. Он рассматривал ее приезд как свое великое несчастье.

Неопытный в личных делах, он еще не успел убедиться и увериться в том, что женщина, жена может быть не только участницей великого таинства любви, гордой и счастливой своим мужем, но и реальной жизненной поддержкой — может быть, одной из самых сильных, какие только есть на свете. В этом ему еще предстояло убедиться. Но теперь он этого не знал и с ужасом уязвленной гордости и жалости к себе и к ней воспринял ее приезд в этих страшных обстоятельствах.

Но она его ждала в комнате номер шестьдесят три. Ему трудно было поверить в это — в то, что она находится так близко от него и его несчастья.

Он решился показать записку Чегодаеву, сидевшему рядом с ним. Тот не удержался и громко ахнул, сокрушенно покачав головой.

Как только был объявлен перерыв, Лубенцов встал и быстро пошел к дверям. Но его остановила толпа людей, устремившихся, как и он, к выходу. Он не стал расталкивать эту толпу. Ему было даже приятно то, что он движется медленно, что хоть на несколько минут будет отсрочена встреча с Таней. Так он двигался вместе с толпой и наконец очутился на улице.

Шел сильный дождь, и все кругом блестело.

Лубенцов пошел к машинам и, разыскав свою, велел ехать к зданию альтштадтской комендатуры.

Он быстро поднялся по ступеням и уже в вестибюле второго этажа увидел Таню. Она стояла — стройная, высокая, в сером широком дорожном пальто, изящная и немного чужая. Может быть, ее меняло гражданское платье, в котором он никогда не видел ее раньше,— серая шляпа с пером вместо шапки-ушанки или синего берета, туфли на высоких каблуках вместо сапог.

Со страхом, доселе ему незнакомым, серьезный и тихий, приближался к ней Лубенцов. Он обнял ее, и она прижалась к нему, вся дрожащая от радости. Ее радость отозвалась в нем ноющей болью.

Она сказала про вещи, и он вначале не понял ее, настолько был он сейчас безразличен ко всем вещам на свете. Он послушно последовал за ней в комнату номер шестьдесят три. Там стояло несколько чемоданов. Он наивно ужаснулся, подумав, что ей страшно трудно было добираться сюда с таким количеством вещей на попутных машинах: по старой военной памяти он вообразил, что именно так едут сюда из России одиночки. С удовольствием взвалил он себе на плечи чемоданы, испытывая под их тяжестью великое наслаждение. Он не позволил ей взять ничего, но она, смеясь, вырвала у него из рук один чемодан и легко понесла его. Они встретили на лестнице офицеров, возвращавшихся с собрания, но ему было все равно, что они подумают, а если он и обратил на них внимание, то только с той точки зрения, насколько понравилась им Таня.

И он думал, что снесет все тяжести на свете и пусть на него накладывают все, что угодно,— он все снесет.

По дороге, в машине, они почти все время молча держались за руки.

Дома Лубенцова ожидал сюрприз. У него на квартире, при ярком освещении, собрались Чегодаев, Меньшов, Ксения, Воронин и жена Касаткина, Анастасия Степановна. Стол был накрыт. Чохов, все еще находящийся «под арестом», сидел в уголке, спокойный, строгий и — без пояса. Так полагалось арестованному, а Чохов старался делать все, что полагалось.

Все разговаривали по возможности непринужденно, рассказывали Тане о Лаутербурге и о здешней жизни советской колонии. Никто ни словом не обмолвился о том, что теперь происходит в лаутербургской комендатуре. Только Анастасия Степановна однажды обняла Таню и всхлипнула. Все посмотрели на нее быстрым укоризненным взглядом. Но Таня ничего не поняла,— может быть, отнесла это странное и неожиданное движение за счет радости по поводу появления человека с родины.

Гости, впрочем, не засиделись. Несмотря на сконфуженные просьбы Лубенцова и Тани остаться, они не менее сконфуженно ссылались то на то, то на другое и вскоре ушли.

Не ушел один Чохов. Он нерешительно потоптался возле двери, потом спросил:

— А мне что, товарищ подполковник? Можно мне идти?

Смысл вопроса дошел до Лубенцова не сразу. Поняв, о чем его спрашивают, он подошел к Чохову и сказал:

— Иди, Василий Максимыч. Но утром обязательно приходи завтракать. Будем тебя ждать.

Оставшись наедине с Таней, Лубенцов пошел к ней — но не прямо и не быстро, а медленно и кругами, задерживаясь по пустякам то у стола, то возле стула, то у подоконника. Он почти задыхался.

Утром, когда она еще спала, он вспомнил, как часто представлял себе ее приезд; он, для которого работа составляла львиную долю всего бытия, собирался показать ей район, познакомить с людьми, которых он полюбил, показать ей комендатуру, город Лаутербург, сводить в собор и во все другие достопримечательные места, объездить Гарц, пещеры и водопады. Но сейчас, при нынешних обстоятельствах, все это казалось ему уже невозможным, ненужным и далеким. Это была

уже не его жизнь, не то, чем он жил все эти месяцы так напряженно.

Не желая будить Таню, Лубенцов оставил ей записку с разными хозяйственными распоряжениями, пообещав прислать сюда Ксению.

В комендатуре он все время думал о Тане. Спустя минут сорок он позвонил ей по телефону, но никто не ответил. Он хотел уже сбегать домой, проверить, все ли там хорошо, как вдруг увидел в окне ее, Таню. Она шла, пересекая площадь, и увидеть ее на этой площади Лаутербурга показалось ему удивительным, потому что в его мозгу эта площадь и она существовали совсем отдельно, как бы в разных мирах. Кроме того, ему было интересно просто смотреть, как она ходит. Несмотря на то что в кабинете у него сидели люди, в том числе Лерхе и Иост, он как будто совсем забыл про них и стал смотреть внимательно, именно с огромным интересом, на то, как Таня идет по площади одна.

Он впервые в жизни подумал о том, что нет на свете двух равных походок и что, в сущности, походка имеет важное значение для определения характера человека. Конечно, все это неуловимо и, вероятно, требует многолетнего наблюдения для того, чтобы стать чем-то определенным. Но походка Тани произвела на Лубенцова большое впечатление. Это была собранная, грациозная, решительная и в то же время необычайно женственная походка.

Он с трудом отвел глаза от окна и сел на свое место. Но и начав совещание, которое он проводил, он представлял себе, как Таня приближается, видит государственный флаг над зданием комендатуры, подходит все ближе, останавливается возле часового и как часовой,— сегодня на часах Петруничев,— зная, кто она такая, потому что, разумеется, все уже знали, что она приехала, говорит ей с улыбкой (он охотно улыбается; у него и кожа вокруг губ, натянутая на больших, чуть выдающихся вперед зубах, всегда готова обнажить зубы в улыбке), что подполковник у себя наверху. И вот она теперь поднимается по лестнице.

Раздался стук в дверь.

— Войдите,— сказал Лубенцов и стремительно пошел к двери.

Таня вошла, увидела людей и чуть попятилась.

— Заходи, заходи,— сказал Лубенцов. Он подвел ее к

столу и познакомил со всеми собравшимися. И все посмотрели на нее с любопытством и стали вежливо ей кланяться, как это принято у немцев.

Он усадил ее на диван и прошептал, чтобы она посидела, а если ей скучно, то Ксения может показать ей комендатуру. Но она шепнула в ответ, что ей не скучно и что она посидит.

Лубенцов, который в последнее время проводил совещания без переводчицы, на этот раз говорил по-русски, а Ксения переводила, потом она переводила то, что отвечали немцы. Речь шла о работе одного завода, потом о городском благоустройстве. После совещания к Лубенцову пришли с докладами офицеры комендатуры, затем явился Ланггейнрих, сообщивший, что он завтра будет принимать дела. Он попросил Лубенцова приехать в Финкендорф и поговорить с новым бургомистром, которого он рекомендовал на свое место. Лубенцов сказал, что не будет откладывать, и велел приготовить машину. Они вышли втроем из дома, и Лубенцов видел, как из окон нижнего этажа смотрят солдаты на жену коменданта, и ему это было приятно.

Они проехали через весь город. Лубенцов обратил внимание Тани на дома, западная стена которых была аккуратно и кокетливо покрыта сплошь красной черепицей, иногда с маленьким окошечком посредине; это называлось здесь «Bieberschwänze» — «Бобровые хвосты». Потом он начал рассказывать о городе и его жителях, о замке, о легендах Гарца и местных обычаях.

Ежегодно в троицу, рассказал он, жители горных деревень собираются на деревенской площади. У каждого в укрытой белым платком клетке — зяблик. Избираются судьи, и начинаются состязания зябликов в пении: какая из птичек споет дольше, какая — красивее.

В некоторых деревнях справляют «Праздник березы». Перед дверью дома, где живет любимая девушка, юноша весенней ночью вкапывает березку. Утром молодые люди идут в лес, поют, выпивают, украшают березы пестрыми лентами. В других деревнях во время второго сенокоса, в начале августа, другой праздник — «Гразетанц», то есть сенной, или травяной, танец. В этот день женщины — хозяева. Они идут в ратушу и забирают у бургомистра власть на весь день, выбирая на его должность одну из женщин. Потом они раскладывают охапки сена на площади и приглашают мужчин танцевать. Начи-

наются танцы — польки, вальсы, кадрили, «райнлендер». Женщины продают сено с аукциона; естественно, дороже продают те, кто посимпатичнее. А та, что продала свое сено всех дороже, избирается королевой.

Слушая рассказы Лубенцова, Ланггейнрих — он уже немного понимал по-русски — усмехался и кивал головой.

Потом Лубенцов начал рассказывать Тане местные легенды: о «Диком Человеке» —духе Гарца с длинной бородой и растрепанными волосами, одетом в звериные шкуры; он — защитник бедняков, находящихся в опасности или беде; о Генрихе Птицелове, который будто бы жив до сих пор, правит Гарцем, ловит птиц. Гакельберг — рыцарь, мчащийся верхом по воздуху,— является спасать свой край, когда краю грозит опасность.

— Угнетенный народ,— сказал Ланггейнрих, решив подвести под эти легенды марксистский базис,— придумывал для себя утешения...

В маленькой деревенской ратуше с когтистой крышей из красной черепицы и с деревянными фигурами по углам карниза Лубенцов поговорил с вновь назначенным бургомистром, некоторое время присутствовал на приеме крестьян, пришедших сюда по разным делам, вмешивался в разговоры, почти всех молодых людей называя по имени, а стариков по фамилии.

Часа два спустя они поехали обратно. Таня молчала, только гладила руку мужа.

— Нет,— сказала она наконец.— Немцы не заслужили таких комендантов, как ты.— Он посмотрел на нее удивленно. Она продолжала: — В моем родном городе Юхнове в сорок первом году был немецкий комендант. Он организовал неподалеку от Юхнова детский дом для советских детей. Детей там хорошо кормили, но потом забирали у них кровь для немецких офицерских госпиталей. Это факт. Это мне рассказывали мои земляки несколько дней назад. А ты обращаешься с немцами так, как будто всего этого никогда, никогда не было.

— Так надо,— сказал Лубенцов.— Мы ведь не фашисты,— добавил он минуту погодя.

— Я все понимаю. Но надо про это помнить.

— У меня на этот счет странное ощущение. Я и помню и не помню. Я все время думаю про это и, с другой стороны,

понимаю, что путь, по которому мы ведем их,— правильный путь, и если они будут верно идти, *того* больше не повторится. Вот в чем дело.

— Я тебя люблю,— сказала она, и он не понял, почему она это сказала именно теперь, потому что не был актером и не знал, когда именно он наиболее обаятелен.

— Ты что? — спросил он вдруг.— Завтракала уже? Купалась уже?

— Ах! — вспомнила она и всплеснула руками.— Там для меня все готово, а я не выдержала и побежала к тебе. И капитан Чохов там ждет завтрака.

Приехав домой, они сели завтракать. Разговор не клеился, Чохов был молчалив. Он чувствовал себя неловко, его угнетала обязанность притворяться спокойным. Радость Тани, которая ничего не знала о происходящем, и неумелое притворство Лубенцова мучили Чохова. Он был до того удручен, что не мог заставить себя съесть ни куска и в угрюмом молчании думал одно и то же: «Это я во всем виноват, я — и никто больше».

Перед его глазами все время стояло лицо Воробейцева, и его сердце обливалось кровью, когда он вспоминал их поездки и разговоры. «Ведь я так легко мог его убить. Ведь мне ничего не стоило укокошить его хотя бы там, в общежитии в Потсдаме, или, например, на охоте, или у него на квартире... Да, но ведь он тогда не был изменником. И кто мог подумать, что он не просто слюнтяй и ничтожество, а преступник и подлец...»

Чохов поднялся с места и, пробормотав прощальные слова, ушел.

А Лубенцов никак не мог придумать, как лучше рассказать обо всем Тане. Больше всего он боялся, что гадкая сплетня про Эрику Себастьян дойдет до Тани из других уст и что она поверит этой сплетне. Он пристально смотрел на Таню и, улыбаясь ей, неотступно думал о том, поверит ли она и что сделает, если поверит. Она может, не выслушивая никаких объяснений, просто взять и уехать. И он со страхом думал, что в конце концов мало знает ее.

Она начала распаковывать свои чемоданы. И он с особенной болью следил за ее работой, так как предполагал, что она это делает зря и что завтра придется снова складывать чемоданы, чтобы куда-нибудь уехать — в лучшем случае вдвоем. В то же время он любовался ее вещами — платьями и ночными

сорочками, которые она без стеснения вынимала и раскладывала на стульях, столах и диванах. По комнате разнеслось благоухание этих вещей. Вынутые и разложенные где попало, они наполнили комнату запахом уюта, женщины, семьи. Таня раскладывала их любовно, и Лубенцов видел, что она любит красивые вещи, и понимал ее любовь к красивым вещам.

Наконец он сказал:

— Таня, у меня очень большие неприятности по службе.

— Я это чувствовала,— сказала она, поднимаясь с корточек и подходя к нему.

Он был поражен этими ясными и спокойными словами. Она пристально смотрела на него, потом подошла и села рядом.

— Я чувствовала и видела, как ты мучаешься, хотя ты притворялся довольно искусно. Ты здесь здорово научился притворяться. Вероятно, если бы я не любила тебя, я бы ничего не поняла.

Он рассказал ей обо всем, что случилось за последние дни. И в конце, после минутного молчания, все-таки решился и рассказал ей о подозрениях начальников насчет Эрики Себастьян.

Она не пошевельнулась и все продолжала пристально глядеть на него. Она прекрасно понимала, как трудно было ему сказать ей эти слова. Более того, она допускала, что сказанное вчера на собрании — правда. Но она даже не спросила у Лубенцова, правда ли это. Потому что при данных обстоятельствах это потеряло всякое значение. Важно было то, что он, любимый ею человек, находился в тяжелом положении, был в беде; почувствовав всю меру его отчаяния, она уже не могла думать о своих оскорбленных чувствах, если они даже действительно были оскорблены. Ей даже показалось непонятным, хотя и трогательным, его волнение. Она знала, что никогда не спросит его ни о чем, несмотря на то что при других обстоятельствах связь Лубенцова с немкой показалась бы ей чудовищно оскорбительным, непоправимым поступком.

Она придвинулась к нему, обняла его, и так они молча просидели несколько минут. Потом она встала и сказала:

— Тебе надо хорошо обдумать сегодняшнее выступление.

— Да,— сказал он и тоже встал.— Я пойду в комендатуру.

— Нет, иди погуляй в одиночестве. Подумай.

— Хорошо. Ты права.

XVIII

Погода стояла ветреная и хмурая, под стать теперешнему состоянию Лубенцова. Он пошел по улице и незаметно для себя вышел на большую дорогу, ведущую на запад, в горы. Вскоре он достиг гостиницы «Белый олень», возле которой ночевал в машине в памятную ночь своего приезда в Лаутербург. Ходьба и сильный ветер прояснили его мысли. Он зашел в гостиницу, посидел там несколько минут, выпил кружку пива и снова вышел, с тем чтобы идти в город.

На асфальте узкой дороги не видно было ни пешеходов, ни машин. Ветер яростными порывами бушевал среди сосен и гнул к земле голые кусты боярышника у обочины дороги.

Дорога делала крутой поворот, и, пройдя под нависшей над самой дорогой глыбой гранита, Лубенцов увидел одинокого путника, идущего, как и он, по направлению к городу. Путник был одет в черненькое пальтецо. Ботинки его и брюки были в грязи. В руке он держал длинную самодельную палку, по-видимому вырубленную недавно здесь же, в горах. Со шляпой, надвинутой на самые уши, шел он, сутулясь, большими шагами.

Его худая высокая фигура показалась Лубенцову знакомой. Несмотря на холод и ветер, человек шел широко и даже как будто весело. Когда внизу, в котловине, показались красные крыши Лаутербурга, путник остановился и некоторое время постоял неподвижно, глядя вниз, на город.

Нет, определенно что-то в нем было знакомо Лубенцову. Лубенцов прибавил шагу и вскоре, за следующим поворотом, поравнялся с путником. Тот не слышал его приближения, так как ветер был силен и свирепо завывал.

Это был профессор Себастьян. Радость Лубенцова могла равняться только его удивлению. Он не стал окликать профессора, а замедлил шаги и еще некоторое время шел следом за ним, с умилением прислушиваясь к голосу профессора. Да, профессор разговаривал сам с собой, время от времени пел, вернее, бурчал себе под нос песню.

Честность — великая сила. И при решении важных исторических вопросов она имеет немалое значение. В этот момент Лубенцов, почти смеясь от счастья, понял, что он был прав, что воспитание людей, даже старых, может делать чудеса, и

благословил свои беседы, разговоры, уговоры, разъезды с Себастьяном, свои терпеливые споры с ним, свой «либерализм», о котором с угрюмым упреком толковал Касаткин.

Кое-как совладав с биением своего сердца, Лубенцов приготовил первую фразу и произнес ее громко:

— Э, да мы, кажется, знакомы!

Себастьян остановился и повернул голову к Лубенцову. На его лице изобразилась радостная улыбка.

— Вот кого я не ожидал встретить здесь,— сказал он,— и с кем хотел встретиться больше, чем со всеми.

— Пошли, пошли, укроемся за скалу,— сказал Лубенцов.— Ветер так и валит с ног.

— Как там моя дочь?

— Здорова.

— Надеюсь, вы не станете убеждать меня в том, что идете за мной с самого Франкфурта-на-Майне? — спросил Себастьян.

— Не стану,— ответил Лубенцов.— Почему вы пешком? Что с вами приключилось?

— Моей злосчастной машине совсем капут. Пришлось ее бросить возле одной гостиницы в горах. Километров десять отсюда. Еле добрался. И вообще хлебнул немало приключений, о которых буду еще иметь честь рассказать вам. Сигарет нету?

— Курите. Пошли. Рассказывайте.

— Теперь не буду рассказывать. После, когда отогреюсь, все расскажу. Вкратце скажу — не хотели меня отпускать. Еле уехал. Фактически убежал. Но это длинный разговор.

Они пошли рядом. Так как дорога шла под гору, они двигались быстро и вскоре очутились на лаутербургской улице. Слева от них была гора с замком, справа — здание бывшей английской комендатуры, где теперь помещался учительский семинар.

— Вы совершили приятную прогулку,— сказал Лубенцов, прощаясь с профессором на углу, так как сам спешил в комендатуру.

— Приятную? — сказал профессор, выразительно посмотрев на Лубенцова.— По правде говоря, не слишком приятную, но зато полезную. Очень полезную. Я вам все расскажу. Я все время думал о том, как я вам буду рассказывать.

Он ушел налево, а Лубенцов, постояв на углу еще минуты две, пошел направо.

«Мое сегодняшнее выступление почти готово»,— подумал он.

Показалась громада собора. Обойдя его, он увидел издали помещение комендатуры и развевающийся над ним в порывах ветра советский флаг. В этот момент Лубенцов почувствовал, что он устал, как после тяжкой болезни.

Издали еще он рассмотрел две машины, которые стояли в готовности везти его и его сотрудников на собрание. Касаткин, Яворский, Чегодаев и Меньшов уже стояли на улице. Рядом на тротуаре тревожно прохаживался Воронин, видимо беспокоясь за Лубенцова, которого нигде не могли найти.

Лубенцов с невольным злорадством посмотрел на Касаткина. Он хотел было ничего им не говорить, испытывая почти мальчишеское желание произвести главный эффект во время своего выступления. Но тут же он попенял себе самому и сказал, обращаясь к Меньшову:

— Идите, Меньшов, наверх и позвоните генералу Куприянову, что профессор Себастьян только что вернулся.

— Черт возьми! — громыхнул Чегодаев и хлопнул Меньшова по спине.— Беги скорее!

— Это хорошо. Это очень хорошо,— пробормотал Касаткин, и его угрюмое лицо просветлело. Яворский начал протирать очки.

Меньшов быстро сбегал наверх и вернулся минут через пять, сказав, что передал обо всем адъютанту генерала. Самого генерала не было.

Они сели по машинам и поехали.

И опять началось собрание. И опять весь зал сидел напряженный и взволнованный. И снова президиум выглядел суровым и непримиримым.

Лубенцов, усевшись на свое место, прежде всего посмотрел на Куприянова и с некоторым удивлением отметил, что у Куприянова все тот же нахмуренный и замкнутый вид. «Неужели он еще не знает?» — подумал Лубенцов.

Куприянов действительно не знал о возвращении Себастьяна, так как прибыл на собрание с другого совещания, не заехав к себе на службу.

Первым дали слово Леонову.

Леонов сидел где-то в задних рядах. Он, не торопясь, пошел к трибуне через весь зал. На его лице застыла непонятная задумчивая улыбка. Он грузно поднялся по лесенке и, остано-

вившись у трибуны, все с той же непонятной улыбкой окинул взглядом молчаливый зал. Он начал говорить медленно, спокойно, с той уверенной в себе, чуть иронической миной, которую слушатели так любят и которая готова при случае разрешиться сногсшибательной шуткой, остротой и удивительно уместной народной поговоркой. Его басок рокотал негромко, но властно, а большие руки, положенные на пюпитр и слабо сжатые в кулаки, не позволяли себе излишней жестикуляции; только иногда одна из них поднимет указательный палец или просто разожмется, а изредка разжимаются обе ладонями вверх и тут же соприкасаются и тогда впиваются друг в друга, чтобы, полежав здесь полминуты вместе, снова разжаться и лечь обратно в спокойной и непринужденной позе.

Лубенцов смотрел все время на эти руки, и каждая из них казалась ему близким другом, на которого можно положиться, как на самого себя,— мудрым и спокойным другом, немножко смешным.

— Что ж,— сказал Леонов.— Начну с того, чем кончил уважаемый товарищ полковник на вчерашнем заседании. Вот как раз насчет этой самой «памятки», которую он нам зачитал здесь с таким видом, словно это «Майн кампф» Адольфа Гитлера. И чего эта «памятка» так его испугала? Неплохо написано, а главное — верно. Готов ее переписать и кое в чем ей следовать. Жаль, что Лубенцов мне про нее раньше не говорил. А не говорил, конечно, потому, что писал ее вроде как дневник — для себя. А дневники на собраниях читать не полагается. Они публикуются после смерти, и то если написаны каким-нибудь Пушкиным или Толстым, а не нами, грешными. Многие Лубенцова знают. А кто не знает, мог по этому отрывку из дневника судить о том, что это человек, преданный нашему делу, мыслящий, деятельный и кристально честный. А я? Я Лубенцова знаю и без того. Знаю и верю ему. А когда с человеком, которого ты знаешь и которому веришь, случается несчастье, то долг всех его товарищей, в особенности коммунистов, разобраться в этом деле подробно и без истерики и помочь ему. Так или не так? Так, именно так. Что же случилось с Лубенцовым? Вернее, что случилось в комендатуре, которую он возглавляет? В комендатуру по недосмотру отдела кадров попал негодяй. Или, может быть, и отдел кадров нельзя тут слишком обвинять. Может быть, этот человек стал негодяем уже здесь, вкусив буржуазной отравы. В чем вина Лубенцова? В том, что он не

раскусил этого мерзавца. К слову сказать, такие мерзавцы, хотя бы они были круглыми дураками, одно умеют делать превосходно. Они умеют маскироваться. В этом умении им отказать нельзя. Так вот, на этом примере мы должны учиться лучше распознавать людей, пристальнее смотреть на людей, а не на их анкеты. И на этом примере мы должны учиться не впадать в панику, не валить всех в одну кучу... Тут обвиняли Лубенцова, что он общался с немцами, что-то говорил им, обещал, беседовал. Странное обвинение, основанное на недоверии к людям. Я не могу поверить, что кто бы то ни было на свете способен сагитировать Лубенцова против нашего строя. Напротив, я уверен, что Лубенцов способен сагитировать многих и многих за наш строй. Он это и делал. И пусть делает дальше. Смотрите, что получается с Лубенцовым. Его достоинства изображаются как недостатки. Даже тот факт, что он изучает экономику своего района, германскую историю и литературу, даже и это под горячую руку,— не знаю, с чистыми или нечистыми намерениями, это дело товарища Пигарева решить,— даже и это изображается как некий недостаток Лубенцова, чуть ли не приведший к бегству Воробейцева. Лубенцов пишет, что комендант должен быть бескорыстен, а корыстный комендант, даже если он семи пядей во лбу, не может исполнять эту должность,— и вот уже говорят, что это чуть ли не что-то криминальное, хотя это общепризнано нами всеми. Критика и шельмование — две разные вещи, не будем их путать. У нас их иногда путают. И пусть тень мерзавца Воробейцева не падает на наше собрание, на нас всех. Спокойствие и отсутствие паники в нашем деле — вещь необходимая. Вот тут незазнавшийся товарищ Пигарев бил кулаком по этому месту,— здесь на трибуне даже трещина появилась. А я вам говорю без ударов кулаком, что нет среди нас человека более простого в обращении, лучшего товарища, всегда готового прийти на помощь и попросить о помощи, посоветовать и посоветоваться, чем товарищ Лубенцов. Я обращаюсь к президиуму — не пора ли, товарищи, дать высказаться Лубенцову? А то обвиняют его, а слова не дают.

С этими словами Леонов сошел с трибуны под шумные аплодисменты зала. Аплодисменты эти долго не прекращались, несмотря на нервный звонок председателя. И, несмотря на этот звонок, на перешептывание президиума, на удивленное и мрачное лицо генерала Куприянова, после выступления Леонова

в настроении зала наступил явный перелом, неожиданный для Лубенцова.

Это был даже не перелом настроения — просто то настроение, которое здесь пробивалось раньше, но которое из-за атмосферы запуганности, опасений и справедливого возмущения делом Воробейцева не проявляло себя, теперь, после свободного, спокойного и даже несколько веселого выступления Леонова, наконец проявило себя.

После Леонова выступили еще три офицера. И эти офицеры, с которыми Лубенцов был знаком не так уж близко и от которых вовсе не ожидал горячей поддержки, решительно поддержали его. И Лубенцов не без удивления слушал, как они рассказывали о своих встречах и разговорах с ним, о которых он уже давно забыл, а они помнили.

Затем выступил Чегодаев. Этот большой, толстый человек, не отличавшийся ораторским талантом, начал бесхитростно рассказывать о делах и днях лаутербургской комендатуры, о работе Лубенцова и других офицеров, о его беседах с ними, об авторитете, который он имеет у немцев, и так далее. И это было убедительнее любых ораторских ухищрений. Его выступление подействовало на генерала Куприянова, который заколебался, что было немедленно замечено окружавшими его людьми в президиуме и многими в зале. И это, в свою очередь, вызвало со стороны тех людей, которые склонны приноравливать свою точку зрения к точке зрения начальства, желание выступить совсем не в том духе, в каком они собирались выступить раньше.

Секретарь парторганизации подполковник Горбенко был от души рад новому повороту дела — он любил Лубенцова и ценил его. Но так как сам он вначале информировал собрание совсем в другом духе и ему было немного стыдно перед Лубенцовым, то теперь он без труда уговорил себя, что резкий тон, взятый им, имел чисто педагогические цели и что собрание проходит успешно, по заранее задуманному рисунку. Он шепнул об этом генералу Куприянову, который хотя и не согласился с этим, но не стал оспаривать мнение подполковника и только еще более утвердился в новом настроении и в решении не снимать Лубенцова с работы, как он предполагал раньше. Поэтому, когда как раз в это время адъютант генерала, появившийся из-за кулис на сцене, шепнул ему о возвращении профессора Себастьяна из американской зоны в Лаутербург,

генерал воспринял это не как сенсацию, а как лишнее подтверждение того верного мнения, какое складывалось среди офицеров, той истины, которая после длительного обсуждения выявилась наконец, и выявилась демократически, путем активного и свободного участия в прениях всех записавшихся ораторов, несмотря на то что многие ораторы в пылу полемики, естественно, взбудораженные безобразным случаем с Воробейцевым, навалили на Лубенцова кучу несправедливых обвинений. С другой стороны, те товарищи, которые выступили в защиту Лубенцова, чересчур расхваливали его и как бы пытались снять с него всю ответственность за случившееся, что тоже неверно.

Следовало найти золотую середину. И выступление генерала Куприянова, последовавшее вслед за выступлением Чегодаева, и было той золотой серединой, которая в общем была справедливой — действительно справедливой. И весь зал был благодарен Куприянову за его выступление, и он сам нашел, что выступление очень удачно.

Потом слово было предоставлено Лубенцову. Не будем приводить его речи. Смысл ее ясен из всей деятельности Лубенцова и его воззрений, известных читателю. Он опроверг несправедливые обвинения и, сознавшись в своей вине в деле Воробейцева, со всей страстью обрушился на людей, смешивающих бдительность с подозрительностью. Он сказал, что верит в своих товарищей и верит в правильные устремления, здравый смысл и будущее немецкого трудового народа. Это то, на чем мы стоим и без чего не имела бы смысла наша работа, нелегкая миссия борющегося, убежденного, цельного советского человека и коммуниста в мире, раздираемом противоречиями.

XIX

В этот вечер Себастьян так и не дождался Лубенцова, хотя, отдохнув и выспавшись, жаждал поскорее увидеть его и рассказать обо всем, что он видел и передумал за дни пребывания на западе.

Более того, Себастьян считал, что если он смог что-нибудь увидеть и узнать во время своего пребывания там, то этим он в большой мере обязан Лубенцову. Именно общение с Лубенцовым, их совместные разъезды по Лаутербургскому району научили его этому как будто простому, а на самом деле слож-

ному и трудному искусству — общаться с простыми людьми и, беседуя с ними, уметь их слушать и понимать.

Если бы он во Франкфурте-на-Майне в загородном доме Вальтера не имел за плечами этого кратковременного, но важного опыта, он узнал бы только то, что Вальтер и приятели Вальтера пожелали бы ему рассказать.

Но нет, он кое-чему научился у русского подполковника. Вальтера удивила неожиданная энергия отца, его длительные беседы с разными людьми, его прогулки по городу и окрестностям, во время которых — иногда в присутствии Вальтера — он с легкостью заговаривал с рабочими, торговцами, крестьянами и просто со случайными прохожими. Вальтер никогда не знал за отцом такого демократизма, такого, по мнению Вальтера, ненормального интереса к жизни и делам черни, толпы. Но Себастьян только хитро усмехался в ответ на его недоумения и продолжал узнавать жизнь не по рецептам господина Себастьяна-младшего, а по рецептам господина Лубенцова.

Справедливости ради надо сказать, что разобраться во всей обстановке помогло Себастьяну не одно только общение с Лубенцовым, а и общение с подполковником Дугласом, американским офицером, с которым его во Франкфурте познакомил Вальтер. Себастьян и американец понравились друг другу и стали часто встречаться и вместе гулять.

Дуглас, умный и веселый собеседник, огромного роста детина с глазами ребенка, разделял воззрения покойного президента Рузвельта и не скрывал этого ни от Себастьяна, ни от своих начальников. Начальники побаивались его прямоты, глубокого ума, широкой образованности и острого языка. Вместе со своими ближайшими сотрудниками он составлял кружок, к которому даже его противники относились с уважением, сознавая, что «дугласовцы» — наиболее талантливые работники Администрации. Академическая ученость в германском вопросе соединялась в Дугласе с быстротой соображения и пронырливостью первоклассного газетного репортера.

Он не скрыл от Себастьяна, что является ярым противником американской политики в Германии, и немножко приоткрыл перед немецким ученым завесу, скрывавшую действительные факты.

На вечерних раутах, которые Вальтер устраивал специально для отца, преобладали настроения больших надежд и, пожалуй, даже полной уверенности в том, что крупная немецкая

промышленность сможет с помощью американцев очиститься от «безрассудных обвинений», встать на ноги и занять принадлежащее ей по праву место в хищном братстве предпринимателей, «эксплуататоров», как их честили разные левые во всех странах мира.

Сам Вальтер преувеличенно восторгался американцами и пересыпал свою речь американскими словечками, что неприятно резало слух профессору Себастьяну и напоминало ему его путешествие в Египет лет пятнадцать назад и говор александрийских извозчиков, пересыпавших свою речь словечками всех языков мира; это пахло колонией, и Себастьяна, с его чувствительностью и эстетическим вкусом, передергивало.

Впрочем, восторги Вальтера казались Себастьяну не такими уж искренними. Нередко он после службы приходил домой мрачный и молчаливый.

Перед Себастьяном прошли десятки немецких промышленников и банкиров, людей, которые еще недавно могли почитаться потерпевшими полную катастрофу. Теперь они ожили и приобрели старую самоуверенную осанку.

Уже не было секретом, что в Американской Администрации задают тон сторонники «восстановления», что лозунгом бригадного генерала Уильяма Дрейпера-младшего, руководителя экономического управления, является: «Сперва восстановление, потом реформы». Советники Администрации из немцев нарочито представляли перед американцами положение немецкой промышленности в самом пессимистическом свете, говорили, что она находится в состоянии полного ничтожества и что денацификация, провозглашенная Потсдамским соглашением, лишив германскую промышленность ее лучших руководителей, приведет к застою, остановке транспорта и к полному и окончательному краху всей экономики.

Но дело было, конечно, не только в информации советников. Дело было в том,— и об этом говорили почти открыто,— что и Клей, и Дрейпер, и некоторые другие руководители Американской Администрации были людьми «большого бизнеса», банкирами и промышленниками, представителями как раз тех американских промышленных и банковских концернов, которые в свое время вложили в германскую промышленность огромные деньги, имели постоянную связь с германским капиталом и по этой причине числились специалистами по германскому вопросу и знатоками германской экономики.

Американские администраторы были сплошь да рядом всего-навсего денежными тузами, надевшими военные мундиры.

Все это Себастьяну вскоре стало ясно, а беседы его с Дугласом помогли ему окончательно понять положение вещей.

Дуглас с грустью воспринимал все события последнего времени, ругал Дрейпера на чем свет стоит и не скрывал от Себастьяна своего уныния и возмущения.

— Покойный президент,— сказал он,— перевернулся бы в гробу, если бы все это видел. Решено, я ухожу в отставку. Поеду домой, ну их к дьяволу.

Однажды Дуглас повез Себастьяна километров за семьдесят от города в лагерь для немецких переселенцев из восточных земель. Лагерь этот являл картину ужасной нищеты. У беженцев не было даже посуды, и они готовили еду в старых консервных банках. В большинстве это были безработные. Среди них ползли слухи, которые кем-то усиленно муссировались,— слухи о том, что вскоре они вернутся на свои земли за Одером и Нейссе. Когда? Тогда, когда оттуда прогонят русских и поляков. Кто прогонит?

В ответ на это следовала многозначительная ухмылка.

Иронически усмехаясь, Дуглас рассказал Себастьяну о том, что американские коменданты на местах — в городах и крупных селах — ведут себя, как мелкие князьки. Вовсе не подготовленные к несению этой службы, они живут в свое удовольствие. Всеми делами фактически заправляют молодые красивые немки, ставшие их наложницами. Кому эти немки симпатизируют, тех поддерживают американские коменданты. А так как девицы, как правило, принадлежат к привилегированным слоям населения, то оказывается чаще всего, что эти слои получают постоянные льготы в ущерб другим.

В связи со словами Дугласа Себастьян не мог не вспомнить об отношениях Лубенцова и Эрики. Он, конечно, догадывался о том, что происходило между его дочерью и советским комендантом, чуть-чуть сочувствовал Эрике, но в то же время восхищался выдержкой Лубенцова, его чувством служебного долга и ответственности. Профессор вздыхал, думал об Эрике и решил поскорее вернуться домой.

Здесь, на западе, ненависть к Советскому Союзу уже не скрывалась, по крайней мере в кругах, близких к Вальтеру. Вся зона кишела разными «организациями», «бюро», «конто-

рами», «представительствами» различных свергнутых на Востоке режимов. В десятках лагерей собирались перемещенные лица, люди без определенных профессий, бывшие политики и адвокаты, накипь варшавских, пражских и львовских кафе, украинские фашисты, хорватские усташи и сторонники словацкого диктатора Тиссо — люди, лишенные отечества, изменники и уголовники. Их подкармливали, поддерживали, укрывали.

Себастьян с ужасом думал о будущем, о том, к чему это все приведет и не настанет ли день, когда бывшие союзники в войне открыто разорвут друг с другом. Тогда — горе Германии, разделенной на две части, Германии, которая немедленно превратится в плацдарм кровопролитнейшей из войн.

Как-то вечером Вальтер впервые заговорил о старом проекте переезда Себастьяна сюда, на запад. Он представил отцу все выгоды этого переезда.

— Напиши Эрике,— сказал он.— Мы передадим письмо через верного человека и организуем ее переезд сюда. Захватят и твою библиотеку, и все ценное, что у тебя есть.

Себастьян сказал:

— Нет. Я не перееду сюда. Побуду там, у себя. Времена изменятся. Будет подписан мирный договор, Германия объединится...

— Неужели ты веришь в это? — спросил Вальтер грустно.— Разве ты не видишь, что этого уже никогда не будет?

— Не знаю. Вот ты все время расхваливаешь здешние порядки. А чем вы здесь можете похвастать? Тем, что все остается по-прежнему? Что нацисты вылезают из своих нор и, уплачивая штраф в тысячу марок, считаются очищенными от гитлеровской скверны? Тем, что юнкера по-прежнему владеют поместьями? Что люди, приведшие Гитлера к власти, снова выходят на свет божий, как будто ничего не изменилось на этом свете? Что американские офицеры и банкиры, презирающие немецкий народ, преклоняются перед немецкими банкирами? Объявляют нацизм народным движением, а наших промышленников — невинными агнцами? Там у нас хотя бы проводят эксперименты. Там хотя бы искренне пытаются искоренить нацизм. Нет там нацистам житья, нет и не будет, и они это прекрасно знают. Там хотя бы пытаются дать возможность антинацистским силам играть ведущую роль... Не знаю, чем все кончится, будет ли советская политика иметь успех, но по

крайней мере они пытаются что-то сделать... Не сердись, Вальтер. Таково мое мнение, и я от него не собираюсь отказываться.

— Значит, ты хочешь обратно в Лаутербург? — спросил Вальтер и как бы невзначай заметил: — Ты, я вижу, больший патриот, чем сами русские. Вот как раз из Лаутербурга убежал один русский офицер. Убежал сюда. Ему тамошний рай надоел.

Себастьян ничего не ответил, только махнул рукой. Он был рад, что наконец высказал все, что хотел высказать.

На следующий день ему пришлось вспомнить об этих словах Вальтера. Во время прогулки он заметил на противоположном тротуаре группу американских военных и среди них человека в русской шинели, но без погон. Лицо человека показалось Себастьяну знакомым. Он где-то видел эту развинченную походку и сухощавую фигуру, эти глубоко запавшие маленькие глазки и большой, чуть обвисший нос. На голове человека была русская форменная шапка с ясно видным более светлым пятиконечным следом от недавно снятой звезды.

«Неужели это тот капитан из лаутербургской комендатуры?» — с удивлением и испугом подумал Себастьян.

Воробейцев тоже узнал его. Он вдруг остановился, смешался, весь побелел и сделал шаг назад. Но потом, ложно поняв присутствие Себастьяна во Франкфурте, обрел свою обычную нахальную мину и крикнул:

— А!.. Земляк из Лаутербурга!

Себастьян согнулся, как под ударом, быстро прошел мимо и завернул за угол.

На следующий день утром к Вальтеру пришел Коллинз. Себастьян мельком видел, как он проходил к Вальтеру в кабинет, трогая на ходу разные предметы в столовой. Вальтер пробыл с американцем часа два, и когда они вышли из кабинета, их лица были довольно мрачны и решительны.

— Ты не можешь вернуться обратно,— сказал Вальтер.

— Почему? — спросил Себастьян, медленно вставая.— Что же, я арестован, что ли?

— Ах нет,— вмешался Коллинз.— Вы неправильно поняли нас. Просто вам, господин профессор, рекомендуется задержаться для вашей же пользы... Дело в том, что в Лаутербурге произошли большие события, весьма серьезные. Арестованы комендант и ваша дочь. Вам нельзя вернуться.

Себастьян посмотрел на него в упор, хотел ответить, но сдержался и сел на место.

— Вашу дочь мы выручим,— продолжал Коллинз.— Не беспокойтесь. Все будет вполне удовлетворительно.

— Хорошо,— произнес Себастьян смиренно.

Ночью он пробрался в гараж. Так как в его машине почти не было бензина, он перелил весь бензин из машины Вальтера в свою и уехал.

Не то чтобы он не поверил, что Эрика арестована. Нет, именно допуская, что это возможно, он твердо решил вернуться. Господин Коллинз плохо рассчитал.

XX

Что касается Воробейцева, то он в тот момент, когда Себастьян не пожелал с ним поздороваться, грубо выругался и пустился в дальнейший путь с тремя американцами, которые теперь всюду сопровождали его.

Это были славные рослые парни, забулдыги и шутники. С ними вместе он ходил и ездил по радиостанциям и редакциям. Жил он вольготно и чувствовал себя до некоторой степени героем дня. Он дал несколько пресс-конференций. К нему в отель приходили отщепенцы из бывших власовцев и просили его протекции для устройства на работу. Он говорил, что ему взбредало на ум, и ему верили или притворялись, что верят. Ему давали деньги в оккупационных марках и долларах и разрешали посещать американский офицерский бар, где всегда было весело и шумно и куда ходили немки, предварительно освидетельствованные американским врачом-венерологом. Ему обещали, что он совершит путешествие — нечто вроде пропагандистского турне — по Соединенным Штатам и Южной Америке. Он хотел побывать в Париже, и ему обещали, что он там будет. Поездки эти, правда, все откладывались, и когда он однажды настойчиво попросил отпустить его, американский лейтенант, в чьем ведении он находился, пропустил его просьбу мимо ушей. Уайт, с которым Воробейцев виделся раза два, похлопывал его по плечу, хвалил за «смелый и решительный поступок» и глядел на него при этом неподвижными глазами, непроницаемыми, как свинец.

С тремя американцами, которые сопровождали Воробейцева, он подружился. Это были бесхитростные парни, они относились к нему, вроде как к кинозвезде, и ему казалось, что

они гордятся тем, что назначены сопровождать и охранять его.

Труднее было ему тогда, когда он оставался в одиночестве. Тогда его охватывал страх. Ему мерещилось, что в Альтштадте, Галле, Берлине и даже в Москве идут совещания с целью уничтожить его. Кроме того, его преследовала странная галлюцинация, которая особенно досаждала ему перед сном, когда он лежал в постели: перед ним возникало вдруг человеческое лицо — довольно широкое, плоское, с черной бородой и кровавой полосой от правого виска до низа левой щеки. Оно не давало ему уснуть, и он никак не мог вспомнить, чье это лицо и почему оно преследует его. Он знал, что где-то видел это лицо, но не мог сообразить, где и при каких обстоятельствах.

Он старался ложиться спать как можно позже, пил и гулял напропалую, но все равно, хотя бы на рассвете, когда он ложился спать, ему вспоминалось это лицо.

После встречи с Себастьяном он и сопровождавшие его американцы зашли в бар и стоя выпили по рюмке водки. Он уплатил,— он всегда платил за них.

Один из американцев, светловолосый, по имени Майкл, сказал (они все неплохо говорили по-немецки):

— Сегодня в варьете выступает та самая Эдит.

— Пойдем туда? — спросил другой, которого звали Томом. Он был черноволосый и ленивый, родом из штата Миссури — «оттуда, откуда и президент Трумэн», хвастался он иногда.

— Там мы погуляем как следует,— поддержал их третий, Билл, большой и рыжий. Он всегда улыбался.

— Да, обязательно сходим,— оживился Воробейцев и заказал по второй рюмке.

Они стояли тесным кружком. Вдруг Билл, глядя на Воробейцева со спокойной улыбкой, поднял правую ногу и сильно ударил Воробейцева кованым каблуком ботинка по носку хромового сапога. Удар был неожиданный, хамский, беспричинный — просто так, потому, что это ему захотелось сделать, и потому, что он знал, что Воробейцев не может ему ответить тем же. Это был удар по русскому, лишенному защиты родины, по человеку, впавшему в полное ничтожество. И оттого что никто не ожидал этого удара и тем не менее остальные американцы продолжали с подчеркнуто скучающим видом разговаривать и шутить, как будто ничего не произошло, Воробейцев,

униженный, дрожащий, вдруг с предельной силой понял, что он одинокий как перст, мерзавец, которого никто не защищает на свете. И циническое знание этого было написано на ухмыляющемся лице рыжего американца и на лицах его товарищей; их скучающие лица были, может быть, еще страшнее, чем издевательская ухмылка рыжего.

Воробейцев в этот момент сознавал, что никакой человек в мире не должен был и не мог бы стерпеть этого и только он один мог и должен был это стерпеть. И вдруг он понял с поразительной ясностью, что не будет ему никакой легкой жизни и никаких путешествий и что через короткий срок он будет рядовым отребьем и отщепенцем среди таких же, как он. И он наконец припомнил, кому принадлежало то лицо — окровавленное, бородатое, с полными ужаса глазами. Оно принадлежало изменнику родины, которого убивали медленно и методично разоблачившие его люди на дороге между Виттенбергом и Галле месяцев семь тому назад.

XXI

Когда профессор Себастьян шел пешком от своей испортившейся машины в Лаутербург, он по дороге забрел в горную деревню, где решил отдохнуть. Здесь происходило нечто вроде гулянья. Крестьяне узнали его, так как он тут несколько раз бывал вместе с Лубенцовым.

Он постоял и посмотрел на танцы, потом зашел в пивнушку, которая была переполнена людьми, и разговорился с девушкой и парнем, ворковавшими за столом. Оба были румяные, рослые и влюбленные. Руки их, красные и огрубевшие, видали виды, зато лица были почти совсем детские.

Под впечатлением антисоветских разговоров в доме Вальтера и обвинений, которые сыпались там по адресу Советской Военной Администрации и вообще советской политики в Германии, Себастьян начал расспрашивать молодых людей об их настроении и жизненных планах.

Оба — и парень и девушка — сказали Себастьяну, что они довольны своей жизнью и что в будущем году собираются на подготовительные курсы для рабочей и крестьянской молодежи в Галле, с тем чтобы два года спустя поступить в университет. С фанатизмом новообращенных они говорили о земель-

ной реформе и со страстной верой в будущее объяснялись в любви к новым порядкам, к новому строю жизни, который здесь возникал.

Их бесхитростная исповедь произвела на Себастьяна большое впечатление. Сравнивая слова этих молодых людей с разговорами Вальтера и его приятелей, Себастьян, несмотря на свой жизненный опыт и знания, даже удивился, какие полярные точки зрения на один и тот же предмет могут существовать у разных людей.

Утром к Себастьяну собрались друзья. Он рассказал им о своих франкфуртских впечатлениях. Были тут и новые подруги Эрики, среди них умная и проницательная фрау Визецки. Вскоре пришел и комендант, но он был не один, с ним вместе зашли капитан Яворский и изящно одетая молодая женщина с красивым, запоминающимся лицом. Эрика пошла им навстречу и, окинув Таню быстрым взглядом, вся вспыхнула. Покраснела и Таня. Лубенцов, с трудом сохранявший спокойный вид, познакомил их. Немного оправясь, он выразил надежду, что Таня и Эрика подружатся. Обе в ответ промолчали. Себастьян растерянно сказал:

— Эрика, дай кофе. Почему ты не подаешь кофе, Эрика?

Когда все получили свои чашечки с кофе, Себастьян стал продолжать свой рассказ. Может быть, под влиянием только что происшедшего безмолвного столкновения судеб, от которого он хотел отвлечься, его рассказ полился широко и свободно. С блестящим юмором изобразил он посетителей салона Вальтера, с восхищением говорил о подполковнике Дугласе и его друзьях. Потом, рассказав о своей встрече с молодой парочкой в пивной, он задумался и сказал:

— Сопоставив мнения о вас, господин подполковник, ваших сторонников и ваших противников, любовь одних, ненависть и жалобы других, я вспомнил одну притчу. У Гейнзе, интересного и полузабытого писателя, есть такая басня: «Домашний восковой идол стоял около огня, где обжигались глиняные вазы, и начал таять. Он стал горько жаловаться: «Взгляни,— сказал он, обращаясь к огню,— как ты жесток ко мне. Вазам ты придаешь прочность, а меня губишь». Но огонь ответил: «Ты можешь жаловаться только на собственную свою природу. Что касается меня, то я везде и всегда огонь». Будьте везде и всегда огнем, господин подполковник, на радость благородной глине и на страх восковым идолам всех мастей.

Лубенцов слушал его с волнением. Таня, которой Яворский вполголоса перевел слова Себастьяна, тоже была тронута. Вскоре они простились и ушли.

Вечером солдаты комендантского взвода давали свое первое самодеятельное представление. Раскаты хохота доносились весь этот вечер из окон Дома на площади, и прохожие останавливались, с любопытством прислушивались, улыбались. Подойдя однажды к окну вместе с Таней и Чоховым, Лубенцов увидел стоявших под окнами немцев. Заметив, что «оберстлейтнант Давай» смотрит на них из окна, они быстро разошлись.

— Надо в городе организовать театр,— сказал Лубенцов.— Придется этим заняться.

Потом Таня с Чоховым вернулись в клубную комнату, где шло представление, а Лубенцов остался у окна. В городе зажигались огни, и Лубенцов внезапно подумал о том, что случилось невероятное: он полюбил этот городок, этот злосчастный Лаутербург, его улочки и садики, брусчатку его площадей, черепичные крыши и старинные проулки, зеленые горы вокруг него и людей, живших в нем, с их заботами, печалями и радостями,— конечно, далеко не всех.

— Не вздумай только снова воевать с нами,— сказал он вслух, обращаясь к многочисленным огонькам.— Помни об этом. В следующий раз от тебя не останется камня на камне. Я первый дам команду: «Огонь!»

Но перед ним пронеслись лица его новых, приобретенных здесь, друзей — хороших, прямых и нелицемерных тружеников, и он отогнал от себя мысли о войне. На смену пришли другие мысли. Позади раздались аплодисменты, и Лубенцов вернулся к своим солдатам.

Летом 1947 года Советская Военная Администрация в Германии по настоятельной просьбе подполковника Лубенцова отпустила его на родину для учебы в Военной академии имени Фрунзе.

Вместе с Лубенцовым и Таней выехали демобилизовавшийся старшина Воронин и сержант Веретенников, получивший отпуск.

Они решили ехать до Галле на машинах, а там сесть в поезд. Простившись со всеми друзьями — русскими и немецкими,— они выехали рано утром из города Лаутербурга.

На самой окраине города Лубенцов увидел из окна машины маленькую лавчонку с разнообразной металлической посудой в витрине. Он решил, что неплохо было бы купить что-нибудь на память о Лаутербурге. Попросив остановить машину, он вошел в лавку. Его узнали. За прилавком поднялась суета. Появился сам хозяин, маленький человечек в кожаном фартуке, с пышными седыми усами. Он спросил, что нужно «господину коменданту». Лубенцов попросил показать ему что-нибудь красивое на память.

— Для вас,— сказал старичок,— я найду что-нибудь выдающееся.

Он исчез под прилавком, долго там возился, наконец показался снова. Его глаза были полны гордости. Он поставил на прилавок две чаши кованого серебра с необычайно тонкой резьбой, изображавшей Вальпургиеву ночь — танец ведьм на знаменитом Брокене.

— Красиво,— сказал Лубенцов.

— Очень красиво! — воскликнул старичок.— Собственная работа.

Старушка, видимо жена хозяина, кивала головой.

— Это наш местный художественный промысел,— улыбаясь, проговорил старичок и вдруг заволновался.— Садитесь, господин комендант.

— Нет, я спешу,— сказал Лубенцов и спросил: — Значит, это местный художественный промысел?

— Да, старинный.

Лубенцов рассчитался и, уходя с чашами в руках, подумал: «Если я еще раз когда-нибудь буду комендантом, я обязательно заинтересуюсь и вопросами местных художественных промыслов. Совсем упустил из виду это дело. А может быть, и не это одно».

Он улыбнулся. Ему было немножко грустно, потому что всегда немножко грустно покидать место, где положено много труда и истрачено много душевных сил.

Когда он уже садился в машину, его окликнули. Он обернулся и увидел, что из ворот одного дома к нему идет, улыбаясь, толстая женщина с большой бородавкой на лице, в красном свитере и клеенчатом фартуке.

— Ох, господин комендант,— воскликнула она.— Рада вас видеть. Вы меня помните, надеюсь? Если бы вы знали, что я вам скажу! — Она сунула руку в карман фартука и бережно

вытащила оттуда сложенную вчетверо газету.— Вот полюбуйтесь. Напечатали мою статью о местных наших лаутербургских безобразиях. Вы, наверно, забыли, что сами мне посоветовали писать в газету. А я не забыла. Ха-ха-ха! — оглушительно рассмеялась она.— Я теперь целые вечера пишу в газету. Бургомистр господин Форлендер меня боится как огня.

Лубенцов от души посмеялся вместе с ней, пожал ей руку с сердечностью, которая была ей непонятна, так как она не знала, что он уезжает навсегда, и сел в машину.

И вот они проделали в поезде весь обратный путь с запада на восток. Перед их глазами пронеслись знакомые картины: города, еще лежащие в развалинах, оживающая Германия, поднимающаяся из пепла Польша.

Наконец за окнами вагона появились белорусские земли. Здесь повсюду виднелись еще следы войны — траншеи и ходы сообщения, заросшие высокой травой, воронки от бомб, залитые водой. Но все заметно оживало. На месте пепелищ подымались светлые срубы. Колосились нивы, стога сена стояли на лугах. Правда, жили тут еще плохо, война глубокой бороздой прошла по этим местам.

Лубенцов, Таня и их спутники почти безотрывно глядели в окно. С их душ понемногу спадали западноевропейские впечатления и взамен их возникали новые. В то же время их не оставляла некая тревога, потому что они хорошо знали всю сложность и запутанность мировых отношений; грозовый воздух Европы был им слишком хорошо знаком; краснолицый и его сообщники были еще живы. Но теперь, глядя на пространства родной земли, Лубенцов и его товарищи со всей силой осознали, что в конечном счете важнее всего на свете — поднять родную страну, сделать ее счастливой и изобильной, так как от этого зависит все остальное.

Лубенцов, его жена и друзья как бы возвращались назад, в прошлое, почти по тем же дорогам, по которым они шли на запад. Но они были старше годами, зрелее опытом и поэтому по-новому осмыслили все величие и значение родной страны. И каждый из них в душе давал обещание любить ее горячее и делать для нее больше. Они возвращались как бы в прежний, более тесный круг переживаний, впечатлений и знакомств. Но теперь они почувствовали, что этот круг неизмеримо шире, чем он был или казался им прежде, и что только через свое родное можно по-настоящему понять, охватить большое, всемирное.

Так двигались они по великой русской равнине. На душе у них было тихо и светло.

Поблизости от Гомеля вдруг заволновался Веретенников.

— Пожалуй, я тут сойду,— внезапно сказал он.

— Как? — воскликнул Воронин.— Мы же вместе до самого Иванова едем.

— Мне здесь нужно... Дело одно,— смущенно возразил Веретенников.

— Сердечное? — сдался Воронин.

— Сердечное.

Он попрощался с Лубенцовым и Таней, записал адрес Воронина, надел вещмешок и соскочил с поезда. Поезд ушел, а он все еще стоял на маленькой платформе, вдыхая могучие запахи земли. Потом он вспомнил о чем-то, порылся в кармане гимнастерки, вынул оттуда бумажку — расписку за сено,— засмеялся, разорвал ее, бросил и зашагал пешком по проселку.

А Лубенцов, Таня и Воронин поехали дальше на восток. Купы деревьев проходили мимо вагона, и от их теней в вагоне то светлело, то темнело.

ДВА ПИСЬМА

1

Здравствуйте, товарищ Мещерский!

Пишет вам майор Чохов. Я служу в Закавказье, в воинской части, на должности командира батальона. Встречаете ли вы кого-нибудь из наших общих знакомых? Я совсем потерял из виду всех. Слышал, что тов. Лубенцов в Москве. Привет вам от моей жены Ксении Андреевны. Она работает библиотекарем в нашей воинской части. Она хвалила ваши стихи. Они читателям очень нравятся. У нас дочь Таня. Поздравляю вас с Днем Победы.

В. Чохов

9 мая 1950 г.

2

Дорогой Василий Максимович!

Какой вы молодец, что написали мне. Вспомнилось все, и на душе стало хорошо и радостно.

С подполковником Лубенцовым я встречаюсь редко, так как он очень занят. Он кончает Академию имени Фрунзе. Снимает комнатку в Москве, в районе Зубовской площади. Татьяна Владимировна работает врачом в районной поликлинике. У них сын Володя. Живут они дружно и счастливо.

Когда я впервые шел к нему в гости по длинному коридору

коммунальной квартиры, я думал о том, что вот в этой квартире живет замечательный человек, герой и государственный деятель. И я подумал о том, как много героев и замечательных деятелей живут в домах Москвы и других городов,— скромные и простые люди, не занимающие крупных мест, хотя они справлялись бы с любой работой. И вот они так живут, честно работают, а когда им скажут: «Иди, побеждай, делай чудеса»,— они пойдут, победят, будут делать чудеса.

Генерал Середа в отставке, живет на Украине. Дочь его учится в МГУ. Воронин работает заготовщиком на обувной фабрике в Иванове. Он женился и, кажется, имеет уже двух детишек.

Крепко обнимаю вас, дорогой друг.

Ваш *Саша Мещерский*

1949—1955

СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

Повесть

1

Светлое северное небо слабо озаряла туманная луна. Две лодки плыли по озеру.

Ленин сидел на корме первой лодки и все время, напрягая зрение, вглядывался в белесый сумрак далекого берега. Он размышлял о том, что если там, на заозерном сенокосе, будет спокойно и безопасно, он сможет выписать туда синюю тетрадь с заметками и закончит давно наболевшую и чрезвычайно важную брошюру.

Он вглядывался в туманную даль настороженно и пристально, потом подумал, что это вглядывание ни к чему и что можно, в сущности, закрыть глаза. Такая мысль не приходила ему в голову раньше. Закрыв глаза, он теперь только услышал скрип уключин, бормотание и всхлипы воды, теперь только почувствовал себя сидящим в лодке под необъятным небом, на котором лунный лик в дымке легкого тумана неторопливо отплывает все влево, все влево.

Его обволокло ощущение глубокого покоя, впервые за долгое время. Было похоже на то, как если бы он много месяцев подряд бежал, бежал быстро, то в гору, задыхаясь, то под гору, еле сдерживая бег; мимо проносились дома, улицы, города, страны, людские толпы; бесконечное множество слов, выкрикиваемых на разные голоса и произносимых жарким шепотом — слова русские и иностранные, ученые и простецкие, жесткие и мягкие, дорогие и ненавистные,— напирали, сталкивались, били в него, как струи ветра в бегущего. И вот он сразу остановился. И оказался в маленькой лодке, плывущей под светлым небом по темной воде. Оборвалось завихрение слов, мель-

капие лиц, замерли в мозгу молоточки-головоломки почти неразрешимых проблем. Уключины тихо поскрипывали, вода безмятежно бормотала.

Между тем берег приближался. Не было бы ничего сверхъестественного, если бы у самого берега лодку встретил винтовочный залп. Стоило одному из десятка людей, знавших местопребывание Ленина, проговориться или нарушить правила конспирации, и здесь могла очутиться засада юнкеров и казаков. За каждым деревом на берегу мог прятаться юнкер или казак. Ленину вспомнилось виденное им в прошлое воскресенье у Таврического дворца лицо одного казака — тупое и безглазое, такое же красное, как и лампасы на его штанах. И Ленин представил себе, что именно этот бравый казак и может стоять за одним из деревьев на берегу — с узкими глазами, не способными ничего видеть, способными только прицеливаться.

Ленин не чувствовал никакого страха и подумал о том, что, в сущности, мало дорожит жизнью Ульянова. Этот Ульянов, родившийся сорок семь лет назад в городе Симбирске, прочитавший горы книг и исписавший горы бумаги, очень устал, страдает бессонницей и головными болями. Быстрая и безболезненная смерть не пугала его, человека, ох, как твердо знающего с отроческих лет, что он смертная частица неумирающей природы! Но жизнь Ленина, вождя самой революционной партии в России, следовало сохранить обязательно.

Видно, жизнь его была нужна революции, если его смерть так понадобилась врагам ее. Разумеется, долгие годы готовя революцию, он готовил и себя к ней. Право же, он даже ходил помногу в городах и горах Европы, плавал подолгу в ее реках и озерах, бегал на коньках и ездил на велосипеде — ради революции: чтобы не сломаться физически, когда она грянет, чтобы выдержать ее напряжение, когда настанет час действий. Однако о значении собственной личности он задумывался редко и только недавно, три месяца назад, вернувшись в Питер после десяти лет эмиграции, впервые полностью осознал свою роль в событиях.

С юмористическим удивлением, как о чем-то доисторически давнем, вспоминал он переезд через финскую землю — последний этап своего нашумевшего на весь мир дерзновенного возвращения в Россию. Они с женой были тогда озабочены проблемой: каким образом, если поезд придет в Петроград ночью, смогут они добраться на Широкую улицу, к Анне Ильиничне,—

найдется ли извозчик поздно вечером на Финляндском вокзале, тем более в пасхальный день. Когда же он увидел на перроне почетный караул военных моряков и толпу встречающих, массу людей на Привокзальной площади, броневики у выхода из царского подъезда вокзала и военные прожекторы, осветившие красные флаги и надписи «Привет Ленину», он ощутил всем сердцем, как слабо чувствовал за рубежом размах революции и как много сделано в эмиграции, в повседневной, лишенной внешних эффектов, изнурительной работе, иногда казавшейся ничтожной по результатам, комариными укусами на огромном теле царского исполина. Как живое воплощение этой негромкой и будничной работы промелькнул в рядах встречающих питерский рабочий Чугурин, воспитанник партийной школы в Лонжюмо, близ Парижа. Лицо Чугурина было мокро от слез.

Поднявшись на броневик, Ленин увидел море кепок и картузов и немножко устыдился своего черного заграничного котелка, такого несуразного на броневике, среди толпы восставших рабочих. Он снял котелок, как вещь, которая уже никогда не понадобится, спрятал его за спину, потом положил на сиденье рядом с шофером — солдатом броневого дивизиона. Когда броневик тронулся по улицам Петрограда, сопровождаемый тысячной толпой, Ленин вспомнил о своих тревогах насчет извозчика и подумал не без некоторой грусти, что, вероятно, никогда больше не будет ездить на извозчике, никогда больше не будет «частным лицом», что наступила пора либо возглавить революционную Россию, либо умереть. Эта мысль, несмотря на все возбуждение и восторги тех дней, иногда мелькала у него в голове.

Тогда же он вспомнил глубокомысленное иносказание «Одиссеи»: полжизни стремясь к родной Итаке, Одиссей не узнал ее, когда очутился на ее берегу. Он, Ленин, сразу узнал свою Итаку, но не сразу понял, что он — ее Одиссей.

В те дни он это понял. Он понял, что является человеком, который способен чрезвычайно тонко чувствовать пульс революции, ее приливы, отливы, подспудные течения. Никогда еще не был он так проницателен, не видел так ясно внутренние пружины, двигающие людьми, группами людей, собраниями и учреждениями, с такой легкостью не отличал важное от второстепенного.

Он тогда с особо пристальным вниманием наблюдал своих партийных товарищей и, отдав должное их опыту, революцион-

ному пылу и разнообразным талантам — ораторским, литературным и организационным,— пришел к выводу, что некоторые из них могли бы заменить его, если бы его не было. Но поскольку он был, никто из них не мог его заменить. Русская революция не зависит от одного человека, но она, по-видимому, выдвинула именно его, чтобы он выразил ее наиболее ясно и последовательно.

Ленин неподвижно сидел в лодке, закрыв глаза. Отдаваясь ощущению покоя, он, конечно, сознавал, что покой этот мнимый, что вот сейчас, сию минуту, все проблемы дня опять встанут перед ним во весь свой гигантский рост. Еще мгновение — и снова с неотвратимостью кровообращения прихлынут к сердцу переживания и тревоги последних дней, глухое беспокойство за Надежду Константиновну, сестер, партийных товарищей, сдержанная, но тем более сильная нежность к ним — людям его партии, жизнерадостным и аскетическим, пылким и суровым, преданным общему делу до последнего дыхания; снова ранит его острое, как бритва, чувство ответственности за жизнь и душу рабочих, матросов, солдат, чьи лица сейчас опять замелькают перед его умственным взором. Он мягко сопротивлялся возврату трудных мыслей и сложных политических расчетов, ему надо было отдохнуть от них, и он отдыхал сколько мог. И когда уже нельзя было от них уйти, он открыл глаза, чтобы встретить их возвращение, как пловец встречает грудью волну.

Открыв глаза, Ленин увидел совсем близко неподвижные кусты. Стена низкорослого леса стояла у самой воды. О борта лодки начали царапаться камыши. Лодка ткнулась носом в берег.

2

Емельянов сложил весла, мгновение посидел, прислушиваясь, потом встал, вышагнул на берег и вытянул за собой лодку. Коля соскочил. Рядом пристала вторая лодка. Там зашептались, засуетились. Недалеко человеческим голосом закричала выпь.

Ленин нащупал у своих ног баул с бумагами, взял его под мышку и сошел на берег. Подошли четверо из другой лодки. Емельянов окинул хозяйским взглядом людей, лодки, озеро и кивнул Ленину:

— Двинулись.

Он пошел вперед, Ленин за ним. Зиновьев и сыновья Емельянова — Коля, Александр, Кондратий и Сергей — пристроились сзади друг за дружкой. Вначале ноги ощущали влажную, чуть посапывающую под тяжестью шагов низину, затем почва стала тверже. Пахло болотом и луговыми травами.

Емельянову была знакома эта тропинка. Он досконально изучил местность перед тем, как везти сюда Ленина, однажды даже приезжал сюда ночью. Поэтому он шел уверенно, немножко вразвалку, довольный тем, что все так точно продумал, и желая, чтобы Ленин это заметил. Мешок с вещами легонько оттягивал его правое плечо. Уверенный в безлюдье этих мест, он все-таки огорчался тем, что Ленин запретил ему брать с собой какое бы то ни было оружие. У него были припасены три винтовки. Хорошо смазанные, с несколькими десятками снаряженных обойм, они лежали в одном потайном месте. Но Ленин и слышать об этом не хотел. Он только засмеялся, махнул рукой и сказал:

— Очередь для винтовок наступит позднее, берегите их. Вы говорите, они смазаны? Это хорошо. Они будут нужны. Не три штуки, а три миллиона; на меньшее я не согласен. А три нас не спасут. В случае осложнений они нас только сделают смешными. Смешными людьми или смешными трупами. Сегодня мы с вами политики, а не бойцы.

Емельянов был старым партийным боевиком, через его руки в 1905 году и позднее прошло немало винтовок. Он считал, что оружие никогда не может оказаться излишним. С наганом в кармане или с винтовкой за спиной он чувствовал бы себя увереннней. Но он, поворчав, смирился.

Несмотря на то что Ленин несколько дней жил у него в сарайчике на чердаке, спал там на соломе и ел вместе со всей семьей картофельный суп, селедку и пшенную кашу с молоком, охотно беседовал с детьми и Надеждой Кондратьевной и частенько помогал ей мыть посуду — одним словом, жил общей с ними жизнью, Емельянов и теперь с трудом представлял себе, что ровное дыхание человека над самым его ухом — дыхание Ленина. О Ленине говорила вся Россия. Нельзя было проехать в пригородном поезде, не услышав это имя, еще три месяца назад известное не слишком широкому кругу — большевикам-партийцам, самым передовым рабочим и, конечно, активным деятелям враждебных большевизму партий. С его приездом в

Питер в разноголосом хоре взбудораженной России зазвучал новый голос поразительной силы и звонкости, все нарастающий и нарастающий, так что он вскоре стал заглушать все другие голоса. Это было похоже на могучий призывный клич трубы среди верещания свистулек, визга губных гармоник и теньканья балалаек. Не то чтобы рабочие, а тем более рабочие-большевики, не понимали до апреля своих классовых интересов. Но их захлестнуло ощущение непривычной свободы, их время занимала охота за переодетыми в штатское жандармами и шпиками, митинговщина, бесконечные выборы и депутации. Рабочие Сестрорецкого оружейного завода, где служил Емельянов, собственной властью уволили начальника завода генерал-майора Гибера и его помощника генерал-майора Дмитревского; Главное артиллерийское управление скрепя сердце утвердило решение рабочих. Все были страшно довольны этим, ходили веселые и гордые. Еще 21 марта рабочие на общем собрании, после доклада представителя питерских большевиков, постановили, что «все меры Временного правительства, уничтожающие остатки старого строя, укрепляющие и расширяющие завоевания народа, должны встречать поддержку рабочего класса». Две недели спустя такая резолюция была бы уже невозможна.

Многие большевики, в том числе сам Емельянов, и до приезда Ленина выражали примерно те же мысли, что Ленин, но это были только разговоры, они не имели обоснования, в них отсутствовали твердое знание и убежденность. Хотелось всех поздравлять, всем верить,— по крайней мере всем, кто носил на груди красный бант. Пока не раздался тот призывный клич трубы.

Луна пропала за тучей. Емельянов слышал за собой легкие шаги Ленина. И душа Емельянова преисполнилась восторга и веселого злорадства от того, что он спрячет Ленина в этой чащобе от всех врагов — Керенского и Половцева, Рибо и Ллойд-Джорджа, от всех двенадцати казачьих войск, от всех чуек и поддевок всех губерний России, от разведок всех стран Антанты. Так он шел и радовался и немножко удивлялся тому, что этот «трубный глас» во плоти идет вслед за ним в рыжем пальтишке с плеча Сергея Аллилуева, в потертом емельяновском картузе, с баулом под мышкой.

Среди деревьев показался светлый прогал.

— Здесь,— сказал Емельянов.

Ленин остановился, осмотрелся, увидел стожок сена с приткнувшимся к нему сбоку шалашом, положил баул на траву, сделал несколько шагов в темноту, пропал в ней и, вынырнув снова, сказал, потирая руки, словно собирался приняться за косьбу:

— Косы, грабли есть?

— Есть,— ответил Емельянов.— Утром сами посмо́трите.

— Надо, чтобы все было, как у настоящих косарей.

— А как же! Обязательно. Костер развести?

— А не опасно?

— Нет. Тут кругом ни души.

Ленин сказал после краткого раздумья:

— А все-таки не надо сегодня. Поспим без костра. Завтра оглядимся и начнем правильную жизнь.

Старшие мальчики — Александр, Кондратий и Сергей — пошли осматривать окрестности. Младший — тринадцатилетний Коля — остался: он любил быть среди взрослых. Зиновьев сел на траву и начал разуваться: левую ногу терла неумело намотанная портянка.

Ленин подошел к шалашу, заглянул в него, потом влез и крикнул оттуда:

— Чудесно! Замечательное жилье! Тепло, мягко и хорошо пахнет.— Он развалился на сене, негромко смеясь, потом сказал: — Конечно, хорошо бы тут иметь спрятанный в сене беспроволочный телефон для связи с Питером... Надежда на вас, Николай Александрович. Смотрите, газеты доставляйте аккуратно...

— Все будет сделано,— отозвался Емельянов, гремя в темноте котелками и чугунками.— Так. Все на месте. Ну, ребята, пошли. Запоминайте дорогу, чтоб в случае чего могли сюда попасть в любое время. Провожу вас к лодке. Завтра утром, Сашка, твой черед привозить газеты.

Ленин сказал из шалаша:

— Вы там на берегу поговорите погромче, а мы послушаем. Проверим, как слышно с берега. Коля, залезай сюда.

Коля залез в шалаш и уселся рядом с Лениным. Емельянов со старшими сыновьями ушел. Шуршание их шагов по траве вскоре затихло. Ленин обнял мальчика за плечи и сказал:

— Слушай.

Прошло минут пятнадцать. Ничего не было слышно. Ни го-

лосов, ни плеска весел. Ленин удовлетворенно кивнул головой и спросил:
— Будем спать, Григорий?
— Неужели вы сможете заснуть, Владимир Ильич?
— Вне всякого сомнения,— ответил Ленин уверенно, хотя точно знал, что не заснет.
— Я не смогу.
— Напрасно. Мы теперь вроде затравленных зверей. Надо засыпать быстро, спать чутко... Что у вас там с ногой?
Зиновьев жалобно ответил своим тонким голосом:
— Да все эта тряпка... Завернулась... Натерла.
— Относитесь к неприятностям по-философски. Ночь под старой луной располагает к философствованию. Эта луна уже все видела... Наверно, и скрывающихся от полиции интеллигентов, не умеющих завертывать портянки.
— Вы все шутите...
Послышались шаги.
— Это я,— сказал Емельянов из темноты.
Ленин и Коля вылезли и сели у входа в шалаш. Емельянов уселся возле них. Ленин спросил:
— Вы разговаривали?
— Да.
— И громко?
— Да.
— О чем же вы говорили?
— Хе-хе... Я сказал: «Чухонцы уже спят, наверно. Завтра с утра начнут работать. Как будто люди неплохие, опытные косцы...» Саша ответил: «Только жалко: по-нашему не понимают...» И еще в этом роде.
— Молодцы. Конспираторы. Значит, на берегу нас не слышно. Это хорошо.
Зиновьев влез с одеялами в шалаш и начал там устраивать постель.
— Папа, а костер утром будем разжигать? — спросил Коля.
— Будем, будем,— ответил Емельянов.
— Я разожгу.
— Ладно. Пока залезай, спи. Уже поздно.
— Можно, я еще немножко посижу?
— Тебе бы все сидеть...
Зиновьев в шалаше повертелся и затих.
— Тут один недостаток,— негромко сказал Ленин.

— Комары? — Емельянов виновато развел руками.— Да, комарья много, особенно ночью.

— Нет, не то. Нельзя работать по ночам, вот что худо.

— Может, оно и лучше,— заметил Емельянов.— Отдохнете.

— Хорошо курильщикам,— сказал Ленин после короткого молчания.— В такую вот ночь без света сидят и курят трубочку... И безделье, в сущности, и все-таки какое-то занятие.

— А вы давно не курите?

— Никогда не курил. Времени не было, и потом — лишний расход. Жили более чем скромно, каждую копейку приходилось рассчитывать. Помимо того — отвлекает. Страстишка хоть и небольшая, а все же страстишка. Привыкнешь — замучаешься без табака, не сможешь работать. А в нашем ссыльном да эмигрантском бытии остаться без табака было весьма нетрудно. Так и прожил скучную жизнь: не курил, не пил вина, за барышнями почти не ухаживал...— Он рассмеялся.— Но интересную все-таки жизнь, как вы думаете? А теперь так уж совсем как в авантюрном романе! Шалаш в глуши за озером... Страшные заговорщики под личиной финнов-косарей... Григорий, вы спите? Спит. Устал. Ему отдохнуть надо всерьез, он совсем измотался.

3

Но Зиновьев не спал. Его поташнивало, голова легонько кружилась. Он только что в лодке испытал странное чувство. Передняя лодка, на которой находился Ленин, была еле видна, а за ней простирался белесый мрак. И Зиновьеву вдруг померещилось, что передняя лодка приближается к отвесной бездне, а он на второй лодке, как привязанный, безвольно следует за Лениным. Ему захотелось крикнуть: «Стойте! Не надо! Остановитесь!»

После разгрома июльской демонстрации, анализируя события, приведшие к июлю, Зиновьев переживал целую гамму сомнений и опасений. Сегодня, в эту теплую сырую ночь на туманном гниловатом озере, эти сомнения с особой силой одолевали его. «Верно ли мы плывем? Не сгинем ли в этом тумане? Нет ли в отваге и непримиримости Ильича элемента сектантства или, что еще опасней, жертвенности, обреченности?» Ленин занимает слишком крайнюю позицию, все хочет довести до конца, недостаточно расчетлив, не способен на разумные компромиссы, не учитывает колебаний масс. В конце концов,

размышлял Зиновьев, поеживаясь от сырости, ведь они-то всего-навсего кучка интеллигентов, а кругом простирается бескрайняя Россия, полная жадных хуторян и корыстолюбивых лавочников, пьяных мастеровых и юродивых богомольцев, Иванов Ивановичей и Иванов Никифоровичей, чудотворных икон и животворящих крестов. Ведь эта Россия никуда не делась, она существует, хотя и в полуобморочном состоянии. Массы же необразованны, анархичны, как они доказали третьего и четвертого июля, на них трудно полагаться. Получив видимость свободы, они готовы все ломать и кромсать, как бурсаки у Помяловского. Неудача приводит их в уныние. Представители некоторых восставших полков пришли к Керенскому с повинной. Иные корабли Балтийского флота осудили большевиков как агентов Вильгельма. Кронштадт выдал «зачинщиков». Арестованы Каменев, Коллонтай, Раскольников, Рошаль, Сиверс и многие другие. «Правда» и «Солдатская правда» разгромлены.

А Ленин сидит теперь возле шалаша и разговаривает так, словно приехал сюда на дачу. Он осведомляется у Емельянова, может ли рабочая семья прожить с огорода, сколько стоят овощи на рынке и, наконец, какой породы рыба водится в Сестрорецком Разливе, и говорит при этом, что «уха без ерша или хотя бы окуня — пустое дело».

Вчера Зиновьев, читая свежие газеты, с горечью сказал Ленину:

— Как быстро массы склоняются перед силой!

Не обернувшись к нему, Ленин быстро ответил:

— Это пока они сами не стали силой! — Сказав это, он обернулся, заглянул в газету, которую Зиновьев читал, пробежал ее глазами и продолжал: — Массы — народ практический, они не станут понапрасну лезть в петлю. Они не одиночки-интеллигенты. Эффектный жест и громкая фраза не по их части. Жест и фразу они уступают разным Керенским и Авксентьевым, кончившим классические гимназии и прочитавшим старика Плутарха, который не одного гимназиста уже свел с ума... Массы поймут, что провалились потому, что действовали неорганизованно. Они это учтут в следующий раз.

Зиновьев слабо улыбнулся: говорить о «следующем разе» при нынешних обстоятельствах — значило предаваться самообольщению.

Зиновьев понимал, что следовало сказать Ленину ясно и недвусмысленно о своей точке зрения. Но он молчал. Он боялся.

Его мысли, выраженные вслух, были бы восприняты как проявление слабости и нерешительности — качеств, презираемых Лениным и всей партией больше всего на свете. Ведь Зиновьев, повторяя настойчиво и добросовестно, с истовостью почти молитвенной, ленинские формулировки, слыл среди товарищей последовательным и стойким; расхождения, бывавшие у него с Лениным, никогда не доходили до конфликта. Если он теперь, в сложнейший момент, проявит слабость и нерешительность, то ему тут нечего делать с Лениным, нечего скрываться, нечего числиться ближайшим сподвижником, нечего поедать емельяновский ржаной хлеб и пшенную кашу. Тогда он нуль. Разве мог он на это согласиться? Он не мог.

Он питал к Ленину любовь почти женскую, полную ревности, безотчетную и расчетливую в одно и то же время,— любовь, которую Ленин умел внушать, сам о том не подозревая, всегда относя привязанность к себе только за счет привязанности к своим партийным воззрениям.

Бодрость Ленина вызывала в Зиновьеве одновременно и зависть и раздражение. Но в последние два дня перед переездом сюда, на заозерный сенокос, эти два противоречивых чувства сменились третьим, еще более сложным: Зиновьеву стало казаться, что Ленин только искусно притворяется бодрым и неунывающим, а в действительности знает, что революция не удалась, что они обречены, что палачи Временного правительства при злорадном молчании современных пилатов — Плехановых, Потресовых и Черновых — казнят неудавшегося русского Робеспьера и его товарищей. Почти с торжеством ловил Зиновьев мгновения, когда Ленин задумывался, становился рассеянным и печальным. Эта рассеянность, этот скорбно-сосредоточенный взгляд вызывали в Зиновьеве приливы острого страха перед будущим и в то же время чувство приятного самоуспокоения: значит, он, Зиновьев, не так уж плох, значит, его безрадостные мысли не являются признаком ничтожества, слабости...

Верно, Ленин сразу опомнился; спохватившись, что молчит и что все кругом тоже молчат, он тотчас же начинал говорить о событиях, размышлять вслух о вероятных поворотах революции, насмехаться над близорукостью эсеро-меньшевистских деятелей, шутить по поводу неудобств подполья и т. д. Но Зиновьев не был склонен принимать его оживление за чистую монету.

Торжественный лунный свет вдруг полился в треугольное отверстие шалаша, стволы деревьев вдали затеплились, как свечи. Это напомнило Зиновьеву виденную им в венском музее картину на евангельский сюжет. В том состоянии духа, в каком он находился сейчас, он не мог не подумать, что Иисус, если он существовал как историческое лицо, тоже, вероятно, перед тем как его схватили, притворялся веселым, смеялся и шутил, а не плакал и сетовал, как это изобразили наивные и чувствительные авторы евангелий.

В этот момент Ленин рассмеялся.

— Вот и луна опять появилась,— сказал он.— И как видите, Николай Александрович, она отплывает все влево, все влево... Ни дать ни взять, как Россия в ближайшем будущем. Гм, гм... Григорий спит. Коля клюет носом. Попытаемся заснуть, а, Коля? Николай Александрович, а знаете, когда мы сделаем революцию, нашу, настоящую, придется вам переменить имя-отчество. Уж очень по-царски звучит!

Послышался смех Емельянова. Потом Емельянов спросил:

— А скоро мы сделаем революцию, Владимир Ильич?

Короткая пауза. Зиновьев ясно представил себе, как задумался Ленин, как сощурил глаза, как лицо его стало сосредоточенно и деловито.

— Скоро. Дело в том, что ни одна из коренных задач революции не решена. Если бы буржуазия могла немедленно прекратить войну, немедленно дать крестьянам землю, немедленно установить восьмичасовой рабочий день и рабочий контроль над производством, немедленно ограничить прибыли капиталистов и военных спекулянтов,— она могла бы предотвратить революцию. Но тогда она не была бы буржуазией! Рябушинский и Бубликов могли бы тогда спокойно вступить в нашу партию... Скоро, теперь уже скоро!.. Тогда и ваши три винтовки пригодятся.

4

Проснувшись утром, Зиновьев не сразу понял, где находится. Он очумело высунул голову из шалаша и слева, среди густых зарослей ивняка, увидел Ленина. Ленин сидел на пеньке перед круглым чурбаком и быстро писал. Нежаркое утреннее солнце освещало его склоненную голову. Вокруг него вились зеленые и желтые стрекозы, и он то и дело отмахивался от них,

иногда провожая их рассеянным взглядом и снова опуская глаза к бумаге. Вот на бумагу заползла гусеница, и он так же рассеянно взял ее пальцами, большим и указательным, и, не глядя, кинул в кусты. Он уже и здесь чувствовал себя как дома — завидное свойство, не раз удивлявшее Зиновьева.

Лицо Ленина было, как всегда во время писания, сосредоточенно. Не изменив выражения лица и не глядя на Зиновьева, он сказал:

— Проснулись, Григорий? Вы спите по-городскому, забыли, что вы финн-косарь и что пора приступать к делу, а то не заработаете на зиму ни гроша... А детей куча! Я вот уже полторы статейки написал. Поработал пером, как косой... Умоетесь — почитаете.

Емельянов возился у горящего костра. Котелок и чайник висели над костром на железном стержне. Котелок уже кипел. Коли не было видно, но вот он появился из-за деревьев, предварительно свистнув по-птичьи.

— Все спокойно,— выпалил он.— Лодок не видать.

— Тише, не мешай,— негромко сказал Емельянов, кивая на Ленина.

Коля не мог удержаться, чтобы не сообщить,— правда, понизив голос:

— Ежиху с ежатами видел!

— Как она? Верная ежиха? Не выдаст? — деловито спросил издали Ленин, по-прежнему ни на кого не глядя и продолжая быстро писать. Казалось, он посмотрел на Колю только своим виском, где на мгновение собрались усмешливые морщинки.

— Своя! — воскликнул Коля, улыбнувшись во весь рот.

— Не мешай,— шепнул Емельянов сердито. Он подошел к Зиновьеву с ведром.— Умоетесь тут или к озеру сходите?

— Не знаю,— замялся Зиновьев.— Лучше здесь, пожалуй. Ничего, ничего, я сам.

— Солью вам. Так будет удобнее.

Зиновьев достал из чемодана мыло и зубную щетку, а порошка никак не мог найти. Говорили они вполголоса, но Ленин услышал и сказал, не меняя позы:

— Возьмите мой порошок. У изголовья, завернуто в полотенце, там увидите.

Котелок с картошкой вскоре закипел вовсю, Емельянов потыкал вилкой, пробормотал «готово» и шепнул Зиновьеву:

— Позовите его... Или, может, не надо мешать?

— Владимир Ильич, завтрак готов.

— Иду, иду,— быстро сказал Ленин, подняв голову, но пошел не сразу, посидел, подумал, его лицо приняло скорбное выражение, как раз то самое, которое вызывало в Зиновьеве сложное чувство.

Без бороды и усов лицо Ленина очень изменилось, стало суровее и проще: борода и усы обычно скрадывали волевое, твердое очертание губ, теперь же большой, решительный рот обнажился. Только когда Ленин улыбался, он становился прежним: кожа натягивалась на скулах, суживала глаза, собиралась под глазами и на висках в хитрые и добрые морщинки.

Посидев с минуту, он присоединился к остальным у костра. Ел он быстро и молча, только время от времени спрашивая:

— Саши с газетами не слыхать?

— Рано еще,— отвечал Емельянов, при этом неизменно доставая из кармана большие серебряные часы.— Газетные киоски открываются в восемь. Да пока купишь, да вернешься, да на лодке полчаса...

Ленин постарался скрыть свое нетерпение, но это у него не очень получалось. Он то и дело оглядывался на тропинку, ведущую к озеру, постукивал пальцами по колену. Он, без сомнения, не замечал теперь ни окружающих, ни приятного тепла, идущего от костра, и уж, во всяком случае, ел, не имея никакого понятия, что именно он ест.

— Как получим газеты,— сказал он, наконец вставая,— садитесь, Григорий, заканчивать свою статью о третьеиюльских событиях.

— Да, обязательно,— ответил Зиновьев, но тут же развел руками: — Но куда? Газеты закрыты...

— Наши что-нибудь придумают. В Кронштадте напечатаем.

Кронштадтцы-то, надеюсь, свой «Голос правды» сохранили? Там люди решительные... И возможности большие...

— Трудно сказать,— пробормотал Зиновьев.— При этих обстоятельствах сохранить газету?.. Более чем сомнительно.— Стараясь скрыть свое уныние, он все-таки заставил себя встать и произнести довольно бодро и даже несколько игриво: — Писать, писать, писать.

— Десять часов,— объявил Емельянов, посмотрев на свою серебряную луковицу.— Саша вот-вот появится.

Ленин и Зиновьев пошли к расчищенному Емельяновым пространству среди зарослей ивняка и расположились там. Они некоторое время молча поработали, каждый за своим пеньком, каждый со своей чернильницей-невыливайкой. Солнце подымалось все выше, стало тепло. Ленин писал быстро. Иногда он вставал и прохаживался взад-вперед, шепча почти вслух слова статьи, затем снова садился. Наконец он поднял глаза на Зиновьева. Тот сидел задумавшись, его большие глаза навыкате смотрели в пространство. Ленин улыбнулся.

— Не пишется? — спросил он.— В таком случае почитайте.

Он сложил листочки рукописи, перегнулся через чурбак и подал их Зиновьеву.

Это была еще не законченная статья, называвшаяся «К лозунгам». Зиновьев лег на траву и начал читать. Он лежал и читал и восторгался необычайной энергией, прямотой и глубиной изложения. «Достойно самых лучших работ Маркса,— думал Зиновьев, умиляясь все больше,— Маркса эпохи «Новой Рейнской газеты», того периода, когда он находился в средоточии революции и ему казалось, что революция эта будет победоносной...» Его мягкие, несколько рыхлые черты лица отвердели, но по мере чтения лицо его все больше вытягивалось. Он покачал головой, сложил листочки, долго и старательно укладывал их в ровную стопочку.

— Что? Не понравилось? — спросил Ленин, взметнув на него левую бровь.

— Статья замечательная... только...

— Что только?

— Совершенно неожиданная по постановке вопроса. Как? Снять в нынешний момент популярнейший лозунг «Вся власть Советам!»? Ленинский лозунг! Ваш лозунг! — Он встал, недоумевающий, почти испуганный.— Лозунг, вами излюбленный, вами разработанный! И вы так спокойно от него отказываетесь! Непостижимо! Невероятно! И, мне кажется, невыгодно! К этому лозунгу массы привыкли! Да, да, и с этим надо считаться!

Ленин усмехнулся:

— Ах, так! Значит, вы за статью, но против того, что в ней написано?

Зиновьев замахал руками:

— Совсем не то, совсем не то! Я согласен по существу ваших рассуждений, но сомневаюсь в тактической целесообразности. Я похвалил вашу статью...

— Как образцовое, но не имеющее практического значения произведение большевизма?

— Подождите, не прерывайте меня. Может быть, дело в формулировках. Надо их смягчить. У меня такое впечатление, что эсеры и меньшевики из ЦИКа начинают понимать ошибочность своего поведения, опасность для них же самих травли большевиков... Они начинают догадываться, что стоит дать буржуазии палец, и она отхватит всю руку... Есть ли смысл при этих обстоятельствах...

— Ах, вот что! Вы хотите дать возможность мелкобуржуазным деятелям исправить ошибку! Вы все еще никак не можете забыть, что меньшевики и эсеры считают и именуют себя социалистами? Это детская наивность или просто глупость, это внесение мещанской морали в политику. Нынешние Советы — пособники контрреволюции. Как можно при этих обстоятельствах говорить о какой-то их «ошибке»? Они умыли руки, выдав нас контрреволюции. Они сами скатились в яму контрреволюции. В лучшем случае они похожи на баранов, которые приведены на бойню, поставлены под топор и жалобно мычат. Милюков и тот это знает. Вы напрасно морщитесь. Враги иногда лучше видят и точнее понимают обстановку. У них не грех поучиться. Бульварное «Живое слово» верно писало о теперешних Советах, что они, как пошехонцы, заблудились в трех соснах. Вдруг кто-то сказал: надо позвать казаков. И Советы облегченно вздохнули и позвали казаков... Вот они что, ваши нынешние Советы!

— Мои Советы,— слабо усмехнулся Зиновьев.

— Для меня в итоге июльских событий стало ясно одно: власть должна быть взята революционным пролетариатом самостоятельно. Тогда снова появятся Советы, но не эти, не теперешние, не предавшие революцию, не старые Советы, а обновленные, закаленные, пересозданные опытом борьбы.

— Это все правда. Но стоит ли...

— Стоит ли говорить массам правду? Обязательно стоит. Массы должны знать правду. Нет ничего опаснее обмана.

— В принципе да...

— Раз в принципе, значит — и в частностях, и всегда, и при любой обстановке!

— Ах, Владимир Ильич, зачем вы мне говорите общие места, известные мне не хуже, чем вам! Вы говорите вообще, а я говорю о тактике.

— Превосходно. Наша тактика — говорить массам правду. Правду надо им говорить даже тогда, когда это нам невыгодно; только тогда они будут нам верить. Мы будем непобедимы в том случае — и только в том случае,— если всегда, при всех поворотах истории будем говорить массам правду, не будем выдавать желаемое за сущее, не будем врать из так называемых «тактических соображений»... Ибо тактика от стратегии вовсе не так сильно отгорожена, как это кажется некоторым товарищам... Я раскричался, забыл, что мы в подполье.

— Именно забыли,— усмехнулся Зиновьев не без ехидства.— А мы в подполье! И поэтому мне кажется неверным говорить и писать сейчас о взятии власти революционным пролетариатом самостоятельно, как вы сказали только что. Такая постановка вопроса послужит поощрением для разрозненных выступлений, которые помогли бы контрреволюции, как это и случилось...

— Надеюсь, что последние события научили рабочих не поддаваться на провокацию в невыгодный момент. Неужели вы не видите, что этап мирного развития революции окончился бесповоротно и наступил новый, в котором все будет решаться силой оружия? Не видите? Странно! А я вижу. И я все это напишу, обязательно!

Зиновьев угрюмо помолчал, уселся, снова полистал странички рукописи и сказал своим тонким голосом:

— Подумайте все же о формулировках. Мне кажется, статья написана в раздражении... В абсолютно законном раздражении против Дана и Церетели... Но раздражение — плохой советчик.

— Ничуть не худший, чем перепуг!.. Кадетская «Речь» называет нас удалыми ушкуйниками типа Васьки Буслаева. Что ж, на научной основе, вооруженные знанием и пониманием процесса развития общества, ушкуйники не худшая категория россиян. «Смелость, смелость и еще раз смелость» — это сказал уже не Васька Буслаев, а Дантон — величайший революционный тактик в истории человечества.

Голоса спорящих то понижались, то разносились так далеко, что Емельянов даже несколько встревожился. Он выслал Колю дозором к озеру и вправо в лес, а сам, возясь со своим несложным хозяйством, прислушивался к спору. Он всей душой был на стороне Ленина,— он, старый партийный боевик, всегда был на стороне решительных действий.

«Ну и песочит, ну и песочит!» — одобрительно, во весь свой

ослепительный рот улыбался Емельянов, слушая Ленина, и при этом, чтобы не обидеть Зиновьева, если тот оглянется, заслонял свою улыбку поглаживанием черных усов. Ленин на этом маленьком лужке казался ему немного похожим на их заводскую динамомашину, прикованную к стене и подрагивающую от заключенной в ней энергии, как бы желая сорваться с места, и пойти, и пойти!

5

И все-таки Зиновьев, хорошо знавший Ленина, был не совсем неправ в своих догадках насчет его душевного состояния. Действительно, к сердцу Ленина то и дело приливало чувство горечи и одиночества.

Это чувство, не часто посещавшее его душу, широко открытую для общения с людьми, может быть, было следствием многомесячного напряжения, чрезвычайной усталости от выступлений на митингах и собраниях и от постоянного внешнего спокойствия и собранности, стоивших ему немало сил. Его равнодушно-насмешливое отношение к бесчисленным нападкам и клеветам даже удивляло товарищей, но оно было не более как выработанным в течение жизни умением отметать чувствования ради дела. Впрочем, это умение и посейчас давалось с большим трудом.

Как ни странно, но совсем мелкий случай, которому он вначале не придал никакого значения, вывел Ленина из равновесия.

Третьего дня, находясь еще на чердаке емельяновского сарая на станции Разлив, он попросил Емельянова подыскать среди рабочих-большевиков Сестрорецкого завода умного, расторопного парня, способного выполнять несложные, но требующие выдержки и сметки обязанности связного. Из Питера к Ленину приезжал связной ЦК, но не мешало иметь под рукой человека, которого можно в срочных случаях посылать туда.

Емельянов пообещал привести такого человека, и Ленин, подумав, предложил устроить для предполагаемого связного нечто вроде испытания. Емельянову следовало подвести его поближе к сараю или завести вовнутрь и затеять с ним разговор, а Ленин послушает, и затем, если человек окажется подходящим, Ленин спустится и откроется ему.

На следующий день к Емельянову пришел молодой рабочий.

Через одну из щелей чердака Ленин следил за обоими, смотрел прищурясь, как они медленно шли по дворику, как остановились возле дачи, как подошли к сараю. Парень, выбранный Емельяновым, Ленину понравился. Это был крепкий русый человек, смирный, улыбчивый, с хорошим правильным лицом; он относился с какой-то приятной уважительностью к Емельянову и его жене Надежде Кондратьевне, которая в тот момент подошла поздороваться и затем исчезла в садике по своим многочисленным хозяйственным делам.

Емельянов завел парня в сарайчик, и оба они уселись за столик. Ленин же, страшно заинтересованный, прилег на сено и стал слушать.

Емельянов кашлянул, прислушался к чердаку и спросил:

— Ну, Алексей, как дела в заводе?

— Дела! — ответил Алексей.— Дела плохие. Совсем нас прижали. Проходу нет. Хоть беги куда глаза глядят.

— Это почему же?

— Спрашиваешь! Жить не дают. «Германские шпионы, агенты Вильгельма»... Все разладилось.

— Ну, дело естественное,— сказал Емельянов, беспокойно заворочавшись на лавке,— понятно, враги пролетариата...

— Враги!.. Если бы одни враги. Все говорят! Хоть беги куда глаза глядят.

— Заладил: беги, беги... Обыватели болтают чепуху, а ты раскис.

— Или вот про Ленина... Разве одни обыватели толкуют? Старые революционеры и те... Им-то какой расчет? Нехорошо все. Некрасиво.

— Глупый ты, глупый, глупый! Веришь всякой дряни... Ну, ладно, пошли, пошли...

— Не то что верю... А мы с тобой в душе у него не были. Кто его знает? Мы люди рядовые, рабочие. А он за границей всю жизнь прожил. Что ты, возле него был все время? Сам знаешь — Азеф, Малиновский. Им тоже верили. А Малиновский — тот был даже большевиком, членом ЦК... Мне от этих разговоров муторно, я ночами не сплю. А сам-то Ленин? Скрылся? Если бы не скрылся, явился бы на суд, оправдал себя — тогда дело другое. А то скрылся. Пишут, на аэроплане перелетел в Германию.

Емельянов сидел подавленный. Его сердце учащенно билось. Он уже не слышал, что говорит Алексей, он прислуши-

вался к чердаку. За окошком на улице пропел петух и пролаяла собака, и Емельянову хотелось, чтобы собака лаяла, а петух пел громче и дольше, чтобы ничего не слышно было на чердаке. Он резко встал, опрокинув лавку, и сурово сказал:

— А я думал — ты человек... Эх!.. Ладно, пошли, пошли...

— Ты напрасно обижаешься, Николай Александрович,— зачастил Алексей,— совсем напрасно! Тут душа болит. Делюсь с тобой, как с товарищем.

— Ладно. Пошли.

Алексей помолчал, потом сказал, отвернувшись:

— Болеешь все?

— Да.

Они вышли из сарая. Алексей неловко кивнул головой и ушел. Емельянов постоял минуту, потом медленно вернулся в сарай, постоял и здесь минуту, прислушался. Было очень тихо. Он густо покраснел, обдернул рубашку и стал подниматься по лесенке на чердак. Ленин сидел за столом и писал. Когда голова Емельянова показалась в отверстии чердака, он вскинул на Емельянова глаза, пронзил его довольно долгим проницательным взглядом, потом неожиданно повеселел и сказал:

— Ну, батенька, и выбрали вы связного! Ну и выбрали! Ничего, ничего, не огорчайтесь... Рабочий класс, он ведь, к сожалению — и к счастью, и к счастью! — не состоит из однородной массы.— Он подошел к отверстию чердака, присел на корточки и ласково хлопнул Емельянова по плечу.— Не огорчайтесь.

Емельянов просветлел, вздохнул с облегчением и, помолчав, проговорил виновато:

— Плохо я, оказывается, знаю людей...

Ленин повторил так же ласково, но уже рассеянно:

— Не огорчайтесь.

Однако позднее вечером, работая над статьей «Политическое положение» в прохладной баньке на берегу озерка, примыкавшего ко двору Емельяновых, он призадумался и сам огорчился. Именно потому, что парень-то был в общем хороший, искренний. В нем чувствовалась начитанность, культура, свойственная лучшим питерским рабочим. Правда, Ленину парень не понравился, когда уходил,— не понравилась его круглая, чуть сутулая, жирноватая спина. Но он понимал, что спина тут ни при чем, что неприязнь к спине — просто маленькая компенсация за пережитое во время разговора.

В баньке было чисто, прохладно и сумеречно. Ленину взгрустнулось. Он опустил голову на руки, скрещенные на столе,— поза, ему несвойственная. Он понял, что им овладевает то состояние нервного перенапряжения, которое заставляло его в Швейцарии и под Краковом немедленно бросать работу, уходить в горы, бродить там пешком, изнурять себя физически. Здесь это было невозможно. Он был прикован к этой баньке и к чердаку, и не так к ним, как к событиям в Питере, к столбцам газет различных направлений, орущих, клевещущих, пытающихся сбить с толку рабочий класс и солдатские массы, опорочить в их глазах партию большевиков.

Он поднял голову. Газетные страницы лежали веером на столе, источая яд каждой своей строчкой. Вот кадетская «Речь»: «Партия народной свободы требует, чтобы немедленным арестом Ленина и его сообщников свобода и безопасность России были ограждены от новых посягательств».

«Они не провокаторы, но они хуже, чем провокаторы: они по своей деятельности всегда являлись вольно или невольно агентами Вильгельма II... Народ имеет право требовать от правительства свободной республики исчерпывающего расследования всей деятельности Ленина. К изучению большевизма мы не раз еще вернемся в ближайшем будущем». Это пишет Владимир Бурцев.

«Господа, когда слышишь голоса прошедших через Германию лиц, когда вдумываешься в то, что они проповедуют, то для меня явственно звучит: продолжительное пребывание среди немцев, пропитанность их идеями — вот это что. Тут русского ничего нет». Это речь октябриста Савича.

Речь Милюкова: «Во всех случаях, связанных с именем Ленина, я отвечал только тремя словами: арестовать, арестовать, арестовать!»

«В зале Первого Кадетского Корпуса (Университетская набережная, 15, церковный вход) лекция С. А. Кливанского (Максим), члена Совета Р. и С. Д., «Революционеры или контрреволюционеры?» Критика ленинизма. Вход 30 коп.».

«Кабаре Би-Ба-Бо. Итальянская, 19. Сегодня — съезд к $10^1/_2$ ч. веч. Лекарство от девичьей тоски. Песенка о Ленине. Кусочек пляжа. Песенка о большевике и меньшевике. Сказка о дедке и репке. Человек запломбированный и мн. др. Вход 10 рублей».

«Родные братья-казаки, к вам, свободные сыны привольных степей, дорогая мать-Россия протягивает руки и горько плачет. Найдите среди себя Ермака или Минина, а гражданина Керенского возьмите себе за Пожарского и спасите Россию. Довольно предательств, анархии и ленинского позора, скажите: руки прочь, принесите на ваших шашках мир и получите в награду мировой орден».

Глаза Ленина презрительно сощурились. «Нет худа без добра»,— подумал он, глядя в крошечное окно баньки на серое озерко. Кадеты и Керенский пересолили. Миллионы экземпляров буржуазных газет, на все лады порочащие большевиков, помогают втянуть широчайшие массы в оценку большевизма. А когда они его оценят по достоинству, тогда крышка и кадетам и Керенскому. Эсеры и меньшевики, как и полагается мелким буржуа, мечутся из стороны в сторону. То они выступают в защиту Ленина от клеветы, устами самого Церетели объявляют, что Ленин «ведет идейную, принципиальную пропаганду», образуют следственную комиссию для разбора «дела Ленина», то поддерживают клевету, распускают следственную комиссию, требуют явки Ленина на суд буржуазии.

Обидно только за рабочих, за этого Алексея с его жирноватой спиной, который поддается вражеской агитации, все еще верит в благородство «старых революционеров» из нынешних Советов и в справедливость буржуазного суда. «С его жирноватой спиной». Да будь она неладна, эта спина!

Этот Алексей ненароком упомянул и Малиновского и разбередил свежую рану, еще не зажившую в душе Ленина. Роман Вацлавович Малиновский, кооптированный в 1912 году в члены ЦК партии, лидер фракции большевиков в IV Государственной думе, оказался провокатором, получавшим от охранки пятьсот рублей в месяц — высший провокаторский оклад. Буржуазная печать после Февральской революции злорадно поносила большевиков в связи с делом Малиновского, обвиняла Ленина в «выгораживании» провокатора. Правда заключалась в том, что Ленин действительно не верил в предательство Малиновского до самого последнего времени, когда были опубликованы точные и неопровержимые доказательства из архива департамента полиции. Не верил, хотя некоторые товарищи предостерегали его, хотя Надежде Константиновне Крупской с ее тонким чутьем на людей Малиновский не нравился, хотя Малиновский вел себя странно, отказался внезапно и самовольно

от мандата члена Государственной думы и уехал за границу. Не мог верить, не хотел верить. Почему? Не потому ли, что Малиновский был рабочим, слесарем? Ленин питал к рабочим людям особого рода слабость — не только к рабочему классу в целом, а к каждому сознательному и еще несознательному рабочему в отдельности. Он терпеть не мог тех социалистов, которые, наподобие Плеханова, обожали «пролетариат», клялись «пролетариатом», но не больно жаловали Ваню, Федю, Митю, Ивана Ивановича и Пелагею Петровну, не верили в их разум, не ставили их ни в грош. «Пролетариат» постепенно превратился для таких социалистов в нечто расплывчатое, неопределенное, бесплотное, стал формулой, сухой, как скелет, пустопорожней, как бог.

Да, Ленин гордился искусными выступлениями рабочего в Думе, его начитанностью, любознательностью, его талантом рассказчика и надеялся, что со временем из этого человека выработается настоящий рабочий вождь, «русский Бебель». Даже узнав, что жена Малиновского совершила попытку самоубийства,— теперь казалось вероятным, что ей стало известно предательство мужа,— и позднее, когда Малиновский появился в Поронине испуганный и развинченный, Ленин не допускал возможности его предательства и относил все за счет надломленной нервной системы и чувства обиды на подозрения, о которых Малиновский знал. Между тем Малиновский, рабочий лидер, наводивший страх на председателя и товарищей председателя Думы, произносивший в Думе с таким пылом речи, написанные для него Лениным, давал, оказывается, эти речи на предварительный просмотр директору департамента полиции Белецкому!

— Так что, уважаемый Алексей,— сказал Ленин вслух,— рабочий рабочему рознь...

Ленин с сокрушением подумал, как, в сущности, легко заслужить бурное одобрение этого Алексея и таких же доверчивых недоумков, как он. Еще не поздно отдаться в руки полиции. Алексей не понимал, что никакого суда не будет, в лучшем случае Ленина упрячут за решетку, лишат возможности влиять на события, а в худшем — и это почти несомненно — убьют по дороге в тюрьму. (Прекрасный повод для Алексея покаяться в своих заблуждениях и поплакать Емельянову в жилетку!) Пойдя на это, он, Ленин, поддался бы непростительным для пролетарского революционера мелкобуржуазным иллюзиям.

И тем не менее — слаб человек! — хотя все это было ему совершенно ясно, Ленин заметил, что не перестает все время сочинять в голове свою речь перед буржуазным судом. Он, казалось ему, слышит выступления прокуроров и отвечает на них, излагая пятнадцатилетнюю историю большевизма, его идеологию, его цели. Что касается болтовни о шпионаже, то ее глупость и бездоказательность были ясны самим обвинителям. Все обвинение основывалось на показаниях пойманного русской контрразведкой свежеиспеченного немецкого шпиона — прапорщика Ермоленко, который якобы сообщил: завербовавшие его офицеры германского генштаба сказали ему, что, кроме него, в России действуют в качестве агентов Германии Ленин и другие большевики. Поверить в то, что офицеры генштаба германской армии раскроют перед только что завербованным рядовым агентом свою агентуру, могли только совершенно темные люди. Все эти «показания» были инспирированы русской контрразведкой и ее руководителем генералом Деникиным еще в мае и не были обнародованы тогда только за их полной абсурдностью. Лишь в июле, напуганный вооруженной демонстрацией, министр юстиции Переверзев решил при помощи ренегата Алексинского пустить в ход эту убогую клевету, чтобы дискредитировать большевиков в глазах солдат.

Разбить доказательства клеветников в судебном заседании было проще простого. Ленин видел перед собой лица «свидетелей» — пожираемого неутоленным честолюбием Григория Алексинского, скользкого и омерзительного, как все ренегаты; видел засыпанный перхотью пиджачок Бурцева, «революционера-террориста», как он величал себя, хотя никогда никого не убил, человечка с острыми глазками на заросшем грязноватой бородкой лице; видел честолюбца и позера, анархиствующего денди Бориса Савинкова; видел бывшего марксиста Потресова и бывшего большевика Мешковского; видел всех этих бывших людей, их профессорские бородки и обвислые щеки, слышал их слова, полные ненависти и страха, и отвечал им, ловил их на передергиваниях, лжи, невежестве, ненависти к революции, страхе перед массами, презрении к русскому рабочему классу, неуважении к пролетарской демократии и сладеньком преклонении перед демократией европейской, буржуазной, с ее рабочими певческими союзами и «марксистскими» пивными! Он был готов встретиться с ними в судебном зале и где угодно и высказать им все свое презрение. И, может быть, больше всего

мечтал он сойтись лицом к лицу с Плехановым, посмотреть ему в глаза, сцепиться, схватиться с ним теперь, когда сам вырос вместе с революцией. Чудовищное превращение Плеханова-интернационалиста в заурядного российского ура-патриота, Плеханова-революционера — в смятенного обывателя-либерала до сих пор, несмотря на весь опыт прошлых лет, огорчало и удивляло Ленина. История — сложная штука. Возможно, что Вольтер и даже Руссо были бы противниками вдохновленной их идеями Великой французской революции, если бы они дожили до нее. Какое счастье суметь умереть вовремя! Плеханов этого не смог.

Увлекаясь, Ленин в своем одиночестве все сочинял и сочинял свою речь — вернее, свои речи — перед судом. Его глаза начинали задорно посверкивать, губы кривились в усмешку. Презрение его к политическим противникам из лагеря мелкой буржуазии вовсе не было агитационным приемом: он действительно воспринимал их статьи, их речи, их стиль, их повадку, их слюнявые проповеди и громкие клятвы с чувством глубочайшего неуважения. Они даже временами удивляли его своим полным непониманием происходящего. Керенский казался ему попросту невзрослым человеком, шумливым недорослем. Дан и Церетели были злыми, вороватыми мальчишками, Мартов — мальчишкой слабым и несчастным, Чернов — мальчишкой гадким и самовлюбленным. Они все оказались настолько недостойными размаха и значения русской революции, что Ленин, право же, удивлялся своему прежнему серьезному к ним отношению.

Впрочем, они были скроены по образу и подобию российского обывателя, выражали его колеблющуюся природу, говорили на его половинчатом языке. Их посулы и фразы туманили обывателю голову. Свести на нет их влияние — насущная задача дня. Без этого нельзя было дать бой главным противникам, представителям крупной буржуазии, откровенной и полуоткровенной контрреволюции — Милюкову и Маклакову, Рябушинскому и Терещенко. Эти знали, чего хотели. Это были деловые люди, люди крупного торгового расчета, привыкшие подходить к вопросам политики строго деловым образом, с недоверием к словам, с умением брать быка за рога. Сражение шло именно с ними, после июля именно они осуществляли власть в государстве, и суд, на который Ленина призывал явиться этот Алексей, был их судом.

Следовало во что бы то ни стало показать рабочим вредность иллюзий о нынешних соглашательских Советах и о правосудии Керенских и Переверзевых.

В маленькой прохладной баньке Ленин задумал тогда две статьи, названные впоследствии «К лозунгам» и «О конституционных иллюзиях».

6

Первую из этих статей он уже кончал, сидя у шалаша среди зарослей, когда раздался условленный свист и на лужке появился старший сын Емельянова — семнадцатилетний Саша. Ленин рванулся ему навстречу и взял у него из рук увесистую пачку газет. Не произнеся ни слова, он сел на траву возле потухшего костра рядом с Зиновьевым и Емельяновым и начал перелистывать газеты, время от времени похмыкивая в разнообразных интонациях либо многозначительно и быстро произнося: «Так, так», «ага», «так, так». Казалось, он ведет с кем-то молчаливый яростный спор, в его глазах появлялись то презрение, то уныние, то страсть, то удовольствие, то азарт.

— Разговор пошел о восстановлении смертной казни,— сказал он, наконец подняв голову.— Вот телеграмма Корнилова, смахивающая на ультиматум: «Армия обезумевших, темных людей, не ограждаемых властью от систематического развращения и разложения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит. Или это бегство будет прекращено и этот стыд снят революционным правительством, или если оно это сделать не может, то неизбежным ходом истории будут выдвинуты другие люди, которые, сняв бесчестье, вместе с тем уничтожат завоевания революции и потому не смогут дать счастья стране...» Вы слышите, Григорий, эти глухие угрозы? Очень интересно! Очень показательно! Дальше хлеще: «Я, генерал Корнилов, вся жизнь которого с первого дня сознательного существования доныне проходит в беззаветном служении родине, заявляю, что отечество гибнет... Необходимо немедленно, в качестве временной меры...» Временной? Боится все-таки сказать всю правду, виляет «беззаветно служащий» родине — «...вызываемой исключительно безвыходностью создавшегося положения, введение смертной казни и введение полевых судов на театре военных действий». Вот это разговор серьезный. Без виляний. Почти без виляний. И тут же — глядите! — уже указ

правительства о восстановлении смертной казни за подписями Керенского, Ефремова и Якубовича. Ультиматум принят. С небольшим изменением, очень характерным для краснобая Керенского: введены, видите ли, не полевые суды, а военно-революционные. Для пущей красоты, чтоб массы приняли сие мероприятие за революционное. Корнилова поддерживает другой ужасный революционер — Борис Савинков, террорист-беллетрист: «Смертная казнь тем, кто отказывается рисковать своей жизнью за родину, за землю и волю». Фразеология ух какая революционная, а внутри труха, ибо нет земли и нет воли! А что тем временем делает ЦИК Советов? Что поделывают наши социалисты? Ага! Так, так! Вот они, «вожди полномочных органов российской демократии». Отчет об объединенном заседании ЦИК Советов Рабочих и Солдатских Депутатов и Исполнительного Комитета Крестьянских Депутатов. Речь Керенского: «Правительство спасет Россию и скует ее единство железом и кровью, если доводов разума, чести и совести окажется недостаточно». Это намек на нас. Аресты, убийства и подлая клевета считаются доводами разума, чести и совести. Ему отвечает сам Николай Семенович Чхеидзе. Он обещает полную поддержку Временному правительству. Так, так, Керенский обнимает Чхеидзе, они целуются. Как они любят целоваться! История России должна записать на своих скрижалях, что, восстанавливая смертную казнь, мещане любили целоваться. Господин Федор Дан вносит — весьма кстати в связи с восстановлением смертной казни, весьма кстати! — резолюцию с требованием, чтобы я и вы, Григорий, явились на суд. Тот самый Федор Дан, который пятнадцать лет назад повез в своем чемодане с двойными стенками из Мюнхена в Белосток мою книжку «Что делать?», книжку, которой он безмерно восхищался и в которой, кстати, уже тогда ясно провозглашалась наша цель — социалистическая революция. Зигзаги истории!.. А вызванные правительством войска для подавления большевиков продолжают прибывать в Питер. Прибыли сто семьдесят седьмой Изборский полк, Венденский пехотный полк, девятая команда Кольта с пулеметами, третья школа прапорщиков... Четырнадцатый Митавский полк в полном боевом вооружении прошел на Дворцовую площадь, здесь его приветствовал — ха-ха! — не кто иной, как Виктор Чернов, вождь эсеров и министр буржуазного правительства... Дело катится к бонапартистской диктатуре, а социалистические министры служат для нее ширмой. Чрезвычайное собрание офи-

церов Петроградского гарнизона. Эти неплохо понимают обстановку, получше, чем бывшие марксисты. Капитан Журавлев говорит, что «профессиональной организации, какой является Совет, не по силам заниматься государственными делами». Капитан Милованов предлагает ввести смертную казнь и в тылу, и для штатских. Еще лучше и точнее выражается сотник Хомутов: «Нужен хирург. Хирург — единая военная диктатура». О! Договорились. А вот статейка некоего Арбузьева,— псевдоним, разумеется. Разумеется, кадет, несомненно, кадет. Называется статейка кратко, но многозначительно: «Он». Лирическая статейка с очень ясной политической подоплекой. «За последний месяц,— пишет этот кадет (несомненно, кадет!),— я часто думал о нем. Старался его себе представить. Искал его лицо среди встречных прохожих, пробовал угадать его имя в длинных вереницах неизвестных прежде имен, которые ежедневно преподносит нам газетная пресса. Потому что я с каждым днем все меньше и меньше сомневаюсь в его приходе. Кто он? Конечно, военный. Офицер. Поручик или, может быть, молодой капитан. Чин в настоящее время не имеет значения. Дорога открыта талантам. Он, должно быть, желчен, упорен в труде, чудовищно самолюбив, но умеет скрывать это. Ум у него совершенно холодный, трезвый, свободный от всяких иллюзий, гибкий и острый, как шпага. Такие слова, как «отечество», «свобода», «пролетариат», «равенство», «демократия», «социализм» и «всеобщее счастье», не имеют для него никакого обаяния. Он смотрит, выжидает, рассчитывает. 3 июля после стрельбы на Садовой мне одну минуту чудилось, что я вижу его. Взволнованная толпа шумела, как море. И вот, словно пловец на гребне волны, на плечах группы людей появился офицер в кожаной куртке, с тремя нашивками, обозначающими число ранений, на рукаве. Через плечо его была перекинута винтовка, которую он только что отнял у красногвардейца. Он был невелик ростом, грациозен и гибок. Пристально и зорко глядели блестящие черные глаза. Его профиль напоминал... ну да, конечно, призрачное, неверное сходство,— но он напоминал Наполеона в молодости. Вам не кажется ли, читатель, что вы слышите отдаленное эхо его поступи? В голубом мерцании белой петроградской ночи не замечаете ли вы, как чья-то исполинская тень поднимается от земли к небу?..» Вот она, мечта буржуя! Буржуй прекрасно видит, что в голубом мерцании белой петроградской ночи от земли к небу поднимается исполинская тень победив-

шего пролетариата. Он это видит, и дрожит от ужаса, и мечтает, чтобы эта тень была заслонена другой, милой его сердцу тенью российского бонапартия с винтовкой, отобранной у красногвардейца, тенью возлюбленного диктатора, циника, для которого такие слова, как «отечество», «свобода», «пролетариат», «социализм» и «всеобщее счастье», не имеют никакого обаяния... Насчет поручика или молодого капитана буржуй говорит так, зря, для красного словца. Тут не поручик, тут полный генерал найдется. Может быть, тот самый, «вся жизнь которого проходит в беззаветном служении» и который в «качестве временной меры» ввел смертную казнь. Но все эти Арбузьевы ведут счет без хозяина. Эти профессора и присяжные поверенные все еще думают, что массы, толпа — навоз истории. Они все еще уверены, что смогут достигнуть своих целей министерскими комбинациями и распределением портфелей!.. Ну-с, а вот и поэзия, слушайте:

Я с кухаркою на кухне
Песню пел гусарскую.
Эй, Расеюшка, не рухни
В яму луначарскую...
Мне не надобно ханжи,
Поцелуя женина.
Ты мне лучше покажи
Спрятанного Ленина.

Гм, гм... А вот и плохие известия. В Ревеле разгромлены большевистские газеты «Утро правды» и «Кийр»... В Гельсингфорсе закрыта «Волна». В Кронштадте запрещен «Голос правды»... Статью свою кончили, Григорий? Не кончили? Все равно — кончайте. И я свою сейчас закончу. Ничего, где-нибудь напечатаем. Чего ты, Саша, так приуныл? Не бойся. Они ведут счет без хозяина. За газеты спасибо, хотя ты и привез дурные вести. Дурные вести укрепляют характер... Уже уходишь? Передай привет матери. До свидания, Саша. Кто завтра привезет газеты?

7

В полдень стало очень жарко. Зной лежал на лужке, как нечто весомое и неподвижное, и даже тень, обманчиво темная, не могла побороть его, превратилась в одну видимость, прокалилась насквозь. В тени напрасно искали убежища тучи комаров, ящерицы и стрекозы. Ленин все чаще отрывался от ра-

боты и глядел на полуголого Емельянова, косившего траву неподалеку.

Емельянов косил только ради конспирации, с тем чтобы стог поднимался выше, как на порядочном сенокосе. Но делал он это споро, умеючи и с удовольствием. Он вообще был мастером на все руки. Косить здесь было трудно. Ленин разок попробовал и чуть не сломал косу: в траве торчало много мелких пеньков. Еще будучи на чердаке в сарае, Ленин иногда любил глядеть через щели на то, как Емельянов плотничает и копает, как Надежда Кондратьевна с двухгодовалым Гошей на руках готовит обед у очажка, сложенного во дворе. Ее чистый лоб покрывался каплями мелкого пота, милое лицо румянилось. Ленин думал о том, что эти рабочие люди — настоящие революционеры, готовые отдать жизнь за освобождение рабочего класса. Так они безропотно, несмотря на смертельную опасность, согласились укрыть у себя Ленина. Но семья есть семья. Пока суд да дело, они справляют свои хозяйственные дела расторопно и любовно, поливают грядки, готовят пищу, поправляют завалинку дома, растят своих семерых детей, воспитывая их незаметно, без потаций и криков, силой собственной честности перед собою и людьми, неизменной правдивостью и постоянным трудом.

Это была первая русская рабочая семья, в жизнь которой Ленин вошел за последнее время. Ему нравилось слушать русскую речь из детских уст — а то он вообще мало общался с детьми, а если и общался, то с детьми эмигрантов, которые разговаривали по-французски или по-немецки. На рассвете, мучимый бессонницей, он слезал с чердака и неслышными шагами пробирался среди спавших на сене детей. Дети лежали разметавшись, румяные, теплые, детский храп и ровное дыхание умиляли его. Ему хотелось, чтобы их видела Надежда Константиновна. Он испытывал в эти мгновения тихую зависть к Емельяновым, к их семейным заботам и радостям, которых он, профессиональный революционер, был лишен раньше и будет лишен всегда.

Проснувшись, вся семья принималась за дело — каждый в меру своих сил работал для общего благополучия.

Ленину нравилась эта неторопливая человеческая деятельность большой семьи. Когда он глядел на них, на их труд, как теперь на Емельянова с косой, им овладевала страсть к физическому труду, ему хотелось копать, строгать, носить землю, мыть полы. Он скоро забывал об этом желании, возвращался к своим

статьям и газетным полосам, и его снова захватывали всего целиком кипения других страстей, страдания и чаяния масс, коварные происки партий.

Когда Коля вернулся со своего «обхода» по берегу озера, он застал Ленина снова ушедшим целиком в работу. Сев у шалаша, он долго смотрел на Ленина, как тот пишет, думает, встает, прогуливается, размышляя, взад и вперед, не обращая внимания на страшную жару. Коле хотелось позвать Ленина купаться, но он не посмел прервать его работу: отец за это сердился.

Посидев, он снова ушел к озеру. Здесь в укромном месте были спрятаны удочки. Он достал одну и сел удить, но рыба не клевала: было слишком жарко. Поэтому он спрятал ее, из того же укрытия достал лук и стрелы и пострелял в цель. Все утро ходил он вокруг шалаша, добросовестно исполняя свои обязанности разведчика. Он тихо ступал по тропинкам, бесшумно раздвигал ветки деревьев, вглядывался в причудливые очертания сухостоя, замирал, прислушиваясь к неясным звукам леса и звону комарья в зарослях.

Углубившись в чащу, он вскоре услышал отрывистый свист косы и крадучись добрался до лесной поляны, где находился сенокосный участок Рассолова, тоже сестрорецкого рабочего, живущего в поселке Разлив, неподалеку от Емельяновых.

Коля лег, пополз и замер за деревом. Рассолов косил, то и дело вытирая пот со лба, косил мелкими, осторожными взмахами, негромко бормоча проклятия в те мгновения, когда коса задевала за скрытый в траве пенек или кочку. Коля смотрел на него, сощурив глаза, как Ленин, и хотя отлично знал Рассолова и его сына Витю, но для интереса воображал, что это не Рассолов, а шпик Временного правительства, прикидывающийся косарем для слежки за Лениным. Сжав правую руку в кулачок с вытянутым указательным пальцем наподобие револьвера, Коля старательно прицелился Рассолову в лоб, затем в грудь, соображая, куда лучше стрелять, чтобы покончить с «гадюкой» одним выстрелом, не затевая перестрелки, так как она может привлечь других шпиков, скрывающихся повсюду, за каждым деревом.

Рассолов между тем кончил работать, обтер косу травой, приставил ее к стенке шалаша, покряхтел и сел обедать. Он вынул из мешка каравай хлеба, бутылку постного масла, связку зеленого лука и несколько огурцов. Он сидел к Коле боком,

привалившись к стогу, и Коля, сменив гнев на милость, решил, что на сей раз стрелять не будет, так как теперь стрелять невыгодно, несподручно. Коля попятился в глубь леса и пошел влево, по-прежнему бесшумно, замирая на месте при каждом звуке. Вскоре он наткнулся на большой муравейник, застыл возле него, приник к земле и, затаив дыхание, стал наблюдать муравьев так, словно и они могли оказаться шпиками. Муравьи сновали вверх и вниз, взад и вперед, переползали один через другого. Присутствие Коли они все-таки заметили: в куче поднялась большая беготня, муравьи задвигались быстрее, заторопились, словно делая революцию. Вероятно, у них был и свой Керенский. Один муравей тащил за собой красный стебелек,— наверно, большевик. Только митинговать они не умели, делали свое дело молча. И не лузгали семечек, как солдаты на Невском.

Коля обошел муравьиную кучу и направился к берегу. Он уже немножко устал прятаться, приникать к земле, замирать при каждом шуме, воображать всех шпиками и казаками. Но, выйдя к озеру, он сразу лег плашмя на землю: по озеру плыла лодка. У Коли замерло сердце. Он рванулся было к шалашу, но потом раздумал, решил понаблюдать. Вскоре он различил фигуры двух людей, а минуту спустя узнал брата Кондратия. Брат сидел на веслах. Коля улыбнулся, но из кустов не вылез, а, постаравшись забыть, что узнал брата, сделал серьезное лицо и стал напряженно следить за лодкой. Все-таки это было кое-что, не муравьиная куча! «Сюда плывут»,— пробормотал Коля озабоченно. На корме сидел человек в кожаной куртке. «В кожаной куртке в такую жару»,— подозрительно подумал Коля. Лодка врезалась в прибрежный камыш. Коля узнал человека в кожаной куртке — это был рабочий Сестрорецкого завода Вячеслав Иванович Зоф, несколько раз приезжавший к Ленину.

Не показавшись брату и Зофу, Коля отполз от берега в кусты и побежал к шалашу. Отец уже кончил косьбу и возился у костра. Приятно-горьковатый дымок шел оттуда. Ленин и Зиновьев, чуть видные за густым ивняком, по-прежнему писали. Коля громко просвистел снегирем и затаился в зарослях, не выходя на лужок для пущей таинственности.

Через минуту на залитом солнцем лужке появились Зоф и Кондратий. Ленин быстро пошел им навстречу, но затем остановился, скосил голову набок, окинул Зофа усмешливым взглядом и сказал, подмигнув Зиновьеву:

— Вот он самый, в кожаной куртке... Грациозен, гибок. Пристально и зорко смотрят блестящие глаза...— Он засмеялся и снова пошел навстречу Зофу, который был смущен и обескуражен непонятными ему словами.— Вам никто не говорил, что вы похожи на Наполеона в молодости? Нет?.. Ну и слава богу. Скидайте куртку, товарищ Зоф, в ней можно изжариться.

— Я взял ее ради подкладки,— сконфуженно объяснил Зоф.

Он снял куртку, распорол подкладку и вытряхнул целый ворох бумаг. Внезапно набежавший ветерок их подхватил, Ленин бросился ловить, Зоф — помогать. Ленин смеялся, а Зоф, вторя ему несколько неуверенно, удивлялся его непосредственности и поразительному самообладанию в такой тяжелый момент.

Но когда бумаги были пойманы, Ленин нахмурился и негромко спросил:

— Значит, все наши газеты закрыты? Кронштадтский «Голос правды» тоже? Как это кронштадтцы допустили?..

— Вместо него выходит «Пролетарское дело». На следующий день после запрещения «Голоса правды» уже выходила новая газета. Редактирует Людмила Николаевна Сталь.

— Прекрасно! — воскликнул Ленин и повернулся к Зиновьеву.— Видите, как мы с вами и предполагали, кронштадтцы не опозорились.— Он пошел к своему рабочему месту среди зарослей и тотчас вернулся с листками рукописей.— Садитесь, товарищ Зоф. Я вам сейчас все растолкую. Вот вам две только что написанные статейки — «Политическое положение» и «Благодарность князю Львову». Тут у меня еще одна статейка, написанная раньше, в Питере, насчет ухода кадетов из министерства. Эти три статейки передайте в «Пролетарское дело». Вместо «вооруженное восстание» я всюду в тексте написал слова «решительная борьба», чтоб власти не придрались и не закрыли газету — она теперь у нас единственная... Надеюсь, что рабочие правильно поймут это выражение... Каков тираж газеты?

— Не знаю, вышел только один номер. Точнее сообщу в следующий раз... Вот письма. Надежда Константиновна и товарищ Лилина здоровы. Бельишко и кой-какую снедь пришлют с Токаревой завтра.

— Очень хорошо, с ней я отошлю еще одну статью, которую постараюсь закончить сегодня. Очень важная статья. А сейчас я напишу письмо в редакцию «Пролетарского дела» — за нашими двумя подписями, Григорий. Надо, чтобы Кронштадт, и

не только Кронштадт, но и Питер знали, что мы живы, что мы работаем и отвергаем гнусную клевету.

Ленин сел писать. Зоф смотрел, как быстро и сосредоточенно он пишет. Вокруг него роилась мошкара и летали стрекозы. Он отгонял их рассеянным движением левой руки. Иногда на бумагу заползала гусеница, он брал ее и, не глядя, бросал в кусты.

— Что в Питере? — спросил Зиновьев. — Революционные части разоружены?

Зоф отвел глаза от пишущего Ленина и начал рассказывать:

— Да, я сам побывал рано утром на Дворцовой площади, когда разоружали Первый пулеметный полк. Площадь была вся оцеплена войсками. Вдоль Зимнего стояли казачьи и кавалерийские части, возле Главного Штаба — самокатчики, по фасаду министерства финансов и министерства иностранных дел — части Первой гвардейской дивизии, а вокруг Александровской колонны — батальоны Егерского и Семеновского и прибывшие с фронта контрреволюционные части. На Певческом мосту было полно грузовиков с пулеметами... Наши пулеметчики стали подходить отдельными командами и складывать оружие в центре площади... После разоружения солдат отправили под конвоем в Соляной Городок.

Зиновьев, покачав головой, спросил:

— Что им конкретно угрожает?

— Наверно, их отправят на фронт по третьему разряду. Как штрафников...

— А скажите, они сдали все оружие? — спросил издали Ленин, подняв голову от бумаг. — Неужели все оружие сдали?

— При сдаче обнаружена большая недостача пулеметов. Там был большой шум в связи с этим. Поручик Козьмин кричал и возмущался.

— Значит, припрятали оружие! Рабочим передали, ясно! Молодцы! Вы точнее узнайте про это все, это очень важно, чрезвычайно важно. А настроение, разумеется, тяжелое среди солдат? Вам не удалось побеседовать с ними? Ни с одним из них?

— С Борисовым я разговаривал. Настроение ожесточенное. Они оскорблены и обозлены... Борисов — очень сознательный крестьянин, из Владимирской губернии. Он, увидев меня, заплакал, но потом усмехнулся злобно, погрозил кулаком и сказал: «Ладно, пусть они нас пошлют на фронт, мы там, на фронте, тоже поработаем — не обрадуются!..»

Ленин задумчиво спросил:

— Борисов? Это какой Борисов? Я его знаю?

— Да нет, вряд ли...

Ленин повеселел.

— Вряд ли,— сказал он.— Это хорошо, что вряд ли. Значит, их много таких.— Он нагнулся над бумагой, снова стал быстро писать, потом встал с места и протянул написанное Зиновьеву. Пока Зиновьев читал письмо в редакцию, Ленин подошел к Зофу.— Теперь у меня к вам еще одно важное поручение. Очень важное. В Стокгольме — Надежда Константиновна знает, где именно,— находится одна моя тетрадка. Это синего цвета тетрадка в твердом переплете. Она озаглавлена «Марксизм о государстве». Надо ее как можно скорее переправить сюда, ко мне. Запомните: синяя тетрадь. Это архиважно. Запомнили?

— Запомнил.

— Вы куда сразу отсюда направитесь?

— В Выборгскую управу. Передам Надежде Константиновне статьи, машинистки тут же их перепечатают, и не позже завтрашнего утра они будут в Кронштадте, у товарища Сталь.

— Отлично. Надежде Константиновне передайте, чтобы ко мне не ездила: за ней, несомненно, следят. Про синюю тетрадь не забудьте.

Зиновьев, углубленный в чтение, немало удивился, когда услышал просьбу Ленина насчет синей тетради. Эта тетрадь была ему знакома: в Поронине и позднее в Цюрихе Ленин вносил в нее все главное, что Маркс и Энгельс высказывали по вопросу о государстве. Просьба Ленина о доставке синей тетради сюда, в шалаш, удивила Зиновьева ничуть не меньше, чем разговоры Ленина с Емельяновым о ценах на капусту и качествах ухи с окунями и без окуней; после июльского разгрома и разоружения большевистских полков углубляться в чисто теоретические изыскания казалось Зиновьеву совершенно бессмысленным занятием. Разве что Ленин хочет оглушить себя, занять свое время и мысли сложными диалектическими хитросплетениями? Или он действительно верит, что тетрадка, превращенная в брошюру, даже если допустить, что она попадет из этой заозерной глуши к людям, сможет теперь сыграть какую-нибудь роль, будет иметь теперь какое-нибудь значение? И снова Зиновьеву показалось, что бодрость Ленина деланная, что он бравирует ею перед Зофом, Емельяновым и перед ним,

Зиновьевым. Зиновьев подписал письмо, отдал его Зофу и посмотрел на Ленина исподлобья. Ленин стоял босиком в траве, темная косоворотка на нем была расстегнута, а в глазах зажигались и гасли искорки, знакомые искорки, появлявшиеся там в минуты волнения и азарта. Вот он пошел провожать Зофа, и Зиновьев слышал издали, как Зоф говорит ему, что арестованы Крыленко, Механошин и Арутюнянц, а Ленин, словно не расслышал дурных известий, толкует свое:

— Материал в тетрадке весь подробно выписан, довольно стройно изложен и частично проработан. Написано мелко, но разборчиво, так что не придется угадывать и расшифровывать. Актуальнейшие вопросы диктатуры пролетариата...

Голос его замолк в отдалении.

«Нет, мне надо встряхнуться,— подумал Зиновьев, закусывая губу.— Может быть, я слабый человек, расстроенный поражением и потерявший бодрость. А он? Кто он? «Мировой дух», как выражался Гегель?»

Вернувшись, Ленин сказал:

— Жара страшная. Работать нельзя: в голове какая-то каша. Пойти полежать, что ли?

Он влез в шалаш и вскоре затих.

«Мировой дух» пошел спать в шалаш»,— подумал Зиновьев, перефразировав известный афоризм Гегеля. Он сказал Емельянову:

— Надо встряхнуться, а, Николай Александрович? Пойдем искупаемся?

Они пошли к озеру, оставив Колю на всякий случай сторожить у шалаша. Коля уселся на пенек, где обычно сидел Ленин, и стал клевать носом, однако старался не спать, помня вечные предупреждения матери и отца: быть начеку. Он вдруг вспомнил мать и затосковал по ней — вещь, недостойная разведчика, как он тут же решил про себя. Он встал и начал ходить взад и вперед, как Ленин.

8

Надежда Кондратьевна Емельянова в продолжение всего этого времени находилась в необыкновенно приподнятом настроении. Чем бы она ни занималась, что бы ни делала — мыла посуду, готовила похлебку, стирала белье, полола грядки, што-

пала чулок, укладывала спать детей,— она мысленно все время стояла на краю своего двора, у пруда, соединяющегося протокой с озером Сестрорецкий Разлив, в одной и той же неподвижной позе: спиной к озеру, с раскинутыми в обе стороны руками, как бы защищая озеро и заозерный лужок с шалашом от всего враждебного мира.

Ее глаза стали зорче, слух изощреннее. Она начала замечать все, что творилось кругом и чего не замечала раньше. Она различала женские и мужские шаги за заросшим сиренью забором; голоса людей, раздававшиеся по соседству и на улице, привлекали теперь ее внимание и служили пищей для размышлений.

Она ловила себя на том, что стала меньше думать о муже и сыновьях, которым в случае провала грозили величайшие беды. Она думала только о Ленине и о том, что от нее и ее близких зависит его безопасность.

Эти неясные, но сильные ощущения пронзали ее до самого сердца. Она не могла бы объяснить свои ощущения словами, но она чувствовала, что находится в самом средоточии великого, и сильнее, чем ее муж, чутьем материнским, женским, понимала личность Ленина. Николай Александрович прекрасно знал, что́ означает Ленин для партии, но он подходил к нему, как партиец к своему лидеру, как солдат к командиру. Он больше думал о деле, чем о личности.

Так же отнеслась к Ленину и Надежда Кондратьевна до того, как узнала его. Она восприняла поручение партии укрыть вождя партии не то чтобы равнодушно, но совершенно практически и сразу начала соображать, где его поместить, чем кормить, что стелить, высказала много верных замечаний о недостатках сарая, находившегося у самой изгороди, рядом с улицей, о политических настроениях соседей и т. д.— словом, делала все так, как привыкла делать в качестве большевички, жены боевика, укрывавшей во время революции 1905 года оружие и всякую нелегальщину, переживавшей не раз обыски, аресты мужа, всегда готовой на все неприятности и беды, связанные с ее положением.

Ее хладнокровно-деловое отношение переменилось вскоре после появления Ленина в их сарае. Он оказался не похожим ни на какие ее представления. Его простота и необыкновенная деликатность, живость и общительность поразили ее. Она, повидимому, не ожидала, что знаменитый человек может быть

так прост и безыскусствен. Ее удивил его пристальный и почти жадный интерес к ней, ее мужу, ее детям, ее дневным заботам. Он, этот интерес, был и самым простым, житейским интересом к людям, и не совсем простым, не совсем житейским. Он относился именно к ней, именно к ее мальчикам — Коле, Саше, Кондратию, Сереже, Гоше, Леве, Толе,— к их маленьким делам и жизненным потребностям, но в то же время интерес этот был частью интереса к чему-то гораздо большему — ко всем трудящимся людям, их заботам и жизненному опыту. Часто, когда ему о чем-нибудь рассказывали, он задумывался и говорил:

— Это интересно...

— Это очень важно...

— Это надо будет учесть...

Видно было, что он любое сообщение — самое мелкое — о жизни людей и их нуждах немедленно взвешивает на особых весах, думает о применении в гораздо большем масштабе того, что узнал, о чем услышал. Он был весь с ними, с людьми, среди которых жил, и был весь не здесь, а с огромным множеством других, незнакомых ему лично людей. Так художник любуется местностью или рассматривает людей, как и всякий человек, но в то же время в отличие от других соображает: «я это напишу», «я это могу написать», «это мне может пригодиться».

Глядя, как она делает все по дому правой рукой, а на левой руке все время держит Гошу, он качал головой и как бы мимоходом говорил:

— Нам нужно будет добиться создания таких детских очагов, которые могли бы хоть немного освободить матерей от тяжести домашних забот.

Она по нескольку раз в день мыла посуду, делала эту привычную работу бездумно, механически и очень удивлялась, когда он как-то раз неожиданно сказал:

— Мы создадим дешевые общественные столовые, чтобы женщины могли заниматься большими, а не только маленькими делами.

Ей льстило это непривычное внимание к ее домашним заботам, хотя она понимала, что это внимание относится не только к ней.

Однажды он произнес слова, особенно поразившие ее:

— Та революция непобедима, которую поддерживают и в которой участвуют женщины.

Вечером, после трудового дня, он спускался вниз по лесенке с чердака. Заслышав его шаги на лесенке, все домашние преображались, глаза детей загорались любопытством, предвкушением предстоящей занимательной и живой беседы.

Надежда Кондратьевна, штопая чулок, подметая угол или подавая чай, слушала его разговор с мальчиками, и ее материнская душа радовалась тому, что дети общаются с ним и от этого станут умнее и образованнее. Он рассказывал им о сибирской ссылке, о западных столицах, о швейцарских ледниках и озерах, о жизни людей в разных странах.

Мальчики сидели неподвижно, а Надежда Кондратьевна старалась двигаться как можно бесшумнее и тихо улыбалась, когда все смеялись.

Однажды он рассказал о своем детстве и о старшем брате, повешенном ровно тридцать лет назад в Шлиссельбургской крепости. Все сидели серьезные, а Надежда Кондратьевна, нагнувшись в углу над чулком, незаметно поплакала.

В другой раз он начал шутливо предсказывать будущее мальчиков. Кондратия, недавно увлекшегося анархизмом и похаживающего в анархистский клуб, он прочил в генералы будущей пролетарской армии или, «еще лучше, в адмиралы революционного флота: море рядом, отец — почти моряк, отлично знает Финский залив. Да, будешь адмиралом!» Александра, паренька умного и смышленого, лучшего помощника матери, он определил в инженеры или даже («почему бы нет? Управлять будут рабочие!») в управляющие гигантского завода земледельческих орудий, «который мы обязательно построим. Будешь выпускать железные плуги и тракторы (не знаешь, что это? Это американские машины для быстрого и легкого возделывания земли). Они перепашут всю русскую землю, сровняют все межи». Коля, с его вдумчивыми и ясными глазами, будет ученым, который придумает аэроплан для полета на Луну и первый же туда полетит. Сказав это, Ленин повернулся к Надежде Кондратьевне и стал ее уверять, что учиться дети пролетариев будут бесплатно, «поэтому,— сказал он, смеясь,— вам не надо беспокоиться, Надежда Кондратьевна, расходов — никаких».

— А я? — спросил десятилетний Толя застенчиво.

— А я? — осведомился шестилетний Лева деловито.

— Не знаю, что и придумать для всех,— комично развел Ленин руками.— Кем захотите, тем и станете!

Он говорил в шутку, но не совсем. Глядя на него и на детей жаркими от нежности глазами, она готова была молиться богу, в которого не верила, за его здоровье и благополучие и, разумеется, за сидящих вокруг него детей.

Иногда же Ленин задумывался, становился молчалив, рот его твердел и лицо менялось почти до неузнаваемости. В таких случаях все замолкали, начинали, как по уговору, заниматься каждый своим делом, читали книжки, газеты или выходили из сарайчика во двор.

Зиновьев был тоже человеком образованным, вежливым и разговорчивым. Но он был несколько рассеян, невнимателен. На детей не обращал внимания. Иногда при всех заговаривал с Лениным по-французски или по-немецки,— видимо, чтобы никто не понял,— а Ленин явно сердился на него за это и обязательно отвечал по-русски.

Привыкнув к Ленину, Надежда Кондратьевна с трудом верила (настолько был он смешлив, оживлен и любезен), что за ним погоня, что тысячи людей рыщут, отыскивая его след, и их отделяет от него, в сущности, только тонкая стенка сарая. А заглянув в газету, где шла бешеная травля, или послушав в лавке разговоры о нем, она приходила в ужас от своей внутренней беспечности. Тогда она ловила во дворе и по углам детей, в сотый раз напоминала об их обязанности: молчать, ни словом, ни взглядом не выдавая присутствия в доме посторонних, забыть про обитателя чердака. Когда они собирались вместе, она глядела на каждого по очереди пронизывающе и властно. За Кондратием она следила особенно упорно, почти враждебно. Она не могла ему теперь простить его увлечения анархизмом — раньше она не обращала на это никакого внимания. Он смущался под ее пристальным взглядом, конфузливо улыбался. И тогда она, зная его честность и стыдясь своей подозрительности, быстро трепала его по щеке. Она была бы рада вместить всех семерых детей в себя, не зная, как иначе передать им чувство тревоги и ответственности, проникающее насквозь все ее существо.

9

Утром, как обычно, Надежда Кондратьевна отослала старших детей за газетами для Ленина. Ради конспирации они покупали газеты в разных местах: на станции Сестрорецк, на ку-

рорте, в Тарховке и на Раздельной. У каждого из мальчиков был постоянный список. Саша покупал газеты эсеровские и меньшевистские — «Рабочую газету», «Известия Петроградского Совета», «Новую жизнь», «Волю народа», «Единство», «Землю и волю», «Известия Всероссийского Совета крестьянских депутатов» и «Дело народа». Кондратию были поручены газеты и журналы большевистские — «Пролетарское дело», московский «Социал-демократ», «Работница» и какие появятся. Черносотенные и бульварные газеты — «Живое слово», «Новое время», «Новую Русь», «Народный трибун» Пуришкевича и другие — покупал Сережа. Буржуазные газеты — питерские «Речь», «День», «Русская воля» и «Биржевые ведомости», московские «Утро России», «Русские ведомости» и «Русское слово» — оставались тоже за Кондратием. Иногда их покупала на станции Разлив сама Надежда Кондратьевна.

Сегодня она собралась в лавку за покупками и решила заодно купить на станции свою долю газет.

Когда старшие мальчики разъехались, Надежда Кондратьевна надела шляпку с вишнями и накидку — материно наследство — и, оставив десятилетнего Толю нянчиться с Гошей и Левой, отправилась в поселок. Знакомый приказчик в лавке незаметно спроворил ей покупку без очереди, и она пошла на станцию к газетному киоску. Она очень спешила. Кто-нибудь мог приехать из Питера, да и вообще ей казалось страшно оставить свой пост на берегу пруда. Однако, уже уходя со станции, она наткнулась на своего родственника Фаддея Кузьмича, владельца галантерейной лавки в Сестрорецке. Он был сильно навеселе. Картузик его торчал на самой макушке, рыжеватые усы были залихватски закручены. Он любил поговорить о политике. До 9 января 1905 года он был рьяным монархистом, но после расстрела рабочих в Петрограде возненавидел царя и стал таким же рьяным республиканцем, а теперь всюду прославлял Керенского и только что не молился на него.

— А, Кондратьевна, сколько лет, сколько зим! — сказал он, снимая картуз.— Наше вам с кисточкой! Давненько не видались! — Заметив торчавший из ее кошелки сверток газет, он ехидно усмехнулся: — Почитывает Николай Александрович? — Вытащив газеты из кошелки, он удивленно протянул: — Э-э-з, вижу, поумнел твой супруг... Вот что стал читать! Правильно. Кончились большевички... Наш великий вождь Керенский Александр Федорович пристукнул их!

Она промолчала и пошла по направлению к дому. Он, однако, увязался за ней и, шагая по песку чуть сзади, не переставал говорить без умолку. А она тем временем не без удивления вспоминала, что еще каких-нибудь две недели назад считала его умным и интересным человеком, а теперь видит, что он петушист и глуп до отвращения. Впрочем, она почти не слушала его, а думала свою думу и по-прежнему с той же силой воображения представляла себя стоящей с распростертыми руками на берегу пруда спиной к озеру. Она мечтала отвязаться от Фаддея Кузьмича и поскорее очутиться дома, словно ее отсутствие могло сказаться на безопасности тех, в шалаше. На людях она даже и в мыслях не называла Ленина его именем, а именно так: «те, в шалаше». Она стремилась выжечь из собственной памяти это имя как бы из опасения, что оно может быть прочитано на ее лице. Слушать Фаддея Кузьмича она стала только тогда, когда услышала имя Ленина из его уст.

— А про Ленина слыхала? Уже известно, где Ленин! Нашелся, сударик!

Она приостановилась на мгновение, Фаддей Кузьмич догнал ее и повернул к ней свое большое рыжеусое глупое лицо.

— В Швеции! — выпалил он и прищелкнул языком.

Она пошла дальше, и он снова пустился за ней.

Возле своей калитки она замедлила шаг, надеясь, что он отстанет, но он не отставал, может быть надеясь на рюмку вина или просто тосковал о собеседнике, хотя бы молчаливом. Они вошли во двор. Она между тем оправилась от потрясения и даже спросила слабым голосом:

— В Швеции? Вы откуда знаете?

— Все знают. На подводной лодке бежал. Поминай как звали.

Он уселся на крылечке дачи, вынул красивую папиросную коробку «Сэръ» и взял из нее тонкую и чересчур короткую папироску явно не по размеру коробки; Надежда Кондратьевна подумала, что раньше никогда не заметила бы эту подробность.

Пока он разглагольствовал о том о сем, Надежда Кондратьевна вошла в сарай, сняла шляпку и накидку, прихватила с собой ведро картошки, вышла во двор и начала чистить картошку возле очажка. Малыши куда-то исчезли,— вероятно, ушли к соседям. Она чистила картошку и тревожно думала о том, что надо будет предупредить старших мальчиков, чтобы они не заходили: большое количество газет, да еще разных на-

правлений, могло навести Фаддея Кузьмича на подозрение. Она неторопливо подошла к калитке и посмотрела на улицу, ведущую к станции. Улица была пустынна. Она вернулась обратно.

— Где Николай? — спросил Фаддей Кузьмич.— В заводе?

— Отпуск взял. Участок заарендовал. Косит.

— Ну?.. И впрямь, скоро сеном будем питаться, доведут Россию немецкие шпионы.

— Корову покупаем.

— Вот это хорошо, это по-хозяйски... А чего это вы в сарае живете, а дом заколочен? Дачников, что ли, нету?

— Ремонтируем.

— Сами или рабочих наняли?

— Сами.— Надежда Кондратьевна снова подошла к калитке и снова вернулась.— Может, поедете к Николаю за озеро? Лодка есть.— Она знала, что Фаддей Кузьмич без памяти боится воды, даже не купается в озере.— Там и весла.

— Нет уж... Некогда кататься.

Он поднялся с места, стал деловит. Она обрадовалась, что он уходит. А в это время на тропинке, ведущей с пруда, показался Емельянов с мешком на плечах. Увидев гостя, он остановился, сделал движение назад, но было поздно: Фаддей Кузьмич уже заметил его.

— Сколько лет, сколько зим! — произнес Фаддей Кузьмич свое избитое приветствие.— Слышал, сенокосничаешь?

— Да, вроде.

— То-то. А Ленин-то нашелся!

Емельянов несколько опешил. Он спросил, кладя на землю мешок:

— Какой Ленин?

— Какой? Твой. В Швеции обнаружен.

— Надя, дай умыться.

— По ресторанам там ходит, всех угощает, денег — куры не клюют.

— Принеси полотенце, Надя. Значит, богатый он?

— А ты что думал? Он и в Питере кутил почем зря.

— Надя, там уже огурчики есть крупные. Хорошо бы собрать. Значит, в Швеции? А я слышал — улетел в Швейцарию на аэроплане.

— Врут. В Швецию на подводной лодке — это точно. Ходит по Стокгольму с серебряной палкой, а в палке нож. Пьет только

французский коньяк марки «Мартель», никаких других вин не употребляет.

— Ишь ты! Надя, рубашку дашь переодеть?

— А папиросы курит только высшего сорта, по семи рублей сотня, богдановские по особому заказу.

— Только богдановские?

— Именно. А ты никак из евонных был? Или одумался?

— Чего там... Я сам по себе.

— Брось! Знаю.

— У меня заботы другие. Корову вот задумал купить.

— Слыхал. Правильно! Постой, есть на примете. В Тарховке знакомые — телка у них подросла, красавица. Хочешь, поедем? Недорого возьмут. Мне за комиссию бутылку спирту... Ну, ладно, полбутылки.

— У меня уже дело слажено. Сейчас вот собираюсь туда идти. Так что извини...

— Пойти с тобой? Я здорово торгуюсь, ты так не сможешь. Все-таки я купец, не то что ты — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Полцены выторгую, ей-богу! И продавщик самогону нам выставит. Я шепну.

— Нет. Уж извини. Пойдем, Надя.

— Как угодно, мил-сдарь...

Фаддей Кузьмич разочарованно бросил окурок и наконец распростился.

Надежда Кондратьевна, стоявшая у калитки в ожидании сыновей, вздохнула с облегчением. Она подняла окурок с таким видом, словно это был сам Фаддей Кузьмич, и выкинула его в помойное ведро. Емельянов рассмеялся, потом обнял жену быстрым и нежным объятием и спросил:

— Газеты купили?

— Я купила. Мальчики сейчас приедут. Как там?

— Все хорошо. Нравится ему. Говорит, лучше не надо.

Она улыбнулась.

— Если что надо ему постирать или заштопать, вези сюда.

— Ладно.

— Что Коленька?

— Молодец! Разведчик!

— Вот, селедки достала. Отвезешь.

— Ладно. Французского коньяку марки «Мартель» не достала?

Оба рассмеялись. Она продолжала расспрашивать:

— Как там ночью? Не холодно?

— Ничего. Сыровато, конечно. И комары. Но ничего. Не жалуется.

— Ты загорел, Николай.

— Кошу понемножку.

— А на вид усталый.

— Не знаю с чего.

— Душа неспокойна.

— Верно, так.

— Как спали?

— Так себе. Он долго не засыпал.

— Ворочался?

— Нет, лежал тихо. Но не спал, я заметил.

— Опасается?

— Нет. Думает. С утра опять сел писать. Как всегда, газет ждет не дождется.

Вскоре появились мальчики с газетами. Картошка была уже готова, все уселись завтракать. Когда поели, подсела к столу и Надежда Кондратьевна — она всегда завтракала простывшими остатками, вечно боясь, что детям не хватит. В последнее время она, завтракая, просматривала привезенные мальчиками газеты.

Емельянов начал укладывать вещички и газеты в мешок.

— Мерзавцы, чистые мерзавцы! — услышал он восклицание Надежды Кондратьевны.

— Что там?

Он не привык слышать от жены даже таких невинных ругательств и поднял голову.

— Что пишут! Подлецы, чистые подлецы! — Она протянула ему газету.

Он, посмеиваясь над ее негодованием, взял газету, начал читать, похохатывая.

В газетной заметке, которая называлась «Ленин и шведская шансонетка», рассказывалось, что Ленин пользовался популярностью щедрого поклонника у опереточных примадонн «Летнего Буффа» и «находится в тесной связи» со шведской шансонеткой-певичкой Эрной Эймусти. «Никому неизвестны попойки, устраиваемые «мучеником» Лениным в Стеклянном Театре «Буффа». Но лакеям памятны те дни, когда Ленин платил по 110 рублей за бутылку шампанского, давал по «четвертной» на чай. Помнят и еще один случай, в котором Ленин выявил

свой «пролетарский» характер. Однажды, заняв со своей дивой Эрной Эймусти отдельный кабинет № 4, он позвал лакея, чтобы заказать ужин. На звонок в кабинет вошел старший официант, массивный, мастодонт «Казбек». Увидев его, дотоле спокойный Ленин вдруг пришел в ярость, затопал каблуками, неистово крича: «Пошел вон, буржуй! Пришлите другого лакея». Толстый и высокий, с солидным брюшком «Казбек» убежал, тем более что заметил в руке Ленина бомбу».

— Ну и врут, просто уму непостижимо! — искренне удивился Емельянов, затем, взглянув на Надежду Кондратьевну, ласково сказал: — Чего ты расстраиваешься?! На него и похлеще врали...

Но она не могла успокоиться. Ее почти трясло от отвращения и обиды. Ей, чисто по-женски, казалось, что эта клевета, касающаяся нравственности Ленина, серьезнее и опаснее всех других. Она тихо сказала:

— Ты ему эту газету не показывай. Зря расстроится. Оставь ее тут.

— Ну, что ты!..

— Оставь ее тут,— упрямо повторила Надежда Кондратьевна.

Емельянов не мог этого понять, говорил, что Ленин и не то еще видел, но газету все-таки с собой не взял. Так Ленин и не узнал, что находится «в тесной связи» с шансонеткой Эрной Эймусти.

10

Посетители приезжали редко,— очевидно, в Питере опасались навести сыщиков на след. Только раз в три-четыре дня появлялся «Берг» — он же Александр Васильевич Шотман. С каштановой бородкой, в пенсне и белой панаме, он выглядел настоящим барином, и это обстоятельство, в интересах конспирации, было очень по душе Надежде Кондратьевне. Еще реже приезжал Зоф. Иногда в калитку бесшумно проскальзывала молчаливая женщина в черном вдовьем платке, привозившая то каравай хлеба, то смену белья.

Все они появлялись и исчезали только с наступлением темноты.

Когда Шотман однажды пришел со станции утром, Надежда Кондратьевна удивилась. Шотман торопился. Он рас-

спросил, не замечено ли вокруг дачи чего-нибудь подозрительного; успокоившись же на этот счет, он предупредил, что вечером привезет двух товарищей («членов ЦК»,— прошептал он в самое ухо Надежде Кондратьевне). Затем он поспешно ушел обратно на станцию.

Действительно, часов в шесть вечера Надежда Кондратьевна увидела возле своей калитки двух людей. Они постояли с полминуты как бы в раздумье, затем толкнули калитку и вошли. Она пошла им навстречу. Один был щуплый человек в пенсне, с клочковатой темной бородкой и очень темными печальными глазами, другой — сухощавый, тонколицый, с остроконечной бородкой.

— Как поживает Карпович? — спросил человек в пенсне густым и грустным баском, будто и впрямь спрашивал о здоровье какого-то очень близкого и очень исстрадавшегося человека.

— Врачи говорят, здоров,— быстро ответила Надежда Кондратьевна и добавила уже естественным голосом: — Сейчас вас переправлю.

Человек в пенсне представился:

— Андрей.

— Юзеф,— представился второй, с остроконечной бородкой.

Оба приезжих уселись на лавку и сидели размягченные, видимо очень усталые, глядя мечтательными глазами на куст жасмина, росший возле забора.

— А? — спросил «Андрей», кивая на жасмин с полуулыбкой, блуждавшей на его лице.

— Да,— ответил «Юзеф», улыбаясь точно таким же образом.

— Забыли, что этакое есть на свете,— сказал «Андрей» полувопросительно.

— Да,— согласился «Юзеф».

Надежда Кондратьевна молча отломила ветку жасмина и подала «Андрею». Он приник лицом к ветке, затем, не выпуская ее из рук, спросил:

— Дождемся темноты?

— Нет,— возразила Надежда Кондратьевна.— Переправитесь сразу. Возьмете с собой удочки, вроде как бы рыболовы.

Она пошла искать кого-нибудь из мальчиков. Кондратий читал в саду книжку. Он отдал книжку матери и пошел за веслами и удочками, лежавшими в баньке на берегу. Оба гостя

молча пошли за ним. В конце двора перед ними открылось неширокое озерко. Лодка, привязанная к столбику веревкой, стояла под ветками ветел.

Кондратий сел за руль, «Андрей» — за весла. Лодка поплыла по озерку и вскоре очутилась на широком раздолье огромного озера, чьи берега терялись вдали. Волны ходили здесь почти морские. «Юзеф» держал удочки вертикально, чтобы их было видно со стороны. «Андрей» сильно и ладно работал веслами.

Им повстречалась лодка с дачниками. Красивая женщина полулежала на корме, обрывала листья с ивовой ветки и кидала их за борт с задумчивым видом. «Андрей» сложил весла и некоторое время смотрел вслед лодке и плывущим по воде листьям. Он усмехнулся, снова взялся за весла и сказал:

— Люди живут так, словно на свете ничего особенного не происходит. Так, как год, и два, и десять тому назад. У Толстого еще это где-то отмечено, и весьма справедливо.

— Может, просто хотят забыться,— заметил «Юзеф».

Некоторое время плыли молча.

— Какая тишина! — сказал «Андрей».— С непривычки оглушает.

«Юзеф» заметил одобрительно:

— Вы хорошо гребете.

— Навык ссыльных времен. Три года назад, в туруханской ссылке, я арендовал крохотную лодочку. На ней, кроме меня, никто не смел отправиться по Енисею. А я посмеивался над пророчествами товарищей, которые уверяли меня, что рыбы давно дожидаются, когда попаду к ним на обед. Но я-то знал, что не буду для них лакомым куском: слишком я тощ и невкусен. Потому и ездил. Хорошо мне было, я забирался подальше вверх, а потом, когда течение само несло лодку вниз, сидел и мечтал. Стихи читал вслух. Я увлекался тогда стихами.

Тонкое, очень белое лицо «Юзефа» приобрело задумчивое выражение, он усмехнулся, но ничего не сказал.

«Андрей» тоже замолчал. По мере приближения берега он все больше волновался. Это волнение от предстоящей встречи с Лениным усугублялось еще одним обстоятельством. Дело в том, что «Андрей» вез в боковом кармане пиджака начатую им еще в ссылке работу «Очерки по истории международного рабочего движения». Уже несколько месяцев как он мечтал показать Ленину свою рукопись, но не решался, каждый раз робел и умолкал на полуслове. Сегодня он решился взять рукопись

с собой: авось ему хватит смелости оставить ее Ленину. Может быть, Ленин на досуге почитает. «Андрей» был самоучкой, в ссылке самостоятельно изучил немецкий и французский, прочитал там множество книг, и ему очень хотелось писать, но не было времени и не было уверенности в собственных способностях. Он посмеивался над своим «литературным зудом», жаждая и боясь показать Ленину рукопись.

Кондратий направил лодку к берегу. Она вошла, как нож, в стену прибрежного камыша. Рядом в камышах качнулась вторая, привязанная к берегу лодка.

— Здесь? — спросил «Андрей».

Они выпрыгнули на берег и начали с любопытством озираться. В это время из кустов появился мальчик лет тринадцати. Он внимательно посмотрел на приехавших и неожиданно пустился от них наутек в глубь леса.

— Что такое? — насторожился «Юзеф».

— Мой брат,— улыбнувшись, объяснил Кондратий.— Бежит предупредить. Разведчик.

Они пошли по тропинке и вскоре очутились на поляне, уже утонувшей в предвечернем сумраке. Посреди ее возвышался высокий лиловатый стог. Рядом мерцал небольшой костер. Никого не было видно. Вдруг из густых зарослей справа раздалось весело и укоризненно:

— Товарищ Свердлов!.. Товарищ Дзержинский!.. Вы?.. Э-э, это неконспиративно.

Свердлов развел руками:

— Ничего не поделаешь, Владимир Ильич! Надо!

Ленин стоял среди зарослей ивняка, широко расставив ноги, словно врос в эту пустынную болотистую землю. В предвечернем свете, придающем очертаниям предметов резкую определенность, он казался отлитым из темного металла.

Вокруг него валялись газеты, прижатые к земле от ветра то камешком, то веткой.

— Что ж! Милости прошу к нашему шалашу,— сказал он.— Тут эта поговорка удивительно уместна.

Он говорил в шутливом тоне, хотя глаза его светились необыкновенной радостью и волнением. Ему не хотелось слишком откровенно проявлять свои чувства, чтобы Свердлов и Дзержинский, а по их рассказам Крупская и другие товарищи не заподозрили, что ему бывает трудно и тоскливо в этой заозерной глуши.

— Ну, раз приехали,— сказал он,— то уж рассказывайте, рассказывайте, рассказывайте все.

— Погодите, Владимир Ильич,— улыбнулся Свердлов.— Вы всегда так — не даете опомниться.

— Что ж, садитесь, опомнитесь. Григорий, где вы? К нам гости. Наконец-то мы узнаем все из первых рук.

Зиновьев появился из шалаша заспанный, но при виде гостей оживился, побежал за чайником.

— Сейчас угостим вас чаем,— сказал он, суетясь.— Разумеется, кипятком, чаю нет, заправляем листом смородины.

Ленин сел на пенек, его лицо стало очень серьезным и озабоченным.

— Рассказывайте.

Ярко вспыхнул и разгорелся костер, возле которого Емельянов с Колей и Кондратием начали готовить ужин.

Свердлов сказал:

— К съезду все готово. Заседания будут происходить на Выборгской стороне, в здании Сампсониевского общества трезвости. На случай слежки имеем в виду еще одно помещение. Всем делегатам съезда будет роздана ваша брошюра «К лозунгам». Сегодня ее кончают печатать в Кронштадте. Шотман привезет вам пробный экземпляр.

Лицо Ленина от волнения потемнело.

— А вы читали брошюру? — спросил он.

— Читал. Все члены ЦК и ПК ее читали.

— Ваше мнение?

Свердлов сказал:

— С вашей оценкой положения совершенно согласен. Мирный период кончился.

— Надо готовиться к взятию власти,— кивнул головой Дзержинский.

Ленин покосился на Зиновьева, потом снова весь устремился к приехавшим из Питера и спросил:

— А вас не смущает снятие лозунга «Вся власть Советам!»? — и замер, ожидая ответа.

— Единственно правильный вывод из июльских событий,— сказал Свердлов.

— Хотя и неожиданный для многих,— усмехнулся Дзержинский.

— И вам не кажется, что написано в раздражении? Слишком остро?

Басок Свердлова рокотнул негодующе:

— Слишком остро? А штыки, на нас направленные, не остры?

— Так, так...— Ленин от удовольствия потирал руки.— И вы думаете, все поймут?

— Нет, не думаю.

— Вот хорошо! Не думаете. Правильно.— Ленин лукаво прищурился.— Вот и Григорий думает, что не все поймут.

— С докладчиками у нас трудности,— продолжал Свердлов.— Вы в подполье, многие товарищи арестованы. Как-нибудь обойдемся.

— Обойдетесь, конечно. Слава богу, у нас достаточно сильных, знающих товарищей.

— Политический доклад ЦК поручен Джугашвили. Он полностью разделяет вашу точку зрения на текущий момент и будет решительно защищать ее на съезде.

— Что ж, хорошо. Сталин дельный и твердый человек.

— Организационный отчет поручен мне. Затем пойдут доклады с мест: Питер, Москва...

— Кронштадт, обязательно!

— Ага. Есть!.. Далее — Финляндия, Центральная промышленная область, Север — Вологда, Новгород, Псков,— Поволжье, Донецкий бассейн, Юг — Одесса и Киев,— Урал, Кавказ, Прибалтика — Ревель, Рига,— Литва, Польша, Минск с Северо-Западом...

— Звучит внушительно. Как бы смотр сил. Хорошо! Не забудьте послать приветствие от имени съезда всем арестованным товарищам.

— Арестованным и скрывающимся в подполье. Оно уже написано.— Свердлов продолжал: — Имеем вам сообщить еще одну новость. Вот она, эта новость, в натуре.— Он достал из кармана небольшого формата газету.— В Питере снова выходит большевистская газета «Рабочий и солдат». Вот первый номер. От имени редакции прошу сотрудничать.

— Превосходно! — воскликнул Ленин.— Как вам это удалось?

— Наша «военка» — Миша Кедров с Подвойским все устроили. Их работа. Сначала Кедров попробовал было сунуться в «Новую жизнь», но Ладыжников набросился на него: «К вашей организации примазались шпионы, провокаторы, всякий сброд. Мы убеждены, что и Подвойский провокатор». Тогда Кедров с

Подвойским высмотрели маленькую типографию на Гороховой, «Народ и труд» называется, и уговорили администратора, пообещав ему, что газета будет тихая, спокойная, почти «Задушевное слово». Тираж первого номера — двадцать тысяч. Он был раскуплен за несколько часов.

— Молодцы! — Ленин нагнулся к чурбаку, служившему ему столом, и взял стопку исписанной бумаги.— Вот ответ на «разоблачения» Петроградской судебной палаты. Напечатайте за моей полной подписью. А вот еще статейка — «О конституционных иллюзиях». Завтра постараюсь ее закончить и вам прислать. По-моему, статейка очень важная. Я писал ее, кроме всего прочего, и ради самоуспокоения. Да, не удивляйтесь. Я этой статейкой окончательно подчинил чувство разуму. Я доказал себе — и, надеюсь, всем товарищам по партии — правильность решения о неявке на суд. Вы прекрасно знаете, как трудно далось мне это решение. Казалось верным и весьма революционным явиться на суд и сказать все, что полагается говорить в таких случаях революционеру... Месяца два назад я бы при тех же обстоятельствах обязательно явился. Теперь я уже слишком взрослый, чтобы явиться. В революции люди быстро созревают... Очень рад, что удалось наладить газету. На днях смогу дать еще одну статью — «Уроки революции» или что-то в этом роде.— Он пристально посмотрел на Свердлова и Дзержинского, его глаза потеплели.— Завидую вам, что вы можете вернуться в Питер, окунуться в эту кашу, быть среди товарищей. Мне бы хоть одним глазком посмотреть на наш съезд.— Хитрые морщинки собрались под его глазами.— А, как вы думаете? Ведь я неузнаваем. Вы меня не видели в парике. Вот я достану парик — мне привезли несколько штук на выбор,— и вы сами взглянете... Ей-богу, это безопасно.

Дзержинский медленно проговорил в свойственной ему сдержанно-патетической манере:

— Владимир Ильич, вы не имеете права подвергать себя риску. Положение остается исключительно сложным. Вы тут слишком успокоились. Идут аресты. За вашу поимку назначена награда. Не только милиция и контрразведка, но и тысячи добровольцев ищут вас. На днях пятьдесят офицеров ударного батальона дали торжественную клятву найти вас или умереть. Позавчера в Кронштадте комендант порта Тыртов, получив шифровку от контрразведки, что вы скрываетесь на линейном корабле «Заря свободы», прибыл на борт корабля и попытался

произвести обыск. Правда, обыска команда не позволила ему произвести и только официально заверила его, что вас на корабле нет. Повсюду на станциях ходят сыщики с вашими фотографиями. Фотографии розданы станционным жандармам. Не знаю, читали ли вы в газетах, что по вашему следу пущена знаменитая собака-ищейка Треф... Вы не смейтесь, Владимир Ильич, умоляю вас, тут совсем не до смеха. Знайте, во всяком случае, что если мы вас не убережем, я пущу себе пулю в лоб.

Ленин при последних словах перестал улыбаться, пытливо посмотрел в сверкающие глаза Дзержинского и подумал: «А что? Этот — пустит... И очень даже просто». Однако он сказал сердито:

— Товарищ Дзержинский! Пулю в лоб! Какие-то анархистские эффекты... Нехорошо, нехорошо! Разве русская революция может зависеть от одного человека?! Ну, ладно, не кукситесь, не поеду.

Он по-детски приуныл и отвернулся. Потом вздохнул и сказал:

— Ну, показывайте, что там у вас, тезисы, резолюции, повестка дня, докладчики... Показывайте.

11

Совсем стемнело. Работу закончили при свете костра. Затем поужинали свежей рыбой. Рыбу эту обитатели шалаша наловили в мережи прошлой ночью.

Ленин и за ужином не переставал без конца расспрашивать о положении на питерских заводах, в Москве, Гельсингфорсе и Кронштадте, на Северо-Западном фронте, в Сибири и южных губерниях. На вопросы отвечал главным образом Свердлов. Он отвечал скупо, но исчерпывающе, наизусть называя цифры, без труда вспоминая множество фамилий, имен и партийных кличек. Ленин слушал с величайшим вниманием и вспоминал, где находится, только иногда, отвлеченный то клубом дыма, ударявшим в лицо при перемене ветра, то приглашением Емельянова есть поживее; тогда он рассеянно усмехался и незаметно веселел при мысли о том, что вот напротив него сидят скромные, немного застенчивые люди, в руках которых сосредоточены все нити большевистской организации — буржуи сказали бы: «большевистского заговора»...

Затем все пошли провожать Свердлова и Дзержинского к лодке. Постояли на берегу. Взошла туманная луна. Не хотелось расставаться.

Свердлов сказал:

— Тут, наверно, охота хорошая. Места глухие. Почти тайга.

— Да,— подтвердил Емельянов.— Глухарей и тетерок много. Чирок, утка...

— Охотники, наверно, сюда забредают, а?

— Бывает, когда сезон.

Свердлов покачал головой.

— Надо подумать о смене квартиры к началу охоты.

Ленин был молчалив. Лишь прощаясь, он сказал:

— Я поручил раздобыть некую синюю тетрадку. Надежда Константиновна знает. Напомните ей. Дело очень срочное.

При этом упоминании Лениным какой-то тетрадки Свердлов вспомнил о своей рукописи в боковом кармане, но и на этот раз не решился передать ее Ленину. «Не до того ему теперь,— подумал он.— Потом. Позднее. После революции. А может быть, уже при социализме, когда будет вдоволь свободного времени. Да и сочинение не ахти какое, нечего с ним соваться».

Он погрустнел, помахал Ленину фуражкой.

— Пожалуйста, дайте мне посидеть на веслах,— попросил Дзержинский.

Они отплыли. Некоторое время все молчали. Кондратий сидел за рулем. Свердлов рассеянно нюхал веточку жасмина, ранее оставленную в лодке. Она уже увяла, и к ее благоуханию примешивался легкий запах сырости и тления.

Он все думал о Ленине и, вспоминая о нем, улыбался той долгой и доброй улыбкой, какая появляется на лицах людей, увидевших что-то необыкновенно приятное.

Дзержинский, по-видимому, тоже думал о Ленине. Он вдруг сказал из темноты как бы про себя:

— Сломить его нельзя.

Свердлов живо отозвался:

— Вот именно! Луначарский мне рассказывал, что буквально то же самое он говорил французскому писателю Ромену Роллану: «Сломить Ленина нельзя, его можно только убить»...— На минуту воцарилось молчание, потом Свердлов закончил несколько изменившимся голосом: — Вот этого я и боюсь. Мне даже, признаюсь, снятся в связи с этим разные страшные сны.

Они все продолжали говорить о Ленине, и каждый из них говорил о нем то, что ценил и в себе.

— Он скромен и совершенно лишен честолюбия. Это большая редкость для вождя,— сказал Свердлов.

— Он горит, как факел, чистым светом,— сказал Дзержинский.

— Он человечен и добр,— сказал Свердлов.

— Он суров к врагам, но только к врагам,— сказал Дзержинский.

Снова воцарилось молчание. Лодка летела как стрела.

— Вы гребете отлично,— заметил Свердлов.

— Все та же ссылка,— улыбнулся Дзержинский.— Три раза пришлось бегать, из них два раза на лодке... В девяносто девятом — из Кайгородского, в девятьсот втором — из Верхоленска... У меня потом долго держались мозоли от этой дикой гребли.

— Спортсмены поневоле,— усмехнулся Свердлов.

Кондратий сидел за рулем молча, и ему казалось, что корни его волос холодеют от восторга и любви к этим людям.

12

Проводив взглядом лодку, Ленин сказал:

— Какие люди! Их не сломишь.

Он уселся на берегу, остальные последовали его примеру. Было тихо. Легкий туман, предвестник осени, стлался над озером. В камышах слышались всплески и шумы. Неподалеку, свистя крыльями, пронесся стремительный чирок. Из мрака донеслась безмерно печальная, надрывающая душу перекличка отправляющихся на юг куликов.

С легкой завистью Ленин еще раз перебрал в уме все, что ему рассказали товарищи. Жизнь в здешней глуши показалась ему в этот момент нестерпимой. Его мысли унеслись далеко — в Питер и дальше — в Москву и другие края, откуда съехались делегаты на съезд, и он огорченно подумал о том, как мало пришлось ему ездить по России; он ни разу не бывал на Украине, в Туркестане, не видел Кавказа и Крыма, а в привольной Сибири был ссыльным, подневольным человеком, прикованным к одному месту. Его пронзило до боли острое желание побывать повсюду, быть среди людей, говорить с ними, смотреть им в глаза, чувствовать себя частицей этой силы.

Он тихонько вздохнул и повернулся к Коле:

— Искупаемся, Коля?

— Вот здорово! — воскликнул Коля. Он втянул свой тощий живот, штанишки сами с него свалились, и он бросился в воду.

— Он вас очень любит,— вполголоса сказал Зиновьев.

— Amor d'amor si paga [1],— быстро ответил Ленин.

Все разделись и полезли в воду.

— Не уплывайте далеко,— взмолился Зиновьев, когда Ленин пропал во мраке.

— Ничего, собака Треф на воде следов не чует,— последовал ответ уже издалека.

Потом стало тихо. Зиновьев озабоченно вглядывался в темноту.

— Увлекается,— пробормотал он беспокойно.

Вскоре забеспокоился и Емельянов.

— Поплыть за ним, что ли? — сказал он и, пустившись вплавь, исчез во тьме.

Вернулся Коля. Он запыхался, но был очень весел и не переставал восхищаться:

— Ох, как плавает! А ныряет до-о-лго!..

В темноте раздался всплеск. Это вернулся Емельянов.

— Уплыл... В темноте не найдешь.

Они все трое постояли с минуту в воде, прислушиваясь. Наконец Ленин появился из мрака, лихо работая саженками.

— Владимир Ильич,— укоризненно протянул Емельянов,— разве так можно?

— А что такого? Я знаменитый пловец, Григорий это отлично знает.

Они вышли на берег и уселись на траву. Всеми овладело приятное оцепенение. Было очень тепло. Над землей плыл комариный звон.

Зиновьев, разомлев, начал рассказывать о первых днях войны, заставших Ленина в Поронине, под Краковом, об аресте Ленина австрийскими властями по обвинению в шпионаже; Зиновьев тогда жил недалеко, в Закопане. Узнав об аресте Ленина, он сел на велосипед и в проливной дождь поехал за десять километров к польскому революционеру доктору Длусскому с просьбой о заступничестве.

---

[1] За любовь платится любовью *(итал.)*.

— Тогда было плохо, а теперь еще хуже,— пробормотал Зиновьев.

Ленин сказал глуховатым голосом:

— Для русского революционера быть обвиненным в шпионаже в пользу царской России — вещь в высшей степени отвратительная и тяжкая... Скажу вам по секрету, что для него есть только одна вещь столь же отвратительная и тяжкая — это быть обвиненным в шпионаже в пользу кайзеровской Германии.

Эти слова вырвались непроизвольно — Ленин ни разу не касался в разговорах этого вопроса. Емельянов впервые за все время понял, что всю шумиху с «германским шпионажем» Ленин переживает вовсе не так легко, как казалось. Впрочем, Ленин тут же перевел разговор на другое, но тотчас умолк: откуда-то с озера послышалось пение и тенькание гитары. И это тенькание и пение на лодках в темноте под звездами, среди тихих всплесков воды и комариного звона, навевали спокойствие и грусть.

— Да-а,— произнес Ленин.— Хорошо в глуши сидеть, созерцать красоты природы... Что может быть лучше с точки зрения поэта или художника? Как там сказано?.. «Бежит он, тихий и суровый, и звуков и смятенья полн, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы...» А мне, грешному, хочется в Питер, в гущу событий, в кипение масс... Я ведь Питер даже толком и не рассмотрел на этот раз. Даже Медного Всадника не видел! А сюда бы Горького прислать... Пусть посидит, подумает. Зря он увлекся чисто политической деятельностью. В политике он путает. Он лучше видит и понимает человека и тонкости человеческих взаимоотношений, чем столкновения классов и тонкости классовых взаимоотношений... Горький и меня защищал в своей газете в статейке «Не трогайте Ленина», и в других статейках скорее как Ульянова-Ленина, то есть некую известную ему и уважаемую им личность, нежели как представителя и защитника интересов определенного класса. Политика — область человеческих отношений, имеющая дело не с единицами, а с миллионами... Он-то, наверно, сердился бы, если бы мы мешались в его творчество, указывая ему, как описывать звездную ночь или озерную зыбь... Вот такую, как сейчас... Да, для художника одиночество часто необходимо. Нам, политикам, людям земным, одиночество возбраняется. Наша стихия — массы. Поэты тоже, вероятно, несмотря на их вдохновенное ремесло, сознают, что творят для масс. Но это у них не так грубо,

не так непосредственно. Возможно, что лучшие свои вещи они создают тогда, когда забывают об этом хотя бы ненадолго. А для нас такое забвение — верная гибель... Коля, ты не замерз?

— Нет.

Ленин рассмеялся:

— А ведь мы тоже ведем теперь далеко не прозаическую жизнь. Шалаш, уединение, подполье, переодевание, ищейка Треф... Нешуточное дело для ортодоксальных марксистов, знающих «Капитал» вдоль и поперек, как мужик свой двор. Эсеры считали себя всегда романтиками, а нас, социал-демократов,— сухарями... Очевидно, Бакунин так же относился к Марксу. А поглядите-ка на эсеров! Выветрилась мужицкая романтика, поблекла. Ничего от нее не осталось. Смирные, пузатенькие... Крестьянская партия, а землицу мужику не дает, а мы, сухари, дадим! Власти хочется, а боятся. А мы, сухари, не боимся. «Мужицкого министра» Чернова обвинили вслед за мной в шпионаже, а он смиренно ушел из министерства, ждет, видите ли, законного расследования! Плюнули ему в рожу, а он утерся и сказал: «Божья роса». А мы ушли в подполье. А в подполье комары кусаются. Коля, искупаемся еще раз!

— Только, чур, далеко не заплывать,— сказал Емельянов.

Ленин и Коля снова полезли в воду, пошумели там, поворились, затем выскочили на берег и стали одеваться.

— Тебе скоро в школу,— сказал Емельянов.— Придется перекочевать обратно домой, мама велела.

Коля сказал угрюмо:

— Никуда я не уйду. Я здесь буду!

Емельянов спокойно возразил:

— Как так здесь? Учиться надо.

Ленин сказал из темноты:

— А ведь нам скучно будет без Коли... Пусть остается. Достаньте учебники, тетрадки, я с ним буду заниматься. Коля, согласен?

— Да,— буркнул Коля, стараясь скрыть свое ликование.

— Ш-ш-ш,— прошипел Емельянов: к берегу приближались две лодки с дачниками. Теньканье гитары и голоса раздались совсем близко.

— Неужели пристанут к берегу? — зашептал Зиновьев.

Мужской голос на одной из лодок пел:

Дитя, не тянися весною за розой.
Розу и летом сорвешь.

Ранней весною фиалки сбирают,
Помня, что летом фиалок уж нет.
Летом захочешь фиалок нарвать ты,
Ан уж фиалок-то нет.
Горько заплачешь, весну пропустивши,
Но уж слезами ее не вернешь...

Другой, пьяный голос со второй лодки вмешался невпопад:

Теперь твои губы, что сок земляники,
Щеки, как розы «Глуар де Дижон»...

— Замолчите, несносный!.. — игриво произнес женский голос.

— Молчи, балда! — поддержал даму мужской голос.

Первая лодка загнусила, захлебываясь:

Сначала модель от Пакэна,
Потом пышных юбок волна,
Потом кружева, точно пена,
Потом, потом... она!

Вторая лодка, улюлюкая, отозвалась:

Мадам Клоц! Заберите Борю,
Ведь ребенок сам не рад,
На полé он сделал морю...—

и, похохотав, перешла на другое:

Германщики-чики,
Шпионщики-чики,
Вильгельмовы трепачи!

— Это уже про нас,— шепнул Ленин и тихонько-тихонько засмеялся.

Лодки удалялись.

«Белые, бледные, нежно-душистые, грезят ночные цветы»,— несся издали нестройный хор, затем пропал, истаял. Стало тихо.

— Если бы они знали, что вы здесь! — с веселым злорадством воскликнул Емельянов.

— Ах, пошляки, ах, пошляки! — весь закачался от негодования Зиновьев.

— Да,— с задумчивой усмешкой сказал Ленин.— «Щеки, как розы «Глуар де Дижон»...»

Обратно с озера в шалаш шли молча. На всех, даже на Колю, подействовала эта пошлая и ничтожная жизнь, дохнув-

шая винным перегаром и похабщиной на их тихое убежище. Каждый думал свою думу. Зиновьев думал о том, что старая Россия жива, она поет, разглагольствует, пьет самогон и политуру, декадентствует, торгует, похабничает, ей наплевать на революционеров, преследуемых, вынужденных скрываться; а сознательных пролетариев мало, и они теряются в огромном мещанском болоте.

Емельянов думал о том, как хорошо, что дачники не вздумали пристать к берегу; однако, когда начнется охотничий сезон, здесь вправду станет небезопасно, и, пожалуй, Свердлов верно сказал.

Коля все не переставал восхищаться тем, как Ленин плавает, и по этой причине еще больше негодовал на дачников за их частушку о «шпионщиках-чиках», и ему казалось, что эти частушки больно задели Ленина, и ему было жаль Ленина, и от этого он готов был заплакать в темноте.

Ленин же думал совсем не о том. Он думал о том, что делать революцию и строить социализм так или иначе придется также и с этими маленькими людьми, которые пели и визжали в лодках, что нельзя сделать специальных людей для социализма, что надо будет *этих* переделать, надо будет с *этими* работать, ибо страны Утопии нет, есть страна Россия. Это будет не легко, трудно, чертовски трудно, труднее, чем сделать самое революцию, но другого выхода нет; потом подрастут вот такие, как Коля, с ними будут свои трудности, но все-таки с ними будет легче. Он положил руку Коле на плечо, и Коле показалось, что Ленин понял, о чем он, Коля, думает, и от этого у Коли сжалось сердце.

13

Купание это было последним. Ночи становились все холоднее. Надежда Кондратьевна слала теплые вещи, но все равно по утрам было страшновато вылезать из шалаша: ветер ранней осени посвистывал среди деревьев и кустов, кружил не пожелтевшие еще листья, морщил невысокую водичку на скошенном лугу. Впрочем, Ленин как будто не замечал холода, как раньше не замечал жары. Он работал теперь над своей очередной статьей, озаглавленной «Уроки революции», и вел оживленную переписку с президиумом происходящего в Питере съезда партии.

Однажды на закате солнца Сережа привел к шалашу худощавого человека, невысокого, складного, с пышной черной шевелюрой и черными усами под большим нерусским носом. Стог и верхушки деревьев были залиты ослепительно-красными лучами заходящего солнца. Вечер был холодный и ветреный.

Человек с усами пересек поляну, оставляя за собой длинную тень, и на опушке остановился, недоуменно озираясь. Ленин, стоявший возле стога, подошел к нему и сказал:

— Здравствуйте.

Человек обернулся и посмотрел на Ленина равнодушным взглядом.

— Что, не узнаете, товарищ Серго? — спросил Ленин насмешливо, очень довольный тем, что его нельзя узнать.

Лицо Серго вдруг расплылось в улыбке. Он кинулся к Ленину, обнял его, отступил на шаг назад и снова обнял, приговаривая:

— Владимир Ильич!.. Ай, дорогой дачник!.. Ай, дорогой человек!..

Он огляделся. Все кругом было пустынно, и дул ветер. Ленин выглядел так одиноко на этом залитом лучами заката лугу и так непривычно было Серго видеть Ленина одного, без товарищей, что он не знал, что сказать.

Он думал, что увидит Ленина в большой уединенной даче, вокруг которой расставлена охрана из проверенных рабочих, может быть с пулеметами. Он теперь понимал сам, что глупо было так предполагать, и в то же время был очень огорчен тем, что вождь партии, за которого сотни людей отдали бы свою жизнь, по сути дела беззащитен.

Алый закат настраивал на торжественный лад и на тихий разговор. А Серго это было трудно при его южной экспансивности. Узнав, что Ленин живет в стогу, он возмущенно всплеснул руками:

— Нехорошо! А я думал, что вы на даче за озером! Как вы тут работаете?.. У вас же нет стола!

Ленин спросил:

— Что на съезде?

— Сейчас расскажу.

Из шалаша между тем вылезли Коля и Зиновьев. Емельянов в это время был в Разливе. Сережа передал Коле кошелку с картошкой и старую овчину и начал разжигать костер.

— Оставайтесь на ночь,— сказал Ленин.— Утром уедете и

к началу заседания будете уже в Питере. Условились? Вот и хорошо! Сережа, отправляйся домой. Пораньше приезжай за товарищем.

Сережа ушел к лодке.

Поели хлеба с селедкой и полезли в шалаш. Коля долго слушал их разговор, борясь с дремотой. Но слушать было неинтересно: Ленин, а иногда Зиновьев спрашивали, Серго отвечал, но называл больше фамилии и числа: «Столько-то за, столько-то против... Такой-то за, такой-то против...»

Ленин слушал с вниманием и азартом, то и дело переспрашивал, смеялся, мрачнел, произносил свое многозначительное «гм, гм», а Колю от этих имен и чисел ужасно клонило ко сну. Он еще слышал, как Серго сказал:

— Я Чхеидзе сказал все, что про него думаю. Я ему по-грузински сказал, чтобы он лучше понял: «Ты тюремщик, вот ты кто!»

После этого Коля уснул, а проснувшись на рассвете, опять услышал то же самое — Ленин задает вопросы, а Серго отвечает.

— Вы мне про делегатов расскажите, про рядовых делегатов, с мест. Что они? Какое настроение? Нет ли растерянности? Нет ли упадка духа?

— Ай, Владимир Ильич, какие могут быть сомнения! Люди полны бодрости и веры в победу. Все выросли, возмужали... Вожди! Честное слово, вожди! Артем из харьковской организации, Ворошилов из Луганска, Джапаридзе из Баку, Шумяцкий из Сибири, Бубнов из Иваново-Вознесенска, Цвилинг из Челябинска, Мясников из Минска... А наш выборжский Калинин!.. Души пролетарские — головы министерские...

— Молодежи много?

— Средний возраст делегатов — двадцать девять лет.

— А Минин так и не приехал?

— Арестован по дороге в Питер.

— И Антонов из Саратова не прибыл?

— Тоже арестован. Сняли с парохода вместе с Мининым.

— Сколько, вы сказали, рабочих на съезде?

— Семьдесят человек.

— Больше половины! Разве мы могли мечтать об этом еще полгода назад! — Помолчав, Ленин спросил: — Какое же письмо прислал Мартов?

Серго сердито буркнул:

— Нехорошее письмо! Половинчатое письмо!

Коля снова заснул, а когда проснулся во второй раз, было уже тихо. Все спали. Неяркое солнце всходило на сером небе. Коля вылез из шалаша, побежал к озеру, умылся. Затем он пошел в свой ежедневный обход.

Прежде всего он проверил, как там обстоят дела у Рассоловых на сенокосе. Он пробрался к сенокосу и, затаившись в кустах, стал наблюдать. Из шалаша торчали босые ноги. Вскоре они стали тереться одна о другую, видно замерзли, но еще не знали, что замерзли, начали шевелить пальцами, подрагивать, потом одна нога скрылась в шалаше, за ней другая, затем обе высунулись снова и опять начали тереться одна о другую. Коля чуть не рассмеялся вслух: так они были смешны, эти мерзнущие ноги. Наконец они исчезли, и спустя минуту из шалаша вылез Рассолов. Он постоял-постоял на этих же самых ногах, уже потерявших свою особность, позевал и пошел в лес. Коля хотел было отправиться дальше, но вдруг увидел, что из шалаша вылезла еще одна пара босых ног, поменьше, и вслед за ними появился заспанный Витя, сын Рассолова, друг и соперник Коли. Коля тихо хихикнул при виде его растрепанной головы и заспанного лица. Он обрадовался, что будет с кем поиграть в разведчиков или индейцев здесь, в лесу, и уже приготовился оглушить Витю пронзительнейшим кличем племени команчей, но сразу же вспомнил о своих обязанностях и осекся: Витя, узнав, что Коля здесь, неподалеку, мог повадиться к нему в гости. Коля с ужасом подумал о том, что́ мог бы натворить ненароком! Он отодвинулся в глубь леса с таким страхом, словно действительно увидел перед собой шпика.

Очутившись возле уже знакомой ему муравьиной кучи, Коля сел на траву и задумался. Все-таки жаль, что не придется побегать с Витей и что нельзя открыться ему! Вот бы он ошарашил Витю, рассказав, что творится здесь, в болотистом лесу у озера, под самым носом у Рассоловых! И вдруг пожалел Витю, вспомнив его скучное, заспанное лицо. «Скучно ему»,— улыбаясь с чувством превосходства, подумал Коля.

— Ай, как ему скучно! — сказал Коля вслух, подражая тому веселому человеку с усами, который был теперь у Ленина.

Он обошел окрестности и, снова вернувшись к шалашу, замер в кустах, наблюдая. Отец уже приехал. С ним был Сашка. Они сидели с Лениным возле ярко горевшего костра и о чем-то разговаривали. Вскоре из шалаша вылез Серго.

— Заспались, заспались,— сказал ему Ленин.— Опоздаете на утреннее заседание. А резолюции я уже пробежал. Я там сделал некоторые поправочки. Покажите товарищам.

Серго блаженно щурился на солнце. Из шалаша вылез Зиновьев. Он выглядел оживленным и бодрым и позвал Серго к озеру умываться. Они ушли. Коля подумал о том, что Зиновьев в присутствии приезжих людей оживляется, обычно же он теперь молчалив и как-то ленив. Коля в этом ощущал некую маленькую фальшь. Он смутно думал о том, что Зиновьев на людях старается быть, как Ленин, показать людям, что он точно такой, как Ленин, что он думает, как Ленин, не менее Ленина бодр, уверен и дружелюбен. Коля не умел делать выводов из своих наблюдений, да и не очень задумывался над их смыслом, он только примечал: если бы не было Серго, Зиновьев никогда не пошел бы в это холодное утро умываться на озеро, не шагал бы так размашисто, помахивая полотенцем, не говорил бы так громко.

Вернувшись с озера, Серго отказался пить чай и ушел с Сашкой к лодке. Перед уходом он крепко пожал руку Зиновьеву, долго тряс руку Ленину, потом пошел, но остановился на опушке, обвел глазами шалаш, стог и всю поляну, развел руками, хохотнул и пропал среди деревьев.

Зиновьев сразу увял, уселся и стал разуваться: ногу терла плохо намотанная портянка.

Коля подошел к костру и спросил у отца:

— Книжки привез?

Он спросил это довольно громко, чтобы Ленин услышал и еще раз подтвердил свое обещание. Но Ленин был, по-видимому, занят своими мыслями и смотрел отсутствующим взглядом на огонь костра. А Емельянов забыл про обещание Ленина и диву давался, почему Коля все пристает к нему насчет школьных учебников и с чего это он стал таким прилежным.

— Не мешай,— шепнул Емельянов, кивая на Ленина.— Через несколько дней сам поедешь в Питер с Сашей или Кондратием и купишь. Там тетка Марфа будет тебе шить костюм.

14

Шотман, в золотом пенсне и черной шляпе, с тросточкой в руках — ни дать ни взять прогуливающийся дачник,— приехал вечером и застал Ленина очень обеспокоенным последними но-

востями. Ленин сидел у костра. Отсветы пламени тревожно метались по его лицу. Газеты, полученные утром, исчерканные красным и синим карандашом, валялись окрест, как после побоища. Без этих яростно раскиданных газет пылающий костер с кипящим чайником и сидящими вокруг тремя мужчинами и мальчиком имел бы вполне мирный вид.

Ради конспирации Шотман молча собрал и сложил в кучу газеты. Затем он сел к костру и стал рассказывать. Обычно уравновешенный и сдержанный, Шотман сегодня был взволнован: в газетах появилось сообщение о происходящем съезде большевиков и цитировалось заявление Свердлова о том, что Ленин, не имея возможности присутствовать на съезде, тем не менее находится поблизости и незримо руководит съездом. В связи с этим засуетились прокуратура и контрразведка, по Питеру ходят слухи, что они собираются запросить съезд о местонахождении Ленина и в случае отказа сообщить, где он находится, возбудят против участников съезда уголовное обвинение в укрывательстве. А в вечерних газетах — Шотман привез их с собой — была напечатана сенсационная статейка: «Новые улики против Ленина». Некий Семен Кушнир, «случайно задержанный милицией в Киеве», оказался «одним из мелких немецких шпионов, работающих в России». «По вопросу о своей шпионской работе он имел личную беседу с Гинденбургом. В делах шпионажа им руководил австриец Фридерис. О Ленине Фридерис говорил ему, что для Ленина касса в Германии всегда открыта и он может получать сколько хочет денег».

Об этих новостях Шотман возбужденно рассказал Ленину и Зиновьеву. Ленин быстро просмотрел вечернюю газету и махнул рукой:

— Расчет на стопроцентных идиотов! «Один из мелких немецких шпионов» имел личную беседу с главнокомандующим германской армией фон Гинденбургом... Весьма убедительно! Все это ерунда. Вот что важно, вот где гвоздь политического момента: буржуазия решила сорганизоваться против революционного пролетариата. Решено провести «государственное совещание». И, конечно, в Москве, древней столице... Под трезвон сорока сороков... Туда съедутся крупнейшие фабриканты, биржевые и банковские воротилы, помещики, царские генералы и святители православной церкви, а наши эсеры и меньшевики — за ними, петушком, петушком, как покойный Петр Иванович Бобчинский! Контрреволюция готовится к решительной борьбе.

У них в арсенале кое-что есть. Вот Рябушинский на торгово-промышленном съезде провозглашает, что для выхода из положения «потребуется костлявая рука голода, которая схватила бы за горло лжедрузей народа — демократические советы и комитеты». Вот их первый союзник — голод. Второй — бонапартистская диктатура. А в крайнем случае — и мы должны всегда помнить об этом! — они пустят немцев в революционный Питер. Думаю, что русская буржуазия не забыла господина Тьера..: Как только дело доходит до кармана, весь патриотизм буржуазии идет насмарку... Вот, Александр Васильевич, какие дела.

— Да, дела серьезные,— согласился Шотман, нахмурившись.

— Пожалуйста, передайте в ЦК: сейчас многое зависит от московских товарищей. Надо поднять всю пролетарскую Москву против «государственного совещания»... Вплоть до всеобщей забастовки.

— Передам, обязательно.

Чайник между тем вскипел, Емельянов разлил кипяток по оловянным кружкам и роздал всем по маленькой конфете. Ленин, устремив пристальный взгляд в огонь, взял было кружку, но затем отставил ее.

— Все-таки удивительно ничтожна дорвавшаяся до «свободы слова» буржуазная пресса! — сказал он.— Газеты полны очередной сенсацией: Временное правительство переводит Николая Романова из Царского Села в Тобольск. «Все труды по организации переезда бывшего царя взял на себя министр-президент Керенский...» Царя сопровождают четыре повара, пятнадцать лакеев... С бывшим наследником Алексеем отправляется его дядька — кондуктор флота Деревянко, матрос Нагорный и француз-гувернер Жильяр. В поезде царя три вагона международного общества, вагон-ресторан и запасный вагон. С каким смакованием, с каким распущением слюней пишет кадетская «Речь» о царе, хотя бы и бывшем! «Первым сел в мотор...», «Императрица вышла в сопровождении статс-дамы Нарышкиной...», «Николай Романов был молчалив и в угнетенно-подавленном состоянии духа... Семья же царя, напротив, проявляла оживление и большой интерес к переезду»... Все рассчитано на сочувствие и слезы лабазников и дворников... Да и сам профессор Милюков, вероятно, украдкой смахнул слезу, сказав латинскую пошлость, вроде «Sic transit gloria mundi» [1]. Газеты

[1] Так проходит слава мира *(лат.)*.

полны этой чепухой. А вот о событиях действительно выдающихся пишется мельчайшим петитом: в Свияжском уезде, Казанской губернии, захвачена крестьянами мельница помещицы Обуховой, в Василькове — мельница графа Браницкого, Перечицкий комитет постановил распределить между крестьянами луговую землю, принадлежащую Александро-Невской лавре. В имении помещика Прозаркевича Рославльского уезда крестьяне самовольно вспахали помещичьи поля, вырубили часть леса, захватили сенокосы. В Курском уезде у помещика такого-то крестьяне скосили и свезли к себе тридцать тысяч пудов сена, у помещика имярек захватили пар и луга... и так далее. Происходит аграрная революция по всей стране, а о ней сообщается петитом! Рабочие после непродолжительного замешательства подтверждают свою верность большевистским лозунгам; собрания рабочих Кабельного, Путиловского, Франко-Русского, Порохового заводов, Монетного двора, Путиловской верфи, «Новый Лесснер», собрание домашней прислуги в цирке «Модерн» и так далее, до бесконечности, принимают большевистские или почти большевистские резолюции, корабли Балтийского флота требуют освобождения большевиков,— а об этом буржуазные газеты ни гугу! Зато они печатают жирнейшим шрифтом изречения господина Милюкова: «Большевистский бунт столкнул Россию с пути стихийности на путь разумного прогресса. Большевизм уже не опасен». Не опасен? Ну, это мы еще посмотрим.— Ленин вдруг рассмеялся.— Не помните, Григорий, в какой газете это самое?..— Он стал ворошить кучу газет, достал одну и прочитал, смеясь: — «Товарищ благочинный, доводим до вашего сведения, что если вы и подвластные вам иереи не согласитесь на новый дележ церковных доходов, то все постепенно будете убиты. Боевая организация городских и сельских псаломщиков...» Революция докатилась и до церковного клира,— правда, в довольно своеобразной форме!

Ленин взял кружку и начал прихлебывать горячую воду.

Шотман сказал, роясь в привезенных им бумагах:

— Вот, возьмите тетрадь, которую вам послала Надежда Константиновна.

Ленин на мгновение оцепенел от неожиданности, потом неторопливо поставил кружку на землю и взял тетрадь. Да, это была та самая синяя тетрадь! Он подержал ее в руках, потом быстро перелистал, захлопнул и положил рядом с собой, но ненадолго. Спустя минуту он снова взял ее в руки. Он то читал

ее, то захлопывал, то поглаживал задумчиво, то снова читал. Ему смутно вспомнилось, что однажды он вот так же гладил, открывал и закрывал какую-то другую тетрадь и испытывал такое же спрятанное от посторонних, но острое чувство счастья. Да, это происходило двадцать с лишним лет назад. Только тогда была не синяя, а желтая тетрадь — гектографированное издание брошюры «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» — его первая «напечатанная» крупная работа.

Он даже к газетам потерял обычный интерес, не стал просматривать привезенные Шотманом вечерние газеты, то и дело брал в руки тетрадь, листал ее, удовлетворенно хмыкал, иногда лукаво взглядывал на Зиновьева и Шотмана, разговаривавших о положении в Питере.

Шотман сказал, смеясь:

— Вчера в ПК Лашевич сказал: «Вот посмо́трите, Ленин в сентябре будет премьер-министром».

Ленин, листая синюю тетрадь и прихлебывая кипяток, спокойно отозвался:

— В этом нет ничего удивительного.

Шотман улыбнулся несколько растерянно. Ленин внимательно посмотрел на него и, поставив кружку на траву, сказал:

— Неужели вы не видите, что мы идем на всех парах ко второй революции, которая создаст новое государство рабочего класса и полупролетариев деревни?

И, не дожидаясь ответа, он углубился в свою тетрадку.

Емельянов молча подкинул в костер хворосту, чтобы Ленину было светлее.

15

Читая свои выписки из Маркса и Энгельса, Ленин ощутил подъем, сравнимый, может быть, только с тем подъемом, какой он испытал 3 апреля у Финляндского вокзала, увидев на площади вооруженный питерский пролетариат с красными знаменами. Он почти забыл о том, где находится, забыл о Сестрорецком Разливе, о сидящих рядом товарищах, о своем подполье — ему казалось, что он снова стоит на броневике и перед ним миллионы уже не восторженных, а строгих глаз, устремленных на него не с ликованием и надеждой, а скорее с вопросом: «Что ты нам скажешь? что ты можешь для нас сделать? вырвешь ли ты

нас из бедности и слепоты? куда нам идти? скажи, если знаешь».

Когда он в библиотеке «Музейного общества» и в читальном зале на Зайлерграбен, 31, в Цюрихе, выписывал из сочинений Маркса и Энгельса места, посвященные вопросу о государстве и диктатуре пролетариата, он прекрасно сознавал их значение; он собирался о них писать, их комментировать, вылущить их из наслоенной усилиями мещанских социалистов шелухи и опубликовать статью на эту тему в 4-м номере «Сборника социал-демократа», задуманном им в 1916 году и не осуществленном из-за отсутствия денег. Но тогда это были все-таки размышления в библиотечной тишине тихого швейцарского городка, они были все-таки обращены непосредственно лишь к сотням людей, большею частью знакомых ему лично или по именам и партийным кличкам, все-таки их ближайшим адресатом были группы подпольщиков в России, группы ссыльных в Туруханском и Нарымском краях, группы эмигрантов в Париже, Берне, Женеве, Нью-Йорке, Лондоне, Вене. Эта работа и была, собственно говоря, задумана как ответ на неверные суждения Бухарина и еще кого-то из русских марксистов, как опровержение подделок и мещанских иллюзий Каутского и еще кого-то из ожиревших немецких социал-демократов. Теперь все эти намерения казались уже мелкими до смешного, как заботы об извозчике в апреле 1917 года, как заграничный котелок среди кепок рабочей толпы. Теперь эти выписки и выводы из них имели то же значение, что хлеб, и соль, и спички, и ситец для миллионных масс людей.

Именно это изменение масштабов того же самого замысла потрясло его. То было ощущение, какое мог бы испытать человек, смастеривший первое колесо, если бы ему при жизни показали, к чему приведет, во что сумеет развиться, какой размах приобретет его первоначальный топорный замысел.

Разумеется, Ленин отмахнулся от этих высокопарных сопоставлений, сделал озабоченно-деловитое лицо, исподлобья взглянул на товарищей — не заметили ли они его «воспарения к небесам», столь неподходящего для практика-революционера. Но они сидели по-прежнему у костра, словно ничего особенного не произошло. На всякий случай он бросил им подчеркнуто будничные слова:

— Полезная, очень полезная тетрадка.

Он не любил патетики, побаивался ее и всегда старался ее избегать.

Но все равно он был полон ликования. Он думал о Марксе и Энгельсе так, как думают о близких знакомых, пожалуй что родственниках, ему казалось, что оба старика сидят рядом и беседуют с ним мудро и благосклонно, словами бездонной глубины и прометеевской дерзости наполняя его сердце теплотой и буйным молодым весельем.

— Ах, какие же вы молодцы! — говорил он им.— Как мы с вами утрем носы рабовладельцам и филистерам земного шара! Какую кашу мы с вами заварим на нашей окаянной планете! Мы им покажем «щеки, как розы «Глуар де Дижон»!

Оба старика представлялись ему не в обычном портретном сходстве, а как сошедшие с рисунков Доре два бородатых гиганта, всезнающих, проницательных, буйно хохочущих над малютками-мещанами, тоже бородатыми, но совсем крошечными, которые взгромоздились на высокие подмостки и взялись за ручки, чтобы заслонить тех, огромных, от взглядов человеческих толп.

Еле дождавшись утра, он начал набрасывать план брошюры (он нарочито называл свою новую книгу этим обыкновеннейшим названием, опять-таки чтобы избежать витийства, патетики). У него было при этом неясное, но знакомое, почти физическое ощущение: словно он двумя пальцами правой руки, большим и указательным, вырывает из хоровода малюток-мещан одного за другим и бросает, не глядя, в кусты.

16

Последующие дни Ленин все время был занят работой над своей «брошюрой». Он почти не замечал окружающего, стал есть еще меньше прежнего, чем приводил в отчаяние Емельянова на этом и Надежду Кондратьевну на том берегу, не проявлял нетерпения по утрам, дожидаясь газет.

Набросав план брошюры, Ленин рассказал Зиновьеву содержание своей новой работы. Они находились вдвоем у шалаша, Емельянов уехал зачем-то на другой берег, а Коля, вероятно, был в лесу, собирал грибы на ужин.

— Это будет полезная штука,— говорил Ленин, прохаживаясь взад и вперед, по своему обыкновению.— Ясная программа действий на ближайшее время после захвата власти, да и не только на ближайшее. Речь здесь пойдет о характере,

даже, если угодно, о стиле жизни пролетарского государства, государства типа Коммуны, причем совсем не в утопическом плане, так как нам достаточно ясны трудности и сложности строительства социалистического общества с тем человеческим материалом, который имеется налицо... Это будет государство диктатуры пролетариата, которое, собственно говоря, имеет две ипостаси: демократия для гигантского большинства народа и беспощадное подавление угнетателей народа и вместе с ними таких бессознательных, но упорных «любителей» капитализма, как тунеядцы, баричи, мошенники, хулиганы, черносотенцы... Это будет небывалое государство, такое, которое стремится к собственному отмиранию. Оно отомрет, когда люди настолько привыкнут к соблюдению основных правил общежития и когда их труд будет настолько производителен, что они добровольно будут трудиться по способностям. Это будет государство, где нет места высокооплачиваемым чиновникам, где все чиновники будут выборны и сменяемы в любое время, где функции учета и контроля будет выполнять большинство населения; а так как вооруженные рабочие не сентиментальные интеллигентики и шутить с собой едва ли позволят, то уклонение от всенародного учета и контроля станет редчайшим исключением, а соблюдение правил человеческого общежития станет привычкой... В этой брошюре будет дан бой обеим равно опасным формам политической слепоты: размашистой анархистской дальнозоркости, то есть неумению и нежеланию видеть реальную действительность, и трусливой оппортунистской близорукости — неумению и нежеланию видеть цель, перспективу, будущее. Да, прав Энгельс. Государство есть зло, которое по наследству передается пролетариату, одержавшему победу. Победивший пролетариат отсечет худшие стороны этого зла, но вынужден будет сохранить его до тех пор, пока новые поколения, выросшие в свободных общественных условиях, окажутся в состоянии выкинуть вон весь этот хлам государственности... В моей брошюре будет, помимо того, доказана необязательность старой схемы: что-де французы начнут, немцы закрепят... Начнет Россия! Это не мессианство, а историческая необходимость... Брошюру я назову «Государство и революция».

Зиновьев слушал, и его бросало то в жар, то в холод. Он сидел на корточках, опустив голову, перебирая руками спутавшиеся мокрые травинки. Он не понимал, как Ленин мог настолько потерять чувство реальности, что всерьез, совершенно

всерьез говорит о захвате власти в ближайшее время, да еще и о типе того государства, которое будет создано в России после захвата власти. Это уже становилось опасным для самого существования партии, для судьбы революции. Но допустим, что Ленин прав, что власть можно захватить, что режим Керенского не сможет оказать сопротивления. Удача была бы для партии еще более гибельна, чем неудача. Что они будут делать, взяв власть? Быть в оппозиции к существующей власти было так понятно, так привычно. Но самим быть властью? Не митинговать, а распоряжаться? Не критиковать, а приказывать? Кто теперь будет выполнять приказы? Разложившаяся армия отдаст Россию немцам или Антанте. Крестьяне не дадут хлеба, заводы не получат сырья. Чем мы накормим голодных? Рабочие мало разбираются в том, что такое экономика, рынок, валюта и т. д. Но Ленин ведь разбирается в этом отлично. Как же он может идти на такой величайший риск, как может он всерьез говорить о взятии власти как о ближайшей перспективе?

Зиновьев чувствовал, что настала пора поговорить с Лениным начистоту, удержать его от опрометчивых шагов, чреватых тягчайшими последствиями. Надо было это сделать как можно хладнокровнее, как можно спокойнее, чтобы не выдать невзначай своего смятения.

Он встал на ноги и сказал с улыбкой:

— Вы в самом деле согласны с Лашевичем насчет близкого премьерства?

— Какого премьерства? — удивленно спросил Ленин и, вспомнив, расхохотался.— А... Конечно, согласен! Уверен.

— Ох-ох-ох... Боюсь, что вы так углубились в свой труд о будущем пролетарском государстве, что не видите, что творится в реальном государстве российском.

— Вы так думаете? — Глаза Ленина потемнели.

— Я не хотел об этом говорить...

— Почему? Говорите... То-то я вижу, что вы все молчите в последние дни.

— Вы были слишком увлечены своей брошюрой. Вы вообще перестали со мной разговаривать. Вы оживляетесь только тогда, когда кто-нибудь является из Питера... Может быть, я надоел вам на этом необитаемом острове? Вероятно, и Пятница временами надоедал Робинзону...

— Помилуйте... Вы же собирались сообщить мне что-то серьезное!

— Я думаю, что вы и за вами ЦК совершаете ряд тактических ошибок. Вы жонглируете лозунгами!

— Я не жонглирую лозунгами, а говорю массам правду при каждом новом повороте революции, как бы ни был он крут. А вы, как мне сдается, боитесь говорить массам правду. Вы хотите вести пролетарскую политику буржуазными средствами. Вожди, знающие правду «в своей среде», между собой, и не говорящие эту правду массам, так как массы, дескать, темны и непонятливы, не пролетарские вожди. Говори правду. Если терпишь поражение, не пытайся его выдавать за победу; если идешь на компромисс, говори, что это компромисс; если ты легко одолел врага, не тверди, что тебе это было трудно, а если трудно — не хвастай, что тебе было легко; если ты ошибся — признайся в ошибке без страха за свой авторитет, так как подорвать твой авторитет может только замалчивание ошибки; если обстоятельства заставили тебя менять курс, не пытайся изображать дело так, словно курс остался прежним; будь правдив перед рабочим классом, если веришь в его классовое чутье и революционный здравый смысл, а не верить в это для марксиста — позор и гибель. Более того, даже врагов обманывать — дело исключительно сложное, обоюдоострое и допустимое только в самых конкретных случаях непосредственной боевой тактики, ибо наши враги отнюдь не отгорожены железной стеной от наших друзей, имеют еще влияние на трудящихся и, искушенные в деле одурачивания масс, будут стараться — и с успехом! — выдавать наше хитроумное маневрирование за обман масс. Быть с массами неискренними ради «обмана врагов» — политика глупая и нерасчетливая. Пролетариат нуждается в правде, и нет ничего вреднее для его дела, чем благовидная, благоприличная обывательская ложь.

Зиновьев раздраженно рассмеялся.

— Правда правде рознь,— сказал он.— Нельзя доходить до наивности. Я помню, в апреле, сразу после приезда, вы в своей речи в Таврическом дворце сказали, что у вас еще неполное представление о событиях, так как вы успели поговорить только с одним рабочим. Это заявление вызвало гомерический смех среди меньшевиков и порядочный конфуз среди наших товарищей...

— Прекрасно. Я так сказал с умыслом. Я сказал так, потому что это правда. Зато когда я в следующий раз сказал, что встречался с многочисленными рабочими Путиловского, Трубочного

и других заводов и хорошо знаю их настроение,— мне все поверили... Не дай бог дожить нашей партии до того, чтобы ее политика делалась втайне, где-то наверху, келейно,— мы-де умные, мы знаем всю правду, а массам будем говорить полправды, четверть, осьмушку правды...

— Все это очень мило, но ведь вы теперь, в условиях разгрома и разброда, не устаете призывать к вооруженному восстанию, к взятию власти пролетариатом вопреки всей расстановке сил в стране... Это — витание в облаках!

— Ах, вот оно в чем дело! Вы боитесь ответственных решений!

— Я боюсь безответственных.

— Вы боитесь того, к чему мы оба стремились всю жизнь, о чем мы писали, о чем мечтали,— пролетарской революции.

— Я боюсь вооруженной вспышки при невыгодных условиях, революции, обреченной на поражение. Мы можем потерять все.

— Все нельзя потерять. Все могут потерять отдельные лица — Ульянов, Зиновьев, Крупская, Лилина. Пролетариат не может потерять все. В одном известном вам сочинении сказано, что он ничего не может потерять, кроме своих цепей. А совершенно идеальных условий, без всякого риска, для революции не бывает... Ваши слова напомнили мне внешне простодушное, но, по сути, очень тонкое замечание старика Тацита об одном римском заговорщике, кажется о Пизоне: «Его удерживало желание безнаказанности, всегда служащее препятствием для важных предприятий». Вы кажетесь мне, Григорий, похожим на этого — гм, гм — робкого римлянина. Совершать важные предприятия при гарантии безнаказанности невозможно.

— Вы, если не ошибаюсь, обвиняете меня в трусости? Мне кажется, вы достаточно хорошо меня знаете...

— Дело тут не в личной трусости...

— Посмотрите, что делается в армии! Темные солдаты на митингах голосуют против «ленинцев-провокаторов»...

— Вот-вот! Они голосуют против «ленинцев-провокаторов» и тут же требуют мира и земли — то есть того же самого, что требуют «ленинцы-провокаторы». Все очень просто. Мы выражаем коренные интересы масс, и с этим ничего не смогут поделать Милюков и Керенский.

— Коренные интересы масс выражали многие партии, по-

терпевшие тем не менее поражение. То, что вы говорите,— философия, а не политика.

Глаза Ленина вспыхнули, но он сдержал себя и сказал спокойно, даже поначалу шутливо:

— Еще Платон говорил, что если в государствах не будут властвовать философы или если властители не научатся быть философами и государственная власть и философия не совпадут воедино, то ни для государства, ни вообще для рода человеческого невозможен конец злу. Когда мы возьмем власть в свои руки,— а это будет скоро... Вы напрасно пожимаете плечами, Григорий... Когда мы возьмем власть в свои руки, наша власть будет основываться на марксистской философии, и если мы будем ее держаться не на словах, а на деле, вовлекая в строительство массы, их творчество, их разум, то построим новое общество без серьезных ошибок.

— Но я боюсь, что вы как раз отрываетесь от масс, вы забегаете вперед, вы нетерпеливы, вас надо держать за фалды... Нам следует теперь маневрировать и ждать.

Ленин, шагавший все время взад и вперед, при этих словах Зиновьева остановился и круто повернулся к нему:

— Ждать? А кто еще так умеет ждать, как мы, русские марксисты? Разве мы мало ждали? Разве, овладев научным социализмом, выстрадав его, поверив в рабочий класс и его победу, мы не научились ждать так, как никто никогда не умел? Разве мы не подавляли в себе приступов ненависти и отчаяния, инстинктивного, вполне человеческого при виде несправедливости и подлости врагов, позыва к терроризму, к немедленным действиям — подавляли потому, что знали, как важно, работая, собирая силы, убеждая, веря, уметь ждать? Разве даже в Апрельских тезисах, вначале воспринятых многими у нас в партии как самое крайнее бунтарство, ушкуйничество, анархизм, бланкизм, я не признал главной задачей «разъяснение» — то есть опять-таки, указав направление работы, не призвал ждать? Каменев тогда, как вы помните, даже критиковал меня «слева», утверждая, что «разъяснение», дескать, не политика; вести политику, по его мнению, значит плести политические комбинации, интриги с другими партиями, блокироваться и деблокироваться, витийствовать на парламентской трибуне! Разве, наконец, во время июльских событий и после них я не настаивал — хотя и недооценив, быть может, революционного настроения масс,— на немедленном прекращении выступления, на превращении его в

мирную демонстрацию? Это ли значит не уметь ждать? Но бывают моменты, когда ждать — преступление. Такой момент может скоро наступить, он, несомненно, скоро наступит, и если мы и тогда уклонимся от немедленного действия, то мы окажемся дюжинными мелкобуржуазными социалистами, болтунами и фразерами, и рабочий класс отвернется от нас. Если мы и тогда будем ждать, если и тогда не предадим проклятию «терпение», как некогда Фауст,— мы трусы и ничтожества, и история нам никогда этого не простит.

Зиновьев затих, потрясенный трагическим пафосом, так непривычно прозвучавшим в устах Ленина. Затем он в отчаянии воскликнул:

— Но вы понимаете, что значит взятие власти теперь, в нынешний момент, в нынешней России?

— Понимаю ли я? — переспросил Ленин, неожиданно успокаиваясь и окидывая лицо Зиновьева долгим взглядом.— Хорошо понимаю. Я об этом предмете думал днем и ночью, так что голова пухла. «Нынешняя Россия»,— говорите вы. Для того, чтобы создать Россию будущую, надо сделать революцию в России нынешней — другого пути нет. Да, темнота. Да, лапотность. Да, дикость. Что ж, взяв власть, мы сможем искоренить эти мрачные черты российской действительности вдвое, вдесятеро, в сто раз быстрее. Да, наши рабочие сплошь да рядом недостаточно культурны, недостаточно просвещенны по сравнению с западными... Это усугубляет наши трудности. Однако это имеет и свои положительные стороны: русские рабочие не отравлены повседневной, превосходно организованной на Западе, растлевающей душу буржуазной пропагандой собственничества, страсти к наживе, к мещанскому благополучию. В сердцах наших рабочих пылает великая ненависть к эксплуататорам. А такая ненависть есть поистине «начало всякой премудрости», основа всякого революционного действия...— Помолчав, Ленин добавил сухо: — Впрочем, у нас есть партия, есть ЦК, и они примут решение в нужный момент.

— Это все слова! — подавленно проговорил Зиновьев.— Слова! Вы прекрасно знаете, что ваше мнение имеет решающее влияние на ЦК.

— Что ж, я горжусь тем, что умею убеждать товарищей. Руководитель — тот, кто умеет убедить при наличии абсолютной свободы мнений. Но вот после решения свободы мнений уже быть не может. Вы помните, некий римский полководец много

веков назад велел казнить собственного сына за то, что тот ослушался приказа во время сражения. Доимператорские римляне знали, что такое дисциплина. Поэтому этот латинский посад стал Римом.

Зиновьев еще что-то говорил, цитировал Маркса, Энгельса и Прудона, но Ленин, словно потеряв интерес к разговору, замолчал.

Тем временем наступил вечер, серый и ненастный. Урывками шел дождик, с озера тянуло холодом. Молчание становилось тягостным. Стук дождевых капель казался Зиновьеву тиканьем больших туманных часов, отсчитывающих время этого тяжкого молчания. Он смотрел вниз, в землю, ожидая. Ленин прошелся по поляне, вернулся, остановился возле шалаша, потом снова пошел от него к лесу. И Зиновьеву показалось, что он ушел, чтобы никогда не вернуться. Зиновьев поднял голову. Ленин стоял на опушке в характерной для него позе — несколько расставив ноги, словно врос в землю, наклонив голову немного набок, заложив большие пальцы рук за проймы жилета. Он словно прислушивался к чему-то — к шуршанию листьев, к мерному постукиванию капель. Потом он вернулся. Казалось, он готов был обрушить на голову Зиновьева тонны новых доказательств. Но он ничего не сказал, снова ушел к опушке и так начал шагать взад и вперед, сначала медленно, потом быстрее — от шалаша к лесу, от леса к шалашу. Зиновьев постоял, постоял и ушел в шалаш.

17

В это время из лесу появился Коля с полным ведром грибов. Зиновьев слышал издали, как Ленин оживленно разговаривал с Колей. По-видимому, они перебирали грибы, и Ленин громко восхищался удачным сбором и говорил:

— Ну и красавцы! А завтра после дождика их будет еще больше.

Коля сказал с некоторой грустью:

— Завтра я еду в город.

— Неужели?.. Завидую тебе.

— Я там книжки и тетрадки куплю.

— А когда вернешься?

— Через три дня. Тетя Марфа будет мне шить костюм.

— Превосходно. Завидую тебе вдвойне... А гляди-ка, какой

подосиновик! Это ведь подосиновик? Весу в нем не меньше чем полфунта... А это какой гриб?

Дождь усилился, и Ленин с Колей побежали к шалашу. Они влезли, улеглись рядом, снова заговорили о грибах, и Зиновьеву казалось, что Ленин говорит о грибах ему назло. Впрочем, вскоре стало тихо. Коля уснул. Ленин лежал неподвижно,— может быть, тоже задремал.

Но Ленин не спал. На душе у него было смутно и тяжело. Разговор с Зиновьевым поразил его. Он считал Зиновьева партийным товарищем, полностью разделяющим его взгляды на все важнейшие вопросы политики. Зиновьев был образован, необыкновенно усидчив, обладал прекрасной памятью и глубоким знанием марксистской литературы. На каждый случай жизни он мог вспомнить подходящую цитату. Для литературной работы это штука удобная, а вот для политической борьбы, где нужны быстрые и самостоятельные решения,— тут нет вещи более противоречивой и коварной, если цитирующий не способен учитывать переменчивость времен, когда та или иная «цитата» появилась на свет божий. К примеру, нет ничего легче, чем во время наступления найти убедительнейшую цитату о важности организованного отступления, а при спаде движения — зарываться, подтверждая свое шапкозакидательство фейерверком отличнейших цитат времен наступления. Цитата! Каких бед способна ты наделать в качестве орудия догматического ума!

Вспоминая весь разговор, Ленин все больше сердился, досадовал и на себя: за то, что как-то проморгал колебания и сомнения товарища, не пытался повлиять на него, был слишком в нем уверен,— и на Зиновьева: за то, что тот отмалчивался, вел себя неискренне и так мало, оказывается, вник в сущность переживаемого момента.

Сколько потерь за эти двадцать лет! Соратники по старой «Искре» — блестящий Плеханов, талантливый Мартов, деятельный Аксельрод, милая, добрая Вера Засулич,— они теперь были врагами, непримиримыми и беспощадными. Хорошо было успокаивать себя тем, что они стали врагами постольку, поскольку отражают половинчатую идеологию класса мелкой буржуазии,— это было верно, но нисколько не утешительно. Ломались дружбы и привязанности, приходилось отрезать от себя людей, как куски собственного тела. И как радостно было, несмотря на все ученые рассуждения о половинчатой идеологии мелкой буржуа-

зии, как весело становилось на душе, когда намечалось сближение с ними — с Плехановым, с Мартовым! Нынешняя революция, очевидно, отдалила их навсегда.

Ленин прислушался к дыханию Зиновьева и с внезапной безмерной горечью подумал: «Неужели предстоит и такое? Как там сказано? «Не успеет трижды пропеть петух...»

Его больно кольнуло в сердце, и он тихонько вылез из шалаша, чтобы освежить голову под дождем.

Дождь вскоре превратился в грозовой ливень. Ломаные молнии то и дело безжалостно впивались в покатую твердь огромного неба, и казалось, что, вкусив его, напившись его огненной крови, зажигались и отпадали от него и мгновенно гасли, сытые, и пропадали в невидимом громовом полете, чтобы через минуту впиться в его плоть в другом месте. Дрожащие деревья и кусты то ярко освещались, то пропадали в густейшем мраке. Прямой ливень огромной силы, тяжелый, как свинец, бил и бил по земле и отражался от нее миллионами мельчайших брызг, похожих в свете молний на медленный дым, относимый в сторону ветром.

Ленин стоял, втиснувшись в стог. Холодные брызги достигали его, но он этого почти не чувствовал. Он все думал о потерях, понесенных партией. Он теперь вспоминал погибших товарищей. Он вспомнил Николая Евграфовича Федосеева, гениального юношу, которого он в молодости считал своим учителем и надеждой русской революции. В минуту отчаяния Федосеев застрелился в Верхоленской ссылке; ему было тогда 27 лет. Ленин вспомнил Ивана Бабушкина, умнейшего петербургского рабочего-слесаря, беззаветного революционера, расстрелянного карательной экспедицией в 1905 году; Иосифа Дубровинского, человека необыкновенной проницательности и доброты, покончившего самоубийством в Туруханском крае — месте своей последней ссылки; обаятельнейшего Николая Баумана, настоящего революционного вождя, убитого черносотенцами; Виргилия Шанцера, умершего в полицейском приемном покое для душевнобольных, и даровитого Сурена Спандаряна, кончившего свою честную, многострадальную жизнь в Красноярской тюремной больнице; екатеринославского рабочего Вилонова, погибшего в эмиграции от туберкулеза; рабочего-большевика Якутова, расстрелянного в Уфимской тюрьме, и многих других.

Вспоминая этих людей, Ленин жалел, что их нет теперь, в решительный момент, и в приступе тоски ему на какое-то мгновение показалось, что они были бы сильнее и мудрее, чем

те, кто остался в живых. И он в своей ревнивой и страстной придирчивости вспоминал о недостатках своих нынешних товарищей: о властолюбии одного, тяжелом характере другого, нерешительности третьего, легкомыслии четвертого — и думал о том, что после взятия власти эти черты способны развиться до уродливых размеров. «Самое трудное и страшное,— думал он,— это драться беспощадно не с врагами, а с близкими людьми, с единомышленниками. А не драться никак нельзя... Надо только никогда не забывать, что нет ничего прекраснее, чем убедить товарища в его ошибке и вернуть на верный путь. Нет, нет, власть не должна, не может развратить людей, помнящих, для чего она взята, знающих твердо, что движение само по себе ничто, если оно не имеет великой и ясной цели. Нет, нет, в лице большевиков появился, употребляя выражение Герцена, «новый кряж людей», который способен на великое самопожертвование, на растворение своей личности в воле и чаяниях рабочего класса. А со всем мелким, личным, корыстным надо бороться общими силами, и каждый из нас должен с этим бороться в себе самом».

В это мгновение Ленин при свете молнии увидел возле отверстия шалаша Колю. Сонный мальчик тер глаза, еще не понимая, что его разбудило и что происходит вокруг, и, очевидно, думая, что видит сон. Когда же он понял, что все это наяву, он смешно испугался, раскрыл рот и заморгал глазами. Он долго не мог опомниться от ужаса и очарования этой ночи, и при свете молний Ленин то видел, то не видел, но ясно представлял себе лицо мальчика, испуганное и очарованное. Так или иначе, но вид мальчика подействовал на Ленина успокоительно, и он мысленно поблагодарил Колю за его комично-испуганное лицо, вернувшее Ленина на милую землю с ее заботами и делами.

Ливень стал утихать. Ленин закрыл глаза, постоял так с минуту, глубоко вздохнул, вытер руками мокрое лицо и, словно стерши вместе с водой свое тяжелое настроение, почти весело прошептал:

— Коля.

Мальчик встрепенулся:

— Кто там?

— Треф.

— Кто там?

— Собака Треф.

Коля радостно засмеялся и, стараясь разглядеть Ленина в темноте, высунул голову под дождь, затем выскочил из шалаша.

— Ты куда полез? Промокнешь насквозь...

Они взялись за руки и постояли так с полминуты молча. Коле было непонятно, почему Ленину вздумалось стоять под грозой, в его голове пронеслась странная и смутная мысль о том, что вождю революции к лицу стоять в одиночестве среди молний и что он должен себя чувствовать среди бушующей природы уютнее, чем обыкновенный человек. Но Ленин, словно бы нарочно, с целью опровергнуть Колины вдохновенные догадки, сказал:

— Ну и продрог же я, зуб на зуб не попадает! Скорее в шалаш, под крышу, под одеяло!..

18

Зиновьев слышал шум ливня, раскаты грома, разговор Ленина с Колей. Он знал, как решительно Ленин рвет с людьми, которые расходятся с ним по важным вопросам политики, и чувствовал, что деревенеет от неприятного чувства одинокости.

Ленин улегся рядом, от него повеяло запахами дождя и мокрых трав. Зиновьев все собирался заговорить, но не решался; он был полон сознания своей правоты и отчаяния от невозможности убедить в ней Ленина. Он почти враждебно прислушивался к ровному дыханию Ленина. «Он поймет, что я был прав, но это будет слишком поздно»,— думал он, закусывая губу.

Вскоре Зиновьев заснул тяжелым сном. Проснулся он довольно поздно и, сразу вспомнив то, что произошло накануне, замер и долго лежал с закрытыми глазами, словно не решаясь посмотреть на свой осиротевший мир. Наконец он приоткрыл веки. Ленин лежал в шалаше головой к выходу и писал. В отверстии шалаша виднелся треугольный кусочек дождя, уже не бурного, а ленивого и, казалось, нескончаемого. И пахло дождем и мятой.

Коли уже не было,— по-видимому, он отправился на другой берег, с тем чтобы уехать в Питер.

Ленин, по своему обыкновению не отрываясь от работы, спросил:

— Проснулись? Кругом — всемирный потоп...

Он больше ничего не сказал, только еще энергичнее заскрипел пером, но этот скрип был очень выразителен. Снова воцарилось молчание.

Когда приехал Емельянов, Ленин встрепенулся, устремился ему навстречу. Емельянов был спокоен, бодр, широко улыбался, по-хозяйски осматривал залитый водой лужок, потемневший стог и угрюмое небо. Он соскучился по Ленину и беспокоился за него по случаю наступившего холода и ненастья.

— Не протекает шалаш? — спросил он прежде всего.

И сразу же взял топор, принялся рубить ветки и укрывать шалаш еще одним слоем. И от его деятельного спокойствия Ленину стало приятно и радостно. Он сказал почти с сожалением:

— Придется съехать с этой квартиры. Для людей непогода не страшна, а вот для бумаги... У меня все тетрадки отсырели...

Емельянов замер на месте с топором в руке и заметно погрустнел.

— Да,— проговорил он.— Действительно...

В тот же вечер Сережа привез Шотмана. Поеживаясь от сырости и то и дело протирая пенсне, Шотман сказал:

— Все. Больше вам тут жить нельзя.

Еще с неделю тому назад Емельянову удалось раздобыть у себя на заводе несколько бланков заводских удостоверений личности. Ленин выбрал удостоверение на имя рабочего Константина Иванова. Теперь оставалось сфотографировать Ленина, наклеить карточку взамен содранной карточки подлинного Иванова и поставить на фотографии недостающую половинку печати. Все это должен был устроить Шотман.

— Есть проект,— сказал он,— переправить вас в Финляндию. Товарищ Зиновьев может поехать или с вами, или в Лесной — там есть подходящая конспиративная квартира.

Зиновьев вылез из шалаша и сказал своим тонким голосом:

— Я поеду в Лесной... Думаю, что буду более полезен ближе к Питеру. Да и для Временного правительства я не представляю такого интереса, как Владимир Ильич. Значит, решено.— Он ждал, что скажет Ленин, но Ленин писал список поручений товарищам; казалось, он был уже не здесь, а где-то в новом, финляндском, еще ему самому неведомом убежище. Зиновьев продолжал: — Пожалуй, сегодня и отправлюсь, а, Александр Васильевич? — Он обращался к Шотману, но смотрел на Ленина.

Ленин ничего не сказал и продолжал писать:

«...хлеба
план Гельсингфорса
клей: маленькая трубочка
иголку и черн. нитку
конвертов простых
«С — Дт» № 47
красн. и син. крдш
пероч. ножик
химич. крдш
ручка
мои тезисы о полит. положении (съезду)
полиглот шведский и финский...»

Начали укладывать вещи Зиновьева. Ленин развеселился, пошучивал.

— Мы перепутали все вещи,— сказал он.— Не знаю, где ваше, где мое. Попадет вам от Златы Ионовны...

— А вам от Надежды Константиновны.

— Мне нет, вы же знаете, она не от мира сего... Да и вещички ваши получше, кажется. Нет? Чужие всегда кажутся лучше...

Зиновьев хмурился, он понимал, что Ленин избегает серьезного разговора.

Емельянов и Сережа отнесли вещи в лодку. Когда стемнело, Зиновьев с Шотманом собрались в путь. Ленин пожал Зиновьеву руку и сказал:

— Будьте осторожны, Григорий... Кто знает, когда удастся свидеться. Надеюсь, что скоро. И в добром согласии.

Зиновьев поспешно сказал дрогнувшим голосом:

— Ну, конечно, конечно...

Ленин обрадованно поднял на него глаза. Но Зиновьев уже пожалел о своем примирительном тоне и с досадой подумал: «Опять я ему уступаю? Вместо того чтобы решительно бороться с гибельным для партии экстремизмом, я опять поддаюсь воле и обаянию Ленина? Нет, я не имею на это права».

Он сухо добавил:

— Будем надеяться.

Ленин ничего не сказал, только потемнел лицом. Все-таки он пошел провожать отъезжающих к берегу, а когда лодка от-

чалила, долго следил за ней, иногда покачивая головой. Погода была нехорошая, дул порывистый ветер, и лодка то поднималась на пенистые гребни, то почти пропадала из глаз. Вскоре она слилась с темнотой.

— Ну, что ж,— сказал Ленин и повернулся к Емельянову, оставшемуся с ним на берегу.— Лодки уплывают, жизнь идет своим чередом.— И добавил: — Пошли разжигать костер.

— Пошли,— добродушно отозвался Емельянов, притворившись, что не заметил, как Ленин низвел тайную свою мысль к бытовому шалашному разговору. Емельянов, человек сдержанный, не высказывался вслух, но он кое-что понимал в сложных взаимоотношениях последних дней и втихомолку негодовал и огорчался вместе с Лениным.

На следующий день поздно вечером приехал с фотоаппаратом Дмитрий Ильич Лещенко, старый партийный товарищ, некогда сотрудник «Звезды» и «Правды». Теперь он работал вместе с Надеждой Константиновной Крупской в культурно-просветительной комиссии Выборгской районной управы. Проговорили до утра о питерских делах, о Надежде Константиновне, о Луначарском, который был арестован на квартире Лещенко, где жил последнее время.

На рассвете Ленин разбудил только что уснувшего Лещенко и нетерпеливо сказал:

— Ну, снимайте, снимайте меня!

Он уже был в парике и кепке. Лещенко посмотрел на туманное небо и покачал головой: было темновато. Все-таки он стал снимать. Но у него не было штатива, а держа аппарат в руках, он никак не мог поймать лицо Ленина в объектив.

— А может быть, мне сесть? — спросил Ленин.

— Это было бы отлично!

Ленин молча присел на корточки и терпеливо ждал, пока Лещенко сфотографирует его. Потом он проводил Лещенко к лодке и, прощаясь, сказал несколько сконфуженно:

— Вы Надежде Константиновне, пожалуйста, не говорите про весь этот — гм, гм — антураж... Сырость, мокрый стог и прочее. Условились? Скажите, что все хорошо, удобно, сухо... Не забудете? Смотри́те!

Через два дня удостоверение было готово. Ленин внимательно осмотрел его и остался доволен: кажется, оно не могло вызвать никаких подозрений.

Наконец настал день отъезда. Ленин и Емельянов ждали

Шотмана. Тот почему-то запаздывал. Вдруг из леса раздался предупреждающий свист Сережи, который заменял теперь Колю в качестве «разведчика». Ленин решил, что идет Шотман, и пошел ему навстречу. Но вместо Шотмана на опушке появился незнакомый мальчик, а за ним показался мужчина в рабочей одежде. Ленин остановился, затем начал медленно отходить к шалашу. Емельянов побледнел, весь подобрался, но тут же обмяк, вздохнув с облегчением. Он узнал Рассолова и его сына Витю.

— Здравствуй, Николай Александрович,— сказал Рассолов, бросив быстрый взгляд на стог, затем на Ленина, усевшегося на корточки возле шалаша.— Хорош стожок, да... Никак, ты кончил косьбу?

— Да, вроде так,— ответил Емельянов неопределенно.

— Может, пойдет ко мне твой чухонец поработать? Хоть денек или полдня... Один я никак не управлюсь. Хвораю, а Витька еще слабоват.

Емельянов с трудом сдержал улыбку и ответил:

— Не пойдет он.

— А может, пойдет?

— Не пойдет, говорю тебе.

— Он по-нашему понимает?

Емельянов покосился на Ленина. Ленин сидел с каменным лицом. Глаза его совсем исчезли, превратились в тусклые, равнодушные щелки.

— Нет,— сказал Емельянов.— Он только по-своему. Я финский язык немного знаю, вот и объясняемся кое-как.— Он уже опомнился и нес напропалую: — Не пойдет, и не пробуй. Я вот сам просил его покосить на берегу, не хочет, спешит домой, что-то у него там стряслось.

Рассолов повздыхал, поохал и ушел вместе с Витей.

Пока их шаги окончательно не замерли и еще минуту после того Ленин оставался в той же позе. Потом он стремительно встал и рассмеялся, в глазах у него заходили искорки. Он сказал:

— Спасибо, Николай Александрович, что меня в батраки не отдали!

— Невыгодно,— засмеялся и Емельянов.

Они еще долго смеялись над этой историей, и только приход Шотмана настроил их на более серьезный лад. Шотман, необыкновенно взволнованный возложенной на него ответст-

венностью, не мог взять в толк, как может Ленин смеяться перед предстоящим ему опаснейшим путешествием.

Шотман пришел не один. Вместе с ним был невысокий крепкий финн. Поздоровавшись с ним, Ленин назвался:

— Иванов.

— Рахья,— ответил финн, не моргнув глазом.

Емельянов и Сережа отнесли вещи Ленина в лодку. Затем Емельянов вернулся один: Сережа повез вещи на тот берег.

Пока Емельянов с Шотманом окончательно уславливались о пути следования до Финляндской железной дороги, почти совсем стемнело.

— Ну, как говорится, в добрый час,— сказал Емельянов. Его голос прозвучал торжественно.— Двинулись, Владимир Ильич.

Он пошел вперед, за ним Рахья, а Ленин с Шотманом сзади.

Коля как раз в это время вернулся с Кондратием из Питера. Не застав дома никого, кроме малышей,— мать куда-то ушла по делу,— Коля недолго думая сгреб учебники и тетрадки, купленные в Питере, сел в лодку и отправился за озеро. С Сережей он разминулся.

Пристав к берегу, он выскочил из лодки и пустился к шалашу почти бегом, с бьющимся сердцем. На знакомом лужке было тихо и безлюдно. Кругом царило полное запустение. Железная перекладина для котелка валялась в остывшем пепле костра. В шалаше не было ни подушек, ни одеял — ничего. Вмятины в сене были холодны и остылы. Коля вначале задрожал от ужаса, решив, что Ленина выследили и арестовали. Но потом он обнаружил в известном ему месте под сеном кипы газет, да и сам стог и шалаш стояли нетронутые, целые. Тогда он понял, что Ленин просто уехал.

Все кругом было пустынно, словно прошедшие дни были сном, чудесным и коротким, словно ничего этого не было — ни Ленина, ни радостных ночей у костра, ни птичьего свиста, ни разведки, ни обещания заниматься с Колей — ничего. Уехал, даже не простился, обманул. Коля посмотрел на свои книжки и тетрадки и горько всхлипнул. Потом обида прошла, но осталась печаль, слишком большая для маленького сердца Коли. Коля долго сидел у остывшего костра, наконец поднялся и медленно пошел обратно, к озеру, к прежней своей жизни, казавшейся ему теперь пустой и неинтересной.

А Ленин и его спутники в это время уже были далеко.

Выбравшись на проселочную дорогу, они затем свернули на тропинку. Им преградила путь речка. Емельянов хотел было, сделав крюк, обойти препятствие, но Ленин решительно разделся и перешел речку вброд, а за ним то же сделали и остальные. Спустя некоторое время наткнулись на обширное болото, обошли его и незаметно очутились среди торфяного пожара. Кругом тлел кустарник, дым ел глаза. Под ногами горел торф. Наконец Емельянов нашел тропинку. Побродив в темноте еще полчаса, они услышали отдаленный гудок паровоза.

— Вышли, кажется,— виновато сказал Емельянов.

— Эх, вы,— язвил всех троих Ленин.— Карты-трехверстки не имеете, дорогу не изучили... Так с вами и войну проиграешь...

— Научимся, товарищ Иванов,— негромко и лукаво отозвался из тьмы дотоле молчавший Рахья.

Ленин сказал серьезно:

— Скорее учитесь, время дорого.

Затем Емельянов и Рахья отправились в разведку на станцию, а Ленин с Шотманом уселись под дерево. Ночь была темная, безлунная, время тянулось медленно. Ленин нащупал в боковом кармане синюю тетрадь.

«Ага,— улыбнулся он.— Синяя тетрадка. Хорошо бы поскорей закончить брошюру. Удастся ли? Посмотрим, что ждет меня на этой станции и на других остановках на пути к цели... И сколько их еще будет, этих остановок...»

Когда Емельянов и Рахья вернулись и сообщили, что поблизости находится станция Дибуны, а не Левашово, как предполагалось, Шотман похолодел: Дибуны были расположены всего в семи верстах от финской границы, здесь легко напороться на пограничные разъезды. Однако выбора не было. Пошли к станции. Издали замерцали станционные огни. Ленин, напрягая зрение, некоторое время пристально вглядывался в их туманное мерцание. Потом он неожиданно ускорил шаг, догнал Емельянова и тронул его за плечо.

— Ну, так, Николай Александрович,— сказал он.— Мало ли что приключится за суматоха. Значит, вот что. Передайте нижайший поклон Надежде Кондратьевне, сыновьям привет, а Коле — особый.

— Передам. Спасибо.

— Я очень благодарен вам и вашей жене за все. Причинил я вам немало хлопот. Не поминайте лихом.

— Что вы, что вы, Владимир Ильич... Мы всей душой...

— Ну и прекрасно... Да, денег у меня с собой очень мало. Моя жена, Надежда Константиновна, знает... Она вам возместит расходы при первой возможности.

— Да полно, Владимир Ильич. Обижусь, ей-богу, обижусь.

— Ладно уж! «Обижусь»! Вы не такие богачи, чтобы содержать беглых революционеров... Да, чтоб не забыть. Алексея, того самого, помните, «связного»... Не обижайте его. За ошибку не надо взыскивать. Он сам поймет. События, революционный опыт помогут ему понять... Так вот,— не обижайте его.

— Хорошо, Владимир Ильич.

— А то я наших товарищей знаю. Будут его шпынять без надобности... Не забудьте, пожалуйста.

— Хорошо, Владимир Ильич, не забуду.

— Ну, вот и все... И спасибо.

Емельянова глубоко и радостно потряс этот разговор, он сам не знал почему. Лишь позднее он понял, что дело тут было не только в человеческой чуткости Ленина и даже не в том, при каких обстоятельствах эта чуткость проявилась; дело было в беспредельной уверенности Ленина, что события будут обязательно развиваться так, что Алексей поймет, не сможет не понять свою ошибку. Может быть, только в этот момент Емельянов по-настоящему понял, что рабочая революция действительно дело ближайшего будущего, и со всей полнотой осознал, какого человека скрывал он у себя в Разливе.

Станционные огни между тем приближались. Ленин приостановился, дождался Шотмана, и они пошли дальше в прежнем порядке: Емельянов и Рахья впереди, Шотман с Лениным сзади.

1961

РАССКАЗЫ
И
ОЧЕРКИ

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ

Очерк

Ба! Знакомые все лица!

(«Горе от ума»)

I

Утром, когда у нас за спиной всходило солнце, мы иногда обнаруживали немецкие наблюдательные пункты на западном берегу Одера. Косые солнечные лучи, озаряя зелень старых сосен, внезапно задерживались, трепеща, на чем-то блестящем, и что-то там на мгновение ослепительно вспыхивало.

— Энне,— говорил, удовлетворенно покашливая, сержант Аленушкин.

Он нагибался над схемой немецкой обороны и ставил там маленький крестик. Потом он обращал ко мне свое обветренное красивое лицо и усмехался. Я никогда не видел, чтобы он смеялся,— он только усмехался всепонимающей, чуть покровительственной, дружелюбной усмешкой человека, не очень общительного, но очень доброжелательного и много испытавшего. Последнее не удивительно: много надо было испытать, чтобы дойти до Одера!

Не подозревая, что он явится когда-нибудь героем моего рассказа, я разговаривал с ним только о делах службы. И впоследствии я горько упрекал себя за то, что ни разу не беседовал

с ним по душам. Когда же война кончилась, было поздно, потому что сержант Аленушкин погиб под Берлином в конце апреля.

Но в то время, о котором я пишу,— март 1945 года,— он был еще жив и удивлял меня своей поразительной зоркостью и почти непостижимой наблюдательностью. У него и глаза были орлиные — круглые, широко расставленные, серые, пронзительные, с очень маленькими острыми зрачками.

Прошлой зимой он, раненный на поле боя, обморозил себе обе ноги и теперь очень страдал от малейшего холода, но и об этом я узнал только впоследствии, после его смерти, со слов других разведчиков. Я вообще мало знал о нем, даже имя его мне было неизвестно, хотя мы проводили вместе добрых пятнадцать часов в сутки.

Это может показаться странным, но на войне такие вещи случаются часто. Люди целиком поглощены своим трудом, а все остальное кажется несущественным. О человеке ты знаешь мало, но зато самого человека ты знаешь хорошо. В мирных условиях порой бывает наоборот.

Для того чтобы понаблюдать ранним утром за противником, мы отправлялись к переднему краю в кромешной темени предутренних часов. Что может быть темнее фронтовой ночи в хорошо дисциплинированном кадровом войске? Да там любую светящуюся гнилушку затопчут ногами, чтобы не светила. Если курят, то в обшлаг бездонного рукава, если читают газету, то в потаенной глубине трехнакатного блиндажа.

Вокруг — тихо и как будто безлюдно. Только иногда раздается негромкий окрик часового да слышится посапывание автомашины, перебирающейся вперевалку по горбатому лесному просеку, да ветер гоняется за кем-то в кустах и, шурша, замирает вдалеке. Ничего не видно, хоть глаз выколи. Но стоит нагнуться немного — и ты различаешь на фоне густой черноты еще более темные очертания головы идущего впереди сержанта Аленушкина. Иди за ним смело — он и во тьме видит. Он тебя не предаст, и не оставит тебя раненого, и поделится с тобой табаком и хлебом — потому что он хороший солдат и к тому же знает, что и ты обойдешься с ним так же. И сердце наполняется нежностью к этому едва различимому в темноте светлому образу. В этой нежности, почти ранящей твою душу, есть и нечто тщеславное — ибо ты и себя считаешь не на много хуже его.

В одну из непроглядных мартовских ночей мы с Аленушкиным пришли в траншею переднего края. Расспросив, по обыкновению, пехотинцев о том, что случилось в течение ночи, мы закурили махорку в ожидании рассвета.

Было холодно, и Аленушкин, вероятно, страдал, но я об этом не знал тогда. Кто-то из пехотинцев предложил нам соломы, и чьи-то неизвестные добрые руки бросили нам из темноты несколько больших охапок. Мы зарыли ноги в сухую солому и продолжали ждать, молча прислушиваясь к негромким разговорам сидевших в траншее солдат.

Говорили тогда преимущественно об одном: о предстоящем наступлении на Берлин и окончании войны. То, что война кончается, понимали все, и это наполняло души безмолвным ликованием, которое ничем не выражалось вслух, но было заразительно, как болезнь. В глазах у людей в то время стояло выражение, какое бывает при влюбленности. В разговорах, однако, не проскальзывало ничего торжественного, наоборот, о близком окончании войны говорили как-то нарочито сухо, словно боялись, как бы не сглазить.

Кто-то из темноты сказал:

— Вчера газета писала — Аргентина, мол, объявила войну немцам. Ну, а ежели уж она объявила,— значит, Гитлер чувствует себя дюже плохо.

Другой солдат меланхолически отозвался:

— Потом скажут: и мы, дескать, пахали.

— Бабы без нас в деревне совсем замучились,— невпопад сказал кто-то, сидящий поодаль у пулемета. То ли он не расслышал, о чем идет разговор, то ли слово «пахали» вызвало у него совсем другую ассоциацию. Но это никому не показалось смешно. Все замолчали на минуту и потом заговорили о том, что хорошо бы *уже теперь*, то есть в марте, к посевной, вернуться на родину.

Между тем стало рассветать, и вскоре к нам подошли откуда-то сбоку два человека — майор и лейтенант. Они постояли рядом с нами, потом медленно пошли дальше по траншее. Я не знал этих людей, и в этом не было ничего удивительного — невозможно знать в лицо всех офицеров. Но когда они отошли от нас на несколько шагов, мне вдруг сделалось тяжело на сердце. Я не отдавал себе отчета, почему. На людей этих я только мельком взглянул и, кажется, не отметил в них ничего странного или тем более зловещего. И все-таки было, видимо,

нечто такое в окружающей их атмосфере, нечто неуловимо нервное в их поведении, отчего заныло, как бы в тяжелом предчувствии, мое сердце.

В это же мгновение Аленушкин встал, посмотрел им вслед и негромко, но повелительно, крикнул:

— Стой!

Те остановились. Я помню, как сразу же замерли в соломе, устилавшей почти все дно траншеи, только что медленно шагавшие ноги в хромовых сапожках. А потом тот, что шел позади,— то был лейтенант,— оглянулся на нас. Он бросил на нас взгляд наглый и в то же время затравленный, настороженный взгляд человека, готового, в зависимости от того, что он увидит, небрежно улыбнуться или бросить гранату.

Неизвестно, что бы он сделал, но нервы шедшего впереди «майора» не выдержали, и он, как-то неловко пригнувшись, пустился бежать по ходу сообщения к лесу. Прогремела автоматная очередь Аленушкина, потом еще чья-то. «Майор» упал, а «лейтенант», пытаясь протестовать, запоздало возмутиться, даже прикрикнуть на «хулиганов», медленно поднял руки вверх.

В это время заработала немецкая артиллерия,— может быть, встревоженная стрельбой на наших позициях. Когда все стихло, мы повели задержанных в штаб дивизии.

Это были диверсанты, переодетые в советскую форму. Они ночью переправились через реку на лодке, затем берегом, прячась в камышах, проникли в наше расположение.

Они были одеты точно так, как полагается. Все — с иголочки. Шинели и погоны — новенькие. Воротнички — беленькие. Пуговицы — ярко начищенные.

В этом заключался их первый просчет.

Несмотря на то что дожди не шли в последнее время, они были мокрые по пояс. К сапогу одного из них прилипла длинная водяная травка. Правда, заметить сырость на темном шинельном сукне и травку на сапоге было бы не легко для менее зорких глаз, чем глаза Аленушкина. Но даже не в этом было дело. Главное, что, будучи совершенно мокрыми, они шли по траншее медленно, даже остановились возле нас на минутку — вроде интересовались, как дела, а ни слова не произнесли. Нельзя, промокнув до нитки, медленно ходить по траншее как бы для прогулки или для проверки.

В этом был их второй просчет.

И, наконец, третье; нервы «майора» не выдержали.

Разумеется, нелегко немцу сохранить присутствие духа, отправляясь на диверсию в тыл противника на подступах к Берлину, когда «подвиг» бесполезен, как самоубийство.

Диверсанты на допросе не отпирались.

Они принадлежали к особой группе Отто Скорцени, штандартенфюрера СС. Группа эта находилась в районе города Шведт, куда была прислана для «проведения специальных мероприятий».

Что это были за мероприятия? Убийство из-за угла отставшего советского солдата, отравление колодца и поджог склада — подлая и мелкая работа, так же мало способная остановить натиск советских армий, как капля яда — отравить океан.

Тогда мы впервые услышали имя Отто Скорцени.

Отто Скорцени был начальником диверсионного отдела немецкой разведки, штатным убийцей германского генерального штаба, выдающимся специалистом по «мокрым» делам.

Это он похитил Муссолини из горной крепости, где дуче находился под охраной карабинеров маршала Бадольо.

Это он, Скорцени, организовал крупную диверсию во время Арденнского наступления немцев: переодев своих молодчиков в американские мундиры, он на американских «виллисах» мчался впереди наступавших немецких танков и безнаказанно убивал направо и налево захваченных врасплох американских солдат.

Его люди пытались организовать в Тегеране покушение на американского президента Рузвельта. Президент был спасен благодаря советским разведчикам, вовремя предупредившим о готовящемся покушении.

Все это самые выдающиеся факты из биографии штандартенфюрера. В обычное время Скорцени просто убивал. Он это делал в лагерях для военнопленных, в войсковых тылах армии противника и в самой Германии. Особенно много убивал он на территориях, оккупированных гитлеровскими войсками. Даже видавшие виды немецкие эсэсовцы отзывались о Скорцени с почтением и с некоторой долей страха, ибо, если требовалось, он убивал и своих.

— Ну и тип! — с искренним недоумением сказал Аленушкин, узнав про все это. Он был взволнован и потом, вернувшись обратно на НП, как-то по-особенному пытливо наводил стерео-

трубу на леса противоположного берега, вглядываясь с бесконечным вниманием в очертания немецкого переднего края, в пустынные улицы полуразрушенного прибрежного селения.

Мы ни о чем не разговаривали, и только вечером, когда солнце закатывалось на западе, Аленушкин оторвал глаза от стереотрубы и досадливо сказал:

— Теперь ничего больше не увидишь.— Потом добавил: — Скорее бы уже наступление.

Наступление вскоре началось, и следы Скорцени затерялись. Группа Скорцени, среди других групп и дивизий 3-й немецкой армии генерала фон Мантейфеля, бежала на запад.

Эти молодчики Скорцени были в общем храбрые парни, ничего не скажешь, но как они бежали! Они бежали самозабвенно, забыв обо всем на свете, с большим знанием этого дела, почти с воодушевлением. Они бросили оружие и склад новенького советского обмундирования, которое наш дивизионный интендант, несмотря на всю его скупость, велел уничтожить, словно оно было зачумленное.

Резвее всех бежал сам Отто Скорцени. Это было уже не просто бегство, а какой-то пароксизм, припадочное состояние, выражающееся в очень быстром перебирании ногами. Если он и останавливался на секунду, то только ради того, чтобы припасть воспаленными губами к попадающимся на пути речкам и озерам. При этом он, как леди Макбет, наскоро мыл свои огромные руки, запятнанные кровью русских и французов, ибо, несмотря на свою столь поразительную резвость, он все-таки боялся, что русские преградят ему дорогу.

Чего греха таить, Отто Скорцени не желал попасть в русский плен. Дело в том, что он был глубоко убежден, что его у нас повесят. Можно даже сказать, что среди всех убеждений Отто Скорцени (а он был, как известно, человек с убеждениями), это убеждение было самым сильным.

Но куда бежать? Вот в чем весь вопрос.

Этот вопрос занимал не только Отто Скорцени, но и нас, грешных. Сержант Аленушкин, например, иногда говорил с оттенком мечтательности в голосе:

— Хорошо бы изловить этого Отту... Хотя ему и бежать-то некуда. Попадет к союзникам, те его тоже живо повесят.

Тем не менее Отто Скорцени бежал к англо-американцам. Может быть, он думал, что его не узнают, не заметят?

Вряд ли он это думал.

Отто Скорцени — убийца № 1, рост 1 метр 93 сантиметра. Лицо — широкое, красное, все в рубцах.

Не заметить его нельзя.

И его заметили американцы. И они приголубили его.

II

— Как так американцы? — удивленно спросил бы сержант Аленушкин, будь он жив.

Он был бы глубоко озадачен и опечален, ибо он, как и все мы, шел навстречу своим союзникам с открытой душой. Я помню, как он радовался, когда союзники совершили высадку в Нормандии. Помню, как, узнавая всякий раз о том, что на нашем фронте появлялась то одна, то другая немецкая дивизия, переброшенная Гитлером с запада, он говорил:

— Ничего не поделаешь... Зато союзникам легче будет.

Когда мы начали за Одером брать первых пленных, показавших, что многие генералы бегут, желая сдаться не нам, а англо-американцам, Аленушкин пожимал плечами, поглядывал на меня с тревогой, но потом уверенно говорил:

— Какая разница! Суд будет один.

Под Ораниенбургом к нам ранним утром 23 апреля привели группу пленных. Мы их наскоро допросили на опушке рощи. Я спросил, где теперь находится штаб армии и ее командующий генерал Мантейфель. Пленный офицер Георг Нейман махнул рукой и устало сказал:

— Убежал... Наверно, уже у англичан...

Мы отправили пленных в тыл. Длинной вереницей, усталые и молчаливые, двинулись они по шоссе на восток. А мы пошли дальше на запад, туда, где завязывался новый бой на новом рубеже немецкой обороны.

В этом бою погиб сержант Аленушкин.

Его похоронили у перекрестка дорог, недалеко от большого озера. Над его могилой, увенчанной красной звездочкой, мы молча поклялись, что не забудем его и будем бороться, как и он, за справедливость на земле. Именно за это боролся сержант Аленушкин — Петр Иванович Аленушкин — так, оказывается, звали его; он был сыном крестьянина Владимирской области.

Мы положили Аленушкина в могилу, и его обмороженные, натруженные ноги нашли себе наконец покой.

Не думал ли кто-нибудь из нас впоследствии: «Ах, как умно и вовремя умер Петр Аленушкин! Ему не пришлось испытать жестоких разочарований, он ушел из жизни в разгар великого праздника, полный уверенности в светлом будущем мира. Какая, в сущности, прекрасная смерть на поле боя, в стане победителей!» Но мы сурово отметали от себя эти мысли слабых — мы знали, что еще много радостного и трудного предстоит нам, и надо жить, чтобы довершить то, что начато.

Тем более что вокруг холмика с телом Аленушкина происходило непрерывное движение огромных масс людей, освобожденных от рабства, сотен тысяч и миллионов бездомных, угнетенных и оскорбленных.

В немецком городке высились кучи щебня вместо домов, зияли разбитые окна, беспризорные дети искали что-то на свалках.

Люди были голодны и печальны. И мы испытывали великую любовь ко всем этим людям, любовь, от которой глаза становятся горячими от подступающих слез, любовь, способную гнать плоты против течения, менять русла рек,— великую любовь к людям, ради которой только и стоит жить на земле и называться человеком. Если ради нее придется быть суровыми,— мы будем суровыми, хотя бы наши сердца обливались кровью при этом.

А мы еще должны были проявлять суровость: впереди отступали, сражаясь, остатки немецких войск. Они сражались еще в силу ложного понимания дисциплины, в силу ненависти, которую долго и настойчиво вбивали им в головы. Но большей частью это уже были не войска, а одиночки — несчастные, покинутые своими командирами, потерявшие веру в будущее. Уже не «фрицы», не солдаты, а люди. И это превращение солдат в людей, это тотальное поражение немецкой армии, как бы ни было оно для них мучительно и трудно,— оно было плодотворно. Оно таило в себе новый, победный путь — путь былой славы для великой нации, давшей миру Маркса и Энгельса, Томаса Мюнцера и Ульриха фон Гуттена, Кеплера и Лейбница, Баха и Бетховена, Гете и Шиллера, Гельмгольца и Рентгена, Планка и Эйнштейна.

Покинув могилу Аленушкина, мы пошли дальше, чтобы добить гитлеровскую армию.

Старшина Горюнов нес в носовом платке ордена и медали

покойного и негромко рассказывал мне о нем нечто вроде надгробного слова:

— Что ж,— не спеша говорил старшина Горюнов,— Аленушкин был хороший парень. Мы с ним два месяца вместе воевали... Как вернулся из госпиталя,— он у нас в роте все время. А раньше он воевал на Третьем Украинском фронте. Прошлой зимой он там орден Красного Знамени получил. Он захватил штаб шестнадцатой мотодивизии немцев. Документы важные и генеральские штаны. Он мне рассказывал. Да... А потом участвовал в деле под Корсунь-Шевченковским. Там целую немецкую армию окружили. В этих боях Аленушкин подбил из противотанкового ружья пять штук танков. Это точно. Другому бы не поверил, а ему верю — очень хорошее зрение имел. Глаза — соколиные прямо, честное слово. Он стрелял — так на лету попадал в монету. Я сам видел. И откуда у него такое? Сам он сын колхозника, кончил семилетку и работал то ли секретарем сельсовета, то ли в сельпо. В общем — не бог весть что. Правда, рисовал хорошо. Когда мы на формировке стояли, он с нас всех портреты рисовал. Очень похоже. И книжки любил читать. Его хлебом не корми, а дай книжку в руки. Я ему даже говорил: брось читать, успеешь почитать после войны, еще зрение свое испортишь, а оно нужное теперь для родины... Семья у него в деревне, мать-старуха, брат младший и какая-то Ольга, не знаю точно — жена или невеста. Сам он никаких особых личных счетов к немцам не имел — не то что я, у меня и дом сожгли в Белоруссии, и старики и сынишка умерли с голоду в немецкой оккупации. У него этого не было. Но как человек партийный и понимающий обстановку, он исключительно фашистов ненавидел и прямо-таки здорово их громил. А так он был парень спокойный, нет чтобы поспорить с кем-нибудь или вообще. Нет, этого за ним не было совсем. Он был, можно сказать, человек стоящий, дисциплинка у него была хорошая. Не то что некоторые — раз ты храбрый разведчик и отличился в боях за родину,— значит, море по колено и сам черт не брат. Нет, этот был другой... Или чтобы там что-нибудь не выполнить... Нет, у него даже не могло такого и быть.

На этом старшина Горюнов закончил и отправился по своим делам в роту.

Позже, на рассвете, мне выдалась возможность поспать, но заснуть я не мог и почему-то думал главным образом о том, что если я после войны смогу написать что-нибудь стоящее, то Але-

пушкин уже не прочитает это. И опять горько сожалел о несостоявшихся ночных разговорах с этим человеком, который так много мог бы рассказать мне и никогда больше не расскажет. Кроме того, я испытывал угрызения совести, вспоминая, как часто холодными ночами заставлял его отправляться на передовую и страдать от боли в ногах, хотя мог бы вместо него посылать кого-нибудь другого.

Потом я в страшной тоске постарался не думать об этом. А темная комната пустынного немецкого дома, где я лежал без сна, понемногу наполнялась мутной серостью рассвета.

Какие документы захватил Аленушкин в прошлом году? Мне ли, разведчику, не помнить эту историю!

Шестнадцатая немецкая мотодивизия была в течение 1943 года трижды отмечена в сводках главной квартиры Гитлера. До того она участвовала в прорыве немцев на Сталинград — с целью выручить из окружения армию Паулюса. Группой войск, в которую входила 16-я мотодивизия, командовал генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн. Именно его послал Гитлер в тяжелый момент для прорыва к осажденному Паулюсу. Фон Манштейн постарался оправдать доверие Гитлера, но это ему не удалось, задуманный мощный удар был сорван, и дивизии «освободителей 6-й армии» побежали вспять под умелым руководством фельдмаршала фон Манштейна. Фельдмаршал проявил недюжинный талант по организации панического бегства с массовым оставлением противнику танков, орудий и даже аэродромов с самолетами. При этом он сделался известен также и истреблением десятков тысяч мирных граждан, как вследствие своего плохого настроения, так и с похвальной целью неукоснительно выполнить соответствующие приказы фюрера.

Одной из дивизий Манштейна была и 16-я мотодивизия.

Среди документов, захваченных сержантом Аленушкиным и его товарищами, была толстая папка с перепиской под заглавием: «О самовольном оставлении командиром 16-й немецкой мотодивизии графом фон Шверин занимаемых позиций». Герхард фон Шверин действительно бросил свои позиции, и командир 30-го армейского корпуса генерал артиллерии Фреттер-Пико возбудил даже перед командующим 6-й армией (обновленной 6-й армии!) генерал-полковником Холлидтом ходатайство о привлечении графа к военному суду.

Граф фон Шверин с большим трудом сумел оправдаться, свалив вину на солдат, на бездорожье, на потери и на самого

Фреттер-Пико. 15 февраля 1944 года граф написал генералу Холлидту слезное и весьма красноречивое письмо. Надо сказать, что у генерал-лейтенанта графа фон Шверин оказался довольно хороший слог, имеющий нечто общее со слогом библейских пророков в изложении немецкого профессора богословия начала прошлого века.

Генерал фон Шверин писал, между прочим:

«В 23.00 противник крупными силами, с криком «ура», перешел в атаку на высоту 81,5 южнее Михайловки, опрокинул стоявшую там на позициях зенитную батарею 9-й танковой дивизии и продолжал свой натиск в западном направлении. 306-й полевой запасной батальон, которому был поручен этот участок, никакого сопротивления не оказал...

Утром 3 февраля ко мне на командный пункт в Михайловке явился командир 156-го мотополка полковник Фишер с остатками своего штаба. Полковник доложил, что его полк, как уже было известно, за последние дни в ходе боев был оттеснен на восток и находится, вероятно, в окружении... Одновременно меня известили со станции Апостолово, что туда прибывают крупные разрозненные отряды всех частей дивизии,— правда, без оружия и техники и в совершенно истощенном состоянии... Много машин было потеряно во время отхода из Михайловки на запад. Отступающая пехота потеряла свое последнее тяжелое оружие и боеприпасы...

Многие падали от истощения и оставались на дороге. В этих условиях солдаты оказались полностью дезорганизованными. Лишь на рассвете удалось у железнодорожного моста вблизи Трудовая собрать небольшое количество боеспособных солдат, которые добрались на нескольких уцелевших штурмовых орудиях. Это были человек сорок солдат 60-го мотополка...

Я намеревался удержаться на железнодорожной линии в надежде, что русские из-за глубокой грязи не смогут преследовать меня крупными силами... Выполнение этого плана потерпело неудачу».

Граф фон Шверин во главе остатков 16-й мотодивизии и 123-й пехотной дивизии, сведенных воедино в группу «Шверин» — по фамилии злосчастного графа,— с поразительной быстротой бежал на запад. 17 февраля 1944 года граф докладывал тому же Холлидту в еще более душераздирающих выражениях:

«...Сотнями брели эти люди по грязи, доходившей до колен.

Они были лишены всякого руководства и двигались в том направлении, куда их вел инстинкт. Над ними витал дух катастрофы. Там, куда они приходили, распространялись паника и ужас. Всякое правильное управление войсками застопорилось и запуталось, так как с потерей штабных машин, а также машин с телефонным и радиоимуществом весь аппарат управления был выведен из строя... Эта жалкая беспомощность перед катастрофой приводит каждого, над кем бы такая катастрофа ни разразилась, все равно офицер он или солдат, в состояние шока».

Графа фон Шверин к военному суду не привлекли. Его спасло состояние шока, иначе говоря — невменяемое состояние, которое в юриспруденции вполне законно считается смягчающим обстоятельством.

Наши солдаты захватили также парадный мундир графа фон Шверин — не буду уподобляться грубому старшине Горюнову, назвавшему парадный мундир «штанами»,— и походную его библиотечку, которая состояла из военно-исторических трудов, опуса Альфреда Розенберга «Миф XX столетия», сочинения А. Гитлера «Моя борьба» и нескольких детективных романов, а также набора парфюмерии парижского производства. Граф был культурный господин, но, придя в состояние шока, бросил часть своих культурных ценностей. Не будем его осуждать за это.

Такие документы и трофеи захватил сержант Аленушкин в районе Запорожья. Документы эти были опубликованы в сообщении Советского информбюро, а трофеи, за исключением парадного мундира, давно уже сгнили в украинской земле. Парадный же мундир вынуждена была перешить себе на пальто старуха Горпина, ограбленная вверенными Герхарду фон Шверин и Эриху фон Манштейну войсками. Сукно оказалось хорошим и после перелицовки носится до сих пор.

Операцию под Корсунь-Шевченковским я тоже хорошо знал. Здесь попала в окружение почти вся 8-я армия немцев под командованием генерал-полковника Веллера. Начальником штаба состоял генерал-лейтенант Ганс Шпейдель. Этот видный гитлеровский штабист довольно умело сунул свою армию в «котел». Раньше он был больше известен расстрелами французских заложников. Он свирепствовал в Париже после разгрома Франции. Когда Адольф Гитлер прибыл в Париж, чтобы насладиться позором Франции, не кто иной, как г-н Шпейдель

водил ефрейтора по французской столице и, между прочим, сопровождал его к гробнице Наполеона в Доме инвалидов. Пронырливый и ловкий шваб понравился опьяненному победой и лестью безумному австрийцу и получил повышение — он был назначен начальником штаба германских оккупационных войск во Франции. За каждое покушение на немца штаб германских войск расстреливал от пятидесяти до ста заложников — французов и француженок. Нант, Бордо и Париж хорошо помнили генерала доктора Ганса Шпейделя. Помнят его и украинские крестьяне района Корсунь-Шевченковского по расстрелам и повальным реквизициям.

Впрочем, в Корсунь-Шевченковском мешке г-ну Шпейделю пришлось очень худо. 8-я армия была разгромлена. Посланные к ней на выручку три танковых дивизии не смогли прорваться. Неразбериха и паника царили в «котле». Шпейдель, заблаговременно улетевший из окружения, прилетел было обратно, чтобы выяснить обстановку, но ничего не выяснил, чуть не попал в плен и еле вскочил на самолет.

Аленушкин вдоволь насмотрелся на бегущих немцев. Жаль, что он не смог все досмотреть до конца.

Дивизии генерала Гассо фон Мантейфеля продолжали отступать примерно в таком же порядке, как год тому назад отступали части Герхарда фон Шверин и Веллера — Шпейделя. Без руководства, оставленные на произвол судьбы своим командующим, они сражались, истекали кровью, сдавались в плен. Над ними витал дух катастрофы.

Генерал Гассо фон Мантейфель — внучатый племянник прусского фельдмаршала Эрвина Карла барона фон Мантейфеля, губернатора Эльзас-Лотарингии после франко-прусской войны 1870 года — был одним из любимых генералов Гитлера и со временем мог претендовать на пост своего почтенного предка. Он командовал отборной танковой дивизией «Великая Германия», отличившейся недавно, во время Арденнского наступления, убийством канадских и американских военнопленных, за что и получил повышение: был назначен Гитлером на пост командующего 3-й армией.

Командовать армией бедняге почти не пришлось. Вначале было некое подобие управления войсками: генерал отдавал приказы, ругал подчиненных, требовал держаться во что бы то ни стало, перемещал дивизии, полки, подбрасывал подкрепления. Но это продолжалось всего несколько дней. Потом все броси-

лись в паническое бегство, и генералу фон Мантейфелю не осталось ничего другого, как возглавить этот порыв, этот бурный, непреодолимый «Дранг нах Вестен».

Да, «Дранг нах Остен» сменился «дрангом» в обратном направлении. Разумеется, этот дранг не имел завоевательных целей. Однако не надо думать, что он был вовсе бесцелен. Рядовые солдаты и офицеры бежали потому, что их гнали, но многие генералы бежали даже тогда, когда можно было еще держаться. Они бежали к новому хозяину. Конечно, они в то время не были еще уверены в том, что хозяин возьмет их к себе в услужение. Но чутьем опытных ландскнехтов они угадывали в будущем такую возможность.

И вот, в связи с этим, генерал фон Мантейфель, в то время как его солдаты еще дрались и умирали, отбыл в западном направлении. С решительностью, являющейся отличительной чертой знаменитого рода Мантейфель, он летел в штабной машине навстречу британским войскам гораздо резвее, чем они шли навстречу ему. Приходится с грустью констатировать, что он мчался не для того, чтобы приостановить вторжение островитян на территорию своей отчизны. Нет, он стремился к ним с целью срочно запросить британское командование: «Где здесь плен?» Он мог бы сделать этот запрос телеграфно, но телефону или по радио, используя новейшие достижения техники, но он не осуществил этого: у него не было уже ни телеграфа, ни телефона, ни радио — все имущество связи его штаба попало в руки наших войск.

Он бежал к англичанам, как к своим избавителям, он, в течение шести лет твердивший, что англичане худшие враги немецкого народа, он, считавший, что главная ошибка Гитлера заключалась в том, что фюрер предпринял русский поход до того, как расправился с Англией.

Даже сейчас, стремясь в спасительное лоно британской армии, фон Мантейфель жалел о том, что все так глупо получилось. А ведь в Англии было бы вольготно! Можно было бы разрушать танками старинные готические здания, солдаты Мантейфеля насиловали бы англичанок, жгли бы крытые черепицей английские деревеньки. В Англии и водных преград поменьше, и джентльменов побольше, чем в России. При отсутствии крупных лесных массивов облегчалась бы борьба с партизанами. А уже затем можно было бы ударить на Россию, имея обеспеченный тыл с хорошим английским правительством во главе

с сэром Освальдом Мосли и лордом Хау-Хау, в составе лояльно настроенных мур-брабазонов.

Но теперь пришлось Мантейфелю попасть к англичанам не в качестве победителя и оккупанта, а всего лишь в качестве пленного. Правда, англичане приняли его с глубоким уважением. Родовитый господин очень импонировал британским любителям аристократической старины, тем более что он не побывал у них в качестве оккупанта.

III

Отто Скорцени попал к американцам. Не будучи титулованным бароном и не надеясь на аристократические сантименты американских демократов, он дрожал, как осиновый лист. Он впервые убедился в том, что и у него есть нервы. Он ежедневно ожидал суда и виселицы.

Но все шло тихо и мирно. Понемногу бывший штандартенфюрер опомнился от страха и даже стал панибратски подмигивать чинам американской охраны.

Скорцени жил в Дармштадтском лагере спокойно и сытно среди других эсэсовских деятелей топора и плахи. То, что людей, посылавших на Лондон самолеты-снаряды и торпедировавших американские торговые пароходы, кормили хорошо и культурно обслуживали, свидетельствовало о том, что евангельские заповеди не чужды и американским полицейским, и наполняло душу Скорцени (его теперь величали мистером Скорцени) глубоким удовлетворением. А он совсем было изверился в человеческом благородстве!

Однако Скорцени здесь вскоре показалось скучно. После столь бурно и интересно прожитой жизни Дармштадт казался ему дырой. Правда, тебя не убивают,— это хорошо. Но тебе и убивать не дают,— а это плохо. Кругом — деревья, прекрасный старый парк, вороны кричат на тополях,— а работы нету. Столько месяцев прожить не убивая — тяжелое испытание для немецкого эсэсовца, пустая, бессмысленная, можно сказать — безыдейная жизнь.

Скорцени начал впадать в философическое настроение. Он даже дошел до таких вершин абстрактного мышления, что с полной объективностью ученого удивлялся глупости американцев, не понимавших, какое удовольствие имели бы они, убивая его, Скорцени. В своих размышлениях касался он также и во-

просов естествознания. Например: как жаль, что человек не так живуч, как рыба. У рыбы и живот распорешь, и жабры вырвешь, а она еще бьется. Человек — он устроен не столь совершенно, и его единственное преимущество перед рыбой — это то, что он кричит.

Бывшему штандартенфюреру тем невыносимее было находиться в лагере, что до него стали доходить интересные сведения. Радио — а лагерь в Дармштадте был хорошо радиофицирован — сообщало о событиях новейшего времени, о противоречиях в стане союзников. Чем острее становились эти противоречия, тем мягче и человечнее становился режим в лагере, тем более походил лагерь на хороший пансион для добропорядочных холостяков, тем слабее становилась охрана. К тому времени, когда англо-американские власти обнародовали известие о том, что денацификация в западных зонах окончена, лагерь в Дармштадте превратился в эсэсовский рай на земле.

Впрочем, мистер Скорцени не избегнул суда. Но то был суд почти ангельский, американский суд. Покашливая и воровато оглядываясь, судьи оправдали бывшего эсэсовца и решили передать его немцам на предмет «денацификации». Но тут Скорцени, как вылупившийся из яйца птенец, решил отказаться от материнских забот американской лагерной наседки. Он почувствовал крылышки за спиной и улетел из Дармштадта. Это было весьма несложно в нынешних условиях, тем более что ему дали понять, что его услуги могут скоро понадобиться «при данной ситуации».

Вообще говоря, это темная история — бегство Скорцени из лагеря. Он ушел средь бела дня, словно его друзья из штаба оккупационных войск союзников надели на него шапку-невидимку.

Говорят, что в момент его бегства произошло феноменальное явление: послышался тихий плач деревьев от Волги до Луары — деревьев с толстыми крепкими суками, на которых должны были болтаться Скорцени, его коллеги и его покровители.

Отто Скорцени бежал в Аргентину.

Не правда ли, это звучит весьма романтично? Бегство из Дармштадта в дикие пампасы Аргентины. Скорцени действительно попал в пампасы, но он там не жил в ранчо и не мчался на мустангах. Он очутился в Кордобе, большом благоустроенном городе, хотя и расположенном, правда, в аргентинских пам-

пасах. В городе стоял большой военный гарнизон с таким количеством немецких фашистов, офицеров вермахта всех рангов и родов оружия, что казалось, ты находишься в Лагер-Деблериц близ Берлина.

Да, это была та самая Аргентина, которая геройски объявила Гитлеру войну в марте 1945 года, когда Скорцени уже вострил свои лыжи на Одере. Впрочем, Скорцени не обижался на Аргентину за это. Иначе нельзя было поступить в то время, и аргентинские офицеры только вздыхали, покачивали головами и любовно жали жесткие ладони немецких беглецов.

Отто Скорцени поместили в удобном доме, гостеприимные хозяева всячески ласкали бедного мученика за Германию, несчастного заключенного, пострадавшего от рук неблагодарных европейцев.

Парламентский лидер аргентинской радикальной партии Сильвано Сантандер заявил, что Отто Скорцени (теперь его величали синьором Скорцени) находится под защитой аргентинской армии и флота.

Не знаю, трудно ли было вооруженным силам Аргентины защищать Отто Скорцени,— во всяком случае, ни один волос не упал с его головы. Неизвестно, что было бы, если бы, например, Соединенные Штаты Америки решили начать войну с Аргентиной из-за синьора Скорцени. Но США отнюдь не собирались делать нечто подобное. Наоборот, американские офицеры запросто встречались с ним и уговаривали его ехать в Европу, где его услуги могут вот-вот понадобиться. Да, именно теперь! Когда Западная Германия уже, слава богу, «денацифицирована и демилитаризирована»!

Скорцени долго не решался на этот шаг, и видит бог, если бы его защищала только аргентинская армия, он так и не решился бы на него. Но убийцу осенили звезды и полосы американского флага. Он получил заверения. Были забыты тысячи убитых им американцев. Было забыто и покушение на Рузвельта, который и сам был теперь, «при данной ситуации», забыт.

И Скорцени появился в Европе — без стеснения, не пригибаясь, во всю длину своего выдающегося роста. В Париже он напечатал мемуары в «Фигаро», он завел дружбу с интеллигентными французами — даже с одним социалистом, чего мсье Скорцени никогда не ожидал в связи с тем, что самолично убил немало социалистов.

Потом он выехал наконец в Западную Германию.

Прекрасное зрелище открылось перед его глазами.

Если бы не города, разрушенные почти дотла английской и американской авиацией, если бы не обилие американских мундиров и американских товаров, можно было бы подумать, что ничего за эти годы не произошло.

Скорцени застал здесь сотни и тысячи друзей и однокашников, встречавших друг друга одним лишь словом «хайль», тактично опуская второе слово.

Скорцени повидался с гитлеровским рейхсминистром Вальтером Дарре, выпил пива с доктором Фриче.

В это же время на американском военном самолете прибыл в Германию из далекого Китая Вальтер Стеннес, когда-то фюрер берлинских штурмовиков, тоже очень знаменитый погромщик и убийца. В последнее время он работал начальником личной гвардии Чан Кай-ши. Бежал он из Шанхая за несколько часов до прихода туда китайской Народной армии. Американцы вывезли его на самолете, а британский верховный комиссар в Германии сэр Брайан Робертсон дал ему пропуск на въезд в английскую зону.

По всему чувствовалось, что наклевывается наконец работа.

Генералы Гитлера потихоньку совещались в разных высокопоставленных домах, засиживаясь там до поздней ночи. Стучали машинки, читались рефераты. На эти совещания приезжали из концентрационных лагерей на восьмицилиндровых «паккардах» и те генералы, которые отбывали заключение за бесчеловечные преступления во время войны. Генералов финансировал господин с лошадиной фамилией Пфердменгес, самый богатый человек в Германии, один из тех, кто привел Гитлера к власти. Сам Яльмар Шахт (Скорцени даже прослезился от умиления, увидев лицо маститого гитлеровского дядьки) был душой этих совещаний.

Шла тихая, но не очень скрытная возня, которая, как Скорцени сразу же с восторгом определил, являлась не чем иным, как подготовкой к восстановлению германского вермахта. Зарождался «коричневый рейхсвер», как когда-то после первой мировой войны зарождался рейхсвер «черный». Создавалась подпольная организация немецких офицеров «Брудершафт», как после первой мировой войны — такая же организация «Консул». И герр Скорцени радостно примкнул к этому движению. Нет, союзники не повесили его.

IV

Итак, в Западной Германии создавалась германская армия. Писались меморандумы, составлялись мобилизационные планы, восстанавливались списки офицеров армии и СС. Разрабатывались заявки на оружие и боеприпасы. Обучались войска. Бывшие офицеры военно-воздушных сил и аэродромного обслуживания проходили курс обращения с американскими реактивными истребителями Ф-84. Военные заводы работали в три смены.

С течением времени работа по созданию «вермахта» расширялась. Началась идейная подготовка перевооружения. Кинофильмы и книги, посвященные реабилитации и возвеличению военных преступников, заполонили рынок. Страна кишела солдатскими обществами и эсэсовскими землячествами. Воспоминания гитлеровских генералов, мемуары горничных Гитлера, денщиков Роммеля, лакеев Геринга и троюродных братьев Геббельса запестрели на прилавках.

А потом настало время для открытого оформления германских вооруженных сил — «в рамках» Северо-Атлантического пакта. Кто же возглавит эту армию, кто же будет олицетворять вооруженные силы «свободного мира»?

Ганс Шпейдель и Гассо фон Мантейфель, фон Шверин и фон Манштейн, эсэсовец Гилле и эсэсовец Скорцени и многие другие, чьи имена нам хорошо известны.

Они, наши старые знакомые, которых мы нещадно били, гнали, окружали и рассеивали. Те самые, которые бросили в беде свои войска и чинно сдали пистолеты и кортики американцам и англичанам. Те самые, которые разрушали наши города и жгли наши села. Те, которые, пользуясь своим военным авторитетом, внедряли в головы немецких солдат высокопарными фразами о долге преданность Адольфу Гитлеру, ненависть к человечеству.

Тише. Будем сохранять спокойствие. Не станем вспоминать теперь о сержанте Аленушкине и о других погибших друзьях. Ни слова более о пути от Сталинграда до Берлина — пути, политом нашей кровью.

Лучше посмеемся. Разве вас не разбирает смех при виде наших старых знакомых, этих современных героев, превзошедших по части быстроногости Ахиллеса, самого быстроногого из героев древности?

Господин Шпейдель, недавно с лакейским видом сопровождавший по Парижу г-на Гитлера, теперь развязно разгуливает по Фонтенбло с г-ном Монтгомери и г-ном Барбье и похлопывает их по плечу.

Вероятно, портные срочно шьют фон Шверину новый мундир взамен того, в котором бабка Горпина ходит к колодцу по воду.

Иногда после большого трудового дня, после инспектирования новых подразделений и встреч со своим начальством — американскими капитанами, немецкие генералы собираются у камина за кружкой пива и долго сидят молча, время от времени задумчиво вздыхая. Они вспоминают прекрасные времена Гитлера, громкие победы, отличия, приемы в имперской канцелярии в присутствии послов Муссолини, Хирохито и Франко... Фюрер жал руки своим генералам, отмечал их в своих сводках, жаловал им поместья и кресты.

Да, Адольф Гитлер любил этих парней. Он любил их, высоко ценил, хорошо содержал, а если иногда и сердился, и покрикивал, и бил их по морде, так это только как отец своих деток. Кто любит, тот наказует.

И будем говорить открыто — они тоже любили его.

С какой страстью пытаются они доказать обратное! Как упорно стараются обелить себя в книгах, письмах, декларациях, мемуарах! Оказывается, они были несогласны с политикой покойного Адольфа. Правда, это несогласие они выражали только перед своими супругами, и то в постели, шепотом. Преданность же ему они провозглашали гораздо громче, и отнюдь не в постели, а всюду и везде. Но это можно понять и, поняв, простить: какой супруг — даже если он престарелый генерал — не желает казаться в постели своей жене справедливым, решительным и сильным?

И все-таки смешно, что они отреклись от Гитлера! Ведь не будь его — не была бы восстановлена военная промышленность, не возродилась бы армия, не началась бы война, и господа Мантейфель, Гальдер, Рунштедт, Манштейн и другие прозябали бы в неизвестности в качестве управляющих имениями, хозяев пивных лавок, надсмотрщиков на фабриках и шахтах!

Доктор Шпейдель был бы преподавателем истории в гимназии Эбергард-Людвига в Штутгарте. Фон Шверин состоял бы, максимум, как его покойный папа, полицей-президентом Ганновера или другого города и гонялся бы за Отто Скорцени,

который был бы всего-навсего обыкновенным уголовным убийцей. Покойнику Гудериану, человеку без роду и племени, пришлось бы, возможно, продавать на ручной тележке овощи и вместо «Achtung, Panzern» [1] кричать «Achtung, Rüben!» [2]

Нет, трудно из Александра стать Диогеном и сменить дворец на бочку. Зря они теперь так нехорошо отзываются о своем отце и благодетеле.

Впрочем, не надо их подозревать в низкой корысти. Не только себя стремятся они обелить,— они хотят оправдать всю немецкую военную касту, всю ее выгородить, подсластить, окружить святым ореолом ненависти к Гитлеру. Генерал-полковник Гальдер в одной своей книжонке, наспех сочиненной для этой цели, пытается окружить этим ореолом также и гитлеровского выкормыша Эрвина Роммеля. Более того, предпринимаются попытки превратить чуть ли не в антифашистов палачей города Парижа генерала Штюльпнагеля и генерала Шпейделя, убивших больше французов, чем все их коллеги — палачи города Парижа — от времен Гуго Капета до времен Адольфа Тьера. Убивая французов и француженок, они, оказывается, ненавидели Гитлера. Расстреливая заложников, они, оказывается, были ярыми противниками Гитлера!

Так ученики фюрера пытаются создать легенду о своей былой ненависти к учителю. Им оказывают в этом деле посильную помощь разные английские, американские и немецкие литераторы, военные и просто мошенники. Даже некоторые одураченные этой романтической версией писатели прогрессивного направления тоже, млея и сюсюкая, что-то такое бубнят об оппозиционности немецкого генералитета.

— Помилуйте,— бормочут они,— ведь военные организовали покушение на Гитлера в июне тысяча девятьсот сорок четвертого года!..

Это, положим, верно. Но в том-то и беда, что покушение было организовано только в июне 1944 года, когда во всей своей очевидности обозначилось поражение Германии. И еще: покушение на Гитлера было организовано для того, чтобы спасти дело Гитлера, в надежде договориться с Западом с целью уничтожить и залить кровью Восток; эмиссар фюрера, господин Гесс, допер до этой идеи на три года раньше господ генералов.

---

[1] «Внимание, танки!» — сочинение генерала Гудериана.

[2] «Внимание, репа!» *(нем.)*.

Нет, простите. Адольф Гитлер любил этих парней, и они обожали его.

Конечно, жаль, что многих уже нет, а иные далече. Потягивая пиво, сидят у камина наши старые знакомые и вспоминают своих коллег, которые не имеют возможности по разным обстоятельствам сидеть рядом и участвовать в общем, *европейском*, дельце...

Повешены Кейтель и Иодль — «зря, зря, они бы пригодились теперь»... Погибли на русских равнинах такие столпы, как генерал артиллерии Вильгельм Штеммерман, генерал пехоты Митт, генерал-лейтенант де Салленгре Драббе, генерал пехоты Мюллер и многие другие. Ах, где теперь генерал Маттершток, командир 137-й охранной дивизии, сорвавший с себя погоны и ордена и убежавший от русских однажды зимой? Где командир 106-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Форст, который самолично поджигал русские дома с запертыми в них жителями?

Да, многих нет, многих нет... Как говаривал Шиллер:

Скольких бодрых жизнь поблекла,
Скольких низких рок щадит...

Генералы курят трубки и глядят в камин, покашливают и опять вспоминают.

Какая невозградимая потеря — смерть Генриха Гиммлера! Он был хотя и крупный негодяй, но весьма полезный при данной ситуации человек. В последний период войны он командовал армейской группой «Висла». Теперь можно было бы поручить ему командование армейской группой «Сена»...

Да, многих нет, многих нет...

Но вот генералы вскакивают — раздается отрывистый окрик американского лейтенанта:

— Хэлло!

Опять начинается суета, писанина, смотры войскам, списки, меморандумы, оперативные планы под затейливыми названиями вроде «Барбаросса» или «Морской лев»...

А американцы неистовствуют: вот вам деньги, вот вам оружие, только соберите побольше пушечного мяса, мы хотим мяса.

Да, да, американцы, дорогой друг Аленушкин, именно они.

Они воскрешают мертвых. Они гигантскими кранами, пыхтя и ругаясь, поднимают огромный, разбитый, параличный, блед-

ный как смерть в своей железной каске и зеленом мундире, призрак генерального штаба германской армии. Его рыжие усики начинают топорщиться над прусскими тонкими губами; белесые вылинявшие ресницы начинают удивленно моргать, а бесцветные злодейские глаза наливаются блеском и кровью. Руки размахивают, а длинные ноги, облаченные в американскую обувь, уже готовы выступить вперед гусиным шагом: «Achtung! Stillgestanden!» [1]

При звуке этих хорошо знакомых слов мне на память приходят другие слова, которые очень часто произносились русскими солдатами: «хальт» и «хенде хох».

Знакомые, дорогие слова! Неужто они ни о чем не напомнят Ахиллесу фон Шверин? Неужто пятка, куда ушла геройская душа графа в былые дни, уже зажила, а сама бессмертная душа его опять водворилась на старое место?

Неужели эти слова так-таки ничегошеньки не говорят генерал-лейтенанту Гансу Шпейделю, хлебнувшему позора на украинской земле?

Неужели Мантейфель, этот баран в чине генерала, оставивший свои войска на произвол судьбы и удравший в плен, так уж воинственно настроен, что рвется в бой, оглушая мир грозным блеянием?

Неужели все наши старые знакомые позабыли своих старых советских знакомых?

Какой огромный путь прошло человечество от человекообразной обезьяны до гитлеровского генерал-лейтенанта! Почему же так мало души, так мало интеллекта, такая звериная узость мысли под этими лысыми черепами? Ведь они не могут не понимать, что война обрекает на смерть и истребление прежде всего немецкий народ. Не пехотная же рота из Коста-Рики и не взвод драгун из Доминиканской республики обагрит своей кровью прекрасную землю Германии. Она снова будет полита немецкой кровью.

Нашим старым знакомым все это нипочем. Эгоистический расчет и подлое честолюбие, звериная злоба и звериная обида движет ими. Вот они, наши старые знакомые, глядите на них — генерал-полковник Павиан и генерал-лейтенант фон Шимпанзе! Мы знаем их повадки, их гримасы, их лицемерие и спесь,

---

[1] Внимание! Смирно! *(нем.)*.

их трусость и наглость. Мы видели их лица, и, что еще важнее — их тощие зады, когда они удирали от нас, потеряв... мундиры.

Барабанный бой раздается в Западной Европе. В Западной Германии опять начинается великое одурачивание Михеля. Неужели его проведут и на этот раз? Неужели Михель снова захочет стать «фрицем»? И неужели у других народов такая короткая память? Французский солдат будет служить под начальством Ганса Шпейделя? Томми будет подчиняться немецкой команде? Непостижимо!

Генералы Гитлера — народ многократно битый и потому — весьма терпеливый. Теперь они называют себя европейцами. Они называют Германию неотъемлемой частью Европы. Скоро они снова будут называть Европу неотъемлемой частью Германии.

Так-то, друг Аленушкин.

V

Приехав во Владимирскую область, я вдруг, неожиданно для себя самого, решил разыскать деревню, где родился и вырос сержант Петр Аленушкин, побывать в этой деревне и посмотреть на людей, которые окружали его, и на землю, по которой он ступал до того, как стать солдатом.

С каждым днем мое желание становилось сильнее, и вскоре мне это стало казаться необычайно важным и полным особого значения.

Выяснилось, что деревня находится в Вязниковском районе, который ничем особенным не отличается от множества других районов. Он славится вишневыми садами. Через него протекает река Клязьма. Правый берег ее высок и живописен, левый — низмен, порос лесом и сочными лугами. Река здесь судоходна, и пароходики, оглашая протяжным воем окружающие леса, идут вниз до Оки и вверх до Мстеры.

В старину здесь работали богомазы, талантливые иконописцы, сбывавшие свой товар через бродячих разносчиков — офеней — по всей России.

Кроме того, район славится еще одним обстоятельством. Маленький городок Вязники, мало кому известный, и окружающий его небольшой район, дали за войну двадцать пять героев Советского Союза, преимущественно летчиков. Как-то странно

и трогательно было мне смотреть на снующих по деревням и по улицам городка старепьких женщин в шерстяных платках — обычных русских женщин, как две капли воды схожих с теми, которые ходили по этим древним местам сто и двести лет назад, и думать о том, что эти старушки родили героев-летчиков, мастеров современнейшей техники и что эти матери, у которых еще и иконы стоят в красном углу, обращают взоры в небо не с молитвой, а просто в ожидании своих сыновей.

Я пришел в деревню, где родился мой погибший товарищ, в погожий сентябрьский день.

Все колхозники работали в поле. Казалось, что деревня населена только курами, которые по-хозяйски ходили по улице, клевали, собирались вместе, опять расходились, исчезали в дворах и вновь появлялись. На меня они глядели довольно равнодушно, и я уселся на завалину, уже просто не понимая, зачем я пришел сюда и что я скажу людям. Мне теперь казалось, что зря я пришел. Мать Аленушкина, может быть, уже умерла, а если и жива, то стоит ли растравлять старые раны, напоминать о событиях многолетней давности, о том, что было и быльем поросло.

Мимо прошел мальчик, и я спросил его, где здесь живут Аленушкины, на что он мне ответил, что полдеревни — Аленушкины. Тогда я пояснил, что я имею в виду тех Аленушкиных, у которых погиб сын на войне. Мальчик, подумав, ответил, что у нескольких Аленушкиных погибли сыновья на войне, и тогда я, смущенный и притихший, замолчал, а мальчик, постояв немного, ушел.

Вокруг стояла прекрасная осень. Деревья, как будто увешанные медными колокольчиками, колыхались под теплым ветром, и казалось, что листья сейчас зазвенят тонкими голосками — совсем тонкими у берез, пониже — у кленов и вовсе низкими — у лип. Прежде всех деревьев бурно и радостно желтеют клены. Их желтизна ярка до боли в глазах. Березы — те желтеют медленнее. Теперь они были еще желто-зеленые: зеленое ближе к стволу, а чем дальше от него, тем желтее. Ничего похожего на увядание не было в осеннем уборе деревьев. И в том, что тихая улица устлана желтыми листьями, тоже не было ничего печального. Просто происходил какой-то крайне необходимый жизненный процесс, не менее важный, чем все другие, и красота его была красотой непреходящей жизни.

Начало темнеть. По деревне прошло стадо. Гурьбой пронес-

лись барашки. Коровы, принадлежащие колхозникам, поодиночке заворачивали каждая в свои ворота, между тем как колхозные коровы горделиво продолжали свой путь дальше, к ферме. Зажглось электричество в домах и длинных конюшнях. Наконец появились и люди. Они появились сразу, и улица заполнилась ими — мужчинами, женщинами и детьми.

Все не спеша разошлись по домам, и только одна молодая пара, словно и не уставшая за трудовой день, пошла по направлению к реке — он задумчиво теребил в руках желтую веточку, она тихо смеялась.

Теперь уже совсем стемнело, и я отправился разыскивать избу Аленушкина. Мне указали ее, и я вошел.

Мать сержанта была маленькая женщина, вся седая, но с моложавым коричневым лицом. Она не огорчилась из-за того, что я напомнил ей о сыне, напрасно я опасался этого. Напротив, она засветилась тихой радостью, узнав, что ее Петю любили и о нем помнят до сих пор. Я рассказал ей разные подробности фронтовой жизни ее сына, в том числе и то, как Петя громил части Шпейделя, захватил письма фон Шверин и опознал диверсантов Скорцени. А она, то и дело удивленно ахая, говорила как бы про себя:

— А он и не писал нам про это...

Мы посидели молча. Потом она спохватилась:

— Я самовар поставлю.

Она поставила самовар и снова села напротив меня, глядя мне в глаза пристальным и дружелюбным взглядом. Потом ее лицо вдруг сразу взмокло от слез, но она тут же вытерлась, стала готовить к столу и внезапно спросила:

— А будет война?

Я ей ответил как мог.

Она сказала, словно объясняя свой вопрос:

— Наш колхоз хорошо стал работать, на трудодни прилично получаем... Веселее стало жить...

Я спросил про Ольгу.

— Оленька вышла замуж... Не хотела сначала, все Петю не могла забыть. Уж я и то ее уговаривала.

— А второй ваш сын где?

— Вася? — Она показала рукой на окно и замолкла, словно к чему-то прислушиваясь. Я тоже прислушался. Недалеко в темной ночи гудел трактор. Он рокотал не спеша, то приближаясь, то отдаляясь. Его рокот наполнял сердце необычайным спокой-

ствием, словно делал уютными и домовитыми эти лесные пространства.

— Пашет,— сказала она.— Всю ночь будет пахать.

Позднее я вышел на крыльцо и долго прислушивался, как к музыке, как к любимому голосу, к ровному гуду одинокого трактора. Деревня уже уснула, электричество гасло то в одном, то в другом доме — и наконец вся деревня погрузилась в полную темноту — почти такую же, какая бывала на фронте,— а трактор все рокотал, рокотал, то отдаляясь, то приближаясь.

Утром Вася Аленушкин пришел домой. Он был очень похож на брата — те же поразительной зоркости глаза — круглые, широко расставленные, серые, пронзительные, с очень маленькими острыми зрачками. Зашли и другие колхозники — у многих из них на пиджаках висели ордена и медали, знаки нашей незабываемой молодости, свидетельства зрелого опыта и непобедимого боевого духа.

Это были простые и спокойные люди — солдаты и сержанты запаса.

1950—1955

В СТОЛИЦЕ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Очерк

1

Я теперь нахожусь в городе на Урале, в городе, чье имя известно всему миру, но о котором мы все-таки знаем удивительно мало. Писатели молчат о нем, и немотствуют историки. Наспех написанное про него в старину оказалось недолговечным. А между тем не много найдется городов, столь заслуживающих бессмертия, как Магнитогорск.

Если бы лет тридцать назад кто-нибудь на стойбище кочевников или на улочке не существующей теперь станицы Средне-Уральской напророчил, что спустя несколько лет тут встанет гигантский завод и вырастет большой город, что через эту степь пролягут железные дороги и трамвайные линии, что это бескрайнее небо озарится огненными языками доменных и мартеновских плавок, что сотня труб без отдыха и срока, непрерывно и неустанно, будет здесь дышать разноцветными дымами поразительных по гамме и оттенкам красок, что под этой нетронутой землей протянутся тысячи километров кабеля и трубопровода, а над ней повиснут сотни километров электрических проводов, что здесь обоснуется в больших домах население в триста тысяч человек с младенцами в колясках и стариками на скамейках бульваров,— если бы какой-нибудь дерзкий пророк предсказал все это, его сочли бы за сумасшедшего и, чего доброго, закидали

бы камнями, как издавна полагается делать с пророками. Камней же тут было много, притом тяжелых — с большим содержанием железа.

Мир испокон веку знал, как трудно и долго идет процесс созидания, как стремительно — процесс разрушения. Для возведения Помпеи потребовались столетия, для разрушения ее — несколько дней. В новейшие времена немало городов, строившихся века, было уничтожено за несколько лет. Магнитогорск строился, создавался, возводился в темпе, ранее посильном только для разрушения. Магнитогорск — средоточие советской индустриализации, высшее выражение большевистского темпа, наиболее яркое проявление руководства партии, знающей, что делать, и творческой силы народа, способного делать все.

Я не могу следовать совету римского поэта «ничему не удивляться». Я, грешный, все хожу и удивляюсь. Ибо Магнитогорск — это чудо. Даже старые магнитогорцы, участники и очевидцы всего того, что здесь совершилось за невероятно короткий срок, показывают свой город с гордостью, но и не без удивления. Даже знаменитый мастер-доменщик Герой Социалистического Труда Николай Ильич Савичев, коренной уроженец здешних мест, мальчиком бегавший за геологами-разведчиками сюда, к будущему заводу и руднику,— и тот говорит, задумчиво покачивая головой: «Иногда посмотришь вокруг и с трудом веришь, что мы могли все это сделать так быстро».

Его удивление понятно мне. Дело не только в том, что строительство началось здесь на голом месте, но и в том, что оно вначале производилось голыми руками. У нас не было механизмов. У нас не было автомашин. Три тысячи лошадей с повозками, так называемых грабарок, обслуживаемых девятью тысячами грабарей, круглые сутки копошились на площадке новостройки. Медлительные верблюды возили пиломатериалы. Цемент и песок для бетономешалок дозировались бетонщиками на глазок. Лопата и лом были основными инструментами, артели — землячества из украинских и уральских деревень — основной рабочей силой. Строители жили в палатках и землянках летом и зимой.

Тем временем в пароходных трюмах, а затем на железнодорожных платформах двигалось на стройку оборудование, закупленное правительством за границей,— краны, экскаваторы, думпкары, электровозы. Тем временем сто пятьдесят восемь советских заводов тоже начали изготовлять для Магнитки раз-

личное оборудование, производство которого осваивалось ими на ходу, в том же темпе, в каком строилась Магнитка. Сто восемь учебных заведений — старых и вновь возникающих в темпе Магнитки — готовили кадры для будущего магнитогорского завода.

Американская фирма «Мак-Кей», с которой был заключен договор на проектирование советского металлургического гиганта, в это время в далеком Питсбурге неторопливо готовила чертежи и отмахивалась от постоянных подстегиваний с нашей стороны, не особенно веря,— а может быть, вовсе не веря,— что эти чертежи могут стать реальностью в установленные «кремлевскими мечтателями» сроки.

Решение ЦК партии о передаче проектирования американской фирме было, однако, единственно верным и дальновидным решением. Американцы в то время находились на вершине технического прогресса; их металлургия стояла на первом месте в мире, их домны были самыми крупными, их заводы — наиболее разумными и совершенными металлургическими комплексами. Строить домны немецкого типа — значило заранее отказаться от лозунга «Догнать и перегнать наиболее передовые капиталистические страны». И мы пошли на выучку к американцам, чтобы затем превзойти своих учителей.

У нас в немногочисленных брошюрах, посвященных рождению Магнитки, принято ругать американцев за то, что они безбожно затянули проектирование, категорически возражали против пуска домен в зимнее время, оспаривали осуществимость заданных темпов и вообще не верили в возможность построить и пустить гигант в нечеловечески сжатые сроки.

Да, они затягивали. Да, они не верили. Но это было вполне естественно. Они судили как техники, а не как знатоки психологии народа, ставшего хозяином своей судьбы. Они не учли такой «мелочки», какой является великая революционная одержимость целого народа, такой «детали», как ленинская закваска, бродившая в огромном, неравноценном в своих частях, разноликом, но могучем народном организме советской Руси.

Так же много лет спустя судили о нас немцы в связи с успехами гитлеровских войск на первом этапе войны. Они не приняли в расчет удивительную силу духа народа, знающего, за что он борется. Если продолжить сравнение с войной, то индустриализация была настоящей, трудной, глубоко драматической войной против косных сил природы и против нашей собствен-

ной косности и отсталости. В этой войне мы одержали беспримерную победу, и об этом надо сказать с такой же страстностью и силой, с какой говорилось о нашей победе на войне.

Иностранным специалистам, работавшим в первоначальную пору на строительстве Магнитки, было нелегко понять душу наших людей. Что заставило плотничью бригаду Козлова подняться с красным знаменем на седьмой этаж строившейся центральной электростанции и ставить опалубку при сорока двух градусах мороза? Что побудило больного туберкулезом легких в самой угрожающей форме техника-прораба Анкудинова отказываться наотрез от врачебной помощи и постельного режима и в течение многих суток напролет стоять на страшном ветру, руководя бетонными работами на стройке плотины? Что превратило вятского крестьянина Егора Смертина, пришедшего на стройку в лаптях и домотканой рубахе, в знаменитого бригадира бетонщиков, ставившего мировые рекорды по бетонированию в почти невыносимых условиях уральской зимы? Что двигало девушками-верхолазами, производившими кладку трубы мартеновского цеха, когда они, не желая тратить драгоценное время, потребовали, чтобы им поднимали обед наверх, под облака?

Смит, один из американских консультантов на стройке, однажды бросил крылатую фразу: «Русским надо поучиться пользоваться безопасной бритвой, а они хотят домны строить». Он посмеивался над нашими газетными сообщениями о кризисе и безработице в Америке и рассказывал байки о том, что-де американский безработный, ложась спать в порту, пишет на подошве ботинка цифру «5», что означает: «На работу меньше чем за пять долларов не будить». Затем этот Смит уехал на родину и через три месяца стал писать письма с просьбами, чтобы его снова вернули в Магнитку. Затем те же мольбы он присылал с Ньюфаундленда, куда завербовался ненадолго. Позднее было получено письмо, в котором он сообщал о своем согласии даже перейти в советское подданство, только бы его вернули в СССР, только бы работать.

Ибо если иностранцы вначале не верили, то потом это неверие сменилось удивлением и даже восторгом. Замечательный инженер Джон Геррис сказал: «Я счастлив тем, что на мою долю выпала честь участвовать в постройке этого грандиозного предприятия. Окончание работ, производившихся в большинстве случаев вручную, в те сроки, в которые они осуществлены,

казалось, превосходило всякие человеческие возможности. И все-таки работы окончены».

Удивление иностранцев вызывала и самоотверженность наших людей, живших в чрезвычайно тяжелых условиях. Сами иностранцы жили в пассажирских поездах. Для их столовых привозили на самолетах из Москвы виноград и лимоны. Наши люди не роптали на такое неравенство — я свидетельствую об этом со всей ответственностью за свои слова. Об этом мне рассказывали и старые магнитогорцы, и иностранные рабочие — ныне советские граждане, натурализовавшиеся в Магнитогорске и живущие здесь по сей день: голландец Питер Ван-Ваув, итальянец Чирилло Векки, американец Эммануэль Колета. Наши люди понимали, что иначе нельзя. Они жаждали побыстрее построить завод и овладеть всеми тайнами металлургического цикла. Для этого стоило жить в бараке, питаться пустыми щами, носить ватные телогрейки и не пить вина (в Магнитке был тогда «сухой закон»). Для этого стоило кормить иностранных инженеров мясом и виноградом, одевать их в коверкотовые костюмы, поить их пивом и вином.

Да, мы учились у иностранцев и благодарны им за учение. Но правда состоит в том, что уже через два-три года наши инженеры научились проектировать домны-уникумы, мощные мартеновские печи, колоссальные прокатные станы, коксовые батареи, обогатительные и агломерационные фабрики. Правда состоит в том, что наши рабочие в необычайно короткий срок освоили технику работы механизмов, кладки огнеупора, монтаж сложнейших металлических конструкций и эксплуатацию современнейшего металлургического комбината. И тут иностранцам пришлось удивиться огромным техническим способностям и чудесной переимчивости советских молодых рабочих. Белорусская крестьянка Людмила Миновна Смирнова, пришедшая на стройку полуграмотной, вскоре стала машинистом турбины, затем мастером машинного зала. Француз-калибровщик, уникальный знаток своего дела, ревниво оберегал от чужих глаз секреты ремесла, но молодой рабочий Бахтинов исподволь, то шутя, то притворяясь простачком, узнал все его производственные тайны и превзошел своего учителя.

Такова правда.

Когда миссис Мак-Муррей, жене инженера, не понравилось мясо, выданное ей девушкой-поварихой в «американской» столовой, она ударила девушку по лицу. Все возмутились, завол-

новались, сжали кулаки — и смолчали. Мистер Мак-Муррей был отличным инженером. Он был нам нужен.

Как хорошо, однако же, что он нам не нужен больше.

Такова правда.

2

Я упоминал о девушках-верхолазах. Оказалось, что их бригадиром была некая комсомолка в красном платочке по имени Зоя. Я переворошил весь Магнитогорск с тщательностью какого-нибудь Шерлока Холмса, отыскивая следы этой Зои.

Я не нашел ее следов. Может быть, она уехала и живет теперь где-нибудь скромной и тихой труженицей, матерью семейства. Где бы она ни жила, пусть ей сопутствует счастье, любовь окружающих, сознание своего скромного величия.

Я полюбил этот город, его людей, его прошлое и настоящее, его пейзаж, лишенный особых красот природы, но безошибочно действующий на воображение обликом вечно кипящего, вечно пламенеющего завода, который царит над всем городом и, пожалуй, способен заменить даже самому взыскательному глазу горы и реки. Он стал природой этого города, и, поверьте мне, это удивительно прекрасная природа.

Издали завод похож на общее собрание действующих вулканов.

Я иду вдоль его стен, тянущихся на много километров, вхожу в его проходные, смешиваясь с его толпой, знакомлюсь с работой его цехов, снова и снова удивляюсь величию его сооружений и несуетливой деятельности его рабочих.

Действительно, здесь нет суеты — ни на заводе, ни на новостройках. Давно прошли времена грабарок, шума, гама, беготни.

На новостройках малолюдно. Много мерно рокочущих машин. Работа идёт ритмично, споро — не так, как хотелось бы, но в тысячу раз ритмичнее и спорее, чем некогда. В 1958 году Магнитострой, помимо десятков тысяч метров жилой площади, строил гигантский слябинг, новую агломерационную фабрику, новый коксохимический цех. Объем работ огромен и многообразен, мощности наращиваются в гораздо более быстрых темпах, чем раньше, но все делается спокойно, деловито, без многочасового недосыпа, без штурмов и авралов.

И этот признак зрелости нашей индустрии полон глубокого

значения. Полюбите этот пейзаж вечного дела, и вы уже почти можете писать. Но пусть пейзаж не заслоняет от вас человека. Если вы повстречаете интересного человека в заводском цехе — обязательно навестите его дома. Если вас познакомят с интересным человеком где-нибудь в городе — обязательно посетите его в цехе. И вы увидите, что постоянный коллективный труд не лишил его индивидуальности, а обогатил ее. Грандиозность заводского пейзажа пусть не подавляет вас — пусть она только преисполнит вашу душу уважением к рабочему человеку, создавшему такой завод и научившемуся так работать.

К огорчению нашему, у нас нет еще настоящей традиции романов о промышленных рабочих. Это объясняется, быть может, молодостью нашей промышленности и рабочего класса России. Даже наши так называемые поэты-урбанисты двадцатого века, в сущности, уж очень смахивают на деревенских парней, то проклинающих город за то, что он своими грандиозными размерами и усложненной жизнью подавляет индивидуальность, то взахлеб восхищающихся им, раскрыв рот в восторге и испуге.

Не могу не отметить с некоторым самодовольством, что никакая грандиозная плавка, никакой огненный дождь, никакое восхищение высшей целесообразностью этого нагромождения цехов и труб, мудростью производственных процессов и их сложностью не заслоняет от меня прекрасного лица горнового Дмитрия Карието, чудесной хитроватой улыбки водопроводчика Петра Гомонкова, веселых, любознательных, жизнелюбивых глаз доменщика Георгия Герасимова.

У нас, литераторов, принято относиться с предубеждением к собственной литературной среде. Я не могу с этим согласиться. Литераторы, как правило, интересные, много знающие и много видевшие люди. С ними интересно поговорить, обменяться опытом, сомнениями, исканиями. Но должен признаться, что я давно не чувствовал себя так славно, так хорошо, как чувствую себя здесь, среди рабочих, в беседах с ними, в их домашнем кругу. Рабочие, даже пожилые, здесь учатся в различных школах, на разнообразных курсах. Учение тут стало одной из первых потребностей души, как и чтение.

Город свой местные жители любят не меньше, чем прославленные своим городским патриотизмом одесситы — Одессу.

Магнитогорск, несмотря на его разбросанность и многолюдство, трогает нового человека особого рода домашностью, интим-

ностью. Здесь почти все знакомы друг с другом. Всех объединяет завод. Коллективный труд тысяч людей на одном предприятии — могучий источник сплоченности; это когда-то почувствовал и предчувствовал Маркс. Помимо того, будучи столицей великой республики, именуемой «Черная Металлургия», город знает не только свои собственные дела и своих собственных людей, но и дела Кузнецка, Днепродзержинска, Челябинска, Нижнего Тагила, Череповца и других металлургических центров. Он следит с интересом и не без некоторой ревности за строительством «Казахстанской Магнитки» — Темир-Тау — и своей будущей рудной базы — Соколовско-Сарбайского рудничного комбината. Он знает наперечет известных доменщиков и сталеваров восточной и южной нашей металлургии, хранит и передает рассказы и анекдоты о чудаковатых инженерах и хитроумных новаторах. Он посылает свои выращенные здесь кадры на другие металлургические заводы и с любопытством следит за их продвижением по службе. Бывшие работники завода, разбросанные по совнархозам и госпланам, являются предметом разговоров, толков и постоянного наблюдения металлургов Магнитогорска.

На левом берегу реки Урала, рядом с заводом, расположен «старый» город. Ему двадцать пять лет. Всего двадцать пять лет! Но он действительно стар, хотя большая часть его строилась в качестве «соцгорода» и называется так по сей день. Это скучные дома-коробки, такие, какие строились в тридцатых годах по причине нехватки времени и ради экономии строительных материалов.

На правом же берегу реки построен новый Магнитогорск. Как-то очень удачно градостроители решили этот невысокий, в основном четырехэтажный, веселый, улыбающийся город. Там много домов, отделанных местным диким камнем, уютные улицы с каменными оградами и арками в них, право же, напоминающие старые итальянские города, но не производящие впечатления подделки подо что-то. Там комфортабельные квартиры со всеми удобствами. Город этот бурно растет. Каждый день туда переезжают доменщики, сталевары, прокатчики, горняки, строительные рабочие.

Когда сравниваешь этот подлинно социалистический город с «соцгородом», являющимся таковым лишь по названию, то не можешь не порадоваться столь наглядному росту наших потребностей и, главное, возможностей.

Еще разительнее этот рост обнаруживается, когда сравниваешь правобережный Магнитогорск с бараками левого берега. Множество бараков уже снесено, но много еще осталось. Магнитогорск сначала был городом бараков. Они росли как грибы, густо заселялись, казались жителям землянок и палаток дворцами. Черт возьми, как унылы бараки! Как они приземисты! Как они бесцветны, даже окрашенные в яркую краску!

Несколько лет назад я побывал на строительстве ГЭС в Новой Каховке, под Херсоном. Это строительство позднейшего времени, начатое и законченное после войны, не знало бараков. Тут сразу встали красивые и удобные дома. Тут не повторены ошибки новостроек первой пятилетки. Скажем, в Комсомольске-на-Амуре, приступив к строительству, первым делом вырубили весь лес на площадке, а впоследствии здесь же стали сажать деревья, что стоило колоссальных затрат. В Новой Каховке ничего подобного не было. Город как бы вписан в берег Днепра. Здесь остались стоять нетронутые платаны, липы, вербы. По городу порхают красные, синие, зеленые стрекозы, которые, по-видимому, еще даже не поняли, что оказались горожанками: слишком быстро возник город на берегу Днепра, сохранив при этом в девственном, нетронутом виде деревья, травы и цветы побережья; стрекозы не успели очухаться.

На суровой и бесконечно трудной стройке Магнитки было не так. Однако прежде чем прийти к методам строительства Новой Каховки, народу нужно было — ради выигрыша времени, ради темпа — вдоволь намаяться по баракам и времянкам.

И люди тут здорово намаялись. И когда они теперь рассказывают мне о своей жизни, сидя при этом в светлых и просторных квартирах, я радуюсь и стараюсь скрыть свое волнение.

Неумение сравнивать — свойство мещан. Видение жизни в застывшем состоянии глубоко отвратительно. Но я не могу взять греха на душу и утаить, что квартирный вопрос в Магнитогорске еще далеко не решен, что есть еще немало людей, нуждающихся в жилье. Поэзия улучшения и украшения жизни рабочих встала в порядок дня, но в этом деле в Магнитке много слабостей.

Плохо продуман и вовсе не организован отдых рабочих: нет загородных дач, домов отдыха, нет сети пригородных шоссейных дорог, по которым можно было бы поехать на собственных машинах или на автобусах порыбачить и поохотиться, благо у рабочих много собственных машин, а в городе немало авто-

бусов. Нет хороших дорог вокруг завода, который сбрасывает в отвал миллионы тонн шлака,— это поразительно! Нет телевизионного центра в Магнитке — великом пролетарском городе! Боюсь, что в челябинских и московских планирующих организациях много скучных людей, не знающих истории, и они относятся к Магнитогорску, как к обычному «городу областного подчинения», а не как к столице Черной Металлургии, городу доменщиков и сталеваров, гордости и славе нашей родины.

Это те скучные люди, которыми владеет непонятная, глупая, но сильная страсть к упрощению жизни, к ее нивелировке. Их усилиями и в Ташкенте, и в Алма-Ате, и в Ленинграде делается «рижское пиво», на всех табачных фабриках страны — папиросы «Казбек», и так далее и тому подобное...

3

Непростительно, что до сих пор почти ничего о Магнитке не написано, как не написано о Кузнецке, о Комсомольске-на-Амуре, о Норильске и многом другом. Великое начинание Горького — «История заводов и фабрик», задуманная им как история человеческих судеб, объединившихся для великих дел,— было прервано в самом начале и развеялось, почти не принеся плодов. Поколение строителей того времени уже постарело и, гляди, вскоре вовсе сойдет с исторической арены.

А великая реальность литературы не заключается ли именно в том, что она запечатлевает свое время?

Самое реальное время, прошедшее и не оставившее по себе письменных памятников, становится как бы несуществующим. Литература — это та иголочка, которая пишет на пленке волнистую линию, отображающую мелодию, идущую рядом. Если эту иголочку на минуту убрать, то музыка не прекратится, она останется той же реальностью, звуковые волны разной длины будут по-прежнему вырастать и сокращаться, но на пленке образуется тихий пробел, и музыка канет в вечность, в бездонную яму, подобную той, в которую канули бесчисленные времена, не имевшие письменности.

Более того, не только времена, но и пространства. Ибо реально существующие страны или области, не отраженные в произведениях литературы, живут как бы неполной жизнью. С этой точки зрения давно исчезнувшая Древняя Греция — го-

раздо большая реальность для человечества, чем некоторые существующие ныне страны. Донской край, описанный Шолоховым в его романе, ближе и ощутимее для нас, чем не менее реальный и гораздо больший по территории Красноярский край, а Смоленская область благодаря поэзии Исаковского и Твардовского как бы реальнее соседней с ней Калужской, хотя вообще-то эта последняя ничуть не хуже первой.

В тридцатых годах в нашей литературе был провозглашен несколько самонадеянный лозунг: «Создадим Магнитострой литературы». Мне кажется, что задача наша скромнее и проще: создать литературу о Магнитогорске. Разумеется, не только о нем — обо всех великих деяниях нашего времени.

Пришла пора воскресить замысел Горького, погребенный в бумажных недрах и среди заседательских кампаний нашего Союза писателей. Надо создать книги о великих стройках наших дней, о наших героических свершениях, не умаляя их эпического величия и не утаивая их эпических трудностей и потерь.

Речь идет о летописях славных дел наших, о биографиях строителей социализма — летописях и биографиях, написанных художниками слова и самими строителями в обработке художников слова. Пора нам припасть, по образному выражению Маяковского, воспаленными губами к реке «по имени Факт». Страна и весь мир вправе знать, как мы строили, радовались и страдали, как покрыли страну новыми городами, дорогами, предприятиями, как вырастили многомиллионную армию талантливых рабочих и инженеров. Страна и весь мир вправе знать имена, местности и годы, мысли и мечты поколения.

Как часто укоряю я здесь свою судьбу за то, что она не привела меня в тридцатых годах в Магнитку. То, что я собираюсь теперь писать, далось бы мне гораздо легче. Подробности быта, глубины психологии, сложность столкновений, кипение страстей были бы ощутимее для меня, чем теперь. И я думаю о более молодых литераторах, которым сейчас надо, пока они молоды, пить полными горстями живую жизнь современных новостроек, целинных земель, предприятий, чтобы впоследствии горько не пожалеть о своей былой близорукости и непоправимом легкомыслии.

На днях мы с семьей Георгия Ивановича Герасимова вышли вечером на улицу правобережного, нового Магнитогорска. Мы

ждали появления спутника. Вот он появился и не слишком торопливо прошел с северо-запада на юго-восток небольшой отчетливой звездочкой. Он прокатился по небу и затем погас над заводом, над его разноцветными дымами и яркими огнями.

Я подумал о том, что стоящий рядом со мной Герасимов, пришедший в лаптях из орловской деревни в Донбасс, а оттуда по комсомольской путевке направленный в Магнитку, ставший здесь прославленным горновым, затем мастером домны и начальником разливки доменного цеха, по сути дела один из бесчисленных авторов этого «беззаконного» небесного светила, ибо он содействовал своим трудом гигантскому росту нашего промышленного потенциала, он участвовал в монтаже первой магнитогорской домны и получил на ней первый чугун.

Ему это было невдомек, он только радовался, как ребенок, глядя на темное небо с катящейся колобком маленькой звездочкой и удивляясь силе и дерзости человеческого разума.

Без Магнитки не могло быть спутника, как не может быть вершины без основания.

Какая радость и гордость для каждого из нас, что и нынешние вершины, при всем их величии, являются основанием для новых вершин. Партия провозгласила Первый семилетний план, новый, невиданный скачок в будущее. Возникнут новые города и заводы, родятся новые, небывалые машины, озарятся электрическим светом новые бескрайние пространства, дороги пролягут в новые дали. И на этой стальной, электрической, атомной, железобетонной основе пышнее и ярче расцветет свободная и творческая человеческая индивидуальность.

Вот он лежит передо мной, этот город, возникший в ковыльной степи, как по волшебству. Магнитогорск, Новая Каховка, Комсомольск-на-Амуре и многие другие наши города, право же, заставляют вспомнить слова корабельщиков из сказки Пушкина:

За морем житье не худо,
В свете ж вот какое чудо:
В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нем дубок единый;
А теперь стоит на нем
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами...

Этот сказочный город (нынче там все сто «златоглавых церквей» — верхушки доменных гигантов и великолепные залы электростанций) создала мановением руки Царевна-Лебедь, та, которая «днем свет божий затмевает, ночью землю освещает; месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит».

Царевна-Лебедь со звездой во лбу, моя милая родина! Ей под силу великие свершения. Ее сыновья и дочери способны на бессмертные подвиги труда и самоотречения. Их сильные руки и светлые головы, их радости и страдания — источник вдохновения на многие века.

1958

ПРИЕЗД ОТЦА В ГОСТИ К СЫНУ

Рассказ

Иван Ермолаев ждал в гости своего отца. В письме не было сказано, когда именно и с каким поездом отец приедет, и Иван волновался и досадовал на расхлябанную деревенскую манеру писать письма, где о выезде сообщалось двумя словами, а о самочувствии дальних родственников и соседей, почти забытых Иваном,— на четырех полных страницах из школьной тетради.

Двадцать восемь лет назад, пятнадцатилетним мальчиком, уехал Иван из деревни, вернее — был выгнан невзлюбившей пасынка молодой мачехой, совсем как в сказке. Дальнейшая жизнь его тоже оказалась некоторым образом похожей на сказку, непростую и трудную в каждодневье, но полную увлекательных событий и чудесных превращений, если оглянуться назад и охватить взглядом всю картину.

Маленьким мужичком с льняными волосами, в лаптях и посконной рубахе пришел он в областной город Пензу, а оттуда завербовался на новостройку в Магнитогорск, город, о котором говорилось так, словно он есть, хотя его еще не было. Чернорабочий, фабзаяц, плотник, бетонщик, Иван в числе десятков тысяч других строил завод своими руками, а завод, в свою очередь, тесал и плавил его самого, незаметно тесал и плавил его по своему образу и подобию. Так тихий и безответный крестьянский мальчик превратился в знаменитость, чье имя упоминалось при всяком перечислении виднейших доменщиков страны с такой же неизбежностью, с какой, например, Лермонтов упоминается при каждом перечислении наиболее выдающихся русских

поэтов; всегда голодный вороненок, полный совершенно превратных представлений о мире и потливого страха перед старшими, перевоплотился в спокойного, уверенного в себе человека, отца большой семьи, книгочия и любителя писать статейки в газету; безропотный житель самых холодных углов строительских бараков стал владельцем четырехкомнатного дома с садом в новом городе на правом берегу Урала, депутатом горсовета, членом разных комиссий — словом, одним из тех, которые могли бы называться почетными гражданами Магнитогорска.

Естественно, что Иван любил Магнитогорск затаенной, но сильной любовью. Город был для него не просто местом проживания, как старые города для своих жителей,— один не мог бы существовать без другого: если бы не город, Иван не стал бы Иваном, если бы не Иван, город не стал бы городом. Отцовская и сыновняя любовь одновременно — редчайшее чувство; такое чувство питал Иван к Магнитогорску.

Домой он не писал — не так от обиды, как от тягостного и ясного понимания равнодушия к нему домашних. Он только время от времени посылал им то пятьдесят, то сто рублей, а когда встал твердой ногой у доменной печи в качестве третьего, затем второго и, наконец, старшего горнового, начал посылать по двести рублей ежемесячно. В ответ он иногда получал коротку́ю писульку о том, что деньги получены, с присовокуплением обычных поклонов от разных дядьев и кумовьев. Жена Ивана, Любовь Игнатьевна, расставалась с этими деньгами без особой охоты: каждый раз к концу месяца ей казалось, что не хватает именно этих двухсот рублей. Но, попытавшись однажды задержать отсылку денег, она получила от обычно покладистого и спокойного Ивана такую яростную и оскорбительную острастку, что с тех пор исполняла эту обязанность с примерной аккуратностью.

Дело в том, что в Иване все эти годы жила тихая, не очень сильная, но сосущая боль при воспоминании о родной деревне. Боль эта по прошествии лет слабела, а в последнее время давала знать о себе все реже; при получении же известия о приезде отца она возобновилась с новой силой, лишь постепенно видоизменяясь в свою противоположность — в сдержанное ликование человека, вновь обретающего нечто утраченное и все еще дорогое.

Эту неделю Иван работал с восьми утра и поэтому мог успевать к московскому поезду, приходившему на рассвете. В фи-

олетовом полумраке выводил он свою «победу» из сарая и ехал на станцию.

По мере того как одинокая «победа» неторопливо, там и сям разбрызгивая темные весенние лужи, приближалась к реке, утренняя заря все больше завладевала небом — заря не городская, а скорее вольная, широкая, степная заря, еще не разглядевшая, что внизу под ней не степь, а город. И дома́ и улицы здесь, несмотря на свою многочисленность и благоустроенность, еще не прижились на своих местах: каждому дому и каждой улице вроде бы казалось, что они на краю, что сразу за ними — конец городу, пустынное пространство; так оно и было совсем недавно.

Вокруг светлело, и фиолетовый полумрак пропадал куда-то, испарялся. И это походило на не слишком стремительное поднятие огромного легкого фиолетового занавеса, за которым обнаруживалась мягко освещенная теплым желтым светом огромная, пока еще пустынная сцена, где вскорости произойдут важные события.

И вот наконец самое важное событие происходит: когда машина подъезжает к реке, взору Ивана открывается завод на том берегу. Кажется, что это — огромное клокочущее вулканическое пространство, наспех прикрытое каменными стенами, железными крышами и толстым стеклом, затычками из огнеупора и огнестойкого металла, с отводами в виде многочисленных труб, сквозь которые вулкан имеет возможность хоть частично выдохнуть излишки своей ярости; из этих труб рвутся пламя и дым разнообразнейших цветов и оттенков; вот с откоса низвергается раскаленный шлак, и огненная струя его, стекающая вниз, принимает очертания человека с раскинутыми руками.

По сравнению с могучим, еле сдерживаемым полыханьем заводского вулкана мощные электрические лампы в окнах, у проходных, на столбах кажутся блеклыми и мертвыми, как светляки в сравнении с лесным пожаром.

Иван улыбался восхищенно. Он не переставал восторгаться своим заводом, на котором работал уже четверть века, как дети стрелочников не устают махать руками поездам, которые проходят мимо них каждый божий день.

Вдоль заводской стены, а потом по улицам старого города на левобережье Иван ехал к вокзалу. Перед вокзалом он выключал мотор, запирал машину, а сам шел к выходу на перрон и здесь долго, до конца разъезда всех пассажиров, стоял, вгля-

дываясь в каждого из приезжавших, даже в молодых людей: ему трудно было представить себе отца после двадцативосьмилетнего перерыва, и он на всякий случай пытливо и не без замирания сердца заглядывал под все шляпы, фуражки и кепки.

Отца все не было. Ивану в который раз приходилось садиться в машину и ехать обратно ни с чем. Однако напряженное ожидание, предвкушение, что вот-вот он увидит отца, не проходило бесследно. На обратном пути он неотступно думал о своем детстве в родной деревеньке. Снова ныла у него в сердце давно зарубцевавшаяся душевная рана маленького мальчика в больших лаптях, медленно, но упорно выживаемого красивой и вздорной бабой из отцовского дома. Почти с прежним чувством отчаяния и тупого фатализма вспоминал он шумные вздохи отца в отсутствие жены и жалкое молчание в ее присутствии. Перед его туманящимися глазами возникали опять картины детства: большие мягкие губы отца, похожие на губы лошади, когда отец ел похлебку, молча слушая, как жена попрекает дочь, по-пустому вяжется к сыну, кричит ему: «Дурак! Иванушка-дурачок!» — гремит ухватами, пышет жаром; он вспоминал, как просыпался на рассвете от шума и вздохов на полатях, и видел в полутьме жирные, белые, как сметана, ноги мачехи и худые, одеревенело вздрагивающие ноги отца, и понимая, что вот из-за всего этого мачеха забрала власть в доме, тоскливо думал о том, как все это, в сущности, непонятно и страшно. Он видел, будто наяву, опостылевшую, но любимую до слез низкую избу на краю деревеньки у самой речки Вороны, и душа его, вся во власти воспоминаний, снова как бы испытывала старую любовь к этой избе и к этой деревеньке — собственно, даже не любовь, а чувство глубочайшей уверенности, что только в этом закуте может жить на свете Иван Ермолаев.

Но вот он переезжал по мосту в новый город, уже оживленный, полный солнца и людей. Он неторопливо ехал по широким улицам, окаймленным большими домами, по площадям, где все производило впечатление чистоты, новизны и простора, где, в отличие от старого города на другом берегу, не чувствовалось близости заводских дымов, утренний воздух был чист и свеж, а молодая завязь на деревьях — ярко-зелена. Наконец он подъезжал к своему дому и заводил машину в сарай. Здесь воспоминания оставляли его. Он бесшумно отпирал дверь, ставил чайник на плитку, переодевался в рабочую одежду. В доме все еще спали, только кошка лениво терлась о ножку стола.

Но вскоре, заслышав шорох в столовой, из спальни выходила в халате и шлепанцах румяная, заспанная Любовь Игнатьевна. Ее шаги негулко и домовито раздавались то тут, то там. Шумы в доме становились все сложнее и разнообразнее: хлопанье дверей, мелкие шажки тещи Дарьи Алексеевны, бормотание вскипающего чайника, стук высоких каблучков старшей дочери Марины, студентки горнометаллургического института, громкие и веселые зевки сына Пети, ученика девятого класса, потом его же свист, наконец, шевеление в крайней комнате слева, пронзительный возглас: «Мама!» — шлепанье босых ног, бульканье струйки в горшочек — это просыпались трое младших.

Пока Иван пил чай, мимо него медленно проходил или быстро проносился то один, то другой член семьи, но Иван, как обычно в эти утренние часы, не обращал на них никакого внимания, полностью игнорируя их существование. А они, в свою очередь, тоже словно не замечали его; так было установлено издавна. Он уже был как бы не здесь, а на заводе, у доменной печи, уже начинал приобщаться к таинству металла и огня, и окружавшие понимали это и, не переставая, разумеется, делать свои обыденные дела, уважительно молчали и двигались как можно бесшумнее, едва только попадали в его поле зрения.

Неделю Иван ездил на станцию встречать своего старика, но так и не встретил его. А появился отец совершенно неожиданно и буднично, и не рано утром, а этак часов в десять. Просто постучал в дверь и открыл ее невысокий старик с небольшой серой бороденкой, с небольшим узелком в руке. Вошел, спросил, здесь ли живет Иван Ермолаев, а узнав, что здесь, сел на стул и начал оглядывать комнату, как мастер-обойщик или маляр осматривает стены, чтобы прикинуть объем будущей работы. Дарье Алексеевне даже и в голову не пришло, что это и есть долгожданный гость, она сказала ему, что хозяйка скоро придет, и продолжала делать свои дела.

Радиоприемник разговаривал бодрым голоском — голоском «специально для детей». Дети, впрочем, были во дворе. Любовь Игнатьевна ушла в магазин, Петя — в школу. Марина собиралась в институт — ее у калитки поджидал сын сталевара Пименова, студент-однокурсник, а возможно, что и жених. Сам же Иван, недавно вернувшийся с ночной смены, отсыпался, и его ровный храп возникал из спальни в те мгновения, когда поддельно бодрый голосок из радиоприемника делал паузу.

Дарья Алексеевна, маленькая старушка в очках, справила

наконец все утренние домашние дела и села на диван с книгой: она была отчаянной читательницей. Она читала громким шепотом, почти вслух. Подняв через некоторое время глаза, она увидела старичка на прежнем месте и подумала о том, что Любе следовало бы уже быть дома, раз она пригласила мастера по поводу ремонта крыши. Узелок старика Дарья Алексеевна приняла за сумку с инструментом.

Как это не раз случалось в истории, все дело распутал ребенок. Шестилетний Федя Ермолаев, вернувшись со двора за каким-то нужным ему предметом, увидел старичка, который дремал на стуле, и спросил с детской прямотой:

— Дедушка, ты чего тут сидишь?

Старик пожевал мягкими губами, почесал серую бородку, внимательно посмотрел на ребенка и, неприязненно покосившись на шепчущую старушку в очках, ответил:

— В гости к вам приехал, милок, в гости... Ты бы мне свово папаню разыскал...

Федя кивнул лобастой головой, но так как «папаня» спал, а будить его не полагалось, мальчик направился к выходной двери; однако сочетание слов «дедушка» и «в гости» показалось Феде весьма значительным, так как оно произносилось в доме за последние дни бесчисленное множество раз. Поэтому он на всякий случай подошел к бабушке, мотнул головой в сторону старика, сказал:

— Дедушка в гости приехал.

И тогда только убежал во двор.

Слова эти не сразу дошли до старушки, а когда дошли, она растерянно посмотрела на дверь, куда исчез мальчик, потом на старичка, вроде бы задремавшего, уронила книгу на диван и кинулась к старику:

— Господи! Вы не... не Тимофей ли Васильевич?

Поднялась суета. Со двора прибежали дети вместе с соседской детворой. Митя побежал за мамой в магазин. Федя кинулся к уходившей Марине и вернул ее, к немалому огорчению Вити Пименова. Растолкали Ивана.

Иван выбежал в столовую босиком, крепко прижал отца к груди, снял с него серую ватную кацавейку, стянул с него сапоги и дал свои мягкие домашние туфли, помог теще быстрее накрыть на стол и растроганно смотрел, как старик жует мягкими губами и улыбается чуть сконфуженно.

Тимофей Васильевич почти не изменился, только волосы и

борода у него посерели, и весь он посерел, потеряв тот кирпичный цвет лица и шеи, который так хорошо запомнился Ивану с детства. Помимо того, он стал поблагообразнее, потерял суетливость, свойственную ему в стародавние времена.

Сына он, разумеется, не узнал; он с интересом посматривал на него, пытаясь уловить черты сходства с мальчиком Ваней и, не находя таких черт, бормотал неопределенно:

— Ну, вот и встретились, и слава богу...

Иван опасался, что отец будет вспоминать старое, извиняться, каяться, но старик не проронил о прошлом ни слова, степенно передал поклон от своей жены и детей от второго брака, а также от Ваниной сестры, которая охромела еще в отрочестве, так и не вышла замуж и по-прежнему жила при отце. На вопрос Ивана, что нового в деревне, Тимофей Васильевич ответил, что в деревне ничего не изменилось, все по-прежнему. Иван засмеялся:

— Ну, как не изменилось? Там же колхоз теперь?

Старик ответил равнодушно:

— А? Ну да, колхоз... А ты разве до колхоза уехал? Верно, до колхоза...

— А ты кем в колхозе работаешь? — спросил Иван.

Старик сказал хмуро:

— Я? Чего я там не видел...

— А как же? — удивился Иван.

— А так, живем потихоньку,— ответил Тимофей Васильевич уклончиво, однако тут же, искоса взглянув на Ивана, добавил торопливо:— Ну, и хвалиться особенно нечем...

В это время вернулась запыхавшаяся Любовь Игнатьевна. Знакомясь с ней, старик одобрительно кивал: жена Ивана оказалась большой, рослой женщиной, краснощекой и голубоглазой. Старик уважал крупных женщин. Одобрил он также и квартиру Ивана; правда, войдя в ванную комнату, не понял ее назначение: оказалось, к удивлению детей, что он ванны никогда в жизни не видел. Впрочем, оценил он ее довольно быстро. Вымывшись и переодевшись в Иваново белье, он уселся на стул возле окна в столовой, чистенький, молчаливенький; на этом стуле сидел все время, между тем как члены семьи, радостно-возбужденные, вертелись вокруг него, точно спутники вокруг планеты.

Вскоре из кухни донеслись сложные и приятные запахи приготавливаемых парадных кушаний к вечернему празднеству

в честь приезда Тимофея Васильевича. Младшие дети — Вера, Митя и Федя — не отходили от дедушки и смотрели на него молча, ожидая, что он их позовет, поговорит с ними. Но он не обращал на них внимания. Только когда впервые появился старший, девятиклассник Петя, старик внезапно заинтересовался и даже удивленно заерзал на стуле: уж очень тот был похож на мальчика Ваню, только что без лаптей и вместо домотканой рубахи в клетчатом пиджачке с галстучком и узкими брючками.

Пока все это делалось дома, Иван уехал на завод приглашать в гости друзей, работавших в дневной смене. Потом он побывал на квартире у тех своих приятелей, которые сегодня работали ночью. И, наконец, вернулся домой, превеселый и предовольный, с целым ящиком водки и шампанского на заднем сиденье машины.

Гостей собрался полон дом. Тут были мастера доменных печей, в большинстве своем пожилые, среди них прославленный Ульянов с красивой вертихвосткой-женой и еще более знаменитый Гончаренко, уже пенсионер, усатый, как запорожец,— один из последних сотрудников Свицына, помнивший еще самого Курако по Краматорскому заводу. С ним вместе пришли старуха жена, седая, важная, как профессорша, и сын-полковник с молодой женой, приехавшие в отпуск. Были тут горновые с Ивановой печи с женами, люди молодые и скромные, восходящее светило доменного производства инженер Коломейцев и его жена — нарсудья Лидия Ивановна Коломейцева, инструктор горкома партии — бывший доменщик Леня Башмаков и сталевар Пименов с женой и сыном.

К Марине в это время пришли две ее подруги, чтобы совместно готовиться к зачету, но ввиду такой оказии их тоже усадили за стол, и они сидели втроем в уголке, разумом своим порываясь в другую комнату, к учебникам и тетрадям, а суетными пятью чувствами стремясь остаться здесь, за роскошным столом, под одобрительными взглядами мужчин и кислыми — тридцатилетних женщин, в хмельной атмосфере начинающегося веселья. К Марине подсел Витя Пименов; он не ел и не пил, только глядел на нее неотрывно, будто впервые ее видел.

Стол был красивый и богатый. Тут располагались разные колбасы, холодцы, всевозможные консервы в жестяных банках, однако стоявших на фарфоровых тарелочках, холодные голубоватые магазинные куры, селедка, заливная рыба и уже мя-

тые — шел май месяц, — но еще вкусные кислые огурцы и моченые яблоки.

Однако венцом всех яств были пельмени — знаменитые на всю Россию, не те, худосочные из магазина, в скучных картонных коробках, а самодельные уральские, из изысканной смеси говядины, баранины и свинины, четырех разных сортов — большие, как пироги, и маленькие, как детские ушки, такие, где все дело — в тесте, где оно воздушное, пахучее и тает во рту, а мясо служит как бы только приправой, и иные, где вся прелесть — в мясе, в правильности его пропорций, в его сочности неизъяснимой (держи рот, не то оттуда брызнет!) — а тесто только так, футлярчик, пленка для содержимого.

Дарья Алексеевна, Любовь Игнатьевна и Марина, разгоряченные, румяные, серьезные, очень похожие друг на друга, но очень разные (сами вроде как пельмени различных сортов), стали подавать пельмени с пылу с жару, миска за миской: и как только миски пустели — а это происходило быстро, — тут же несли новые миски и не садились, пока самые ненасытные гости не отвалились на спинки стульев в блаженном изнеможении.

Подавая, Любовь Игнатьевна и Дарья Алексеевна уделяли особое внимание Тимофею Васильевичу; они шептали ему — то одна, то другая — в большое седое ухо о достоинствах тех или иных пельменей и наперебой придвигали к нему перец, сметану, кету, топленое масло и уксус в большом фужере.

За здоровье приезжего гостя пили бесконечно. Тосты за него произнесли старик Гончаренко, Коломейцев, Башмаков, Ульянов и младший Гончаренко, полковник. Этот приветствовал его чуть ли не от лица всех вооруженных сил, что, впрочем, рассмешило одного только Леню Башмакова: докладчик и лектор, он хорошо знал цену всяким преувеличениям.

Старик Гончаренко благодарил Тимофея Васильевича за сына, «который является — как старик сказал по-старомодному — украшением отечественной металлургии». Горновые решили покачать отца своего «старшого», и он в их сильных руках легонько подскакивал под самую люстру, глядя на многочисленные стеклянные подвески не без опасений.

После ужина стол задвинули в угол, а стулья расставили вдоль стен. У женщин разгорелись глаза. Заиграл патефон. Начались танцы. Только Дарья Алексеевна, проголодавшаяся, как волк, приткнулась к столу и села есть уже остывшие пель-

мени, одновременно ухитряясь, невзирая на шум, заглядывать в книжку.

Комната была не очень большая, танцевали впритирку друг к другу, как в американском баре, но это не только не мешало никому, но еще больше веселило всех. Не обходилось без вольных шуточек танцующих с чужими женами по адресу нетанцующих мужей, а также встречных острот, обмена на ходу парами, флирта «понарошку» и взаправду. Царило свободное, интимное, но не разгульное веселье, какое бывает в компаниях, все праздники проводящих вместе, где все друг к другу привыкли, каждый знает слабости другого лучше, чем свои собственные, все связаны многолетней дружбой и взаимной симпатией, не исключающей, правда, заочных маленьких сплетен и довольно злых подкалываний по поводу совершенных промахов. Постороннего, попавшего в эту среду, легко собьют с толку намеки на неизвестные ему события, собственные, только данному кругу принадлежащие словечки и прозвища, и некий условный, связанный с общим производством и совместным времяпрепровождением жаргон, который понятен только здесь и больше нигде на свете.

Танцевали долго и самозабвенно. Как обычно, тут главенствовала Любовь Игнатьевна. На ее лице было при этом написано особого рода равнодушие, которое составляет высший шик среди магнитогорских замужних женщин; оно призвано свидетельствовать о чистоте их помышлений, о том, что для них главное в танце — вовсе не партнер, не мужчина, а танец сам по себе, что это вопрос чистого искусства, и только. Хотя Любовь Игнатьевна танцевала на первый взгляд неторопливо, сдержанно, даже незаинтересованно, но ее плавная иноходь была куда мощнее и опаснее, чем резвый галоп других танцорш, и действительно, она перетанцевала всех. Когда остальные уже без сил сидели, развалясь на стульях и диванах, лишь она, да кокетливая Екатерина Степановна Ульянова, да приезжая — молодая жена полковника Гончаренко еще были на ногах. Потом приезжая повалилась в изнеможении на диван, прямо на руки своему мужу. Тут переменили пластинку, гармоника заиграла русского. Любовь Игнатьевна и Екатерина Степановна остановились, как вкопанные, их глаза сразу стали хитрыми-хитрыми, и они пустились в пляс.

Но мужчины никак еще не могли «соответствовать». Лишь изредка, подстегнутые особенно удалым перебором гармошки

или уж очень лихим коленцем и настойчивым вызовом одной из двух неутомимых плясуний, кто-нибудь из мужчин прохаживался по комнате с перестуком каблуков или как будто в отчаянии кидался на полминуты вприсядку с таким напряженным лицом, словно прислушивался, не донесется ли ответного стука снизу, из подпола, или даже с противоположной стороны Земли; не получив ответа, он разочарованно и скопфуженно опять усаживался на диван, а вместо него выскакивал кто-нибудь другой.

Потом снова сменили пластинку, но Екатерина Степановна больше не могла, и лишь одна Любовь Игнатьевна, гордая своей победой над соперницей, опять замерла, сделала томные глаза и пошла по кругу плавной походкой девушки из аула. За ней ненадолго бросался кто-нибудь из мужчин; зажав между зубов лезвие столового ножа, он шел за ней, как привязанный, и лезгинка неожиданно вызывала общий смех, когда ее выплясывал озорной русак со вздернутым носом и скуластым слабобородым лицом.

Понемногу люди и вся комната в целом приобрели тот же вид, что и стол после ужина, когда все кушанья потеряли первоначальную пышность и благообразие: все салаты разрушены, все пирожки надкусаны, все тарелки перемазаны, все блюда перемешаны. Иными словами, началась та чересполосица разумных речей и полнейшей белиберды, громкого пенья и беспричинного смеха, та полупьяная добродушная несуразица, которая является высшей точкой каждой большой вечеринки.

В этих обстоятельствах одна только Дарья Алексеевна неизменно оставалась на посту. Она уложила спать малышей. Она тихонько выпроводила Марину и ее подруг в другую комнату заниматься (Витя Пименов ускользнул вслед за ними). Она начала уносить остатки ужина, чтобы сервировать чай, при этом не забыв — добрая русская душа! — оставить на столе недопитые бутылки.

Еще один человек, кроме Дарьи Алексеевны, был совсем трезв и ясен — сам хозяин дома, Иван Ермолаев.

Иван сегодня почти не пил, не был, как обычно, вдохновителем общего веселья, не плясал в паре с Любовью Игнатьевной «русского» и не следил с орлиной зоркостью за пустыми рюмками и тарелками друзей. Он был сегодня тихий и трезвый, молчаливо и ласково поглядывал на всех и в особенности на своих домашних. И вид у него был строже, чем всегда, в по-

вом, еще не надеванном черном костюме из отличной шерсти «с выработкой». Этот новый костюм, о котором толковалось давно, произвел впечатление на всех, особенно на модницу Екатерину Степановну; она обратила всеобщее внимание на то, как черное к лицу Ивану, светлому блондину, какой он в черном стройный и элегантный, и глядела на Ивана еще умильней, чем обычно. Понравился костюм и Тимофею Васильевичу, который, потрогав материю, причмокнул языком.

От отца Иван не отходил ни на шаг, иногда обнимал его одной рукой за плечи, обращал его внимание на чью-либо шутку или смешной рассказ и, перед тем как смеяться шутке или смешному рассказу, глядел на отца вопросительно — понял ли тот,— и сам начинал смеяться не прежде, чем начинал улыбаться отец, ухватив соль остроты. Изредка Иван поднимался и, потрепав отца по плечу — ненадолго, мол,— уходил из столовой — просто так, от усталости трезвого среди выпивших. В соседней комнате Марина и ее подруги готовились к зачету. Витя Пименов, уже сдавший зачет раньше, сидел на подоконнике и смотрел на Марину, отрываясь от этого занятия только затем, чтобы объяснить непонятное место в учебнике: он был отличником и славился своими способностями; и казалось удивительно и трогательно, как он в одно мгновение, все с тем же очарованным видом переключается от любви к металловедению.

Рассеянно улыбаясь, покидал Иван эту комнату и входил в другую, где на широкой кровати спали все трое маленьких. Звуки вальсов и топанье ног почти не доносились сюда. Иван стоял и смотрел на детей, слабо освещенных светом маленького ночника, и давал себе слово, что никогда от них не уйдет, не бросит семью, не оставит их без отца; года четыре тому назад он увлекся одной докторшей из заводской поликлиники и некоторое время был близок к разрыву с семьей.

В очередной раз очутившись возле спящих детей, Иван почувствовал, что его охватила странная душевная слабость, приятная и причиняющая страдание.

Он постоял, пока это странное ощущение не улеглось, и вернулся в столовую. Здесь уже стало тише. Любители пения на время одолели любителей танцев. Судья, Лидия Ивановна Коломейцева, была главной певицей. Голос у нее был низкий, цыганский, и песни — ему под стать — озорные или надрывные. Озорные она пела серьезно, а надрывные — насмешливо, и, видимо, так было правильно. Все притихли, даже танцорши. Ум-

ная Лидия Ивановна, впрочем, недолго пела одна, вскоре завела общеизвестную хоровую, и все голоса радостно вступили, запела даже Дарья Алексеевна, только инженер Коломейцев чертил что-то старику Гончаренко на бумаге, шепотом советуясь со старым доменщиком по поводу некоего «рационализаторского предложения».

Потом гости сели пить чай с печеньем, лишь Ульянов и Башмаков, не желающие, как они выразились, «делать ерша», то есть мешать водку с чаем, продолжали пить водку. Екатерина Степановна, любезничая с полковником, сердито косилась на мужа, когда он наливал себе очередную рюмку, и ее живые карие глазки то мерцали мягким масленым блеском, то злобно посверкивали.

Тимофей Васильевич сидел в уголке, ко всем приглядывался, больше слушал, чем говорил, степенно поглаживал свою серенькую бороденку. Мастер Ульянов совсем подружился с отцом своего любимого старшего горнового и, будучи порядочно на взводе, иногда лез к нему целоваться, и звал в гости, и сентиментально вздыхал, вспоминая орловскую деревню, которую покинул ребенком, лет сорок назад.

Людей становилось меньше. Первыми — еще до полуночи — незаметно ушли горновые из Ивановой смены. Они и не пили почти, так как в двенадцать часов должны были заступать; Ивана же начальник цеха заменил другим старшим горновым в связи с семейным торжеством.

Остальные гости стали расходиться часов с двух ночи. В три все стало тихо. Пока Любовь Игнатьевна и Дарья Алексеевна, зевая во весь рот, убирали посуду, подметали пол, стелили постели, старик, которому совсем не хотелось спать, стал расспрашивать сына про гостей (кто они, какие должности занимают, сколько жалованья получают), осторожно прохаживаться насчет женского пристрастия к танцам «с кем попало», соображать, не лучше ли выдать Марину за второго сына Гончаренко (его на вечере не было, но старый доменщик похвалялся им перед Тимофеем Васильевичем), чем за этого ее женишка: отец у женишка больно молчаливый, видно, скупой, да и дома своего не имеют, занимают квартиру в большом казенном доме.

Иван, посмеиваясь, отвечал на его вопросы и мягко отводил его соображения, в то же время тихо радуясь тому, что у него есть родной отец, смешно и мило озабоченный его делами. А старик смотрел на длинный стол, уже пустой, но еще покры-

тый большой розовой скатертью, вспоминал прошедший вечер и говорил задумчиво:

— Хорошо живешь...

Позже, когда все улеглись и угомонились, Иван вышел на крыльцо и постоял, глядя, как обычно, в сторону завода, на зарево, пылавшее над ним. Ивану стало не по себе от того, что смена работает, а он находится здесь, на крыльце своего дома, — кажется, впервые за двадцать лет он не был вместе со своей бригадой. Он ревниво и пристально глядел в сторону домен, которые не были видны отсюда, но угадывались по алым, оранжевым и золотистым отсветам и дымам.

Он решил, что завтра обязательно покажет отцу завод, и попробовал представить себе, какое впечатление произведет завод на старика, привыкшего к тому пейзажу, который ясно помнился Ивану с детства: деревенские избы спускаются к самой реке, за рекой змеятся холмы, покрытые темной зеленью дремучего соснового бора. Направо уходит вдаль бесконечная равнина, на ней там и сям виднеются деревеньки, а слева тянется гора, у подошвы которой стоит большое село и ярко белеет приходская церковь Василия Великого; туда в старину ходили на богомолье к источнику святой воды.

Это воспоминание показалось таким далеким, эта картина так была не похожа на ту, которую Иван видел теперь перед собой в темноте весенней ночи, что Иван на мгновение почувствовал себя не одним человеком, а двумя — так трудно было соединить в одной биографии эти два разных мира. И то, что завтра его отец, Тимофей Васильевич Ермолаев, ни с того ни с сего окажется на Магнитогорском заводе, казалось тоже неправдоподобным.

Часов в двенадцать дня Иван не без некоторой торжественности усадил Тимофея Васильевича в машину рядом с собой и отправился с ним на завод. Сзади уселась Дарья Алексеевна — ей нужно было в библиотеку, книги менять на всю семью. Книги, аккуратно увязанные веревочкой, она положила к себе на колени. Иван высадил ее у библиотеки и поехал к заводоуправлению.

Вдвоем с отцом они поднялись за пропуском. Служащие заводоуправления почти все знали Ивана и называли Иваном Тимофеевичем. Здороваясь с ним, они в то же время с улыбкой косились на совершенно выпадающую из общей картины мешковатую фигуру старичка с серой бородкой, такую явно не дело-

вую, не командировочную, не инженерную, не индустриальную; старичок щурил глаза и вертел головой во все стороны, рассматривая потолки и стены старательно, как будто по обязанности, но без интереса.

Кое-кто останавливался, спрашивая:

— Что, отец приехал?

А некоторые, знавшие Ивана ближе, подходили:

— Уже приехал?

И пожимали старику руку с несколько преувеличенным жаром.

Краснощекая девица в комнате, куда отец и сын зашли за пропуском, подняв глаза и увидев старика, сначала удивилась, но потом заметила стоявшего за ним Ивана, сразу вспомнила и радушно закивала головой:

— Да, да... Сейчас выпишу пропуск. Как вас величать? Тимофей?..

— Васильевич.

Старик сиял от удовольствия: может быть, он смутно думал о том, что вот они с сыном так давно живут врозь, а он, родитель, все равно как бы незримо пребывал вместе с Ваней — ведь звали же Ивана все эти незнакомые люди «Тимофеевичем», по батюшке.

Получив пропуск, они спустились по лестнице вниз, пошли к проходной и наконец очутились на земле завода. Впрочем, по земле отец и сын двигались недолго, вскоре дорога уткнулась в широкую железную лестницу, по которой они поднялись на расположенный высоко над землей виадук и пошли по нему. Внизу, довольно глубоко под ними, тянулись по всем направлениям рельсы, автомобильные пути, толстые и тонкие трубопроводы. Далеко в стороне высились стены огромных цехов, отовсюду свистел вырывавшийся из труб пар, то там, то сям из неприметных отверстий даже выбивалось пламя. Ровное пыхтение раздавалось кругом, беспрерывное ровное пыхтение, покрываемое иногда гудками и тяжким постуком платформ с ковшами, в которых остывало уже лиловеющее огненное варево.

Наконец вдалеке, а потом все ближе, придвигаясь подобно грозному видению, перед ними предстала шеренга доменных печей. Иван остановился и показал их отцу, чтобы он издали оценил эти чудища. Они выглядели как гигантский многобашенный линейный корабль, а каждая в отдельности напоминала марсианина, но так как старику не с чем их было сравни-

вать — ни о марсианах, ни о линкорах он не имел понятия, — то он просто испугался.

— Печи! Вот это так печи! — оробев, забормотал Тимофей Васильевич.

Он и раньше слышал о доменных печах, но это слово вызывало в нем самые определенные сопоставления: он думал, что речь, в общем, идет о русской печи, где вместо каши варят железо. Точнее говоря, когда Ваня написал, что работает у доменных печей, Тимофей Васильевич сразу представил себе поле, а на нем, наподобие стогов,— ряды больших белых русских печей, с подпечьями и припечками, загнетками и дымоходами.

Спускаясь вслед за сыном по железной лестнице к доменному цеху, Тимофей Васильевич, как завороженный, смотрел на сплетение гигантских цилиндров, конусов и призм, составляющих причудливый корпус доменной печи, и все бормотал:

— Печь! Вот это так печь...

Внизу, под домной, где человек кажется себе особенно маленьким и жалким, они наткнулись на инженера Коломейцева, который, узнав их, просиял. Стараясь перекричать доносящийся со всех сторон беспрерывный гул, он громко спросил:

— Еще не опохмелялись?

Эти более чем обыденные слова в такой необыкновенной обстановке несколько привели Тимофея Васильевича в чувство, и он заулыбался так же степенно и чуть покровительственно, как вчера при тостах в его честь.

Когда Коломейцев ушел, пригласив отца с сыном зайти к нему в контору, а вечером пожаловать в гости, Иван сказал о нем:

— Хороший инженер.

— А ты не инженер? — спросил Тимофей Васильевич.

Иван улыбнулся:

— Хотел, да силенок не хватило. Подготовки не было. Начал учиться заочно, но не вышло. Годы не те, голова не так ясно работает... Память неважная. В общем, бросил. Ну, ничего, ведь и рабочие нужны. Зато дочь моя скоро будет инженером.

Старик с сомнением покачал головой: «Рабочий?.. Смотри, как его везде встречают...»

На доменной печи, где работал Иван, отца старшего горнового тоже встретили очень дружелюбно. Черные от копоти горновые и газовщики подходили к нему, улыбались черномазыми

лицами и упорно не подавали ему руки, так как не хотели измазать почтенного гостя.

В огромном помещении было темновато и прохладно. Желтый песочек мирно лежал на полу домны, как на берегу реки. Люди, однако, сновали туда и обратно, видимо, были чем-то очень заняты, но чем именно, старик не понимал. Появившийся откуда-то мастер Ульянов тоже был — не по-вчерашнему — серьезен и деловит. Он громко распоряжался, кого-то грозно распекал, и трудно было представить его себе пьяным и слезливым, и боящимся своей залихватской женки, и прощающим ей все. Тимофея Васильевича он, впрочем, встретил по-приятельски, увел его к себе в комнатку, где вокруг висели щиты с подрагивающими стрелками, потом дал ему синие очки и повел его к печи — смотреть сквозь небольшие глазки на запертое пламя, бушевавшее внутри нее.

Потом Ульянов внезапно исчез, и Тимофей Васильевич почувствовал себя одиноким и потерянным здесь, в этом странном корпусе, ни на что на свете не похожем. Но вот из полумрака появился Иван. Он взял отца за руку и повел, как ребенка, куда-то, поставил его в сторонке и тихо сказал:

— Смотри.

И тут началось. Открылась лётка, и раскаленный жидкий металл двинулся из печи. Все в домне мгновенно преобразилось. Стало нестерпимо жарко и нестерпимо светло. Тени запрыгали по далеким стенам как бешеные. Огонь, осветив ярчайшим светом все закоулки доменной печи, а заодно и соседнюю домну, соединенную с этой, как бы раздвинул их, показал их действительные размеры, более грандиозные, чем это представлялось раньше.

Раскаленный жидкий металл пустился по наклонной плоскости прямо по полу незнамо куда и мог бы все сжечь на своем пути, если бы не незамеченные раньше ложбинки в желтом песочке. Раскаленные струи кинулись по этим ложбинкам вперед. Алое и золотистое пламя, похожее на адское и еще пострашнее, вдруг напомнило Тимофею Васильевичу их приходскую церковь Василия Великого, где во всю стену были изображены адовы муки. Но тут огонь был настоящий, бесы, то бишь горновые, метались с баграми в руках, пробегали, кидались с этими баграми прямо на огонь, пускали жидкий огонь то в одну, то в другую ложбинку и уже не замечали ни Ивана, ни его отца, словно это были для них незнакомые люди.

Тимофей Васильевич глядел на окружающее с суеверным ужасом, и только присутствие сына успокаивало его, хотя и сын во время плавки изменился, стал каким-то нездешним, смотрел на огонь и металл, как завороженный, забыв, кажется, обо всем на свете; золотистые отсветы прыгали по лицу Ивана, сверкали и играли в его глазах.

Словно угадав мысли отца, Иван обернулся к нему, посмотрел на него внимательно и сказал ласково:

— Не бойся, тятя.

Почему-то он именно здесь вспомнил слово «тятя», с детских лет совсем забытое, и оно умилило его. Он повторил:

— Не бойся, тятя. Огонь — наш раб, рассчитан и расчерчен по графику...

Это, конечно, было верно, но когда Тимофей Васильевич очутился на высокой платформе, ведущей из домны на вольный свет, он не без опаски поглядел на небо: есть ли оно еще на своем месте. Оно было на своем месте, в нем неподвижно и необыкновенно высоко стояли перистые облака. Тимофей Васильевич украдкой перекрестился и вздохнул. Иван заметил его движение и улыбнулся. Естественное в старину и непривычное, почти забытое Иваном теперь, это движение тем не менее чем-то растрогало его, как и слово «тятя». И в то же время он испытывал удивление от того, что жизнь отца так мало изменилась — по крайней мере по внешности; казалось, что там все так же, как было тридцать лет назад, разве что вместо телег и бричек по дорогам ходят автомобили. Он подумал: «То ли район там такой отсталый, то ли сам отец крепко держится старины, а может, потому он и держится старины, что район отсталый...»

Долго раздумывать над этим не было ни охоты, ни времени; остаток дня и все последующие дни были заполнены до отказа хождением в гости, в кино, во Дворец металлургов. Мысли Ивана занимало одно: как бы получше принять старика, чем бы еще его потешить. В субботу и воскресенье — два подряд выходных дня Ивановой бригады — решили поехать за город на рыбалку.

К дому Ермолаевых в три часа пополудни съехались две «победы» и «москвичи». Иван вывел и свою «победу». Погрузили палатки, рыболовную снасть, кухонную утварь, рассовали по багажникам части разборной лодки и приготовленные заранее обрезки досок и реек. На эти доски и рейки Тимофей Ва-

сильевич смотрел с недоумением, пока ему не объяснили, что в степи топлива нет, поэтому приходится брать топливо для костра, на котором будет вариться уха. Тимофею Васильевичу, жителю лесных мест, это показалось необыкновенно смешным — ездить со своим топливом для костра,— и он впервые за все дни вслух рассмеялся, и все увидели, что сын на него очень похож.

Иван повел свою машину во главе всей маленькой автоколонны. С Иваном в машине были Тимофей Васильевич, Леня Башмаков и полковник Гончаренко — на этот раз не в франтовской военной форме, а в затрапезном, вероятно, отцовском костюме, старой шляпе и длинных, выше колен, охотничьих сапогах. На других машинах ехали их владельцы — инженер Коломейцев, инженер Лапин и горновой Синичкин, каждый со своими приятелями. Женщин не было, считалось, что рыбалка — дело сугубо мужское, даже более того — долгожданный отдых мужчин от женского общества. Почтенные отцы семейств чувствовали себя здесь, как школьники, убежавшие с занятий, и были склонны сильно преувеличивать свои домашние тяготы и недостатки женского характера — для полноты ощущений.

Вскоре машины очутились в степи, на не очень четкой степной дороге, созданной скорее соизволением самих шоферов, чем заботами дорожников. Довольно пустынная, однообразная, волнистая равнина семимильным шагом шла навстречу и, далеко обходя машины, лениво ползла будто не назад, а вперед. Единственная достопримечательность по пути, на которую обратил внимание Тимофея Васильевича Леня Башмаков, был заброшенный золотой прииск — несколько покосившихся деревянных построек. Тимофей Васильевич, человек, всю жизнь проживший в Европейской России, где о натуральном золоте, добываемом прямо из земли или со дна реки, ходили только легенды, закидал Леню вопросами о том, почему прииск покинут и не осталось ли там золота, и все оглядывался на старые постройки, покачивая головой.

Леня Башмаков хорошо знал и любил здешние места и, несмотря на однообразие ландшафта, ухитрялся рассказывать о них разные истории. Въехали в деревню, и Леня сказал, что ее название Требия, а названа она по имени итальянской реки, где полтора века назад Суворов разбил генерала Макдональда. («Впоследствии наполеоновского маршала и герцога Тарент-

ского»,— бросил Леня с важностью в сторону полковника Гончаренко.) Вообще местность здесь изобиловала иностранными наименованиями; тут были неподалеку деревня Париж, поселок Фер-Шампенуаз, села Наварин, Балканы — так сохранялась память о победах русских войск, среди которых отличились и уральские казаки.

Но вот машины выехали на гребень небольшой возвышенности. Справа внизу, среди зарослей, вдруг показалась извилистая светлая лента реки. Машины долго колесили вдоль ее берегов и наконец остановились у тихого заливчика. Рыболовы стали устраиваться; они были сдержанно взволнованны и то и дело вопросительно и жадно поглядывали на загадочно-безмолвное зеркало реки. Работали споро и ловко, видно было, что все давно продумано и рассчитано: одни разбивали палатки, другие выгружали сети и прочий инвентарь, третьи принялись налаживать разборную лодку, окрашенную в красный лак, как трамвай; это была сложная и кропотливая работа, но вскоре лодка заскользила по заливчику, как красная рыбка. В нее уселись Леня Башмаков и Синичкин. Они поставили сети в разных местах. Кто-то накопал червей, кто-то ладил удочки. Коломейцев взял в свою резиновую надувную лодку полковника Гончаренко и отправился с ним ставить сети подальше, в какое-то свое заповедное место. Вернувшись обратно, они вместе с Лапиным начали готовить закуску — разумеется, еще не уху — уха еще была среди коряг, в расселинах дна, терлась еще о водоросли, кружилась в омутах, помахивала хвостами, подрагивала плавниками,— а из домашних продуктов, приготовленных и упакованных теми самыми женами, о которых здесь говорилось с таким высокомерием.

Ивану сегодня не давали участвовать в общих усилиях, забирали у него из рук всякую работу, и он сидел с отцом на берегу, объясняя ему, кто что делает, как гид при знатном иностранце. Пахло тинистой прохладой, и Ивану вспоминалась речка Ворона и большой паром.

Покончив с делами, все собрались вокруг постеленного на траве квадратного брезента; всеми цветами тусклой радуги поблескивали пластмассовые тарелочки и пластмассовые стопки, стояли — чтоб не перепиваться — всего три бутылки водки среди блюдец с селедкой, колбаской, жареными котлетами и вареным мясом и множества баночек горчицы. На чистом воздухе, при полном забвении служебных дел и всех забот, кроме

как о том, что делается под водой, идет ли рыба в сети,— это был восхитительный обед.

Кое-кто после обеда тут же на траве заснул, и лишь самые заядлые удильщики разошлись с удочками кто куда и сидели вразброс, молчаливые и терпеливые, но в глубине души полные азарта и желания во что бы то ни стало превзойти своих соперников. Тимофею Васильевичу тоже была вручена удочка, и он, обозрев опытным глазом берега, выбрал себе тихую заводь подальше от других и уселся удить. Старик не опозорился: он больше всех наловил окуней, поймал даже одну щучку и язя.

Темнело. Понемногу удильщики вернулись к машинам. Спавшие проснулись. Развели большой костер. Стали чистить картошку. Приближалась «художественная часть», как ее называл Леня Башмаков. Он и Синичкин отправились в красной лодочке проверять ближние сети и вскоре привезли, при общем ликовании, полведра трепещущей рыбы. Тут же взялись за приготовление «большой ухи»: стали чистить рыбу живьем, резать ее, еще бьющуюся в руках, окровавленными ножами, кидать в ведро кипящей воды вместе с целыми луковицами и ломтиками картофеля, снимать ложками накипь с поверхности будущей ухи; и при этом все были очень озабочены и горды и говорили, что дома такую уху разве сваришь, и что без женщин оно как-то вкуснее, и недаром, дескать, лучшие повара — мужчины, и что стряпня вовсе не такая уж маята, как это любят изображать жены. И хотя все в глубине души прекрасно знали, что все эти разговоры — одна мнимость, но уж таков на рыбалке хороший тон.

Когда рыба закипела в котле среди луковиц и картофеля, Коломейцев, Башмаков и Лапин направились к машинам и вернулись оттуда с черным перцем и лавровым листом в больших конвертах. Взглянув на их торжественные, благоговейные лица, историк мог бы наконец понять, почему человечество так жаждало пряностей, что в погоне за ними даже открыло Америку.

Поели уху, выпив на этот раз изрядно. И вот на небо вышла юная луна, и заливчик засеребрился, и в кустарнике на его берегах зашумел ветерок. А степь лежала широкая и бесконечная; машины и люди вокруг костра отбрасывали на нее причудливые мятущиеся тени. Лягушки квакали невдалеке.

Поздно ночью, когда не спали только самые неугомонные, далеко в степи показались два светящихся глаза, и вскоре к

лагерю рыболовов приблизилась еще одна машина, грузовая. Она остановилась неподалеку, и ее фары тотчас же погасли. Послышались неторопливые мягкие шаги по траве. Вскоре в светлый круг вошли трое мужчин. Вглядевшись в них, рыболовы огласили берег веселыми криками: это тоже были заядлые любители рыбной ловли — директор совхоза Канунников, зоотехник и директорский шофер.

— Давненько вас не было видно,— проговорил Канунников, грея руки над костром.

— Да все некогда,— стал оправдываться Иван.— План выполнять надо. Месяц кончается. Сегодня выбрались на рыбалку — и то только в честь моего гостя. Отец приехал... Не виделись давно, четверть века с гаком... Он у меня записной рыболов. Теперь спит в палатке, умаялся.

Вновь прибывшие стали поздравлять Ивана. Он застенчиво их благодарил.

Тимофей Васильевич, впрочем, не спал. Он слушал весь разговор с удовольствием. То, что директор совхоза запросто, даже просительно разговаривает с Иваном, потешило родовую гордость старика и несколько удивило его. Директор жаловался Ивану на неполадки и умолял помочь слесарями для ремонта инвентаря.

Иван по поручению парткома занимался шефской работой, а доменный цех как раз шефствовал над целинным совхозом, где директором был Канунников. Но старик не разбирался в этих взаимоотношениях; он пристально и уважительно смотрел через отверстие палатки на серьезное лицо своего сына, освещенное от костра золотистым светом, точно как там, на домне, и бормотал:

— Иванушка-то! Вот тебе и Иванушка-дурачок!..

Он не преминул вылезти из палатки — немного погреться в лучах славы и в тепле костра. При директоре он назвал сына Иваном Тимофеевичем, и в дальнейшем уже иначе его не называл, чем повергал Ивана в смущение и беспокойство.

Весь следующий день ловили рыбу, слонялись по берегу, закусывали, лениво рассказывали бывальщину и небывальщину. Нежаркие солнечные лучи, дрожащие светлые нити на воде, путаница длинных степных трав, беспрерывно длящийся пересвист птиц и перезвон насекомых — все это словно бы сплело вокруг людей легкую и тихую сеть блаженного ничегонеделания. Из нее не так просто было выпутаться, и требовалось не-

которое усилие воли для того, чтобы на исходе дня приступить к сборам, укладке, одеванию, вернуться к стремительным мыслям обыденной жизни.

На дорожку закусили. Снова произносились тосты за Тимофея Васильевича. Хитрец Канунников, который был крайне заинтересован в том, чтобы задобрить Ивана и получить необходимую помощь от доменного цеха, заметив любовь к отцу, так и светившуюся в глазах у знатного доменщика, не жалел похвал и шумных излияний. Впрочем, он и сам расчувствовался; видя чистую и трогательную сыновнюю любовь, он вспомнил своих родителей, очень старых, живших на окраине Симферополя в маленьком домишке, и решил сегодня же им написать. Он редко им писал.

Живая рыба билась в ведрах и корзинах. Ее разделили между всеми поровну. Синичкин, с утра крепко выпивший, вдруг стал бить себя в грудь и кричать, что он и в детстве был беспризорный, и теперь нет у него дома, и не для кого ему возить рыбу, и пусть его долю заберут к чертовой матери: от него недавно ушла жена, и при дележе рыбы беда эта показалась ему особенно нестерпимой. Он стал обнимать Тимофея Васильевича, называл его папашей и жаловался ему на окаянную жизнь, считая, вероятно, что видавший виды седой человек поймет его лучше, чем другие.

Синичкина успокоили, вместо него за руль его автомобиля сел полковник, и машины помчались в обратный путь по еле намеченным степным дорогам.

Решили выбрать другой маршрут, чтобы проводить Канунникова до совхоза. Степь сменилась бледно-зелеными березовыми рощами, стоявшими в пленительном беспорядке. После гладких однообразных пространств эти зеленые рощицы радовали душу, и голубое небо над ними было как будто светлее и яснее, чем над изжелта-коричневой степью.

Совхоз был совсем новый. Оштукатуренные белые домики, такие же белые продолговатые и круглые хозяйственные постройки — все это было ослепительно. Новыми казались тут и коровы и овцы. Тут еще не было ни собак, ни кошек. И люди были все молодые. Может быть, по этой последней причине прохожие, юноши и девушки в новых ватничках, с таким интересом поглядывали на Тимофея Васильевича, когда он проходил по улице поселка в своем сером миткалевом костюме, все время держась рядом с директором...

В Магнитогорск приехали поздно вечером. Все, кроме водителей, сладко спали, так что даже не пришлось прощаться. Сонного Тимофея Васильевича Иван уложил одетого в постель, только сапоги с него снял. Леня Башмаков остался досыпать у Ивана — ему постелили в столовой. Ермолаевскую долю улова кинули в большой таз, долю Лени Башмакова — в ведро.

Иван улегся рядом с женой и шепотом, чтобы никого не разбудить, долго рассказывал ей о рыбалке, симпатичном Капунникове и новом совхозе и перечислял всех пойманных рыб по породам и приблизительному весу.

У супругов зашла речь о предстоящем отъезде Тимофея Васильевича и в связи с этим о подарках ему и его домашним. Понимая, что Ивану хочется «не ударить лицом в грязь», Любовь Игнатьевна, как умная и хитрая жена, знающая, как сохранить мир и согласие в семье, сама взяла в руки инициативу и предложила купить и послать мачехе Ивана скатерть, отрез шерсти на пальто и шкурку на воротник, сестре — летнее платье и материал на зимнее, детям Тимофея Васильевича от второго брака — их было трое — ботинки, брюки и опять же платье, и еще какому-то дяде и двум теткам, чаще других упоминавшимся стариком,— сапоги и по платку.

Самому Тимофею Васильевичу следовало преподнести особенно ценный подарок, и Иван с Любовью Игнатьевной долго толковали на этот счет; Любовь Игнатьевна боялась назвать предмет слишком дешевый, чтобы не задеть сыновние чувства Ивана и не прослыть скупой и недоброй к мужниной родне; в то же время она не хотела уж чересчур раскошеливаться — и так придется призанять тысячи полторы у Ульяновых на подарки и другие расходы — своих сбережений могло не хватить. И она, покосившись на задумчивый профиль мужа, воскликнула с удальством в голосе, но и не без надежды, что сам муж воспротивится ее предложению:

— Давай-ка мы твой новый костюм ему отдадим?! Ничего!.. Живы будем — справим другой!

Ивану новый костюм очень нравился, и такой легкий отказ жены от этого костюма покоробил его; он не совсем безосновательно предположил, что она так легко отдает костюм потому, что на вечере Иван в нем явно пришелся по вкусу Екатерине Степановне Ульяновой: Любовь Игнатьевна немного ревновала его к своей любвеобильной приятельнице. Но ничего не скажешь, подарок был отличный, костюм и старику очень *пока-*

зался, и к тому же такой подарок вроде не стоил денег — за него было уплачено хотя и много, но давно.

— Ладно, Люба, молодец, Люба,— сказал Иван умиротворенно и погладил ее по пышному белому плечу, а она, обрадовавшись этой ласке и польщенная его похвалой, в душе окончательно склонилась перед необходимостью отказа от новых зимних пальто Марине и Мите.

Иван с женой уснули блаженным сном, довольные друг другом.

Утром Иван пошел на завод, а Тимофей Васильевич, проснувшись, с похмелья пил огуречный рассол, принесенный ему сердобольной Дарьей Алексеевной. Он спросил ее, где здесь церковь и не собирается ли она к заутрене — сегодня вознесение, сорок дней после пасхи. Дарья Алексеевна, сдержанно улыбнувшись, ответила, что ее покойный муж, работавший литейщиком в Златоустовском заводе, был старый безбожник, в бога не верил и ей наказал, так что она уже лет тридцать как не ходит в церковь.

Все же она проводила Тимофея Васильевича к трамваю, усадила его и растолковала, как ехать в церковь через весь город.

Пока он ездил, все было сделано: деньги одолжены, покупки произведены, билет на указанный им день куплен.

Прощальная вечеринка, объявленная в свой срок, прошла так же весело и шумно, как и встреча. Наутро после проводов старику были вручены подарки. Старик как будто не очень удивился, только притих, глаза у него стали маленькие-маленькие, он медленно, будто недоверчиво, брал каждую вещь и, выслушав, кому она предназначалась, задумывался на мгновение, оценивая достоинства человека и предназначаемой ему вещи. И только когда все подарки были сложены, старик вдруг поглядел исподлобья на сына и спросил:

— Ты, Ваня, того... сколько жалованья получаешь?..

Иван возразил, гордый и растроганный:

— Ничего, батя!.. Не беспокойся... Хватает, хватает, батя!

А Любовь Игнатьевна, давая старику денег на дорогу, тоже расчувствовалась и, вздохнув, сказала ему ласково, хотя и с некоторым надрывом:

— И по двести рублей будем вам высылать...

Старик при этом смотрел в сторону и быстро-быстро моргал глазами, и было непонятно: то ли он собирается заплакать, то

ли думает о чем-то своем. И весь вид у него был какой-то странный: не то петушистый, не то жалкий.

И вот однажды утром дети, проснувшись, не застали дедушку. Он уехал ночью, когда они спали. Зато у них появилась еще одна забава: они надумали играть «в дедушку», и эта игра стала одной из самых любимых. Дедушку изображала обычно Вера; она приклеивала к подбородку обрывок старой папиной шапки серого меха, сидела серьезная и отрешенная на стуле с рюмкой в руке, а остальные дети чокались с ней рюмками и стаканами и говорили тосты; Федя же, изображавший полковника,— он нашил себе на плечи бумажные красные погоны,— говорил речь и кричал «ура», и потом «дедушка» деловито получал подарки, быстро прятал их в чемодан, спрашивал, кто сколько жалованья получает, и обещал писать письма. Соседские дети тоже жаждали участвовать в этой игре, но по врожденному, что ли, чувству справедливости самостоятельно не смели в нее играть, а обязательно приходили к ермолаевским детям, законным внукам дедушки, истово чокались с Верой и кричали «ура».

Все знакомые при встрече с Иваном обязательно спрашивали, как старик доехал, и что он пишет, и как понравился ему Магнитогорск и завод. А Иван, конфузясь (так как от старика не пришло ни одного словечка), отвечал всем, что отец доехал благополучно.

Весточку от Тимофея Васильевича Иван получил только месяца через полтора и весьма неожиданным путем. В доменный цех как-то днем позвонили из нарсуда и велели передать ему, чтобы он зашел к судье Коломейцевой. Он удивился, но, разумеется, пошел и был неприятно поражен злым видом Лидии Ивановны, обращением к нему на «вы» и сухостью ее тона. Глядя на него бьющим прямо по переносью пристальным взглядом суровых глаз, которые он до сих пор знал лишь веселыми или насмешливыми, она спросила без предисловий:

— Деньги родителям посылаете?

Иван вздрогнул от неожиданности.

— Да,— сказал он, густо покраснев под ее взглядом и весь сжавшись от предчувствия какой-то неизвестной беды.— Да... А что?.. Конечно, посылаю... Не родителям — отцу, у меня матери нет. Из каждой второй получки посылаю. Только в последний раз не посылал: я ведь ему дал на дорогу.

Расспросив его и при этом свирепо придираясь к каждому

слову, она наконец вздохнула с явным облегчением, и ее взгляд стал легким.

— Так я и думала,— сказала она и положила ему на плечо тяжелую и ласковую руку.— Квитанции сохраняешь?

— Квитанции? Не знаю... Навряд ли...

— Так я и думала,— повторила она, покачав головой.— Вот прибыл иск от твоего отца. Жалуется он на тебя: мол, член партии, депутат, домовладелец, богач, а алиментов не платишь. Оставил, мол, родных на произвол судьбы — родителей, братьев и сестер, из коих два несовершеннолетних и одна хромая-калека.

Иван не пытался объясняться. В нем будто что-то оборвалось. Он втянул голову в плечи, на минуту почувствовав себя несчастным и беззащитным крестьянским мальчиком стародавних времен. Она же глядела в сторону и рассуждала вслух:

— Ну, факт твоих переводов мы, положим, с помощью почты сможем установить в любое время, не в этом суть... Одна я не решаю, у меня заседатели, все выяснится в судебном заседании, но думаю, что присудим мы ему с тебя, ввиду твоей многодетности, рублей пятьдесят в месяц. Вполне достаточно. Он имеет корову, овец, откармливает свинью, да еще валенки валяет... Сам же он мне и рассказывал. Пятьдесят рублей будешь ему платить.

В этот момент она посмотрела на Ивана и осеклась, потрясенная выражением его лица.

— Разве в этом дело? — проговорил он, махнув рукой.

— Да. Конечно. Понимаю,— сказала она мягко и как бы виновато.

— Может, они так это?.. Не подумавши? По темноте своей?.. А? — продолжал он, глядя на Лидию Ивановну вопросительно, почти умоляюще.— Может, им живется трудно? А?..

Выйдя из помещения суда, Иван с ужасом подумал о том, что надо идти домой; он не мог сейчас видеть жену и Дарью Алексеевну и даже детей, которые, может быть, за стеной играли в «дедушку». И он решил пойти в пивную, выпить там грамм триста русской горькой, чтобы не было так стыдно. Но когда он подошел к реке, перед его глазами возникла привычная, но всегда ошеломляющая своим величием картина вечно работающего завода. В сгустившихся сумерках разноцветные снопы пламени всевозможнейших оттенков красного и оранжевого и ослепительные вспышки белого огня то тут, то там

прорезáли мир неподвижных вещей стремительно и дерзко. В этом мире — огромном теле, включающем в себя темные горы, тускло освещенные дома, тяжелые воды реки и небо с длинными тучами, чуть освещенными невидимым закатом,— завод с его непрерывным тяжким постуком был вечно бьющимся сердцем, почти таким же сложным и таинственным, как человеческое сердце. Иван жестко усмехнулся и пробормотал с любовью, хотя и не без горечи:

— Вот она, Магнитка! Она — твоя деревня, твой родной дом, твой отец, твоя мать...

1959—1960

ПРИ СВЕТЕ ДНЯ

Рассказ

1

Наступал час рассвета. Утренняя серость постепенно, но с каждой минутой все напористее и быстрее вползала во все щели, проникала в темные подворотни, слизывала густые тени с порогов и стен. Прямоугольные пространства заполнились еще неопределенным туманом, вовсе не напоминавшим о солнце, но этот туман понемногу светлел, белел, розовел и вдруг, неожиданно задрожав, зажегся желтыми солнечными лучами на оконных стеклах верхних этажей.

Это повлекло за собой целый ряд новых звуков и картин. Ранний храбрец автомобиль зафыркал в ближнем дворе. Донесся протяжный гудок отдаленного завода. Захлопали форточки. Зашаркали шаги. Дворничиха в белом фартуке громким и сладким зевком встречала в воротах встающее солнце. Продрогший за ночь милиционер гляделся в маленькое зеркальце и поправлял русую челку — при свете утра он оказался девушкой. С трамвайных рельсов с тихим шелестом убегали разгоняемые первым трамваем желтые листья.

Человек шел по мостовой, глядя по сторонам с любопытством, выдающим приезжего. Он был одет в солдатскую шинель, и за спиной у него висел вещевой мешок — старый, побуревший от пота и дождей. Весь вид этого человека напоминал о недавно закончившейся войне, и только кепка на голове — обычная рабочая кепка, по-видимому, совсем новая,— была

единственной данью наступившему мирному времени. Она и выглядела не к месту, и лицо человека — скуластое, голубоглазое, с добрыми, словно припухшими губами — из-за этой кепки многое теряло в своей солдатской выразительности.

Человек внимательно и чуть удивленно приглядывался к оживающим московским улицам. Большая машина, поливающая мостовую, прошла мимо, обдав его водяной пылью. Он улыбнулся и приветливо помахал рукой шоферу. В этом движении чувствовалась свобода — однако не развязность городского жителя, а скорее независимость исходившего тысячу дорог солдата.

Даже в том, что он шел не по тротуару, а по мостовой, даже и в этом, пожалуй, сказывалась солдатская закваска, привычка к хождению строем, к ощущению себя не единицей, а частью колонны, для которой тротуар — слишком тесное место.

Хотя человек был несомненно нездешний — его мятая шинель свидетельствовала о сне на вагонной полке — и, возможно, даже приехал в Москву впервые, но в нем не чувствовалось никакой растерянности: военная привычка к перемене мест выбила из него, как и из большинства бывших солдат, следы провинциальности, деревенщины, скованности движений. Возле перекрестков он останавливался, читал название улицы и шел дальше уверенным и ровным шагом. Было похоже, что кто-то подробно растолковал ему путь следования, и он — из спортивного, быть может, интереса — не задавал ни милиционерам, ни ранним прохожим никаких вопросов.

Единственное, что с несомненностью выдавало его принадлежность к деревне, была приветливость: он здоровался с ремонтными рабочими, уже собиравшимися к своим «объектам», вежливым и веселым: «Здравствуйте».

В этом слове и, главное, в том, как оно произносилось, можно было распознать и просто естественную приветливость русского деревенского человека, и особое уважение к труду рабочих, подновляющих не какие-нибудь дома, а дома столицы, Москвы — предмета гордости и мечтаний миллионов сердец в различных дальних углах обширнейшего из государств.

Так он прошел всю Кировскую улицу и вышел на площадь Дзержинского. Тут, на этой площади, к которой сходилось множество широких и узких улиц, можно было бы и спросить, как идти дальше, но, постояв с минуту в задумчивости, человек перешел на противоположный тротуар, перерезал наискосок еще

улицу, поплутал в каких-то переулках и очутился на другой площади. Здесь он остановился, соображая, как идти дальше, но внезапно заметил в очертаниях площади и в простиравшейся вдоль нее высокой красной стене что-то торжественное и необыкновенно знакомое. Затем он увидел Мавзолей Ленина и тогда понял, где находится. Он весь похолодел, ибо, зная, что Красная площадь существует, и в подробностях зная все, что на ней расположено, он тем не менее был огорошен тем, что все здесь на самом деле именно такое, каким оно представлено в кинофильмах и на тысячах виденных им рисунков, фотографий, картин и газетных заставок. Больше всего удивило его, быть может, то обстоятельство, что он просто вошел на эту площадь, точно так же как и на любую другую. В своей гордости за Москву и в особенности за ее святая святых — Красную площадь — он, пожалуй, предпочел бы, чтобы сюда входили по-особому, как-то совсем не так. Чтобы сюда билеты продавали, что ли.

— Так вот куда ты залетел, Андрей Слепцов,— сказал он себе вполголоса и вынул правую руку из кармана, словно для отдания чести. Левая же рука осталась в кармане, и это было бы странно для солдата, если бы рука существовала. Но руки левой не было, а был только рукав.

Андрей Слепцов постоял на Красной площади добрых минут двадцать, наконец повернул направо. У Охотного ряда он впервые обратился к постовому милиционеру, и тот растолковал ему, куда идти дальше. А идти ему следовало до площади Пушкина, чтобы затем, повернув по бульвару, дойти до нужного переулка.

Однако было слишком рано стучаться в дом. Поэтому Слепцов, не заворачивая в переулок, сел на бульваре на скамейку. Здесь он вскоре незаметно задремал.

Когда он проснулся, было уже часов девять. Все кругом изменилось до неузнаваемости. Пустынные гулкие улицы, широко и свободно лежавшие под нежаркими утренними лучами солнца, превратились в шумливый и пестрый человеческий улей. Гул и топот, жужжание и цоканье, человеческие голоса и короткие сигналы автомобильных сирен заполнили все на этой огромной ярмарке, стремительной, пританцовывающей, то и дело вскрикивающей, всхрапывающей от удовольствия, от любования собственной огромностью, собственным многоголосием и разнообразием. Это все было настолько неожиданно, что у

Слепцова зарябило в глазах. В состоянии радостной растерянности прошел он сквозь строй нянек с детьми с бульвара в переулок, а там — к тому двору, который был ему нужен.

То был обычный московский двор среди многоэтажных стен большого кирпичного дома. Но и здесь люди любили цветы и траву. Посредине двора был устроен маленький садик с клумбами, на которых уже не было цветов, однако оставалась зеленая травка. Этой травке Слепцов подмигнул, как доброму знакомому и союзнику среди кирпича, стекла и асфальта.

Окинув взглядом бесконечное множество окон и балконов, Слепцов вдруг заволновался. Он застегнул шинель на все крючки и направился к дому, к одному из подъездов, возле которого на низкой скамеечке сидела старушка в белом платочке, в очках и вязала чулок. Нехитрое и древнее ее занятие живо напомнило Слепцову деревню, и он поэтому обратился к ней запросто:

— Скажи-ка, бабушка, где тут Нечаева проживает?

Старушка подняла на него строгие глаза, но медлила с ответом, разглядывая пришельца довольно бесцеремонно. Слепцов слегка улыбнулся и осведомился:

— Не оглохла, бабушка?

Бабушка была готова рассердиться на него за непочтительный вопрос, но тут заметила пустой рукав и, сразу же погрустнев и подобрев, сказала:

— Иди, голубчик, вон туда, напротив, в шестой подъезд, и подымись на третий этаж.

Слепцов медленно пошел туда, куда ему указали, и поднялся по лестнице. На третьем этаже он перевел дух, проверил крючки на шинели и позвонил. Дверь отворилась.

2

На пороге стоял бледный мальчик лет двенадцати. Он молча ждал, что скажет пришедший. Пришедший же стоял тоже молча и только смотрел на мальчика; лицо солдата приобрело беспомощно нежное выражение.

— Стало быть, я Андрей Слепцов, — сказал он наконец. Его голос заметно дрожал.— Вот какое дело.

Он подождал, пристально вглядываясь в мальчика и, видимо, ожидая, что имя и фамилия о чем-то ему напомнят. Но

мальчик молчал все так же выжидательно и отчужденно. Тогда Слепцов, слегка обидевшись, отрывисто спросил:

— Тебя Юрой зовут?

— Да,— сказал мальчик, удивившись.

— Да, Юрой,— уже веселее заговорил Слепцов.— Я тебя узнал. Еще бы не узнать... А ты вот меня не узнал. А не узнал ты меня потому, что сроду не видел.— Он засмеялся коротким взволнованным смешком и продолжал:— Что же ты так плохо гостей принимаешь, даже в дом не позовешь? А я, можно сказать, почти неделю все еду да еду. Издалека, значит. Из Сибири. Слышал про город Красноярск? Ну вот, я из-под самого Красноярска к тебе в гости и пожаловал, Юрий Витальевич...

Мальчик неуверенно сказал:

— Пройдите, пожалуйста.

Он отступил в глубь коридора и отворил другую дверь. Слепцов пошел вслед за ним, и они очутились в небольшой квадратной комнате, служившей, видимо, столовой и в то же время детской. Тут помещались буфет с посудой, стол, небольшая кровать и этажерка с книжками, школьными тетрадками и глобусом. На покрытом клеенкой столе стыл стакан чаю, лежал кусок хлеба, желтел на блюдце кусочек масла. Очевидно, звонок Слепцова оторвал мальчика от завтрака. Слепцов окинул взглядом стол и сказал:

— Да ты, оказывается, завтракал. Садись, продолжай, не стесняйся. А где мама?

— Мама ушла на службу.

— Ольга Петровна, значит, на службу ушла? — переспросил Слепцов, с видимым удовольствием называя мать мальчика по имени-отчеству и как бы лишний раз доказывая этим свою полную осведомленность в отношении людей, к которым приехал.— Так, так... Ну что ж, придется подождать.— Он говорил все это многозначительно, напуская на себя некоторую таинственность, что никак не шло к его открытому и ласковому лицу. Поставив свой вещевой мешок возле двери, а поверх мешка бросив шинель и кепку, он уселся на стул. Затем он окинул взглядом этажерку с книгами, глобус, глаза его посуровели, и он спросил: — Как учимся?

Мальчик ответил несколько уклончиво:

— Ничего.— Его тонкое лицо на мгновение затуманилось, и он, пересилив себя, добавил: — Две тройки. А все остальные пятерки.

— Понятно,— сказал Слепцов. Он внимательно посмотрел на мальчика и решил после короткого размышления не упрекать его за тройки. Он только повторил: — Понятно.— И добавил: — Твой отец был человек ученый, и ты должен быть тоже ученым человеком, культурным, одним словом сказать — советским.

Мальчик слабо улыбнулся поучению солдата — в этой улыбке сказалась некая доля столичного высокомерия по отношению к простоватому ходу мыслей провинциала. Слепцову, во всяком случае, эта улыбка не понравилась, и, выказав несомненную тонкость в понимании затаенных мыслей, он недовольно и сурово посмотрел мальчику прямо в глаза, отчего Юра смутился и принялся за завтрак.

Пока он, сидя в неловкой позе, медленно пододвигал к себе чай и хлеб, Слепцов, расположившись в углу в мягком кресле — здесь было уютно и полутемно,— глядел на него так внимательно, словно изучал каждое его движение, и искал в повороте головы, в линии губ и подбородка и вообще во всей повадке мальчика знакомые черты. И, находя их во всем, а главное, во взгляде, несколько рассеянном и печальном, удовлетворенно покачивал головой. Его только удивляла напряженность в позе и во всем поведении мальчика. Он, разумеется, не мог знать, о чем думает Юра в это время. А Юра думал о том, что вот нужно пригласить приехавшего издалека человека к столу, а на столе всего в обрез, и сахару нет, есть только маленькая конфетка, которой и на стакан чаю не хватит,— все в той скудной норме, какую получали по карточкам. И мальчик, сидя в неловкой позе — ему было стыдно, что он не зовет человека к столу, и в то же время жалко поделить с ним свой убогий завтрак, ибо он сам был очень голоден,— размышлял о том, как быть. Наконец он, вздохнув потихоньку и посмотрев на хлеб и масло долгим прощальным взглядом, поднял на Слепцова серьезные глаза и сказал:

— Садитесь, пожалуйста. Мы позавтракаем вместе.

Приняв не без внутренней борьбы такое решение, Юра явственно повеселел, у него будто камень с души свалился. И, заметив в нем эту перемену, Слепцов тоже оживился, встал с места и воскликнул:

— Хотя я и не очень голодный, но не откажусь, раз ты меня приглашаешь! Только уж не обижайся, я и свои харчи к твоим прибавлю.

Он подошел к вещмешку, ловко развязал его единственной рукой и стал молча выкладывать из него на стол свертки, один другого аппетитнее и жирнее. На столе понемногу образовалась горка вкуснейшей еды, среди которой были связки копченой и вяленой рыбы и полосы жареного мяса.

Мальчик смотрел на все это и не верил своим глазам. Потребовалось трехкратное приглашение Слепцова, чтобы Юра принялся за обильную пищу, ненормированную, жирную, острую и притом еще пахнущую дальними дикими пространствами, где рыбу не покупают в магазине, а ловят в больших реках, а мясо достают с помощью ружья и ножа. Юра опьянел от еды и, как все пьяные, стал болтлив. За время завтрака он успел поведать Слепцову немало своих горестей и радостей, в том числе обиду на учительницу географии, несправедливо ставившую отметки, подробности своей ссоры с приятелем, неким Федей, историю разных находок и пропаж и многочасовых прогулок в одиночестве или стаей, с ленивым глазением на уличную жизнь большого города с сованием носа во все уличные перепалки и во все раскрытые окна нижних этажей.

Слепцов слушал внимательно, иногда покачивая головой, как бы в подтверждение своего внимания или в знак согласия. Потом он спросил:

— Кем ты желаешь быть? — И тоном всесильного человека, от которого зависит все, добавил: — Ты не тушуйся, скажи.

Может быть, человек, выложивший на стол такую гору вкусной еды, и впрямь показался Юре всесильным. Так или иначе, он откровенно признался в том, что хочет быть летчиком-истребителем. Слепцов вошел к нему в такое доверие, что Юра чуть было не высказал ему свою самую главную и самую постоянную мечту — обычную, хотя и тщательно скрываемую, лелеемую в дальних тайниках души сладкую мечту всех мальчиков, много болевших и физически слабых, но в то же время (может быть, именно поэтому) очень самолюбивых: быть силачом, притом самым сильным силачом на свете. И вовсе не ради почестей и славы. Он был бы готов согласиться на то, чтобы никто на свете не знал о его силе — до поры до времени, до первой увиденной им несправедливости: большие обижают маленького, сильные — слабого, злые — доброго, богатые — бедного, многие — одного.

Глядя исподлобья на Слепцова и отмечая про себя нежность слепцовского взгляда, Юра тем не менее не решился рас-

сказать сибиряку о своей мечте, понимая, в сущности, что это детская мечта, слишком прекрасная, чтобы быть осуществимой. При этом он с практичной и печальной мудростью ребенка, редко в своей жизни евшего досыта, подумал, что, если бы у него каждый день был такой завтрак, как сегодня, он и в самом деле мог бы стать силачом. В связи с этой мыслью ему пришло в голову, что он слишком увлекся чужой едой; и, вместо того чтобы потянуться за очередным куском рыбы, он, помедлив минуту, откинулся на спинку стула.

— В школу, что ли, пора? — спросил Слепцов.

— Нет, я во второй смене,— ответил мальчик.— Мне нужно уроки доделать.

— Правильно,— согласился Слепцов.— Я тебе мешать не буду. Ты делай, а я здесь в уголке посижу.

Однако сел он не сразу. Он медленно обошел всю комнату, изучая предметы обстановки внимательными глазами. Увидев на стене два женских портрета, он спросил, кто эти женщины, а узнав, что одна — знаменитая ученая Мария Кюри, а другая — знаменитая артистка Комиссаржевская, поглядел на них с уважением. Затем он полистал настенный календарь, повертел глобус и наконец уселся в то же мягкое кресло в уголке. Здесь он искусно закрутил одной рукой с помощью колена цигарку махорки, но подумал, что в комнате курить, вероятно, не полагается и следовало бы выйти покурить на улицу или хотя бы в коридор. Но было лень вставать. Юра медленно и старательно писал. Стенные часы с резьбой приятно и долго прозвенели. Слепцова опять стало клонить в сон. Он боролся со сном, так как хотел проводить Юру в школу, но с каждой минутой все больше сказывалась усталость пяти дней путешествия в бесплацкартном, напиханном людьми вагоне, и Слепцов наконец уснул — второй раз за утро.

3

Слепцову приснилось, что он сидит в устланном соломой окопе и курит махорку, а рядом с ним дремлет капитан Нечаев, командир батальона. Слепцов внимательно смотрит на бледное, усталое лицо Нечаева, на его мокрую, набухшую шинель. Длинные ресницы Нечаева опущены, они влажны от дождя, нежно перепутаны и приклеены к подглазьям. Слепцов должен разбу-

дить капитана, потому что обязан сообщить нечто очень важное. Он мучительно вспоминает, что́ именно он обязан сообщить, и не может. Но вдруг он слышит рядом с собой детский плач, и тогда он почему-то вспоминает, что́ должен был сказать капитану Нечаеву. Он должен был ему сказать, что исполнил его предсмертное завещание — приехал в Москву, к его семье, и передаст ей все, что обещал передать. И тут Слепцов во сне вдруг спохватывается, что Нечаев-то сидит рядом живой и, следовательно, не мог еще сказать ему предсмертных слов. И Слепцову становится страшно, и он хочет разбудить Нечаева, но боится, что если он его разбудит, то Нечаев сразу умрет, раз он уж и так умер. Во сне Слепцов понимает, что все это какая-то «мура», несусветица, и ему приходит в голову, что, может быть, Нечаев не умер, а Слепцову только снилось, что комбат умер и, умирая, просил побывать в Москве у его семьи; и даже то, что война кончилась, Слепцову тоже только приснилось здесь, в окопе. И Слепцов опять чувствует всю запутанность ситуации, но никак не может из нее выпутаться. Но что действительно кажется совсем реальным, то это плач ребенка рядом. Слепцов по этому поводу удивляется — как здесь очутился ребенок, может быть, где-то поблизости скрываются беженцы, бездомные. Слепцов глядит поверх бруствера и видит невдалеке маленький городишко, пестрый, с желтыми и розовыми домиками, явно нерусский — вероятно, один из тех венгерских городков с труднопроизносимыми названиями, которых Слепцов немало навидался, перед тем как вражеская разрывная пуля раздробила ему руку.

В этот миг ресницы Нечаева вздрагивают и с трудом отлепляются от лица, Нечаев открывает свои большие глаза и взглядывает на Слепцова взглядом неторопливым, всевидящим и как бы очень успокоенным и довольным.

Слепцов, похолодев, проснулся. Детский плач наяву оказался еще громче, чем во сне. Но Слепцов еще некоторое время находился в обаянии сна, и, когда наконец очнулся окончательно и понял, где находится, его сердце жарко сжалось от никогда с такой силой не испытанного чувства счастья.

Юры уже не было. Не было на столе и его тетрадей. Сибирская снедь, аккуратно сложенная на газете и укрытая другой газетой, была придвинута к тому углу стола, который был ближе других к Слепцову. Плач младенца доносился из соседней комнаты, а вскоре появился и сам виновник этого шума.

То была маленькая девочка, лежавшая на больших красных руках молодой грудастой женщины с растрепанными соломенными волосами. Женщина держала девочку перед собой на ладонях полувытянутых рук — одна ладонь под головкой, другая под попкой — и слегка покачивала, голенькую, полненькую, кричащую и с остервенением совавшую себе в рот маленькие кулачки с похожими на лепестки крохотными пальцами.

Продолжая покачивать младенца на полувытянутых руках, женщина певуче спросила:

— Издалека, что ли?

— Издалека,— ответил Слепцов и спросил, в свою очередь: — Чего она у вас надрывается?

— Не пойму. Уж и так и этак...

— Может, есть хочет?

— Не-е... Недавно ела. Срыгнула даже. Може, животик болит, кто ее знает. Бессловесная ведь.

Слепцов подошел к младенцу. Девочка, уловив своими блуждающими глазами незнакомое лицо, широко улыбнулась беззубым ртом, обнажив десны чистейшего розового цвета. Трудно было даже поверить, что за мгновение до того она плакала так надрывно, словно ее маленькое сердце до края переполнилось всеми горестями и несправедливостями нашей окаянной планеты. Слегка возгордясь своим успехом и преисполнясь по этой причине особой нежности к девочке, Слепцов почмокал губами, пощелкал языком, повращал глазами — одним словом, энергично пустил в ход все небогатые двигательные возможности человеческого лица; он был готов пожалеть, что у него нет длинных ушей, чтобы ими плохлопать. Младенец продолжал улыбаться с бессознательно-покровительственной миной, словно знал, что все эти ухищрения делаются ради него; и казалось — он улыбается уже через силу, только с целью поощрения столь больших стараний.

— Пойдешь ко мне? — спросил Слепцов.— А? Пойдешь? Иди ко мне. Не заплачешь?

Он осторожно просунул под младенца свою единственную руку и ловко уложил его на руке, головкой к своему плечу. Девочка лежала на руке, как в колыбели, и внимательно смотрела на лицо Слепцова, которое теперь видела в ином ракурсе, что, может быть, показалось ей особенно забавным. Нянька между тем, обрадованная неожиданным умиротворением девочки, засуетилась, выбежала, принесла пеленки и одеяльце, закутала

девочку, снова уложила ее на слепцовскую руку и сказала удивленно и фамильярно:

— Тебя бы няней. Ишь как смеется!

— У меня на детей приворотное слово есть,— деловито объяснил Слепцов.

Нянька широко раскрыла глаза и села на стул.

— Ну? Врешь.

— Вот тебе и ну. Погляди мне в глаза. Огоньки видишь?

Нянька с некоторым почтением посмотрела Слепцову в зрачки, увидела в них светлые отсветы окон и неуверенно сказала:

— Вижу будто.

— В них-то все и дело. А теперь я скажу слово, а ты повтори, и если запомнишь, то у тебя дите всегда будет спокойное и довольное. Слушай. Секешфехервар.

Он повторил еще дважды, делая при этом таинственное лицо:

— Секешфехервар. Секешфехервар.

И сам улыбнулся: это название венгерского города было испытанием для всего Третьего Украинского фронта.

Она уже поняла, что он шутит, однако шутки его, притворно серьезная мина и ласковые морщинки сбоку глаз понравились ей, развеселили ее. Она впервые посмотрела на него не как на странного посетителя, неизвестно по какому делу приехавшего, а как на приятного и видного собой мужчину. И она перешла с «ты» на «вы», стала жеманно выговаривать слова, неестественно похохатывать, глядеть на него уже не прямо, а искоса, с тем примитивным, но, в сущности, милым кокетством, какое было в ходу в ее деревне, и все хотела, но не решалась спросить, есть ли у него семья.

Вдруг она всплеснула руками:

— Ой, горе мое! Очередь не пропустила ли в булочной?! Вам все се́ше, хе́ше, а тут хлеба может не хватить. Я мигом. Не скучайте.

Она искоса бросила на него последний зазывный взгляд и убежала. Хлопнула дверь, другая, и стало очень тихо, даже тише, чем в деревне. В деревне лает собака, квохчет курица, мычит корова, а здесь было беззвучно-тихо, как может быть тихо в пустынной городской квартире на малопроезжем переулке днем, о ту пору, когда дети в школах, а старшие — на службе.

Слепцов, оставшись в одиночестве с девочкой на руках, или, вернее сказать, на руке, устроился удобнее в кресле. Ему хотелось курить, но он не стал тревожить задремавшего младенца и только приговаривал:

— Сейчас твоя мамка вернется, хлебца принесет из очереди свеженького, молочка тебе даст, тогда мы закурим, выйдем, значит, в коридор, культурно, чтобы на тебя дымом не пы́хать.

Он запел вполголоса диковатую колыбельную, созданную каким-то человеконенавистником для запугивания маленьких детей:

Анадысь на дворе
Чтой-то грохотало,
А как вышел я на двор —
Оно перестало...
У-у-у, у-у-у...

Девочка задремала, затем проснулась, заплакала было, но, опять увидев в поле своего зрения то же лицо, пристально и упорно стала в него вглядываться, и при этом ее взгляд выражал такой, казалось, ясный и глубокий ум, такую, казалось, сосредоточенную мысль, что Слепцову, растроганному и пораженному, на мгновение представилось, что она все знает о нем и видит его насквозь. И лишь когда она снова беззубо и розово улыбнулась, он как бы опомнился от своей минутной иллюзии и сказал умиленно:

— Девочка. Девочка. Маленькая девочка.

И он подумал, что маленькие девочки приятнее и нежнее мальчиков,— у него-то самого было двое мальчишек, и он относился к ним с нарочитой грубоватостью, чтобы «не мягчели зря». А с девочкой он был бы гораздо ласковее. Он не мог бы быть с ней грубым, думал он теперь.

«Мамка» все не приходила. Девочка лежала спокойно, с открытыми глазами.

— Какая ты будешь? — спросил Слепцов.— Скажи, пожалуйста.— Он вскинул вверх глаза, посмотрел на портреты знаменитых женщин и, сделав движение подбородком к строгому лицу Марии Кюри, спросил: — Вот такая, как эта? — Он сделал такое же движение подбородком по направлению ко второму портрету и опять спросил: — Или же вот как та?.. Скажи. Чего же ты не говоришь? Не тушуйся, девочка. Маленькая девочка.

Но вот брякнул замок, звякнула цепочка, стукнула дверь, застучали каблучки.

— Вот и мамка твоя,— сказал Слепцов и посмотрел на дверь, заранее ухмыляясь.

Но когда дверь открылась, вошла совсем не «мамка», а она, Ольга Петровна Нечаева,— рослая, светловолосая, несколько полная, стремительная, будто летящая. Слепцов сразу узнал ее по десятку фотографий, бывших всегда при комбате, а теперь лежавших у Слепцова в нагрудном кармане. Не имея возможности встать — рука была занята, кресло было низкое и глубокое,— Слепцов только смотрел на нее и ничего не мог сказать дрожащими губами.

4

Ольга Петровна остолбенела при виде девочки на руках у чужого человека, но именно то, что незнакомец держал малютку на руках (девочка пускала пузыри и хватала его за подбородок), немного успокоило Ольгу Петровну: вор вряд ли стал бы нянчить младенца в чужой квартире. Ольга Петровна решила, что незнакомец — односельчанин или приятель Паши. Однако он был человеком с улицы и поэтому никак не годился в няньки по санитарно-гигиеническим соображениям. Поэтому она подбежала к нему, довольно резким движением отняла у него ребенка и недовольно спросила:

— Где Паша?

Слепцов встал с кресла. Он стоял очень сконфуженный, как будто в чем-то виноватый.

— Мамка ее? — переспросил он.— Она в очереди. Хлеб получает... Здравствуйте, Ольга Петровна. Я Андрей Слепцов. Вы, может, знаете... Может, слышали... верней, читали мою фамилию...

— Как читала? Где читала? — недоуменно спросила Ольга Петровна, тем временем быстро закутав ребенка и положив его на подушку, которую ради этого взяла с изголовья Юриной постели и кинула на кровать плашмя.

— Я по поручению моего командира, Виталия Николаевича Нечаева... прибыл из Сибири. Как обещал ему. Хотя поздненько, но прибыл. Раньше никак не мог, уж извините, долго после ранения лечился...

Ольга Петровна замерла над ребенком, потом выпрямилась,

обернулась и медленно пошла к Слепцову. Он тоже сделал шаг ей навстречу. В глазах у нее был испуг — вероятно, оттого, что солдат говорил о ее муже, как о живом, как о где-то существующем. Потом она вдруг непривычно для себя засуетилась, заволновалась.

— Садитесь, садитесь,— сказала она.— Да, да... Превосходно... Я сейчас... Минуточку.

Она вышла будто бы по хозяйству, а на самом деле для того, чтобы постоять в одиночестве, отдышаться, прийти в себя. В то же время она, несмотря на свое внезапное волнение, продолжала механически делать свои обыденные дела и находила в этом некое успокоение. Она сняла через голову и повесила в шкаф на плечики свое платье и вместо него надела, сняв с соседних плечиков, пестрый халат с короткими рукавами. Затем она пошла в кухню, зажгла керосинку и поставила на нее эмалированный чайник. Сменила заварку в фаянсовом чайнике. Сложила в миску грязные стаканы для мытья.

Понемногу она успокоилась. Когда в коридоре позвонил телефон, она пошла к нему уже своей обычной, быстрой, будто летящей походкой, несколько преувеличенно самоуверенной, и в трубку говорила уже с полным самообладанием, с обыкновенными своими чуть насмешливыми в конце фразы интонациями, придающими ее разговору своеобразную прелесть.

— Да, да. Кормлю ребенка,— сказала она.— Нельзя ли наш разговор отложить на завтра? У меня тут гости. Значит, сегодня меня в институте не ждите, хорошо? До завтра.

Положив трубку, она постояла с минуту неподвижно и с досадой отметила, что ей трудно вернуться обратно в столовую, к однорукому солдату. Она упрямо мотнула подбородком и пошла в столовую.

— Садитесь,— сказала она с оттенком приказания в голосе, застав Слепцова на прежнем месте посреди комнаты. Ее взгляд упал на мясо и рыбу, по-прежнему лежавшие на краешке стола, и она, улыбнувшись без нужды, а только так, для того чтобы имитировать непринужденный разговор, добавила: — Вижу, вы тут уже успели позавтракать.

— Да, мы тут вместе с Юрой,— пробормотал Слепцов сконфуженно, и в его глазах пробежало выражение жалости, почему-то кольнувшее Ольгу Петровну, как упрек.

Она сказала деловито:

— Значит, вы говорите, что Виталий Николаевич...

Лицо Слепцова сразу стало просветленным и торжественным.

— Да,— сказал он.— Он скончался на моих руках и просил... поручил мне... я ему дал слово. И вот я прибыл.

Ольга Петровна быстро закивала головой. Она с ужасом чувствовала, как ею опять овладевает непривычная для нее суетливость и разорванность сознания. Она с беспокойством покосилась на девочку. Та лежала молча, глядя в потолок с сосредоточенным, задумчивым видом. От девочки Ольга Петровна быстро перевела взгляд на солдата — солдат был точно так же сосредоточен и задумчив. Ольга Петровна села на тот стул, на котором утром сидел Юра,— между девочкой и солдатом,— положила на стол крест-накрест свои белые полные руки с золотистыми волосиками и сказала:

— Я вас слушаю.

Слепцов медленно заговорил:

— Товарищ Нечаев умер на моих руках, в полном сознании. Мы не успели его довезти до санитарной части. Мы пробовали, но дорога была плохая, в ухабах, и ему очень было больно от тряски на повозке, так что пришлось нести его на носилках. А ранения у него были тяжелые. Весь батальон был в большом горе, его у нас все любили, и солдаты и офицерá. Командир дивизии тоже: чуть что, как важное задание — сразу капитан Нечаев... К слову сказать, после его смерти уже — а умер он, вы, наверно, знаете, второго мая тысяча девятьсот сорок четвертого года, в праздник,— денька через два пришел приказ о присвоении ему звания майора. Так что если у вас в бумагах не указано про это, то надо сказать в военкомате — может, пенсия будет поболе... Любили его за честность, за душевность... Да вы-то знаете, не чужой ему человек... И в бою он был спокойный. Может, был бы жив, если бы не честность его да храбрость: его не раз хотели у нас забрать — то в армию, в отдел кадров, то в оперативный отдел в корпус — человек образованный и к тому ж боевой командир. Но он не хотел, отказывался. Еще за неделю до последнего боя командир дивизии при мне его звал в свой штаб. «Ты интеллигент,— говорит он ему,— ты совестливый, всегда хочешь примером солдату быть, лезешь вперед, как безумный... Убьют тебя. Переходи ко мне». А товарищ Нечаев засмеялся и говорит: «Интеллигентов так редко хвалят! За это одно я здесь останусь». А командир дивизии ворчит: «Разве я тебя хвалю? Я тебя ругаю, а ты дума-

ешь — хвалю...» Оба они были интересные, как сойдутся — такое наговорят.

В дверях показалось круглое лицо Паши. Увидев хозяйку, она оробела — как бы та не накинулась на нее за то, что бросила ребенка на чужого дядю и развела уже после получения хлеба тары-бары с соседскими няньками. Но хозяйка ничего не сказала, даже не обернулась к ней. Более того, не желая, чтобы Паша с ней заговорила, она еще ближе подвинулась к солдату и несколько раз настойчиво повторила:

— Продолжайте, продолжайте.

Паша бесшумно прошмыгнула мимо нее к кровати, взяла девочку и унесла ее из комнаты, облегченно вздохнув на пороге.

— Продолжайте,— повторила Ольга Петровна, но, когда Слепцов снова заговорил, она вдруг встала с места и сказала:— Подождите. Я отлучусь на несколько минут по хозяйству.

5

Пока Ольга Петровна была в отсутствии, перед глазами Слепцова проходили, словно наяву, картины военной жизни. Он почти забыл, где находится. Вокруг него клубился туман фронтовых дорог, шли с потушенными фарами вереницы грузовиков, вились среди сырых опадков хвои неглубокие траншеи, саперные лопатки ударяли по дерну, рассекая тонкие корни трав, дождь стучал по капюшонам плащ-палаток; дождь и вёдро, зной и стужа, ночевки в лесу на елочном лапнике и в позолоченных залах княжеских дворцов — все это сменяло одно другое. Когда Ольга Петровна вошла и уселась на прежнем месте, Слепцов заговорил свободно и плавно, забыв про свое смущение, словно перед привычными слушателями — такими же, как он, инвалидами,— в колхозной чайной.

Между прочим, Ольга Петровна была уже не в халате, а в черном закрытом платье, но солдат не заметил этого переодевания, а если и заметил, то не уловил его нарочитости.

— Повстречались мы с Виталием Николаевичем в первый раз,— начал Слепцов свой рассказ,— еще в сорок первом году, летом. Прибыл я тогда из тыла с пополнением в действующую армию. Бросили нас под Москву в контрнаступление — только не в то большое, зимнее, а раньше, когда немец был еще в силе, а мы только изредка́ огрызались, как могли. И вот тогда со-

брали много сил на одном участке и бросили против немца... Идем мы, значит, из штаба дивизии в полк. Перед этим дожди прошли большие, дорога вся размытая, ноги не идут, а на душе тревога: почти все молодые, необстрелянные, на западе зарево и стрельба такая, что душа уходит в пятки, на дороге — побитые кони, много побитых коней, и ямы от бомб. Однако идем мы, а рядом с нами топает по грязи офицер, старший лейтенант — не наш, а попутчик,— курит все время, шинелишка худая, сапоги кирзовые.

Из чего эта кирза делается — это никому не известно; вещь хотя и неказистая, а прочная, держится долго, зато уж если поползет на нитки, то расползается быстро. А у этого старшего лейтенанта голенища крепко поползли... Лицо у него худое, темное, и в очках он.

И вот мы идем и замечаем — не ест он ничего, а потом и курить перестал. Мы привал делаем — и он садится отдыхать. Мы, значит, едим, а он — того, не ест. И стало нам его жалко, особенно когда заметили мы, что он не курит, а курильщик, видно, отчаянный.

И вот старший из нас, Черепанов, пожилой человек, доброволец, бывший уральский партизан, подходит к старшему лейтенанту и так вежливо приглашает: пойдемте, дескать, покушайте с нами. Старший лейтенант к нам подсел, поел, махорки мы ему дали, и дальше пошел он с нами как наш человек. А в полку он исчез. Когда же мы пришли в батальон, видим — он уже там, и он и есть наш командир батальона. Прислали же его из другого полка, где он командовал ротой и так хорошо воевал, что получил повышение на комбата, а на другой день ему орден Красного Знамени вручили.

Обрадовался он мне и Черепанову, как родным: главное, говорит, за махорку спасибо. «Это был поступок!» — говорил он нам (он так иногда говорил, и мы все тоже приучилися так говорить, и это стало как высшая похвала в нашем батальоне).

Товарищ Нечаев взял меня к себе телефонистом, а Черепанова — связным. Жизнь пошла такая — ни сна, ни отдыха, дни и ночи перемешались. Продвинулись мы на шесть километров, освободили четыре деревеньки. А через три дня командира полка не то ранило, не то убило, и товарища Нечаева — даром что всего лишь старший лейтенант — назначают командиром полка. Я дежурил у телефона и получил этот приказ и передал комбату, и он хотел уточнить, как и что, но тут порвалась

связь. И товарищ Нечаев сдал батальон одному лейтенанту, а меня и Черепанова взял с собой, и вот приходим мы в полк.

Приходим мы в полк и спускаемся в землянку. А в землянке лежит майор — командир полка, раненый, и бредит он на полный голос, отдает в бреду команду и разные приказания, и весь горит, а врачей и санитаров нет, никак их не дозовешься. Я охрип тогда, вызывая кого-нибудь из врачей по телефону. Товарищ Нечаев перевязал командира полка, как мог, и все сидит возле него, мокрый платок ему кладет на лоб, пробует узнать про полк, да про его силы, да про его задачу, а тот ничего не видит и не слышит, а штаб полка вместе со своим начальником и со всеми картами и документами отрезан противником и сидит обороняется где-то в деревне, за три километра.

И вот налаживаем мы связь с двумя батальонами, и только третий батальон никак не отзывается, и велит мне товарищ Нечаев восстановить с ним связь. Вылезаю я из землянки на свет божий и вижу: кругом все разбито и раскромсано, и даже деревья и те разбитые. Беру я провод в руки и бегу, пригнувшись, по проводу к роще и вдруг вижу — в роще останавливаются машины, и оттуда выходят генералы и офицера́. И один из них подходит ко мне и спрашивает, где здесь НП полка, и велит мне проводить его туда. Откозырял я, как сумел, и веду его обратно, к нашей землянке. И думаю, что веду генерала, а потом смекаю, что звезда-то у него на петлицах больно велика. И весь шалею: никак, Маршал Советского Союза! Первый и последний раз видел я тогда маршала за всю войну.

Вбегаю я в землянку, а маршал и с ним один генерал и командир дивизии — полковник идут за мной. А наш старший лейтенант, товарищ Нечаев, кричит в это время в телефон и смотрит в щель на наши боевые порядки. А обернувшись, он замечает маршала и командира дивизии, которого знал раньше, и рапортует, причем не очень громко, по-граждански больше, чем по-военному. Я даже подумал, что он не понял, кто перед ним. А маршалу это, должно быть, не понравилось, и посмотрел он на товарища Нечаева так пронзительно, что все испугались. Был он очень крут, и его боялись все командиры. И вот он спрашивает: «Почему не выполнили задачу дня? Сколько сил у противника на фронте вашего полка?» — «Не знаю»,— отвечает товарищ Нечаев и хочет объяснить, в чем дело, и показывает на раненого командира полка, который тяжко стонет в углу на соломе, но маршал не слушает, вдруг краснеет, начи-

нает кричать и угрожать расстрелом и снова спрашивает: «Почему высотка, про которую докладывали, что она взята, у немцев? Очки втираешь, сукин сын?»

И тогда наш командир полка старший лейтенант Нечаев вдруг говорит: «Вы на меня не кричите».

И так он это спокойно сказал! У меня сердце зашлось. А маршал — тот задрожал от этих слов, и все думали, что сейчас он старшего лейтенанта застрелит, и впрямь его руки стали по воздуху шарить, как будто ищут чего-то. Но старший лейтенант так спокойно смотрел ему в глаза и сам был такой ясный, спокойный, что маршал, видно, хоть и сердился, но все-таки зауважал человека за то, что тот его не испугался. А командир дивизии, полковник, человек большой храбрости в бою, но перед начальством известный трус, молчал, хотя обязан был разъяснить, в чем дело.

Тогда-то наш Черепанов, тот самый старик доброволец, уральский партизан, вдруг в тишине негромко говорит: «Да он же командиром полка всего полчаса...»

Маршал повернулся, но, увидев, что это солдат, да еще старик, ничего не сказал, только наклонил свою большую голову и опять к товарищу Нечаеву: «Слушай, командир полка. Видишь эту высотку шестьдесят один, пять? Завтра утром возьмешь ее. Возьмешь — получишь Героя Советского Союза. Не возьмешь — будешь расстрелян».

И наш командир на это ответил: «Хорошо». И улыбнулся. Ей-богу!

Маршал повернулся кругом и вышел, генерал и командир дивизии ушли за ним.

А мы остались. Я посмотрел тогда на нашего старшего лейтенанта и вижу: он все улыбается. Меня даже в пот бросило.

6

Гораздо позже, ночью, когда мы пробирались к третьему батальону — а мы всю эту ночь проходили от батальона к батальону, от батареи к батарее,— где-то в открытом поле мы прижались к земле, чтобы покурить, и я спросил у Виталия Николаевича: «Почему вы улыбнулись тогда?» Он подумал и ответил: «Мне его жалко стало».— «Кого жалко?» — «Маршала жалко».— «Маршала?» — «Да, ему плохо, ему хуже, чем

нам. Он отвечает за все, за весь фронт. Видели, какие у него глаза красные? Какой у него рот горький?» Так он и сказал: «горький рот» — я хорошо это помню, вся эта ночь и весь день, все это как будто вчера было; я даже не слышал никогда, чтобы говорили так: «горький рот», эти слова мне понравились, такие они были необыкновенные... Ну, я признался Виталию Николаевичу, что на глаза и рот маршальский не смотрел и даже, по правде говоря, не подумал, что у маршала есть рот и глаза, а смотрел на его звезды на петлицах (погон тогда не носили), на его мундир. А Виталий Николаевич — он умел не на поверхность смотреть, а в душу... Что же я вам это говорю? Вы-то его знаете, не мне вам рассказывать...

Уехал, значит, Маршал Советского Союза, остались мы в землянке — товарищ Нечаев, Черепанов, да один лейтенант из первого батальона (пришел узнавать, что да как), да полковой инженер. А майор, командир полка, вижу я, притих. Умер. И товарищ Нечаев снял с него планшет с картой и глядит на карту, потом бежит куда-то с Черепановым, возвращается с танкистом в черном шлеме — невдалеке, оказалось, танкетка стоит — и велит лейтенанту привести взвод солдат. И тот приводит, и вместе с танкеткой они отправляются на выручку штаба. И мне он велит исправить связь, и я бегу и исправляю, и когда возвращаюсь — его еще нету, а невдалеке слышатся разрывы гранат и выстрелы. Потом он возвращается вместе со всем штабом. И штаб приходит ни жив ни мертв, с сундуками, бумагами и полковым знаменем в чехле. И распоряжается товарищ Нечаев без криков, но все его слушаются. Знают все, что завтра этот старший лейтенант в рваных сапогах будет Героем Советского Союза или же будет расстрелян. И ему все быстро подчиняются и смотрят на него с особым уважением. И вроде бы жалеют его и как бы виноватые перед ним стоят.

А потом он велит мне принести воды умыться. Достаю я воды, приношу. Умывается он холодной водой. Предлагаем мы ему поесть — не ест. Поужинали все, а он нет; он офицеров штаба рассылает в роты и батальоны, а сам тоже идет и берет меня с собой. И ночь мы не спим, лазаем по окопам; и он спешит, перебрасывает взвода, и орудия, и минометы с места на место; и солдат расспрашивает про немцев и про их огневые точки, а особо он беседует с артиллеристами, заботится насчет снарядов и насчет пристрелки. И я его спрашиваю: «Вы, наверно, крепко военное дело изучали?» А он засмеялся: «Нет,

говорит, я инженер, а по званию старший техник-лейтенант, случайно ротой стал в бою командовать — в тот момент никого поумней меня рядом не нашлось... Видишь, говорит, какую карьеру сделал: неделю назад — техник-лейтенант, сегодня — командир полка... А завтра...» Тут он замолчал и молчал долго. Я тоже, конечно, молчал.

В третий батальон было невозможно пробраться. Речка, низина, немцы всю ночь стреляют по ней из пулеметов. Полежали мы, покурили, потом поползли. А уже начинает светать, время идет. Что делать? Товарищ Нечаев полез в речку, и мы по грудь в воде час пробирались середь камышей, медленно, чтобы немцы не услышали плеск. И обратно тоже так.

Возвратились мы, было уже светло. Думал я, поспим часа два, потом наступать. Я-то действительно поспал немного, а командир не спал, все распоряжался да с начальником штаба приказы писал. Как проснулся я, вижу: встает он с места, перекладывает из вещмешка в карман гимнастерки запасные очки и говорит начальнику штаба: «Сиди здесь, командуй, разговаривай с начальством по телефону, докладывай ему обстановку, а я пойду. Сам поведу полк высотку брать».

Взял он меня и Черепанова, и мы пошли. И когда мы поднялись на возвышенное место и увидели перед собой большак и железнодорожную насыпь с разрушенным полустанком, а за железной дорогой ту самую высотку, шестьдесят один запятая пять,— холмик с редкими березками,— и увидели наших людей, медленно шедших к большаку небольшими кучками, и артиллеристов, тащивших «сорокапятки» на прямую наводку,— в этот момент Виталий Николаевич приостановился и сказал:

— Хорошо бы — убили. Жена и сын не будут опозорены.

И понял я, что он опасается, что не сможет полк взять ту высотку.

Сил действительно было у нас мало. Главный удар наносил второй батальон. Товарищ Нечаев на эту ночь усиливал его за счет других двух батальонов. Этот батальон стал как бы штурмовой группой, а остальные два, малолюдные, только поддерживали его огнем.

Постоял товарищ Нечаев и пошел, а мы — за ним.

Может быть, немцы что-нибудь пронюхали — у нас-то всю ночь было неспокойно, роты передвигались для создания удар-

ного кулака,— стрельба была сильная, но товарищ Нечаев шел вперед во весь рост. А я человек необстрелянный — когда рядом рвалась мина, я, конечно, падал на землю и впивался в нее, как клещ. Был я неопытный, притом о жене и детях думал, да и маршал мне расстрелом не грозился. А старик Черепанов — тот тоже не ложился, не кланялся снарядам. И оба ждали, пока я встану, но не упрекали меня, молчали.

Когда же мы пришли во второй батальон и дело уже подходило к девяти часам, началу атаки, и мы с товарищем Нечаевым и командиром батальона — тоже старшим лейтенантом — вышли на большак, где в обоих кюветах накапливался батальон для атаки, товарищ Нечаев вдруг оборачивается, манит меня пальцем и говорит: «Тут вот оставайся, тут и будешь. Будешь следить за связью со штабом полка и с соседом справа».

И жмет он мне руку крепко. И понимаю я, что он меня жалеет и не хочет брать с собой в атаку и потому придумал мне такое поручение, хотя вначале толковал, что я потащу за ним связь. Но не в силах я был ему возразить и по слабости человеческой обрадовался, так как боялся смерти и думал про свою семью. А для успокоения души думал: «Командиру виднее». Черепанову он тоже велел остаться, а когда Черепанов стал ему перечить, он сделал вид, что рассердился, и сказал: «Выполняйте приказание». Однако Черепанов, как я потом узнал, все-таки ушел с ним.

Высотку мы взяли. Я-то этого не заметил, так как тащил свои телефоны в земле, как крот, а все кругом гудело, и убитых было много. Уже на той самой высотке узнал я, что мы ее взяли и что товарищ Нечаев был ранен в плечо и руку. Мне рассказывали, что все поздравляли его со званием Героя, а он смеялся, отмахивался. И верно, поздравления были прежде времени. Все наше наступление продолжалось еще три дня, а потом выдохлось — немец был в полной силе, а мы еще только учились, как его бить. И высотка эта, которая казалась маршалу самым главным делом, была уже никому не нужная, а впереди было еще столько высоток, что ежели за каждую расстреливать командиров полка или давать им Героя Советского Союза, то не хватит офицеров в армии и золота на звезды в целом государстве...

Черепанова, между прочим, тоже ранило вместе с вашим мужем. Но я их не видел, увезли их в тыл.

7

Во время рассказа солдата Ольга Петровна, слушая вначале рассеянно, а потом все с большим вниманием и напряжением, вспоминала покойного мужа, но вспоминала не так, как обычно в течение двух с лишним лет, прошедших со времени его гибели, а совершенно по-новому. Солдат казался ей как бы посланцем из другого мира — того мира, где Виталий Николаевич Нечаев жил отдельно от нее, где он умер и продолжает жить после смерти в воспоминаниях этого солдата. У нее ни на минуту не проходило ощущение, что однорукий солдат прибыл от живого Виталия Нечаева непосредственно — оттуда, где Виталий находится теперь,— настолько живы были его впечатления и настолько, в сущности, потрясающ его приход.

Ольга Петровна была далека от всякой мистики. Ощущение, что эти голубые глаза видели Виталия не два года назад, а только что, появилось оттого, решила она, что все, что рассказывал Слепцов, было для нее совершенно и абсолютно ново. Оно как бы относилось к Виталию Нечаеву и в то же время как бы не имело к нему никакого отношения, настолько он показался ей в рассказе и похожим и не похожим на себя.

С одной стороны, в словах солдата покойный муж ее вставал совсем как живой. Улыбка его, добрая и застенчивая до чрезвычайности, самозабвенность в любом труде, даже самом мелком, неумение заботиться о себе и условиях своей жизни, непрактичность, раздражавшая ее в нем нередко,— все это было на него похоже. Когда солдат произнес его слова: «Мне стало его жалко»,— Ольга Петровна даже вздрогнула, до того это ей напомнило его всего, до мельчайшей гримасы лица, его свойство, тоже иногда вызывавшее ее раздражение, «усложнять простые вещи», как она это называла когда-то, то есть всюду стараться находить побудительные причины и, поняв их, прощать.

Да, она узнавала его через слова солдата, словно солдат незримо рисовал его перед ней теплыми и ясными мазками, хотя солдат вовсе не пытался передать ситуации, о которых рассказывал, какими-либо средствами искусства или подражания.

Но, узнавая мужа в частностях, она не узнавала его в целом. Нечаев, встававший из слов солдата, был не тем человеком, которого, казалось, так хорошо знала Ольга Петровна,— рассеянным, робким, несколько инертным, увлеченным только своими расчетами и чертежами, только умственным, и то до некоторой

степени механическим трудом расчетчика, чернорабочего от инженерии. Слепцовский Нечаев вошел одетый в воду, а тот, ее Нечаев, простуживался от любого сквозняка и был мнителен, приписывая себе всевозможные болезни. Этот Нечаев был любимцем множества людей — тот был нелюдим, он был только уважаем, да и то слегка насмешливо. Этот Нечаев не боялся никого — даже маршала, который мог его расстрелять; тот опасался институтского начальства, которое могло его ущемить. В том Нечаеве, которого она знала раньше, не было как будто ни удали, ни хладнокровия, ни такого уж большого обаяния — всего того, что было в преизбытке у слепцовского Нечаева.

Этот, кроме прочего, оказывается, курил! Виталий не выносил табачного дыма. У этого был орден Красного Знамени, он командовал батальоном, полком! Несколько раз во время рассказа Ольга Петровна с полной искренностью думала: «Да полно, не случилась ли грубая и обидная ошибка? Может быть, солдат рассказывает совсем о другом человеке — однофамильце и тезке Виталия Нечаева. Он не туда попал, ему дали неверный адрес...»

Виталий Николаевич не писал ей о своих ранениях, о полученных наградах, званиях, должностях. Вероятно, он думал, что это не может интересовать ее. Но по мере того как она, деля свое возбужденное и утончившееся внимание между рассказом Слепцова и своими смятенными мыслями, вспоминала письма мужа и отдельные фразы из них, она не могла скрыть от себя, что, в общем, он сообщал ей о всех своих делах, передрягах, переводах из части в часть, с фронта на фронт. Перед ней всплыла фраза: «Вот у меня и вторая царапина — все идет отлично». Он сообщал ей об этом в игривом тоне — конечно, потому, что не хотел ее волновать.

Она стала упорно вспоминать,— не упуская при этом ни единого слова из рассказа Слепцова,— что́ она ответила Виталию на сообщение о «царапинах». И покрылась холодным потом: ответила она что-то удручающе незначительное, мелкое, даже не сказала, что понимает, как ему трудно. Между тем он выносил тяжести невыносимые, муки смертные.

Когда солдат рассказывал о том, как Виталий Николаевич шел по грязи в плохой шинели, без еды и в порванных сапогах, она испытывала знакомое ей чувство покровительственной жалости и даже некоторого удовлетворения тем обстоятельством, что муж без нее беспомощен и не приспособлен к жизни,—

тезис, который она не уставала повторять когда-то. Но по мере хода рассказа она поняла, какая все это чепуха. Он вряд ли замечал свой унылый и несчастный вид, он был нетребователен, он и от нее так мало требовал. Он был скромен и горд. Впрочем, был ли он скромен? Был ли он горд? Она не знала. Она плохо знала его. Или, может быть, этот солдат его плохо знал? Кто знал подлинного Виталия Нечаева? Она, которая провела с ним десять лет — три тысячи шестьсот пятьдесят дней, или он, знавший его три дня?

Конечно, она имела свои оправдания. Эти годы она жила в маленьком сибирском городке, казалось, целиком сотканном из неуюта и холода, тем более что старожилы, местные чалдоны, жили в своих бревенчатых черных домах уютно, тепло и замкнуто.

С великим трудом приживалась она в тех краях; жизнь там текла трудно и однообразно, и ей казалось, что хуже не бывает. Мечта о возвращении в Москву превратилась у нее почти в манию. Каждый день войны казался ей проклятьем, потому что откладывал это возвращение. Правда, ее жизнеспособность не изменила ей и там. Она вскоре сравнительно сносно устроилась, пробилась сквозь строй препятствий, сквозь вязкую массу неподвижного быта тех мест. Энергия пополам с полусознательным кокетством, тоже являющимся проявлением энергии и жизнеспособности в красивой женщине, помогла ей встать на ноги, получить собственный угол, хорошую работу, полезные знакомства.

Потом она узнала, где находятся сослуживцы мужа, списалась с ними. Они вызвали ее в другой, большой сибирский город и устроили в институт, где работал Нечаев до войны (этот институт эвакуировался туда из Москвы в октябре сорок первого года). В ее переезде и устройстве особенную роль сыграл Ростислав Иванович Винокуров, приятель Нечаева, видный инженер и изобретатель. Она часто стала бывать у Винокуровых и замечала не без чувства самодовольства, что Винокурову приятно общение с ней, что ему, человеку широкообразованному, выдающемуся в кругу их знакомых и сослуживцев, с ней интересно, хотя когда-то, при первоначальном их знакомстве в Москве, он не обращал на нее никакого внимания: она была для него тогда женой Нечаева, и не более.

На новом месте ей было легче, но все-таки и тут шла суровая, полуголодная жизнь.

Значит ли это, что она там, в Сибири, не думала о муже? Нет, она все время думала о нем, сознавала, что он есть, его отсутствие было одной из сторон большого несчастья, именуемого войной. Однако она была убеждена, что никому не придет в голову послать его сражаться на поле боя, что он будет проектировать мосты или укрепленные районы. Это было настолько целесообразно, что Ольга Петровна, твердо верившая в силу целесообразности, иначе не могла предполагать. Следовательно, Виталий Николаевич был на войне, и это давало ей право на чистую совесть и на приятное презрение к женам тех мужчин, которые на войне не были, например к жене Винокурова. В то же время Виталий Николаевич как бы на войне не был, так как годился только для инженерного дела, и это давало ей иллюзию спокойствия за его судьбу. К тому же и его письма, успокоительные и даже веселые, разгоняли ее страхи.

«Зачем он меня щадил? — думала она теперь, словно пробужденная ото сна рассказом солдата.— Он не смел вводить меня в заблуждение...» Но, думая это, она в то же время чувствовала, что чуточку лицемерит, что ее спокойствие было самообманом и что время от времени она и тогда сознавала это.

8

— Не думал я, не гадал,— продолжал свой рассказ Слепцов после непродолжительного молчания,— что еще раз придется встретить Виталия Николаевича. Сами знаете,— такой фронт, в две тысячи километров! Сколько частей, дивизий, армий, все вокзалы кишат военными, все деревни полны военных, и в городах, поди ж ты, самых тыловых — и то, как говорится, военных больше, чем людей.

Почти три года прошло. Все было другое, и я был другой. Казалось мне, что война идет уже лет десять и еще будет идти, может, лет сто. «Хорошего человека война делает лучше, плохого — хуже»,— любил говорить Виталий Николаевич. Я про эти его слова часто думал. Наверно, они правильные. Однако всяко бывает. И хороший человек на войне привыкает к мысли, что все трын-трава, один конец и потому все можно, все разрешается. И привыкает он к мысли, что государство должно за него думать и что у государства можно все брать без стеснения, раз оно твою жизнь берет, не стесняясь. На войне взять чужое

не считается воровством, отнять не считается грабежом, потому, ежели ты не возьмешь, какая-нибудь шальная бомба разрушит, всякое добро, которое делалось большими мастерами и наживалось годами, уничтожит за минуту. Вот человек и приучается ничего не ценить. Даже хороший человек. А плохой, тот и вовсе сатанеет.

Нет, война человека портит, потому после нее у нас стало больше воровства всякого, нечестности всякой.

Это к слову сказать. А вообще-то, конечно, дело темное. Значит, на чем это я... Был я уже обстрелянный солдат, в сержанты меня произвели и назначили командиром отделения в отдельной роте связи, при штабе дивизии. Потом был ранен, попал в госпиталь, оттуда — в запасный полк. Тут я обучал молодежь, стал вроде педагогом: имел, оказывается, способность объяснять новичкам премудрость воинской телефонной связи.

Но вскоре случилась неприятность. Потеряли мы стыд, решили, что мы незаменимые. И стали ребята выпивать лишнего. И однажды доигрались мои ребята, что их пьяных задержал на улице командир бригады, полковник. А про него было известно, что выпить он сам любил и потому особенно боролся с пьянством. Так говорили, а может, оно и неправда, сам я его пьяным не видел. Застукал он моих ребят и отдал приказ всех сержантов-связистов, которые засиделись в тылу, отправить на фронт. Выдали нам новенькое обмундирование, обули в американские ботинки без сносу и погрузили в эшелон под вой местных девчат, с которыми мои сержанты крутили любовь.

И вот в начале сорок четвертого года, зимой, попал я на фронт. Зима была снежная, красивая, кругом необозримые леса, все сосновый бор сплошной, мачтовый лес. А стрельбы никакой, только дымки от кухонь да блиндажей на немецкой и на нашей стороне. А блиндажи, благо леса вдоволь, понастроили у нас, как дворцы, и траншеи обшили мы досками, как какие-нибудь немцы, прости господи... Война, она тоже много личин имеет. Бывает, что и не так страшно, даже интересно. Когда мало стреляют... Стало быть, приехав в этакую благодать, поступил я снова в дивизию, в роту связи. Чаще всего дежурил при штабе, говорил по телефону то с одним полком, то с другим: как, да что, да не случилось ли чего?

И вот среди всех голосов — а их в телефоне было эвон сколько, целая пропасть разных частей, подразделений, позывных — один голос показался мне знакомым. Да мало ли что

может тебе показаться! Прошли недели две, пока однажды вечером снова не услышал я тот самый голос, и голос тот сказал весело так и громко: «Это был поступок!» Тут я даже задрожал и вмешался в разговор: «Старший лейтенант Нечаев?» — «Капитан Нечаев. Кто меня позвал?» — «Сержант Слепцов, может, помните?» — «Не помню!» — «Ну, конечно, разве упомнишь. Мы-то всего три дня вместе были, и давно, в сорок первом году, под Ельней». — «Ну? Под Ельней?» — «Я при вас телефонистом был, вместе с Черепановым». — «Андрюша?» (Он меня тогда Андрюшей звал.) — «Я самый».

Через некоторое время добился я откомандирования в батальон товарища Нечаева. Из дивизии в батальон редко кто просится, батальон к фронту ближе, там опаснее. Но у нас уж так водится: раз попросишься — не пустим на всякий случай. Пришлось долго упрашивать, пока отпустили. И вот я снова очутился рядом с товарищем Нечаевым. И за то время, что был с ним вторично, совсем к нему привык; не ошибся я в нем.

Мы, конечно, жалели, что Черепанова с нами нет, тем более что Черепанов, выписавшись из госпиталя, писал письма, рвался на фронт, хотя его демобилизовали по чистой. Я товарищу Нечаеву говорил: «Пишите ему, пусть приезжает». А он все отвечал: «Конечно, напишу, пусть приедет». Но не писал. Жалел старика.

Сам товарищ Нечаев был не такой, как в сорок первом. Уже и одет был хорошо, больше о себе и даже о внешности своей заботился. Сапоги и те не кирзовые, а кожаные. Правда, хромовые себе не завел. У всех офицеров были хромовые, только у него не было.

Как я вам уже говорил, жили мы в лесу, в блиндажах в четыре наката — ни один снаряд не пробьет, дров для топки сколько угодно. Ну просто рай, кабы не противник да не вши. Вы меня извините, Ольга Петровна, но эти насекомые нас сильно донимали. Вши — они любят чистоту. Пока солдат наступает, спит в ямах и не переодевается, не моется, они как бы есть и нет их: может, потому, что не до них. А как нас вымоют да оденут в чистое белье — тут они начинают свирепствовать до невозможности. Пришлось устроить агромаднейшую вошебойку, куда мы покидали все имущество — кисеты и те.

Помню, Виталий Николаевич рассказывал, как поначалу, в сорок первом году, он был самый вшивый изо всех офицеров и солдат. И никак не мог понять почему. Один солдат ему объ-

яснил, в чем оно дело. «Думаете много,— сказал тот солдат,— а вши от мыслей разводятся». Виталий Николаевич нам про это рассказал и говорит: «Как мне тот бывалый солдатик это объяснил, подумал я и понял, в чем дело. Вши от мыслей разводятся, то-то и оно! То есть попросту они разводятся у тех людей, которые много думают головой и ни черта не умеют делать руками. После этого я стал следить за собой, старался мыться почаще... Надоело быть белоручкой... И вши от меня отстали...»

И верно, это я тоже заметил — Виталий Николаевич теперь мылся и брился и стал раздеваться на ночь и даже складывать вещи в порядке, как спать ложился. И говорил мне, что когда он вернется домой, то Леля (так он вас называл, Ольга Петровна) удивится, и обрадуется, и не узнает его, и полюбит еще сильнее; и он улыбался этак невесело — вы же знаете, Ольга Петровна,— и добавлял: «А может, снова, как попаду под ее крылышко, позабуду свою военную выучку...»

Простой он был, открытый для всех. Рассказывал нам много всякого интересного. Целые романы наизусть, про разные науки тоже... Все на свете знал. Я его тогда спрашивал, почему он все еще в пехоте да все еще комбатом, а он смеется. «Понравилось»,— говорит. Может, ему впрямь понравилось, а скорей всего — не умел он и не хотел устраиваться там, где поспокойнее да посытее.

Так мы и жили. Однако вечно стоять на месте в роскошных блиндажах невозможно... Вшей не было, а противник еще был.

Не успели стаять снега, как навезли артиллерии видимо-невидимо, в лесах стало народу и машин невпроворот — ни пройти, ни проехать. Наконец ахнули и пошли, забывши про сон и отдых. Пока не дошли до водной преграды. Первая рота, правда, форсировала ее с ходу и закрепилась на западном берегу, а остальные роты и весь полк не смогли: лодок не было, немцы их раньше увели либо уничтожили.

На другом берегу немцы жмут на наших солдат, а солдаты наши все сигнализируют ракетами: шлите боеприпасы, шлите боеприпасы! И приказывает нам комбат перебраться через реку на подручных средствах, но никто в воду не идет — река пенится от снарядов, и к тому же еще помогает немцам их немецкий бог: поднялся большой ветер, и волны как морские ходят.

Тут нашел кто-то на одном дворе рыбацком лодочку-душе-

губку, принесли ее, спустили на воду, положили туда ящики с боеприпасами, а лодка такая утлая, что страх берет. Вижу я, комбат стоит на берегу мрачный, потом вдруг идет к лодке. Я к нему и говорю: «Товарищ капитан, я вас не пущу».— «Как так не пустишь?» — «Да так, не пущу. Не выдержит лодка, пойдет на дно».

Он ничего не отвечает и идет к лодке. Я ему говорю: «А вы хоть плавать-то умеете?» Он смеется: «Я? Я был первый пловец в институте. Призы брал за Московскую область». Тут мне полегчало. Он спрашивает: «А ты?» Я говорю: «Я пловец неплохой. На Енисее вырос». Он говорит: «Превосходно!» (Он любил говорить «превосходно», и мы все тоже стали так говорить. И я заметил, что и вы, Ольга Петровна, тоже сказали несколько раз «превосходно»... Как его словечки ко всем приставали! Я и то теперь дома у себя... Жена смеется: «Одно знаешь: превосходно да превосходно!» И еще он часто когда удивлялся, то спрашивал: «Вот как?» У нас так не спрашивают, и сначала мне это казалось смешно, а потом и я стал так переспрашивать.)

«Превосходно! Вот мы и покажем пример»,— говорит мне, стало быть, Виталий Николаевич, и мы садимся в лодку и плывем, и за нами солдаты — стыдно им стало! — кто на чем.

Как переплыли — не спрашивайте, но переплыли и закрепились, а скоро переправились и другие батальоны... После этого и приехал к нам командир дивизии генерал-майор Захарченко, стал — в который раз — звать товарища Нечаева к себе в штаб дивизии. Пошел бы — остался бы живой. Генерал тогда вручил мне орден Славы второй степени (третьей степени у меня уже был за прежнее), а Виталия Николаевича представил к ордену Отечественной войны.

9

В то время как солдат вел свой рассказ о Виталии Нечаеве, Ольга Петровна вспоминала, что после того, как вышла замуж, пятнадцать лет назад, она воспринимала своего мужа так же, как Слепцов своего командира. Он был тогда таким же ясным, открытым, искренним, остроумным, тихо-талантливым во всем, что делал. Позднее ее ощущения притупились или сам Нечаев потерял свою ясность, веселость, победительность какую-то? Или она перестала в нем все это замечать — пригляделась,

приобыкла? Или действительно все это ослабло под гнетом житейских дел, от всяких неурядиц в семье и в стране (он болезненно переживал то и другое)? И не виновата ли она в том, что он потускнел, если он действительно потускнел?

Он работал. Работал много — даже на курорт ухитрялся брать с собой чертежи. А какая у них была душевная, личная жизнь? Что он делал помимо работы? Думая об этом теперь, она вдруг с совершенной ясностью вспомнила те обстоятельства, которые знала и раньше, но которые не казались ей такими уж важными. Ведь это он и никто другой заставил ее закончить не законченное по ее лености образование, приучил ее читать книги, объяснял их ей. Это он исподволь, осторожно, так, чтобы ее не обидеть, прививал ее несколько косному уму широкие понятия и умение видеть скрытое, но главное, за внешними проявлениями жизни. Это-то и сделало из нее того человека, которым она была теперь — уважаемого сослуживцами, принимаемого всеми всерьез, ту женщину, которую полюбил строгий к людям Ростислав Иванович Винокуров; из-за Ольги Петровны он ушел от жены и детей.

Все эти воспоминания, сопровождавшиеся чувством раскаяния и щемящей неловкости, проходили перед ней, тесня друг друга, как будто в спешке и в смятении. Лишь когда Слепцов стал рассказывать о переправе, все эти воспоминания и мысли разом остановились и замерли.

Слепцов увидел, как ее лицо внезапно покраснело, будто зажглось изнутри. Она закусила губу и закрыла глаза. Слепцов не мог знать, какая именно подробность его рассказа так сильно подействовала на нее.

А это произошло потому, что, услышав — ей действительно показалось, что она явственно услышала его голос и интонацию,— услышав слова Нечаева о том, что он брал призы за плавание и т. д., Ольга Петровна вспомнила, что он совсем не умел плавать и всегда стыдился этого. Итак, все, что он говорил на берегу реки, было вздором, выдумкой, если можно назвать вздором и выдумкой чистое золото самопожертвования ради общего дела. Ольга Петровна в этот момент почувствовала, как у нее перехватывает дыхание. И оттого, что Слепцов и теперь не знал того, что узнала она спустя два с половиной года, Ольга Петровна почувствовала мучительное волнение за человека, плывущего в утлой лодочке по бурной реке, обстреливаемой со всех сторон, и гордость от того, что этот человек думал о ней и

любил ее, и жгучую обиду на себя за то, что не поняла, кого потеряла.

Она чувствовала, что готова влюбиться в этого нового Виталия Нечаева, в его удаль, ум, презрение к смерти, обаяние, во все то, что так отвечало ее собственному идеалу человека и мужчины. Как могла она считать Нечаева пресноватым и скучноватым, в то время как в нем лучшие человеческие черты были в избытке и в чудесном сочетании? Все это она пропустила сквозь пальцы, как воду.

Она могла бы отмахнуться от всех этих мыслей, как отмахивалась уже не раз, считая, что отвлеченные мысли не имеют значения перед лицом грубых потребностей жизни. Да, она умела пожатием плеч оттолкнуть от себя «бесплодное нытье» ради благополучия семьи и упорядоченности ее существования.

Но теперь она не могла уйти от этих мыслей — на нее смотрели поразительно ясные глаза однорукого солдата, и их простодушный теплый блеск не давал ей уходить в сторону, ссылаться на жизненный опыт, на пример соседей и знакомых; эти глаза говорили ей: ты жила рядом с героем и не заметила этого.

Ольгу Петровну охватили горечь и боль, которые вскоре незаметно для нее самой превратились в досаду и даже злость. Она уже думала о Слепцове почти с неприязнью и мысленно как бы оправдывалась перед ним: «Я, что ли, его убила? Что ты смотришь на меня так пристально? В чем я виновата?»

Так она мысленно твердила, глядя на стену сухими глазами. При этом ее взгляд останавливался на паутине в углу и на трещине в штукатурке, и она думала о том, что надо произвести ремонт квартиры и уборку, и эти мысли, несмотря на всю их неуместность в этот момент, она удерживала при себе, упрямо и почти со злорадством думая, что да, да, уборка и ремонт! Жизнь есть жизнь, и сумерничать не приходится.

Она встала и резким движением зажгла настольную лампу. В это время в коридоре что-то задвигалось, дверь приоткрылась, донесся запах жареного лука, шум примуса, похожий на шум летнего дождя, и шорох веника, напоминающий порывы весеннего ветра, и другие квартирные запахи и шумы, мелкие, но важные, как сама жизнь. И Ольге Петровне показалось, что здесь, в комнате, разреженный холодный воздух, и, сказав, что сейчас вернется, она поспешила выйти к родным запахам и шумам своего дома.

Свет настольной лампы под зеленым абажуром сделал комнату зеленоватой и таинственной, как речное дно. Оттого что комната осветилась, за окном стало темно, словно сразу наступила поздняя ночь. Слепцов нащупал в кармане полный табака кисет, но не стал закуривать. Он сидел, ожидая возвращения Ольги Петровны и не двигаясь, как бы стараясь не рассеять все то, что он должен был ей рассказать. Она все не шла, но он не испытывал никакого нетерпения, зеленый свет наполнял его покоем и тоже казался составной частью его повествования, естественным освещением той полусказочной действительности, в которой он теперь жил. Он думал о том, что недаром Нечаев стремился сюда, в здешний теплый, уютно освещенный мир, и сердце Слепцова переполнилось нежностью к подруге Нечаева, хозяйке этого дома.

Когда она вернулась, Слепцов продолжал:

— Про вас, Ольга Петровна, ваш муж рассказывал так много, что я как бы с вами давно знаком; и не только я, но и жена моя, Марья Александровна, и даже дети и те вас знают и готовы за вас на край света. Да, да, он мне про вас все рассказал. Про то, как вы его всегда поддерживали, как вы работали и институт кончали, имея на руках маленького Юру. Видел я сегодня Юру, вылитый отец, тоже серьезный и честный. Честный. Вот оно, главное-то.

В это время в комнату вошел мужчина в темном костюме. Это был высокий человек в очках, с молодым лицом, но седыми волосами. Проходя мимо Слепцова, он кивнул ему, и Слепцов прервал рассказ и привстал, чтобы поздороваться по деревенскому обычаю — уважительно и обстоятельно — с новым человеком, кто бы он ни был. Но так как Ольга Петровна ничего не сказала, а человек тоже не изъявил стремления к длительной церемонии знакомства, только пробурчал что-то — очевидно, свою фамилию,— затем прошел и уселся в то самое кресло, где утром дремал Слепцов,— солдат в нерешительности постоял еще мгновение, затем сел и продолжал рассказ, лишь отодвинув стул от стола, чтобы не оказаться спиной к человеку.

Продолжая рассказ, он по временам забывал о присутствии того человека и, только изредка вспоминая о нем, вежливости ради полуоборачивался к нему на мгновение.

— И последние его слова,— продолжал Слепцов,— и мысли

последние были про вас. Про вас и про родину, которую он любил, но про которую говорил мало; просто отдал за нее жизнь и нам завещал отдать, если придется.

А ранило его при штурме немецкой обороны, и я не был тогда при нем, и когда мне сказали, я побежал и встретил его, как он лежал на подводе и его отвозили в тыл. Но подводу эту трясло. И ему было больно. И тогда мы его сняли и положили на носилки. Как я вам уже рассказывал. Потом попросил, чтобы мы его положили, чтобы он отдохнул. И мы его положили. Тут он взял меня за левую руку и крепко сжал. У меня даже потом синяки были — так он меня крепко взял за руку. Вот здесь... Ну, то есть руки-то у меня этой уже нету... Вот какое дело. И тут он меня и попросил побывать у вас и передать вам... все про него да про его к вам уважение и любовь... А также передать вам, стало быть на память, разные предметы... Между прочим, логарифмическую линейку — это солдаты нашли в одном доме и, зная, что товарищ Нечаев инженер, отнесли ему. И он ее в подарок для вас прочил и мне про это сказал. А также часы ручные — тоже трофей, один солдатик ему поднес, Терехов по фамилии, молодой. Его позже убило... Ну вот, Ольга Петровна... Потом, конечно, выпустили боевой листок, что-де отомстим фрицам за нашего комбата... Видели вы когда-нибудь, когда много мужчин вместе плачут? Это — редкое явление...

Слепцов замолчал. Его сердце сильно билось, и только когда оно успокоилось, он услышал глубокую тишину в комнате. Тогда он пожалел женщину, которую так очевидно расстроил своим рассказом. При этом он вспомнил и про мужчину, сидевшего в кресле, и полуобернулся к нему вежливости ради. Но в это мгновение он почувствовал к нему неопределенную антипатию, неизвестно чем вызванную,— может быть, тем, что мужчина сидел в кресле развалясь, как дома, и его лицо было непроницаемо спокойно. Может быть, тут сыграло роль и то, что Ольга Петровна после появления мужчины стала вести себя несколько иначе, чем до того: она почему-то часто поднималась, и снова садилась, и вертела в руках солонку, и несколько раз отводила глаза от Слепцова к тому человеку. Но эти ощущения были слишком поверхностны, чтобы обращать на них особое внимание, и Слепцов после недолгого молчания сказал, полуобернувшись к мужчине:

— А меня ранило в декабре того же сорок четвертого года,

на венгерской территории. И после длительного лечения очутился я дома, в Сибири. Неприятель до нас, понятно, не добрался, все у нас на месте, ничто не разрушено. Даже, ей-богу, удивительно было, когда я прибился домой после госпиталя: все дома целые... Верно, колхоз, раньше богатый, в войну сильно обеднял — мужиков мало, заготовки большие для фронта, почти всё сдавали... Я сначала не знал, за что приняться, ходил неприкаянный; жена, спасибо ей, поняла мою душу, не сердилась, что я целые дни на завалинке сижу, покуриваю, на всех покрикиваю и на все зубами скрежещу,— молчала, только иногда плакала, и то потихоньку. Я, конечно, это замечал, но ничего не мог поделать со своей озлобленной душой. Но понемногу оклемался, пошел работать сторожем, потом пастухом, а позже сделал мне один мой дружок в МТС вторую руку, железную, вроде ухвата, и вскоре сел я на трактор. Про меня даже в газетах писали, что я чуть ли не герой и так далее. Но я не герой и делал все это лично для себя — понял, что помру, если останусь один, без пользы для людей. Выполнял норму и две. А как уборку закончили, взял отпуск — и вот...

11

Последние слова Слепцов, превозмогая свою антипатию, сказал, обернувшись к мужчине в кресле, так как не желал быть грубым и невнимательным к человеку, сидящему в комнате Нечаева. Как бы воспользовавшись этим, Ольга Петровна, то и дело встававшая и садившаяся во время рассказа, снова встала.

— Пора обедать,— сказала она и быстро вышла из комнаты.

Слепцов, все еще взволнованный воспоминаниями, видел, что и она взволнована, и ласково проводил ее взглядом до двери, а потом снова обернулся к мужчине. Тот угрюмо или, может быть, напряженно молчал. И Слепцов, почувствовав себя неловко, сказал:

— Вот так, гражданин... мм...

— Ростислав Иванович,— буркнул мужчина.

— Вот так, Вячеслав Иванович,— продолжал Слепцов, плохо расслышав редкое имя.— Расстроилась Ольга Петровна... Может, я слишком это... все подробно... Но, как говорится, слова из песни... Такого человека потерять...

— Да,— сказал мужчина односложно.

Слепцов внимательно посмотрел на него и спросил:

— Друзья, полагать надо, помогают ей, вдове, по силе возможности?

Мужчина после довольно продолжительного молчания ответил так же односложно:

— Да.

И встал с места, чтобы выйти, но дверь открылась, и Ольга Петровна вернулась. Она пришла с тарелками и расставила их на столе.

В это время за дверью заплакала девочка, а Ольга Петровна под этот плач все так же медленно и старательно расставляла тарелки. Наконец в полуоткрытую дверь просунулось круглое лицо Паши, и она сказала:

— Все плачет, Ольга Петровна...— и при этом покосилась на солдата: не вызовется ли он и теперь пойти к девочке да успокоить ее своим «се́ше, хе́ше»...

Слепцов ответил ей беглой улыбкой, а Ольга Петровна раздраженно сказала:

— Сейчас приду.

Слепцов, которому жаль было младенца, прислушивался к его плачу, но как только Ольга Петровна вышла, так плач прекратился.

Этот так внезапно оборвавшийся плач ребенка вначале заставил Слепцова улыбнуться, но затем улыбка вдруг замерла на его лице и из ласковой стала удивленной, даже детски глуповатой, затем медленно отлетела от лица, оно стало растерянным, смущенным и, наконец,— смертельно-серьезным. Он посмотрел на мужчину, который напряженно стоял посреди комнаты, как бы не зная, выйти или остаться.

Слепцов медленно поднялся со стула, еще постоял с минуту, затем быстро и решительно направился к своему вещмешку, взял его, достал оттуда белый узелок, вернулся к столу, положил узелок на стол и стал развязывать его. Развязав, вынул оттуда разные предметы, положил их на стол, а платок, в который они были увязаны, сложил аккуратно на столе и сунул себе в карман. Потом он достал из кармана гимнастерки пакетик с фотографиями и тоже положил его на стол — лицевой стороной вниз. После этого он вернулся к вещмешку и завязал его.

В этот момент послышался короткий и резкий звонок, стукнула дверь, и в комнату вошел, застенчиво улыбаясь, Юра. Он

был в пальтишке и с портфелем. Он запыхался — спешил, боясь, что уже не застанет приехавшего из Сибири солдата, таежника и рыболова. Но солдат был здесь. Комната была полна волнующих запахов: солдатского сукна, медвежатины, копченой рыбы, фронтовых и таежных дорог.

Юра, застенчиво улыбаясь, подошел к Слепцову, ожидая, что солдат обнимет его, привлечет к себе, начнет что-то рассказывать, словоохотливо и добросердечно, как утром. Но Слепцов только рассеянно потрепал его по плечу и стал молча ждать. И от этого на Юру тоже напало какое-то оцепенение, и он тоже встал неподвижно. И так три человека стояли неподвижно, каждый со своими мыслями, и чего-то ждали.

Но вот вошла Ольга Петровна, и тогда Слепцов заговорил очень быстро и сухо, не глядя на нее:

— Тут вот на столе, как видите, это самое. Его часы, очки, авторучка, книжка записная, письма, фотографии. Там же подарки, логарифмическая линейка для вас, готовальня и часы ручные для вашего сына. Еще там кой-что. Все, что у него было. Вот. Мне пора. Я и так задержался.

Он взял было шинель, но потом вдруг поглядел на Юру, его глаза на секунду сделались стальными, он снова отложил шинель, подошел к столу, взял ручные часики и молча отдал их Юре в руки.

Ольга Петровна положила на стол вилки и ножи и сказала в непринужденном тоне:

— Вот как? Значит, вы не будете с нами обедать? Очень жаль... За любезность вашу большое спасибо. Очень вам благодарна. А может, вы останетесь? Кстати, ведь вы ехали в такую даль — из Сибири, кажется? Наверное, вам и поездка стоила недешево... Один билет в такую даль обходится, вероятно, в копеечку... Нет, серьезно, может, вам нужны деньги? Вы скажите, без околичностей, без всяких церемоний. Пожалуйста. Как добрый знакомый Виталия Николаевича, фронтовой товарищ. Так что скажите... А я думала, вы пообедаете с нами. Вы где остановились?

В то время, как она говорила, Слепцов молча надевал на себя шинель и никак не мог надеть. Но никто не подошел к нему помочь, все как будто закоченели на своих местах — от всего, что происходило, и от возможной неловкости, которую может испытать калека, когда ему помогают.

В ответ на последний вопрос Ольги Петровны Слепцов сказал:

— Я ночую у родичей моих. У меня в Москве родичи. Где теперь нет сибиряков? Всюду они есть.

Он надел наконец на себя шинель и взял в руку кепку и вещмешок.

— Это верно,— подтвердила Ольга Петровна, вынимая из буфета и ставя на стол хлебницу.— У нас в институте тоже есть сибиряк, заместитель директора по материальному обеспечению. Он у нас недавно. Может быть, вы знакомы с ним? Леонтий Борисович Свербеев. Впрочем, верно,— Сибирь велика...

— Да,— сказал Слепцов,— Сибирь большая. До свидания, Юра... Ольга Петровна... До свидания, гражданин.

И, взвалив мешок на плечи, он вышел.

12

Юра вышел вслед за Слепцовым, чтобы выпустить его из квартиры, и обратно в столовую уже не вернулся, слышно было, как он прошел мимо двери.

Когда стукнула входная дверь и звук Юриных шагов послышался справа от двери столовой и затих слева, у кухни либо у спальни, Ростислав Иванович, порывисто повернувшись к Ольге Петровне, сказал:

— Что ты сделала? Ты понимаешь, что ты сделала? У нас в доме был благороднейший человек, праведник, понимаешь, святой, а ты ему предложила денег! — Он продолжал, все больше волнуясь: — Смотри, какую преданность памяти Виталия Николаевича он проявил... какую любовь! — И с мужской солидарностью, вечной и темной солидарностью мужчин против женщин, он проговорил, глядя остро и колюче ей в лицо: — Да и верно, муж твой покойный был человек необыкновенный. Замечательный человек. Такого человека... о таком человеке нельзя забыть. Забыть такого человека может только... только сука.

Он сам поразился оскорбительному окончанию своей фразы. Он не собирался произносить ничего подобного. Ольга Петровна была отвратительна в последнем разговоре со Слепцовым, и оттого, что она проявила себя такими неприятными чертами, он обозлился на нее. Но этого было бы мало для тех слов, которые он сказал, если бы он не знал, что не может без нее жить, что, несмотря на все, он любит и не перестает любить ее даже теперь, когда презирает, почти ненавидит ее.

В то же время он сознавал, что она своей черствостью в отношении к Слепцову отталкивала память о первом муже ради него, Винокурова, ради спокойного, безоблачного течения жизни в семье: она как бы боролась с чувством вины за свою любовь к Винокурову. Поэтому он вместе с презрением, почти ненавистью к ней испытывал приятное чувство гордости, что ради него забыт и находится в пренебрежении тот, другой, притом еще человек замечательный. И, наконец, одновременно с этим он испытывал острое чувство горькой, хотя и неразумной ревности — впрочем, может ли ревность быть разумной! — бессмысленной оттого, что она не была обращена на кого-либо, а сводилась к простому предположению, что, если он умрет или даже уедет надолго, она полюбит третьего и будет так же сильно, решительно, как бы категорично, этого третьего любить, окружать своей заботой и теплом и защищать свою любовь всеми средствами.

Эти чувства — любовь и страсть к ней, и боль за ее проявившуюся душевную грубость и бесчувственность, и обида за поруганную память прекрасного человека, и приятная гордость оттого, что она так любит его, своего нынешнего мужа, и предвидение, что и его она может разлюбить при определенных обстоятельствах,— все это смешалось в душе в одну кашу, горькую, как полынь, и сладкую, как мед. Полыни, впрочем, на этот раз было во много раз больше. Когда Слепцов простился и собрался уйти, Винокуров готов был ударить свою жену по лицу. Однако он не сказал ни слова, он вообще решил не вмешиваться — то было не его, а ее прошлое — и пожалел, что слушал часть рассказа Слепцова из спальни, а затем, войдя в столовую, был свидетелем разговора. Но когда Слепцов вышел и входная дверь глухо стукнула за ним и когда Юра, не понимавший, но явно чувствовавший, что произошло нечто отвратительное, прошел мимо двери, хотя знал, что его ждут обедать,— Винокуров не смог удержаться от выражения своих чувств.

— Что вы сделали? — повторил он, назвав ее на «вы», чтобы еще больше задеть.— Это же невозможный поступок. Нигде он не остановился, неправду он сказал про родственников, неужели вы этого не поняли? И неужели вы не поняли, что если бы он приехал ради денег, то ему проще всего было бы продать золотые часы и остальное? А? Вы этого не поняли?

Он смотрел на нее ненавидящими глазами.

— Да, вы правы,— сказала она медленно, почти спокойно.— Действительно, как я могла изменить памяти Виталия Николаевича ради такого человека, как вы? — Она бессмысленно походила вдоль стола, потом вдоль буфета, затем сделала два шага к двери, но вернулась, села на стул, на котором сидела весь день, и заплакала.— Он бы никогда... никогда... никогда...— произнесла она сквозь слезы.

Вначале ее слезы не произвели на него никакого впечатления. Напротив. Он подумал, как хитро она защищается, как неожиданно она взяла себе в союзники Виталия Николаевича против него. Но вскоре ощутил ноющую боль в груди. Пожалуй, он впервые видел ее плачущей и, осознав это, понял, как она потрясена. Его пронзило чувство вины, и он подумал о том, что проявил торопливость и бесчувственность, сродни той торопливости и бесчувственности, которую проявила сама Ольга Петровна по отношению к Слепцову. Он сказал:

— Ладно, Оля, сейчас не время все это. Пока надо догнать этого человека и вернуть его.

— Да, да,— сказала она, быстро встала, вытерла глаза, взяла со стола сверток с едой, оставленный Слепцовым, завернула еду в плотный пакет и быстро, летящей своей походкой вышла в коридор, накинула шаль и вместе с мужем спустилась по лестнице в темный двор.

Во дворе никого не было. Накрапывал дождик.

— Товарищ Слепцов! — позвала Ольга Петровна.

Она метнулась по двору и вышла на улицу. Здесь остановилась и взглянула вправо и влево. В переулке не было ни души. Она бросилась влево и, торопливо говоря вслух:«Товарищ Слепцов, товарищ Слепцов», дошла, почти добежала до угла. Слепцова не было. Она постояла на углу и медленно пошла обратно.

Сначала она ни о чем не думала, потом в ее голове неторопливо прошел весь последний разговор со Слепцовым, в том числе ничего не значащие слова о сибиряках. Она подумала о том, что поскольку Слепцов сибиряк, то он мог бы жить в том городишке, где она жила первое время эвакуации. И если прав Винокуров насчет того, что однорукий солдат — благороднейший человек, то и там, в том городишке, тоже могли жить прекрасные люди; она же считала их людьми ничтожными и скучными, обвиняла их в заскорузлости и бессердечии и мечтала

от них поскорее уехать. Но, по чести говоря, почему они должны были ей сочувствовать и ею интересоваться, если она не сочувствовала им и не интересовалась ими, не входила и не пыталась войти в их жизнь? Ведь даже самым близким человеком, своим покойным мужем, она не интересовалась, даже *его* не понимала и не стремилась понять. Только появление Сленцова сегодня осветило ее жизнь ярким дневным светом, и при этом беспощадном свете многое стало выглядеть совсем иным.

Об этом думала Ольга Петровна, возвращаясь к воротам своего дома.

Ростислав Иванович тем временем тоже пересек улицу, прошелся по бульвару, вглядываясь в немногих прохожих, и тоже вернулся ни с чем. Они постояли вдвоем у ворот. Потом он взял ее за руку.

— Прости меня,— сказал он.

— Ты был прав,— сказала она.— Но пойми...

— Да, да, конечно...

— Я ведь...

— Я понимаю. Пойдем.

Они медленно пошли обратно к дому, медленно взобрались по лестнице к себе в квартиру. Когда они открыли дверь, Юра стоял в коридоре. Он ни о чем не спросил, только устремил тоскливый взгляд на дверь, словно ждал, что следом за ними войдет солдат. Но никто не вошел.

— Обедать пора,— сказала Ольга Петровна.

Они все трое побрели в столовую. Ольга Петровна сунула сверток с сибирской снедью за оконную занавеску. Затем она снова стала готовить к столу, а потом села на тот самый стул, где заплакала в первый раз, и здесь снова заплакала, словно именно этот стул располагал ее к слезам. Ростислав Иванович подошел к ней и стал говорить вполголоса разные успокоительные слова.

О Юре забыли. А он стоял возле окна и сурово смотрел на них. Слезы матери угнетали его, но не вызывали жалости. Он стоял бледный и строгий и давал себе слово, вернее, много слов, обещаний, клятв быть честным, добрым, искренним, ученым, или, как сказал тот солдат,— «советским».

Исполнит ли он свои клятвы? Исполнит, если окружающие помогут ему — не нравоучениями, а собственным самоочищением от всякой скверны.

Что касается Андрея Слепцова, то Ольга Петровна и Ростислав Иванович не нашли его не потому, что он быстро покинул двор. Напротив, он, выйдя из дома, подошел к той скамеечке, где сидела утром старушка с вязаньем, и опустился на эту скамеечку. Тут он закрутил махорку и жадно закурил. Он ведь из уважения к семье Нечаевых ни разу не курил в их квартире и теперь глотал горький дым, как захлебнувшийся в воде глотает воздух.

Было темно. Накрапывал дождик. Значит, прошел весь день — с рассвета до вечера. Андрей Слепцов подумал о том, как быстро, молниеносно прошел этот день и какой он в то же время насыщенный и длинный, как он, этот единственный день, сумел изменить многое в его жизни, осветить ее по-новому. При свете этого странного дня все стронулось с места, перемешалось, осложнилось. Это был ясный, ровный, немигающий, беспощадный свет. И казалось, что любимые образы пропали в нем, как пропадают тени в резком свете.

Он услышал, как Ольга Петровна окликнула его, как она и ее муж вышли на улицу его искать. Он прижался к стене, боясь, что они его увидят. И спрятал цигарку в рукав, как солдаты делали на переднем крае, в виду противника. Он теперь не мог бы с ними разговаривать и даже на них смотреть.

Но вот они наконец вернулись и исчезли в доме, и Слепцов остался один на большом дворе. Он посидел некоторое время, потом встал с места и пошел к воротам. Здесь он остановился и обернулся. Перед ним от самой земли до неба посверкивало, мерцало, горело больше сотни светлых квадратиков. Его глаз воспринял вначале это зрелище чисто механически, как нечто красивое, потом разум его усвоил, что это окна, а за ними люди. И он вспомнил, как капитан Нечаев однажды — дело было зимой, еще в обороне,— говорил про эти окна, именно про эти самые, а не какие-либо другие. Нечаев говорил примерно так: родина — это не обязательно изба с березой или тополем, перелесок или поляна, как это по старой памяти пишут в стихах и прозе; родина — это также городская квартира из двух комнат, точно такая же, как четыре квартиры над ней и две под нею и пятьдесят во всем доме — обыкновенное жилье с водопроводом, который урчит по утрам, и с телефоном, который звонит, когда кому-нибудь заблагорассудится вспом-

нить о тебе и набрать твой номер. Родина — это два окна среди точно таких же ста, ничем от остальных не отличающиеся, кроме того, что там твоя жена и твой ребенок. Это тоже «земля отчич и дедич», священная московская земля, хотя и приподнятая на два-три десятка метров. И, защищая свою большую родину, ты защищаешь и эту малую и готов отдать за нее жизнь.

Слепцов стал искать те два окна, о которых говорил Нечаев. И он вскоре нашел их, светившихся зеленым светом среди других, светившихся желтым, и зеленым также, и красноватым, и лиловым, и просто ярким без прикрас — огромное множество человеческих гнезд. И, вспомнив слова капитана Нечаева о его двух окнах, Слепцов замотал головой, как лошадь, которую мучают слепни, и больно закусил губу, чтобы не заплакать.

Но среди безысходности, овладевшей им в эти мгновения, его, как он вскоре заметил, не оставляло ощущение чего-то милого, теплого и нежного. Он не понимал, что́ именно оставило в нем такое ощущение. Он отметил, что оно было не только внутренним, душевным, но и чисто физическим. Это дало ему нити для дальнейших поисков, и довольно скоро его внимание сосредоточилось на руке: он чувствовал на ней приятную тяжесть, рука его была еще напряжена, словно держала нечто милое, теплое и нежное.

То была маленькая девочка с не по-младенчески разумным взглядом. Ах, эта маленькая девочка, этот человеческий детеныш, совсем еще крохотный, весь в будущем, весь как сосуд, способный вместить в себя все прекрасное. Вот, оказывается, что смягчало ожесточенное сердце, смиряло и облегчало его!

Вскоре Андрей Слепцов совладал с собой. Он крепко вытер лицо, подкинул повыше свой вещевой мешок и зашагал в обратный, уже знакомый путь к трем вокзалам. Предстояла, по-видимому, длинная бессонная ночь на вокзале, в очереди за билетом, и Слепцов ворчал себе под нос: «Хорошо, Андрей Слепцов, что ты успел подремать: утром на скамейке, потом — на мягком стуле». Он решил, что постарается взять билет на завтрашний вечерний поезд, чтобы в течение дня успеть посмотреть Москву.

1960

ЛЕНИН В ПАРИЖЕ

Очерк

Да, действительно, у Парижа есть какое-то фиолетовое свечение, особенно по вечерам. Об этом уже писали не раз. Вообще здесь ничего нет такого, о чем бы не писали, поэтому писать о Париже невозможно.

Я и не собираюсь писать о Париже. Все впечатления свои я скрою в глубине души. Париж у меня будет присутствовать в романе «Новая Земля», который я теперь пишу, и то лишь в той мере, в какой советская история тридцатых — сороковых годов соприкасалась с ним. А она с ним соприкасалась, и порой самым неожиданным образом.

Единственное, о чем мне хочется написать немедленно, теперь же, это о ленинских местах в Париже. Последнее время, в связи с работой над повестью «Синяя тетрадь», я постоянно думал о Ленине, словно бы неотступно следовал за ним — за ходом его мыслей и путями его жизни,— одним словом, постоянно жил в ленинской атмосфере.

Это — накаленная атмосфера, полная живых, не умерших страстей. Раскрытие ленинского образа — задача в высшей степени современная не только потому, что мы все живем под ленинской звездой, но и потому, что сам Ленин был человеком будущего. Узнавать его, стараться быть таким, как он, значит побеждать в себе «ветхого Адама», значит вырывать из себя все мерзости древних инстинктов и старых предрассудков.

В Париже, где все эти инстинкты и предрассудки пока еще здравствуют, хотя и находятся уже далеко не в цветущем со-

стоянки, я стал искать следы живого Ленина, повинуясь по-вому для меня и несколько лукавому желанию увидеть, как мало места занимал в «современном Вавилоне» этот небольшого роста человек, который, как вскоре выяснилось, был больше Парижа, был так огромен, что заставил полмира следовать за собой и другую половину — дрожать от страха.

В те времена Париж этого не знал. Престарелый французский поэт Поль Фор недавно рассказывал о том, как в 1910 году летом в кафе «Клозери де Лила», на углу бульвара Монпарнас и авеню Обсерватории, вошел поэт Гийом Аполлинер. Он стал спрашивать, здесь ли Анри Руссо. Руссо не оказалось. Он спросил о Пикассо, о Сальмоне и еще о ком-то из поэтов и художников. Но и их не оказалось. Тогда он развел руками и сказал, вздохнув: «Здесь нет ни одного выдающегося человека». В это время за дальним столиком с газетой в руках обедал Ленин.

Отдаленный столик у окна, выходящего на Монпарнас. Именно в таком месте должен был сидеть русский эмигрант, преследуемый агентами царя: видеть, что делается за окном, и в то же время иметь возможность обозревать все кафе. Не в центре, где сидели местные знаменитости, говоруны и большие художники, шумные и дерзкие в своей ненависти к буржуазному миру,— впрочем, слишком шумные и слишком дерзкие, чтобы быть опасными для буржуазного мира; нет, в отдалении, весь переполненный мыслями о вещах и явлениях, не имеющих как будто никакого касательства ни к бульвару Монпарнас, ни к кафе «Клозери де Лила», ни к Парижу вообще, сидел этот человек с газетой в руках. Небольшой человек в большом городе.

Выйдем вслед за Лениным из кафе и пойдем на юг, к предместью Сен-Жак. Здесь он ходил. Здесь повсюду ленинские места. По авеню парка Монсури, миновав улицу Алезиа, вы выйдете на улицу Саррет; первая улочка, соединяющая ее с улицей Пер-Корантен, называется Мари-Роз. Всю северную ее сторону занимает один дом. В этом доме жил Ленин. Это пятиэтажный темный дом, весь в железных черных балкончиках; на самом верхнем этаже балконы шире; над ними — маленькие окошки мансард.

Не так давно в квартире на улице Мари-Роз побывал Никита Сергеевич Хрущев. Я видел его роспись в книге посетителей среди многочисленных сердечных записей французских

рабочих и советских туристов, приходивших в этот священный для нас уголок Парижа.

Поднимаетесь по лестнице на третий этаж (по французскому счету — второй). Квартира состоит из трех комнат, собственно говоря, из двух: средняя — маленькая комнатка без окон. Комната справа — рабочий кабинет Владимира Ильича. Железный балкончик, дверь, ведущая на балкончик,— она же заменяет окно,— небольшой камин. Слева от балкона — старый фонарь, когда-то освещавший улицу. Ленин видел отсюда, с этого балкона, маленькую улицу, небольшие буржуазные дома. Теперь этих домов нет — вместо них построили церковь. Ее построили недавно, после того как ЦК Французской коммунистической партии купил квартиру Ленина и сделал из нее музей. Может быть, строители церкви задумали свой храм как некое противоядие.

Скромность Ленина вошла в поговорку, однако беспрестанные назойливые разговоры о ней кажутся мне иногда чем-то неприличным или, во всяком случае, неумным. Умиляться тому, что вождь рабочих и крестьян не живет и, более того, не испытывает потребности жить в роскоши,— умиляться этому могут только мещане, которые, будь у них возможность, показали бы, как может «устроиться» мещанин, при этом не переставая клясться именем рабочего класса.

То, что Ленин жил скромно в Париже, тем более естественно, что он иначе и не мог бы там жить. Ленин тогда крайне нуждался. Эти комнатки на улице Мари-Роз были свидетелями очень скудной материально, но необыкновенно насыщенной душевно и умственно жизни. За углом на улице Саррет в те времена находилась маленькая дешевая закусочная, где Ленин и Крупская обедали — бывало, что и в кредит.

В местах, где жили великие и любимые тобой люди, ты испытываешь странное чувство частичного перевоплощения в этих людей. То есть ставишь себя на их место и смотришь на все окружающее их глазами. Находясь в квартире на улице Мари-Роз, прохаживаясь по этой улице и по прилегающим к ней другим улицам, я как бы видел все окружающее глазами Владимира Ильича, словно не я, а он впервые приходит сюда, чтобы здесь поселиться. Мне было приятно, что за окном спальни внизу стоит дерево и растут кусты — может быть, боярышник, я не разглядел; я думал о том, как хорошо, что

улица тихая и что неподалеку находится парк Монсури, где можно гулять, отдыхать и работать среди зелени.

Ленин довольно часто ходил в этот парк, и я по его следам тоже туда пошел. Я там бродил среди старых деревьев, сидел возле большого пруда, по которому плавали лебеди, приглядывался к старикам и детям, отдыхавшим на скамейках или игравшим рядом со скамейками, и мне казалось, что Ленин видел именно этих детей и стариков, пристально вглядывался в их лица, стараясь увидеть за ними души живые, почувствовать биение пульса Франции, Парижа, сравнивал эти лица с русскими лицами на далекой родине и думал о том, как все люди, в сущности, похожи друг на друга; а это внешнее сходство — признак внутреннего, признак общности всего человечества, его мышления, интересов, судьбы.

В парке Монсури я услышал громкий детский смех, доносившийся из огороженного со всех сторон пространства у открытой сцены. Оказалось, что это кукольный театр дает представление для детей. Не знаю, был ли здесь кукольный театр во времена Ленина. Но он вполне мог быть и тогда. И я поэтому зашел туда. Куклы представляли развеселую историю, где вся соль, в общем, заключалась в большом количестве колотушек, отпускаемых куклами друг другу. Эти колотушки, сопровождавшиеся тоненьким кукольным плачем, причитаниями и остротами, приводили детскую аудиторию в исступление; смех, доходящий до стонов, оглашал окрестности.

Внутренние связи вещей и явлений очень непросты, и я отнюдь не собираюсь проводить такие уж прямые аналогии. Но в той атмосфере, в какой я находился в парке Монсури, в атмосфере ленинской судьбы и ленинской жизни, я подумал о том, что вот эти дети, которые резвятся так весело и смеются так прелестно, неразрывно связаны своей судьбой с небольшого роста русым человеком с тетрадкой и карандашом в руках, сидевшим пятьдесят лет назад здесь неподалеку на скамейке. Ведь в конце концов если бы этот человек не создал далеко отсюда на востоке могучее и способное на самопожертвование государство, если бы он не превратил великую, но косную и отсталую страну в страну — водительницу народов, в страну — страдалицу за человечество, немецкие фашисты, может быть, до сих пор находились бы здесь, в Париже.

Да, вся эта путаница улиц и площадей на юге Парижа, южнее обсерватории,— все это ленинские места. Неподалеку,

на авеню Орлеан, находилась маленькая типография, где печатались большевистские газеты «Пролетарий» и «Социал-демократ». Это большой дом. Я вошел в ворота и очутился на внутреннем дворе, обсаженном деревьями,— тихом, уютном. Справа во дворе находится небольшое двухэтажное помещение, где была в то время типография, а теперь размещена фотографическая мастерская. Здесь нет никакой памятной доски. Но именно здесь Владимир Ильич читал корректуру своих и чужих статей, отсюда уходили номера газеты в города Европы, где жили русские эмигранты, и в чемоданах с двойным дном — в Россию. В Россию, которая, казалось, спала непробудным сном и видела страшные столыпинские сны. Но не пройдет и семи лет, как она проснется. Она и раньше не спала, раз бодрствовал ночью под стук печатной машины этот человек в типографии на авеню Орлеан, раз бодрствовали его единомышленники здесь, на бескрайних просторах России.

Рядом находится дом, где проходила Пятая всероссийская конференция РСДРП(б). Шестая состоится ближе к России — в Праге, седьмая — в России, в Петрограде, в апреле семнадцатого года.

Вероятно, с вокзала Аустерлиц Владимир Ильич уехал весной 1911 года в пригородную деревню Лонжюмо, где открылась партийная школа. Теперь Лонжюмо большой шумный поселок, почти город. Тогда это была глухая деревня. В ней, к сожалению, мало что осталось от тех времен, когда здесь жил четыре месяца подряд Ленин, когда здесь в остекленном сарае слушатели партийной школы собирались на лекции Ленина, Инессы Арманд, Семашко, Крупской, а также Каменева и Зиновьева, будущих оппортунистов и капитулянтов. Среди слушателей были люди, которых мы никогда не забудем. Одним из них был Серго Орджоникидзе, большевик, перед которым мы преклоняемся, который много лет спустя проделал титаническую работу по созданию советской тяжелой промышленности, который жил и умер как великий и честный человек.

Сохранилась небольшая акварель, написанная художником Фальком. Мы должны быть вечно благодарны этому талантливому художнику, недавно умершему, за то, что он оставил нам изображение домика, в котором жил Ленин в Лонжюмо. Самого домика уже нет.

Есть еще одно-два места, которые с большей или меньшей степенью вероятности можно считать ленинскими местами. Но

напоследок я хочу рассказать об одном «ленинском месте», в котором Ленин никогда не был.

Я был на празднике «Юманите» в городке Курнеф, близ Сен-Дени. Это подлинно народный праздник. Он празднуется раз в году, обычно в первое воскресенье сентября. На огромном поле как бы по щучьему велению вырастают тысячи павильонов, киосков, балаганов, танцевальных площадок, открытых сцен. Свыше полумиллиона человек в этом импровизированном, возникшем на пустыре веселом городе пляшут, смеются, кричат, танцуют, слушают выступления артистов, сами выступают, участвуют в лотереях, стреляют в тирах, щеголяют в маскарадных костюмах. Разгульное веселье и величайшая организованность — такое сочетание я видел впервые в жизни. Все здесь сделано и устроено добровольцами, бесплатно. Весь сбор от всяких продаж, аукционов, лотерей идет в пользу коммунистической печати. Сюда съезжаются люди со всех департаментов Франции. На всем пути из Курнефа в Париж стоят в три-четыре ряда автобусы из разных городов, дожидаясь участников праздника. Я видел, как на празднике появился Торез. Он ехал в машине. Узнав его, за ним ринулась толпа, скандируя: «Мо-рис! Мо-рис!»

В павильоне Общества Франция — СССР меня попросили надписывать автографы на советских книгах, переведенных на французский язык. Присутствие живого советского писателя оказалось — неожиданно для меня — большой притягательной силой. Я надписывал не свои книги — моих там не было,— а книги других советских писателей. Надеюсь, что они простят мне этот полуплагиат. В свое оправдание я могу только сказать, что товарищи, покупавшие книги, знали, что не я их автор.

Все это колоссальное нагромождение павильонов и разных площадок было разделено на «улицы» — «авеню» и «рю»,— носившие имена французских и иностранных коммунистов, героев Сопротивления, людей, отдавших свою жизнь за будущее. Эти улицы сходились к центральной площади, подобно тому как парижские авеню сходятся к площади Звезды. Центральная площадь называлась «Площадью Ленина». Это огромное пространство, на котором сооружена сцена и гигантский амфитеатр для зрителей. Вся площадь, таким образом, является как бы зрительным залом, в котором одновременно может находиться около двухсот тысяч человек.

Я подумал о том, что эта летучая площадь, возникающая каждый год на новом месте и затем исчезающая, как дым, на самом деле реальнее и долговечнее всех других площадей Парижа и мира. Она — в душах людей, в их бессмертной жажде справедливости, в их стремлении к совершенству.

Я никогда не забуду этих глаз французов и француженок — глаз, полных веселья, ума и обаяния, на «Площади Ленина» под Парижем.

У меня защемило сердце. Мне показалось, что я вижу Ленина так близко, так ощутимо, словно не прошло полувека, словно не протекло морей крови. И мне захотелось не кричать, не митинговать, не приветствовать, а тихо сказать:

— Здравствуйте, Владимир Ильич.

1961

СОДЕРЖАНИЕ

ДОМ НА ПЛОЩАДИ. *Роман* 7
СИНЯЯ ТЕТРАДЬ. *Повесть* 435

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

Старые знакомые. *Очерк* 525
В столицо Черной Металлургии. *Очерк* 552
Приезд отца в гости к сыну. *Рассказ* 565
При свете дня. *Рассказ* 593
Ленин в Париже. *Очерк* 636

Эммануил Генрихович
Казакевич

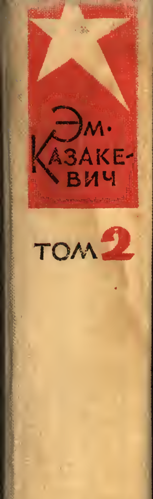
Сочинения в 2-х томах, том 2

Редактор *З. Батурина*
Худож. редактор *Ю. Васильев*
Технич. редактор *Ф. Артемьева*
Корректор *М. Фридкина*

Сдано в набор 13/XII 1962 г.
Подписано к печати 9/IV 1963 г.
Бумага 60 × 84$^{1}/_{16}$—40,25 печ.
л. 36,63 усл. печ. л. Уч.-изд.
л. 35,42. Тираж 100 000 экз.
Заказ № 4028. Цена 1 р. 21 к.

Гослитиздат, Москва, Б-66,
Ново-Басманная, 19

Типография
«Красный пролетарий»
Госполитиздата
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16


ЭМ.
КАЗАКЕ-
ВИЧ
ТОМ 2